

**Владислав
Крапивин**

Тень Каравеллы





**Владислав
Крапивин**

Тень Каравеллы

ПОВЕСТИ



Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1988

84Р7
К78

Иллюстрации Е. Стерлиговой

К $\frac{4803010102-004}{М 158(03)-88}$ 60-88
ISBN 5-7529-0042-5

© Средне-Уральское книжное
издательство, 1988.

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

*Моей матери —
первому моему читателю,
критику и другу*





Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у меня прохудились ботинки и пришлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы корабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Только паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и косую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое настроение, я пошел в кухню, отколол от полена кусок сосновой коры и начал строить с в о й кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспорить с крепким ветром. Одной из самых больших радостей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер, кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру, чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое-кто из взрослых, серьезных людей с упреком говорит мне: «Ты, как маленький, все еще играешь в кораблики».

Ну и пусть. Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса, размером с половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки.

А эта книжка про самое начало. Потому что все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и

первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.

Иногда меня спрашивают: «Это ты про себя написал?» И очень трудно отвечать. Кое-что про себя, кое-что про таких мальчишек, каким был сам. Про мальчишек, росших в суровые военные годы и в первые годы после войны.

Может быть, кто-то узнает себя в этой книге, а другие могут сказать, что все было не так. Но тут не стоит спорить. Детство — это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно всегда остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение свежести и синевы. Словно ранним утром ты вышел за калитку на улицу, на которой родился, на которой живут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни выпадало такое утро.

Владислав Крапивин



Часть первая ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

СИНЕЕ И БЕЛОЕ

Мир, в котором жили мы, был устроен удобно и просто. В середине его стоял наш длинный двухквартирный дом, который назывался флигель. По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились другие постройки: бревенчатый сарай с сеновалом, двухэтажный дом с каменным низом, скрипучая, кривая голубятня и кирпичный магазинчик, окруженный забором из неструганых горбылей.

Во флигеле жили мы: я, мама и сестра Татьяна, которая училась в техникуме. Кроме того, в соседней квартире, за стенкой, жили Анна Васильевна и ее сын Павлик.

Население двухэтажного дома состояло из множества людей, которые назывались одним словом — соседи. А те, кто жил за стенкой, соседями не назывались. Они были просто тетя Аня и Павлик.

Среди соседей встречались разные люди: хорошие, так себе и вредные. Хорошей считалась тетя Ира, которая держала корову и давала нам в долг молоко. Так себе была Таисия Тимофеевна, которая тоже держала корову, но в долг молока не давала. К вредным относился прежде всего Славка Дыркаб.

В сарае хранились дрова и жили две коровы.

В голубятне никто не жил. Давным-давно до войны, там держал голубей старший брат Славки Дыркаба. Но потом он ушел на фронт, а его почтари или сдохли с голода, или были съедены. Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала дверцами. Казалось, ее давно должны были растащить по досочкам на дрова. Но не растащили. И она стояла у забора над лопухами и репейниками, словно памятник веселому Славкиному брату, который когда-то жил в этом дворе...

Осталось сказать о магазинчике. В нем, конечно, жильцов не было, разве только крысы. Зато по утрам вдоль забора выстраивалась очередь. Стояли там главным образом старухи, инвалиды и мальчишки. Инвалиды в зеленых солдатских штанах и стоптанных чувяках мусолили самокрутки и все время спорили; старухи хмуро и осуждающе молчали — они здесь были главные. Мальчишки, заняв очередь, собирались в своем углу. Играли на щелчки в «номера» — у кого больше номер на деньгах, или усердно толкались — «давили сало», не забывая прижимать локти к нагрудным карманам, где лежали хлебные карточки. Они первые замечали пожилую сонную кобылу, которая тащила фанерную повозку с белой надписью: «Хлеб». Тогда раздавался тревожный крик: «Везут!» Очередь начинала беспокойно колыхаться.

Но мы тем летом редко стояли в очереди. Продавщица Катя, которая жила на квартире у Таисии Тимофеевны, постоянно говорила: «Не мучайтесь вы, ради бога, зря. Я своим знакомым всегда оставляю».

Видите, как все здорово было устроено.

Кроме того, у нашего крыльца рос громадный тополь. Самый высокий в нашем городе. Не думайте, что я прихвастнул. Все взрослые говорили, что такого большого дерева нет ни на одной улице.

Без этого тополя жизнь была бы гораздо хуже.

В июне тополь зацветал. Стояли дни, полные ласкового солнца. Небо, свободное от облаков, по утрам опрокидывало на землю такую синеву, что городок наш, казалось, притихал от изумления.

Осторожный ветер снимал с веток миллионы пушинок, и по всем окрестным дворам и улицам начинала кружить медленная тополиная метель. Теплая бесшумная метель под чистым небом. Дома, заборы, деревья становились зыбкими, словно нарисованными на синей

марле. Казалось, что небо спустилось к самой траве и можно полететь, как ласточка, если оттолкнуться сандалиями от упругих стеблей пастушьей сумки, от плоских листьев подорожника.

И я летал.

Встречный воздух парусом надувал рубашку. Мягкий, щекочущий пух забирался в рукава и под воротник, ласково и стремительно касался щек, губ, шеи. И радость жизни была легкая, как этот пух, чистая, как утреннее небо.

Правда, иногда эта радость стремительно уходила, уступая место режущей тревоге: на улице раздавался знакомый стук босоножек. Шла почтальонка Люба.

Все ее знали, маленькую, словно девочка, в синем беретике, в желтой гимнастерке, с сумкой, черной и громадной, как пианино.

Над улицей повисало молчание. Казалось, даже пух замирал в синем воздухе. Только Любины каблучки стучали по доскам тротуара. Стучали негромко и как-то виновато. Тишина становилась свинцовой. Иногда она взрывалась где-нибудь громким женским плачем, и тогда слово «похоронная» как бы нависало над улицей. Словно кто-то написал его в воздухе черными буквами...

И все-таки когда я думаю о том времени, то вспоминаю чистое небо июня и радостный полет среди тополиной пурги. Это не потому, что память отбрасывает все плохое. Неправда. Все помнится: и беспощадность военных зим, когда распухали от холода пальцы, и лепешки из картофельных очисток, и короткий лязг ножниц, вырезающих из хлебных карточек мелкие квадратики талонов. Но у детства смелый характер. Оно борется за радость. Оно эту радость находит, несмотря на голод и невзгоды.

Что ж, в конце концов все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только шепочки летели. Начиналось лето сорок четвертого года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел.

И видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников.

Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о

парусах, ни о море. Но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме «Золотой ключик». Этот фильм я смотрел два раза в кинотеатре «Сокол», где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой.

Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут.

Зато, где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора.

Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркаб.

Фамилия у Славки была самая простая — Иванов, а Дыркабом его звали ребята. Прозвище это казалось непонятным, но подходящим.

Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, от стриженной под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи. Хитрые и непонятные глаза.

Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хороших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи.

Однако Дыркаб не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал:

— Значит, лепить собираешься...

Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить:

— Ага... Лепить.

— А чего?

— Не знаю еще,— осторожно сказал я. Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался.

Дыркаб вздохнул и печально заморгал. Я настоужился еще больше.

— Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить,— неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость.

Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела: попробуй-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной.

Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно:

— Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать как увидит меня — сразу: «А ну, марш в очередь за хлебом!» Или: «Марш за керосином!» Или еще чего-нибудь. Покамест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой... У тебя-то житуха спокойнее, ты у матери младший.

Этим неожиданно серьезным разговором Дыркаб рассеял мою недоверчивость. Подумать только: он искал у меня сочувствия!

Я старательно вздохнул:

— Трудно тебе...

— Да... А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?

Разве можно было отказаться?!

— Только здесь неинтересно, — подумав, решил Славка. — Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепили и сразу в бочке испробуем.

— Знаешь что, Славка, — сказал я, — лучше не надо. Глина же не деревянная. Она бульк — и на дно.

Славка оскорбленно выпрямился:

— Я дурак, да?

— Не... — сказал я опасливо.

— Нет, ты скажи. Дурак?

Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.

— Глина тяжелая, — пробормотал я, не глядя на Дыркаба.

— А железо? — спросил он. — Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?

Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно.

— Ну вот видишь, — снисходительно заметил Дыркаб. — Главное, знать способ. Как сделать.

Мы пришли на кухню. Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу.

— Подводная лодка, — объяснил он. — Похожа?

Я сказал, что похожа, но про себя подумал, что Дырнаб врет, не лепил он корабли.

— Бери теперь и пускай ее в воду,— предложил Славка.— Не бойся.

Но я боязливо заспорил:

— Да... а вода чистая. А глина грязная...

— Глина? — изумился Славка.— Грязная? Из нее посуду делают. Кринки разные да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты.

Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырым деревом и дождем.

— Ну, давай, давай,— торопил Славка.

Я осторожно опустил «подводку» к воде, жалобно глянул на Славку... и разжал пальцы.

Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо. И сказал шепотом:

— Славка, не плавает.

— Ты что? Как — не плавает? — торопливо заговорил Славка.— Она же подводная, под водой и плавает. Поплавает и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет.

Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Дырнаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела.

Слезы беде не подмога. А беда была не маленькая. Воду носили от водокачки за четыре квартала. Дело это было хлопотное и долгое: у водокачки всегда стояла очередь. Я испортил двухдневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.

Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там! Разве дотянешься до дна... Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно.

За этим печальным занятием застал меня Павлик.

Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос:

— Ты что? Клад ищешь на дне морском? Или хлебку варишь?

Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал

и советовал «убираться с горизонта». Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло одиннадцать, а мне и семи не было.

— С чем похлебочка? — продолжал он ядовитый допрос. — Попробовать дашь?

— Лодка утонула, — сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.

Тогда он удивился по-настоящему:

— Что за лодка такая?

— Дыркаб подводную лодку сделал. А она...

Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.

— Балда, — сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Дыркаба.

Худой, уже загоревший, с отросшей до бровей челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверно, размышлял: спасти меня или оставить на съедение злой судьбе? В светло-коричневых Пашкиных глазах блестели хитрые, острые, как иголки, точки.

— Эх ты, капитан Немо, — вздохнул он наконец (так я впервые услышал это имя).

Не снимая улыветшей испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полосы.

— Забирай, — насмешливо сказал Павлик.

Я послушно подставил ладони под глиняное тесто.

Павлик поднатужился и водрузил на место крышку:

— Все.

— А как сейчас... — начал я, с опаской глядя на бочку. — Вода ведь грязная теперь...

— Пф! — Он презрительно оттопырил губы. — Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не померем! Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего.

— Правда? — живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.

— Говорят... Да ну ее, глину. Картошка лучше, даже гнилая.

— А если узнают про лодку? — опять забеспокоился я

— Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?

Так связала нас маленькая тайна.

Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через пять минут я услышал, как Павлик вместе с Дыркабом хохочет над моей глупостью.

Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами.

А я? Кто был я? Семилетний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать драчливой Томки из большого дома и ее пятилетнего братца Тольки — нытика и попрошайки.

Конечно, двор был большущий, а играть я умел и один, поэтому до поры до времени не чувствовал тесноты и грусти. Но вот, забыв про меня, умчался по своим делам Павлик, и я понял, что мир мой мал, а я одинок. От тоски я отлупил Томку, издалека запустил камнем в предателя Славку и вдобавок нарисовал на заборе его портрет и подписал:

«Дыркаб — драк».

Букву «у» я пропустил только из-за торопливости, потому что вообще-то писал и читал тогда уже прилично. Научился, когда было пять лет.

Дыркаб целый час ходил у меня под окнами, громко рассказывая, что он сделает со мной, когда поймает...

А Павлик, хотя и смеялся надо мной, про подводную лодку никому не сказал. И тонкая ниточка, видимо, не совсем порвалась. В конце концов, он именно мне, а не кому-то из друзей оставил на хранение учебную гранату, когда на месяц уехал в лагерь.

А потом был август и тот вечер, когда мы почувст-

вовали, что нас тревожит одно и то же ожидание. Чувство, похожее на близость приключения.

Это было как первая капля нашей дружбы. Вернее, сначала и не дружбы, а просто симпатии, которая появляется, когда два человека хорошо понимают друг друга. После этой капли был еще долгий перерыв. Как в том дожде, о котором я сейчас вспомнил.

Капля упала с потемневшего неба на крыльцо, разлетелась на пылевые брызги и оставила на серой доске темный след. Он был похож на разбившуюся звезду. Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля шелкнула по моей сандали, нырнула в одну из дырочек, пробитых в коричневой коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами.

— Владик, иди домой, гроза начинается! — крикнула мама из кухни.

Я не пошел. Мне хотелось увидеть падение новых капель. Я любил это волшебное зрелище — стремительное снижение маленьких стеклянных шариков. Но капель больше не было. Туча молчала. Она уже перевалила середину неба и развернула над всей землей темно-синий грозовой занавес.

Было очень тихо. Иногда вздрагивали и начинали хлопать друг о друга листья тополя, но тут же испуганно замирали.

Над заборами, над низкими крышами я видел высокую башню со шпилем. Я знал, что это колокольня старой церкви, в которой помещалась тогда городская библиотека. Знать-то знал, но что с того? Я даже близко от этой библиотеки не был — не приходилось. Она всегда была для меня просто башней, видимой издали. А то, что видишь только издали, всегда кажется немножко таинственным.

Мне нравилась эта башня. А в тот грозовой вечер нравилась особенно. Она была очень белая. Такая плотная и свежая белизна бывает у кусков мела, еще ни разу не взятых в руки. Этот белый цвет на грозовой синеве почему-то радовал и успокаивал меня.

Вокруг башни, словно рой бабочек вокруг абажура, носилась птичья стая. Птицы тоже были белые. И видимо, они не боялись грозы, хотя были от нее очень близко.

Коротко рванул ветер. Тополь, уже не стесняясь, захолопал зелеными ладонями. Сразу запахло теплой пылью, травой и сухой ржавчиной железных крыш.

Взвизгнула калитка, и во двор влетел Павлик. Он лихо затормозил перед крыльцом и выпалил:

— Ух и отоварит сейчас дождичком! Мы с Вовкой самолет по нитке пускали и вдруг как поглядим, как увидим! Какая туча! Ага? — Но вдруг мысли его скакнули в другую сторону: — Эй, Владька! А где моя учебная граната, которую я тебе оставил, когда в лагерь поехал? Я с Вовкой на самолет поменяюсь. Где? — Он наклонил набок голову и подозрительно смотрел на меня из-под выгоревшей челки. Жидкая кисточка испанки качалась над левой бровью.

Мне по многим причинам не хотелось касаться скользкого вопроса о гранате. Я отвел глаза и снова стал смотреть, как кружится у башни голубиная стая.

— Замылить хочешь? — в упор спросил Павлик. — Чего молчишь?

— Я на башню смотрю. И на птиц.

Павлик удивился и притих. Тоже стал смотреть, как кружат белые птицы. Не знаю, что он почувствовал. Но стоял и смотрел он долго. Тускло-розовая горбатая молния бесшумно сгорела выше башни и птиц. Это было увлекательно и страшно.

Павлик громким шепотом сказал:

— Как на море. Будто там маяк и чайки... — Шепот его звучал тревожно. — Будто скоро шторм.

Плотная синева громадных грозовых пространств со всех сторон окружила притихшую землю. Дома, казалось, хотят спрятаться под крыши, как черепahi под панцирь. Только башня, высокая и светлая, бесстрашно пронзала тревожную синеву. Она была как парус, как лебедь. Как белый маяк на краю беспокойного океана.

— Как на море, — отчетливо повторил Павлик.

Я знал, что он родился и вырос здесь, в этом доме, и никогда не был у моря. Но поверил ему сразу и накрепко.

С той поры эти два цвета — синий и белый — связаны у меня с мыслями о море. Белое и синее — значит чайки и паруса в морской дали, волны прибоя, тельняшки и матросские воротники, незнакомые города над заливами, флаги отхода на мачтах многоэтажных ко-

раблей. Бело-синими были обложки журналов «Вокруг света» и контурные школьные карты, так похожие на морские...

Конечно, это пришло постепенно. А в тот вечер, когда туча стала уползать и приоткрыла яркую щель заката, я забыл о синем шторме и белых птицах. На время.

Потом наступил сентябрь, и я пошел в первый класс, а Павлик в четвертый. Ближние улицы перестали казаться мне таинственной страной. Большой овраг, который раньше был страшным и запретным, стал местом веселых игр. Когда выпал снег, я одним из первых пробороздил там санками крутой склон.

Жить стало интереснее, но гораздо труднее. Школа оказалась совсем не праздником. Читал-то я хорошо, но с первых дней не ладилось у меня с почерком. Буквы меня не слушались. Они разбредались с линейек кто куда, валились набок, принимали самые уродливые формы. Крупнокалиберные кляксы сыпались на тетрадные страницы автоматными очередями. А кроме того, вставать в семь утра и по морозу топать пять кварталов до школы — какая же это радость! Да еще домашние задания! Конечно, снежный овраг, где шумно и весело, — это хорошо, но все-таки я жалел о прошлых временах. Наступившая зима казалась мне безрадостной и жестокой. Зимние каникулы с крошечной елочкой в углу на сундуке промелькнули, как случайный солнечный зайчик.

С ребятами в классе я сходилась очень трудно. Ленинградец Юрик Давыдов, с которым я подружился, неожиданно уехал. До весенних каникул было далеко-далеко, а других радостей я не ждал.

Так было до того январского вечера, с которого я хотел сперва начать эту повесть. Но, вспоминая все по порядку, я понял, что началась она раньше. Не этим зимним вечером, а в синие летние дни впервые задела крылом Павлика и меня Тень Каравеллы.

ВИЗИТ БИЛЛИ БОНСА

Ветер за окнами был пронзительный и лютый. Он басовито выл в проводах и тополиных ветках, но иногда срывался и начинал верещать, как прижатая в ловушке крыса. Я знал, что он лижет сугробы и взмывает над

ними языки летучего снега. При ледяном свете луны эти языки похожи на бледное прозрачное пламя.

Я любил смотреть на эти прозрачные факелы. Окна закрывались ставнями, но у одного ставня отвалилась нижняя половинка и оставила свободным оконце размером с тетрадку. По углам оно было затянуто узорчатым льдом. Я прижимался носом к стеклу и смотрел, как полыхают и дымятся холодом сугробы, как летят по снегу тени. Луны видно не было, но я знал, что она, не устывая, катится навстречу стремительным облакам.

Однако мама и Татьяна быстро прогоняли меня: от окна дуло. А если я был один, то и сам не решался подходить к окошку. Неизвестно откуда появлялся дурацкий страх: вдруг с улицы навстречу мне поднимется и прилипнет к окну плоская белая рожа со страшными глазами. От одной этой мысли делалось холодно в животе и хотелось, чтобы окон вообще не было.

Конечно, когда приходили взрослые, мысль о белой роже начинала казаться невероятной чушью.

Но в этот вечер взрослых дома не было. Вообще никого не было, кроме меня.

Натянув пальтишко, нахлобучив шапку, я сидел у стола и рисовал. Вернее, не сидел, а стоял коленками на стуле, навалившись грудью на край стола. Острая кромка сиденья резала колени, стол больно давил на ребра, но я не старался устроиться удобнее. Зачем? Все равно все было плохо.

Такие скверные вечера я называл унылым словом «утык».

Утык — это если все несчастья утыкаются в одного человека, в меня.

Нынешний утык начался еще днем: я получил очередную двойку по письму. Чтобы отомстить Антонине Петровне, я дома не стал делать задание по арифметике. Однако сейчас меня грызла мысль, что от такой мести Антонина Петровна пострадает меньше, чем я сам. Впрочем, не очень сильно грызла. Гораздо хуже было то, что я остался один. У мамы или собрание, или внеочередное дежурство в редакции. У Татьяны тоже какое-то дело в техникуме, она вообще часто задерживается.

Мама, наверно, думает, что Татьяна дома, истопила печку, сварила на ужин овсяный кисель (я глотнул слюну). А Татьяна думает, видимо, что все это сделала

мама. «А в крайнем случае,— думают обе про меня,— посидит у Павлика, пока мы не придем».

Но беда в том, что и Павлика нет. Из школы он пошел, наверно, на работу к матери, сделал там уроки и теперь в уютной кинобудке четвертый раз смотрит фильм «Два бойца».

Я с горькой завистью подумал, как тепло и интересно там, у больших трескучих аппаратов.

В доме было до чертиков холодно. Видимо, Татьяна днем не успела истопить печку. Холодными были стены, печная плита, стол, покрытый голубой клеенкой. Даже карандаш, когда я зажал его в пальцах, показался ледяным, как сосулька.

Это был мой любимый заслуженный карандаш. Военный. С одного конца черный, с другого — оранжевый. Весной мне подарил его знакомый офицер, который жил тогда у нас на квартире. Этим карандашом очень удобно было рисовать на полях газет горящие самолеты и танки фашистов: черное железо с крестами и оранжевое пламя. Но сейчас я рисовал без всякой радости. Просто так. В озябших пальцах толкалась привычная тупая боль. Она называлась «ревматизм».

Взгромоздившись валенками на стол, я распутал на электрическом шнуре узел и опустил к самой клеенке лампочку. Где-то мотался на ветру провисший провод, и лампочка тревожно мигала. Она была желтая, неяркая. Пар от моего дыхания обволакивал ее быстро исчезающими облачками.

Чтобы отогреть пальцы, я обнял лампочку ладонями, но тут же по стенам взлетели громадные тени, а в заиндевелом углу у окошка начала шевелиться мохнатая темнота. Ходики на стене застучали отчетливо и часто, словно предупреждая об опасности.

Я убрал руки и сердито всхлипнул. Утык был полный и глубокий. Еще и есть хотелось сильнее обычного. Конечно, я не помышлял о макаронах, оставленных маме и Татьяне, но, если бы топилась печка, я нарезал бы тонких картофельных ломтиков и поджарил бы их на плите. С солью.

Я опять проглотил слюну и с ненавистью взглянул на плиту. Она была холодная, как Северный полюс.

У печной дверцы лежало несколько сосновых поленьев. Вверху, на кирпичном уступе дымохода, хранились спички-гребешки в синей бумажной обертке и ко-

ричневая дощечка-чиркалка. Но что с того? Разжигать печку сам я не мог. Это было запрещено раз и навсегда. Нарушить этот железный запрет было страшнее, чем получить сразу пятьдесят двоек или съесть одному хлебный паек всей семьи.

Считалось, что если я возьмусь за растопку, то обязательно сожгу дом, себя и полгорода. Кроме того, в печке могло что-нибудь взорваться. Ведь взорвались же у Павлика учебные патроны (ох и звону было!).

«Однако,— подумал я,— взорвались у Пашки, а не у меня. А к печке не пускают меня, а не Пашку. Его-то пускают: пожалуйста, топи сколько хочешь...» Эта мысль была первой искрой бунта.

Бунт был молчаливый и стрёмительный. «Все равно!» — отчаянно подумал я, прыгая со стула.

В самом деле, все равно когда-то должно это было кончиться! Не мог же я без конца терпеть мучения оттого, что взрослых терзают глупые страхи! Так и скажу им! А сейчас возьму спички и...

Дров было мало. Но тащиться за ними в темный сарай через двор я, конечно, не собирался. Семь бед — один ответ! Я решил сжечь запасы бумаги, которые шли на растопку.

Тумбочка письменного стола была заполнена бумажным хламом: старыми учебниками и тетрадями сестры, довоенными журналами отца, пачками газетных вырезок, какими-то неинтересными книгами. Мама с Таней иногда жгли это добро, но очень осторожно. Они все боялись, что там может оказаться что-то нужное. А я не боялся.

Я ударил валенком по тумбочке, чтобы заставить попрятаться живших там мышей, и дернул дверцу. С шелестом выползли к моим ногам несколько скучных журналов, связка газет и учебник зоологии с зубастым ящером на обложке. Я нагнулся, чтобы подобрать их.

И тогда, словно дождавшись нужного момента, прямо в ладони мне скользнула еще одна книжка.

Она была разлохмаченная, без переплета. На первом листе я увидел два крупных слова: «Старый пират». А ниже, с середины страницы, шли слова, рассказывающие о старом морском волке, появившемся неизвестно откуда в приморской таверне.

Это было необычно, не встречалось раньше. Короткое воспоминание о белом маяке среди синей грозы

толкнуло меня, как легкая тревога. С книжкой в руке я шагнул ближе к лампочке...

Безотрадный вечер, называемый словом «утык», растаял, провалился, исчез. Обладатели белых рож могли открыть все ставни, слоняться под окнами целыми взводами и заклеивать жуткими лицами все стекла — я бы их не заметил. Темные чудовища в углах могли играть в чехарду и размахивать мохнатыми щупальцами — плевал я на них. Холод мог украсить потолочные балки гребнями сосулек — меня это не касалось.

Неловко навалившись боком на стол, касаясь щекою теплой лампочки, я глотал страницу за страницей, и море гремело у серых гранитных уступов, и ветер яростно хлопал ставнями на окнах одинокой таверны, и старые часы скрипуче били полночь...

Наверно, так бывает только в детстве: читаешь книгу, но не замечаешь слов, а как бы видишь кино. Я видел совершенно отчетливо стертые ступени гостиничной лестницы, частые переплеты окон, за которыми ночь и опасность, дрожащие свечи в руках испуганной хозяйки и ее сына Джима. Огоньки этих свечей желтыми точками отражались в железных полосках, которыми был окован зеленый дубовый сундук. И наконец, видел я хозяина этого сундука. Старый Билли Бонс будто сел рядом со мной, скрипя кожей ремней и башмаков, хрипло ворча и откашливаясь. На его полосатой вязаной фуфайке блестели капельки дождя (так же, как блестят на мамином платке капельки растаявшего снега, когда она приходит с работы). От него пахло табаком и промокшим сукном.

Билли Бонс неторопливо сложил и затолкал во внутренний карман медную подзорную трубу, отхлебнул из мятой железной фляжки, сморщил красное обветренное лицо и глянул на меня стариковскими слезящимися глазами.

«Что, парень? Тебе тоже не сладко?»

— Да нет, ничего, — шепотом сказал я.

Он мне понравился, этот старый таинственный капитан. Конечно, он бывал иногда грубоват и вспыльчив, но ведь и жизнь у него была несладкая. По крайней мере, я полюбил его гораздо больше, чем хозяйкиного сына Джима, который сначала был настоящим размазней и трусом. Когда Билли Бонс умер, я чуть не заплакал.

Зато я с большой радостью узнал, что один из его врагов попал под копыта лошадей. Так ему и надо! Ух как гремели подковы по мерзлой дороге! Я не сразу понял, что гремят не подковы, а грохочет дверь под ударами кулаков.

— Кто? — крикнул я, вылетая в сени.

— Дрыхнешь, что ли?! — яростно завопил за дверью Павлик. — Сам бы поторчал здесь на холоде! Я все кулаки расплющил! Открывай, верблюд несчастный!

Я откинул крючок. На обидные выкрики я не обратил внимания. Во мне еще гремели отголоски удивительного мира опасностей и тайн. Скорее, скорее туда, назад, чтобы узнать тайну пиратского сундука!

— Засоня, — презрительно сказал вслед Павлик.

— Балда, — откликнулся я на ходу. — Я не спал. Я зачитался.

— Зачитался! «Ма-ма мы-ла ра-му. Лара мыла Лушу».

Я остановился. Мы стояли в общей кухне, каждый у своей двери.

— Сам ты Луша. У меня такая книжечка. Треснешь, как пузырь, от зависти. Пальчики обсосешь.

— Пф! Про Курочку-рябу.

— Сам ты ряба! Про старого пирата.

— Ты? Про пирата? Ой, умру!

— Начинай, — холодно сказал я. — Когда умрешь, крикнешь, — и взялся за ручку двери. Истина была на моей стороне.

Павлик бросил портфель и шагнул ко мне:

— Ну ладно. Ну, покажи.

С тайным торжеством я протянул книжку.

— Ух ты... — быстро сказал Павлик, и глаза у него стали ласковыми, словно он взял в руки любимого щенка. Он узнал книгу сразу же. Конечно, он видел такую раньше. — «Остров сокровищ», — сказал он почти торжественно. — Роберт Льюис Стивенсон.

Он произнес это имя протяжно и немножко странно: «Робэрт Ль-уис Стывенсо-он». Было ясно, что в книгах таких и в именах он знает толк.

— Я ее давным-давно прочитать хотел, — заговорил Павлик, жалобно поглядывая на меня. — У Сережки Сазонова просил, а он фигу показал. Я ему автомат с железной трещоткой обещал, а он все равно не дал. Свинья, верно?

Я кивнул, но, чуя опасность, не сводил глаз с книжки.

— Этот автомат я могу хоть сейчас тебе отдать,— бодро пообещал Павлик.— А ты мне книжечку всего на один вечерок. Идет?

Действовать надо было мгновенно. К счастью, книжку держал он не очень крепко. Я кошачьим движением выхватил ее и скользнул за дверь. Звякнул задвижкой.

— Владька! — тоскливо взвыл Павлик.

— Прочитаю, тогда дам,— непреклонно сказал я.

Павлик потрогал дверь, но задвижка была прочная.

— Жила,— безнадежно сказал он.— Буржуй. Купец, помещик, капиталист. И этому типу я отдал свою гранату!

— Возьми ее обратно.

— Ну, Вла-адик. Ну, на вечерок... А?

— Бэ,— сказал я.

— Жадюга. Вот скажу в школе, все ребята тебя лупить будут.

— Тогда и через год книжечку не увидишь!

Он шумно вздохнул за дверью и замолчал. Я понял, что он придумывает самые убедительные, самые-самые действующие слова. Ох как хотелось ему почитать «Остров сокровищ»!

— Много ты прочитал? — вдруг спросил Павлик.

— Тридцать пять страниц.

— Как ты быстро читаешь,— сказал он вкрадчиво. Это была грубая лесть. Ведь он не знал, сколько времени я читал.

Мне стало жаль Павлика.

Даже не то чтобы жаль, а просто я представил, как он безнадежно топчется у двери и чуть не плачет от огорчения. Счастье сверкнуло перед ним ослепительной искрой, поманило и погасло.

Я бы, наверно, на месте Павлика заревел от тоски.

— А ты совсем ее не читал? — спросил я.

— Пятнадцать страничек. Да еще в середине немножко. Сазонов давал почитать на переменках.

— Давай так,— начал я, осторожно взвешивая слова.— Ты сейчас затопишь у себя печку...

— Ага... — откликнулся он с проснувшейся надеждой.

— Потом решишь мне задачку...

— Хоть десять!

— И примеры.

— Хоть тыщу!

— Потом я дам тебе почитать до тридцать пятой..
— У-у..
— А потом вместе будем, вслух! А ты один хотел?
Хитрый..
— Ура!

На радостях он грянулся грудью о дверь и сорвал задвижку с винтов.

ОТБЛЕСКИ НА ПАРУСАХ

Эту книжку мы читали пять вечеров подряд.

Мы не торопились. Ждали, когда загустеют в окнах фиолетовые сумерки, и потом отправлялись в комнату к Павлику. Там, у печки, был просторный уютный угол. Наш угол. От комнаты его отгораживали спинка кровати и тумбочка с треснувшим фарфоровым шариком вместо ручки на дверце.

Печка была круглая, покрытая черным блестящим железом — голландка. Казалось иногда, что это и не печка совсем, а основание корабельной мачты, которая уходит вверх сквозь палубу. Где-то высоко над крышей шумят ее паруса. Шум был на самом деле: это хозяйничал в тополе ветер. Когда открывали трубу, он начинал обрадованно голосить в ней.

Павлик отводил в сторону тяжелую двойную дверцу, поджигал газетный фитиль и толкал его под сосновые поленья, в лучину. Тяга была могучая! Сухие дрова словно взрывались — пламя охватывало их разом и начинало торжествующе реветь в печной утробе.

На окнах в комнате Павлика никогда не закрывались ставни. За стеклами дрожали яркие голубые звезды. Казалось, что дрожат они от гудения огня.

Мы садились на поленья у приоткрытой дверцы. Павлик брал книгу. Он становился спокойным и строгим. Он мне очень нравился в такие минуты — не насмешливый, добрый, настоящий. Глаза Павлика делались темными, и пламя билось в них беспокойными звездочками. И на лбу, на волосах его дрожали медные отблески.

Не помню, как читал он: тихо или громко, с выражением или без. Среди пляшущего огня я видел, как на экране, одноногого Сильвера с крикливым попугаем, двухмачтовую «Испаньолу», опоясанный ружейными дымками форт. Головешки, рассыпаясь, стреляли, как

мушкеты. Угли были как освещенные закатом скалы острова. Юнга Джим шел по следам сокровищ и воевал с пиратами. Он оказался не таким уж размазней, каким выглядел вначале.

Но вот вместе с пятым вечером кончилась книжка.

Честное слово, я растерялся. Я знал, что она должна кончиться, но нельзя же так сразу. Что же дальше? Не будет больше парусов, прибой, дальних берегов?

— Хорошая книжка,— потягиваясь, сказал Павлик.— Побольше бы таких.

— Разве есть еще такие? — очень удивился я.

— Завтра принесу одну. Выпросил кое-как у Серегу. Называется «Морская тайна».

«Морская тайна» тоже была замечательной книжкой, только тонкой. Два вечера мы читали про наших моряков, которые оказались в плену на подводном японском крейсере.

А потом Павлик принес «Приключения Гулливера».

Книжка начиналась словами, похожими на строчку из песни: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан...»

Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и приподнял листы книги — вот какие это были слова.

Но Павлик оборвал чтение.

— Что за чушь? — сказал он серьезно, даже встревоженно.

— Что? — не понял я.

— Не бывает же трехмачтовых бригав...

Для меня эта наука была как темная ночь.

— Почему?

Несколько секунд он смотрел на меня молча, потом, видно, понял, что разговаривать со мной об этом бесполезно. Серdito и негромко сказал:

— Вот потому... Кончается на «у».

— Раз написано, значит, бывают,— заметил я.

Тогда он взорвался:

— «Написано»! Если он трехмачтовый с прямыми парусами, значит, он фрегат, а не бриг!

— А если не с прямыми?

— Не с прямыми брига не бывают, ясно? Они всегда с прямыми, всегда двухмачтовые! Вот!

— Откуда ты знаешь?

Он уже успокоился и не хотел спорить.

— Мало ли...— сказал он рассеянно.— Откуда хочешь... Словари-то почти в каждой книжке есть...

— Ну ладно. Давай читать,— нетерпеливо потребовал я.

Павлик помолчал немного и вдруг сказал:

— Не буду.

— Ну, Павлик! — взмолился я.

— Не буду,— спокойно и твердо повторил он.— Если с первого слова вранье начинается, дальше, значит, совсем...

Я понял, что он в самом деле читать не станет. Все рушилось. Погибал хороший вечер с горячей печкой и заманчивой книжкой, где на картинках были якоря, корабли и маленькие воинственные человечки из неизвестной страны.

— Все ты знаешь! — бросил я с отчаянной обидой.— Морской профессор! Может, раньше были трехмачтовые брига! Сейчас нет, а раньше были! Совсем давно! Откуда ты знаешь?

— Раньше? — повторил он.

— Ну да! — уцепился я за спасительную мысль.— Ты все на свете знаешь, что ли?

Нет, все на свете он не знал. Подумал и согласился:

— Может, правда. Раньше. Насчет раньше я только немножко знаю. Про каравеллы.

«Гулливер» был спасен. А когда и этой книжке пришел конец, Павлик раздобыл где-то «Пятнадцатилетнего капитана».

Первая глава называлась «Шхуна-бриг «Пилигрим».

Я не забыл недавнего разговора и потребовал у Павлика объяснения: что это за штука — шхуна-бриг? И это было лишь начало. Я уже не хотел только приключений. Мне нужно было знание. То знание, которое отличает капитана от пассажира.

Я стал придирчив. Что такое «спардек»? Что такое «ванты»? Что такое «фор-стенъ-стаксель»? Павлик ругался, но объяснял что мог. Потом я, как и он, привык копаться в словарях и примечаниях.

Впрочем, это не портило наши вечера. Это было похоже на игру. Да и в самих словах «норд-вест», «бейдевинд», «фор-марсель» звучали отголоски удивительных морских историй. Это были слова из синей и белой песни моря.

Мы поняли тогда: нам нужны не просто книжки

про острова и тайны. Нужны такие вечера. Вечера с гудящим огнем и разговорами о маяках и коралловых рифах. И с ломтиками картошки, которые мы жарили на железной полоске у печной дверцы. Звонко стреляли крупницы соли, на ломтиках появлялись коричневые пузырьки. Потом эти ломтики похрустывали во рту, как печенье, и были вкуснее всего на свете.

В те дни все складывалось как-то удачно. Ушла тревога за отца: его часть вывели из боев, и она стояла в тихом городке с длинным нерусским названием. Отступил голод — мама получила какие-то дополнительные талоны на муку. Не за горами была и весна, а все знали, что весна принесет победу. Даже в школе мне везло: я получил две четверки по письму. Но запомнились прежде всего не дни, а счастливые вечера, согретые огоньком начинавшейся дружбы.

Правда, вначале их портила Татьяна. Взяла такую моду: придет из техникума, просунет в дверь голову и медовым голосом начинает допрос:

— Владик, а уроки ты сделал? Все? И по письму? А что было задано? А какие отметки в школе? А что сказала Антонина Петровна?

Эти разговоры надоели мне, как похлебка из мороженой капусты. Меня от них тошнило. Я даже пробовал скрипеть зубами, но скрип не получился, только зубам было больно. И однажды лопнуло терпение.

Я сказал, что это свинство. «Да-да! И не простое, а громадное свинство. Нет, я правильно выбираю выражения! Как еще можно выражаться, если тебе каждый вечер портят настроение?.. Ну и жалуйся! Хоть директору школы! Каждый вечер одно и то же!.. Кашалоту в глотку такую заботу!.. Только попробуй! Думаешь, ты одна умеешь ремнем махать?.. Тысяча чертей и один грот-марсель с двумя рифами!.. Кто бы другой говорил об уроках! Не тот, у кого «хвосты» по черчению!.. Да, знаю, что такое «хвосты», еще хуже двоек! Об этих «хвостах» и говорю, да! А ты думала, о других? Можно и о других: еще хвостами называются те, кто за кем-нибудь таскается по пятам! Например, тот курсант из пехотного училища, или Лешка Солодовников, или... Ах, не мое дело? А тебе в мои можно соваться?.. Подумаешь, старше! Зато глупее!.. И не приду, буду ночевать у Павлика. Тебе же от мамы попадет!.. Что-о? Силенки не хватит!.. А вот так и смею! Подумаешь! Большая, а ревет...»

Что и говорить, скандал был не меньше восьми баллов, но я выстоял в этой буре. Я победил.

С тех пор никто не мешал нам. Вечер бежал за вечером. Они пролетали словно в тени больших парусов, на которых танцевали отблески огня. Что это было? Вспышки пушечных залпов? Отсветы пламени вулканов? Блики таинственных береговых костров? Едва сгущались сумерки, как белые паруса уносили нас в синюю страну бурь и открытий. И мы жили в этой стране, пока с улицы не доносился стук в дверь. Долгожданный стук.

Да, несмотря на радости хорошего вечера, ожидание этого стука все время жило во мне. Оно пробивалось сквозь книжные тревоги, опасности и тайны.

Отпирал дверь обычно Павлик. Он возвращался, и я спрашивал с замиранием:

— Чья мама пришла?

— Твоя,— говорил он со вздохом.

Я срывался и вылетал в кухню.

Не судите строго. Даже настоящие суровые капитаны становились маленькими в те минуты, когда им случалось встречать маму. Можно понять нас, мальчишек, росших без отцов. Мама — это было все. Мамино возвращение с работы — это была радость, о которой думали с утра. Пусть простят меня паруса и пассаты, что в этот счастливый миг я забывал о них. Я прижимался к маминому пальто, усыпанному бисером растаявшего снега, и мама говорила всегда одно и то же:

— Ой, Владька! Ой, ну сумасшедший ты человек! Я же вся ледяная, ты простудишься насмерть.

И я, худой семилетний малек с ноющими от ревматизма суставами, всегда отвечал:

— Я? Простужусь? Я закаленный, как тысяча айсбергов!

Потом мы шли из кухни в нашу крошечную прихожую, и я помогал маме раздеваться, пока Татьяна однообразно ябедничала на меня.

Потом мы садились пить чай с сахаринном и звали Павлика, потому что его мама приходила еще позже.

После чая у меня начинали слипаться глаза. Неизвестно, как я оказывался в кровати. Мне снились корабли и скалы, о которые с равномерным грохотом разбивались бело-синие волны.

Я просыпался от этого грохота.

— Мама, что это?

— Спи, маленький,— говорила она.— Это радио. Салют в Москве. Наши взяли еще один немецкий город...

КАРАВЕЛЛА

Карта и каравелла появились у нас почти в одно время. Карта — на сутки раньше.

В тот день я сидел дома, потому что утром старательно изобразил ужасный кашель. Татьяна разразилась длинной речью, обвиняя меня в лени и обмане, но мама вздохнула и разрешила в школу не ходить.

Итак, я лодырничал и пропустил важное событие, которое произошло в школе.

В положенное время вернулся с уроков Павлик. Окруженный морозным облаком, он ввалился в кухню и втащил за собой тонкие жерди, обмотанные грязной бумагой и марлей. Валенки его гремели, как ведра. С них сыпалась ледяная корка. Павлик поочередно дрыгнул ногами, и валенки, стуча, разлетелись по углам.

Я молча хлопал глазами.

Павлик тем временем гордо поднял жерди, потряхнул их, и предо мной с треском развернулась карта полушарий.

Со сдержанным торжеством Павлик сказал:

— Во! Видал?

Я оглушенно молчал. Первое впечатление было такое, словно непонятный великанище глянул на меня в синий бинокль.

Потом почудилось мне в карте что-то знакомое. Конечно, таких больших карт я раньше не видел, но все равно знакомое в ней было. Она была синяя и белая.

Два синих круга на белом поле. Желто-зеленые материи с темными жилками рек лишь чуть-чуть вносили пестроту.

Синий и белый цвета были главными.

Уже потом я заметил, что карта местами протерта насквозь, что белые края украшены желтыми подтеками, что один бок отсырел и бумага отклеилась от марли, а марля оторвалась от реек. Но в ту минуту я стоял перед ней, как перед заморской диковинкой, и ждал чего-то необычного.

История карты была связана у Павлика с первым плаванием и опасностями...

Наша маленькая школа занимала старинный дом, в котором до революции жил какой-то купец. Мы учились на верхнем этаже, а нижний, полуподвальный, всегда пустовал. Осенью и весной его заливало, а зимой там было холодней, чем на улице. Всем был известен давний порядок: весной и осенью — вода, зимой — холод. Но в тот день, когда я «болел», порядок был нарушен: случилось зимнее наводнение. Говорят, лопнула какая-то труба.

Первые два урока школа жила радостным ожиданием: все были уверены, что вода вот-вот замерзнет. Тогда нижние комнаты превратятся в чудесные катки. Можно будет со свистом носиться на скользящих валенках по гулким залам, можно будет играть в «буру», гоняя по льду пустые пузырьки из-под чернил.

Однако вода упрямо не застывала. Видимо, назло. Разведгруппы тайными путями проникали в подвал и возвращались с кислыми лицами. К третьему уроку в школе царило уныние. Только самые упорные не поддались печали. И Павлик не поддавался.

После третьего урока он двинулся на разведку снова. Дверь в подвал была, конечно, закрыта. К тому же перед ней разгуливали две дежурные девчонки с карандашами, чтобы записывать нарушителей, и уборщица тетя Феня с метлой. Но у разбитого оконца, которое выходило во двор, никто не дежурил. Павлик пробрался к нему по сугробам. Он просунул голову и плечи в гулкий сырой полумрак. Конечно, сначала он ничего не увидел. Помещение было без окон — что-то вроде широкого коридора, куда выходили двери всех комнат. Павлик сжал в ладони и бросил вниз снежный комок. Он думал, что услышит всплеск незастывшей воды, но комок ударился обо что-то твердое. Лед?

Павлик перевесился через подоконник. Нет, черная вода поблескивала по-прежнему. А под окном приткнулись к стене три доски, сколоченные вместе. Это были остатки мостиков, по которым здесь ходили во время осеннего потопа.

Три сколоченных доски — это плот. Какой нормальный человек откажется от плавания по пустому подвалу, таинственному, как пещера капитана Немо! Павлик был нормальный человек. Он втиснулся в окошко вперед

ногами, повис, держась за подоконник, и прыгнул на доски.

От удара и от тяжести край плоты ушел на глубину. Вода залила валенки. Авария! Чтобы не было полной катастрофы, Павлик бросился с края на середину. Плот выпрямился и незаметно отошел от стены.

Только тут отважный капитан сообразил, что никакое судно не может плыть само собой, по шучьему велению. Нужен мотор, или парус, или, в крайнем случае, весло. Если нет весла, можно грести и ладонями, но для этого надо наклоняться, тянуться руками до воды. А как дотянешься, если плот качается? Вот-вот угодишь за борт. Ни присесть, ни наклониться.

Оставалось громко зареветь и сдаться тете Фене и дежурным.

Павлик не заревел и не сдался. Он представил, как поведут его на глазах у всей школы к директору Марии Павловне. Ужас! Под конвоем, в мокрых валенках. Под злорадное хихиханье девчонок! Не директора он боялся, а унижения.

Павлик на пиратский манер закричал зубами и прищуренно оглянулся, ища выхода. И нашел. В трех метрах от него поднимался над водой большой полуразвалившийся шкаф. Дверца его была украшена медной ручкой, похожей на узорный крюк. Павлик, вздрагивая от холода и злости, стянул с себя свитер и рубашку, снял ремень. Ремень он привязал к рукаву рубашки, а другой рукав узлом притянул к обшлагу свитера. Потом сделал на ремне петлю.

Он говорил, что накинул этот аркан на ручку шкафа со второго раза. Наверно, хвастался. Но так или иначе накинул. И подтянул бортом к шкафу свое судно. Край плоты прижался к этому «причалу», и плот стал устойчивей. Павлик осторожно дотянулся до дверцы, чтобы оторвать рейку. Рейкой можно было грести и отталкиваться. Он рванул. Дверь сорвалась и грохнула поперек плоты. По подвалу грянуло барабанное эхо. Павлик присел, ожидая вторжения тети Фени. Но было тихо.

Стуча зубами, он оделся. Потом заглянул в шкаф. Там плавал большой глобус с пробойной в районе северной Атлантики, а в углу стояли две большие палки, обмотанные грязной марлей. Сначала Павлик не подумал, что это за палки. Просто решил, что они длиннее и удобнее, чем рейка. И взял их.

— За них меня и вытащили,— сказал он.— А то как бы я выбрался? Окошко-то высоко, не уцепишься.

— Кто вытащил?

— Да так... Девчонка одна. Милка Журавлева. Она сзади меня на парте сидит. Я у нее чернила макая, когда у меня нет.

Я хихикнул. Имя было коровье: так звали корову Таисии Тимофеевны. А Павлик неожиданно рассердился:

— А чего гогочешь? Кроме нее, никто не знал, что я туда полез! А она знала и прибежала посмотреть, где я. И вытащила. А кто бы еще вытащил? Ты, что ли?

Я гордо и обиженно ответил, что, конечно, вытащил бы, если бы был в школе. А Павлик сказал, что раз меня не было, то и хихикать нечего.

— Слушай лучше...

Только во дворе Павлик понял, какая у него ценная находка. Карта всего мира! Он решил, что школе она не нужна, а нам нужна очень. И сунул ее в снег.

Весь четвертый урок Павлик провел в беспокойстве: не украл ли кто-нибудь карту? Но она оказалась на месте...

Мы прогладили карту горячим утюгом, заклеили дыры, подровняли разлохмаченные края. Потом один конец верхней рейки положили на спинку кровати, а другой — на гвоздь, который Павлик нарочно вколотил в стену. Угол наш у печки оказался совсем отгороженным. Мы захватили в свои владения тумбочку, выкинули из нее всякий хлам и решили хранить в ней книжки.

Карта сделала уголок похожим на каюту. И все океаны, все земли были перед нами.

На следующее утро Павлик не пошел в школу. Не потому, что простудился. С ним-то ничего не случилось. Но чтобы просушить как следует валенки, Павлик затолкал их за печку, а она оказалась слишком горячей, и один валенок обгорел. У него обуглился бок и вывалилась пятка.

Открылась эта беда утром. Я услышал, как тетя Аня за стенкой кричит плачущим голосом:

— Паразит ты безмозглый, нет на тебя никакой погибели! Не мог ты сам сгореть у этой печки! Это что же такое делается на свете!

Затем донеслись удары, похожие на отдаленное уханье барабана. Я узнал после, что тетя Аня в великой досаде лупила дорогого сына обгоревшим валенком между лопаток. И в самом деле, как тут было не расстроиться? Других валенок у Павлика, разумеется, не было. Их надо было покупать или выменивать на толкучке. Чтобы купить — лишние деньги нужны. А чтобы выменять... Ну, на что обменяешь? Чаше всего меняли на хлебные карточки. Но ведь тогда с голоду совсем заведешь.

Однако лупи не лупи, горю не поможешь. К тому же после каждого удара валенок выбрасывал клубы едкой коричневой пыли. Тетя Аня закашлялась, швырнула остатки валенка под кровать и ушла на работу. Дверью грохнула так, что дом заколыхался и долго дзенькал стеклами, а наш старый самовар крякнул и осел на один бок.

Павлик остался дома. Я позавидовал такой его удаче и поплелся один в школу, потому что повторить свой трюк с кашлем не решился. Когда я вернулся, Павлик встретил меня на пороге. Сказал нетерпеливо: — Пойдем, покажу что-то...

В комнате на черной клеенке стола лежала знакомая мне летняя испанка с кисточкой. Вернее, не лежала, а стояла торчком, пряча под собой что-то загадочное.

Павлик оглянулся на меня и поднял испанку за уголок. Поднял осторожно, словно там сидела удивительная бабочка и он не хотел, чтобы эта бабочка сразу улетела.

Она не улетела. Она оказалась белым корабликом.

Кораблик был нарисован на бумаге, вырезан и держался на маленькой подставке. То есть мне сначала показалось, что он нарисован, а потом я разглядел, что это печатная картинка.

Были у кораблика круглые борта, высокая узорчатая корма, туго надутые паруса разных размеров и форм. Самый маленький парус пристроился под задорно вздернутым бушпритом.

Удивительный был кораблик — весь наполненный ветром.

Павлик ласково сказал:

— Каравелла... Вот она какая.

Так появилась у нас каравелла.

В общем-то не случилось ничего необычного. Просто

Павлик начал от скуки рыться в старых журналах и нашел в одном картинку с корабликом. Он безжалостно вырвал лист, наклеил вареной картошкой на кусок картона и очень аккуратно маленькими ножницами вырезал каравеллу. Потом он укрепил ее на подставке из разрезанной пополам картофелины.

А днем он показал каравеллу мне. Вот и все.

Но мы оба понимали, что это не все. Потому что очень хотелось необычного.

— Пойдем,— сказал Павлик.

Мы пролезли за карту, в нашу «каюту». На тумбочке вместо развалившейся электроплитки с чайником стояла старая лампа без абажура. Она ровно и неярко освещала пестрые земли и синие океаны. Без лампы здесь было бы темно: ведь печка не топилась.

Павлик посмотрел на меня с незнакомой какой-то улыбкой — немного смущенной и мягкой.

— Океаны есть,— сказал он.— Моря есть... Да, Владик? Можно плавать где хочешь...

Было тихо. За окнами далеко прогудел паровоз. Скреблась за шкафом старая, всем знакомая мышь. Еле слышно звенел в горячей лампочке волосок. Я молча поставил на ладонь каравеллу и поднес ее к карте. Она оказалась в Охотском море.

— Нехорошее место,— вполголоса сказал Павлик.— Японцы, подводные лодки.

Я кивнул и, качнув ладонью, повел каравеллу к выходу в океан, держась у берегов Камчатки.

Так началось Плавание.

Уставала рука. Ныло плечо, затекала кисть. Ведь плавание продолжались подолгу, и все это время приходилось держать кораблик у карты. В поднятой ладони.

Конечно, можно было сделать иначе. Можно было карту развернуть на полу, а каравеллу двигать по морям, как пешку по доске. Но мы так никогда не поступали. Почему? Трудно объяснить. Нет, мы не боялись открыть нашу «каюту»: все равно все вечера мы были одни. Боялись другого: если сделаем что-нибудь не так, как вначале, исчезнет радость игры. Эта радость, окрашенная легким отблеском тайны и приключений, требовала многого. Ей нужен был тихий шелест висящей

карты, потрескивание огня, покачивание ладони, на которой стоит каравелла. И даже ноющая усталость в руке была нужна. Так уставали руки рулевых после долгих штормовых вахт. Мы боялись что-то изменить. Так боятся легким шумом спугнуть лесную тишину или неточной линией испортить хороший рисунок.

Мы полюбили каравеллу радостно и крепко. Порой я забывал, что она просто плоский бумажный кораблик. Каравелла снилась по ночам — большая и настоящая. Подробно и ярко я видел, как подходит она к скрипучему деревянному пирсу и выпуклый борт ее нависает над грудями пузатых бочек, свернутыми в кольца канатами и причальными тумбами. Высоко поднимается корма, похожая на узорчатый дом с узкими окнами и балкончиками. Пахнут дегтем коричневые доски обшивки. Почему-то пахнут огуречным рассолом желтоватые свернутые паруса. На тугих, как струны, вантах сидят и весело скалят зубы парни в пестрых косынках. И вся каравелла, еще не остывшая от солнечного жара южных морей, дышит теплом, как подошедший вплотную паровоз...

Слова «мыс Горн», «Кейптаун», «Каттегат», «Тасмания» уже не звучали как непонятная музыка. Мы знали, где эти места, чем хороши и чем опасны. Мы прошли на своем судне через два океана вслед за Диком Сэндом, а потом повторили тяжелый путь Лаперуза. О Лаперузе прочитали мы в суровой и печальной книге «Навстречу гибели».

Тень нашей каравеллы скользила по океанам.

Еще в тот вечер, когда я впервые поставил каравеллу на ладонь, Павлик сказал:

— Ты не шурши ею по карте, держи ближе к свету. Пусть на карту падает тень. Там, где ляжет тень от бушприта, — там мы, значит, и плывем.

Я придвинул каравеллу к лампе, нацелив бушприт на мыс Доброй Надежды. Тень нашей каравеллы темной бабочкой легла на Индийский океан...

Там, где ляжет Тень Каравеллы, зашумят над волнами наши паруса и защелкают флаги. Там, где ляжет Тень Каравеллы, мы пройдем сквозь тяжелые удары выстрелов и штормовое завывание ветров.

Там, где ляжет Тень Каравеллы, будут трудные дороги, соль разъест на ладонях кожу, морозы сожгут

лицо, солнце обуглит плечи. Тысячи загадок лишат человека покоя и сна. Но не будет там в жизни уныния и ленивой скуки.

ДВА КАПИТАНА И БОББИН ГАПП

Павлик, брат мой и товарищ... Вот ведь как получилось! Семь лет жили рядом, переключались по вечерам через тонкую стенку, спорили временами, вместе иногда в кино бегали, случалось потом — вместе шагали в школу. Заглядывали в гости, чтобы поболтать — просто так. И не знали до той зимы, как мы нужны друг другу.

А ведь были нужны, черт возьми! И не только в те вечера. Ведь недаром так отчаянно искали друг друга потом, хотя в жизни хватало иных забот.

Я помню, как встретились мы через... даже боюсь сказать, сколько лет. Я приехал к нему в окруженный соснами городок, взлетел по лестнице на третий этаж, отбиваясь чемоданом от возмущенного вахтера, толкнул дверь со знакомой фамилией на табличке...

Конечно, я знал, что не увижу там худого мальчишку с отросшей челкой над озорными глазами, в больших валенках и голубом бумажном свитере с широкой щелью застежки на левом плече. Но все же растерялся на секунду. Я увидел коренастого дядьку с залысинами, с рубцом на щеке. Дядька энергично орал в телефон. Я с удовольствием выслушал конец разговора:

— ...посылал и буду посылать! И не одну, а четыре экспедиции. Нет, четыре! Что?! Пусть катится со своей комиссией ко всем морским ведьмам! Вот так! — Он швырнул трубку на рычаг и поднял на меня глаза. Дядька был незнакомый, а глаза — Пашкины. — Значит, это ты и есть? — спросил он, остывая и делаясь насмешливым (вот язва, все такой же!).

— Свинство не писать столько времени, — сказал я, швыряя в кресло чемодан (кресло охнуло). — Бюрократ. Телефончики тут у него, понимаете ли... И скажи вашему вахтеру там, внизу, чтобы не кидался на меня, как на шпиона...

— Смотри-ка ты, — заметил он, прищурившись, — еще и ругается. Ну-ну... А в общем-то ничего, хорош. Длинные брюки тебе идут. И значок университетский...

— Лысая образина, — сказал я. — А ведь был когда-то похож на человека.

— Книжечки все пишешь? — спросил он. — Знаю, читал как-то. Одну. Ничего. Не Чехов, конечно...

— Он читал! — хмыкнул я. — Можно подумать, что он что-то читает, кроме своих графиков и отчетов. Растерял всю шевелюру над своими синхрофазомолотилками. Кабинетная крыса.

Мы медленно сошлись, меряя друг друга насмешливыми взглядами. Он вдруг облапил меня и тихо сказал:

— Владька... Владька...

— Павлик...

Но это было потом, долгое время спустя. А в ту зиму мы не думали ни о будущих встречах, ни о расставаниях. Мы были счастливы.

Среди огорчений и редких радостей школьной жизни, среди снежных игр и дневных забот Павлик оставался прежним. Как и раньше, убегал куда-то с неизвестными мне Серегой Сазоновым и Вовкой Брыком. На переменах со своими приятелями гонял во дворе обледенелый дырявый глобус, который у них назывался «мяпа». Строил с Дыркнабом какие-то сани с рулем. Правда, он не насмешничал, как раньше, но почти забывал про меня.

Но я пишу про Каравеллу. И та зима вспоминается сейчас не ставшими чернилами, не тетрадками, сшитыми из газет, не очередями у магазина. Она вспоминается как непрерывная цепь «корабельных» вечеров.

В ожидании такого вечера Павлик становился спокойным и ласковым. Он даже называл меня Владик, а не Владька, хотя Владькой меня звали все, в том числе и мама.

Я приходил к Павлику, когда за окнами плотно синели сумерки. Он меня ждал, не зажигая света. Бесшумно выходил из комнатного сумрака и вполголоса говорил:

— Пришел... Хочешь хлебушка?

Он вынимал из кармана плоский кусочек и ломал пополам...

Несколько лет спустя я услышал или прочитал где-то слова: «...и у огня он разломил с ним свой хлеб». Это были слова о братстве. Я вспомнил тот ломтик хлеба, частичку четырехсотграммового пайка.

Но это случилось потом. А тогда мы жевали кисловатый мякиш, разжигали печку и включали лампу. И доставали из тумбочки Каравеллу.

Мы не спорили об имени корабля. Он был просто Каравеллой. Мы не делили должностей и званий: оба были капитанами. Зато делили пополам не только хлеб, но и подвиги, и славу.

А подвигов было много. Вот их история, история Каравеллы, сложившаяся у огня и карты.

Однажды весной два моряка с миноносца «Летучий» попали в плен к фашистам. Эсэсовцы заковали их в цепи и отправили на гранитный остров у западных берегов Балтики. Ночью пленников держали в холодных фанерных бараках, а на рассвете угоняли на другой конец острова, где был тайный подземный завод. На заводе выпускались торпеды.

Конечно, два храбрых моряка не собирались работать на фашистов. Темной ночью они распилили цепи, стукнули часовых тяжелыми табуретками и отобрали у них автоматы. Потом беглецы бросились на аэродром, где стоял двухместный самолет начальника лагеря. Перестреляв охрану, они запустили моторы и взмыли над гранитными зубцами острова.

Моряками были, разумеется, Павлик и я.

Мы вырвались на волю! Сначала сбросили на завод бомбы, которые нашлись в самолете, а потом взяли курс на восток. Завод рвануло так, что самолет отбросило километров на сто! От удара мы потеряли сознание.

И я и Павлик были, конечно, хорошими моряками, но хорошими летчиками мы не были. Да и самолет был дурацкий — не наш, а немецкий. Мы заблудились среди туманов и туч. А потом ударил штормовой ветер, и нас понесло неизвестно куда. Горючее давно кончилось, но ветер был такой, что носил самолет, как бумажную голубку. А когда шторм кончился, мы увидели под крыльями волны океана.

Павлик посадил самолет. Машина была легкая и качалась на волнах, словно лодка. Из парашюта мы соорудили отличный парус, и пассаты несли нас по океану, пока не встал из воды заросший пальмами остров.



Там нас захватили в плен туземцы. Привязанные к пальмам, целый день мы жарились на солнце, а племя решало нашу судьбу. Наконец судьба была решена, и коричневые воины деловито зачиркали брусками по наконечникам стрел и копий.

— Скверное дело,— заметил Павлик.— Надо как-то сматывать удочки, а то продырявят в десяти местах.

Старый лохматый вождь Табу-Ретус, закутанный в плащ из нашего парашютного шелка, настороженно прислушивался к Пашкиным словам. Потом озабоченно заговорил по-английски (мы его, конечно, поняли):

— О чужеземцы! Речь ваша мелодична и совсем не похожа на карканье тех, кто прилетал сюда раньше на железных птицах с черными крестами. Кто же вы?

Мы горячо заверили почтенного вождя, что не имеем ничего общего с теми, кто прилетал сюда раньше, а «железную птицу» похитили у своих врагов.

В тот же вечер был большой праздник, и под бой барабанов племя смелых охотников за акулами приняло нас в почетные вожди. А старый Табу-Ретус, проследившись от волнения, сказал:

— Мы были бы счастливы, если бы вы навсегда остались с нами. Но вы — отважные воины. Вас зовет дорога битв и подвигов. Мы не задерживаем вас. Много тысяч лун назад здесь впервые появились белые люди. Они приплыли и погибли, потому что пришли как враги. Остался их корабль. Он стоит в тихой лагуне. Он стар, но крепок. Вы пришли как друзья, и этот корабль — ваш. Да хранят вас демоны моря...

И мы увидели Каравеллу.

Удивительно, как она сохранилась. Даже краска на деревянных узорах кормы облезла лишь местами. На гладком полу кают лежали солнечные рисунки узких решетчатых окон. Под бушпритом, на блинда-рее, зеленой бахромой повисли пышные лианы. Казалось, что у Каравеллы выросли усы. Мы взяли за ручки штурвального колеса. Оно со скрежетом повернулось, шевеля заснувший руль: в порядке. Паруса истлели, но у нас хватало материи от парашютов. Днище было обито медью, и морские черви его не тронули.

На палубе мы увидели восемь позеленевших пушчонок и подарили их Табу-Ретусу. Нам требовалось иное оружие.

Мы вооружили Каравеллу малокалиберной пушкой

с самолета, а потом, когда потопили пару немецких торпедных катеров, поставили еще несколько пушек и пулеметов.

И началась такая жизнь, что захватывало дух.

Мы жили в морях удивительных, как сон. В них бродили пиратские бриги, всплывали под звездное небо невиданные чудовища, у островов сквозь солнечную воду видны были затонувшие корабли. На них скрывались тайны и клады. А по горизонту, зловеще дымя, тянулись немецкие эскадры, еще не зная, какие беды им несет старинный корабль с блестящими парусами.

Для начала мы разгромили у берегов Тасмании парусную флотилию кровожадного Джимми Косопуза, а потом в северных фиордах утопили один за другим двенадцать фашистских катеров-торпедоносцев и сожгли их базу. После этого ушли в реку Амазонку, чтобы поохотиться на крокодилов. Это была не просто забава. Из крокодилийих шкур мы хотели сшить водолазные костюмы, чтобы в них пробираться на вражеские корабли.

В устье Амазонки нас заперла немецкая подводная лодка «Летучая пиявка».

Командир «Пиявки» фюрер-капитан Боббин Гапп, размахивая белым флагом, явился на борт Каравеллы. Он был худой и длинный, как грот-мачта, с лошадиной головой и блестящими стальными зубами. На его высокой фуражке сверкал череп со скрещенными якорями. Приятно улыбаясь, Боббин Гапп заявил:

— Я буду иметь предложить вам сдаваться. Ваша борьба есть без пользы. Если вы сдаться, мы вас отпустить домой. Если нет, мы вас бросим к акула.

— Мы будем иметь дать вам по шее,— учтиво ответил Павлик,— если вы сейчас же не уберетесь на ваш ржавый бочонок. А потом мы будем иметь пустить вас на дно. Только жаль акул, которые отравятся вашим протухшим мясом.

Боббин Гапп отправился восвояси и вызвал по радио на помощь два миноносца и пиратский клипер «Три кашалота».

Конечно, мы обманули врага и ночью ускользнули в океан. Однако на следующий день «Пиявка» и ее друзья стали догонять нас. Отстреливаясь, мы растянули на реях и штагах всю материю, до последней салфетки. К счастью, дул хороший ветер с веста. Клипер мы поожгли, а миноносцы и субмарина отстали.

Это был горячий денек и счастливый вечер. Ох, какая это радость, когда выигран бой, остывают стволы, ветер поет в такелаже, а впереди свободное море!

...В пятнадцать лет, когда, как и всем, пришла мне пора писать стихи, я вспомнил подвиги Каравеллы и об этом вечере оставил такие строчки:

В ушах пальбы утихнул звон,
И сумерки легли.
Ушли за темный горизонт
Чужие корабли.
Мы без огней плывем во тьме,
Уйдя от всех погонь,
И лишь украдкой на корме
Горит, как свечка на окне,
Нактоузный¹ огонь.

В тот раз мы ушли от «Летучей пиявки», но скоро она догнала нас и опять несколько раз посылала в нас торпеды. К счастью, мимо. Ночью мы подкараулили, когда «Пиявка» всплыла, чтобы набрать воздуха, и вцепили ей в рубку два снаряда. От такого «гостинца» Боббин Гапп сразу потерял смелость и повел свою посудину на базу ремонтироваться.

Пока он ремонтировался, мы освободили узников в том самом лагере, из которого бежали, побывали в Севастополе, где получили награды от командующего флотом, потом боролись с ураганом в гремящих сороковых широтах, охотились за работоторговцами на южном побережье Африки. И наконец решили навестить старого друга Табу-Ретуса.

У самого острова нас опять настигла проклятая «Пиявка». Мы едва успели проскочить в лагуну.

Мы сидели в гостях у охотников за акулами, а гнусный Боббин Гапп на своей посудине болтался у входа в лагуну и каждый день присылал с парламентарями ехидные письма.

Мы жаловались Табу-Ретусу:

— Чертово подводное корыто! Если бы вытянуть его на поверхность, мы бы дали ему прикурить! А под водой как его достанешь?

Мудрый Табу-Ретус думал.

— О мои братья,— изрек он наконец,— я думаю так: эта злая «Пи-явка» все равно что большая мор-

¹ Нактоузный огонь — лампочка на нактоузе (стойке, на которой укреплен корабельный компас).

ская черепаха из железа. А ловить больших черепах наши охотники умеют с давних пор. Нужны рыбы-прилипалы.

Про таких рыб мы слышали. Это очень ленивые морские твари. Чтобы не плавать самим, они присасываются к кораблям, к китам и даже к акулам и путешествуют вместе с ними...

Итак, Боббин Гапп радостно потирал руки, а мы ловили тем временем рыб-прилипал целыми сотнями и дрессировали их в лагуне. Потом мы привязали к хвосту каждой рыбы длинный линь из кокосового волокна и смело вышли в море.

Конечно, «Пиявка» бросилась на нас, но, прежде чем она успела выпустить торпеды, к ней устремились две тысячи дрессированных прилипал. Они облепили лодку со всех сторон. Мы запустили лебедку и подтянули Каравеллу вплотную к «Пиявке». Она болталась под нами на глубине пяти метров! Теперь Боббин Гапп не мог ударить нас торпедами. От взрыва развалилось бы его собственное корыто. «Пиявка» включила двигатели и долго таскала нас по морю. Потом у нее кончился воздух, и она всплыла.

Это было последнее всплытие «Летучей пиявки». От залпа наших пушек она развалилась на две части и пошла на дно.

Боббин Гапп выбросился через торпедный аппарат. Он долго плыл за Каравеллой, просил прощения, кричал и плакал. Потом его съел кашалот.

ДЮЯМОВОЧКА

По вечерам на морях и океанах мы совершали удивительные подвиги, но днем нас одолевали невзгоды. Особенно Павлика. Главной невзгодой была арифметика. Большие красные двойки с маленькими злыми головками все чаще проникали в Пашкины тетради. Это были отвратительные двойки, похожие на извилистых дождевых червей.

— У, глисты подлые! — брезгливо говорил про них Павлик.

Тетя Аня подолгу разглядывала тетради, а потом начинала кричать, что выдерет оболтуса и мучителя, как сидорову козу. Чтобы она не перешла от слов к

делу, Павлик ускользал ко мне. И говорил шепотом:
— Шторм одиннадцать баллов. Отсижусь, пока не утихнет.

Утихала тетя Аня быстро, и Павлик начинал жить по-старому.

Но однажды, в конце февраля, он вернулся из школы притихший и растерянный.

— Скверное дело,— мрачно сказал он.— Милку ко мне прикрепили. Совсем поганое дело.

Я молчал, ожидая подробностей.

— По арифметике меня вытягивать будет,— сообщил Павлик.— Такое у нее пионерское поручение. Она у нас звеньевая. Понятно?

— Понятно,— сказал я.— Это она тебя из подвала вытянула?

— Лучше бы не вытягивала,— сказал Павлик.

И вот она появилась. Высокая девчонка, выше Павлика. В перекошенном капоре, в маленьком полушубке, подпоясанном шарфиком, в лыжных штанах и подшитых валенках. Мы с Павликом вместе открыли ей дверь.

Милка взглянула на нас и почему-то удивилась:

— Ой, Пашка! А я тебя знаешь как искала! Я думала, ты в том доме живешь, на втором этаже...

Павлик пожал плечами и пробормотал что-то насчет думающего индюка. Потом неласково заметил:

— Дверь захлопни, а то холоду напустишь.

Милка не обиделась.

Мне она, конечно, не понравилась. Во-первых, некрасивая: долговзая, волосы короткие, будто у мальчишки, не то рыжие, не то коричневые какие-то. И рот большущий, как у акулы. Во-вторых, при таком росте надо быть поумней.

А она болтала, хихикала и удивлялась самым простым вещам.

Про старые стулья она со смехом сказала:

— Ой, какие забавные!

А что забавного? Скрипучие, облезлые, надоевшие. Только на спинках вырезаны по два дерущихся петуха. Может, и правда интересно с непривычки, но чего уж так веселиться!

Потом она удивилась медведю. Это был коричневый фаянсовый медведь с отбитым ухом. Он сидел на зеленой кочке и тянул мед из заброшенного бочонка.

— Ой, какой смешной!

После медведя Милка обратила внимание на меня. Тихонько спросила:

— Пашка, а это кто?

— Это Владик,— ответил Павлик.— Я же тебе говорил.

— А-а,— сказала Милка и почему-то сделалась серьезной.

Павлик виновато глянул на меня и сурово сказал Милке:

— Давай решать задачки... раз уж пришла. А то провозимся до вечера.

Я усмехнулся про себя: влип бедняга Павлик. И отправился к себе...

В тот день рано пришла из техникума Татьяна. Она решила помогать мне готовить уроки и довела до слез. Потом я взбунтовался и довел до слез ее. В этот момент постучал Павлик и вызвал меня на кухню.

— Нарешались? — сказал я.— Ушла?

— Не...— Павлик вздохнул.— Понимаешь, Владька, ей нельзя... У нее отец неродной. Он над ней всегда издевается, когда матери нет. А мать поздно приходит...

Я почувствовал сразу, как неловко ему, как трудно говорить.

Он, наверно, в кухню вытащил меня нарочно: здесь, в полутьме, почти не видно было лиц. Незаметно, если покраснеешь. И я уже знал, что он скажет дальше.

Павлик сказал:

— Знаешь, пускай она... посидит сегодня. У нас. А?

Ну что я мог возразить? В конце концов, ведь это она вытащила Павлика из затопленного подвала.

Я только спросил:

— А как... А Каравелла?

— Ну и что? — быстро сказал Павлик.— Думаешь, она не сможет играть? Думаешь, она глупая? Она только кажется сперва, что глупая, а на самом деле умная. Она...

Вот уж этого я не ждал! Нашу Каравеллу, нашу тайну — какой-то девчонке? Павлик спятил! Нет, в самом деле, что за чушь!

Но пока я искал слова, чтобы выразить все возмущение и обиду, Павлик опять торопливо заговорил:

— Ты знаешь, какие она книжечки принести может? У нее дома целая куча, вот честное слово, хоть сам

спроси, она сама скажет. Вот увидишь, еще лучше будет. Ты, Владька, только на нее не дуйся, а то она тебя боится.

— Меня?

Честно говоря, я клюнул именно на эту удочку. Все-таки здорово, если тебя, первоклассника, боится такая дылда.

В тот вечер игра не клеилась. У меня слова просто застревали. Стеснялся я при Милке открывать наши секреты и придумывать новые. И злился на нее. Да и Павлику было неловко; он только старался делать вид, что все в порядке.

Наша Каравелла увязла на одном месте, словно в мучном киселе. Мы не могли придумать ничего интересного.

Милка, наверно, все понимала. Но не уходила, сидела. Серьезная и внимательная. И вдруг сказала, не глядя на нас:

— Я одну книжку читала про саблезубых тигров. Они на острове жили. Давайте откроем такой остров. И устроим охоту...

Ветер слабо шевельнул наши паруса.

— Этот остров какой? — с надеждой спросил Павлик.

— Как «какой»?

— Ну, какие берега, скалы, деревья? — мрачно пояснил я. — Надо же знать. Думаешь, так просто? Открыли — и все? А вдруг перед ним подводные рифы? Как напоремся...

— Какой ты скорый! — запальчиво сказала Милка. — Открой, тогда и узнаешь! Конечно, рифы... Надо на шлюпке разведать, а не лезть наобум.

— Вот и отправляйся, — предложил я. — На шлюпке... А нам нельзя. Мы руль должны держать и паруса.

— Хорошо, — негромко сказала Милка. Помолчала и заговорила, глядя в огонь: — Ну вот... Это большой остров... Не очень большой, средний. У него берега высокие. Желтые от глины. И скалы высокие. А наверху сплошные джунгли. С одной скалы бежит в море ручей. А на обрыве стоит каменный идол, большой такой и зубастый. Его дикое племя сделало. Только сейчас племени нет, его все сожрали саблезубые тигры.

— Вот скоты! — обрадованно сказал Павлик и дернул затвор воображаемого карабина. — Ну, мы им дадим!

Вечер окончился полным истреблением свирепых зверей. Только двух мы взяли живьем, чтобы приручить.

И все-таки вечер был не таким, как раньше. Вдвоем было лучше. Я утешил себя тем, что Милка больше, наверное, не появится.

Но она появилась. На следующий день.

— Смотри, что она придумала! — бодро сказал Павлик, а глаза у него были виноватые.

Милка догадалась, как делать над морями день и ночь. Она принесла два лоскутка: белый, с вышитым желтым солнцем, и черный, шелковистый, с белыми бумажными звездочками. Эти лоскутки можно было по очереди расстилать на тумбочке.

Если бы такое дело выдумал Павлик, я бы сразу сказал, что это здорово. Но сейчас мне стало обидно.

Я придрался:

— А если вечер? Или утро? Тогда как, а?

— Что-нибудь тоже можно придумать, — тихо сказала Милка. — Я сегодня дома подумаю.

Она это мне говорила, а не Павлику. Словно спрашивала у меня разрешения. Была она сейчас какая-то нерешительная, сидела на краешке стула и разглядывала свои валенки. В эту минуту я понял: плевать ей на Пашкину арифметику.

— Ну... давайте, что ли, — хмуро сказал я и первым полез под карту, в нашу «каюту».

В тот вечер дела шли лучше. Милка почти не робела, я уже не стеснялся, Павлик был рад, что мы не дуемся друг на друга.

Когда Милка ушла, Павлик потоптался со мной и неловко сказал:

— Послушай... Пускай уж она приходит... если ей так охота...

Что было делать? Я согласился, хотя и без восторга:

— Пускай...

Прошла неделя, и к Милке я почти привык.

Я привык, но все еще смотрел на Милку косо. Это была тоже привычка.

Как-то после уроков Милка догнала меня у дверей школы. Она шла чуть позади, возвышаясь надо мной, как Гулливер над лилипутом. Гулливер в кривом оран-

жевом капоре. Павлика с нами не было: его оставили учить стихотворение, которое он не выучил дома.

Мы шагали молча, и Милка временами шумно вздыхала у меня за плечом. Это меня злило. А день был синий от неба и ярко-желтый от солнца. Звенела каплями оттепель, и радостно галдели воробьи на потемневшей дороге. Не хотелось ссориться в такой день. Я решил очень просто отвязаться от Милки: постою с минуту, будто любуюсь каплями, а она пускай двигает дальше.

Я остановился у ржавой водосточной трубы. В полметре от земли она круто изгибалась, а ее срез был украшен сосульчатой бородой. С бороды стеклянным горохом сыпались капли. Иногда они сливались в искристую струйку, но тут же опять разбивались на шарики.

Под трубой была бугристая наледь. Капли выбили в ней ямку с чайное блюдце. Вода в этом круглом озерке брызгала и пузырилась. Ей не хватало места, и она проточила в наледи канавку. Хрустальный ручеек сбегал с ледяной горки и нырял под снежный пласт у тротуара.

Я стоял и смотрел. Эта прилипала Милка тоже останавлилась.

И вдобавок сказала:

— Как красиво...

Я бросил портфель и сел на корточки. Брызги ледяными иголочками начали колоть лицо. Я подобрал раскисший спичечный коробок и пустил его в пляшущую лужицу. Он запрыгал под ударами капель, а потом боком-боком подвинулся к истоку ручейка, протиснулся в ледяной желобок и заскользил вниз, царапая донышко.

— Как кораблик! — обрадованно сказала Милка. — В него бы Дюймовочку сейчас посадить. Да?

Я хмуро глянул через плечо:

— Чего?

— Дюймовочку... Ты что, не слыхал про Дюймовочку?

Я пожал плечами.

— Ну и что? Наверно, зенитка какая-нибудь. Трехдюймовка — полевая, а дюймовочка — мелочь какая-то. Зачем ее на корабль ставить?

Тут я впервые увидел, как Милка хохочет. Она запрокинула голову, зажмурилась и переступала с ноги

на ногу, будто стояла босиком на горячем тротуаре. И заливалась: ха-ха-ха-ха-ха... Без перерыва, без роздыха. Капор съехал совсем на затылок и пламенел под солнцем, как петушинный гребень. Волосы сияли медным блеском.

— Дура,— сказал я коротко и сурово. Поднялся и взял портфель.

Смех ее обрезало, будто ножницами. Милка заморгала и жалобно спросила:

— Ну зачем ты сердишься?

Я не ответил и пошел прочь, гордо помахивая портфелем. Ей, длинноногой, ничего не стоило догнать меня. Она вышагивала сзади и оправдывалась:

— Я же не знала, что ты не знаешь. Дюймовочка — это не зенитка совсем, а девочка, такая маленькая, меньше спички. Такая сказка есть в книжке...

Подумаешь, девчонка меньше спички! Я про Гулливера читал, там этими лилипутиками кишмя кишит! Чтобы посильнее досадить Милке, я сказал:

— Если читала, значит, хвастаться надо, да? Ну, давай, давай хвастайся! Гогочи, как гусыня! Сама тогда наобещала: «Книжек интересных принесу», а вместо книжек — фига. Ни одной еще не дала. Где они, твои книжечки, а?

— Ой, ну пожалуйста! — обрадованно заспешила Милка. — Ну, хоть сейчас! Давай зайдем! Зайдем, а? Ну, Владик...

Она здорово меня упрашивала. Я поупрямился с полминуты и пошел с ней.

Милка жила в одноэтажном бревенчатом доме. Один угол у дома круто осел, и окна перекосились, как у выброшенного на отмель корабля. Я не стал заходить, потому что помнил про Милкиного неродного отца. Милка вынесла мне пухлого «Следопыта» и плоскую серую книгу с тремя сказками: «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик» и «Бременские музыканты». До сих пор не понимаю, почему две сказки Андерсена были напечатаны вместе со сказкой братьев Grimm. Потом я долго путал этих писателей.

Сказки я прочитал не сразу, потому что сначала налег на «Следопыта». Читать его было трудно, а оторваться еще труднее.

Так или иначе, с Милкой мы помирились. Правда, через несколько дней снова чуть не получилась ссора.

Я пришел к Павлику, когда они с Милкой дружно хохотали, повторяя сквозь смех слово «Дюймовочка». Увидели меня и смеяться перестали. Горькое подозрение зашевелилось во мне.

Павлик сказал:

— Милка рассказывала про Дюймовочку. Как ты подумал, что это пушка.

Я онемел от возмущения. Такое предательство!

Но Павлик продолжал как о пустяке:

— Только это еще не так смешно. Вот я, когда в первый раз слово «каравелла» услышал, думал, что это верблюдница, которая в караване ходит...

Милка снова захохотала. Это было и вправду смешно, и я подавил обиду.

В тот день сырой, тяжелый ветер начинал весну. Натужно скрипели заборы. На крышах приподнимались и грохали железные листы. Снег темнел и оседал, как промокший сахар. Из него хорошо было скатывать тугие снежки, но никто не скатывал — такой ветер! Это был зюйд-вест, теплый циклон с южных морей.

Возвращаясь из школы, я встретил двух моряков. Сначала я не удивился. Много моряков лежало в городском госпитале, и перед выпиской они часто гуляли по улицам. Но эти были не из госпиталя. Они шли с автоматами. Странно...

Один был в черной ушанке, второй — в бескозырке. Он шагал, наклонившись навстречу ветру, смеялся и держал в зубах ленточки, чтобы бескозырку не унесло. Совсем как в штормовых книжках о море.

Мне показалось почему-то, что эти моряки и тяжелый серый ветер связаны друг с другом. Даже представилось на миг, что на реке, под желтыми обрывами, толпятся вперемешку башенные крейсера и высокие бриги с отсыревшими парусами. Но я знал, что река еще подо льдом...

Небо навалилось на крыши громадой темно-синих туч. Эта плотная синева рождала глухое беспокойство. Ветер нес ожидание каких-то непонятных и тревожных событий. И я не удивился, когда такое событие в самом деле произошло.

Исчез Павлик.

Он не пришел из школы.

До вечера никто не беспокоился. Просто некому было беспокоиться до вечера. Только меня грызла досада: носится где-то со своими друзьями, в снежки играет. А может, с Милкой. Читают там свою «Дюймовочку». Хотя нет, книжка-то у меня.

Стемнело, а он не пришел. Может быть, у матери в кино сидит?

Ветер старательно расшатывал дом. Я не стал готовить уроки. Не дождавшись Павлика, я уснул одетым и увидел во сне, что синие тучи — живые. Они тяжело и дружно взмахивали сырыми крыльями. Павлик держал в стиснутых зубах ленточки бескозырки и прижимался спиной к мокрому забору. Над забором, среди брызг и рева ветра, медленно поворачивались башни крейсера.

Меня растолкала мама:

— Владька, где Павлик?

Я будто и не спал. Отчетливо понимая, что случилось беда, я тихо сказал:

— Не знаю. Я сам ждал...

За стенкой громко плакала тетя Аня.

— Ты его видел сегодня?

— В школе.

— А потом?

— У них пять уроков было. У нас четыре. Я домой ушел. А он не пришел... Его нет?

— Его нигде нет, — вполголоса сказала мама. — Анна Васильевна всех мальчишек обегала, тех, кто знает. Где он еще может быть? Не знаешь?

— Не знаю.

Ходики показывали двенадцатый час. По-прежнему ровно и могуче гудел зюйд-вест. Я украдкой натянул пальто и шапку.

На крыльце ветер ударил меня тяжело и упруго. Я грудью почти лег на тугие потоки воздуха и пошел темными переулками к Милкиному дому. Я не боялся ни темноты, ни жуликов. Не боялся даже того, что придется среди ночи колотить в дверь чужого дома и будить незнакомых людей. Ветер был такой, что уносил все страхи.

Ночь свистела в тополях. Она казалась такой же, как та, во время которой погиб старый Билли Бонс. Но сейчас опасность грозила не книжному Билли...

По-моему, я очень быстро добрался до Милкиного дома. А может быть, так показалось: минуты летели

стремительно, со скоростью ветра. В окнах была темнота. Я некоторое время спорил с ветром, который навалился на калитку со стороны двора и не давал открыть ее. Потом поймал секундное затишье и проскочил во двор.

На крыльце я впервые почувствовал опасение. И тогда, чтобы оно не успело вырасти, я несколько раз ударил валенком в дверь. Бухающие удары мягко отдались в доме. Мне вдруг очень захотелось, чтобы никто не ответил, не вышел. Но пока я так думал, в окошке рядом с крыльцом засветилась желтая щель. Потом взвизгнула дверь в коридоре и заспанный, хриплый голос мужчины сказал:

— Ну вот... Кого там еще?

— Милку надо! — с отчаянной решимостью потребовал я. Кажется, и мой голос тоже прозвучал сердито и хрипло.

Я ждал ругательств и расспросов, но услышал, что дверь захлопнулась. Вот и все. Никто, конечно, Милку не позовет.

Но щель в окошке не гасла. Потом опять завизжала дверь и зажегся свет в коридоре.

— Кто? — негромко спросила Милка.

— Открой.

Она открыла, больше не спрашивая. И сказала без удивления:

— А, Владька...

— Где Павлик? Знаешь?

— Нет, — поспешно сказала она. — Вот чудной! Ну откуда же я знаю? Ничего я не знаю.

— Он тебе ничего не говорил?

— Ничего.

Вот и все. Спрашивать больше было нечего. Милка стояла на пороге, переступая большими мужскими валенками и придерживая на груди запахнутое пальтишко.

— Ладно, я пошел.

— Подожди... А его дома нет, да?

«Вот дура», — подумал я.

Она окликнула снова:

— Владька! Ты не бойся... С ним ничего не будет.

— Иди домой, — сказал я от калитки.

Теперь ветер бил в спину. Он донес меня до дома, как перышко. А на пороге, тоже как перышко, меня подхватила мама и наградила довольно весомым подзатыльником.

— Негодный мальчишка!.. Прикажешь еще из-за тебя нервы трепать?! Мало нам одного. Где ты был?

— У девочки одной... Про Павлика узнать.

— У девочки...— сказала мама, остывая.— Ну... узнал?

— Ничего она не знает.

— Тоже додумался! Один ночью! Мог бы ведь меня позвать!

Я молча разделся и залез под одеяло. «Меня позвать!» Кто слышал, чтобы капитаны, отправляясь в поиски, брали с собой мам?

Я лег, и тут пришла запоздалая обида.

— На улице такой ветрище,— громко сказал я,— такой холод, а она дерется! Драться-то легко...

— Мало тебе еще,— заявила со своей кровати Татьяна.

Я свернул в тугую муфту подушку, чтобы запустить ею в любимую сестрицу. Но тут навалилась усталость, которая не оставила места ни для обид, ни для тревог. Я уснул, как провалился.

...Наутро я узнал, что Павлика по-прежнему нет.

— Поторапливайся,— сказала мама.

Мысль об уроках мне казалась дикой. Но маме она дикой не казалась, и меня прогнали в школу.

В школе никто не знал, что Павлик потерялся. То есть учителя, наверно, знали, но ребятам не говорили. Милку я не нашел: видимо, не пришла.

Уроки тянулись бесконечно. Я списывал с доски примеры, писал в тетрадке какие-то слова, смотрел в «Книгу для чтения», а мысль была одна: «Павлик... Павлик... Павлик... Павлик... Павлик...»

Может быть, он попал под грузовик? Но тогда мы это уже знали бы. Может быть, его убили грабители? Но зачем его грабить? Пальто все в заплатах, валенки дырявые. Может быть, его похитили шпионы? Но для чего? Если бы у него отец был какой-нибудь важный командир... Но у него еще до войны отца не было никакого...

Уроки все-таки кончились. Нельзя сказать, что я мчался к дому стрелой. Я боялся узнать, что еще ничего не известно.

Павлик был дома.

Мама тоже была дома, собиралась в редакцию на ночное дежурство. Она рассказала, что Павлика при-

нес на руках пожилой хмурый железнодорожник. Он посоветовал тете Ане выдрать своего беспутного сына. Тетя Аня драть Павлика пока не стала, потому что у него болело разбитое колено. Она только заплакала, велела Пашке лежать и ушла на работу.

С Павликом случилось вот что. Вчера на улице он, как и я, увидел моряков. И пошел за ними. Моряки шли на станцию. Там на дальних путях стоял эшелон. Морской эшелон. На площадках товарных вагонов сидели матросы с черными автоматами. Пересекая стрелки, выскакивая из-под вагонов, огибая шипящие паровозы, к теплушкам бежали моряки. Вдоль состава пролетел лязгающий грохот. Вагоны тронулись. Видимо, Павлик решил, что сейчас или никогда. Судьба посылала ему удивительный случай. В одну секунду он мог оказаться в мире замечательных людей, черных бушлатов, боевых автоматов. А дальше — стальные настоящие корабли, настоящее море, матросский воротник и звание юнги... Он сжал зубами ручку портфеля и прыгнул на подножку...

Наверно, это было так. Точно я не знаю. Говорить об этом с Павликом не пришлось.

Эшелон шел без остановок до ночи. Он спешил на восток. На Дальний Восток.

Ночью на маленькой станции, когда за Павликом пришли два милиционера, он прыгнул из вагона, не устоял и, упав, ударился коленом о рельс...

Едва дослушав маму, я бросился к двери.

— Не ходи,— строго сказала мама.— Он сейчас спит.— И добавила вполголоса: — Фокусники...

Через полчаса громко ухнула перегородка. Это Павлик, вызывая меня, бросил валенком в стенку...

Он сидел в кровати, укрывшись до пояса одеялом. Там, где у Павлика было колено, рыжее одеяло вздулось, будто под ним лежал футбольный мяч. Столько бинтов намотали.

Я стоял и смотрел на эту одеяльную опухоль. Павлик тоже стал смотреть на нее: обоим было неловко.

— Болит? — спросил я.

— Сейчас не болит. Вчера здорово болело.

— Как это ты стукнулся?

— Об рельсу...

Мы замолчали. Нам впервые трудно было разговаривать. Павлик нехотя спросил:

— Тебе, наверно, все рассказали?

— Ага.

Я видел: ему не хочется рассказывать. Кому приятно говорить о своем поражении?

— Тетя Аня сильно плакала,— хмуро сказал я.

— Знаю... Беспокоилась.

— Думаешь, я не беспокоился? — сердито спросил я.

Павлик спокойно повторил:

— Я знаю. Но это же недолго. Завтра бы Милка все рассказала.

— Милка?!

Он даже вздрогнул.

— Милка? — сказал я.— Она знала?

— Ну... да,— кивнул Павлик.— Она же со мной была. До самой станции, до вагона. А ты думал, я никому, что ли, не сказал?

Такой был ветер в ту ночь... Наверно, раз в сто лет бывает такой ветер. С ног сбивал. А я шел. Я шел, чтобы правду узнать, а она...

— Что же она мне наврала? Я же ночью нарочно ходил...

— Она не виновата. Я ей велел два дня никому не говорить.

— И мне?

— Я ей просто сказал: «Никому». Ну, Владька, некогда же было!

— «Некогда»... — сказал я.— Ей, значит, можно было знать, а мне нельзя, да?

— Тебе же лучше. Тут бы из тебя все жилы вымотали: как, да что, да не знаешь ли... А так ты и по правде ничего не знал.

— Думаешь, проболтался бы, да?

(Конечно, молчать было бы трудно, когда видишь, как убивается Пашкина мать. Но он-то этого не знал. Как он смел во мне сомневаться?)

— Врешь ты,— сказал я.— Ты нарочно велел не говорить мне. Скажешь, не нарочно? Ну, скажи «честное морское».

Он молчал.

— Я тебе всегда все говорил,— с горечью сказал я.— А ты...

— «Всегда»... Что ты мне говорил?

— Все говорил! Как в ручей в овраге провалился, говорил! И как два патрона нашел! И как в тетрадке «кол» соскоблил, и как...

Я вдруг замолчал. Да, я открывал ему все свои тайны, но что это были за тайны! Подумаешь, «кол» в тетрадке...

Ну, а разве я виноват, что большой тайны у меня никогда не было? Разве бы я скрыл?

Мы оба читали одни и те же книжки — про людей, откровенных и надежных, как сталь. Мы оба знали одни и те же законы верности и чести. Оба знали, что в друзьях не сомневаются, не лгут, не предают их. Он нарушил закон.

— Предатель,— сказал я. И это был конец.

— Кого я предал? — спросил Пашка и, шевельнув ногой, сжал зубы. Наверно, от боли.

— Сам знаешь кого. Конечно, не ее, Милочку свою. Целуйся теперь с ней, с невестой...

— Заткнись,— внушительно посоветовал Павлик.— Думаешь, если нога болит, так я не встану?

— Встань,— сказал я и ощутил прилив ясного бесстрашия. Обида заливала меня.— Ну, встань, я не убегу. Не бойся, я маленький. Стукнуть можно, сколько хочешь. Думаешь, я тогда не скажу, что ты предатель?

— Слезки уже каплют,— мрачно заметил Павлик.— Нюня. Правильно, что она не сказала тебе.

Слезы еще не капали, но были уже близко. Чтобы он не видел их, я ушел, захлопнув дверь, которую потом не открывал ни разу.

ОДИН

С этого дня мы стали жить порознь.

Каравелла больше не уходила в опасные плавания. Видимо, навсегда она осталась в скучной болотистой лагуне. Обрастали тягучими лианами мачты, ветшали паруса. Киль покрывался наростами из ракушек. Днище точили морские черви торадо.

Милка больше не приходила к Павлику. Может быть, он и с ней поссорился?

От скуки я взялся за Милкину книжку и прочитал всю. «Дюймовочка» мне не понравилась. А «Оловянный солдатик» понравился. Это была смелая сказка, хотя и с печальным концом. Я ее читал три раза. А «Дюймовочку» больше не читал — было почему-то грустно.

Иногда я думал о том, как все глупо получилось. Столько было хорошего, а потом один короткий раз-

говор — и все. Разве так бывает, если настоящая дружба?

Но разве была не настоящая?

Временами казалось мне, что ничего не случилось. Особенно по вечерам. Я слышал сквозь тонкую стенку, как Павлик ходит по комнате, двигает поленья у печки, шелестит листами книги. В такие минуты я был почти уверен, что все можно поправить. Надо пройти через кухню, тихо потянуть на себя дверь. Она отойдет с жалобным скрипом. Павлик шагнет из полумрака и тихо скажет: «Пришел... Хочешь хлебушка?»

Наверно, так и надо было сделать. Надо было... А я сидел один в своей комнате и листал давно прочитанные книжки.

Однажды Павлик подошел к моей двери:

— Владька...

— Что? — откликнулся я, и сердце у меня подпрыгнуло.

— Ну, открой.

— Зачем? — капризно сказал я. Дурацкое упрямство подавило секундную радость.

— Просто так,— тихо сказал Павлик.

— «Просто так» делает дурак,— холодно сообщил я. Павлик помолчал. Потом медленно спросил:

— Трудно, что ли, открыть?

— Мне мама не разрешает никому открывать.

Павлик постоял еще и зашагал к себе, шлепая по полу оторванной подошвой подшитого валенка. Потом я услышал, как он оделся и ушел из дома.

Я все еще стоял и смотрел на дверь, которую не открыл. Она была в желтых чешуйках облупившейся краски. По чешуйкам, неловко семеня, спешил вверх маленький серый паук.

Я вернулся в комнату, лег на кровать и отвернулся к стене. В доме было тихо и пусто.

...Через неделю Павлик с матерью уезжали. Не знаю точно, что случилось. Подруга тети Ани уступила им не то навсегда, не то на время маленький свой дом на соседней улице, а сама куда-то укатила.

Я стоял, прижавшись щекой к стеклу, и смотрел, как Павлик уезжает.

День был теплый, но серый и скучный. Низкорослая печальная лошадь подтянула к крыльцу широкие сани. Круглые бока лошади были сырыми. Волос на них слипся в кривые короткие сосульки.

Где-то среди веток отчетливо и громко кричал воробей: «Чиф!.. Чиф!.. Чиф!..» Лошадь дергала ушами. Ей, наверно, не нравился этот надоедливый крик. Мне он тоже не нравился.

Анна Васильевна и Павлик выносили вещи. Знакомые стулья с «петушиными» спинками, тумбочку с фарфоровым шариком вместо ручки, желтую этажерку. Под открытым небом эти вещи казались маленькими и какими-то беззащитными. Стали хорошо видны их царапины и заплаты.

Павлик вынес одноухого медведя. Он поставил его на облезлый чемодан. Однако чемодан лежал криво, и медведь медленно поехал с желтой клеенчатой спинки. Павлик снова взял его на руки и сам устроился на чемодане, уцепившись локтем за ножку перевернутого стола.

Я торопливо отошел в глубь комнаты: показалось, что Павлик сейчас обязательно взглянет на мое окно. Он не взглянул. Сидел и смотрел на своего медведя, будто в первый раз увидел. Наверно, нарочно. Ну и пусть!

Анна Васильевна тоже села в сани. Вещей набралось немного, ей хватило места. А возчик не сел. Он дернул лошадь за повод и повел со двора. Сани описали на сыром снегу широкий полукруг и поползли в открытые ворота. Павлик зажал медведя между колен и теперь держался за ножку стола двумя руками. Он сидел съезжившись, и я не видел его лица. Видел только серую ушанку с распущенными завязками. Потом сани скрылись за распахнутой половинкой ворот.

«Чиф!..— орал бестолковый воробей.— Чиф!..»

— Дурак,— сказал я ему. Чтобы не зареветь.

Пошли одинаковые, серые дни.

Нельзя сказать, чтобы грызла меня все время тоска. Нет. Ведь надо было и в школу ходить, и домашние задания готовить. Надо было и в овраг сбегать, где по-прежнему катались с крутых склонов мальчишки. Погода стояла непонятная: не весна и не зима. Но снег еще держался. Я приходил домой в сумерки, промокший, со снежными крошками в валенках. Уставший и потому сердитый. Раздевался, не отвечая на Танькины упрёки. Потом садился на кровать лицом к стене и устраивал

для себя «кино»: старался так сложить пальцы, чтобы тень от них стала похожа на какого-нибудь зверя. Я хорошо умел показывать «орла», «зайца», «собаку», «слона», но одни и те же фигуры надоедали быстро. Я начинал придумывать новые. Не очень веселая была эта игра, но все-таки...

Татьяну раздражало мое молчание. Она не выдерживала:

— Ну что за человек! Сопит, молчит весь вечер! Какие-то кукиши показывает! Смотреть тошно...

Если мы были одни, я отвечал не оборачиваясь:

— Не смотри.

Если дома была мама, я со слезами в голосе требовал справедливости:

— Мама, ну что она привязывается!

Мама заступалась:

— Не трогай ты его...

— Смотреть тошно,— повторяла Татьяна.

Разозлившись, я показывал ей настоящий кукиш.

Однажды я слышал, как мама Татьяне сказала:

— Неужели не понимаешь? Скучает он один. Раньше-то как хорошо было...

Потом она спросила меня:

— А почему Павлик ни разу не пришел? Он ведь недалеко живет.

Если бы она знала! Но она не знала ничего. Не потому, что я привык скрывать. Просто я чувствовал, что мама здесь не поможет.

Павлика я видел в школе каждый день. Издалека видел. И он меня замечал, конечно, только не подошел ни разу. Ну, и я не подходил. Просто я был уверен, что старого не вернуть, раз затрещала и пошла ко дну наша Каравелла. Раскололась дружба. И Павлик, видимо, решил так же.

«Кино» на стене мне скоро надоело, и я придумал другую игру.

Иногда мама приносила с базара кульки с кедровыми орехами. Ух, как я их любил! Щелкал я их лучше всех, как белка. Я не жевал по одному ядрышку, а собирал целую горсть и потом уже отправлял в рот. И все же я понял наконец, что самое ценное в орехах не ядра, а скорлупа. Потому что каждая скорлупка — кораблик.

Я наливал воду в синюю пластмассовую тарелку, выстраивал вдоль полукруглых берегов ореховые эскадры. Они готовились к схватке, потом сходились в бою. Шли на таран, на abordаж... Наполнившись водой, скорлупки шли на дно, как настоящие корабли.

Тихая была эта игра. Если со стороны смотреть, то, наверно, скучная. Но я не скучал. Здесь требовалось искусство, почти как в шахматах. Надо было знать, когда идти в обход, когда бросаться в атаку, когда открывать огонь или уходить под прикрытие мыса Чайная Ложка.

Был в этой игре отголосок наших с Павликом корабельных вечеров. Слабый отголосок...

Особенно мне нравились скорлупки от высушенных орехов. Тонкая кожица пустых ядрышек ссыхалась и торчала из скорлупы длинными стерженьками. Как мачты. Такие кораблики с мачтами я ставил во главе эскадр и соединений.

Мама иногда молча смотрела, как я спичкой передвигаю в синей тарелке боевые корабли. Я чувствовал, что она смотрит, но не оглядывался. Мне казалось, что маме почему-то грустно.

Только один раз мама сказала:

— Капитан ты мой... Вот найти бы тебе грецкий орех. Из него бы получился корабль...

— Какой это грецкий? Греческий?

— Да нет. Просто такое название. Это большие орехи, вот такие.— Мама сложила в кружок пальцы.

Я не поверил. Не бывает таких орехов.

Мама улыбнулась:

— Ты забыл. Когда ты был маленький, у нас такие орехи висели на елке.

Ну, если когда маленький, тогда другое дело. Маленьким я был до войны.

Тогда, говорят, не было хлебных карточек, был дома папа, а в магазинах продавались настоящие альбомы для рисования.

Мне расхотелось играть. Я сел к окну. В этот вечер не были почему-то закрыты ставни. Я увидел темно-зеленое небо, снежные ветки и маленький желтый месяц. Он сидел на скворечнике, как забравшийся на крышу мальчишка. Я отодвинулся. Месяц прыгнул со скворечника и повис среди мелких звезд, слегка опрокинувшись на спину. Он был похож на половинку золоченого грецкого ореха. Я вспомнил такие орехи, покрытые золотис-

той пылью. Среди густой темной хвои они поворачивались на длинных нитках. По ним прыгали крошечные зайчики от желтых свечек.

Свечки тихо шептались. Блестели шары. Пахло праздником и сказкой.

Мне бы один такой орех из той сказочной жизни, когда я был маленький. Даже не орех, а скорлупу. Я смастерил бы из нее флагман для своей эскадры, крутобокую бесстрашную каравеллу...

ЦУНАМИ

Через неделю в комнате Павлика поселилась другая семья: сутулый, вечно кашляющий токарь с номерного завода дядя Глеб, его жена тетя Ага, толстая продавщица из какого-то магазина, и сын Борька, по прозвищу Ноздря.

Ноздря был гад. В школе он отбирал у малышей тощие завтраки, продавал поштучно старшеклассникам самокрутки, хвастался новыми хромовыми сапогами и противно ревел, когда его запирали после уроков в пустом спортзале.

Тетя Ага была ему мачеха, но никогда не обижала, заступалась перед отцом. Она таскала Борьке шоколад и махорку, а он спекулировал этим товаром в школе.

Меня Ноздря невзлюбил с первого дня.

Мы «познакомились», когда он, только что приехав, сидел на лавочке у крыльца, а я возвращался из школы.

— Эй ты, фраер,— лениво окликнул он.— Куда прешь?

Я с любопытством, но без боязни поглядел на белобрысого мальчишку с ленивым лицом и бесцветными ресницами. Потом уверенным голосом поставил его в известность, что здесь живу.

— Живешь? — холодно удивился он.— Жил ты здесь, это точно. А сейчас твоя жисть кончилась. Капут.

Спокойной жизни действительно пришел «капут». Подзатыльники, шалабаны, комки снега за воротом «украшали» мои дни так сильно, что я не видел света. Не было покоя даже дома. Ноздря проковырял в тонкой перегородке дырку и обстреливал меня из резинки проволоочными скобками. Он ухитрялся попадать по ушам, и боль была ужасная.

Учился теперь Ноздря в нашей школе, в пятом клас-

се. На переменах он меня не трогал, но дорога в школу и обратно казалась мне пыткой. Она была полна страха перед новыми Борькиными издевательствами.

Однако бывали и у Ноздри черные времена. Иногда по вечерам дядя Глеб лупил его ремнем за двойки, курение и прочие грехи. Я утыкался лицом в подушку и зажимал уши, чтобы не слышать звуков расправы, но это не помогало. Ноздря пронзительно верещал.

На следующий день Ноздря бывал злым, как сто голодных дьяволов. Он ненавидел меня за то, что я знал о его унижении. Он думал, что я радуюсь его беде.

Особенно возненавидел он меня с тех пор, как я забрал карту. Нашу с Павликом карту. Павлик не увез ее, оставил в пустой комнате. Однажды в коридоре я увидел, как тетя Ага таскает в кладовку чемоданы и корзины. Дядя Глеб и Ноздря помогали ей: тоже носили какое-то барахло. Тут-то я и увидел карту. Ноздря волочил ее, свернутую, по полу.

— Это наша! — крикнул я с внезапной яростью. — Куда тащишь, ворюга?!

Ноздря медленно повернул ко мне рыбье лицо. Сказал шепотом:

— Иди отсюда... знаешь куда?

Никуда я не пошел. Намертво вцепился в карту и рванул к себе.

— Что за шум? — спросил дядя Глеб.

Чувствуя, что разревусь, я заговорил торопливо и зло:

— Это наша! Мы с Павликом играли! Он мне оставил, а не вам! Не имеете права! Все равно моя...

— Отдай, — сказал Борьке дядя Глеб.

Ноздря выпустил карту, и я полетел с ней спиной вперед к дверям. Тетя Ага вопила вслед:

— А ворюгой нечего лаяться! Ты видел, как он ворует? Видел, а? Интеллигенция вшивая!

Карту я повесил на стенку, которая отделяла нашу комнату от Борькиной. Я вбивал гвозди, мстительно грохоча молотком по шатким доскам. Карта закрыла дырки, которые Ноздря проковырял для обстрела. Но он потом все равно провертел одну в карте — в западном побережье Австралии.

Борька спекулировал не только в школе. Видели его не раз и на барахольном рынке — толкучке. А однажды я встретил его рядом с кассами кинотеатра.

Мы оба пришли туда после уроков. Я — чтобы взять

билет на картину «Волшебное зерно», Ноздря — по своим делам.

Окошечки касс были на улице. Билетов не оказалось, но неподалеку толкались и шумели ребята. Знакомые, из нашей школы, и чужие.

— Греческие орехи дают! — возбужденно сообщил мне второклассник Володька Одинцов.

«Греческие» орехи «давал» Ноздря. По три рубля за штуку. Покупателей хватало. Все равно билетов не было, и ребята без раздумий отдавали скомканные трешки за невиданное чудо. А разве не чудо? Многие про такие орехи и не слышали. Большущие, желтые, они деревянно постукивали в Борькиных ладонях.

— А ну налетай! Потом пожалеете! У мамки таких не допроситесь!

Я протолкался к Ноздре. Я боялся, что он и здесь не забудет о своей вражде, но не вытерпел. Помнил об «ореховом флагмане».

Ноздря не подал виду, что знает меня. Сунул за пазуху деньги, протянул орех и снова призывно заголосил.

Орех был бугристый, скользкий и холодный. Я расколотил его обломком кирпича на тротуаре. Не очень удачно расколотил: одна половинка скорлупы треснула. Но вторая была совсем хорошей. Я вынул из нее ядро. Вернее, это было не ядро, а темные пыльные крошки. Горькие.

Я снова протолкался к Ноздре:

— Борька! Он же гнилой!

Ноздря бросил на меня стремительный ненавидящий взгляд.

Сказал одними губами:

— Пошел...

Я ушел. Что я мог сделать? Ладно. В конце концов, главное то, что скорлупа была подходящая.

Домой я решил не ходить: боялся, что Татьяна уже вернулась из техникума и будет засаживать меня за уроки. Я отправился на школьный двор. Там, за поленницей, был мне известен незаметный уголок.

В карманах и портфеле нашлось все, что было нужно для постройки: свечной огарок, нитки, спички.

Я разжевал парафин и белой мякотью заполнил трюм будущей каравеллы. Потом воткнул в парафин две спички-мачты, укрепил на носу спичечный бушприт. Поста-

вил клетчатые бумажные паруса и долго возился, натягивая нитяные штаги и ванты.

А потом вышел на улицу и пустил легонькую крутобокую каравеллу в синий разлив уличной весенней воды.

Каравелла не успела уйти от берега: я заметил Ноздю. Он шагал в мою сторону. Я торопливо спрятал кораблик в портфель, но сам исчезнуть уже не смог.

Ноздря прижал меня к шаткому заборчику и лениво проговорил:

— К мамочке домой хотел смыться? Фиг тебе. От меня не сбежишь.

Для начала он дернул меня к себе, дал ладонью по шапке и снова прислонил к скрипучим доскам. Медленным шепотом сказал:

— Стой. А то хуже будет...

Этот страшный шепот меня всегда словно заколдовывал. Я стоял, придавленный тоскливым страхом и беспомощностью. Ноздря аккуратно поставил свой разбухший портфель на просохший пяточок у телеграфного столба. Потом из грязных снежных крошек начал скатывать плотный шарик. Я подавленно следил за его работой. Руки у Ноздри были худые, покрытые какой-то серой, несмываемой корочкой, с черными полосками ногтей. На костяшках пальцев сидели чернильные капли. На тыльной стороне левой кисти, у большого пальца, был нарисован чернилами кривой якорь. Пока Ноздря мял снег, якорь то сжимался, то растягивался.

Скоро шарик был готов. Скрюченным указательным пальцем Ноздря попытался оттянуть ворот моего пальтишка, но там была крепкая застежка с крючком.

— Ну-ка, ты, мамина радость... давай расстегивай,— сказал он с холодной деловитостью палача.— Видишь, у меня руки заняты.

Он придвинулся вплотную. Я близко увидел его лицо с удивительно чистой, какой-то неживой кожей, бесцветные глаза с покрасневшими веками и гнилые зубы. Мгновенная ненависть перехлестнула страх, и я влепил мокрой варежкой по отвратительной роже.

Наверно, удар был очень слабый. Ноздря даже не качнулся. Секунды две он удивленно моргал, а потом по его лицу расползлась улыбка. Довольная улыбка человека, который добился чего хотел. Еще бы! Теперь он мог сделать со мной все что угодно! Была причина.

— Птенчик ты мой,— заговорил Ноздря с ласковой

укоризной.— Знаешь, что я сейчас с тобой сотворю?

Я не знал, но догадывался: сотворит что-то ужасное. Помню, что стало больно позвоночнику,— так я прижался к забору. Ноздря стал протягивать к моему лицу растопыренную ладонь. Потом рот его округлился, рука остановилась, и он осел к моим ногам.

Тогда я увидел Павлика.

Видимо, он незаметно подошел сбоку и резким ударом «под дых» посадил моего врага на тротуар.

Ноздря пытался вздохнуть и хлопал губами. Павлик не глядя на меня, поднял его за воротник и за штаны и крепким вратарским ударом отбросил в серое месиво тающего снега. Именно так он выбивал из ворот на школьном дворе круглую обледенелую «мяпу». Наверно, мне показалось, но тогда я был уверен, что Ноздря несколько метров летел по воздуху.

С изумлением, еще не успев обрадоваться, я смотрел, как рассыпается в пыль могущество моего мучителя. Павлик, проваливаясь в снег ботинками, подошел к Ноздре и нанес по-настоящему сокрушительный удар. Ноздря, задрав подбородок, воткнулся затылком в снежную кашу. Павлик снова рванул его и выволок на тротуар. Там он сказал Ноздре несколько слов, из которых «фашист» и «шакал» были самыми мягкими. Ноздря сидел, упираясь грязными ладонями в доски, и скулил.

— Исчезни,— велел Павлик.

Ноздря поднялся и заковылял назад, к школе, грозя привести друзей и учинить ужасную расправу. Портфель остался у столба. Ударом ноги Павлик отправил его вслед хозяину. Портфель шлепнулся на тротуар, как громадная жаба. Крышка отскочила. Выкатились на свет две черные печеные картофелины и пачка махорки. Махорка упала в лужу и поплыла размокать...

Что я чувствовал? Шевельнулась вдруг непонятная жалость к побитому врагу, особенно когда увидел две его картофелины. Но радость была сильнее. Я вдруг сразу заметил, какой разноцветный вокруг день. Солнце блестело на светло-зеленой коре тополиных веток. Тротуары были желтыми от яркого света, а тени на них — фиолетовыми. А лужи были такими синими, что даже не знаю, с чем их сравнить.

А Павлик? Он отряхивал с колен снежные крошки и на меня не смотрел. Мне тоже было неловко. Что теперь делать? Мириться? А как?

А может быть, Павлик затеял драку не из-за меня? Может быть, у него с Ноздрей были свои счеты?

Больше всего я боялся, что Павлик уйдет. Повернется сейчас и зашагает прочь, будто меня и нет. Он умел так уходить — независимый, прямой, спокойный... Подойти к нему сам я тоже не решался. Подойдешь, а он и не взглянет...

Я отошел на несколько шагов, сел на корточки у края лужи и достал из портфеля кораблик. Он запрыгал по маленьким волнам на краю синей воды, сделал небольшой полукруг и резво побежал на середину лужи, которая разлилась от тротуара до тротуара.

Рядом со мной легла на воду тень, и я услышал голос Павлика:

— Мачты маленькие неправильные. Надо повыше.

— Торопился, — хриловато сказал я, не отрывая глаз от каравеллы. Я готов был согласиться с чем угодно, лишь бы Павлик не уходил.

— Ты переделай, — посоветовал Павлик. — Она быстрее будет бегать.

Я кивнул.

Кораблик метрах в трех от берега уткнулся бушпритом в мятую жестяную банку из-под американской тушенки. Желтый бок ее отсвечивал ярким золотом, а на нем, как зловещий знак опасности, чернела буква «У».

— Вот... — сказал я. — Как теперь переделать? Его не достанешь... — А сам подумал: «Ну, пожалуйста, не уходи!»

— Достанем, — отозвался Павлик. — Сейчас палку добудем какую-нибудь...

Но добывать палку не пришлось. За поворотом визгливо завыл мотор, и выскочила из-за угла полуторка. Это был лихой грузовичок, заляпанный грязью по самые стекла. Водитель решил с разгона проскочить громадную, на полквартала, лужу. На всем ходу взрезал колесами воду.

— Цунами! — крикнул Павлик непонятное слово.

По тротуару застучали вокруг нас грязные капли. Гребень взбаламученной воды оторвал ореховую каравеллу от банки и вынес к нашим ногам. Положил на борт. Но она, круглая, маленькая, упрямо, как ванька-встанька, поднялась, покачалась и встала прямо.

Павлик засмеялся, повернув ко мне забрызганное лицо:

— Ух какой ты разукрашенный!

— А сам-то!

Он поднял кораблик и протянул мне:

— Пойдем к нам, умоешься. А то Татьяна тебя пилить будет.

— Пойдем,— торопливо сказал я.— А что такое цунами?

— Большая волна. Когда на дне моря землетрясение или вулкан, она катит на берег и все разрушает. Корабли выбрасывает, города смывает.

— А-а...— сказал я.

Павлик был рядом. Никакие цунами были не страшны. Он сам сегодня обрушился на Ноздрю, как цунами.

Павлик жил теперь в пяти кварталах от нас, в крошечном домике, который стоял в глубине двора. Внутри все было как раньше: те же стулья с петухами, наша тумбочка, мишка на комод. Только вместо круглой печки в углу белела плита с узкой дверцей.

На эту плиту, еще не остывшую с утра, Павлик поставил мои размокшие ботинки. Я следил с некоторой тревогой: помнил, как он спалил свои валенки. Ботинки у меня были новые: мама накануне получила их по ордеру.

Павлик притащил сковородку с макаронами. Чиркнул по слипшимся макаронам ножом — пополам. Потом, деловито работая вилкой, спросил:

— А чего этот гад к тебе пристает?

— Ноздря? А я не знаю. Он давно... Он, наверно, из-за карты...

И я рассказал, как отстаивал нашу карту.

— Ты ее принеси завтра. Ладно? — вдруг тихо попросил Павлик.

— Завтра?

— Ну да... Разве ты вечером не придешь? Завтра воскресенье как раз...

Я? Я, конечно, приду! Я прилечу! С картой? Значит, Павлик хочет, чтобы все было, как раньше?

Неужели можно сделать все, как раньше?

Наверно, можно... Конечно, можно, раз Павлик сказал.

— А сегодня нельзя?

Павлик вздохнул:

— Сегодня у мамы на работе буду весь вечер. Заставляет при ней уроки делать. Ругается...

Я начал натягивать еще сырые, но теплые ботинки. Потом я полувопросительно сказал:

— До завтра?

Не раздумал ли Павлик?

— Ты смотри обязательно приходи,— неловко попросил он.— А если завтра Ноздря полезет... А почему ты Дыркабу не сказал, что он к тебе пристаёт?

— Дыркабу?

— Ну да! Он же эту Ноздю видеть не может. Он за тебя ему бы башку оторвал.

— Я... не знал... Павлик, а почему его так зовут — Дыркаб?

— Не знаю. Знал, да забыл.

Я ушел. Я был уже за калиткой, когда Павлик окликнул меня:

— Владька! Постой!

— Что?

— Я знаю. Вспомнил. Его так еще давно прозвали. Он тогда хвастался, что знает, как по-немецки «мальчик». Ну, услышал где-то. А мальчик по-немецки — «дэр кнабэ». Ну, вот его так и стали дразнить. А потом это переделалось в Дыркаба... Ну, ты смотри приходи.

Я кивнул. Я знал, зачем он догнал меня. Плевать ему было на Дыркаба. Он хотел убедиться, что я обязательно приду.

ВЕЧЕР

Я вернулся домой. Крепкая, сдержанная радость двигала мной, как тугая пружина. Солнце сделалось ярким, будто ему в два раза увеличили напряжение. Оно дробило в стаканах ослепительные искры и торжественно горело на медном животе нашего самовара. Самовар, казалось, даже помолодел от этого блеска. Часы стучали весело и часто. Видимо, торопились подогнать время к завтрашнему дню.

Я распаковал кастрюлю с вареной картошкой, закутанную в старый ватник, потом в сенах отыскал банку со своей порцией молока. Молоко было ледяным, картошка вздымала клубы горячего пара. Обед получился царским.

Затем я добросовестно протер клеенку и разложил

тетради. Упражнение по письму было громадным: восемь строчек. Вчера я впал бы в глубочайшую тоску от такого задания. Но сейчас я написал упражнение, посмеиваясь и даже слегка издеваясь над учебником: «Подумаешь, испугал!» Задача и четыре столбика примеров решились словно сами собой. Стихотворение про весну не пришлось даже учить: оно запомнилось с первого раза.

Я кончил готовить уроки и слегка испугался. Куда девать время? День был еще в разгаре. Идти на улицу не хотел. Не потому, что боялся встретить Ноздрю. Теперь-то я его ни капельки не боялся. Но мне казалось, что на улице, среди солнца, среди веселого гвалта воробьев и синего блеска луж, моя радость от встречи с Павликом может потускнеть и рассеяться. Счастливое ожидание завтрашнего вечера я боялся растерять среди уличных игр и забот.

К счастью, вспомнил я, как Антонина Петровна говорила, что на Первомайском утреннике мальчишки из нашего класса будут изображать красных конников. До Первого мая было еще ужас как далеко, но я отыскал несколько старых газет и начал клеить красноармейский шлем. Клеил я неторопливо, накрепко, в несколько слоев, смазывая листы вареной картошкой. Когда дело было закончено, я вытащил коробочку с протертыми насквозь кирпичиками красок. Надо было выкрасить шлем в зеленый цвет.

И тут я заметил, что уже не различаю красок. День угасал, и в комнату ползли серые сумерки. Кирпичики в коробочке казались одинаково темными и бесцветными.

Я зажег лампочку и при желтом ее свете развел в блюдце зеленую акварель. Выкрашенный шлем мне очень понравился. Правда, газетные буквы проступали сквозь краску, но зато я пришил над козырьком голубую клеенчатую звезду (пришлось отрезать полуоторванный угол столовой клеенки). Я знал, что звезды на шлемах наших кавалеристов были голубыми.

Работа была окончена. Я устало потянулся и с некоторым беспокойством оглядел комнату: всюду обрезки газеты, на полу раздавленная картошка, на столе зеленые лужицы. Пока никто не пришел, надо было браться за уборку. И только тут я сообразил, что прийти-то давно пора. И маме, и Тане. За окнами стояла почти

полная темнота, стрелки ходиков подползали к восьми. Дом наполняла тишина, состоявшая из тиканья часов и мышиной возни.

Кажется, я снова попал в «утык».

И представьте себе, впервые в жизни я не испугался. Подумаешь, беда! Заберусь на кровать и буду снова читать сказку про стойкого оловянного солдатика. Или лучше про Дюймовочку. Уж теперь-то ее можно читать без грусти. Так я и сделал: убрал мусор, запер дверь, взял книжку и с ногами залез под одеяло.

Я успел только прочитать, как скользкая жаба утащила Дюймовочку в свое болотное гнездо. В дверь постучали. Забарабанили. Я обрадованно вскочил. Конечно, хорошо читать в тишине сказки, но лучше, когда ты в доме не один. Пусть будет даже Ноздря. Он, разумеется, гад, но все-таки не так уныло себя чувствуешь, если за стенкой есть кто-то живой. А если будет еще привязываться... Ну, пусть попробует!

Я нахлобучил непросохший шлем, сунул ноги в ботинки и, не одевшись, выскочил в сени.

— Кто?

— Ой, Владька, открывай скорее!

Милка? Ей-то что здесь надо? Я сбросил крюк.

При свете коридорной лампочки Милка в сбившемся капоре казалась бледной и перепуганной.

— Беги к Павлику! Он зовет. Да скорее, а то уедет! Да оденься ты, дурак! Скорей, тебе говорят!

Конечно, ничего-ничего я не понял. Одно только понял: бежать надо изо всех сил. Иначе Павлика не увижу совсем. Никогда.

«Куда, зачем он хочет уехать? Почему он днем ничего не сказал? Может быть, Милка врет?»

— Может, ты все перепутала, Милка?

— Да скорей ты, тюлень!

Ничего она не врет. Она пришла, а он сидит на чемодане и не хочет на вокзал ехать, пока на старую квартиру не сбегает с Владькой попрощаться! А их уже грузовик ждет. Сплошной крик и слезы.

Что? Почему так сразу? Ну откуда она знает? И ничего не сразу. Просто Анна Васильевна Пашке не говорила, потому что злая на него была. Он все время с ней ругался в последние дни.

Куда едут? Кажется, в Новосибирск. Там брат Пашкиного отца живет, раненый, после фронта. Вещи? Ка-

кие у них вещи? Подумаешь, мебель! Оставили. Может, потом заберут...

— Воротник застегни! А шапка?

— Наплевать!

Шапка! Не все ли равно...

Я мчался по синим сумеречным улицам и видел, как туманный месяц, похожий на горстку серебряной пыли, летит впереди меня среди голых черных веток. И слышал, как стучат по доскам подошвы. Слышал как бы со стороны: словно кто-то другой в новых, негнувшихся ботинках бежит по пустым тротуарам. Что-то шумно трепетало и хлопало рядом с головой. Я не сразу понял, что это рвутся от встречного ветра крылья бумажной буденовки. Потом я ударил плечом отсыревшую калитку, и она тяжело отошла.

Над крыльцом горела очень яркая лампочка, но дом был темным и глухим. В закрытых ставнях не светилась ни единая щель.

Ни на что не надеясь, я поднялся на крыльцо (тэк-тэк,— ударили по ступенькам подошвы). Постучал. Стук угас в пустоте покинутого дома. Я всхлипнул, повернулся спиной и ударил в дверь каблуком. От сотрясения замигала надо мной лампочка. Она мигала долго и неуверенно, словно раздумывая: гореть или погаснуть? Потом решила все-таки нести службу до конца.

К нижней ступеньке крыльца подступала широкая лужа. Вода казалась черной и маслянистой. Через лужу была перекинута доска. А я и не заметил, как проскочил по ней сюда. Недалеко от доски застыл на гладкой воде крошечный двухмачтовый кораблик с размокшими парусами. Я узнал свою каравеллу, хотя мачты были другие — выше и аккуратнее.

Больше я не стучал. Спустился с крыльца и пошел по доске через лужу. Доска прогнулась, шлепнула по воде, и кораблик обрадованно подпрыгнул на коротеньких волнах. Он торопливо закивал мне мачтами. А я прошел мимо со своим горем и обидой.

Я дошел почти до калитки, не думая о кораблике, но зрительная память цепко держала его: как он, бедняга, прыгает на гребешках и машет мачтами-лучинками... Пронзительная жалость к малютке-каравелле, брошенной капитанами, толчком остановила меня в полушаге от калитки. Я коротко вздохнул и бросился назад. Снова доска шлепнула по луже, и отражение лам-

почки разбросало по черной воде золотые зигзаги. Осторожно, чтобы не смять намокший фор-марсель, я притянул к себе кораблик за верхушку мачты...

Потом я нес его в ладонях, как озябшего котенка, и говорил смешные ласковые слова.

Хотелось плакать, но плакать было бесполезно. Поезд с Павликом не даст задний ход и не вернется на нашу станцию.

При этой мысли я вдруг понял одну простую вещь: любая сказка, любая игра, любые хорошие вечера обязательно кончаются. Помните, летним вечером зовут вас с крыльца, а вы просите: «Ну, еще пять минуток!» Но пять минуток проходят, как одна, и все равно пора домой, из-под звезд, из веселой страны игр — в скучные комнаты. И, засыпая, вы знаете, что такого вечера больше не будет никогда.

И вечера с Каравеллой тоже кончились. Хорошо, что хоть вспомнить о них можно без горечи. А если бы мы не успели? Если бы сегодня днем не встретились? Я даже остановился на секунду от запоздалого страха...

Дома я опустил к столу лампочку. Потом на стопке книг пристроил рядом с ней каравеллу — сушиться. Тень ее выросла и легла на белую оконную занавеску.

Это была стремительная тень корабля, который не собирался отдавать якорь. Он не убрал ни одного паруса, он был в пути.

И тут я подумал, что неправда, ничего не кончилось. Ни паруса, ни тайны, ни синие ветры. Все еще будет не раз. По-настоящему. А было только начало.

Тень Каравеллы ожила и тихо качнулась. Это качнулась занавеска. За окном начинал вздыхать и тяжело раскачиваться влажный ветер. Приподнялся и грохнул на крыше оторванный железный лист. С шумом покатился с поленницы пустой фанерный ящик... Ветер обещал теплые, но бессолнечные дни, когда воздух становится плотным, как сырая вата. Но я вспомнил, что называется этот ветер юго-западным циклоном и приходит он с южных побережий, где таинственно мигают маяки и обросшие ракушками корабли ласково трутся бортами о скрипучее дерево причалов.

Мир опять стал синим и белым, зовущим...



Часть вторая ПО КОЛЕНУ В ТРАВЕ

ЧЕРНЫЕ ЛОШАДИ

Крепче всех сказок я любил «Сивку-Бурку». А в ней особенно мне нравились главные слова: «Сивка-Бурка, вещая Каурка, встань передо мной, как лист перед травой!»

Когда несчастному Ивану грозили всякие беды, я заранее с тайной радостью шептал его врагам: «Ну, погодите, голубчики...» Знал я, что сейчас выйдет Иван в чистое поле, на высокий травянистый бугор, свистнет в четыре пальца, позовет верного коня:

Встань передо мной!..

Эти слова были как пароль. Как начало песни, как сигнал тревоги, который поднимает друзей.

Встань передо мной,
Как лист перед травой!

Потом я часто слышал от разных людей, будто им непонятно: почему «как лист перед травой»? Что это значит? Я удивлялся. Никогда мне это не казалось непонятным. Совершенно ясно представлял я ночное поле под черным небом с большими белыми звездами, яркую траву, словно подсвеченную изнутри. Она кончалась у выбитой копытами глинистой площадки. И там, у края,

вдруг, как по тайному сигналу, пробивал глиняную корку и стремительно разворачивался из спирали высокий упругий лист. Тонкий и длинный, словно лезвие меча. Травы колыхались и шелковисто стелились под ночным ветром, а лист стоял строго и прямо (а из темноты, от горизонта, с нарастающим топотом летела еще невидимая лошадь).

Что тут было непонятного?

Нет, я все понимал. Наверно, потому, что очень любил траву. В середине зимы, когда стропила нашего флигеля потрескивали от снежного груза, мне снился речной обрыв, заросший коноплей и полынью, сиреневое небо и осколок месяца над крышами Заречной слободы. По крутой тропинке среди щекочущих стеблей и листьев я бежал к воде, прыгал с уступа на уступ. Темные метелки высоких растений пролетали у щек. В воздухе стоял запах мокрого речного песка и трав.

Посреди ночи я просыпался от жгучей тоски по лету, по шороху травы и теплomu ветру, который пахнет влажными листьями тополей. За окнами, как озябшая кошка, скреблась поземка. Мне хотелось плакать, но это было бесполезно: зимние месяцы впереди казались бесконечными, как те десять лет, которые я прожил на свете.

Но однажды среди зимы я увидел свежую зелень.

В палисаднике рядом с нашим флигелем я устраивал себе снежный блиндаж. Деревянная лопата была в два раза выше меня. Черенок цеплялся за кусты, и сухой, сыпучий снег падал мне за воротник. За воротником он противно таял, и колючий шарф натирал шею.

Возиться с блиндажом не очень хотелось. Но еще меньше хотелось идти домой, потому что сразу засадят за уроки. Правда, сестра Татьяна сейчас жила не с нами: она вышла замуж за летчика и уехала в Ростов. Но мама следила за моей учебой так же придирчиво, как Танька...

Я вырезал в снежной толще квадратную яму, окружил ее бруствером и начал расчищать дно. И вот вместе со снеговыми крошками лопата вынесла к свету черные комочки смерзшейся земли.

Я так давно не видел обыкновенной черной земли! Опустился на колени и варежками размел на дне кружок величиной с блюдце. Открылся пятачок чернозема с мертвыми бурыми стебельками и бутылочным осколком. Ря-

дом с осколком лежал земляной комок. Я щелкнул по нему. Комок отскочил. И на его месте, упруго разгибаясь, поднялся мне навстречу ярко-зеленый листик.

Крошечная зеленая стрелка!

Я ошеломленно смотрел на это чудо.

Открытие обрадовало меня и в то же время как-то придавило своей необычностью. Тоненький листик был таким беззащитным среди снежных нагромождений... Почти не думая, подышал я в варежку и накрыл ею листик. Потом, пятась, выбрался из палисадника и побежал к маме.

Мама была не в духе. Она пыталась затолкать на место выпавший из нашей старой печки кирпич. Зловредный кирпич отчаянно сопротивлялся. Он ловко извернулся, упал на железный приступок и назло маме раскололся. Мама плюнула..

— Там в палисаднике травинка...— виновато сказал я, глядя на кирпичные половинки.

— Что?— откликнулась мама.— О чем ты?

Она старалась не перенести досаду с кирпича на меня, но это было трудно.

— Ты бы лучше об уроках вспомнил,— сказала мама.— Доучился до третьего класса, а таблицу умножения до сих пор не знаешь.

— Там совсем зеленая травинка,— подавленно повторил я. Было ясно, что мое открытие не имеет для мамы никакого значения.

Но она все-таки поняла. Спросила:

— Совсем зеленая?

— Да,— откликнулся я.— Как летом.

— Ну что ж...— вздохнула мама (и это был, видимо, вздох о лете).— Так бывает... Разве ты никогда не слышал, что зеленая травка зимует под снегом? Дождется тепла.

Да, я вспомнил. Я слышал, конечно. Только верилось в это не очень.

Но ведь теперь-то я видел сам!

— Напрасно ты разрыл травинку,— сказала мама.— Она застынет на воздухе.

— А под снегом не застынет? Он же ледяной!

— Не такой уж он холодный. Он пушистый и мягкий. Я побежал в палисадник.

Снегу я не очень доверял. Теплая варежка казалась более надежной, но за нее могло влететь.

Я убрал варежку. Узкий листик стоял смело и упруго. Я набрал с веток самого легкого и пушистого снега и белым курганчиком засыпал травинку. Потом уложил слой снега потяжелее. Потом заровнял яму...

Воспоминание о смелом листике наполняло меня радостным возбуждением. Я схватил санки и сбежал в овраг. Там летал с кручи на кручу, пока не пришли плотные темно-синие сумерки.

Вечером мне попало. Слипались глаза, и я никак не мог решить задачу про ящики с фруктами. Мама назвала меня бестолковым лодырем, растяпой и мучителем. Она решила задачу сама, велела убираться спать и пообещала выдрать, хотя никогда этого не делала.

Я забрался в постель и стал реветь от обиды. Винаватым себя я не чувствовал. Трудно было понять, почему какая-то задачка важнее радости, важнее чудесной находки. Ведь травинка была крошечным осколком настоящего лета.

А задачка была про груши и абрикосы, которых я никогда не пробовал и видел только на картинках...

Поревев, я устроился поудобнее, улыбнулся укрытому снегом листику и шепотом спросил:

«Не холодно тебе?»

«Что ты!» — откликнулся он. Вытянулся в стрелку; разгорелся зеленым светом, и снег начал оседать и таять вокруг, а жухлые стебли на земле наполнились живым соком и заколыхались.

«Значит, это ты?» — спросил я, радостно дыша. — Ты — «лист перед травой»?

Он не ответил, только снег от него разбегался все дальше, а в ночи нарастал легкий стремительный топот.

И вот в темноте я не увидел, а скорее, угадал большую черную лошадь. Она ласково дышала мне в лицо. Чуть в стороне осторожно переступали еще два черных коня.

Это был не сон. Я отлично понимал, что лежу в кровати под вытертым одеялом (а сверху еще мамина телогрейка), и кругом наша комната, и наши ходики стучат в темноте. Но в то же время я взбирался на оттаявшие перила крыльца, а с них на спину лошади. Я чувствовал ногами влажную короткую шерсть на лошадиных боках, а пальцы тонули и путались в тугих прядях шелковистой гривы.

Я тронул щекой теплую шею коня и шепотом попросил:

«Ну, пошли...»

Лошадь взяла с места плавно, почти не коснувшись земли. И быстро. По бокам, не отставая, шли еще две черные лошади. Заструился навстречу ночной летний ветер. Побежали светящиеся точки — то ли звезды, то ли огоньки, то ли отблески костров на копьях далекой конницы...

Лошади стали приходить каждую ночь. Их было три. Две всегда держались в стороне, а самая главная подходила вплотную, и я обнимал ее большую добрую голову. Потом прыгал с перил на спину.

Лошади уносили меня то в синий лес, полный шорохов, огоньков и полужнакомых сказок, то к самому краю неба, где громадный месяц задевал нижним рогом большие ромашки. Иногда мы влетали в самую гущу битвы, где бесшумно и яростно рубились наши и вражеские всадники. Среди мелькания копий, мечей и щитов я самозабвенно размахивал подхваченной на лету саблей и, сразив вражеского атамана, невредимым уносился из схватки.

Но это было не главное. Вот что было главным: темное поле, высокие звезды и теплый воздух, который легко струился по траве; беспокойные горизонты, где прокатывались не то бои, не то грозы; певучий и немного тревожный голос трубы вдалеке. И надо скакать кому-то на выручку. Ничуть не страшно, только надо торопиться. И мы летели сквозь ночь, а она охватывала со всех сторон и мчалась впереди. Звезды исчезали. Казалось, мы несемся внутри громадного черного конуса, а этот конус, будто великанское копьё, нацелен на одинокий огонек впереди. Под копытами дробно гремела мощеная дорога, и от булыжников сыпались искры...

Это ощущение тревожного полета я помню удивительно прочно. И так же помню нарастающую радость, когда от гремящего топота разлетались все опасности и тревоги, а огонек впереди превращался в яркую рассветную щель.

Я не знаю, тогда или после сложились такие строчки:

В край, где солнечные ветры разгоняют зимы,
Уноси меня, мой верный, уноси, родимый...

Через полтора десятка лет в целинной палатке под осенним звездным небом Хакасии я рассказал о Черных Лошадях одному человеку. Я считал его товарищем. Он любил быть откровенным. Он сказал:

— Знаешь... Я понимаю. Ты, конечно, был маленьким. Но вообще-то это все равно бегство от действительности. Я назвал его чурбаном и замолчал.

Детство не делит действительность на жизнь и сказки. В детстве все — настоящее. И сказки — тоже настоящее, если они помогают жить. Если в них веришь.

Я крепко поверил в Черных Лошадей.

Лет пятнадцати в первой тетрадке с неумелыми стихами я писал, прощаясь с детством:

...А по ночам у косого плетня
Черные Лошади ждали меня.
Добрые,
Смелые,
Быстрые,
Рослые,
Черные — чтоб не увидели взрослые.

Косого плетня на самом деле не было. Я про него сочинил для пущей поэтической красоты и рифмы. А был шаткий палисадник, примыкающий к забору из досок от товарного вагона. Одну доску я оторвал и таким образом познакомился с Майкой, которая жила в соседнем дворе. Но это было потом. А пока я ждал по вечерам лошадей.

Я так поверил в них, что и вправду стал думать, что, может быть, они приходят по ночам. Стоят у заледенелого крыльца и терпеливо ждут, медленно переступая копытами.

Когда наступала тишина и мама, укладываясь спать, выключала свет, я сползал с кровати. Совал ноги в теплые мамины валенки, натягивал ее телогрейку и пробирался к выходу.

— Ну, что тебя на холод толкает?— сердито удивлялась вслед мама.— На кухне ведро есть...

Я отвечал торопливо и неразборчиво. Выскакивал в сени, откидывал обжигающий пальцы крючок и шагал на крыльцо. Холод режущим ударом бил по коленкам — между телогрейкой и валенками. Обдувал голову. Но это лишь на миг. А потом становилось теплее.

Над крышами висела озябшая ночь. Звезды блестящими гвоздиками торчали в стылом небе. И была особая тишина: каждый звук отпечатывался на ней четко, буд-

то новая калоша на свежем снегу. Далеко, за несколько кварталов, тьякал пес. Временами паровоз вздыхал на станции. Потом издалека выплывали и нарастали, поскрипывая, неторопливые мягкие шаги. Кто там? Наверно, сосед Виталий Павлович возвращается из депо, отработал смену... А может быть, это лошади?

Я разжимал кулак и оставлял на перилах хлебную корочку. Маленькую, с мизинец. Я берег ее с ужина, с той минуты, когда доедал последний ломтик из нашего довольно скудного дневного рациона. Оставить гостинец побольше я не мог. Хотя уже и не было войны, а жилось еще трудно и до отмены хлебных карточек оставался почти год.

Теплая корочка лежала на перилах, а я шел в комнату и забирался под одеяло. За окнами опять звучали мягкие шаги...

Утром, уходя в школу, я старательно осматривал перила и снег у крыльца. На обледенелом затоптанном снегу трудно было разобрать следы. Но хлеба не было. Значит, они приходили!

До школы меня провожал полубеспризорный пес по имени Моряк. Он умильно махал хвостом. С некоторых пор Моряк стал проявлять ко мне особо дружеские чувства. Иногда я подозрительно измерял его взглядом. Но Моряк был низкорослый и коротколапый, а перила такие высокие...

Потом лошади стали приходиться реже. С зюйд-веста по ночам накатывали сырые ветры. Они сбрасывали с тополиных веток снежные пласты и торжественно гудели в проводах. Это были первые налеты весны. А затем наступили синие от безоблачности дни, просохли тротуары, и на рыжей проталине у забора я нашел не одну, а несколько свежих травинков.

Про лошадей я почти забыл: радостное ожидание лета целиком заполняло меня. Но лошади напомнили о себе. Еще раз я увидел их — не ночью, а днем.

Был вечер в конце марта, и солнце висело над крышами в тонком облаке, похожем на золотистую пыль. Девчонки расчертили на упругих досках тротуара «классы» и прыгали, шлепая калошами. Чуть в стороне звякали пятками о кирпичную стенку мой одноклассник Левка Аронов и второгодник по прозвищу Быпа. Они игра-

ли в обстенок. На втором этаже из форточки временами появлялась завитая голова соседки Таисии Тимофеевны. Таисия Тимофеевна огорчалась испорченностью нынешних детей и пыталась перевоспитать Левку и Быпу. Они, однако, не перевоспитывались и звякали.

Я стоял у калитки и размышлял, к кому присоединиться. Прыгать с девчонками было веселее, но я опасался, что Левка станет меня презирать. Он и так уже отзывался обо мне насмешливо, узнав, что я боюсь Тольку Засыпина. А играть в обстенок не было особого смысла: в кармане лежал всего один пятак, и я знал, что Быпа со своей широкой пятерней в момент меня обставит. К тому же Таисия Тимофеевна могла донести маме, что я играю на деньги.

Вдруг сквозь шлепанье девчоночьих калош я услышал медленный и неровный топот многих шагов.

Из-за поворота, с Первомайской улицы, выходили лошади.

Девчонки перестали прыгать. Левка и Быпа сунули в карманы пятаки. Я оттолкнулся плечом от калитки и вышел на край тротуара.

Конечно, лошадей в нашем городе хватало. Они возили сани с дровами, хлебные повозки, телеги со щебнем для ремонта дорог. За отцом Вовчика Сазанова, известным хирургом, который жил в нашем квартале, часто приезжала пролетка, запряженная гнедым жеребцом. В общем, лошади были не в диковинку.

Но так много сразу (и без упряжи!) мы не видели никогда.

Их было больше десятка. Разные они были. Понуро шагали брюхастые савраски, лениво давил копытами грязь мохнатый битюг, неторопливо ступали изящные кавалерийские кони. Впереди табуна ехал на гнедой лошадке мальчишка. Ну, большой, конечно, старше нас. Но все равно мальчишка. В кепке козырьком назад и драгой телогрейке. Он смотрел перед собой гордо, как маршал.

Чавкая копытами, лошади проходили мимо нас. И незаметно для себя мы пошли рядом с ними по краешку тротуара. Не знаю, что думали другие, а меня беспокоила смутная тревога и непонятная жалость к лошадям.

— Куда их?— спросил я у ребят.

— На колбасу,— ответил деловито Левка.— Колбаса из них ничего, только зазря такую соленую делают.

Левкина мать работала на мясокомбинате, в цехе ливерных пирожков, и Левка разбирался в колбасных вопросах.

Я подавленно молчал. Машинально двигался за лошадьми, которые шли на казнь. И не знаю, сколько прошло времени. Видимо, всего несколько секунд, потому что вдруг сзади, с высоты, я услышал ясный и крепкий голос:

— У тебя, мальчик, наверно, в голове колбаса.

Замыкая табун, ехал у обочины всадник на высоком вороном жеребце. В брезентовой куртке и кожаной фуражке. Он показался мне похожим на Багратиона, которого я видел на картинке в журнале «Огонек». Всадник со спокойным сожалением смотрел на Левку.

— Это колхозные лошади,— отчетливо сказал всадник.— Колхозу не колбаса нужна, а лошадиные силы. Они работать будут.

— Ну и силы!— нахально вмешался Быпа.— Одни скелетины.

— Ничего, поправим,— откликнулся всадник. Негромко так, будто себе говорил, а не Быпе и Левке. Потом опять глянул на Левку:— Вам бы в таких передрягах побывать, как они... Тоже не потолстели бы. А среди этих коней половина на фронте была. Да и потом они не сладко пили-ели...

Упитанный Левка понял намек и обиженно отстал. И Быпа с ним. А я шел.

Черный конь легко ступал у тротуара и косил на меня темным глазом. Это был большой добрый глаз. В нем словно плавала золотая искорка. И еще в нем отражалась улица и я сам — крошечный, еле заметный. Мне казалось, что конь чуть улыбается.

— ...Ну, что домой не бежишь?— вдруг услышал я голос всадника.

— Не хочу,— сказал я и посмотрел вверх.

Мне понравилось лицо этого человека: твердое, серьезное, но не сердитое. И очень неожиданной была его улыбка — быстрая и ласковая.

— Не хочешь...— сказал он.— А прокатиться хочешь?

Прокатиться? Я обалдело выдохнул «ага» и даже не успел испугаться. Он легко прыгнул из седла и крепкими руками взметнул меня на спину лошади.

Я оказался на какой-то твердой штуке впереди седла. Сидеть было совсем не так удобно, как я думал. Жест-

ко и страшновато. Но большие ладони прочно держали меня за бока.

— Не боишься?

— Не боюсь,— неуверенно сказал я.

Конь тронул с места, и улица качнулась навстречу. Я смотрел на знакомые дома и заборы с непривычной высоты, и все казалось немножко странным. Да еще закат окрашивал все вокруг в непривычный золотистый свет. Будто во сне. Черный конь (настоящий черный конь!) шел неторопливым шагом, временами дружелюбно косился на меня и покачивал головой.

— Как его зовут?— спросил я.

— Олень.

Это было чудесное имя. Такое стремительное и красивое. И я несколько раз повторил: «Олень... Олень... Олень...» И конь слышал меня.

Не знаю, долго ли мы ехали. Не помню. Я уже совсем не боялся, и сидеть мне стало хорошо. Я поверил в надежность державших меня ладоней. В доброту и верность Оленя.

— А ты не заблудишься?— услышал я. И очнулся.

— Не заблужусь.

Но мы были уже далеко от дома. У реки, перед мостом.

— Беги домой,— сказал всадник.— А то еще потеряешься.

Он ссадил меня на дорогу, и пришлось примириться с этим. Ведь чудо не может продолжаться вечно! Я посмотрел, как человек в кожаной фуражке садится в седло, провел рукой по гладкому боку Оленя и повернулся, чтобы идти домой. Хуже бывает, если долго прощаешься.

И тут услышал:

— Подожди, сынок.

Эти два слова толчком остановили меня. Он сказал не «мальчик», не «пацан», а «сынок». С давних пор никто из мужчин не называл меня так. И я не думал, что назовут когда-нибудь, потому что отец в апреле сорок пятого погиб от случайной пули в немецком городке.

Я медленно обернулся.

— Подожди,— сказал всадник.

Из кармана брезентовой тужурки он достал непонятную вещицу и протянул мне:

— Возьми. На счастье.

Я подошел. В руке у всадника была крошечная подкова. Ну совсем маленькая, даже для жеребенка не по-

дошла бы. Я принял ее в ладонь. Она оказалась тяжелой и теплой.

Надо было бы хоть спасибо сказать. А я молча смотрел то на подковку, то на Оленя, то на всадника. Но, наверно, я все же по-хорошему как-то смотрел. Потому что всадник улыбнулся хорошей своей улыбкой. Потом тронул каблуками вороного Оленя и рысью стал догонять уходивший табун.

Во мне стремительно выросло воспоминание о зеленом узком листике, пробивающем снег, и о лошадях, мчащихся сквозь ночь...

Я опять возвращаюсь к тетрадке своих полудетских стихов. Просто мне кажется, что в те дни я говорил о детстве лучше, чем сейчас:

Это память о зимнем садике,
О травинке среди зимы...

Жили-были на свете всадники —
Жили-были на свете мы!
Вся земля гудела под нами,
Были ночи, как копыа, отточены.
Били кони

копытом

в камень—

Искры сыпались по обочинам.

Это был не сон, не бессонница.
Трубы звали за горизонт.
Мы не просто играли в конницу —
Мы, как конница,
брали разгон...

Итак, табун ушел. Я помахал всаднику и Оленю рукой, в которой держал подковку.

И мне кажется теперь, что очень скоро, чуть ли не на следующий день, пришел теплый зеленый май и вымахали вдоль заборов густые высокие травы.

АМЕРИКАНСКИЙ ТОВАР

В одно из солнечных майских воскресений сорок седьмого года я совершил базарную кражу. Сейчас решаюсь признаться в этом. Надеюсь, что читатели и закон простят меня. Во-первых, прошло уже много лет. Во-вторых, на этот ужасный шаг меня толкнула любовь.

Вот что случилось.

...В давние годы покоритель Сибири Ермак Тимофее-

вич поставил деревянную крепость. Чтобы она была неприступной, казаки окружили бревенчатые стены глубоким рвом. Ров заполнили водой. В воде отражались островерхие башни, сигнальные огни и копыа казачьей стражи.

Но на крепость никто не нападал, и она постепенно развалилась. Вода ушла в реку. Только ров остался. Он был соединен с большим оврагом, по которому журчала речушка. Речушка эта пробилась в ров и проточила новое русло. Потом уже никто не мог сказать точно, где настоящий овраг, а где крепостные углубления, выкопанные казаками. Все вместе это называлось «лог».

А еще была река. Над ней хмурились обрывы.

Над обрывами, над заросшими полынью и коноплей откосами, склонами и косогорами раскинулся наш городок. С колокольнями, деревянными тротуарами, гранитными мостовыми на центральных улицах и афишными тумбами, стоявшими чуть ли не по пояс в траве. На тумбах пестрели объявления о продаже мебели, о пропаже козы, рекламы фильмов, афиши о концертах в городском саду и открытии цирка, в которое уже никто не верил.

Мы, мальчишки, любили наш город. Даже те, кто родился не здесь, а приехал во время войны, эвакуировался из прифронтовой зоны. Он был удобным для ребячьей жизни. В запущенных скверах и старых переулках отлично игралось в разведчики. Невысокие крыши верно служили площадками для запуска змеев. Деревянные тротуары помогали бегать: гибкие доски пружинисто подталкивали нас. А лог с заросшими тропинками и закоулками был полон разных тайн и запахов трав. Особенно сильно пахло полынью. Я растирал ее семена в ладонях и прижимал руки к лицу. Губы становились горькими, и запах сухой земли и солнца долго не исчезал. Мне казалось, что так пахнут саванны неведомой Африки. Я не знал тогда еще, что это запах детства и родины...

Но иногда нам хотелось, чтобы город был большим. Чтобы блестели рядами окон многоэтажные домищи, звенели трамваи, сияли по вечерам разноцветные огни. Чтобы в цирке каждый день шли представления, а по улицам проносились тысячи легковых машин.

И поэтому все заволновались, когда прошел слух, что

главную улицу собираются покрывать асфальтом. Асфальт казался признаком настоящей городской культуры.

Во дворах торопливо застучали молотки: мальчишки сколачивали самокаты. Вы представляете, какие возможности открывали перед самокатчиками асфальтовые тротуары!

Я тоже взялся за дело. У меня был один кольцевой шарикоподшипник — он годился для переднего колеса. А для заднего я надеялся раздобыть позднее. Еще нужен был строительный материал.

Ранним утром, вздрагивая от прикосновения росистой травы, я босиком, в трусиках и безрукавке, пробрался к забору и стал расшатывать доску. Нижний край оторвался быстро, но верхний держался на крепчайшем гвозде. Я разозлился. К тому же во дворе могла появиться Таисия Тимофеевна — тогда не миновать скандала. Я вцепился в доску и начал раскачиваться, как на громадном маятнике, обдирая о забор пальцы и засаживая в колени занозу за занозой.

Доска не отрывалась, и я усилил злость и размах. И тут мелькнуло в широкой щели сердитое девчоночье лицо. Девчонка что-то крикнула.

Я прервал полет. Встал перед щелью, придерживая плечом отодвинутую доску. Девчонка смотрела очень недружелюбно, и я на всякий случай сообщил ей, что она дура. Тут же я был поставлен в известность, что сам дурак, хулиган и жулик. На «жулика» я обиделся.

— Я у тебя что украл?

— А доску зачем отрываешь?

— А она твоя?

— Это наш забор.

— А фигу не хочешь? Ваш! Он наш двор отгораживает!

— А наш, что ли, не отгораживает?

— А доски с нашей стороны прибиты! Значит, наш!

— Я дедушке скажу,— пообещала она.

— Хоть начальнику милиции.

— Вот он тебя поймает, тогда заплывешь.

— Я твоего дедушку одним мизинцем на трубу закину!

Мы оба посмотрели на верхушку высоченной трубы, которая дымила над пекарней.

— Хулиган! — снова сказала девчонка.

Я, не нагибаясь, нащупал стебель прошлогоднего бурьяна, вырвал его с корнем и, как снаряд, пустил в противника. Девчонка присела и подняла с земли ржавую консервную банку. Я отодвинул плечо. Доска опустилась и закрыла щель, разделив мир на две враждующие половины.

Я ушел на крыльцо, сел, зубами вытащил из колена самую крупную занозу и задумался.

Ее звали Майка — это я знал. Она приехала недавно, и раньше я видел ее только издали. А сейчас разглядел как следует.

Эх, ну зачем я поругался!

Оттого что она сердилась, волосы у нее слетали на лицо и глаза блестели, словно за живой золотистой сеткой. И вся она, Майка, была легкая, тонкая, как та маленькая балерина, про которую я читал в сказке «Стойкий оловянный солдатик».

Странная грусть и нежность овладели мною. И было ясно, что это — любовь.

Ну что ж! Любовь так любовь. Я знал, что за нее надо воевать. Надо быть стойким, как солдатик. Я сдвинул брови, встал и даже поджал одну ногу, чтобы больше походить на оловянного героя. Чипа — драный петух Таисии Тимофеевны — подошел и с интересом уставился на меня одним глазом. Я метко плюнул ему в спину. И начал действовать.

Во-первых, я все-таки оторвал доску. Во-вторых, тут же распилил ее за сараем тупой ножовкой. Из коротких досок я сколочу вполне приличный самокат. Может быть, не очень красивый, но прочный. Я даже придумал ему имя — «Олень». Как у того черного коня.

На нем, на Олене, я буду как смерч проноситься мимо Майкиных ворот. По единственной доске развалившегося тротуара — длинной и гибкой. Под железный рев подшиппников и крики изумленных пешеходов. А Майка, упрямая и капризная, с тайным восхищением станет следить за мной сквозь дырку в заборе, которая осталась от выпавшего сучка.

А потом... Потом переднее колесо Оленя сорвется с дороги, и я грохнусь с размаху на твердую землю и, наверно, потеряю сознание. И Майка, позабыв про свою вредность, выскочит на улицу, начнет трясти меня за плечи, вытирать кровь с моего лба, и ее волосы будут щекотать мне лицо. Я медленно открою глаза...

— Ты несносный человек,— услышал я мамин голос.— Ну-ка, марш домой! Вместо того чтобы умыться, одеться, сразу хватаешься за какие-то доски. Пошевеливайся. Пойдем сейчас покупать тебе штаны.

Вот вам мечты и действительность!

Впрочем, штаны были необходимы.

Надо сказать, что мой гардероб не блистал богатством. Был у меня один костюм: байковая лыжная курточка и такие же шаровары. Когда-то костюм был коричневым, но потом облинял и приобрел жидко-табачный цвет. Курточка была еще так себе, а штаны совсем обветшали. На заду и коленях они вытерлись до такой степени, что материя стала похожа на редкую мешковину. Резинки у шиколоток давно лопнули, и получилась какая-то бахрома. Зимой с валенками или весной с мамиными сапогами эти штаны еще можно было кое-как носить. Но когда я надевал их с сандалиями или ботинками, мама вздыхала и говорила:

— Жуткое зрелище.

И вот мы пошли покупать новые штаны. На толкучку.

Я и раньше бывал с мамой на толкучке. Но тогда мы ничего не покупали, а старались продать мамино шерстяное платье или старые папины ботинки.

А сейчас мы были покупателями!

Мы вошли в ворота и сразу окунулись в суету и шум. Толпа оттеснила нас к забору, где приткнулась фотография под открытым небом. Она мне очень нравилась. Здесь можно было сняться в настоящей морской форме, или верхом на деревянной лошади, или у тумбочки с надписью «Привет от друга». Но лучше всего был всадник, нарисованный на громадном полотне. Он скакал по степи, над которой вспыхивали белые мячики взрывов, и размахивал саблей. Вместо головы у всадника было круглое отверстие. Каждый, кто хотел, мог просунуть в отверстие голову и потом получить фотокарточку, будто он лихой кавалерист.

Я давно уже намекал маме, что не прочь иметь такой снимок. Раньше мама терпеливо объясняла, что кавалерист большой, а я маленький и получится смешно. А сейчас с досадой сказала:

— И так денег нет, а ты с глупостями пристаешь...

Она взяла меня за руку и увлекла в круговорот.

Люди толкались, кричали, спорили. Толстая женщина с обиженным лицом продавала фотопластинки в до-

военной упаковке и сиреневую стеклянную вазу. Вертлявый дядька голосил: «Кому будильник?»— и шепотом предлагал кремни для зажигалок.

Слепой парень держал на вытянутых руках полосатую шелковую тенниску с обвисшим подолом и с безнадёжной бодростью кричал:

— Эй! Здесь рубаху дешево продают! Налетайте!

Никто не «налетал», и парень, повернувшись в другую сторону, кричал те же слова.

Мне стало жаль его. Если бы у меня было много денег, я купил бы эту рубашку, хотя она мне совсем не нравилась. Но денег было мало. К тому же они лежали в сумочке у мамы. И прежде всего надо было думать о штанах.

Но оказалось, что найти их не просто. Продавали полосатые костюмные брюки, зеленые и синие галифе и даже настоящие матросские брюки клеш. Но для меня ничего не было. Лыжные штаны с объемистыми задними карманами мама забраковала, а парусиновые штанишки с ляпочками крест-накрест я сам с презрением отверг. Мама сказала, что я чудовище, и пошла покупать ножи для мясорубки.

Небритые торговцы железной мелочью располагались у самого забора. Они сидели на рогожах, на старых одеялах и ковриках и почти не смотрели на покупателей. Или делали вид, что не смотрят. А покупатели вертели в руках, щупали и громко обсуждали их товар. Здесь продавались очень нужные и очень интересные вещи: радиолампы, паяльники, плоскогубцы, разные замки, дверные ручки, мышеловки и рыболовные крючки.

И ножи для мясорубок, наверно, тоже продавались. Мама пошла их искать, а я поплелся следом. Именно поплелся. Но не потому, что устал, а потому, что нравилось разглядывать разложенную для продажи мелочь. Я замедлял шаги. Потом остановился совсем.

Замер!

Потому что на серой кошме среди мотков проволоки, электропробок и непонятных железяк лежал подшипник.

Два блестящих кольца с шариками между ними. Подшипник для заднего колеса «Оленя»!

Горбоносый продавец в войлочном колпаке немислимой формы отрешенно смотрел сквозь толпу. Мой первый робкий вопрос он, видимо, не слышал. Я поднял

с кошмы подшипник, проглотил слюну и опять, погромче, спросил:

— Вот это... сколько он стоит?

Не двинувшись, торговец сказал:

— Двадцать пять рублей.

Я обомлел.

Конечно, двадцать пять рублей в те годы были не те, что сейчас. Большая порция мороженого стоила, например, десятку. Но все равно. Таких оглушительных сумм у меня сроду не бывало.

Среди мальчишек подшипники имели другую цену: от рубля до трех. Но беда в том, что никто сейчас не продавал. Все строили самокаты.

Я уныло переступал с ноги на ногу. Может, этот дядька в колпаке просто так сказал, чтобы я отвязался? Или мы, ребята, ничего не понимаем в таких вещах?

От растерянности я забыл положить подшипник, и он все еще оттягивал мне ладонь. Его хозяин по-прежнему равнодушно смотрел перед собой и про меня, видимо, уже не помнил.

Суетливый парень отодвинул меня локтем и стал копать в электропробках. Потом чьи-то широченные галифе совсем заслонили меня от торговца.

И отчаянная мысль толкнулась во мне.

Я еще внутренне вздрагивал и колебался, а ноги сделали шаг назад. Потом второй. И не было слышно криков и шума погони. Я сделал еще два шага.

Сердце не колотилось, не бухало, а стреляло очередями, как крупнокалиберный зенитный пулемет. Спина стала мокрой. Я боком пробирался в толпе, ускользая от места преступления.

Должен признаться, что совесть лишь мельком кольнула меня. Я загнал ее в угол мыслью, что дядька в драном колпаке все равно спекулянт и жулик. Зато страх никуда загнать не удавалось. Я был готов к тому, что вот сейчас крепкая милицмейская рука ухватит меня за воротник и прямо по воздуху перенесет в заплевелую тюремную камеру. Мне даже казалось, что я ощущаю ржавый запах оконной решетки.

Несколько раз я уже совсем хотел незаметно выбросить опасную добычу. Но кроме видения тюремной камеры передо мной стояло еще одно: сердитая девчонка с золотистой сеткой волос перед глазами. Смутное сознание, что поступок мой не столько кража,

сколько подвиг во имя любви, поддержало меня. И я опустил подшпник в карман. Штаны начали сползать, и пришлось их придерживать.

Я догнал маму. Она не купила ножей для мясорубки и была окончательно раздосадована.

— Где тебя носит? Всегда фокусничаешь! Что это у тебя карман отвис?

Она извлекла подшпник, и я почувствовал, что становлюсь пунцовым.

— Нашел,— хрипло сказал я.

— Обязательно надо всякий хлам подбирать! Убери с глаз.

Я в душе порадовался маминому невежеству в технике и медленно отдышался.

— Ума не приложу, во что тебя одевать,— сказала мама.— Пошли поищем снова.

Я был готов на все, даже на те парусиновые штанишки, лишь бы покинуть опасный участок.

И наконец нам повезло!

Худая решительная женщина предложила нам брюки изумительной красоты.

Это был полукомбинезон из вельвета (его тогда почему-то называли «бархат»). Черные штанины, малиновая грудь, такие же отвороты внизу и широкие лямки со сверкающими пряжками. Я от восхищения даже забыл про подшпник. Представил, как появлюсь перед Майкой в столь мужественном виде, и горячая волна восторга накрыла меня с головой.

Но тетка назвала такую цену, что маму пошатнуло. Она даже сказала:

— Совесть-то у вас есть?

Женщина ответила, что совесть есть, но денег за нее не дают, а жить надо. К тому же товар иностранный, американский.

Наверно, эти брюки попали к нам в одной из посылок — тех самых, которые вместе с яичным порошком и тушенкой Америка посылала нам во время войны.

Мне очень хотелось получить иностранные штаны. Я готов был обещать маме полное послушание на вечные времена и сплошные пятерки в табеле. Но мама и женщина торговались, и нельзя было вмешиваться, чтобы не сорвать дело.

Наконец чудо свершилось. Сверток с брюками перешел ко мне, и солнце засияло в два раза ярче.

Жизнь состоит из постоянной смены радостей и огорчений.

Дома, когда я надел обновку, мама ахнула, опустилась на стул и вдруг начала смеяться. Все громче и веселее.

— Санкюлот,— говорила она.— Гаврош! Кошмар, честное слово!

Что такое «санкюлот», я не знал, а в слове «Гаврош» не видел ничего смешного. И при чем здесь кошмар?

Я обиженно повернулся к зеркалу. Ну и что? Надо сказать, что брюки пришлись впору, сидели как влитые. Правда, были они длинноваты, на ногах собирались в гармошку, да и ширина внизу была, пожалуй, чрезмерная. Малиновые манжеты подметали пол. Но это даже придавало особый шик!

Мама, однако, думала не так. Она уже перестала смеяться.

— Да, без переделки здесь не обойтись...

(Этого еще не хватало! Какая переделка?)

Мама смотрела прицеливающимся взглядом.

— И вообще... Зачем тебе к лету длинные штаны? Я тебе две пары сделаю.

Я взвыл.

Но мама уже приняла решение. Она заявила, что плату за брюки отдала двойную и, значит, иметь двое штанов за эти деньги правильно и справедливо.

В комнате лязгали ножницы и стучала машинка. Она мне казалась пулеметом, открывшим огонь из предательской засады.

Через час мама позвала меня на примерку. Я смирно подчинился и не стал смотреть на себя в зеркало. Но потом украдкой посмотрел.

Ну, если говорить честно, то вид был не хуже, чем раньше. Даже аккуратнее как-то. Однако я не признался в этом даже себе.

— Все прекрасно. Нечего дуться.— сказала мама.

Но я продолжал дуться до вечера.

А вечером перестал.

Во-первых, потерянного не вернешь. Во-вторых, пора было приниматься за самокат, а в плохом настроении браться за работу нельзя. В-третьих, если разобратся, то длинные штаны летом и вправду были ни к чему. Кроме так называемой «солидности», в них не

было ничего хорошего. Жарко в них и неловко. По лужам не поскачешь, футбольный мяч гонять неудобно. Через забор полезешь — зацепятся. К тому же я очень любил бродить по густой прохладной траве, когда высокие листья и стебли мягко щекочут колени и кажется, будто идешь в струящейся ласковой воде.

ВРАГ

Ночью мне приснилось, будто я в длинных, еще не обрезанных штанах еду на самокате мимо Майкиной калитки. Майка выходит на тротуар, удивленно смотрит на меня и начинает хохотать. Она так обидно хохочет, показывая на меня пальцем и встряхивая волосами!

«Отойди, сшибу!» — ору я.

Майка отскакивает и ехидно кричит вслед:

«Жулик! На краденном подшипнике едет!»

Ой, мама! Я от внезапного страха чуть не лечу кубарем. Оглядываюсь. Горбоносый дядька в колпаке большими шагами настигает меня. Он дует в милицейский свисток и лязгает громадными ножницами. Я понимаю, что он хочет отстричь мне голову. Пытаюсь набрать скорость, а ноги путаются в штанах и примагничиваются к тротуару. А ножницы: ж-жик, ж-жик!..

И так несколько раз в эту ночь. Правда, голову он мне не отстриг: я успевал проснуться.

Поднялся я рано. Лучше уж совсем не спать, чем видеть во сне такие страхи. А мама решила, что мне просто не терпится отправиться в обновке в школу.

Напрасно она так думала. Наоборот, я опасался, что американские штаны, да еще в урезанном виде, вызовут в классе обидное веселье. Но главная забота у меня была другая: понадежнее спрятать проклятый подшипник. Пусть лежит подальше от всех глаз, пока не поставлю на самокат. Мне казалось, что, как только я его приделаю к «Оленю», он перестанет считаться краденым. Ведь он будет частью самоката, а самокат-то мой...

В школу я пошел дальней дорогой — через сквер у цирка. Утро было теплое и ясное-ясное. Такая синева стояла над городом, что даже оконные стекла сделались голубыми, как осколки моря.

Листки на тополях были пока маленькими и блестящими, а трава в сквере стояла уже высокая. На солнце она обсохла от росы, а в тени еще сверкали

капельки. Я сперва прошелся по теневой траве, и холодные мурашки разбежались по всему телу. А ботинки стали блестящими, будто новыми. А потом я шагнул в солнце.

Оно сразу обняло меня за плечи, а мягкая трава шелестящим ветром смахнула с ног росу. От изгороди я повернул к середине сквера, пересек поляну, усыпанную золотыми веснушками одуванчиков, и нырнул в полосу кустарника. Это была желтая акация.

Зеленые стволы кустов разрастались по сторонам от корня, а в середине получался будто шалаш. Тенистый, прохладный, кружевной. Крошечные кусочки неба голубели в разрывах листьев, похожих на перья. Здесь пахло травяными соками и влажной землей. И можно было найти много местечек для тайника.

Я забрался в такой «шалаш» и на земле, среди корней, расчистил ямку. Потом из противогазной сумки (она была у меня вместо портфеля) вытащил подшипник. А во что завернуть? Содрал с задачника газетную обертку.

Ямка была подходящая. Аккуратно засыпал я краденое сокровище землей, забросал тайник прошлогодними листьями. Прислушался. В сквере была шелестящая тишина, только чвиркала какая-то птица. Да сердце тукало...

Я выбрался из укрытия и поскакал в школу, подавая коленками сумку.

В общем-то я зря опасался. Никто не обратил особого внимания на мои штаны. Только Вика Малеева засмеялась совсем необидно и сказала, что я как снегирь — вся грудь красная. Да Вовка Вершинин, воображала и хвастун, заметил на моем кармане иностранное клеймо и продекламировал:

Один американец
В ноздрю засунул палец
И думает, что он
Заводит патефон.

Подумаешь! Я знал про этого американца строчки похлеще. Мог бы ответить этому типу, если бы захотел. А тут еще за меня заступился Быпа.

— Чурбан,— сказал он Вершинину.— Чего пристал к человеку? Он ведь не сам себе шьет. Что мать достала, то и носит.

От такой неожиданной и серьезной поддержки у меня даже в носу защипало. Но, конечно, я виду не подал. Назвал Вовку обезьяной и пошел на место, потому что уже тренькал звонок.

Сидел я рядом с Викой Малеевой. Мы никогда не мешали друг другу. Она хотя и девчонка, но не придиралась и не ябедничала, если я рисовал в учебниках или читал на арифметике книжку.

И в этот день она не мешала мне. А я мечтал. О самокате мечтал, о Майке. О том, как прокачу ее, может быть, на своем «Олене» по асфальту, когда его сделаю. Майка будет стоять впереди меня, и мы помчимся по длинному спуску на Пристанской улице, и ветер полетит навстречу, и Майкины волосы будут щеко-тать мне щеки...

Но мечты мечтами, а суровая действительность в лице Антонины Петровны угрожающе надвинулась на меня. Антонина Петровна пожелала узнать, почему я блаженно улыбаюсь, хлопаю глазами и не решаю заданные примеры. Уж не хочу ли я получить двойку и остаться на второй год? Или я забыл, что с арифметикой у меня дела не блестящи?

Я вздохнул, возвращаясь в унылый мир чернильных клякс и примеров со скобками. До каникул оставалось меньше недели, и ни о каком «втором годе» теперь не могло быть речи, хоть завались двойками. Все это понимали. Но что поделаешь? Я полез в сумку за ненавистным задачником.

— Ух какой чистый! — шепотом удивилась Малеева. — Новый купили? Зачем сейчас новый?

— Обертку содрал, — объяснил я. И тут же с полной четкостью вспомнил подшивник, завернутый в газетную обложку от задачника. Старая газетная бумага с кляксами, нарисованным чернилами рыцарем и моей фамилией.

С фамилией... Ой-ей-ей! Какой же я дурак! Ведь там даже школа и класс написаны, а не только имя! И если кто-нибудь найдет подшивник и узнает, что он краденый, сразу мне конец.

Напрасно я успокаивал себя здравыми мыслями, что хозяин подшивника, скорей всего, и не заметил пропажи, а если и заметил, то, конечно, плюнул и забыл. Не пойдет же он в милицию заявлять о такой мелочи! И не будет же милиция обшаривать все кусты в городе. А если кто-то наткнется на тайник, ну и что?

Откуда он узнает, что подшипник этот я не нашел, не выменял, а стащил?

Но несмотря на такие разумные доводы, тревога грызла меня безжалостно. Я машинально списывал у Вики примеры и хотел только одного: чтобы скорее задремал звонок.

И вот он задремал.

Я первым выскочил из класса. Потом из школы. И, как выстреленный из рогатки, полетел к цирку.

Ну, стоило ли так психовать? Все оказалось в порядке. Вот он, круглый газетный сверточек с подшипником. Куда он денется? Я взял сверток в руки.

Странно... Почему он такой легкий?

Я сорвал газету. Вместо подшипника в ней была баночка из-под сапожного крема. Ничего не соображая, ногтями отколупнул я тугую крышку. Там лежал свернутый вчетверо листок из блокнота. Я развернул. На листке была старательно нарисована фи́га.

...Я опоздал на урок чтения. За это Антонина Петровна поставила меня в угол у доски. Я стоял, украдкой разглядывая рисунок, и мне хотелось зареветь от злости, досады и ненависти. Но реветь было нельзя: все решат, что я ударился в слезы потому, что в угол поставили. Я скомкал бумажку, запихал ее в баночку из-под крема, а баночку в карман. Вернее, мимо кармана.

Жестянка со звоном покати́лась к учительскому столу. Крышка отскочила, и бумажный комок услужливо запрыгал к ногам Антонины Петровны.

— Очень интересно,— провозгласила Антонина Петровна, развернув рисунок.— Маме будет приятно узнать, какие ты рисуешь картинки.

Не хватало мне еще дополнительных несчастий!

— Это не я рисовал!

— А кто?

— Ну откуда я знаю! — сказал я с отчаянием.

Но я знал.

Блокнот с такими блестящими листиками, расчерченными в узкую линейку, был у Тольки Засыпина из четвертого «Б». Он его выменял у одного первоклассника за старинный пятак и увеличительное стекло, а потом всем хвастался, как облапошил малыша.

Значит, утром, пока я, хлопая глазами, любовался небом и травой, Толька выследил меня и узнал про тайник. Наверно, сперва он хотел просто догнать меня и сделать какую-нибудь пакость, а потом удивился: почему я иду не в школу, а к цирку, и стал наблюдать. И вот пожалуйста: ему — подшипник, а мне — сами знаете что.

На перемене я увидел Тольку. Он стоял, привалившись к стенке, и нахально крутил на пальце мой подшипник. Потом заметил меня, и на лице его появилась отвратительная ухмылка (ух как я его ненавидел!).

— Ворюга,— сказал я, отходя к дверям своего класса.— Всё равно тебя когда-нибудь поймают, спекулянт!

Он опустил подшипник в карман, перестал ухмыляться и пошел ко мне. Я укрылся в классе. Сделал вид, будто ишу что-то в парте, чтобы не выгнали дежурные. И с досадой думал, что прибавилась еще одна забота: идти домой из школы так, чтобы не попасться Тольке на глаза.

Что я мог сделать? Я его боялся.

Он отравлял мне жизнь постоянным страхом и унижениями. Придумал дурацкую кличку «Клямпа». Она не прилипла ко мне, потому что была непонятна для других ребят, но он все равно звал меня только так.

Сколько раз бывало, что из-за него я не мог играть со всеми мальчишками. Выйдешь на улицу, где собирается футбольная команда или компания для игры в войну, а Толька цедит сквозь зубы:

— Чего притащился, Клямпа? Мотай отсюда.

Я уходил небрежной походкой, будто мне и самому играть не хочется. Но никто этому не верил.

— Ну чего ты боишься?— удивлялся Славка Дыркаб.— Дай ему два раза, чтоб мозги из ушей полезли!

Я бормотал, что неохота связываться, но все знали, что это вранье.

— Дрожь в коленных чашечках,— пренебрежительно замечал высокий изящный Марик Городецкий.

Хорошо ему было смеяться! Он-то, хоть и похож был на девчонку, никогда не страдал такой дрожью в коленях и мог отлупить сразу двух таких, как Толька. А уж одного — тем более. Но за меня не заступался: так не полагалось. По мальчишеским законам каждый должен был сам отстаивать свое право на уважение.

Иногда кто-нибудь из ребят говорил Тольке:

— Да ладно, пусть играет. Жалко тебе?

И если у Тольки было подходящее настроение, он с издевательской добротой соглашался:

— Ладно уж, Клямпочка. Я сегодня тебя пожалею.

Я делал вид, что не замечаю таких речей или принимаю их за шутку. Но даже когда Толька объявлял перемирие, покоя не было. Он мог придрататься к любому слову, к улыбке. И сразу грозил дракой.

Не знаю, почему он меня невзлюбил. Наверно, просто чувствовал, что может безнаказанно помыкать мной. Раньше этого не было. Когда он приехал в наш двор, мы вместе играли в войну, катались с ледяной горы, гоняли в сквере у цирка тряпичный мяч. Мы не дружили, но делить нам тоже было нечего. Но однажды мы поссорились, столкнувшись на самодельном трамплине, и я не стал ввязываться в драку, хотя он рвался. С того дня это и началось...

По вечерам, в постели, я мечтал о мести. Я представлял, как закалкой и упражнениями добьюсь удивительной силы. Мускулы у меня сделаются как у борца. Я каждый день буду лупить Тольку (нет, даже два раза в день!), и он на коленях станет просить прощения. Будет ползать и умолять, чтобы я не лупил его так часто.

Но дело было не в мускулах. Толька был, пожалуй, не сильнее меня. Он подавлял меня безудержным своим напором, полной уверенностью в победе. Несколько раз он все же навязывал мне открытую драку, и я ничего не мог сделать. Раза два успевал ткнуть перед собой кулаками, а потом, прижавшись к забору, закрывал лицо, а он молотил меня, пока его не оттаскивали.

— Не могу я человека по лицу бить,— объяснял я ребятам.— Ну, не могу, и все! А он этим пользуется!

И ребята, кажется, верили. Но я врал. С величайшим удовольствием я врзал бы кулаком по Толькиной физиономии, но меня удерживал страх. Я боялся, что, получив крепкий удар, Толька совсем осатанеет и превратит меня в котлету.

Два года назад меня так же изводил Ноздря. Но он был старше на пять лет, и я не стыдился, что боюсь его. А сейчас... Лучше и не говорить.

Смешно было думать, что Засыпин отдаст подшипник. Я и не собирался просить. Наоборот, старался

не встречаться с Толькой. К самокату я охладел. Искать новое колесо было слишком хлопотно. В общем, я остался с той самой фигой, которую нарисовал Толька. Недаром говорят, что краденое добро не приносит удачи.

Я вспомнил эти слова, вычитанные в какой-то книжке, и вздохнул даже с облегчением. Потом закинул за сарай приготовленные для самоката доски.

Дыра в заборе была забита новой желтой доской. С той стороны. И Майку я больше не видел.

Новая встреча случилась только через неделю, когда были уже каникулы.

Я гонял по тротуару колесо.

Сейчас уже не встретишь такую игру. Велосипеды-подростки и фабричные самокаты на пузатых колесах вытеснили ее из ребячьей жизни. Иногда только можно увидеть малыша-дошколенка, бегающего за пестрым обручем по садовым дорожкам. Но это совсем не то.

А в те годы у каждого из нас, мальчишек, был верный железный спутник: колесо-гонялка. И каталка была. Это длинная толстая проволока с особым крючком на конце. Каталкой подталкивали колесо и управляли им. Кое-кто не расставался с колесом целыми днями. Идет мальчишка в очередь за хлебом или на базар: в одной руке сумка, в другой — каталка, и бежит впереди колесо, жужжит, касаясь крючка. Прохожие спокойно уступают дорогу: дело обычное.

Колеса были разные: обручи от маленьких бочек, кольца от каких-то механизмов и даже чугунные конфорочные круги от печных плит. Я владел плоским и широким кольцом от неизвестной машины. Внутренний край его был в мелких зубчиках. Очень удобно было тормозить: подцепишь каталкой — и намертво. Такие тонкие колеса любил не каждый: они легко проваливались в самые узкие щели тротуара. Но я мог прогнать кольцо по любой досочке и щелей не боялся.

Сейчас колесо заменяло мне самокат. Я присвоил ему имя «Олень», и мы носились от угла до угла. Ветер легко шуршал у щек, тротуар пружинил, колесо звенело, и жить было весело. Несмотря даже на Тольку.

Пробегая мимо Майкиных ворот, я украдкой поглядывал на них. Калитка была заперта, но я думал, что, может быть, Майка смотрит на меня в дырочку. А вдруг в самом деле смотрит?!

И наконец я добегался!

Получилось почти так, как я недавно мечтал. Ведь вперед-то я не смотрел, и колесо все-таки угодило в щель. Каталка зацепилась за кольцо, нога — за каталку, и я на полной скорости «сбрыкал» на тротуар.

Ох и крепко же я стукнулся! Несколько секунд я лежал. Голова гудела. Потом, кряхтя, поднялся, сел и (представьте себе!) увидел Майку. Она шла ко мне по тротуару, и рядом с ней шел высокий старик с подстриженными усами.

Подняться на ноги я еще не мог и сделал вид, что полностью занят своими ссадинами.

Они подошли.

— Однако целый, — с некоторым удивлением заметил старик. — Руки и ноги на месте. И слезы не каплют. Если не каплют, значит, все в порядке. Так? — спросил он у Майки, а не у меня.

Майка хмыкнула и промолчала. Я из-под опущенных ресниц следил за ними. Старик это заметил.

— Интересно, — сказал он опять Майке. — Видать, это наш сосед. А не он это доску-то отломал?

Майка жалостливо посмотрела на меня и улыбнулась.

— Ну что ты, дедушка! У него и силенок-то не хватит. Другой оторвал, большой и белобрысый.

Дед усмехнулся:

— Тогда я пошел. А ты?

— Иди, — сказала Майка. — Я скоро приду.

И чего ей надо? Шла бы вместе с дедом...

— Ну? — с интересом спросила Майка. — Что же ты не закинул его на трубу?

Она смотрела на меня даже без ехидства, а так, как смотрят взрослые на маленьких болтунов. И чуть улыбалась.

— Еще издевается! — мрачно сказал я. — Тут у человека рана такая...

Вывернув локоть, я показал «рану».

— Ой, беда... — насмешливо откликнулась она. — Плюнул бы на подорожник да прилепил бы. Вот и все.

Нет, она не собиралась отрывать подол и торопливо перевязывать мои царапины. Не думала ронять прохладные слезинки и шептать ласковые слова.

Я сердито встал и с лязгом подцепил на крючок «Оленя».

— Обойдусь без твоих подорожников.

После этого надо было уходить. Гордо и независи-

мо. Так, чтобы у нее от позднего раскаяния защемило сердце. Но у меня так не получилось. Боком и медленно я сделал первый шаг.

— Думаешь, мне жалко, что ли, было ту доску?— вдруг спросила она.— Просто не люблю, когда нахальничают.

— А я нахальничал?

Майка прищурилась:

— А зачем без спросу начал отрывать?

Любовь любовью, но кто же стерпит такие возмутительные слова?

— Без спросу! У тебя спрашивать, да?!

— А у кого? Раз это наш забор...

— Ваш?!

— А чей?

Ну, что я в ней нашел, чтоб влюбляться? Треснуть бы каталкой по лбу, тогда узнала бы. Но нельзя трескать девчонок железными каталками. И я решил убить ее презрением.

— Ты, наверно, по правде дура,— сказал я.— Ну, пускай это был бы ваш забор. Мне, значит, надо было прийти и спрашивать: «Можно, я досочку оторву?» Что я, поленом стукнутый?

Майка была теперь не насмешливая, а даже немножко грустная.

— А ты бы все равно не пришел,— негромко сказала она.— Ты не знаешь, как у нас калитка открывается. Там надо за шнурок дернуть.

— Ну и дергай свой шнурок,— пробормотал я.

Она еще помолчала, отвернувшись, посмотрела за чем-то на свою калитку и тихо спросила:

— А хочешь, покажу, как открывается?

— Больно надо... Я к вам не собираюсь.

— Ну, а если... А вдруг пойдешь?

— Доски просить, да? Мне они больше ни капельки не нужны.

— Ну... а если просто так?— сказала она, глядя в тротуар.

— Зачем?— охрипнув от неловкости, спросил я.

— Ну, так... Поиграть...

Я подавил смущение и хмыкнул:

— «Поиграть». Как играть-то?

— Ты разве никак не умеешь?— спросила она и глянула опять слегка насмешливо.

Я сказал обидчиво:

— Я-то по-всякому умею.

— А в «чапаевцев»?— И она пощелкала пальцами, будто гоняла по шахматной доске круглые деревянные шашки, которые изображали в игре всадников.

— Ха! — сказал я. Она, девчонка, еще спрашивает меня об этой игре!

— Давай?— сказала она.

— Ну, давай,— небрежно согласился я.— Только гонялку домой отнесу.

Мы подошли к ее калитке. Майка показала, как дергать шнурок, и ушла. А я должен был отнести колесо

Но сразу домой я не пошел. Я прижался носом к забору и смотрел в дырку от сучка вслед Майке. Как она идет к своему крыльцу. Вот она поднялась по ступенькам. Вот остановилась. Стоит и водит пальцами по перилам, будто что-то рисует...

Я оторвался от забора, потому что почувствовал спиной неприятный взгляд.

На тротуаре стоял Толька. Он молча рассматривал меня и лениво шевелил за щекой языком. Щека от этого вздулась и неприятно двигалась.

Я растерялся и, кажется, покраснел.

— Ну, чё, Клямрик,— сказал Толька ехидно и без улыбки,— за невестой подглядываешь? Смотри-ка, весь нос в занозах. И пузо.

Ух, как я его ненавидел в этот миг! Его косую белобрысую челку, беспощадные табачные глаза, его большие прозрачные уши и тонкий безжалостный голос!

И он знал, что я его ненавижу. И знал, что моя ненависть беспомощна, потому что я боюсь.

— Гнида! — сказал я со слезами. Плюнул в него и побежал. И побежал сейчас, пожалуй, не из-за страха, а из-за отчаянной и жалкой обиды, из-за злости на себя.

Он не гнался.

Дома я успокоился. Ну и пусть, решил я. Пусть насмехается. Пусть всем говорит, что мы — жених и невеста. А мы все равно будем играть с Майкой. Всегда! Назло!

Я отдышался, кинул в угол колесо и каталку, потом высунулся в окно: ушел ли Толька?

А он не ушел. И не собирался. Он сидел на тротуаре и крошечным ножиком остругивал здоровенную палку.

Вот паразит! Ну что ему там надо? Ведь Майка меня ждет.

Я повременил и выглянул снова. Сидит! Мало того: он заметил меня. Ухмыльнулся, засвистел и уселся поудобнее.

Все было ясно. Он знал, куда я собираюсь. Он решил караулить.

Сначала он лишил меня моего самоката, моего «Оленя». Сейчас он разрушает начало моей и Майкиной дружбы.

А я? В отчаянии я так трахнул по стенке локтем, что посыпалась известь.

Я трус, трус! Трус!! Так мне и надо!

ГДЕ СИНИЙ ВЕТЕР ВСТАЕТ...

Я просидел дома до прихода мамы.

— Странно,— заметила она.— Что это ты не гуляешь? И кислый. Натворил что-нибудь?

— Ничего.

— Ну и прекрасно.

Мы поужинали. Потом мама переоделась. Она надела синее шелковое платье. Это платье мне нравилось. Мама в нем делалась очень молодой и красивой. И веселой. Но я не любил все-таки, когда это платье появлялось на свет. Значит, мама куда-то собралась, и ее весь вечер не будет дома.

— Мам, ты куда?

— Батюшки! Ты что, маленький? Будешь плакать: «Мама, не уходи»?

— Не буду я плакать,— сказал я, надувшись.— Просто сидеть одному неохота.

— Не сиди. Погуляй. Все равно ведь каждый вечер бегаешь.

Ага, «погуляй»! Если бы она знала!

— Надоело мне гулять.

— Владик, ну что за капризы! Сегодня симфонический концерт в городском саду. Это бывает раз в несколько лет. Неужели я не могу послушать?

— А я?

— Что «а я»?

— Тоже хочу на концерт,— уцепился я. Это было все-таки лучше, чем сидеть дома.

— Ты серьезно? Это ведь не кино.

— Ну и что! Кино я видел, а концерты ни разу.

— Ладно...— сказала мама.— Куда тебя девать.

Она дала мне белую рубашку, новые штаны (те, которые сшила из обрезков американских брюк), расчесала на косой пробор мои космы (я терпел) и сказала:

— Оказывается, иногда ты можешь выглядеть вполне прилично... А хочешь, я сделаю тебе черный бантик на шею? С белой рубашкой будет очень красиво.

Я со сдержанным негодованием выразил свое отношение к бантикам. Мама заметила, что я все-таки чудовище, и мы пошли в сад.

У ворот сада нам повстречался высокий мужчина в глухом кителе, с флажком на фуражке. Флажок был белый с зеленой каймой. Мужчина вежливо поздоровался с мамой.

— Добрый вечер, Сергей Эдуардович,— сказала мама, и мы пошли рядом.

Сначала — молча. Мама шла опустив голову. Сергей Эдуардович поглядывал на меня. А я — на него. Меня интересовала фуражка.

— В отделе прочитали ваш очерк,— сказала мама.— Всем нравится. Только... понимаете, газетный объем... Как-то надо сократить материал. Хотя и жаль.

— Сокращу,— поспешно согласился Сергей Эдуардович.— Чего там жалеть? Не в этом дело...— Он помолчал и неожиданно признался:— С тридцать шестого года не слышал симфонического оркестра...

И опять они с мамой замолчали.

— А почему у вас фуражка морская, а на флажке самолет? — спросил я.

Он, по-моему, обрадовался вопросу. Быстро снял и протянул фуражку:

— Это не самолет, а перекрещенные рыбы. Я — рыбак. Промысловик. Понимаешь?

Я кивнул. Голова у него была с длинными залысинами, а лицо сухое, морщинистое и все-таки доброе. А на руке не хватало двух пальцев.

Сергей Эдуардович взял фуражку и пошел покупать билеты.

— Ему пальцы снарядом оторвало? — спросил я.

— Нет,— сказала мама.— Он не был на войне. Пальцы он отморозил.

— А-а...— протянул я с разочарованием.

— Дурачок,— сказала мама.— Этот человек перенес столько... Он много лет работал на Севере. В самых тяжелых местах. Один раз в тундре он спасал пострадавшего летчика. Летчик разбился при аварии. Сергей Эдуардович тоже был в этом самолете, но уцелел. Он тащил летчика трое суток на самодельных санях, обморозил ноги и руки... А когда добрался до стойбища, оказалось, что летчик умер. Это было самое страшное...

Я опустил голову. Сергей Эдуардович подошел, мельком взглянул на меня и спросил:

— Кажется, была проработка?

— Нет,— сказала мама.— Просто разговор. Не хочу, чтобы он вырос легкомысленным болтуном.

— Ничего,— заступился Сергей Эдуардович.— Легкомыслие проходит. Лишь бы не вырос чиновником и трусом.

Ну вот, надо ж было ему это сказать! Снова стало скверно на душе.

Площадка с эстрадой построена была среди старых берез. Ее окружала деревянная высокая решетка. Мы прошли туда почти последними и с трудом отыскивали свободные места. У самого прохода. Мама села рядом с веснушчатой девушкой, а я примостился на краешке скамейки. Веснушчатая девушка с удивлением посмотрела на меня и отвернулась. Наверно, подумала: «А этот пацаненок зачем сюда притащился?»

Тоже мне принцесса! Рыжая...

Сергей Эдуардович сел в стороне от нас. Посмотрел на маму и чуть кивнул. Даже не кивнул, а просто опустил глаза. Мол, все в порядке. Подумаешь, герой... Еще и переглядывается!

Было сумрачно и неуютно. Дуло по ногам. Ветер не ветер, а такой низовой сквознячок шелестел под скамейками, крутил бумажки в проходе. Я поежился, покачал ногами, чтобы прогнать озноб.

— Не егози,— сказала мама.— Лучше посмотри на музыкантов.

А чего там смотреть? Все одинаковые, в черных костюмах. Одни с обыкновенными скрипками, другие тоже со скрипками, только громадными — такими, что не поднимешь, приходится на пол ставить. А еще барабан. Да несколько трубачей сзади. Ну и что? Я эти инструменты уж сколько раз видел! В кино. Ими в кар-

тине «Веселые ребята» музыканты друг друга лупили. Под руководством Леонида Утесова. Но здесь, конечно, не дождешься такого веселья.

Меня только деревянные трубы немного заинтересовали. Длинные такие, коричневые. Похожие на минометы.

— Это что?

— Это фаготы,— сказала мама.— Смотри.

Вышел худой высокий дядька. Чуть поклонился и встал к нам спиной. На нем был длиннополый фрак с разрезом.

Я знал, что дирижеры бывают с палочками. А этот вышел без палочки. Подумаешь, дирижер...

Он медленно поднял руки. Правую — повыше. Чуть шевельнул пальцами.

Откуда-то издалека пришла сумрачная медленная музыка, похожая на движение тяжелых туч. Будто они целым фронтом растут на краю вечернего неба, и еще не слышно грома, а только прожилки молний мерцают в лиловом сумраке. Гроза еще не здесь, не близко, но уже меркнет свет.

Эта музыка была под стать моему настроению. Прямо то, что я чувствовал и думал.

И все-таки не то. Я был боязлив, а в музыке не было страха. Она была суровая, печальная была, но мужественная. Она мне напоминала о том, что я трус. Боюсь Тольки, боюсь грозы, боюсь еще много чего на свете. И ей было плевать на меня, этой музыке. Я перед ней был как прижатый к земле кустик перед нарастанием грозового фронта. Что им, высоким тяжелым тучам, какой-то кустик!

Та-а, та-та-та́, та-та́-та...— с нарастающей громкостью повторяли трубы.

Та сторона,
где тучи...

Та сторона,
где ветер...

Оркестр оборвал музыку. А через секунду скрипки повели другую мелодию. Я ее тогда не запомнил. Отголоски грозы все еще звучали во мне.

Ну почему я все-таки трус?

Занятый грустными мыслями, я как-то не обращал внимания на музыку, а просто следил за движениями музыкантов. Дирижер так ловко ими командовал. Шевельнет ладонью — и взлетают смычки над скрипками.

Поведет рукой вниз — и гаснет мелодия. Мне нравилось, когда вступали фаготы, эти трубы-минометы. Я сразу тогда начинал слушать. У них был глуховатый, но красивый такой голос.

Стоп! Будь внимателен! Что-то сейчас будет...
Что?

Оркестр уже не гремел, и не было вихря мелодий. Скрипки негромко и спокойно заговорили о чем-то знакомом. Нет, не музыка была знакомая, а просто казалось: вот-вот вспомнится что-то хорошее.

Но что же?

«По-стой... по-стой...» — прямо человеческим языком сказали скрипки.

Стой.
По-до-жди...
По-до-жди...

Опять прозвучала та же мелодия, все приближая и приближая разгадку.

И вдруг в наступившей тишине одиноко, чисто и негромко прозвучал угасающий сигнал трубы.

Такой знакомый!

И я не мог вспомнить...

Ну что же, что же это было?

А скрипки, будто испугавшись, рванулись, закрутили музыку метелью, сметая все воспоминания! Я чуть уши не зажал.

Что же это было? Неужели не вспомню?

Неужели не повторится этот сигнал?

Ну чего они бесятся, эти скрипки? Спокойнее, вы! Вот так. Не мешайте думать и ждать. Все равно эта труба еще заиграет. Хоть один раз, но заиграет...

И все остальное время я ждал. Пока снова не прозвучали вдалеке настроженные фаготы.

И вот опять знакомая мелодия. Снова:

По-стой,
Подожди...

Ну?

И ясно-ясно труба сказала слова:

Ветер
с утра —
Значит,
пора.
В путь...
В путь...
В путь...
В путь...
В путь...

Каравелла! Моя Каравелла! Как я мог забыть...

Павлик...

Вот как это было.

Мы, первоклассники, учились в те дни во вторую смену, и я прибежал домой, когда было уже темно. По дороге мы дурачились, катались в снегу. Я ворвался в дом, как снежный заряд. Мамы и Татьяны не было, я это знал и тут же заскочил к Павлику.

— Тише,— сказал он.

Горела настольная лампа, и потрескивала печка.

— А что случилось?— шепотом спросил я.

— Я вспоминаю песню.

Он смотрел на меня спокойно и строго, и я понял, что это важная песня.

— Не могу,— вдруг сказал он и отвернулся.— Вот только эти слова помню:

Ветер
с утра —
Значит,
пора.
В путь... В путь...
В путь... В путь...
В путь...

Он сказал это, а потом вдруг тоненько засвистел.

— Сначала это была не песня, а просто сигнал,— сказал он.— Его играли трубачи на палубах, когда команда ставила паруса. Перед очень дальним плаванием.

Наверно, он все это выдумал. Слова сам сочинил, а мелодию где-то слышал. Но я поверил ему, потому что он сам верил в свою выдумку.

И с тех пор, отправляя в путь нашу Каравеллу, мы тихонько напевали сигнал «Ветер с утра». Тот самый, который сейчас проиграла труба.

А музыка летела дальше. Праздничная, как хлопанье пестрых флагов и разноцветных парусов. Тревожная, как ожидание приключений. И она была — моя. Это была песня о Каравелле, разбуженной утренним сигналом отхода.

Потом она кончилась.

Но в наступившем молчании все сидели неподвижно. И я понял, что еще не все.

Мельком я взглянул на веснушчатую девушку. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Она была красивая, хотя и с веснушками. Думаете, не бывает красивых с веснушками?

Глухо и сдержанно оркестр начал вторую часть. И сразу стало ясно, что это — про ночь. В зимнюю темноту, где среди сказочных лесных великанов перепутались мелкая чащоба и бурелом, неслышно пришло дыхание южного ветра. И все окуталось мягким теплом. С шуршанием заскользил с еловых веток снежный пласт. Это незаметно принялась за дело весна. А потом просветлело небо и начался восход. Без блеска и ярких красок, но такой ясный... И, как тонкий луч, как серебряный ручей, прорезалась чистая, звонкая песня. Она была без слов, но такая, что слова пришли сами собой:

Ранней весной,
когда открываются реки,
Когда просыпаются травы...

Это была музыка про то, как ребята делают из сосновой коры и бумаги кораблики, как просыхают деревянные тротуары, а на лугах и лесных проталинах пробиваются к солнцу разведчики-травинки.

Потом вырастают травы.

Вот они встали и качаются под синим-синим небом, и я иду среди них, касаясь коленями больших, как блюдца, ромашек. И думаю, что, наверно, повстречаю Майку...

Стремительно накатывает гроза. С «той стороны, где тучи». Стараются оглушить суровой, знакомой уже мелодией. Но не так уж это страшно. Вот опять распрямляются травы, стряхивая капли. А ромашки удивленно качают головами: «Чего налетела, зачем расшумелась?»

И опять я шагаю, выкручивая на ходу мокрую рубашку, а трава блестит от дождя. Я иду, и мне хорошо. Ведь я помню про главное: про Каравеллу.

Трах!

Я подскочил от этого взрыва. Как он грянул, этот оркестр! Будто сразу оборвалось передо мной солнечное поле и навалился сумрак. Отвесные скалы, а под ними ревущее море. Гремучее море. Оно далеко внизу, но удары волн такие, что холодные брызги хлещут по ногам, по лицу, и рубашка опять промокла.

А белая башня маяка до половины в облаке водяной пыли.

Белая башня и белые чайки в косом стремительном полете. И синий штормовой сумрак. И опять это грозное начало:

Та сторона,
где тучи...
Та сторона,
где бури...

Но это же совсем не страшно! Мне смеяться хочется от растущего торжества. Как я не понимал? Это же гремющая песня синих циклонов и белых парусов. Синих скал, белого маяка и чаек. Грозная и сильная. Ну и что? Я сам частица этой грозы и силы. Я — капитан! В узкой бухте меня ждет, качаясь, Каравелла.

А за спиной у меня на солнечных берегах качаются травы. И мчатся по ним лошади...

Теперь я боялся одного: лишь бы музыка не обманула меня. Лишь бы не сделалась другой!

Мама шепнула, когда смолк на минуту оркестр:

— Слушай, сейчас будет вальс. Очень красивый.

Этого мне еще не хватало! Зачем он мне, красивый вальс?

Может быть, он и был хорош. Не знаю. Я ждал другого. Неужели так все кончится? Но среди беспечного кружения мелодии опять прозвучали знакомые ноты, и я успокоился: что-то хорошее будет еще.

И торжественное пение труб вернуло мою музыку.

Смычки взлетали и опускались разом. Все вместе. Словно копыта летящей конницы. Быстрее, быстрее! Черные Лошади, верные и неутомимые, несли меня в гуще кавалерийской лавы. Мы сметали врага, мы рвались к морю. И взлетали, взлетали копыта в стремительном ритме скачки!

И вот пришло мое торжество.

Четыре раза прозвучало короткое вступление, и медные голоса труб запели приподнято и чисто. Та музыка, которая в самом начале принесла угрозу и печаль, сейчас звучала с такой радостной силой, с таким сверкающим мужеством, что мне захотелось запеть самому.

Это была песня о том, что есть на свете край, где рождаются смелые ветры, зовущие в дальние плаванья. Не знаю, тогда или потом сложились слова, но теперь я их не могу отделить от этой музыки:

Та сторона,
 где ветер
Встает стеной громадной, словно море...
Та сторона, где ветер
Встает,
 как синяя стена!
Растет,
 как синяя волна!..

А дальше — уже никаких слов, только нарастающая радость и бесстрашие.

Боже мой, ну почему я думал, что я трус? Разве можно быть трусом, когда на свете есть т а к а я музыка?

Неужели это именно я сегодня боязливо прятался на подоконнике?

Люди расходились. Подошел и попрощался Сергей Эдуардович. Кажется, это было уже за воротами сада, на улице. Я не обращал внимания. Музыка еще гремела во мне.

— Как она называется?— спросил я у мамы.

— Что?

— То, что играли.

— Пятая симфония Чайковского.

— Ага...— сдержанно сказал я и подумал, что запомню навеки.

И еще кое-кто запомнит!

Мама взглянула на меня с сожалением.

— Кажется, ты едва досидел до конца. Как-то странно ты себя вел. Подпрыгивал, дергался... Неужели тебе ничуть не понравилось?

Я промолчал. Что тут скажешь? Понравилось? Это про порцию мороженого так можно сказать. Ну, или про кино какое-нибудь. А про такую музыку словами не скажешь.

Мы шли домой, и я никак не мог приноровиться к маминым неторопливым шагам. Я рвался вперед: трубы гневно и весело пели в моей душе.

— Что ты скачешь?— сказала мама.— Иди спокойно.

— Мам, я погуляю, ладно? Не хочется домой...

— Так поздно!

— Ну, чуть-чуть. Пять минуточек!

— Иди... Не оказала на тебя классическая музыка никакого влияния.

Оказала! Ох как оказала! Я рванул за угол и помчался по пустой улице.

Я спешил найти Тольку.

Как я хотел его встретить!

Надо было поскорей попасть в цирковой сквер, где каждый вечер почти до полуночи ребята гоняли футбольный мяч. Лишь бы успеть! Лишь бы враг был еще там!

Маленькие пасмурные облака, недавно висевшие в зените, незаметно растаяли. Был светлый, как день, вечер. Солнце ушло с неба, но чувствовалось, что оно совсем недалеко. И при этом свете необычной была пустота улиц.

Я бежал в этой пустоте, и казалось, что вместе со мной мчится конница с копьями, взлетающими, как смычки оркестра. Куда торопились всадники? Может быть, боялись, что угаснет музыка и вернется мой прежний страх?

Мне повезло больше, чем я надеялся: Толька шел навстречу.

Мы издалека узнали друг друга. Он ускорил шаги, а я... остановился, перевел дух и медленно пошел навстречу.

Наверно, Толька решил, что я бежал по своим делам, увидел его, испугался и не знаю, что делать: бежать назад или обойти стороной. Он еще не заметил, что шаги мои спокойны и тверды и подошвы стучат с решительностью молотка, забивающего гвозди одним ударом. Он, кажется, улыбался. Так мне, по крайней мере, казалось издалека. Он предвкушал еще одну легкую победу и мое новое унижение.

Потом Толька удивился: ведь я не сворачивал с пути. Но, удивившись, он, конечно, ничуть не испугался. Он не мог тогда понимать, что обречен.

А он был обречен. Потому что не было у него такой музыки. Не было стремительных скрипок и торжественных труб, поющих песню о могучем синем ветре, не было Черных Лошадей, белых маяков, не было Каравеллы.

Ну, по правде говоря, маленький страх один раз кольнул меня, но могучая музыка тут же развеяла его в пыль. И когда мы с Толькой сошлись, я, не сбавляя шага — трах! — с размаху треснул врага кулаком по носу.

Наверно, таким отчаянным ударом вышибают окно в горящем доме.

Нос мягко сплющился. Толька мотнул головой и ошеломленно открыл рот. Потом зашмыгал, чтобы удержать кровь. И стоял, опустив руки, смотрел ошеломленно.

Я тоже растерялся в первый миг. Но тут же словно кто-то шепнул: не жди! И левой рукой я закатил Тольке звонкую затрещину. Он открыл рот еще шире. Я, повинувшись стремительному вдохновению, обошел противника с тыла, ухватил одной рукой за шиворот, а другой за штаны и дал ему пинок. Мне хотелось, чтобы Толька полетел по воздуху, как мяч.

Ну конечно, он не полетел. Он пробежал, согнувшись, несколько шагов, постоял две секунды не оборачиваясь, а потом взревел яростными слезами и бросился в бой. Мы самозабвенно сцепились посреди тротуара.

И оказалось, что это совсем нестрашно!

Даже в тот момент, когда он сидел на мне верхом и лупил между лопаток, я не терял уверенности в победе. Потом я извернулся, и мы поменялись местами.

Как хорошо, что не было прохожих! Любопытный увидел бы здесь простую вещь: сцепились на тротуаре двое мальчишек — обычная история. Обозвали бы нас хулиганами, растащили бы, вот и все. Разве бы они догадались, что здесь человек борется за первую в жизни победу? За то, чтобы жить спокойно, ходить смело, смеяться открыто!

Ну, я дал этому Тольке, пока сидел на нем! Он вырвался наконец, мы вскочили, и я ринулся снова. Пусть болела распухающая губа, саднило плечо! Разве в этом дело?

И он побежал.

Сначала он пятился, нелепо отмахиваясь кулаками и всхлипывая, затем повернулся и бросился от меня, сердито подвывая.

Гнал я его полквартала. Потом отстал.

Рубашка на плече была порвана и прилипла к спине. Губа, кажется, стала величиной с котлету. Правый глаз понемногу заплывал.

Я медленно зашагал домой. Ожидалась взбучка, но это меня не трогало. Разве могла она уменьшить радость моей победы? Радость ясную и торжественную, как финал Пятой симфонии!

Нет, я ничуть не боялся, хотя знал заранее, что скажет мама.

— Силы небесные! — сказала она. — Иди сюда! Так... Ну, кажется, мое терпение лопнуло.

Я молчал, стараясь придержать отвисающую губу.

— Что с тобой делать? — печально спросила мама. —

Ну что? Отлупить? Но, по-моему, тебе и так досталось.

— Да? — язвительно сказал я. — «Досталось»... Ты бы посмотрела, как досталось е м у!

Это почему-то маму не обрадовало.

— Во что превратил одежду... Убирайся в угол! Вон туда, за шкаф. Видеть тебя не желаю.

Но даже это унижение не сломило меня. Оттуда, из темного угла, я известил маму, что «завтра этот гад получит еще больше».

— Да что вы не поделили? Можешь ты объяснить в конце концов?

— А чего он... Я его, что ли, трогал когда-нибудь? Он сам все лез... Дурак. Думал, что я все еще его боюсь... — Я потихоньку вышел из угла. — Мам... Ты помнишь, как играл оркестр, да? Когда трубы в самом конце играют... Помнишь?

Мама с полминуты молча смотрела на меня.

— Это называется «аллегро виваче»... Иди сюда, покажи плечо. И перед следующим поединком, прошу тебя, надевай старые штаны и рубашку.

Ночью в реку вошла эскадра.

Берега были совсем черными, и редко-редко мерцали на них огоньки. Небо и вода были светлее, в них еще не погас отблеск заката. В синеве висел месяц. Он отражался в реке золотыми чешуйками. Закрывая эти чешуйки и береговые огни, проходили темные корабли.

Был торжественным и бесшумным их медленный ход. Чуть заметный ветер не трогал складки на парусах и длинные повисшие флаги. Желтым светом горели над ахтерштевнями старинные фонари. И лежала ясная тишина, только ветки прибрежных кустов заскребли однажды о борт подошедшего вплотную высокого брига.

Я стоял высоко на обрыве. Очень широкая лестница убегала к воде — целый каскад беспорядочных ступеней. Прохладный воздух поднимался от реки и вместе с привычными запахами сырого песка и трав до-

носил запах влажных парусов и смоленых канатов.

Прозвучала чистая струна. И тут же из темной толпы кораблей вышел и двинулся к берегу парусник с крутыми бортами и высокой кормой.

Я долго-долго бежал ему навстречу. Мимо громадных ржавых якорей, мимо старых пушек, тут и там разбросанных на ступенях. Звонко, как выстрелы, щелкали на камнях мои подошвы. Но сквозь это щелканье и шелест ветра в ушах я услышал, как заскрипел о каменный причал борт Каравеллы.

Тогда я замедлил бег. Остановился. Непокойно стучало сердце.

Кто-то шел навстречу. Я еще не видел лица. Но я уже знал, что это Павлик.

«А, ты здесь,— сказал он из сумерек.— Хорошо, что пришел».

«Да,— сказал я.— Павлик! А это наша Каравелла?»

«Ты все ещё боишься Тольку?» — спросил он.

«Нет,— сказал я.— Ну, ты же знаешь, что нет».

«И ничего не боишься?»

Я молчал. Я многого боялся. Трескучих молний, кусачих пчел, насмешек, торговца, у которого украл подшипник. Боялся, что заболит мама...

Правда, я не боялся уже ночной темноты, самых злых собак и высоких откосов, с которых не каждый решится съехать на лыжах...

«Павлик,— сказал я,— помнишь, я был еще маленький, и мне было страшно одному по вечерам, и я ревел, когда на меня кидался Марсик Вовки Сазанова, но мы все равно плавали вместе. И ты не говорил, что я трус».

«Разве я говорю, что ты трус?» — ласково сказал он.

«Значит, ты возьмешь меня на Каравеллу?»

Я увидел сквозь сумрак, что он опустил глаза.

«Пока еще нельзя...»

Нельзя. Я так и знал, что он это скажет! Сразу же знал. До чего же мне стало грустно.

И вдруг просветлел и разгорелся месяц! И фонари эскадры засияли ярко, будто начинался праздник. Приподнялся и хлопнул обвисший фор-марсель Каравеллы! А трубач на высокой корме ясно и негромко проиграл знакомый сигнал «Ветер с утра...»

И тут я увидел, что не месяц светит и не фонари, а растет на востоке рассветная полоса. И паруса и флаги из черных делаются цветными.

А Павлик смеялся. Я увидел его лицо. Пашкино лицо с золотыми точками в глазах и черной родинкой над верхней губой.

«Я пошутил,— сказал он.— Пойдем. Это ведь наша Каравелла».

Он взял меня за руку. И мы пошли вниз, к знакомому до последней царапинки трапу. Мимо пушек и якорей...

Я просыпался, смеясь от радости. И, уже очнувшись совсем, лежа в тишине, я все еще ясно ощущал в ладони тепло и твердость Пашкиной руки.

ЛЕТНИЕ ДНИ

Одной драки оказалось мало для полной победы над Толькой, и я отлупил его еще два раза. Сначала — за сараем, где он караулил меня, чтобы взять реванш. Потом — на глазах у всех ребят. В битве у сарая мне досталось крепко, но ему еще больше. И главное, я не боялся. А на следующий день я полез в драку сам, нахально. Чтобы закрепить успех. После первой же стычки Толька отказался от боя и зажал руками лицо.

— Аут,— сказал Славка Дыркаб и осторожно взял меня за плечо. Я все еще яростно дышал.— Хватит.

— Дрогнул Толик,— без усмешки отметил Марик.

— Ты, Засыпа, больше к Владьке не лезь,— посоветовал Петька Лапин.

Толька открыл лицо. Оно было красное и мокрое.

— А я лез? — со слезами спросил он.— Я лез? Он сам первый наскакивает!

Тогда все засмеялись. Над ним. Все же знали, сколько он меня мучил.

— Как ты ему дал по носу,— уважительно сказал маленький чернявый Южка.

— Айда, ребята, купаться,— не отпуская моего плеча, предложил Дыркаб.

И я стал равным среди равных.

Наступило чудесное время, полное радости и солнца. Я исчезал из дома ранним утром и приходил в сумерках. Едва хватало сил, чтобы раздеться и бухнуться в кровать. Ноги гудели, плечи горели от обжигающих

лучей, а перед глазами, как стремительная кинолента, пролетал весь день, состоящий из солнечных бликов, шума травы и смеха товарищей...

Конечно, не все время я бездельничал. Надо было сбегать за хлебом, посуду помыть. Иногда притащить воды. Но за хлебом — это пустяк, если нет очереди. Посуда? Две тарелки да два стакана — мои и мамины. Хуже всего было с водой. Правда, обычно воду носила тетя Клава, которая жила за стенкой: мама с ней договаривалась. Но часто тетя Клава уезжала в деревню, и тогда на водокачку отправлялся я. За четыре квартала.

Ну, это была работка! Таскать ведра на коромысле у меня силенок не хватало. Дотащить одно полное ведро я тоже не мог. А носить по полведерка не хотелось. Сколько раз придется ходить, пока нальешь бочку хотя бы до половины!

Я наливал большое ведро на две трети. И волок его, вцепившись в дужку обеими руками, брякая коленками по острому краю. Дужка резала мне ладони, колени украшались синяками, вода плескала в сандалии, и они становились скользкими внутри: того и гляди, подвернешь ногу.

Но мне повезло. В конце июня в нашем квартале поставили колонку. Это был железный столбик с длинным рычагом. Рычаг оказался тугой, приходилось ложиться животом, чтобы нажать. Ляжешь, и колонка начинает грозно гудеть. А потом из трубы ударяет сверкающая толстая струя, такая упругая, что кажется, дно у ведра сейчас вылетит!

Когда у колонки не было взрослых, там собирались все ребята нашего квартала. Вот это была жизнь! Пробежешься к трубе, зажмешь ее рукой, и брызги громадным веером летят из-под ладони. Так летят, что оконные стекла на другой стороне улицы покрываются каплями. Визжат девчонки, хохочут мальчишки, и Таисия Тимофеевна, которая высунулась в окно, чтобы заклеить нашу невоспитанность, с возмущением захлопывает створки.

Мы не успокаивались, пока не промокали до нитки. В такую жару это было одно удовольствие. Но еще лучше было, когда наша компания отправлялась на реку.

Мама не запрещала купаться с ребятами. Она только взяла с меня самое честное-пречестное слово, что я

не буду заходить в воду глубже, чем по грудь, а Дыркабу сказала:

— Славик, я тебя очень прошу...— и выразительно посмотрела на меня.

Дыркаб стал серьезным и совершенно по-взрослому ответил:

— Все будет в порядке.

А мне он показал крупный, усыпанный веснушками кулак. И я отчетливо понял, что действительно не следует соваться на глубину. По крайней мере, пока не научусь плавать.

Впрочем, научился я быстро.

А мамино мужество я оценил уже потом, когда стал взрослым. Сколько беспокойных часов провела она, думая обо мне, пока я с приятелями беззаботно бултыхался в реке и загорал на прибрежном песке. Сколько раз представляла самое ужасное, когда я опаздывал к обещанному сроку! Я не хотел опаздывать, но ведь часов-то у нас не было. Время мы узнавали так: зажмем торчащую соломинку (длиной в мизинец) между пальцами, сдвинем раскрытые ладони и смотрим, через сколько пальцев проскочила тень от соломинки. Сколько пальцев — столько и часов от полудня. Не очень точный хронометр.

Увидев, что я жив и невредим, мама успокаивалась и не сильно ругала за опоздание. Она все понимала. Понимала, что нельзя мальчишку все время держать рядом с собой, делать его маменькиным сыночком. А отцов, которые учили бы нас мужским наукам, не было.

Из всех знакомых мальчишек лишь у Вовчика Сазанова был отец. Да еще у Тольки — неродной. У остальных не вернулись с фронта. И первыми нашими наставниками и командирами были старшие ребята вроде Дыркаба.

Славка Дыркаб перешел уже в восьмой класс и был главным в нашей компании. Нам повезло: он был хороший командир. Не то что, например, Петька Брындин, по прозвищу Зер-Гут, который командовал ватагой на Вокзальной улице. Славка был справедливый. Он всегда поровну делил хлеб, который мы брали с собой, когда уходили купаться. Он даже следил за нашим воспитанием и однажды крепко надавал по шее Левке Аронову за то, что он подбирал окурки и дымил ими.

Левка заревел, обозвал Дыркаба, а заодно и нас разными словами и пообещал:

— Дырку с маком вы еще получите, а не пирожки... Это была серьезная угроза.

На реке нас терзал голод. Принесенный хлеб мы съедали быстро, и скоро мне начинало казаться, что желудок совершенно пуст и стенки его со скрипом трутся друг о друга, как мокрая резина. Остальные тоже мечтали хотя бы о сухой корочке. Тогда Левка с хитрым видом исчезал. Недалеко от речного обрыва стоял приземистый кирпичный дом, окруженный клубами удивительно вкусного запаха. Это был пирожковый цех, где работала Левкина мать. Левка скоро возвращался. Обеими руками он нес драную свою пилотку, и она была доверху нагружена золотистыми пирожками с ливером.

Пирожки были бракованные: когда их жарили, они лопнули по шву и не годились для продажи. Да нам-то что! Мы плясали от нетерпения, пока Дыркаб считал и делил их. Обычно доставалось по пирожку на брата, а каждый мог слопать, наверно, по два десятка. Но все-таки это было подкреплением для желудков.

И вот Левка пригрозил прекратить снабжение пирожками!

Но Дыркаб не дрогнул перед такой угрозой.

— Ну и подавись ими! — презрительно сказал он. — А еще закуришь — напинаю...

И он точно назвал место, по которому «напинает» злосчастного Левку.

— Нахал ты, Славка, — сказала Майка. — Хоть бы девочек постеснялся.

— Ладно, не помрете, — проворчал Дыркаб.

Впрочем, сам он покуривал. Тайком от всех. Это нам под секретом поведала Славкина сестра Манька.

Мы ее звали Маняркой. Была она маленькая, костлявая, большеротая. Смешная такая. Очень похожая на Славку, только не рыжая, а темная и курчавая. Бегала она всегда в одном и том же синем платице, похожем на мальчишечью рубашку. Иногда, чтобы ловчее было прыгать и носиться, она заправляла платице в трусики, тоже мальчишечьи — с красными генеральскими лампасами, и делалась совсем как чумазый, давно не стриженный пацаненок.

Дыркаб часто брал ее с нами на реку. Говорил сердито:

— Оставь ее одну дома, так она там наделает делов. Спокойнее, когда на глазах.

Мы не спорили. Манярка не мешала. Она караулила одежду, пока мы купались или играли в зарослях на обрыве. Потом Дыркаб разрешал ей поплескаться у берега.

Часто Манярка из щепок и прошлогоднего бурьяна разводила в сторонке костер и пекла картошку. Одну-две картофелины, которые приносила с собой. Когда картошка была готова, Манярка торопливо съедала ее, даже не очистив. Рот у нее всегда был перемазан сажей. Мы не просили Манярку поделиться — знали, что она голоднее всех.

— Всегда жрать хочет,— жаловался Дыркаб.— Они, малявки, все такие. Потому что им расти надо больше других.— И он, ворча, отламывал для нее половину своего пирожка.

Манярка любила слушать наши серьезные разговоры. Сама она не говорила, только иногда, если было что-то непонятно, быстро спрашивала:

— Чиво говоришь?

— Не суйся, когда старшие разговаривают,— отвечал Славка.

— Не рычи на нее,— заступалась Майка. Девчонки всегда заступаются друг за друга, особенно если их всего двое в мальчишечьей компании.

Майка всегда была с нами. Как-то незаметно она со всеми подружилась. И со мной. Можно было теперь приходить к ней когда хочешь, качаться вдвоем на качелях, которые смастерил дед, до обалдения играть в «чапаевцев» или обливать друг друга из садового шланга. Правда, времени для этого почти не оставалось в нашей бурной жизни. Мы всегда были среди друзей.

Вот из кого состояла наша компания: Дыркаб, Майка с Маняркой, Толька (куда его денешь!), Левка Аронов. Я про них уже рассказывал. Был еще Петька Лапин — белобрысый обидчивый пятиклассник. Он часто спорил и ссорился, но долго никогда не злился. Играл с нами сын известного хирурга Вовчик Сазанов, но дома его слишком воспитывали, заставляли заниматься музыкой и в девять часов вечера загоняли спать.

Самым образованным среди нас был Марик Городецкий. Но он никогда не хвастался. Только если мы начинали рассуждать про подводные плавания, полеты на

Марс или радиоприемники с экранами, на которых видно артиста, когда он выступает (ходил слух, что уже изобрели такие), Марик смешно морщился и весело говорил:

— Да не так! — и пытался объяснить по-научному.

Если с ним спорили, он так же весело говорил:

— Ну и пусть! Врите дальше!

Меня он стал по-настоящему уважать не после драки с Толькой, а когда узнал, что я разбираюсь в парусной оснастке.

Младшим среди мальчишек был Южка. В начале войны Южкина мать и бабушка приехали с ним в наш город откуда-то с Украины. Южка был тогда совсем маленьким и ничего не помнил. Внешне Южка был аккуратный и воспитанный ребенок, но ни в чем не отставал от других.

Южкина мать работала медсестрой, а бабушка Ванда Казимировна хозяйничала дома. Она была похожа на Таисию Тимофеевну, только добрая. По вечерам она выходила на крыльцо и начинала звать:

— Ю-у-у-зек!

Голос у нее был чистый, громкий, и этот звук «ю-у» словно ввинчивался в воздух. Его слышали за несколько кварталов. Первый сигнал раздавался ровно в девять, а потом повторялся через каждые десять минут. Но Южка не спешил. Он никогда не уходил, пока не кончалась игра.

Южка любил делать бумажных змеев. Иногда мы их клеили вдвоем. Не очень-то они у нас тогда получались, но мы не унывали. Нам нравилось возиться с бумагой, дранками и мучным клеем. Располагались мы на плоской крыше сарайчика, который чуть не доверху был закрыт высоченным репейником.

Ветерок шелестел бумагой. На реке басовито вскрикивали буксиры. В репейнике шумно возились воробьи. Солнце почти насквозь прошивало нас прямыми горячими лучами. Пахло разогретыми лопухами и лебедой. На Южкино коричневое плечо села блестящая стрекоза-богатырь, но он не заметил, потому что рассказывал, как Ванда Казимировна пожалела бродячего кота и взяла в дом, а он сожрал селедку и удрал. Южке было не жаль селедки. Жаль кота. Славный такой кот, приручить бы его.

Потом мы просто лежали на сухих прогретых досках и смотрели в очень голубое небо. Теплыми волнами захлестывало меня одиннадцатое лето моей жизни.

Это было в те времена, когда в небе светилась удивительная синева, мама была молодой, река наша казалась широкой, как морской пролив, а трава, которую сейчас мы топчем не замечая, была нам по колено.

ВАС КОРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ НА БАЛ

В начале недели разлетелась по нашим улицам волнующая новость: в воскресенье будет необычный праздник — День физкультурника!

Мы знали разные праздники: Октябрьская революция, Первомай, День Победы. А про физкультурный никто из мальчишек не слыхал. Взрослые говорили, что до войны этот праздник бывал каждый год. Ходили слухи, что в городах побольше нашего День физкультурника отмечали и сразу же после войны. Да нам-то что! Для нас это было впервые.

Новость обрастала подробностями. Левка Аронов сообщал, что на дальнем поле, за кладбищем, подальше от любопытных, было две репетиции спортивного парада. Он бессовестно врал, что видел сам громадную колонну футболистов в динамовской форме и каждый из них (вот врал!) нес настоящий футбольный мяч. Рассказывали также, что сосед Петьки Лапина — Костя Корнеев, который учился в машиностроительном техникуме, принес домой белые трусы и голубую майку с чайкой на груди и в этой форме пойдет на парад.

Но до конца мы поверили в праздник тогда, когда к стадиону пришли плотники и стали забивать досками многочисленные щели расшатанного забора. Новые доски светились на сером заборе солнечными полосками...

С самого утра в воскресенье на стадионе начал волнующе ухать оркестровый барабан. И сердце у меня тоже стало ухать от радости и беспокойства. Причины для беспокойства были: билет на стадион стоил три рубля. Не великие деньги — всего самая маленькая порция мороженого. Но не было у меня этой несчастной трешки. Да если бы и была! Мальчишки всех окрестных улиц потешались бы до самой осени, узнав, что я купил билет.

Конечно, я не хуже других лазил через заборы, но ведь это как повезет. Взрослые тоже не дураки.

И действительно, не повезло. Когда мы с Левкой ока-

зались у забора, мальчишки поведали нам, что с той стороны чуть не на каждом метре милиционеры. Они аккуратно вылавливают безбилетников, строят их в небольшие колонны и выпроваживают через служебную калитку. Кое-кто из приятелей сделал уже два-три круга...

А со стадиона летел упругий медный марш, и большие разноцветные флаги полоскали и громко хлопали над забором (и утро было такое безоблачное и яркое!). Словно сказочная эскадра собралась в полное приключений плавание. Без нас!

— Пошли,— решительным шепотом сказал я Левке. И осторожно, чтобы не увязались другие, повел его к дальнему концу забора, где приткнулись старые, забитые досками ларьки. Я знал одно местечко. Там едва ли дежурила милиция.

Здесь забор был выше, чем в других местах, и наверху ржавели остатки колючей проволоки. Но мы не отступили. Упираясь ногами то в фанерные стенки ларьков, то в шершавые доски, мы добрались до кромки забора. За ним высоко поднималась задняя глухая стена трибуны. Между трибуной и забором была щель, всего в полметра шириной. Удобная, скрытая от глаз. Мне говорили знающие люди: чуть правее этого места — дыра, ведущая под трибуну.

А оттуда — куда хочешь.

Но темная щель заросла дремучей крапивой.

Я посмотрел вниз и тихо проклял день, когда ножницы безжалостно обкорнали мои американские брюки.

Левка тоже смотрел на крапиву со злой досадой. Он был в длинных штанах, но босиком. Его мясистые розовые ступни опасношевелились.

Оркестр заиграл «Вечер на рейде».

— Может, прыгнем? — уныло спросил я. Вообще-то я не очень боялся крапивы. За свою жизнь я столько раз знакомился с ней, что кожа притерпелась к ожогам. Но сейчас темные заросли казались такими зловещими, что заранее по ногам пробегали укусы, похожие на горячих муравьев.

— За каким чертом ты меня сюда притащил? — произнес Левка. В голосе его была угроза.

Я хотел огрызнуться, но тут вспыхнула идея:

— Давай твои штаны! Я их надену и прыгну! А потом отдам тебе вместе с ботинками. Вон оттуда брошу, с чистого места. И ты тоже прыгнешь!

Левка горячо одобрил идею, но внес поправку. Он сначала наденет мои ботинки и прыгнет, а потом бросит их мне вместе со штанами. Я отверг поправку. Во-первых, я опасался, что мои ботинки не налезут на Левкины лапы. Тогда он разозлится и штанов, конечно, не даст. Во-вторых, если налезут, Левка, чего доброго, отправится в них на стадион, а меня оставит на заборе. Да потом еще будет хихикать и рассказывать приятелям, как надул меня. Знаем мы этого типа!

Мы сидели верхом на заборе и препирались. Потом Левка не выдержал и перешел к оскорблениям. Он заявил, что у меня не хватит силенок добросить сверток вон с той полянки до забора. А если и доброшу, то наверняка промажу.

Я заметил, что сила не в жире, а в мускулах. Кроме того, я вспомнил, как он позавчера позорно промазал из рогатки по литровой банке. С пяти шагов!

Левка подумал и обозвал меня трусливой пиявкой. — Колбасник, — сказал я. — Чемодан с ливером.

Забор под Левкой закричал. Сам Левка тоже закричал и стал подбираться ближе. Но он был неуклюж, а позиция на заборе оказалась неудобной. К тому же между нами качалась колючая проволока.

Левка плюнул в меня и промахнулся. Я тоже плюнул и попал ему на штаны. Левкины глаза стали круглыми от бессильного бешенства.

Оркестр заиграл «Наверх вы, товарищи...».

Эта песня всегда поднимала во мне героический дух. Я еще раз глянул вниз и решительно встал на кромке забора. Потом сказал Левке несколько слов, которые здесь не привожу, потому что они не характерны для интеллигентного ребенка. И ухнул в щель.

Ой-ей-ей! Ну ничего. Главное — не чесаться, а то потом хуже будет.

Левка, отвесив губу, смотрел на меня с забора. Я показал ему фигу и рванул к заветной полянке.

И там меня ждала награда за «подвиг»!

В траве, среди седых одуванчиков, блестела тусклая медь. Я брякнулся на колени и раздвинул стебли. Там лежала пряжка от широкого ремня.

Она лежала вниз лицевой стороной, и я видел только скобки для пояса и крючок. Неужели это та самая пряжка, о которой я мечтал с давних пор?

Страшно было перевернуть: вдруг не та!

Я сорвал одуванчик и загадал: если сдую за один раз все «парашютики», значит, сбудется. Дунул так, что защипало в глазах. Крылатые семена прозрачным облачком рванулись в воздух. Но один цепкий «парашютик» застрял у самого стебля. Я смотрел на него с упрёком.

Меня выручил ветерок, случайно залетевший сюда. Он качнул траву, приподнял у меня волосы на затылке и осторожно снял с голого одуванчика последнее семя.

— Спасибо...— шепотом сказал я, вздохнул от волнения и перевернул прыжку.

На ней был тяжелый выпуклый якорь со звездой.

Сжимая в ладони сокровище, я отыскал в стене трибуны дыру и нырнул в сумрак. Его протыкали тонкие, как рапиры, лучи. Они казались такими твердыми, что я обходил их, когда искал выход на стадион. Я нашел оторванную доску и вылез на первый ряд трибуны, прямо у ног пожилого гражданина, который очень удивился.

На поле разворачивались яркие колонны. Среди них метался на зеленом «газике» какой-то дядька в белом костюме и кричал в жестяной рупор команды. Помоему, он только мешал. Но потом он укатил, колонны замерли, лишь громадные знамена хлопали по ветру. Вздол старшекласников, одетых в гимнастерки, трахнул в воздух из винтовок, взлетело несколько ракет, оркестр заиграл первомайскую песню «Москва моя», и физкультурники опять перестроились. Те, кто были в красных майках, образовали большую звезду. На трибунах закричали «ура».

Все было так здорово! Когда кончился парад, начались разные выступления. Мне больше всего понравились ребята с настоящими шпагами и в глухих шлемах. Они устроили целый бой. А еще маленькие девочки с большущими разноцветными мячами (вот бы мне такой!).

Я забыл про горячих муравьев, кусающих меня за икры, и только машинально почесывал ногу об ногу. Кажется, это раздражало пожилого гражданина, но мне было все равно. Радостный праздник окружал меня, сверкал и гремел.

И еще одна большая радость была тут, со мной.

Настоящая большая морская пряжка. Я не переставая начищал ее о мягкий вельвет штанов и сам не заметил, как темная медь превратилась в осколок солнца. Она сверкала так же ярко, как трубы оркестра.

Оркестр был недалеко: справа от меня, на этой же трибуне. Когда кончились выступления и объявили перерыв перед футбольным матчем, я решил пройти рядом с музыкантами: все как следует рассмотреть.

Не очень-то легко было пробраться в людском потоке, но я сумел. И оказался перед барабаном.

Ух какой это был великан! С меня ростом! С медной тарелкой на макушке, с тугими винтами на голубых боках и гладкой серовато-белой кожей. Важный, как генерал. Я, конечно, не удержался. Взял да и стукнул кулаком по его упругому пузу. Барабан добродушно загудел. А его хозяин — прыщеватый дядька в мятой кепке, — не теряя ленивой скуки на лице, поднял колотушку и двинул меня по шее.

Было не больно. Колотушка оказалась мягкой и ворсистой. В первую минуту я принял все спокойно. Крутнул головой и пошел дальше. И лишь у фанерного киоска, в очереди за стаканом ягодного морса, я почувствовал, как вырастает стремительная и тяжелая обида. За что он меня так? Разве я что-то плохое сделал? Ведь я задел не стеклянную вазу, не хрупкий прибор! Стукнул по барабану, который для этого и сделан. По нему тыщу раз подряд лупят тяжелой колотушкой, и ничего не случается. А тут за один разик — по шее!

Мне даже плакать захотелось, честное слово. Я ушел из очереди и сел на траву.

Ну что ему, этому типу, жалко, что ли? Вот если бы я был барабанщиком, я бы всем давал стучать. Пускай хоть со всего стадиона собираются ребята. Только пусть не лезут кучей, а встают в очередь. Стукнул разик — и отходи. Я знаю, что никто бы даже не сжульничал и не стал бы бить два раза подряд.

Я ушел со стадиона. Зачем мне этот праздник, если на нем самым главным музыкальным инструментом командует прыщеватый жадюга.

Подумаешь, музыкант! Пьяница, наверно. И глупее своей колотушки. Такого и на километр не подпустили бы к оркестру, который играл Пятую симфонию!

Эта мысль меня утешила так, будто я отомстил злому барабанщику. Кроме того, у меня была пряжка. Одной этой радости хватило бы на целый день. Я перестал грустить и зашагал домой.

Дома я показал свое сокровище маме. И стал вздыхать, что пряжка есть, а ремня нет. Как носить пряжку? Не пришивать же к малиновому пузу моего полукомбинезона.

— Ладно уж,— сказала мама. Она понимала. Знала, как для меня важно все, что связано с морем.

Мы пошли в кладовку, и мама вытащила из-под всякой рухляди старый кожаный чемодан. Он был весь изрезан: кусками этой кожи в недавние военные годы подшивали валенки. Но мама была просто волшебница. Взяла большие ножницы и каким-то способом ухитрилась выкроить из чемоданной крышки широкую прямую полосу.

Крючок для пряжки я сделал сам из алюминиевой проволоки.

Через полчаса я красовался во дворе, подпоясанный флотским ремнем. Ребята вздыхали и со сдержанной завистью щупали выпуклый якорь.

— Дай примерить,— попросил Толька. Впрочем, без всякой надежды. И не потому, что мы были врагами. Просто смешно было думать, что человек, только что получивший такое сокровище, может дать его в чужие руки.

...С Толькой, кстати говоря, я помирился. И знаете как? Благодаря Таисии Тимофеевне.

У Тольки из-за нее была куча неприятностей. Он жил с Таисией Тимофеевной на одном этаже, и она постоянно ябедничала на него матери — крикливой неласковой тете Даше. Тетя Даша работала вахтером в депо, возвращалась с дежурства усталая и злая и колотила сына, не разобравшись, виноват он или нет. А Толькин отчим не вмешивался: он побаивался своей жены.

Последний раз Тольке влетело за охотничий капсюль, который взорвался у двери Таисии Тимофеевны. Толька был ни при чем: капсюль подложил Дыркаба. Но не мог же Толька выдать Дыркаба!

Он решил отомстить. Нарисовал на тетрадном листе отвратительное пугало, написал «Таися — кикимора» и пришил картинку к соседней двери. Таисия Тимо-

феевна не стала поднимать крик. Она аккуратно сложила листик, а вечером показала его Толькиной матери. Напрасно Толька требовал: «Докажите, что это я нарисовал, а потом уж лупите!» Ему досталось так, что даже во дворе было слышно, как он вопит.

И тогда Толька придумал хитрую и жестокую месть.

У окна Таисии Тимофеевны висел большой фарфоровый градусник. Она им очень дорожила. Градусник был немецкий, его привез из Германии муж Таисии Тимофеевны. Соседи завидовали: встанешь утром, глянешь в окно и сразу видишь, тепло или холодно. Очень удобно. Фарфоровую шкалу градусника украшали голубые цветочки и завитушки. Считалось, что он старинный и очень ценный.

— Расшибу я эту фрицевскую клизму,— сказал Толька на следующий день после расправы.

— Опять попадет,— резонно заметил Дыркаб.

— Нет,— сказал Толька.

— Прوماжешь,— заявил Левка.

— Нет,— сказал Толька.

Он поклялся, что не промажет, если у него будет дальнобойная рогатка из красной резины.

Дыркаб вздохнул. Он чувствовал себя виноватым перед Толькой — из-за капсуля. Он рад был бы помочь, да где взять красную резину? Она была редкостью. Все, кто стоял рядом, задумались и замолчали.

И тогда я небрежно сказал:

— Надо посмотреть. Может, достану...

И Дыркаб, и Марик, и Петька Лапин, и даже Майка взглянули на меня с пониманием: оценили благородство. Лишь Толька угрюмо смотрел в сторону.

Но я не ради Тольки старался, а ради общего дела. Ведь Таисия Тимофеевна была недругом всех здешних мальчишек.

С тех пор как Толька потерпел от меня поражение, стал я равноправным человеком в мальчишечьей компании. И эта радость равноправия была такая, что я готов был даже на жертву.

А жертва требовалась.

Дома у нас была большая красная грелка. Я ее любил. В давние времена, когда я еще не ходил в школу и целыми днями сидел один дома, она была любимой игрушкой. Я туго надувал ее, закручивал пробку, и грелка превращалась в веселое прыгучее существо. Она

скакала от меня по углам, как заяц от охотника, или послушно становилась коньком-горбунком, а порой заменяла футбольный мяч. Иногда, после шумной игры, я засыпал, привалившись к ней щекой, словно к подушке.

Сейчас я играл с ней редко, но все равно было жаль.

Дома я последний раз надул грелку и погладил тугие бока. Грелка отозвалась упругим звоном. Я взял ножницы, зажмурился и занес руку. Наверно, с таким же чувством древние воины приносили в жертву любимых коней...

Грелка испустила дух.

Я расширил пробоину и, когда мама пришла на обед, сокрушенно признался:

— Грелка проткнулась...

— Как это тебя угораздило?

— Я нечаянно,— бессовестно соврал я и ненатуральным голосом сказал: — Может быть, еще заклеим?

— Как же! Заклеишь тут! Вон какая дыра. Придется выбросить.

— Жалко,— искренне сказал я и унес грелку в кладовку. И там вырезал из нее две узких полосы...

Операцию разработали тонко. Долго Толька выпрашивал у матери деньги на кино. Она наконец дала. Толька тут же сбегал в кассу кинотеатра и будто случайно показал матери билет. Потом спохватился, что опаздывает, и умчался.

Билет он сразу перепродал Левке, а сам ушел в лог пристреливать рогатку.

Через полчаса Толька чужими дворами пробрался к нашему забору, а оттуда — на пустой сеновал. Дырка наб, я и Майка ждали его. Позиция была что надо: мы видели весь двор, а нас никто не видел.

Градусник сверкал белым фарфором на фоне темного косяка.

— Ну? — нервно сказал Дырка наб.

Толька деловито зарядил рогатку железной гайкой. Он встал у крошечного оконца, а мы смотрели сквозь щели.

Рогатка щелкнула.

Конечно, Толька был вредный тип, но стрелял он здорово. Градусник словно взорвался. Мало того! Гайка рикошетом ударила в оконное стекло, и оно украсилось большой дырой.

Мы покинули место засады бесшумно и стремительно. Уже в переулке Дыркаб выхватил на бегу у Тольки рогатку и сунул мне в карман. И правильно! Если бы у Тольки кто-нибудь ее увидел, не помогли бы никакие оправдания. А меня взрослые считали воспитанным ребенком. Кто бы поверил, что я участвовал в таком ужасном деле?..

Вечером Толька встретил меня на улице и хмуро сказал:

— Рогатульку отдай...

Он просил не рогатку, а лишь рогатульку — ручку с развилкой. Она была его собственная, он смастерил ее из толстой сиреневой ветки.

Я бросил рогатку на тротуар. Не глядя на меня, Толька поднял ее и стал снимать резину. А зачем она мне? Я мог нарезать из грелки еще хоть для десятка рогаток.

— Ты лучше подшипник отдай,— сказал я.

Толька перестал возиться с резиной. Глянул исподлобья. Сказал сумрачно:

— Потерял.

Видимо, он не врал. Я засунул кулаки в карманы, обошел Тольку, слегка зацепив плечом, и не спеша зашагал домой.

— Да отдам я! — досадливо крикнул он вслед. — Найду и отдам!

Я не обернулся. Но с тех пор мы не ссорились.

...Мы не ссорились больше, но ремень я Тольке не дал. Я снимал его лишь перед сном да еще на реке, когда купались. И пряжку чистил прямо на животе, не расстегивая. Драил суконкой и зубным порошком. Я извел за неделю столько порошка, сколько не истратил за всю жизнь для чистки зубов.

Штаны и колени у меня были постоянно в белой пыли. Зато пряжка сияла. И не только на солнце. Даже при луне она светилась, как фонарик.

Луна в те вечера была удивительная. Когда уходило солнце и на востоке начинали густеть дымчатые сумерки, она выползала над заборами — красная и такая громадная, что смотреть было страшновато. Потом она поднималась выше, делалась меньше, а яркость ее нарастала. Заря не гасла всю ночь. Золотистый свет ее смешивался с лунным серебряным светом, и в воздухе появлялся легкий, какой-то сказочный блеск.

Наверно, только в детстве бывают такие вечера, похожие на волшебный праздник. И я до сих пор благодарен маме, что она не запрещала мне этих поздних игр, хотя бывало, что я приходил домой лишь к полуночи.

Едва появлялась луна, как в тишине раздавались гулкие барабанные удары. Это Славка Дыркаб колотил бамбуковой палкой по ржавой железной бочке (она с незапамятных времен валялась на улице рядом с нашим домом). И мы вылетали из калиток.

Раньше всех успевал Марик Городецкий. Он вскакивал на бочку и, размахивая тросточкой, похожей на шпагу, весело кричал:

— Торопитесь, храбрые сеньоры! Вас король приглашает на бал!

В те дни в кино «Север» шел фильм «Золушка», и мы понимали, что Марик не кривляется, а изображает придворного.

За плечами у Марика тихо позванивал и струился плащ из легких металлических лент. Они назывались у нас «золотинками». Мы с большим трудом выковыривали их из негодных конденсаторов, которые добывали на свалке.

Конечно, такие плащи были у каждого. Они требовались для игры.

Игра была простая и древняя, как мир. Названий у нее множество. Мы называли ее «колечко».

Мы делились на две группы. Одни ждали, считая до ста, а другие разлетались во все стороны, серебристо звеня лентами. Потом начинались поиски и погони. Поймать всех, кто прятался, было нелегко. А когда наконец пленников приводили к бочке, надо было еще отгадать, у кого из них кольцо. Обыкновенное железное колечко от всячего замка. Если с трех раз удавалось отгадать, пленники превращались в «сыщиков». Если нет — все сначала.

Конечно, убегать и прятаться было интереснее, чем искать и догонять. Мне трудно рассказать, как это здорово! Сначала — разлетающийся стук подошв, и ты мчишься, оставляя для «сыщиков» насмешливые знаки: на перекрестке, на тротуаре — стрелы в четыре стороны. Ищи ветра в поле!

А потом приткнешься у незнакомого палисадника или в заросшей лопухами канаве и с тревожным замислением ждешь. Стараешься не шелохнуть звонким пла-

шом. Ленты отзываются на каждое движение, могут выдать. А без них играть не разрешается. Как заметишь в сумерках притаившегося беглеца, если он без плаща?

И вот сидишь. Иногда рядом, у самой щеки, тихо дышит товарищ. Но даже шепотом нельзя вымолвить словечко. Всюду тишина...

И вдруг снова смех, крики, стремительный бег, а позади затихающий топот обманутой погони...

Один раз, когда у меня было колечко, мы с Майкой, спасаясь от «сыщиков», с разгона выскочили к логу.

В логу, в глубине, лежали белесые пласты тумана. Склоны были в сумерках. Пахло болотом, и тянула снизу влажная прохлада. А на том берегу врезались в розовато-желтый закат высокие и острые, как пики, ели. Они поднимались над низкими крышами кварталов, которые назывались Большое Городище. Это было как рисунок для сказки.

Мы притихли. Спускаться в лог сейчас было страшновато, да и ни к чему: погоня заглохла.

— Давай постоим,— шепотом сказала Майка.

— Давай,— согласился я.— На всякий случай. А то еще попадемся...

Над Городищем дрожала, как ртутная капля, одинокая звезда. Где-то далеко патефон играл песню «Вечер на рейде».

— Слушай,— сказала Майка.

— Я слушаю. Я эту песню знаю.

— Ты меня слушай,— серьезно сказала она.— У тебя когда день рождения?

— А зачем?

— Ну так. Надо. Когда?

Я сказал.

Майка вздохнула и призналась:

— Я хочу поздравить тебя.

— Но ведь он не сегодня. Он же давно был.

— Ну, все равно,— с легким нажимом сказала Майка.— Ведь тогда я тебя не знала. А сейчас знаю. Пусть это будет за тогда.

— Хорошо... Спасибо, Майка,— сказал я.

— Подожди,— строго остановила она.— Я ведь еще не поздравила.— Она встала передо мной и в сухие горячие ладошки взяла мою руку.— Владик, я тебя поздравляю с днем рождения. И желаю тебе хорошего счастья.

Я подумал, что счастье всегда хорошее, плохого счастья не бывает, и стало немножко смешно. Но я ничего не сказал, потому что сделалось не только смешно, а еще и чуть-чуть грустно. И хорошо.

Надо было сказать Майке, что я тоже поздравляю ее с днем рождения. Но я почему-то постеснялся. И Майка молчала.

Так мы еще постояли друг перед другом, и я наконец сказал:

— Побежали.

Она кивнула. И мы побежали в глубь наших переулков, где светились теплые окна и нагретый за день воздух мягкими пластами лежал над пыльными дорогами и тротуарами.

БЕРИ МОИХ ЛОШАДЕЙ...

В этих стремительных солнечных днях, в этих вечерах с большой луной и приключениями все было хорошо. Все, кроме одного: я разлюбил Майку.

Я и сам не заметил, как это случилось. А когда понял, начал мучиться. Но что я мог сделать? Майка стала совсем не такая. Она всегда и везде была с нами и сделалась как мальчишка. Даже научилась плавать вразмахку и свистеть. Волосы, чтобы не мешали, она заплетала в две тощие косы. Бегала в старых мальчишечьих ботинках, чтобы удобнее было гонять футбольный мяч: она любила играть в полузащите.

И вообще была она теперь длинная, худая, исцарапанная.

И я наконец спохватился. Что же это в самом деле? Не могу же я быть влюбленным в левого полузащитника!

Я стал грустить. О той Майке, которую увидел впервые сквозь дыру в заборе. О прекрасной незнакомке с золотой паутиной волос. О Майке, которая мне сказала, смущаясь: «А хочешь, покажу, как открывается калитка?» Теперь-то для меня секрета не было: я знал, как дергать за шнурок, мог прибегать к Майке хоть сто раз в день. А еще проще было влезть на забор и три раза свистнуть: Майка выбегала сама. Все было хорошо. А любовь кончилась.

Чтобы погрустить без помех, я убегал от ребят и

бродил в одиночестве по логу. Там неподвижно стоял пропитанный солнцем и пылью воздух. Звенели кузнечики. А может быть, звенела тишина. По сухим тропинкам ходили жуки-пожарники. Красные с черными узорами на спине. Тропинки вились по дну лога у самых откосов. На откосах среди зарослей желтели проплешины. Оттуда временами скользили на тропинки ручейки пересохших глиняных крошек. Крошки попадали в ботинки и мешали спокойному грустному настроению. А босиком ходить было нельзя: из домишек, прилепившихся к обрывам, сбрасывали вниз битую посуду и стекла.

Да и не только стекла были опасны. Однажды я чуть не распорол ногу о полоску оцинкованной жести. Но я не огорчился — полоска мне понравилась. Красивая, блестящая, как серебро. Пригодится! Потом я нашел еще несколько. И наконец наткнулся на целую россыпь замечательных обрезков.

Видно, артель жестянщиков устроила здесь свалку. Для кого свалка, а для кого клад!

Я набрал этого добра, сколько мог унести. А дома взялся за работу. Скобками из алюминиевой проволоки начал склепывать рыцарские доспехи. Из тонких полос я сделал набедренники и широкий пояс, из треугольных обрезков — налокотники, наколенники и наплечники. Из бракованного ведерного доньшка получился сверкающий нагрудник. И еще я смастерил много всяких деталей, про которые не знал, как они называются, а только видел на картинках в книге «Дон-Кихот».

Больше всего я провозился со шлемом. Получилось что-то среднее между королевской короной и волчьим капканом. Но забрало опускалось и поднималось, как настоящее.

Я облачился в железный костюм и, погромыхая, подошел к зеркалу. Здорово! Жаль, что мама на работе. Она часто говорила, что я не довожу до конца ни одно дело. А вот пожалуйста, начал — и довел. Хоть сейчас в бой!

Но выйти во двор, покрасоваться перед ребятами я не решился. Знаем мы такое дело! У меня есть доспехи, а у них нет. Сразу начнут зубоскалить от зависти. А может быть, начнут испытывать на прочность. Если человек идет просто так, никто не будет стучать

его палкой по голове, а если он в железном шлеме, разве удержишься... А шлем все-таки не такой уж крепкий.

Я сложил рыцарские латы в большой ободранный портфель (мы в нем зимой носили картошку с базара), сунул за ремень деревянный свой меч и опять отправился в лог. Там было одно местечко — заросшая коноплей и бурьяном выемка в отлогом берегу. В этих зарослях я и облачился в доспехи.

Я думал все время про Майку.

Наверно, ее заколдовал злой волшебник. И мне придется вступить с ним в бой, как Дон-Кихоту. Только Дон-Кихот дрался с ненастоящими волшебниками, а у меня будет такой, что страшнее не придумаешь.

Я уже знал, как он выглядит. У него похожее на толстое бревно туловище, все в чешуйках и грязной шерсти, косматая лопухая голова, желтые глаза и клыки длиной в мизинец. У него шесть обезьяньих лап; он, как великанский паук, шевелится в глубине пещеры, поджидая добычу.

Где эта пещера, я тоже знал. Неподалеку, на крутом откосе, чернела в зарослях глубокая дыра. Жители окрестных кварталов раньше добывали там песок, а потом весенние ручьи подмыли громадный пласт глины, и он съехал, разрушив тропинку.

В неприступном черном логове жил теперь колдун по имени Черибузо.

Стараясь не звякнуть, я стал подбираться к вражьей берлоге. Было солнечно и пусто в огромном логу, звенел знойный воздух. Мне стало жутковато. Вдруг придуманный Черибузо и в самом деле сейчас выползет на свет...

Но он, конечно, не выползал. Он выслал вперед злых солдат. Шеренги чертополоха, бурьяна и репейника крепко защищали своего хозяина-колдуна.

Ах, так? Я плавно вытянул из-за пояса меч. Ш-шэх! — свистнуло лезвие, и куст бурьяна, постояв секунду, мягко лег мне под ноги.

Р-раз, р-раз! Я старался рубить отточенным кончиком клинка. Срезанные под корень враги валялись без шума и треска.

Но вдруг — трах! — меч упруго подскочил и чуть не вырвался из ладони. Это жилистый и твердый стебель репейника оказался клинку не по зубам.

Ну, держись! Я серединой меча несколько раз ударил вражеского генерала. Он стоял. Я разозлился. Тут уж не до страхов, не до колдуна. Я обрушил на противника такие удары, что он рухнул наконец с шумом, похожим на вздох.

Я откинул забрало и вытер мокрое лицо. Было жарко, солнце успело нагреть мои доспехи. Черибузо не подавал признаков жизни. И по-прежнему тонко пела в ушах тишина. Но вот в это пение проник другой звук. Он был негромкий и басовитый. Он был грозный. У меня в один миг натянулись все жилки.

Я научился уже многого не бояться. Мог ночью забраться на чердак, прыгнуть в крапиву, отлупить Тольку, читать повесть Гоголя «Вий» при коптилке и сказать здоровенному Петьке Брындину, по прозвищу Зер-Гут, что он драная сколопендра. Но мохнатых шмелей и злых кусачих ос я боялся пуще огня.

Гуденье нарастало. Я завертел головой. Громадный, чуть ли не с грецкий орех, шмель совершал вокруг меня неторопливый облет. Тут же я представил, как он заберется мне под латы и будет жужжать и бить-ся там...

Черибузо, наверно, с ехидной улыбкой наблюдал из пещеры, как рыцарь в сверкающих доспехах, звеня и погромыхая, летит вниз, не разбирая дороги.

Я отдышался у ручья на лужайке, окруженной мелким ольховником.

— У, ж-животное...— сказал я в адрес шмеля, чтобы не было так стыдно за свое отступление.

— Чиво говоришь?

Я даже подскочил.

За кустом, у самого ручья, пятками в воде сидела Манярка.

— Чиво говоришь?— повторила она, и на лице у нее проступило сильнейшее любопытство. Узнала.

— Ничего,— буркнул я.— Ты что здесь делаешь? Вот Славка узнает, где ты болтаешься, он тебе задаст.

— Не,— рассеянно откликнулась она.— Не задаст. Он меня не лупит.

— Зря,— сурово сказал я. Больше всего я боялся, что Манярка догадается о моем позорном бегстве. Но как она могла догадаться?

Я с ожесточением начал дергать тесемки и срывать

крючки доспехов. Если человек струсил, он всегда потом злится. Манярка следила за мной не двигаясь.

Было в ней что-то птичье. Глаза — как черные пуговицы, шея тонкая, будто у птенца. И даже острые лопатки под платьем были похожи на неотросшие крылышки.

Не нравилось мне, как она сидит и смотрит: разболтает теперь всем про мое снаряжение. А тут еще крючок наплечника намертво вцепился в рубашку. Я дергал, дергал...

— Давай отцеплю,— сказала Манярка.

Но не двинулась, пока я не ответил:

— Ну отцепи... Чего сидишь?

Она встала, подошла сзади и деловито задышала мне в шею. Отцепила. Потом села на корточки над моим снаряжением.

— Это раньше солдаты носили такие железины... Ты сам делал?

— А кто? Пушкин, что ли?

— Я знаю,— сказала она.— Пушкин — это писатель. Он кино про царя Салтана сочинил.

Был такой фильм. Не цветной, не широкоэкранный, но все равно хороший.

— Ну-ка, помоги,— велел я.

Она послушно уложила мне в портфель доспехи.

— Пойдем,— сказал я.— Нечего тебе здесь одной делать. Славка, наверно, по всем улицам ищет.

Я знал, как Дыркаб нервничал, если Манярка исчезала.

— Не пойду,— нахмурилась она.— Я с ним поругалась.

— Ну подумай — поругалась. А сейчас помирись-ся.

— Пускай он первый мирится.

— А как же он будет мириться, если тебя нет?! Пошли!

— Не пойду.

— Ну, что ты будешь здесь делать, а?

— Я рыбу ловлю.

И тут я увидел на берегу здоровенную палку с привязанной ниткой. На конце нитки была расстегнутая безопасная булавка, а на острие булавки сидела дохлая зеленая муха.

Вот потеха!

— Этой удочкой ловишь?

— Ага.

— Ничего ты ею не поймаешь. Да тут и рыбы нет.

— Южка говорил, что есть маленькая.

— Ничего здесь нет. Айда!

Она повернулась спиной. Вот вредная! Пришлось пойти на хитрость:

— Если пойдешь, я тебе настоящую удочку сделаю.

Она обернулась.

— А ты не врешь?

— Маняра!— сурово сказал я.

Она подумала. Потом глаза ее остановились на моей пряжке.

— А дашь ремень поносить?

— Ты же не мальчик!

— А девочки тоже бывают моряки.

Что с ней делать?

— Только не зажиль, отдай потом.

Она быстро затолкала платье в трусики и подпоясалась. Но ремень сваливался. Пришлось мне передвигать пряжку.

Нацепив ремень, Манярка полюбовалась пряжкой, закинула на плечо свою удочку (не снимая мухи с булавки) и зашагала впереди меня.

Во дворе я сдал ее Дыркабу, который и вправду уже беспокоился.

— Выдеру,— жалобно сказал он.— А ну, дай сюда ремень!

Но Манярка ускакала как коза.

Под вечер Дыркаб вызвал меня на крыльцо. Манярка была с ним рядом.

— Ты ей обещал удочку сделать?

— Ну и что?— сказал я.— Она никак домой не шла.

— Вот, видали!— в сердцах сказал Дыркаб.— А теперь она от меня не отлипает: почему ты удочку не делаешь?

— Она чья сестра?— взъелся я.— Моя? Она твоя сестра! Ты и делай!

Дыркаб тоже разозлился:

— А она не хочет! Понятно? Хочет, чтобы ты!

Видали фокусы?

— Ты ее спроси, не хочет ли она по шее.

Манярка молча смотрела на меня и слушала. Серьезная такая. Когда я сказал про шею, она повернулась и зашагала прочь. Потом остановилась. Вернулась, не глядя на меня. Сняла мой ремень, положила на крыльцо и снова пошла от нас.

Что тут будешь делать? Нельзя же, чтобы человек вот так уходил.

— Постой, ты,— сказал я.

Пришлось искать подходящий прут для удилища. Нашел. Но нужную нитку отыскать не смог и сделал леску из шпагата.

— Зачем такая толстая?— недовольно спросила Манярка.

— А если большая щука попадется?

— Тогда крючок тоже большой надо.

— Крючок — завтра. Проволоку найду и сделаю.

— Ладно,— снисходительно сказала она и убежала, оглядываясь.

Поздно вечером, когда я, набегавшись, уже собирался спать, мама сообщила:

— Там тебя барышня спрашивает.

— Кто? Майка, что ли?

— Не Майка. Маня.

— Маня?.. Ах, Манярка! Ну что ей опять надо?

Она стояла у крыльца с моей «удочкой».

— Маняра! Ты чего не спишь? Ну, Славка намылит тебе шею!

— Не намылит,— отмахнулась она. И, встав на цыпочки, зашептала мне в ухо: — Владька, а можно, чтобы это была не удочка, а кнут? Все равно ведь крючка нету, а только палка с веревкой. Можно?

Ну смех, да и только! Шепчет, будто какая-то тайна у нее.

— Зачем тебе кнут?— спросил я громко.

Она смутилась.

— Играть... Как будто в цирке. С лошадьми. Учить их прыгать.

Понятно. Она видела цирковую афишу. В открытие цирка уже никто не верил, но афиши время от времени появлялись, и на одной из них был нарисован худой дрессировщик во фраке, цилиндре и с длинным кнутом. У этого кнута было какое-то трудное название.



Мама говорила, да я забыл. По сторонам от дрессировщика стояли, вздыбившись, красивые лошади с перьями на головах.

Мне эта афиша не нравилась. Я не любил, когда мучили животных, а этот дядька в цилиндре был определенно мучителем: вон какой хлыст!

— Во-первых,— строго сказал я,— надо говорить не «лошаадьми», а «лошадьми». А во-вторых, бить лошадей кнутом — это свинство. Дай-ка я тебе врежу! Понравится тебе?

Манярка насупилась:

— А чего... А как их тогда учить?

— По-хорошему, вот как.

Ей, наверно, стало неловко, и она сказала обидчиво:

— Будто ты лучше всех знаешь... У тебя, что ли, есть лошадь?

И я неожиданно ответил:

— Три.

Это получилось так просто и уверенно, что Манярка приоткрыла рот и лишь через минуту сказала:

— Врешь...

— Три,— спокойно повторил я.— Только они не здесь.— И почувствовал, как холодок прошел по спине.

Над заборами, над старинной башней библиотеки, задернувшись наполовину дымчатым облаком, висела большая луна. Непонятно лопотал листьями тополь, хотя воздух казался неподвижным. Было самое время для сказок и тайн.

— Ты не веришь,— сказал я.— Ну и не надо. А у меня есть три лошади. Они живут в дальнем лунном поле. Там серебряные облака. А когда все спят, они приходят ко мне...

Манярка вцепилась в мой локоть, и я почувствовал, как в ее ладошке бьется маленькая жилка. Я думал, что она испугалась. Но нет.

— Пойдем,— прошептала она.

— Куда?

— Ну, туда, на корягу. Здесь не надо рассказывать. Там лучше.

Она повела меня в дальний угол двора, где лежал обрубок толстого бревна. Он был такой необъятный и такой сучковато-жилистый, что даже в самые жестокие военные зимы его не смогли ни украсть, ни разрубить на месте. Кроме того, все забыли, кто его хо-

зяин. Этот обрубок лежал здесь с незапамятных времен. Он давно лишился коры и был отполирован штанами еще «довоенных» мальчишек, друзей старшего Славкиного брата.

Мы звали это удивительное бревно корягой и собирались иногда здесь поболтать.

Это было подходящее место для вечерней сказки. Кругом стояли высокие темные травы, нависала над забором густая рябина, а прямо над головой было ясное небо с растворенным лунным светом и редкими большими звездами.

Мы сели.

— Рассказывай,— шепотом попросила Манярка.

И я стал рассказывать. О том, как приходили ко мне Черные Лошади, о наших дальних дорогах и приключениях, о сказках, в которые они заносили меня...

Манярка тепло дышала мне в плечо и молчала. И немножко вздрагивала иногда.

— Холодно? — спросил я.

— Не... А они еще придут?

— Может быть...

— А сейчас? Придут?

— Сейчас?.. Нет; Манярка. Они чаще всего приходят зимой.

— А если мы позовем?

— А их не зовут. Их просто надо ждать. Они сами знают, когда их ждут.

— А сейчас?

— Что «сейчас»?

— Знают?

— А кто их сейчас ждет?

— Я жду,— твердо сказала Манярка и подтянула колени к подбородку. Всем своим видом она показывала, что будет ждать хоть до утра.

Я забормотал, что в общем-то сейчас не время, что лошади могут оказаться на каникулах, что вообще-то они приходят не так уж часто. Вовсе они не обязаны приходить каждый вечер...

— Ну давай подождем немножко...

Пришлось согласиться. Мы подождали немножко. Потом еще. Затем еще чуть-чуть.

Потом на крыльце появилась мама и стала звать меня.

— Не пришли,— сказал я. И, чтобы успокоить Манярку, добавил: — Может быть, завтра...

На следующий вечер, в это же время, пришел сердитый Дыркаб:

— Иди разбирайся там с ней.

— С кем?

— «С кем, с кем»! С Маняркой! Сидит на коряге и уходить не хочет. Спать пора, а она не идет. Я говорю: «Чего сидишь?», а она говорит: «Уходи, не скажу тебе, а Владьке скажу».

— А тебе жалко? Посидит и придет.

— А если куда-нибудь опять сбежит? Ищи потом...

— Не сбежит. Ты иди. Я с ней поговорю.

Манярка сидела так же, как вчера. Молчаливая, маленькая.

— Слушай,— нерешительно сказал я,— понимаешь... Ну, я вчера маленько прихвастал. Они редко приходят.

— Ну и что? Все равно интересно. А вдруг сегодня...

Я ее понимал. Ведь ожидание сказки — это почти как сама сказка.

— Манярка... Ну, ведь их можно ждать дома, когда уже спать ляжешь.

— Не... Там Славка услышит и отберет.

— Не «услыхает», а «услышит». Не услышит ничего твой Славка... И они его не послушаются. Они слушаются только того, кто... Ну ладно. Вот! — Я решил. Вынул из кармана крошечную подкову, которую весной подарил мне всадник. — Вот, Манярка. Это такая тайная вещь. У кого она есть, того они и слушаются. И к тому приходят... Бери.

— Насовсем? — прошептала она.

— Насовсем.

Даже в сумерках было видно, какая она стала счастливая. Ни одного кармашка у нее не было, и подковку она надела на руку, повыше локтя. Как браслет.

Пошевелила рукой, посмотрела на меня и снова спросила:

— Насовсем?

— Насовсем,— сказал я.— Бери моих лошадей.

Я не жалел. Ничего, что лошади ушли. Пусть Манярка радуется. А у меня есть Каравелла. И будет всегда.

ГЛАДИАТОРЫ

Когда-то в нашем дворе был хлебный магазинчик, и знакомая продавщица Катя всем соседям оставляла

их пайки, чтобы зря не стояли в очереди. Но такая хорошая жизнь давно кончилась. Теперь за хлебом приходилось бегать в большой магазин № 7 на Первомайской улице.

Иногда придешь — и ни одного человека, а хлебом все полки загружены, а иногда — страшно вспомнить: очередь на улице до самого угла.

Особенно длинные очереди были в начале августа. Приходилось вставать пораньше, бежать на Первомайскую и ждать: когда откроют магазин, когда придет повозка с хлебом, когда начнут продавать (или, как говорили, «отпускать»).

«Отпускали» медленно. Сначала очередь шла вдоль магазина по тротуару, потом втягивалась внутрь. На улице было еще не так скучно: можно пробежаться, поиграть с ребятами. А в магазине начиналось мучение. Ровно гудела очередь. Надоедливо звякали ножницы, вырезая хлебные талоны. Сонно жужжали мухи. От хлебного запаха прорезывался едкий, как боль, голод и начинала кружиться голова.

От дверей до прилавка очередь двигалась около часа. Скамеек в магазине не было. Те, кто успевал, устраивались на широких подоконниках и ждали, когда подойдет очередь.

Однажды я увидел на подоконнике Быпу. На коленях Быпа держал растрепанную книжку, но не читал, а лениво смотрел вверх голов.

— Быпа, здорово!

Он обрадовался. Я даже не думал, что он так обрадуется.

— Айда ко мне!

Локтями Быпа пораздвинул соседей и сказал тетке, которая рядом с собой на подоконник поставила корзину:

— Убери-ка багаж, тетенька. Тут не камера хранения, людям сидеть негде.

Тетка завела скучный разговор о хулиганах, которые не уважают старших, но корзину поставила на пол.

Я сел рядом с Быпой.

— Давно я тебя не видал,— сказал Быпа.

Вот чудной! А где ему меня увидеть? Бывал он в нашем дворе совсем редко, купаться с нами не ходил. У них там, на Вокзальной, была своя компания. Но я из вежливости ответил:

— Я тебя тоже...

Мы поговорили о том, что через три недели в школу, а еще совсем неохота и что скоро, говорят, отменят хлебные карточки, и тогда уж не будет очередей, а хлеба сколько хочешь...

Потом я спросил:

— Что за книжка?

— «Спартак». Здорово интересная, да я уже всю прочитал.

— Про футболистов?

Быпа вытаращил глаза.

Надо сказать, что во многих вопросах я был страшный невежда, хотя разбирался в парусах, в географии, в устройстве Вселенной. Насчет «Спартак» я был уверен, что это всего-навсего футбольная команда. Мало того! Я считал, что название происходит от слова «спорт» и пишется «Спорт».

Оправившись от изумления, Быпа тут же на подоконнике коротко поведал мне о восстании гладиаторов. И, когда он кончил, я, конечно, сказал:

— Дай почитать!

«Не даст», — подумал я. И в самом деле, зачем он будет давать? Может, что-нибудь в обмен попросит? Но у меня ничего же нет.

Быпа подумал, вздохнул. И разрешил:

— Ну, бери... Только смотри: она вон какая растрепанная.

Я кивал, ошалев от радости. Такая толстая, такая интересная!

А Быпа так раздобрился, что поставил меня в свою очередь, которая была гораздо ближе моей. Женщины зашумели, но он решительно и деловито доказал, что мы занимали вместе.

Потом мы шагали по звенящей от зноя улице и грызли хлебные маленькие кусочки — привески.

— Слушай... — нерешительно сказал Быпа. — Ты вот что... Знаешь, дай мне твой ремень поносить, а?

Я даже шаги замедлил. Мой морской ремень? А если Быпа зажилит? Это ведь не Манярка.

— Да не бойся, я не насовсем прошу, — объяснил Быпа. — Маленько поношу и отдам. Ну, пока ты книжку читаешь? Ладно?

Может, он нарочно книжку подсунул и в очередь меня поставил, чтобы ремень выманить? Но ведь он мог бы его просто отобрать. Вон какой он здоровый! Я бы и не пикнул.

— Ты не думай, что я за книжку прошу,— сказал Быпа.— Мне надо Хрышу одно дело доказать. Знаешь Хрыща? Он в нашем доме живет.

— Что доказать-то?—спросил я, чтобы оттянуть время.

— А он не верит, что у меня отец был моряк. Я ему ремень покажу и скажу, что отец оставил, когда в сорок третьем году в отпуск приезжал.

— А на самом деле он ничего не оставил?

Быпа помотал головой.

— Он был подводник... Их не нашли. А в отпуск он и не приезжал, только собирался.

— Бери,— сказал я.— Только не потеряй.

...Два дня без передыха я читал «Спартака». Даже купаться не бегал. Вечером второго дня ко мне постучался Южка и вызвал во двор.

— Почему не выходишь? Не отпускают?

— Читаю,— вздохнул я.

— Целый день читать заставляют? — изумился он.

— Никто не заставляет! Сам! Знаешь какая книжка!

И тут же на крыльце я начал рассказывать Южке о суровых бойцах-гладиаторах, которых в Древнем Риме богачи заставляли драться друг с другом, а сами смотрели как цирк или кино.

Подошли и другие ребята. Никто, кроме Марика и Дыркаба, раньше не слыхал про Спартака — вождя гладиаторов.

— Брехня это все,— обидчиво сказал Петька Лапин.— Писатели насочиняют, а вы верите.

— Ничего подобного,— вступился Марик.— Это исторический факт.

— Про Спартака и в учебнике написано,— поддержал Дыркаб.— Ты, Лапа, зря не ругайся на писателей.

— А чего они такие балбесы, ваши гладиаторы?! — возмущенно заявил Петька.— Друг друга убивали! Лучше бы революцию устроили! Они же все с мечами! Как бы начали рубить этих самых... как их...

— А они и так начали! Не дослушал, а кричишь!

Книжку у меня растащили по частям. Читали, обмениваясь тонкими пачками листов. Собрал я всего «Спартака» лишь через неделю.

Во дворе начались гладиаторские бои. Стучали деревянные мечи, гремели крышки от больших кастрюль, ставшие щитами. Мощные наступательные крики потрясали квартал. Таисия Тимофеевна получила но-

вый повод, чтобы обвинить нас в невоспитанности.

Мы рубились и спорили. Сколько раз надо задеть противника мечом, чтобы он считался убитым? Чья очередь быть легионерами?

Никто, конечно, не хотел идти в легионеры. Ведь это были все равно что фашисты, только старинные. Приходилось по десять раз делиться, считаться, тянуть жребий. Но несмотря на это в самый решительный момент римские легионеры нарушали все правила и бессовестно орали:

— Ура! За свободу! Бей фрицев!

Мы все переругались и устали от таких споров. И собрали наконец военный совет. На совете решили: во время игр не орать и не бросаться друг на друга как сумасшедшие, а все делать по плану.

Игра должна состоять из двух частей. Сначала гладиаторское представление: бой между двумя группами. Чья группа победит, та и будет спартаковцами. А во второй части — восстание и битвы с легионерами. И чтобы все по правилам!

Такая игра требовала подготовки, и мы объявили двухдневный перерыв.

На следующий день, в субботу, все клепали себе доспехи, вырезали новые мечи, рисовали мелом на щитах львов и носорогов.

А я бездельничал. Боевые латы у меня были еще раньше. Щит и меч не требовали ремонта.

От нечего делать я решил пробежаться с гонялкой. Вышел на улицу и увидел Быпу.

Он брел навстречу, и на животе у него сияла пряжка моего ремня.

— Эй, Быпа!

— А, Владик!

Он сразу оживился, как увидел меня. И даже не по фамилии назвал, а по имени. У нас в классе все друг друга по фамилиям называли. Или по прозвищам. А он сказал «Владик».

— Ты куда? — спросил я.

— В кинушку ходил. Билетов нету.

— Жарища, — сказал я. — Делать ничего не хочется.

— Ага, — охотно сказал он.

Я снова поглядел на пряжку.

— Слушай, Быпа, я «Спартака» уже прочитал. Все ребята прочитали. Пойдем ко мне, заберешь.

— Айда.

Мы пошли, и он все поглядывал на меня весело и смущенно. Такой большой, лохматый, толстогубый.

— Ты что, Быпа, все меня разглядываешь?

— Так просто... Все ребята куда-то подевались, скучно одному. А тут ты встретился.

— А Валерка Хрыщиков? Он же рядом с тобой живет.

— Да что он, этот Хрыщ...

Дома я отдал Быпе книжку. Он ее подержал перед собой, шмыгнул носом и хрипловато сказал:

— Да ладно... Ты ее бери, если тебе ее надо. Если нравится.

Я озадаченно поморгал.

— Как «бери»?

— Ну, так... На память.

— Разве уезжаешь куда-нибудь?

— Да нет. Просто так. Раз тебе ее надо...

Мне ее не так уж было надо сейчас. Я ее запомнил от корки до корки. Но я это не стал говорить.

Быпа... Как он сказал: «На память»... А тогда вот взял и поставил в магазине в свою очередь. А еще раньше ни с того ни с сего заступился за меня перед Вовкой Вершининым...

Я взял книжку:

— Спасибо, Быпа. Я ей новые корочки сделаю.

— Если хочешь, я тебе еще толстую книгу притащу. Под названием «Собор Парижской богородицы». Только я еще ее не читал. Прочитаю и принесу.

И почему я раньше думал, что Быпа некрасивый? У него были такие хорошие коричневые глаза. Как у доброй лошади. Вы не смейтесь! У лошадей очень ласковые и красивые глаза.

И вообще лицо у Быпы было доброе. Почему кто-то придумал, что он хулиган?

Он снял ремень, обмотал вокруг пряжки.

— На. Поносил я... Хороший ремешочек. Хрыщ все подговаривал поменяться на ножик. Ну, я говорю: «Катись ты, чего пристал...» Что я, стукнутый, что ли, меняться, если не мой ремень...

Не умели мы говорить друг другу хорошие слова. А так захотелось мне сказать Быпе что-то хорошее. И я сказал:

— Ну, ты тогда... носи уж его еще. Насовсем. У меня и так штаны не свалятся. Да ты не думай, что это я из-за книжки. Это я просто так...

И такую свою драгоценность я отдал сейчас легко и радостно, потому что Быпа мне нравился. Я только сказал еще:

— Ты смотри не меняйся с Хрыщом на ножик.

И Быпа опять сказал:

— Что я, стукнутый?

И мы вышли из дома и зашагали по горячей от солнца улице.

— Ты приходи завтра,— сказал я.— Знаешь какой бой будет! Как в книжке. Будто все по правде. Придешь?

— Ага,— сказал он.

Он пришел, когда мы готовили к бою арену: обкладывали кирпичными обломками круг на земле и посыпали землю опилками. Опилки Манярка украдкой выгребала из шаткой завалинки нашего флигеля и приносила в подоле.

Петька Лапин выравнивал кирпичный круг. Он кончил работу, распрямился и головой зацепил Манярку: она проходила мимо. Опилки взметнулись желтым облаком и с ног до головы обсыпали Петьку.

Петька яростно взвыл, затряс головой и хотел треснуть Манярку.

— Ты!— сказал я.— Не трогай.

— Чего «ты»? Чего «не трогай»?— закричал Петька.— А чего она опилками обсыпает! Обсыпать можно, а трогать нельзя, да? Заступаешься за невесту!

— Ты дурак,— сказал я.— Как разозлишься, так сразу всякую чепуху орешь. В тот раз мы с Майкой, когда играли, тебя на лестнице в плен взяли, и ты сразу закричал, что Майка — моя невеста. А сейчас — Манярка. Я же не турецкий султан, чтобы столько невест было.

— Не султан ты, а девичий пастух,— заявил Петька.

Я сказал, что он клизма и голова у него редькой вверх.

Петька перестал вытряхивать из-за ворота опилки и сообщил, что сейчас покажет мне «редьку».

— Покажи лучше мне,— вмешался Быпа и неторопливо расправил плечи.— А то Владька маленький, а ты вон какая оглобля.

— Ничего, Быпа. Я с ним сам,— сказал я.

Дырнаб велел нам кончать перепалку и спросил, будем мы, в конце концов, играть или нет. Мы сказали, что будем.

Только Быпа отказался:

— У меня меча нет и щита. Я пока зрителем буду.

Майка и Манярка тоже были зрителями. Манярка — по молодости лет, а Майка сама так захотела. Последние дни она опять стала появляться в пестром нарядном платье, похожем на парашют, аккуратно причесанная и даже иногда с бантом. Я уже подумывал, не влюбиться ли снова.

— Я буду Валерия Мессала,— сказала Майка.— Буду сидеть и болеть за Спартака.

— Ух и достанется тебе, когда будет восстание!— злорадно сказал Петька.

— За что?— возмутился Марик.— Она же возлюбленная Спартака!

— Ну и что? Будем мы, что ли, разбираться? Как бросимся! Она ведь все равно рабовладелиха!

— Не «рабовладелиха», а «рабовладыня»,— сказал Дыркаб.— Я вот тебе брошусь.

Он отказался быть Спартаком, хотя мы его заранее выбрали.

— Кто смелее всех будет драться, тот и Спартак. Ясно?

И началась битва!

Мы сошлись шеренга на шеренгу, подняв подошвами тучу опилок. Я увидел перед собой щит Дыркаба с нарисованным драконом, ударил по нему своим щитом, отбил чей-то меч...

Небо стало темно-красным, в голове взорвалась горячая бомба, и я оказался на земле.

Когда небо снова стало синим, я почувствовал, что меня поднимают за плечи, и сел. В голове гудело, как в нашей железной бочке, когда Дыркаб бьет по ней колотушкой. Из носа густыми струями лилась на жестяной нагрудник темная кровь.

Меня снова положили. Манярка притащила воды. Намочили чью-то рубашку, положили на лицо. Помню, что я подчинялся, даже не стараясь ничего понять и без всякого страха.

Кровь постепенно унялась. С нагрудника стерли красные пятна. Я снова сел и лишь тогда узнал, что случилось.

Только, дравшийся рядом со мной, замахнулся на Вовчика Сазанова. Широко замахнулся. И в этом замахе, отбросив руку назад, рубанул мне мечом по переносице.

Сейчас он стоял такой виноватый, каким я его никогда не видел.

— Это он нарочно,— заявил Петька Лапин.— Он с Владькой драться боится, а отомстить охота.

— Что вы, ребята...— сказал Толька и тихо заплакал.

— По-моему, это исключается,— сказал Марик.— Не мог он нарочно.

— Не мог,— сказал я.— Не реви, Толька.

— Если бы нарочно, я бы ему...— сурово заметил Быпа.

— Не надо,— сказал я.

— Здорово болит?— спросила Майка.

Я покачал головой. Болело не сильно, только я чувствовал, что переносица стремительно распухает.

Стали обсуждать, что делать. Одни говорили, что надо пойти домой и полежать. Другие утверждали, что домой идти не надо: мама перепугается, а может быть, всем еще и попадет за такую игру.

Гул в голове прошел, и я почувствовал себя героем. Я был ранен в гладиаторской битве! И мне хотелось быть героем до конца. Я заявил, что лежать не собираюсь, а лучше всем нам пойти искупаться, раз уж сражение пока не получилось. От купания все раны заживают.

Предложение моментально приняли.

— Только домой сбегая, скажу, что на реку иду.

— Ты что?— изумился Дыркаб.— Все еще не очухался? Тебя же из дома не выпустят больше!

— Выпустят. Меня мама никогда не держит.

— Ты на свой нос посмотри,— сказала Майка.

Я не мог посмотреть на свой нос. Кроме того, у нас с мамой была железная договоренность: если иду купаться, должен предупредить. Впрочем, я надеялся, что мама ушла к знакомым, и я просто оставлю ей записку.

— Вы идите,— твердо сказал я.— Подождите меня у кино, где часы. До шести. Я приду, вот увидите.

Недавно гудок в депо просигналил половину шестого, и у меня было минут двадцать.

— Не придешь ведь,— грустно сказал Быпа.

Во мне все еще играл геройский дух. Я взял за концы свой меч и с размаху перешиб о колено (меч был с трещиной от удара о Дыркабов щит, и я его не жалел). Ногу я отбил здорово, но гордо выпрямился и поднял в руках обломки.

— Вот! Честное спартаковское, что приду!
Мне казалось, что так давали клятву гладиаторы.

СМОТРИТЕ, Я ПРИШЕЛ!

Мама была дома. Она с кем-то разговаривала, это я услышал еще за дверью.

Сначала я решил, что у нас Сергей Эдуардович: он иногда заходил. Но нет, голос у собеседника был незнакомый.

До меня донесся конец фразы:

— ...наверно, стал еще больше похож. Почти взрослый, как Виктор.

Что еще за Виктор? Кто на кого похож?

— Конечно,— сказала мама.— Хотя, по правде говоря, Виктора я не очень помню. То есть помню, как он голубей гонял, как играл с моей дочерью, а вот представить лицо, голос уже трудно...

— Да...— со вздохом сказал собеседник.— А я вот уже не забуду...

— Еще бы...— откликнулась мама.

Подслушивать нехорошо. Но ведь я и не подслушивал нарочно. Я просто стоял перед дверью и боялся ошеломить маму видом своего носа.

Мама продолжала разговор:

— А Славика я хорошо знаю. Он у здешних мальчиков вроде командира. Я даже рада, что мой сын все время с ним играет. Как-то спокойнее на душе.

— Хорошие товарищи — великое дело,— сказал мужчина.

— Разумеется. И хорошо, что именно Славик — заводила в нашем дворе. Он рассудительный и не хулиган. А ведь бывают среди больших ребят такие, что подойти страшно.

— Бывают...— согласился незнакомец.

— Впрочем, за своего Владика я спокойна,— сказала мама, и в голосе проскользнула горделивая нотка.— На него хулиганы не повлияют. Есть в нем, знаете ли, такая врожденная интеллигентность.

В этот момент с меня соскользнул наплечник и загремел на полу. Скрываться стало невозможно. Я толкнул дверь, сказал «здрасте» и постарался отвернуть нос от света, чтобы мама не заметила.

Но разве от нее скроешь!

— О-о-о!— с глубоким стоном сказала мама.—О-о-о!
Что это такое?

Мой растерзанный вид, жестяные латы, кудлатая голова и, главное, разбухшая, с кровоподтеками переносица никак не вязались со словами о врожденной интеллигентности.

— Что с твоим носом?— трагическим голосом спросила мама, и глаза ее стали круглыми.

— Стукнулся...

— Ты с ума сошел! Тебе наверняка перебили переносицу!

— Не волнуйтесь,— добродушно сказал мужчина.— Когда перебивают переносицу, человек валится без сознания. Это штука серьезная. Я в таких вещах немного понимаю.

Он сидел у окна, и я не сразу разглядел его. Потом он подошел, осторожно потрогал большим жестким пальцем несчастный мой нос и сообщил:

— Через два дня все пройдет. —

Я смотрел на него снизу вверх. Это был крупный, полный человек, почти лысый, с круглым лицом и хорошими светлыми глазами. На отвороте пиджака был у него привинчен орден Отечественной войны. Пиджак был новый, а орден потертый, с отбитым уголком эмали. (Я вспомнил, что на папином таком же ордене, который нам прислали, тоже был отбит эмалевый уголок. Он откололся, когда папа упал на мостовую. В том городке.)

— Но смотрите, какая опухоль! Это ужасно,— сказала мама, слегка успокоившись.

Я решил обидеться:

— Что ужасно? Разве я виноват?

— Все ужасно!— отрезала мама.— То, что ты каждый день являешься в ссадинах и царапинах. То, что я постоянно боюсь, как бы ты не сломал шею. То, что у тебя такой дикий вид. Что о тебе подумает незнакомый человек?

Ну, что подумает? Кажется, он не думал ничего плохого.

С интересом поглядывал на мое вооружение.

— Снимай все железо и ложись,— велела мама.— Я сделаю компресс. Живо.

Я знал, что нельзя спорить, если мама берется за лечение. Хуже будет.

Пришлось лечь на кровать вверх носом, и мама принялась обмывать его кипяченой водой, а потом обкладывать смоченными ватками. Жидкость на ватках была холодной и отвратительно пахла больницей.

Ходики на стене между тем стукали да стукали. И до шести часов осталось наконец только пять минут. Как раз, чтобы добежать до кино.

— Мам, все,— бодро сказал я и вскочил.

— Что значит «все»? Кто тебе разрешил встать?

— Уже совсем не болит!

— Это ничего не значит. Может быть внутреннее кровоизлияние.

— Мама,— сказал я как можно убедительнее,— ничего не может быть. Меня ребята ждут. Я же обещал.

Мама очень удивилась:

— Что? Ждут? Ребята? И ты думаешь, я тебя куда-нибудь отпущу, пока нос не придет в порядок?

— Ма-ма!

— Немедленно ложись.

Пришлось пойти на отчаянный шаг. Не очень это хорошо, но ничего не поделаешь. Я постарался зареветь.

— Зря,— сказала мама.— Не трать силы. Я прекрасно знаю, когда ты реवेशь по-настоящему.

Я заревел по-настоящему.

— И не стыдно?— спросила мама.— Как девчонка! При постороннем человеке. Знаешь, кто это? Фронтвой друг Виктора. Славиного брата. А ты распустил нюни.

От удивления я перестал плакать и сквозь мокрые ресницы взглянул на гостя. Оказывается, это не мамин знакомый, не работник редакции, а фронтовой друг Дырканова брата!

Я смутно помнил Виктора, он приходил иногда к Таньке. Это был худенький, невысокий парнишка, чуть постарше нынешнего Славки. А друг его вон какой большой. Лысый. Совсем взрослый.

Но все же это правда был настоящий фронтовой друг. Он посмотрел на меня выручающим взглядом и неторопливо заговорил:

— Мы были с Виктором в одном взводе... А потом я искал, кто у него остался. Мать, братишка, сестренка... Вот, приехал нарочно, а их нет дома. Зашел к вам. Думаю, соседи знают... Где же Славка-то?

Вот оно, спасение!

Я, укоряюще поглядывая на маму, сообщил, что Славкина мать на дежурстве в депо, а Славка и Манярка ждут меня под часами. Очень ждут. Я дал честное слово. А если я не успею, они уйдут на реку без меня, и никто их не найдет до самого вечера, потому что берег большой и укромных мест на нем целая тыща.

И никто не скажет им, что приехал фронтовой друг их старшего брата!

Мама смутилась.

— Действительно...— сказала она.— Извините меня. Я так перепугалась, что совсем не подумала. Конечно, надо их позвать. Только не было бы кровоизлияния...

О том, что кровоизлияния не будет, я крикнул уже из-за двери.

Ух как я мчался! Прохожие прыгали с тротуаров, чтобы я не врезался в них. И смотрели вслед. Но зря я так бежал. Ребят под часами уже не было.

И на берегу их не было.

Я прошел от пристанского спуска до водной станции и обратно. Другие, незнакомые мальчишки бултыхались в желтоватой от глины воде, другие загорали на песчаных пятачках и лужайках, прыгали и веселились на откосах среди поlynных зарослей.

Мне стало так грустно, будто я в незнакомой стране оказался. Будто никогда уже не встречу с друзьями.

Я, конечно, встречу. Этим же вечером. Но что я им скажу? Как я оправдаюсь?

«Клямпик,— презрительно скажет Толька.— Не пустили детку из дома». И я не смогу ответить ему, как надо, и он не испугается меня, потому что у других ребят не будет ко мне сочувствия.

«А еще клизмой обзывался,— обрадованно заметит Лапин.— Сам ты...»

«Зря только ждали,— хмуро скажет Дыркаб.— Лучше бы не трепался».

Если бы я просто пообещал... Но я же честное спартаковское дал! Они же все будут презирать меня как дезертира! Только Майка, наверно, жалостливо смотреть будет. Да еще, может быть, Южка. Нет, Южка не будет. Как он восхищенно смотрел, когда я перешиб о колено меч! А теперь я перед ним просто хвостун. И чего мне

вздумалось меч ломать? Воображала несчастный! Даже вспоминать стыдно. Зря только ногу рассадил...

Я брел вдоль воды, все еще поглядывая по сторонам и надеясь на чудо. Но чудес не бывает. Я уже понял, куда они отправились. На другой берег, на Желтый мыс. Вон на тот бугор, в километре отсюда. Там у берега мелкий, самый чистый песок, а один из склонов зарос черемухой. Ягоды у нее крупные, чуть не с вишню, а из сучьев получают отличные луки. Быпа про это недавно говорил.

При мысли о Быпе мне стало совсем грустно. Что он обо мне подумает? Наверно, отдаст обратно ремень, вот и все. Зачем ему мои подарки? Зачем ему я? Там, на мысу, ему хорошо с ребятами. Без меня...

Я догадывался, что они переправились на ту сторону в большой перевозочной лодке. А сейчас лодку разве дождешься? Она в это время уходит вниз: перевозить рабочих кожаной фабрики. Да и за билет надо пятьдесят копеек платить, а у меня — ни гроша.

Я лениво побрел к перевозу. Причальный плот был пуст. Я грудью лег на перила с облупленным спасательным кругом и стал смотреть в воду. В желтой воде стаями ходили мальки.

Даже этим безмозглым малькам было куда лучше, чем мне: они были все вместе.

Я отвернулся.

Что это?

С другой стороны плота к перилам был прибит железный лист с правилами для пассажиров. Никто уже не мог прочитать эти правила, потому что от постоянных брызг железо стало грязно-бурым и строчки слились с ржавчиной. И вот на этом листе я увидел яркие, косо нацарапанные мелом буквы:

МЫ ТЭБЯ ЖДА

Я хоть где, хоть когда сразу смог бы узнать эти буквы! Это «е» наоборот и «т» крестиком! Так писала Манярка.

Не успела дописать — заташили в лодку.

«Мы тебя жда...»

Я чуть снова не пустил слезу, второй раз за этот час. От обиды и злой беспомощности. Но не пустил, потому что увидел небольшую лодку. Мальчишка в милицеской фуражке лениво греб недалеко от берега.

— Эй, перевези! — заорал я как сумасшедший. — Ну, перевези! Эй!

Он приподнял козырек, глянул на меня, отвернулся и опять замахал веслами.

Помню, что я кричал ему самые обидные слова и грозил кулаком.

Ну что ему стоило перевезти меня? Долго, что ли? Река обмелела к августу и стала совсем неширокой. Тот берег — вот он. Метров сто каких-то. А до плотов, которые вплотную у берега, — еще ближе.

Сто метров — это разве много?

Когда мы ходили на водную станцию завода «Механик», я проплывал там пятьдесят. Правда, рядом была кромка бассейна и ребята. Но ведь я за кромку не хватался и на помощь не звал. И даже не очень устал. Если бы захотел, мог бы еще проплыть...

«Не сходи с ума», — сказал во мне взрослый испуганный голос.

«Не буду», — торопливо согласился я. Потому что и сам испугался своей отчаянной мысли.

Но все-таки... Как бы это было здорово!

Я подошел бы к ним небрежной, чуть усталой походкой и сказал бы:

«Не могли уж чуть-чуть подождать...»

Они вытирашили бы глаза:

«Ты откуда? Через мост бежал?»

«Через мост? Ну конечно! Целых семь километров! И все бегом! Видите, даже вспотел, весь мокрый...» И стал бы деловито отжимать на себе трусы.

И тогда Майка сказала бы: «Плыл? Ненормальный!» — и все посмотрели бы так же, как во дворе, когда я переломил меч. А Дыркаб для порядка проворчал бы:

«Еще раз поплывешь один — будешь иметь по шее... Сперва опаздывает, а потом в чемпионы лезет».

«Я же из-за дела опоздал. Там один человек приехал, друг вашего Виктора. Все про вас с Маняркой расспрашивал. Вот я и задержался».

И опять стало бы все хорошо!

Я понимал, что желтая речная вода словно смыла бы с меня всю горечь неудачи, все презрение друзей.

Но какой из меня пловец! Ведь месяц назад я едва держался на воде.

Я ушел с плота. Разделся. Спрятал одежду в сухой глинистой расщелине среди бурьяна. Я еще ни капельки не верил, что всерьез поплыву через реку. Но что-то меня толкало к воде.

Я вошел по колено. И вода впервые за все лето показалась холодной.

«Стой, что ты делаешь! Не надо».

«Я только попробую».

«Не валяй дурака! Сто метров — не пятьдесят! И здесь не бассейн. Здесь течение».

«Ну и что? Я же не против течения. Пусть несет. Мне бы только на тот берег...»

«Не смей! Ведь рядом нет никого. Никто не поможет».

«Ну, не буду, не буду... Я только попробую. Немножко проплыву — и обратно...»

Я зашел по горло. Ну вот: еще и не плыл, а метров семь уже позади. Я оттолкнулся и сделал несколько гребков.

«Ты куда? Ты же хотел только немножко!»

«Заткнись!»

Я ни разу не оглянулся. Боялся, что увижу свой берег слишком близко и узнаю, как мало проплыл. И боялся, что увижу его слишком далеко и тогда совсем испугаюсь. Помню, что поверхность воды казалась мне серебристой и выпуклой и я не видел плотов, до которых мечтал добраться.

Течение мягко несло меня. И это хорошо — ближе к мысу.

Плохо было другое: с самого начала я стал слишком рваться вперед и скоро устали руки. А еще плохо работал распухший нос. Дышать пришлось ртом. И где-то на середине реки я хлебнул воды.

Хлебнул, закашлялся, забултыхал руками, окунулся с головой, хлебнул снова.

«Вот и все. Этого ты хотел?»

Кашель душил меня. Рывком я выскочил из воды почти по грудь, глотнул воздуха. Несколько секунд барахтался по-собачьи, стараясь держать голову повыше. И все это время отчетливо представлял, как мое тело будет колыхаться в желтой глубине. А потом его вытащат баграми, и я не буду это чувствовать...

Затем показалось, что подходит лодка. Значит, меня сейчас втащат через борт, отвезут на берег, а потом, дрожащего, мокрого, станут расспрашивать и поведут к маме. Этого еще не хватало...

И тут я понял простую вещь: раз боюсь лодки, значит, еще не тону.

Ну, глотнул воды! Ну, устали руки! Что из этого? Ведь плыву.

И вообще не может человек утонуть, пока не выпустит воздух из легких. Только не надо барахтаться от страха.

Я отдышался, набрал побольше воздуха, окунул голову и опустил одеревеневшие руки. Не тону. Река свободно несет меня.

Вперед!

Никакой лодки нет. И не надо. Вот если бы рядом была Каравелла...

Я представил, как у плеча движется обросший зеленью и ракушками борт, а сверху насмешливо смотрит Павлик.

«Ты что там плюхаешься? Устал?»

«Кто тебе сказал?»

«Сам вижу. Может, бросить кончик?»

«Привяжи этим кончиком свой язык! Ты вообще что-то стал зазнаваться. Думаешь, ты один — капитан?»

«Ладно, ладно. Ты лучше дыши как следует, а то опять хлебнешь...»

«Не хлебну... Ты думаешь, будто я все еще такой же хлюпик? Ты в каком классе был, когда уехал? Ведь в четвертом. Ну и я сейчас в четвертый перешел. И в футбол я умею играть не хуже тебя. Да! А на мечях дерусь, наверно, даже лучше! А «Спартака» ты читал?»

«Ну, расхвастался!»

«Да я не расхвастался. Я просто...»

И тут я увидел край плота! Метрах в десяти.

Ну, еще немного. Чуть-чуть. Раз... Два...

Я вцепился в проволоочный трос и целую минуту висел в воде, отдыхая. Потом выволок себя на плот, полежал на шершавых бревнах. Встал. В голове гудело, а в ушах плотными пробками сидела вода.

По бревнам я добрался до берега. Попрыгал на дрожащих ногах. Вода вышла, в ушах стало тепло, и словно включился радиоприемник: я услышал голоса, гудки на пристани, смех на том берегу.

Вечернее теплое солнце мягко светило мне в лицо и рассыпалось искрами на мокрых ресницах. Я пошел туда, где поднимался плоский бугор Желтого мыса. Солнце висело прямо над ним.

Я жмурился и поэтому не сразу увидел ребят.

Они стояли на вершине холма. Шеренгой. С длинными тонкими палками. То ли для удилиц вырезали, то ли для луков — я не разобрал. Издалека палки были похожи на копыя.

Ребята махали мне руками и кричали что-то. Или радовались, что я отыскал их, или ругали за отчаянный поступок.

А может быть, и то, и другое.

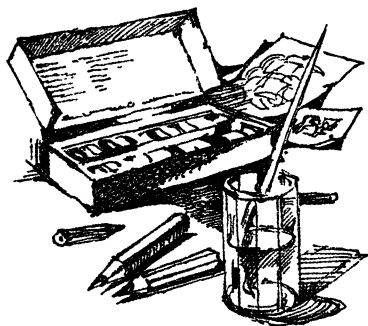
«Смотрите, я пришел!» — хотел крикнуть я, но побоялся, что сорвется голос. Я просто помахал им в ответ и стал подниматься по отлогому склону. По сухой глинистой тропинке, теплой от солнца. Влажный запах реки смешивался с горьким и сухим запахом полыни. Ее пыльные листья ласково щекотали мои колени.

Ребята ждали на гребне. Они уже не кричали и не махали копиями. Только Манярка все еще не опускала вскинутую руку. Короткий рукавчик сполз к плечу, и я видел на Маняркиной руке подковку...

Такими я и запомнил их, товарищей детства. Легкая шеренга на фоне светлого неба, волосы горят и золотятся от вечерних лучей. Манярка ждет с поднятой, как для салюта, рукой. А над ними — большой туманный шар солнца.

ВАЛЬКИНЫ ДРУЗЬЯ И ПАРУСА





НАЧАЛО. БАРАБАНЩИКИ

Барабанщики шли встречать солнце...

Об этом надо рассказать сейчас. После будет некогда. Речь пойдет о зимних синих рассветах, о песчаном городе с цветными стеклами, о двухмачтовой марсельной шхуне, о предательстве и дружбе и о том, как трудно держать в руке огонь.

А о барабанщиках придется вспомнить всего один раз. Тогда уже не будет времени, чтобы все объяснить. Лучше рассказать о них сразу.

Итак, барабанщики шли встречать солнце.

Валька шел за ними.

Он шагал по колено в траве, холодной и жесткой. Пробирался по кустам. Трава и кусты были сплошь в росе. С листьев, будто с маленьких ладоней, скатывались тысячи тяжелых капель. Валька вздрагивал, но шагал и шагал, прикрывая локтем лицо от хлестких веток.

Он не знал дороги и боялся отстать.

Валькина рубашка и тонкие полотняные штаны уже насквозь пропитались росой. Тапочки раскисли и стали скользкими. Ноги горели от царапин. Кровь проступала мелкими каплями, и они висели на царапинах, словно бусинки на нитках.

Путь к реке лежал через вырубки с невысокой березовой порослью и широкие поляны. Среди кустов, над травами, Валька видел впереди барабанщиков.

Они двигались редкой растянутой цепью. Шли без разговоров и переключки, размашистым легким шагом. Перескакивали через пни и ямы, огибали черные шапки кустарников. Шли прямо туда, где разгорались разноцветные полосы рассвета.

В этом быстром и молчаливом движении была торжественность и непонятная тревога. Словно солнце могло не взойти, если барабанщики опоздают.

Но они никогда не опаздывали к восходу.

Каждый год в начале каждой смены наступало утро, когда сводный отряд барабанщиков поднимался еще до рассвета. В окнах ползли серые сумерки и гасли звезды. Несколько человек откидывали одеяла. Это были опытные барабанщики — они приезжали в лагерь не первый раз. Они бесшумно и безжалостно будили новичков. Потом пробирались в дачу к малышам и выносили на руках барабанщиков октябрятских отрядов — вместе с барабанами и одеждой. Стояла тишина, только барабаны, цепляясь за косяки, негромко и встревоженно гудели.

Малышей приводили в чувство на крыльце:

— Тихо ты... Стой и не хнычь. Сам ведь вчера просился. Будешь ты стоять, наконец? Ребята, волоките его назад...

— Не-е...

— Если «не», надевай штаны. А ботинки где?

Потом они строились за оградой. Барабанщики-сигналисты, барабанщики знаменосной группы, барабанщики отрядов.

— Все готовы?

— Готовы!

— На левом фланге не спят?

— Проснулись!

— Внимание, отряд... К востоку лицом... цепью... пошли!

Так было всегда. С тех пор, как появился в этих лесах пионерский лагерь «Рассветный». А появился он давно — первые барабанщики его уже выросли. Никто теперь не помнил, откуда повелось встречать солнце веселой барабанной дробью. Но обычай этот стал законом, который не могли отменить самые суровые начальники и самые непреклонные врачи.

Валька не был барабанщиком. Он не мог им быть. Но когда он узнал про их строгий и немного таинственный обычай, что-то шевельнулось у него в душе.

Какое-то беспокойное чувство, похожее на зависть. Но нет, не зависть. Скорее, острая грусть оттого, что не может пойти вместе с ними.

Барабанщики, встречающие рассвет...

Валька понимал, что сводный отряд недоступен для него, но беспокойство не проходило. И в три часа утра Валька проснулся от ясной тревоги, что он может опоздать. Он увидел, как с кровати скользнул барабанщик третьего отряда Генка Соловьев, и вспомнил все.

Небо на восходе разгоралось. Разноцветные полосы тонких облаков растворились в ровном пламени рассвета.

Дальние кусты уже не казались черными. Загоралась роса.

Барабанщики пошли медленнее. Цепь разорвалась, и каждый шел сам по себе. Многие первый раз видели июньский восход.

Вальке стало труднее прятаться. Ему пришлось обойти стороной громадную поляну, чтобы незамеченным добраться до прибрежной полосы кустов. Но он обогнал реят и первый вышел к реке.

За рекой, по темному гребню леса, уже растекалось жидкое золото — предвестник очень близкого солнца. А реки не было видно под косматой шубой тумана.

Барабанщики по одному выходили на берег.

Валька отошел и скрылся в густом переплетении веток. Снова посыпалась роса, но он уже привык и даже не вздрагивал.

Барабанщики встали редкой ломаной линией у края обрыва. Левофланговый оказался в десяти шагах от Вальки. Маленький, один из тех, кого будили уже на крыльце. В наспех зашнурованных ботинках и в рубашке с косо застегнутым воротом. У него было напряженное серьезное лицо с пухлыми, но плотно сжатыми губами. А коротенькие светлые волосы смешно топорщились. Он мог бы показаться кому-нибудь забавным из-за своей слишком усердной серьезности. Но не Вальке. Валька понимал.

Малыш стоял с низко наклоненной головой и опущенными руками. В каждой руке — палочка. Так же стояли и другие. Девятнадцать неподвижных, молчаливых барабанщиков. О чем они думали? Почему вдруг перед самым восходом подкралась грустная минутка? Или так полагалось? Валька не успел понять.

Пра-рах!— отчетливо сказал на правом фланге барабан. Маленький левофланговый вскинул голову и торопливо поднял палочки.

Дзамм... Та-та...— откликнулись еще два барабана.

Дд-дам, да-дах...— ответил еще один. У каждого был свой голос.

Барабанщики стояли теперь с поднятыми головами, будто прислушивались: не откликнется ли кто-нибудь с того берега? То один, то другой посылал короткую требовательную дробь. Это был им одним понятный разговор.

Та-та-та-та...— осторожно выбил и маленький Валькин сосед.

Барабанные сигналы становились все длиннее и чаще, сливались, крепили, и Валька вдруг уловил в этом беспорядочном треске и гуденье твердый и увлекающий ритм. Ровно, негромко и уже беспрерывно рокотали барабаны новичков. Четкими и размеренными ударами разбивали этот рокот старшие отрядные барабанщики. А два сигналиста то коротко, то раскатисто, с разными перерывами выговаривали что-то непонятное, но праздничное.

Вальке показалось, что с барабанов сыплются и прыгают по берегу тысячи веселых желтых горошин.

Он забыл, что надо прятаться, и стоял теперь среди веток, открытый по грудь. Но его не видели. Все смотрели вперед, за реку, за леса, и левофланговый малыш смотрел туда же. А палочки его ровно плясали на белой коже нового барабана.

«Уже научился»,— с неожиданной ласковостью подумал Валька.

Яркий свет прошел волной по лицу маленького барабанщика. Заблестел веселыми точками в сощурившихся глазах и даже на кончиках ресниц зажег крошечные искры.

Валька взглянул на горизонт. Там стремительно вставало солнце. Чистое, не тронутое красным налетом.

Туман, не ожидавший такого быстрого восхода, испуганно взвихрился длинными спиралями и начал рваться на куски. Желтым стеклом засветилась чистая вода. Барабаны торжествующе взревели, разбудили наконец дальнейшее многоступенчатое эхо и разом оборвали грохот.

Несколько долгих секунд стояла тишина. Потом она разлетелась от криков и смеха. Это был обычный беспорядочный шум, как на школьном дворе после длинного урока. Но смеялись и переговаривались, все еще глядя на солнце.

Только сейчас Валька заметил, что среди барабанщиков есть несколько девчонок. И был один человек без барабана. Повыше остальных ребят, смуглый, темноволосый, в зеленой рубашке. Похожий на кубинца. Валька узнал его: это был один из вожатых. Другие вожатые и воспитатели звали его Сашей, а все ребята называли его немного странно — Сάνдро. И это имя ему как-то очень подходило.

— Сандро,— вежливо сказала тонкая длинноногая девчонка,— как ты думаешь, зачем Петька Бревнов стучит меня барабаном по голове?

— Ябеда!— откликнулся коренастый Петька и деловито объяснил:— Я хотел узнать, что гудит сильнее.

Девчонка погналась за ним, и они помчались в сторону Валькиных кустов. Валька присел.

— Ну, дикие!..— неодобрительно произнес маленький барабанщик. Он стоял на колене, отложив барабан, и перешнуровывал ботинок.

Петька и девчонка сделали круг и снова проскочили, чуть не сбив малыша.

— Вы, страусы!— крикнул он и сердито вскочил.

И зацепил пяткой барабан.

Барабан стал на ребро. Качнулся. И нехотя покатился к обрыву.

Он упал бы в воду у самого берега, но на пути встретил маленький выступ и прыгнул с него, как с трамплина.

Валька вовсе ни о чем не думал. Он увидел растерянные глаза обернувшегося мальчишки и понял: тот сейчас прыгнет. И прыгнул сам.

Он точно рассчитал: угодил в одинокий куст черемухи, росший на середине откоса. Исцарапался, но замедлил скорость и съехал к воде на лавине из песка и комьев глины.

Вода оказалась совсем не холодной. Течение легко обняло Вальку, повернуло, и он увидел барабан. Недалеко, метрах в трех. Барабан сиял мокрыми боками и легкомысленно приплясывал на маленьких волнах, которые кругами разошлись от Вальки.

Валька догнал его, ухватил за ляжку и стал выгребать к песчаной полосе ниже по течению. Он плыл и видел, как вниз сыплются ребята. Их криков он не понимал и думал совсем о другом: о том, что берег, оказывается, весь в черных сотах стрижиных гнезд.



Потом он вышел на песок, вытряс воду из барабана и стал смотреть на подбегавших ребят.

— Это наш Валька Бегунов,— выдохнул запыхавшийся Генка Соловьев.— Вот это да!

— Откуда ты, Валька Бегунов?— спросил Сандро, и в голосе его почудилась усмешка.

— Оттуда... из лагеря,— тихо сказал Валька и стал смотреть на барабан.

— Ясно,— произнес так же тихо Сандро.— А зачем тебя в воду понесло? Барабан бы и так прибило к берегу.

Валька глянул назад и сразу понял, что прыжок его оказался ненужным и смешным. Здесь был изгиб реки, и течение выбрасывало на песок все, что плыло у правого берега.

Валька повернулся и пожал плечами. Что он мог сказать?

— Ладно, пошли наверх,— бросил Сандро.

— А знаете, он ведь из-за этого типа в воду сиганул,— неторопливо сказал серьезный худощавый паренек, один из самых старших. Он показал на маленького виноватого барабанщика.— Из-за него, точно. Этот уже сам лыжи наводрил, да я ухватил его за шиворот.

Малыш тяжело засопел и начал теревить на рубашке эмалевую звездочку.

— Нечего теперь пыхтеть,— сказали ему.

— Он-то здесь при чем?— с досадой бросил Валька. Сел на твердый песок и стал снимать тапочки.

Песок был гораздо холоднее воды.

— Быстро наверх!— повторил Сандро.— Костер придется разжигать, сушить тебя. Куда с тобой, с таким моченым.

— Вот еще,— хмуро возразил Валька.— Я и был такой. От росы.

— Постой!...— Сандро приподнял одну бровь.— А вообще-то, друг милый, ты здесь как оказался?

— Так...

Сандро глянул понимающе.

— Смотрался из лагеря, чтобы порыбачить?

«Точно,— обрадовался Валька.— Скажу, что рыбачил. Нет, про удочки спросят. А пускай. Скажу — уплыли».

— Угадал я?— спросил Сандро.

— Я не рыбачил,— сказал Валька.— Я за вами шел. Просто так.

Барабанщики стояли кругом и разглядывали Вальку с молчаливым сочувствием.

— Зачем?— спросил кто-то.

— Ну... так. Посмотреть,— сказал Валька.

— Чудак!— усмехнулся Сандро.— Прятался-то за чем? Ну, шел бы и шел. С нами.

Валька промолчал. Но все смотрели на него выжидающе.

— Я же не знал,— глядя в песок, сказал Валька.— У вас же свое дело. А я кто...

— А кто ты?— спросила длинноногая девчонка и наклонила голову.

— Кто... Никто. Даже не пионер...

— А почему?— спросил Сандро.— Не дорос, что ли?

— Дорос. Я болел, когда всех принимали.

— А потом?

— Что?— не понял Валька.

— Разве потом не могли принять?

— Не знаю... Никто не говорил.

— А ты сам?— спросил Сандро. Он смотрел на Вальку почти равнодушно. Однако за этим равнодушием скрывался какой-то цепкий интерес.

Валька его чувствовал, но не понимал. Это еще больше смущало его.

— Сам? Не знаю...— неловко сказал он.

— Что ты не знаешь?— с неожиданной досадой бросил Сандро.— «Не знаю, не знаю»!.. Откуда вы такие беретесь, незнающие?..

Валька поднял глаза.

— Я думал, так нельзя,— сказал он.— Разве можно просить об этом самому?

— А-а...— протянул Сандро,

Валька смотрел на него и чего-то ждал.

— Ясное дело,— сказал Сандро.— А может быть, тебя в лагере принять в пионеры?.. Чтобы ты ходил, не прячась за кустами.

— В лагере? А можно?

— А чего ж... Если отряд решит, то, наверное, можно...

— А вы?— тихо произнес Валька.

— Что — мы?

— Вы — отряд...— не то спросил, не то просто сказал Валька. И снова опустил голову. Он понял, что краснеет, как девчонка. Ведь проснувшаяся в нем надежда была просто смешной.

Сандро молчал. Барабанщики тоже молчали.

— Ну, знаешь...— сказал Сандро немного растерянно.— Нельзя же так сразу.

— Да я понимаю,— прошептал Валька.

— Нельзя так,— уже уверенней повторил Сандро.— Мы же всего пять дней в лагере.— И добавил уже с усмешкой:— Откуда мы знаем, что за человек Валька Бегунов!

— Да,— сказала длинноногая девчонка и склонила набок голову.— Действительно. Какой ты человек?

Валька пожал плечами.

— Обыкновенный человек,— вдруг сказал Генка Соловьев.— Как все. Мы с ним в одной палате, кровати рядом. Он мне сатурновскую батарейку для фонарика дал.

— Подумаешь, батарейку дал!— сказала девчонка.

— А еще в тетрадке что-то все время рисует,— серьезно добавил Соловьев.

— Не в тетрадке, а в альбоме,— хмуро поправил Валька.— И не все время.

— Ну, в альбоме,— согласился Генка.— Я один раз хотел посмотреть, а он как двинет подушкой...

Валька взглянул на него исподлобья.

— Сам же под руку полез.

— Ага,— сказал Генка.

Длинноногая девчонка прищурилась и потребовала:

— Пусть расскажет биографию.

Это была, конечно, шутка. Но никто, совсем никто почему-то не засмеялся. Все стояли и молчали, будто это было всерьез.

— Ребята,— сказал Валька,— ну, я... в пятый класс перешел. Вот...

— Маму и папу слушаешь?— с тонкой улыбкой спросила девчонка и опять наклонила голову.

Сандро быстро обернулся.

— Катерина,— ласково сказал он,— я понял теперь, почему Бревнов бил тебя барабаном.

Потом снова посмотрел на Вальку.

Может быть, он что-то решал?

Может быть, он думал: будет ли плохой человек подниматься до зари, чтобы взглянуть, как барабанщики встречают солнце?

— Сандро,— позвал кто-то за спиной у Вальки.— Мы ведь правда отряд...

— Джаз-оркестр, а не отряд,— сказал Сандро.— Даже сомкнутым строем стоять не умеете.

Тогда все заговорили разом. Об одном и том же:

— Кому он нужен, этот сомкнутый строй!

— В нем локтями не двинешь!

— А ты сам-то его любил, когда был барабанщиком?

— Мы кто? Гвардейцы ее величества?

При этом неожиданном и непонятном споре они забыли о Вальке и кольцом обступили Сандро.

И вдруг замолчали. Разом. словно встревоженные чем-то.

Валька услышал в кустах пеструю разноголосицу птиц. Барабанщики поворачивались к Вальке.

Он стоял на том же месте, мокрый, исцарапанный, с раскисшими тапочками в опущенных руках. Капли падали с тапочек и оставляли на твердом песке следы, похожие на крошечные лунные кратеры.

— Однако... — проговорил Сандро.

Валька резко поднял голову. «Я пойду», — хотел сказать он.

Они стояли широким полукольцом — барабанщики-сигналисты, барабанщики отрядов, барабанщики знаменной группы. Самый маленький, с эмалевой звездочкой на рубашке, смотрел на Вальку широченными серыми глазами.

— Три человека пусть займутся костром, — сказал Сандро. И негромко спросил у Вальки: — Обещание знаешь?

Валька вздрогнул, вытянулся. Проглотил комок и кивнул.

В половине девятого лагерь выстроился на утреннюю линейку. Председатель совета дружины — неторопливый очкастый Серега Лавров — остановился перед старшей вожатой.

— Отряды к подъему флага готовы. Настроение бодрое, — сообщил он. — Происшествий нет. На рассвете сводный отряд барабанщиков принял в пионеры Вальку Бегунова. Рапорт сдан.

Вожатая смотрела на него удивленно и вопросительно, готовясь что-то сказать. Но Лавров, невозмутимо блестя очками, уже опустил поднятую для салюта руку.

— Не Вальку, а Валью, — сказала вожатая. — Рапорт принят. Вольно.

Валька проснулся от боли. Во сне он прижал щекой палец и стянул с него бинт.

Боль была не такая, как вчера. Она теперь не жгла, а словно разъедала. Валька осторожно коснулся пальца подбородком. Почувствовал влажный лоскуток лопнувшей кожи и поморщился. Он торопливо нащупал на подушке трубочку бинта и, чуть дыша, протолкнул в нее палец. Боль стала успокаиваться, но еще давала себя знать мягкими затихающими толчками.

Валька передохнул и повернулся на спину.

Окна были темными. Сквозь просветы в ледяных узорах Валька видел звезды. Каждая звезда висела в середине холодного туманного пятнышка.

«Часов семь,— подумал Валька,— или полвосьмого».

Он сосчитал до трех, сбросил одеяло и прошлепал к столу. Нашупал кнопку «грибка». От неожиданного света окна сделались блестящими и непрозрачными, как черная клеенка. Только по краям зеленовато искрились морозные разводы.

За тонкой стенкой зашевелился отец.

— Валька, ты уже? Спал бы...

Валька взглянул на будильник.

— Скоро восемь. Папа, я на колонку...

Это была его обязанность. Вернее, привычка. Он каждое утро приносил два ведра воды. Правда, наливал их не доверху: ведра были большущие и, кроме того, тащить их приходилось в растопыренных руках, чтобы ледяная вода не плескалась в валенки. Когда Валька добирался до крыльца, руки и плечи у него просто стонали. Но он все равно любил эти «водяные» прогулки.

Вальке нравились неяркие зимние рассветы. Снег и небо в это время были очень синими, а дома казались черными, и в них светились квадраты разноцветных теплых окон.

Стараясь не грохнуть ведрами, Валька выбрался в сени. Синее утро уже просачивалось в щели. Валька вздохнул и закашлялся: резкий холодный воздух оцарапал легкие. В сенях вкусно пахло зимой: снегом, смазанными лыжами и мерзлым выстиранным бельем, которое было развешено под потолком.

Валька отбросил крючок и толкнул дверь.

Он увидел сиреневый снег, черные ветви над забо-

ром, а левее — темные громады новых домов. В сумерках казалось, что дома стоят не за дорогой, а прямо перед Валькой. Они сливались с забором. Окна горели редко: было воскресное утро и во многих квартирах еще спали.

А Вальке спать совсем не хотелось!

Он поставил ведра на крыльцо и двумя пинками сбросил их в снег.

Тра-тара-ра! Бах!

Нынче солнце встает очень рано,
Нынче день будет длинный и ясный.
Ты послушай — гремят барабаны,
А они не проснутся напрасно!

Солнце в декабре встает совсем не рано. Просто Валька чувствовал: будет хороший денек.

Над крышами больших домов небо начинало светлеть, и антенны телевизоров прорисовывались в нем черными штрихами. Они были похожи на модели планет, еще не обтянутые бумагой.

— Только попробуйте улететь! — сказал им Валька. Подхватил ведра и вышел за калитку.

Колонка находилась в конце квартала. Она торчала у синей снежной дороги и была похожа на озябшего карлика с фантастически длинным носом и в матросском берете с помпоном. Обычно карлик скучал в одиночестве: почти во всех соседних домах был водопровод.

Но сегодня рядом с колонкой Валька увидел закутанного человечка. Малыш повесил на кран ведро и копошился у рычага.

— Андрюшка, — сказал Валька.

Валенки малыша скользнули по выпуклой наледи, которая окружала колонку. Он выпустил рычаг, покачнулся и встал прямо.

— Не работает, — объяснил он. — Видишь, Валька, я нажимаю, а вода не бежит.

Валька лег животом на рычаг. Лязгнуло железо, и на этом дело кончилось.

— Вот видишь, — озабоченно повторил Андрюшка.

— Подожди, — сказал Валька.

Колонка начала мелко вздрагивать. Отозвалась булькающим кашлем. Потом в ней захрипело, заклокотало, и вдруг упругая струя грянула по ведерному дну.

Полведра набралось в три секунды. Валька выпря-

мился, и рычаг скакнул вверх. Колонка обиженно фыркнула, погудела и успокоилась. Валька сказал:

— Такой у нее характер...

Андрюшка взглянул на колонку с уважением и потянулся к ведру.

— Подожди, сниму,— сказал Валька.— Утащишь столько?

Андрюшка приподнял ведро.

— Я больше могу.

— Хватит,— решил Валька.— Тебе же на третий этаж тащить.— И спохватился: — Андрей! А ведь у вас же водопровод!

— Да... водопровод,— как-то нерешительно сказал Андрюшка.— Он только булькает, а из крана пузыри идут. А умыться ведь надо. И чай кипятить. Много надо.

— А кроме тебя, никого нет, чтобы воды принести?

— Есть... А я ведь тоже есть.

— Ну еще бы. Ты, конечно, есть... Да оставь ты пока ведро!

Андрюшка послушно опустил ведро и выжидательно глянул на Вальку. В меховой шубенке и большой лохматой шапке он казался полным и неуклюжим. Но Валька-то знал, что в теплую одежду закутан узкоплечий, худенький первоклассник.

Валька стал наполнять свои ведра. Он наливал воды почти доверху. Что же было делать? Не тащить же при Андрюшке по полведра...

— Пойдем,— сказал он.

— Куда?

— Ну, не кудахтай. Сам же говорил: умыться надо, чай кипятить. Вот и будете кипятить.

— Ну, Валька...— без всякой радости проговорил Андрюшка.— Не надо. Я сам.

— Ты сам, а я тоже сам. Хуже тебе, что ли?

Андрюшка две секунды размышлял. И вдруг обрадовался:

— Правда, пойдем! Ты и я.— Он словно о чем-то вспомнил или что-то задумал. Но было еще не очень светло, и Валька не разглядел его лица.

От колонки до Андрюшкиного дома столько же, сколько до Валькиного. Но ведра-то были почти полные. Руки просто чуть не оторвались. Левое ведро зацепилось кромкой за штанину, и вода ледяным языком скользнула за голенище валенка. Валька зашипел от досады и холода.

— Что? — спросил Андрюшка, не оглядываясь. Он усердно тащил свое ведро впереди.

— Нogu промочил,— буркнул Валька.

— Я тоже,— утешил Андрюшка.

Пока Валька по одному втаскивал ведра на третий этаж, Андрюшка терпеливо ждал у двери. Дождался и толкнул дверь плечом.

— Мама, я пришел! И еще Валька пришел!

Вальке стало неловко: будто в гости напросился.

Раньше он приходил сюда только два раза, и тогда никого, кроме Андрюшки, в квартире не было. А его родителей Валька видел лишь издалека, на улице.

Он поставил ведра в маленьком, ярко освещенном коридоре и подумал, что хорошо бы теперь сбежать. Но без ведер не сбежишь.

— Валька пришел! — вновь жизнерадостно сообщил Андрюшка.

— Не труби ты,— прошептал Валька.

Из комнаты шагнул Андрюшкин отец. У него были лохматые брови, большой лоб с залысинами и широкий, какой-то удивительно добрый подбородок. Человек этот сказал смеющимся голосом:

— Хороший день начинается с хороших гостей. Здравствуй, Валентин.— Он протянул большую ладонь.

Валька зубами сдернул заledenевшую варезку и неловко подал руку.

— А это что? — Андрюшкин отец увидел ведра.

— Вода,— тихо сказал Валька. И подумал, что все получилось глупо. Обошлись бы и без его помощи.

— Ага...— протянул отец.— Ну конечно...— И спохватился: — Пошли в комнату! Светлана, смотри...

— У меня валенки мокрые,— попробовал сопротивляться Валька.— Я лучше...

Договаривать не стоило, потому что он уже стоял в комнате. И внимательными Андрюшкиными глазами на него смотрела совсем молодая Андрюшкина мама.

— Наконец-то! — сказала она.— А то мы каждый день слышим разговоры о таинственном Вальке и никак не можем на него посмотреть.

— Какие разговоры? — слегка обалдело начал Валька и умолк. Сообразил, что следовало бы для начала сказать «здравствуйте». Но теперь здороваться было уже смешно.

Его выручил Андрюшкин отец.

— Разговоры все одни,— весело объяснил он.— «Валька сказал», «Валька обещал», «Надо у Вальки спросить»... Приворожил ты нашего доброго молодца, как Марья-царевна. Кстати, чего он там возится?

Валька выглянул в коридор. «Добрый молодец» сидел на полу и тянул с ноги промокший чулок. Чулок тянулся медленно и потому казался бесконечным.

— Тебя отец зовет,— мрачно сказал Валька.

Андрюшка пружинисто поднялся. Снятый наполовину чулок потянулся за ним к двери и оставил на полу длинную сырую полосу.

— Ты что же это? — упрекнул отец.— Пригласил человека и бросил.

Андрюшка устроился на стуле.

— Валька, ты садись,— попросил он.— Ну, Валька... Ты разденься и садись. Я сейчас.

Он снова потянул чулок, но теперь почти не спуская с Вальки глаз. Только изредка и быстро поглядывал на отца и мать. Словно спрашивал: «Ну, как вам нравится мой Валька?» Потом деловито сказал:

— Мы с ребятами будем крепость строить. Валька, ты нарисуешь? Надо план.

— Да ладно... дома,— ответил Валька и глянул украдкой под ноги: слишком ли заметные следы оставляют валенки?

— Рисуешь ты очень неплохо,— серьезно заметила Андрюшкина мама.

Валька насторожился.

— Андрей наш вообще заявляет, что ты настоящий художник,— объяснил отец.— Видишь, и рисунок твой вывесил на самом видном месте. Хороший портрет.

Валька взглянул на стену и охнул про себя.

На розовой штукатурке, над маленькой Андрюшкиной кроватью, висел альбомный листок. Он был закрыт стеклом и окантован полосками синей бумаги. Будто эскиз или гравюра настоящего художника. На листке был Андрюшка.

А живой Андрюшка сидел на стуле и с удовольствием поглядывал то на Вальку, то на свой портрет.

«Обор-р-рмот,— подумал Валька.— Устроил тут выставку!»

Если бы он знал про такое дело, ни за что бы не отдал рисунок.

Валька снова бросил взгляд на листок. Да, а нарисо-

вано было, пожалуй, неплохо. Валька теперь это видел. Ведь он смотрел на свою работу свежими глазами, словно посторонний человек. Потому что рисовал Андрюшку он очень давно — четыре месяца назад. В августе.

АВГУСТ. ПЕСЧАНЫЙ ГОРОД

Август начинался плохо. Валька приехал из лагеря и затосковал.

Лагерь был большой, в нем отдыхали ребята из разных городов области. Теперь они разъехались кто куда. Несколько человек из отряда жили где-то на другом конце, на незнакомых Вальке улицах.

Чтобы не бередить душу, Валька срезал с рукава синий треугольник с вышитыми барабанными палочками.

Он решил навестить своих одноклассников, ребят из бывшего четвертого «А». Зашел к одному — тот с родителями на юге. Постучался к другому — тот на даче. Третий читал какую-то книжку про полет на Венеру. Поднял на Вальку непонимающие глаза, поморгал и сказал с вежливым зевком:

— А, Бегунов! Привет. Ты теперь не в нашей школе будешь?

— В новой, — чуть виновато объяснил Валька. — Она ближе. Я не хотел, а родители перевели.

— Все равно, — лениво сказал бывший одноклассник и опять зевнул. — От нашего класса ничего уже не осталось. Половина — по новым школам, половина — по другим классам...

— Ну, пока, — вздохнул Валька.

— Ага... Пока.

Одиночество — как болезнь.

Но, конечно, Валька не сидел целыми днями с постным лицом и не вздыхал, как паровоз. В кино ходил, книжки читал, на соседний пруд бегал, потому что август стоял на редкость жаркий.

Валька выходил во двор, прыгал через забор и шел бродить среди новых домов. Эти пятиэтажные корпуса с трех сторон обступили старый деревянный квартал. Когда Валька уезжал в лагерь, почти все они были пустые. А сейчас в них жили.

Во дворах и на соседнем пустыре еще не были убраны кучи битого кирпича, обрезки труб и расколотые

бетонные блоки. Незнакомые ребяташки целыми днями что-то строили из обломков.

Самым старшим из этих строителей было лет по шесть или семь. Других ребят, повзрослее, Валька ни разу не встретил, а лезть в малышовые игры было неудобно.

Валька уходил на заросший бугор за пустырем, ложился в траву и смотрел на дома. Они были ярко-розовые, зеленые, светло-коричневые — расчерченные белыми клетками и разноцветными полосами. Пестрые, прямо сказочный город.

Шумела трава, а вдалеке ровно и неумоимо, как барабанщики, били пневматические молотки.

Валька привык быть здесь один. Два раза он даже приносил сюда альбом. И он очень удивился, когда его потревожили. Нарочно потревожили. Он лежал в траве, когда слышал шелестящие шаги и увидел перед собой маленькие пыльные сандалеты. Валька поднял голову.

Над ним стоял Андрюшка.

Валька уже тогда его знал. Не очень хорошо, а так, по имени. Потому что Андрюшка жил в доме, который заселили еще весной. Но никогда никаких дел с Андрюшкой Валька не имел, даже не разговаривал. Какие у них могут быть дела и разговоры!

— Валька,— сказал Андрюшка,— помоги нам утащить доску.

У него были светло-коричневые, какие-то золотистые глаза. Смотрел он прямо и доверчиво, будто все так и нужно. Будто Валька сию секунду вскочит и неизвестно зачем куда-то что-то потащит.

— Какую доску?— нелюбезно спросил он.

— Обыкновенную тяжелую доску,— терпеливо объяснил Андрюшка и развел маленькие ладони.— Вот такую широкую. Мы ее под кирпичами раскопали, но она сырая и тяжелая.

— Вы раскопали, а я должен тащить ее, сырую и тяжелую,— уточнил Валька.— Так?

— Ты с одного конца, а мы с другого,— сказал Андрюшка.— Видно, не понял он Валькиного ехидства и смотрел все так же — открыто и доверительно. Только нетерпеливо шевельнулись плечи.— Ну, Валька, встань... Ну, пожалуйста.

Ровно и напряженно стучали пневматические молот-

ки. На руках у Андрюшки были длинные белые царапины.

Валька встал.

— Зачем вам доска?

— Для парохода.

Пароход был устроен просто: низенькие борта из фанерных обломков, помятый обрезок водосточной трубы посередине, длинная палка с перекладной — мачта. Не хватало только палубы и руля.

Доску положили внутри бортов на кирпичные подставки. Она прогибалась и покачивалась, будто настоящая палуба расшатанного парусника. Велосипедное колесо для штурвала принес Павлик — удивительно тихий семилетний мальчик.

— А вечером будут сигнальные огни,— тихонько сообщил Андрюшка. Он словно делился с Валькой секретом в благодарность за помощь.— У нас батарейка есть и две лампочки.

— Сигнальные огни бывают цветные,— заметил Валька.— С одной стороны зеленый, с другой — красный.

— Цветных нет,— со вздохом сказал Павлик.

— Где их возьмешь, цветные-то...— мрачно произнесла коротко стриженная девчонка Ирка.

— Может быть, выкрасить лампочки?— задумчиво спросил Андрюшка и с ожиданием стал смотреть на Вальку.

Если бы они строили какую-нибудь ерунду, и если бы Валька был чем-нибудь занят... Но они строили корабль. А Валька все равно томился от безделья и одиночества. Он сказал:

— Пойдем.

Он привел Андрюшку домой и выволок из-под кровати картонную коробку. Стекла в коробке тревожно и тонко задребезжали.

— Ох...— шепотом сказал Андрюшка. Солнце вместе с ним заглянуло в коробку, и разноцветные пятна разлетелись по потолку, словно большие бабочки.

Стекла были разные: маленькие, как прозрачные леденцы, и большие, с Валькину ладонь.

— Это твои?— изумленно спросил Андрюшка.— Тебе их кто дал?

— Сам собрал,— небрежно сказал Валька.— Когда еще маленький был.

Он врал. Он собрал их в прошлом году. Из этих

стекло он хотел сложить картину, вроде тех, которые давным-давно делал Ломоносов. Валька прочитал о стеклянной ломоносовской мозаике в какой-то книжке, и его фантазия разыгралась. Но стеклянные осколки не держались в пластилиновом переплете, и Валькина затея рассыпалась.

А стекла Валька пожалел, не выбросил...

Андрюшка стоял перед коробкой на коленях. У него было очень серьезное лицо. Словно он увидел не цветные стеклышки, а разбитую и ссыпанную в коробку радугу.

Валька выбрал ему две стеклянные пластинки — рубиновую и ярко-зеленую.

— Вот вам для сигналов. Хватит?

— Хватит...

Валька ногой задвинул коробку под кровать.

— Пойдем.

Андрюшка послушно поднялся. У дверей он оглянулся, но разноцветные бабочки уже улетели с потолка...

Три вечера подряд в большом дворе светились сигнальные огни парохода и кипела шумная морская жизнь. Валька иногда садился в сторонке на расколотую бетонную балку и слушал, как Андрюшка отдает команды. Команды были смешные, а голос вовсе не капитанский, но экипаж судна подчинялся.

Валька не понимал, почему капитаном выбрали Андрюшку. Почему именно его, а не задиристого Тольку Сажина, или не громкоголосого Юрку, или, в конце концов, не Ирку-скандалистку. Андрюшка редко бегал, не суетился и никогда не кричал. И если даже случалось что-то очень важное, он не подпрыгивал и не орал, а рассказывал неторопливо и негромко. Не всем сразу, а кому-то одному.

Почему же его сделали капитаном? Из-за костюма, что ли?

Андрюшка носил тогда матросский белый костюмчик с голубым воротником и алым якорем на кармашке. А под матроску он, несмотря на жару, натягивал еще настоящую тельняшку. Тельняшка была не очень широкая, но длинная. Внизу она выползала из коротких штанов большими полосатыми языками. Андрюшке приходилось каждую минуту заталкивать их обратно, и он тратил на них уйму времени. Но и в этом случае не терял спокойствия.

Когда пароход шел к дальним берегам, Андрюшка стоял на палубе, чуть расставив ноги и обняв себя за плечи. Он покачивался на упругой доске и негромко ронял краткие распоряжения.

Валька таким и нарисовал его. Только уже не на палубе.

Он изобразил Андрюшку над его владениями. Владения лежали у маленьких стоптанных сандалет и назывались Песчаным городом.

Правильнее было бы сказать: Песочный город, но это звучало бы плохо. Будто песочный торт или песочное печенье.

И назвали его Песчаным.

Город появился после того, как был израсходован запас батареек для сигнальных фонарей и пропала корабельная мачта. Кто-то унес ее, чтобы сделать антенну для телевизора.

Утром к Вальке пришел Андрюшка. Нерешительно встал у открытой двери.

— Ты чего?— спросил Валька.

Андрюшка помолчал и негромко сказал от порога:

— Здравствуй, Валька... Знаешь что, Валька? Те твои стекла тебе зачем?

Валька посмотрел на него с интересом:

— А тебе?

Андрюшка теребил выползший язык тельняшки.

— Там песок привезли... Ночью дождик был, песок теперь мокрый. Можно город построить,— задумчиво сказал он.— С разноцветными стеклами был бы хороший город.

Стекла Вальке были ни к чему. Просто он привык, что они есть. Такие прозрачные, яркие, как разноцветные огоньки. Стало немного жаль.

— Мы поиграем и отдадим,— вдруг пообещал Андрюшка.— Мы не потеряем.

— «Отдадим»...— проворчал Валька.— Не смейся... Тащи их из-под кровати.

От радости Андрюшка потерял выдержку. Подскочил к Валькиной кровати и поспешно брякнулся на пол — коленки и локти словно деревяшки стукнули о половицы. Он вытянул коробку, и разноцветные бабочки взлетели к потолку.

— Можно все взять?— шепотом спросил Андрюшка. Золотистые глаза его сияли.

— Можно.

У калитки Андрюшку ждала вся компания: Павлик, Юрка, Толька Сажин, Ирка-скандалистка и два пяти-летних малыша.

Андрюшка сошел с крыльца и оглянулся на Вальку: «Пойдешь?»

Валька немного подумал и пошел.

Конечно, он шагал в стороне от шумной ватаги, и никто не мог сказать, что ему, Вальке Бегунову, захотелось повозиться в песке с дошколятами и перво-классниками.

Взрослых не было видно в Андрюшкином дворе. Валька оглянулся и вместе со всеми подошел к песочной груде. Она была насыпана у стены, в тени, и песок еще не высох после ночного дождя.

— Это наша Желтая гора,— доверительно прошептал Вальке маленький тихий Павлик.— На ней будет город.

— Надо сперва начертить улицы,— сказал Толька Сажин и сосредоточенно сдвинул брови, похожие на черные кляксы.

— Надо сперва хоть один дом построить,— заметила Ирка.

— Какой?— сухо спросил Сажин.

— Хоть какой,— глядя в небо, сказала Ирка.

— Ин-те-ресно...— произнес Толька и поднял левую бровь-кляксу.— Кто это будет строить дом, если никто не знает, где будет улица?

— Интересно, кто это видел улицы без домов?— въедливо произнесла Ирка и сжала губы.

— Увидишь,— пообещал Сажин и прищурился.

— Да ну?— сказала Ирка.

— Ну, вы! — встревоженно начал Андрюшка.— Хва...— и не кончил.

Они сшиблись, как всадники на полном скаку, и, сцепившись, рухнули на песок.

Они коротко и зло сопели.

Они вздымали локтями песочные фонтаны и взбрыкивали худыми ногами.

— Вот бешеные,— горестно прошептал Павлик и отступил на два шага.

Стриженный толстощекий Юрка страшно округлил глаза и заорал:

— Прекратить!!

Все это случилось в несколько секунд. Валька даже не успел ухватить и раскидать расвирепевших архитекторов. Они сами отлетели друг от друга, как резиновые куклы.

Они сидели в двух метрах друг от друга и дышали часто-часто. Ирка прижимала языком разбитую нижнюю губу. Толик осторожно трогал царапину, которая тянулась от уха до подбородка.

— Заработала?— деловито спросил Толька.— Еще хочешь?

— А ты?— коротко осведомилась Ирка.— Бамбес.— Она хотела сказать «балбес», но мешала губа.

— Кончили?— тихо спросил Андрюшка. Они взглянули на него и разом вздохнули.

Андрюшка отвернулся и объяснил Вальке:

— Каждый день так. Иногда два раза в день.

— Разве так строят города?— с досадой сказал Валька.— Надо же план.

Он разорвал коробку из-под стекол и карандашным огрызком на куске картона изобразил старинный многобашенный город. Бросил картонку Андрюшке и отошел подальше.

Он опять устроился на треснувшем бетонном блоке, уже теплом от солнца.

А на Желтой горе шла работа.

Вырастали круглые башни. Ощетинивались зубцами стены. Поднимались купола главного дворца.

Ирка-скандалистка и Толька Сажин выводили арку больших крепостных ворот. Они трудились рядышком, щека к щеке. Толькина царапина припухла и порозовела, а Иркина губа вздулась и повисла, как оторванная подошва. К ней прилипли песчинки. А ворота с башнями по сторонам получились неплохие.

Андрюшка сидел на корточках в самой середине города. Он мостил цветными осколками центральную площадь. Он не просто так покрывал ее кусочками стекла, а, кажется, хотел выложить какой-то узор. Но узор, видимо, не получался. Андрюшка хмурился и покусывал губу.

Валька мог бы подойти и помочь, но чувствовал, что Андрюшка не обрадуется. Валька знал, как это плохо, если за спиной появляется непрощеный советчик или зритель.

Андрюшка встал, шагнул, как Гулливер, через городскую стену и в раздумье стал смотреть на город.

Он стоял, обняв себя за плечи и наклонив голову. Матросский воротник на правом плече вздыбился до уха. Лицо у Андрюшки было очень сосредоточенное и немного обиженное: «Не получается почему-то...»

Валька взглянул и почти машинально попробовал пальцем острие карандаша: «Хорош? Годится?»

На куске картона он осторожно вывел контур маленького острого подбородка. Потом легко прочертил две скобки — получилась нижняя губа приоткрытого Андрюшкиного рта. Верхнюю губу Валька наметил одной тонкой черточкой. Он знал: лишние штрихи никогда не усиливают сходства. Главное — точность.

Андрюшка стоял не шевелясь. Будто догадывался, что это очень нужно Вальке. А Валька уже несколькими линиями набросал отросшую Андрюшкину челку и провел короткие черточки бровей. Нос у Андрюшки совсем простой: Валька поставил над верхней губой маленькую скобку — и все.

Самое трудное — это, конечно, глаза. Особенно когда их почти не видно в тени ресниц. Валька, чуть дыша, вывел тонкие полумесяцы опущенных век. Аккуратно прочертил уголки глаз. Несколькими точками отметил ресницы. А потом волосяными штрихами прорисовал окруженные светлыми ободками зрачки — так осторожно, словно он был хирург и проводил острием по живому глазу. Он не мог ошибаться. Ведь у него не было резинки.

И может быть, хорошо, что ее не было. Осторожность помогла Вальке. Он отложил карандаш, взглянул на Андрюшку, потом на рисунок и увидел: похож. Как ни смотри, а похож.

Сходство редко удавалось Вальке, и теперь он очень обрадовался.

Нужно было обязательно закончить рисунок. Карандашик заплясал на картоне. Валька рисовал Андрюшку в полный рост. Тонкая шея, сбитый воротник матроски, мятые штаны, клочок тельняшки, маленькие ладони на узких плечах, сандалета с отсочившим ремешком на правой ноге. Левая нога почти до колена была закрыта крепостной башней.

На остроконечной башне рубиновым светом горел маленький стеклянный осколок...

Взрослые все чаще проходили недалеко от песочной кучи. С любопытством поглядывали на растущий город,

а заодно и на Вальку. Валька встал, сунул картон под рубашку и зашагал домой. Андрюшка посмотрел вслед, но окликнуть, видимо, не решился.

Дома Валька взял резинку и убрал из рисунка все лишнее. Торопливые короткие штрихи заменил точными легкими линиями, и портрет сделался гораздо лучше. Выразительнее.

Валька осторожно перенес его на папиросную бумагу, а с нее — на альбомный лист. Потом достал черную тушь и обвел карандашные линии тонким пером. Особенно долго он колдовал над лицом Андрюшки, боясь изменить даже самую крошечную черточку.

Кажется, вышло как надо.

Маленький тонкий Андрюшка в задумчивости стоял над Песчаным городом. Впрочем, город получился не очень хорошо. Контур крепостных зубцов и башен был слишком ломаным и небрежным. «Если прорисовать ворота и бойницы, будет лучше», — подумал Валька. Но сделать ничего не успел... Взглянул на часы и охнул: было время обеда, а он еще не сбегал за хлебом.

Уже после двух часов, когда мама и отец снова ушли на работу, Валька взял альбом. Но распахнулись двери, и без стука шагнул в комнату Андрюшка.

— Валька... Кто-то разломал наш город.

Он сказал это тихо, почти виновато. Но глаза у него были совсем не робкие. Потемневшие. Какие-то требовательные глаза...

Город лежал в развалинах. И площадь, недавно блестящая стеклянными узорами, была перепажана и полужасыпана песком. А по песку, по склонам Желтой горы, как следы чудовищного змея-хищника, вились узорчатые отпечатки велосипедных шин.

Все ребята были уже здесь. Горластый Юрка теперь стоял, крепко сжав губы, и колотил себя по колену смятой тубетейкой. Два пятилетних малыша — Витька и Борис — одинаково приоткрыли рты и смотрели на развалины опасно и удивленно.

Андрюшка опустил на корточки и начал молча выбирать из песка цветные осколки. Потом спросил:

— Валька, теперь тебе их обратно отдать?

— Ну что ты! — торопливо сказал Валька. — Зачем они...

Маленький Павлик неслышно подошел к Вальке и объяснил:

— Нас позвали обедать, и мы все пошли. А кто-то приехал и все сломал... Почему?

Валька не знал почему. Он отвел глаза и посмотрел на Ирку. Ирка-скандалистка молча плакала. Так плачут упрямые мальчишки, когда какая-нибудь беда все-таки доведет их до слез. Иркины слезы падали на утрамбованный подошвами песок и оставляли следы, похожие на крошечные лунные кратеры. Валька машинально подумал, что когда-то уже видел такие следы капельных ударов.

Он услышал мягкий шорох тормоза, оглянулся и увидел велосипедиста.

Вернее, сначала увидел лишь колеса. У Вальки хорошие глаза. Он издали разглядел узор на передней шине, «Он», — подумал Валька.

Тогда он посмотрел на хозяина велосипеда.

Это была знакомая личность. Витька Волощук, с непонятым и ласковым прозвищем Козлик. В прошлом году он учился в той же школе, что и Валька, только не в четвертом классе, а в пятом.

— Это он, — чуть слышно сказал за спиной Павлик. Витька, улыбаясь, смотрел на Вальку.

— Привет, Бегунец! Ты разве тут живешь?

— Это он, — злым шепотом сказала Ирка.

Валька быстро оглянулся. Строители Песчаного города стояли позади почти ровной шеренгой. Они смотрели на Вальку с напряженным ожиданием. Валька знал, чего они ждут.

Руки у него противно ослабли: Валька не умел драться. Не встречал он еще в жизни таких врагов, с которыми надо сходитья один на один и драться всерьез. Были, конечно, короткие стычки, были общие свалки, в которых больше шума, чем дела, но там не требовалось ни умения, ни особой смелости.

— А я, понимаешь, уже две недели здесь живу, а знакомых не вижу. Тоска — как на кладбище! — весело продолжал Козлик. Он смеялся. Он был рад, что встретил Вальку. Хоть не очень хороший знакомый, но все-таки из одной школы. Козлик прыгнул с седла и положил велосипед.

Валька криво улыбнулся и стал подходить к Витьке. Позади он услышал шаги: кто-то двинулся следом. Андрюшка?

— Привет... — сказал Валька Козлику. Шаги оборвались — Андрюшка отстал.

— Что, новая машина? — Валька кивнул на велосипед.

— Отец вчера купил, — охотно объяснил Козлик. — Еле-еле я его сагитировал.

У него было круглое белобровое лицо и коротенькие светлые волосы. Они торчали косичками, как частые рожки. Может, поэтому он — Козлик?

Переднее колесо велосипеда медленно вертелось, и по спицам прыгали солнечные искры.

За спиной у Вальки было молчание.

— Ну, как ездит? — проговорил Валька.

— Люкс! Как по воздуху!

— А по песку? — хриловато спросил Валька. — Тоже как по воздуху?

— Тянет и по песку. Один раз только забуксовал, там, на ихней куче. Прямо на ихних домиках. Ладно хоть шины на стеклах не пропорол.

— Ты, — медленно сказал Валька, — гад...

Козлик очень удивился. Он даже не рассердился сначала. Он подумал, что Валька шутит. А когда увидел, что шутки никакой нет, попросил:

— Повтори!

И выпрямился. И стал выше Вальки на полголовы. У него были голубые колючие глазки и длинные мясистые руки. И повторять было незачем.

Валька размахнулся и неумело, из-за плеча, ударил кулаком по Витькиному носу.

— Ух ты... — изумленно сказал Козлик. Он уже вернулся для ответного удара, но вдруг заморгал, поднес к лицу ладонь и зажмурился. Из носа густыми струйками текла очень темная кровь.

Козлик басовито заревел. Это было неожиданно и непонятно. Валька даже испугался.

— В чем дело? — спросил кто-то негромко и резко. Рядом с Витькой встал невысокий сухощавый капитан милиции.

«Ну все», — уныло подумал Валька.

— В чем дело? — повторил милиционер.

И вдруг взорвались тонкие ребячьи голоса. Словно гомон потревоженных воробьев. И можно было в этом шуме разобрать, что во всем виноват бандит и разрушитель Витька Козлик, а Валька ни в чем ни капельки не виноват. А можно было и ничего не разобрать. Но капитан понял. Он посмотрел на Витьку, поморщился и, сдерживаясь, приказал:

— Марш домой! Сию же ми-ну-ту... Там поговорим.— Он повернулся и зашагал прочь. Цок-цок-цок,— шелкали по асфальту каблуки.

Витька Козлик, не глядя на Вальку, потащил к подъезду велосипед.

— Это отец его. Он ему покажет,— задумчиво, но без сочувствия сказал Павлик.

— Так ему и надо,— беспощадно заключила Ирка.

У Вальки противно вздрагивали локти. Однако дело закончилось как надо. Можно было уходить...

Он вернулся домой и с удивлением продолжал вспоминать о своей случайной доблести. А минут через десять снова пришел Андрюшка.

— Та картинка, где город...— начал он.— Ты унес. Разве она тебе нужна?

— Нет. А тебе?

— Может быть, мы снова построим...

— Возьми. Там, на столе.

Андрюшка шагнул к столу и странно затих там.

— Это я?— Он смотрел на раскрытый альбом, который Валька забыл убрать.

— Мало ли кто...— проворчал Валька.

Андрюшка навалился на стол грудью.

— Правда я...— сказал он шепотом.— Ну и ну...

Он долго смотрел на рисунок. Потом выпрямился и выцарапал из тесного кармана штанишек складной ножик-малютку.

— Давай меняться, Валька. Давай, а? Он хороший, только кончик обломанный. Но его подточить можно. Я сам могу подточить.

Он держал на ладонке свое сокровище с коричневой ручкой из пластмассы и смотрел на Вальку почти умоляюще.

Что-то случилось с Валькой: он засмеялся и осторожно вырвал из альбома листок. Взял ножик и опустил в карман Андрюшкиной матроски. Протянул рисунок.

— Возьми ты его, если надо... Меняльщик. Догадался тоже... Я же еще могу нарисовать.

Конечно, он снова мог перевести Андрюшкин портрет в альбом с картона и папиросной бумаги. Но теперь, когда рядом был живой Андрюшка, рисунок не казался Вальке удачным. Так себе...

Андрюшка свернул листок в аккуратную трубку.

— Я, Валька, пошел.

— Подожди, я с тобой. А то Козлик повстречается да навешает тебе блинов.

— Тю! Навешает... Я скажу, что ты ему тогда еще не так навешаешь.

«Гм»,— самокритично подумал Валька.

— Его теперь никто бояться не будет,— добавил Андрюшка.— И вообще...

Что такое «вообще», Валька понял через два дня. Он случайно услышал, как совершенно незнакомая маленькая девочка кричала какому-то большому парню:

— Только приди еще, хóдуля! Валька Бегунов тебе ка-ак д-даст!

«Поздравляю вас, товарищ Бегунов»,— ехидно подумал Валька. И вдруг он встревожился: а что, если Андрюшка начнет всем рассказывать не только о Вальке-защитнике, но и о Вальке-художнике? И рисунком начнет хвастаться? Этого еще не хватало!

Но ничего такого не случилось. Валька решил, что Андрюшка потерял или забросил рисунок.

А оказывается, что он не потерял и не забросил. Вывесил Валькино произведение на стенку и радуется. Валька натянул шапку.

— Надо мне идти. До свидания.

— Постой, постой.— Андрюшкин отец взял его за локоть.— Ты давай раздевайся. У нас уже чай готов.

— Разве у вас починили водопровод?

— Водопровод? Да его и незачем чинить. Все в порядке. Временами только давление ослабевает, но это пустяк. На минуточку.

— Ну да, на минуточку...— угрюмо сказал Андрюшка.

Отец покосился на него и с усмешкой объяснил:

— У этого товарища свои соображения. Ты думаешь, он зачем с ведром на улицу отправился? Чтобы показать, какой он большой и самостоятельный. Мало того. Случилась вещь вообще небывалая: уже два вечера подряд он моет посуду. А зачем ему это надо? Для авторитета? Ничего подобного. Дело в том, что этот товарищ желает иметь коньки на ботинках. А его бесчувственные родители коньки покупать не спешат, потому что боятся отпущать его одного на каток...

Андрюшка сполз со стула и полез под кровать за тапочками. Из-под кровати он сказал:

— Мы бы с Юркой Померанцевым вместе ходили.

— Ох уж этот Юрка Померанцев! — со вздохом произнесла мама и обратилась к Вальке: — Жаль, что ты не катаешься на коньках.

Она, оказывается, знала и это!

Андрюшка выбрался с тапочками в руках. Валька заметил у него на ресницах маленькие прозрачные капли.

«Скверное дело», — подумал он.

— Ну ладно, — торопливо заговорил отец. — Как-нибудь решим. До зарплаты о коньках все равно думать нечего.

— Все-таки я пойду, — сказал Валька. — Дома, наверно, ждут. У нас-то в самом деле нет водопровода.

Андрюшка поморгал, стряхивая капли, виновато улыбнулся и попросил:

— Ты, Валька, не забудь про крепость.

— Не забуду, — сказал Валька. Он осторожно просовывал в отсыревшую варежку руку с забинтованным пальцем.

— Порезал? — сочувственно спросил Андрюшка.

— Обжег. Да так, чепуха, — отмахнулся Валька.

УТРО. ПАРУСА

После завтрака мама спросила мимоходом:

— Надеюсь, ты не забыл?

Валька сделал невинные глаза:

— О чем?

— О парикмахерской, радость моя, — сказала она. — Просто поразительная у тебя память.

Валька поскреб в затылке.

— Я не забыл. Но разве парикмахерские открыты по воскресеньям?

— Не валяй дурака, — последовал ответ.

Мама стояла перед зеркалом и примеряла новый жакет с серебряными пуговицами и нашивками. Она работала бухгалтером в управлении железной дороги, и ей полагалась форма.

— Ты похожа на капитана дальнего плавания! В самом деле.

— Очень приятно, — сказала мама. — А ты похож на дикобраза.

— «Дикобраз» пишется с двумя «о»? — спросил Валька. — Или с одним?

— Валентин...

Валька вздохнул.

— Поразительная вещь! — возмутилась мама. — Человеку одиннадцать с половиной лет, а он боится стрижки, как младенец.

Валька обиделся:

— «Боится»? Времени жалко. На лыжах покататься хотел. Такой денек...

— Успеешь. Денек твой впереди.

— Папа, заступись, — попросил Валька.

Отец выглянул из-за газеты.

— Еще чего! Чтобы и меня погнали в парикмахерскую? — Он осторожно погладил свою аккуратную лысину.

— Вот так всегда, — вздохнул Валька. — Нет, чтобы поддержать, как мужчина мужчину.

— Иди, иди, мужчина, — сказала мама. — А то сама постригу.

И Валька пошел. На улице он сразу понял, что упирался зря: в такую погоду прогуляться по городу — одно удовольствие. Утро было искристо-розовым. Мороз поскрипывал, как тугое яблоко в крепких ладонях мальчишки.

Настроение у Вальки было солнечное. День начинался совсем неплохо: морозные звезды в окне, черные антенны-планеры на больших домах, Андрюшка и его родители, которые, оказывается, считают Вальку своим человеком...

Валька шагал и насвистывал, хотя при морозе это довольно трудно.

На автобусной остановке галдели и веселились малыши. Человек тридцать. Наверно, первый класс. Тут же была их учительница, совсем молодая, похожая на Валькину сестру Ларису, которая училась на геолога в Ленинграде. Учительница наводила порядок:

— Иванов! И-ва-нов! Зачем ты полез в снег?! Сейчас подойдет автобус, сию же минуту становитесь в пары!.. Андреев! Коля Андреев! Кому я говорю!.. Никто не смеет выходить на дорогу — там машины!.. Малеев и Ковальчук никуда не поедут, а немедленно пойдут домой, если не перестанут толкаться. Никуда не отходите... А где Новоселов? Новоселов Игорь!

Новоселова Игоря не было. Едва наметившиеся пары опять рассыпались.

— Ребята, кто его последний раз видел? Тише, отвечайте по порядку! Ой, да замолчите же вы!

— Шичас прыдет,— пробубнила толстая девчонка, до носа закутанная шарфом.— Он шкоро...

— Вон он идет! Вера Павловна, вот он!

— Ура, Новосел!

Валька оглянулся, охнул и остановился. Если бы он был девчонкой, то, наверно, завизжал бы от восторга. Новоселов был просто великолепен! Рыжая ушанка сидела на его голове удивительно лихо — боком. Она сползла ему на левую бровь, а с правой стороны открывала лоб. Одно ухо шапки торчало в сторону, как у веселого щенка, и пружинисто подпрыгивало. Шарф распустился и лежал на плечах широким зеленым кольцом. Тонкая шея Новоселова торчала из расстегнутого мохнатого воротника, словно из грачиного гнезда. На круглом лице его было написано блаженство. Осторожно нес он перед собой распечатанное эскимо. Через каждые два шага Новоселов радостно жмурился и розовым языком касался шоколадного бока. Он держал мороженое голыми пальцами, а пришитые к рукавам варежки раскачивались на тесемках, как маятники.

Вот схватить бы сейчас карандаш, встать бы с альбомом в тень, за выступ дома... Вот был бы рисунок! Даже название придумалось сразу: «Нарушитель».

«Ну ладно,— подумал Валька.— Я его запомню, а дома сяду за рисунок».

А у Веры Павловны Новоселов радости не вызвал. Наоборот.

— Это что же такое?! В такой мороз! Кто тебе разрешил? Новоселов, перестань сейчас же! Где ты был? Я кому говорю!

Но бронебойная очередь запрещений и вопросов не задела Новоселова. Он приближался все так же медленно и молча. Остановился.

— Где ты его ухитрился купить?— отчаянным голосом спросила Вера Павловна.

Новоселов махнул в сторону «Гастронома»:

— Тама...— Один глаз его был в тени шапки, а другой, синий и блестящий, преданно смотрел на учительницу.

— Не смей есть мороженое! Ангину хочешь получить?

— Не бросать же теперь уж,— рассудительно заметил Новоселов и нахально откусил почти полпорции.

В толпе заныли:

— Новосел, обжора...

— Дай лизнуть...

Новоселов щедрым жестом, не глядя, протянул эскимо. Оно прошло по рукам, как эстафетная палочка.

— Вера Павловна, вам оштавить?— пробубнила закутанная девчонка.

— Оставьте меня в покое, мучители,— скорбно сказала Вера Павловна.

Валька засмеялся и зашагал вдоль чугунной заиндеветшей решетки газона.

Парикмахерская находилась на улице Павлика Морозова. Последний раз Валька был здесь в середине сентября. Моросил серый дождик, а к зеркальной витрине парикмахерской прилипли желтые березовые листья. На громадном стекле витрины белели надписи: «Мужской и женский зал. Стрижка, перманент, окраска волос, бороды и усов. Маникюр». Кроме того, там был изображен лупоглазый красавец с аккуратным пробормом.

Но вот что значит не стричься три месяца! Оказалось, что за это время парикмахерская исчезла.

Не было синей вывески. Пропали белые надписи. Над знакомой дверью блестели незнакомые слова, составленные из трубчатых стеклянных букв:

МОЛОДЕЖНОЕ КАФЕ «БРИГАНТИНА»

А в витрине Валька увидел натянутый на раму холст, на котором был изображен масляными красками грузный трехмачтовый парусник. Очевидно, художник считал, что это и есть бригантина.

Валька не успел даже удивиться и подосадовать, что парикмахерской нет на старом месте. Парусник сразу привлек его. Не красотой привлек. Наоборот. Это была какая-то баржа, к которой добавили мачты с раздутыми, как пузыри, парусами. Видимо, художник разбирался в парусах, как Валька в кибернетике.

Оставалось пожать плечами и пойти на поиски другой парикмахерской.

А Валька стоял.

Все-таки картина чем-то привлекала. Было в ней среди разных нелепостей что-то верное и хорошее.

Что?

Не мог Валька понять.

Художник знал какой-то секрет, а Валька не знал.

Он зажмурился, подождал несколько секунд и широко распахнул ресницы. Нет, не помогло. Трехмачтовый парусник берег свою маленькую тайну.

Валька отвел глаза и тихонько плюнул с досады. Его прозрачное отражение в стекле тоже плюнуло и сморщилось. Валька глянул на него сердито. И тут заметил еще одно отражение — девушку в вязаной шапочке и в пальто с воротником, похожим на меховой калач.

Шапка и пальто были незнакомыми, а лицо — знакомым. Оно смотрело из стекла на Вальку весело и слегка удивленно.

— Ой, здравствуйте! — сказал он и обернулся.

— Здравствуй, — сказала она. — А я иду и вижу: кто-то знакомый на себя любит.

Валька немного смутился.

— Я не на себя. Вот на него. — Он кивнул на парусник.

— Нравится?

— М-м... — Валька сморщил нос и помотал головой.

— Почему? А по-моему, ничего.

— Неправильно нарисовано, — сказал Валька. — Смотрите, написано: «Бригантина». Разве бывают трехмачтовые бригантины?

— Честное слово, не слыхала, — призналась она.

— Они всегда двухмачтовые, — объяснил Валька. — Бригантина — значит шхуна-бриг. На фок-мачте прямые паруса, на гроте — гафельный. И топсель. А стакселя! Они так никогда не раздуваются. Они же крепятся на штагах, а штаги...

Валька замолчал, потому что увидел: она смеется. Смеется и поднимает руку, словно хочет защититься от него вязаной варежкой.

— Бегунов, пощади! Я же ни капельки не понимаю...

Валька на секунду растерялся. Чтобы как-то закончить разговор, он пробормотал:

— В общем, это, наверно, трехмачтовый барк, — и рассмеялся. В самом деле получилось смешно.

Она сказала:

— Верю вам, капитан. Но... тебе в какую сторону?

— Хоть в какую. Мне одинаково.

— Я живу на Пушкинской.

— По пути,— соврал Валька. Почему-то ему не хотелось прощаться. Но о чем говорить, он тоже не знал и шагал, молча глядя под ноги.

— Кажется, подорвала я свой авторитет, да? Учительница географии — и не знает, какие паруса на бригантине. Стыдно.

— Что вы...— неловко утешил Валька.— Это же обязательно. Паруса — это раньше было...

— Ну, не скажи,— возразила она.

Они свернули на улицу Качалова. Навстречу потянул ветер. Не сильный, но обжигающий лицо. В нем были миллионы игольчатых невидимых льдинок.

— Ой, я подниму воротник,— услышал Валька.— Подержи, пожалуйста, сумку.

Сумка была совсем не зимняя. Из белой клеенки с крупными черными кольцами. С такими летом ходят на пляж. Какой-то увесистый груз распирал клеенку острыми углами.

— Вот и все. Давай ее...

— Я сам буду нести,— сказал Валька.

— Она ведь тяжелая.

— Ну и что?.. И не тяжелая нисколько.

— Есть еще «лыцари на Украине»,— улыбнулась она.— Впрочем, неудачное сравнение. На Украину здесь не похоже, верно?

— А вы были на Украине?

— Только в Крыму. На раскопках в Херсонесе. Когда училась.

— Я думал, вы там жили,— сказал Валька.

— Почему? Разве я похожа на украинку?

Валька замялся

— Нет... Не знаю. Только имя.

— А-а... Это дедушка виноват. Интересный был дедушка. Гоголя любил ужасно. Папу в честь Гоголя Николаем назвал, а когда я появилась, стал просить: пусть будет Оксана. Вот и получилась Оксана Николаевна Галина. Деду на радость, ученикам на горе.

— Не на горе,— сказал Валька.

Дальше целый квартал они шагали молча. У Валь-

ки мерзли пальцы, и он часто перехватывал сумку из руки в руку.

— Понесем по очереди, — предложила Оксана Николаевна.

— Нет, я сам.

— Все-таки она тяжелая. Там две пары коньков с ботинками.

— Разве каток уже открыт? — удивился Валька. — Ведь рано.

— Я не с катка. Я от товарища, — сказала она. — Это мой бывший одноклассник. Знаменит тем, что великолепно точит коньки. Раньше мы к нему даже в очередь записывались. Важничал он ужасно. Объявлял часы приема.

Валька засмеялся:

— А сейчас?

— Сейчас у него всего два заказчика: я и Сережа, мой брат.

— Брат? — почему-то удивился Валька.

— Да, братишка, — сказала она. — Мой оруженосец. Мы с ним вместе на каток ходим.

— Наверно, большой уже... — полувопросительно заметил Валька.

— Да нет... То есть, конечно. В четвертом классе. Кстати, в нашей школе учится.

Они опять замолчали. Хруп-хруп, хруп-хруп — скрипели на снежном тротуаре подошвы.

— Оксана Николаевна, — осторожно заговорил Валька, — а тот вопрос... не решился?

— Какой вопрос, Бегунов?

— Про классного руководителя. Вы у нас не будете?

— Ну что ты! У меня уже давно шестой «А».

— У-у, — сказал Валька.

— Вы разве не знали?

— Ничего мы не знали... А в шестом «А» все жулики. Они, говорят, у нас пять кило цветного лома свистнули, — сказал Валька. — Вы с ними наплачетесь.

— Ну, Бегунов! — воскликнула она и начала смеяться. Смех вырывался из-под воротника клубочками пара.

Валька не улыбнулся.

— А чем у вас в классе плохая жизнь? — спросила Оксана Николаевна уже спокойно. — Вами же сама Анна Борисовна занимается.

- Она занимается,— сказал Валька. .
- А что?
- Ничего,— вздохнул Валька.— Занимается...
- Она очень опытный педагог.
- Ага,— сказал Валька.
- Вы, по-моему, просто не хотите ее понять.
- Наверно,— сказал Валька и отвернулся.

Они проходили мимо большого магазина. За широкими окнами продавщицы развешивали гирлянды елочных шаров. В одной из витрин девушка в синем халатике прилаживала ватную бороду молодому симпатичному манекену: превращала его в деда-мороза. Манекен терпел и натянуто улыбался.

— Бегунов... Да, послушай. Я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Вернее, не помню. В школе всегда почему-то по фамилиям. Нехорошо.

— Валька, Валентин... ну, или Валя.— Он поморщился.

Оксана Николаевна улыбнулась.

— «Валя» не звучит, да?

— Меня все Валькой зовут. Лучше.

— Ты любишь рисовать, да?

Валька быстро сказал:

— Откуда вы знаете?

— Ну... ты так рассматривал картину... Говорил о ней...

Валька пожал плечами.

— Я просто хотела узнать, как ты относишься к урокам рисования. У вас ведь новый учитель.

— Чер...— Валька чуть не сказал «Чертежник». Так все звали нового учителя, потому что в старших классах он вел черчение.— Юрий Ефимович. Он недавно.

— Ведь он должен быть вашим классным руководителем.

— Хорошо! — оживился Валька.

— Постой. Разве Анна Борисовна вам не говорила?

— Не говорила.

— Странно... Может быть, он не согласился...

Валька насторожился:

— Почему?

— Видишь ли, честно говоря, он педагог молодой. Он хороший художник, но в школе недавно. А вами даже Анна Борисовна недовольна.

«Далась ей Анна Борисовна!» — подумал Валька

— Чем она недовольна? — буркнул он.

— Ну, вам лучше знать... В общем, я, кажется, зря тебе сказала.

— Думаете, я болтать буду? — обиделся Валька. — Никому я ничего не скажу.

— Хоть огнем жги? — улыбнулась она.

— Боль резко толкнулась в палец.

— Кто меня будет жечь огнем? — хмуро сказал Валька.

— Да, пока наоборот. У тебя от мороза нос побелел. Самый кончик.

Валька отогревал правую руку в кармане. Он не стал ее вытаскивать, а поднял левую — вместе с сумкой — и начал оттирать нос кулаком. Сумка тяжело раскачивалась и толкала Вальку в грудь. Он рассердился и стал тереть сильнее.

Оксана Николаевна твердо сказала:

— Сейчас пойдем к нам. Будем пить чай и греться. С Сергеем познакомлю.

«И зайду!» — весело решил Валька. Он вдруг подумал, что никогда не видел, как живут учителя.

Оксана Николаевна жила в зеленом крупнопанельном доме на углу Пушкинской.

Они поднялись на третий этаж.

— Подожди, я возьму ключ.

Она позвонила в соседнюю квартиру. Маленькая, словно игрушечная, старушка моментально открыла дверь и покачала головой.

— Нет? — спросила Оксана Николаевна.

— Нет, Ксаночка. Не был. Заходи.

— Спасибо. Я попозже. — Она отвернулась к Вальке и огорченно объяснила: — Безобразие. Сережка не оставил ключ. Старая история.

— Может, он во дворе? — сказал Валька. — Там ребята в хоккей играют.

— Не играет он в хоккей. Такой тихоня... И растяпа, как видишь. Наверняка пошел к приятелю с марками возиться. Теперь не дождешься.

Старушка вздохнула и бесшумно закрыла дверь.

— А второго ключа нет? — спросил Валька.

— Второй ключ мама случайно увезла. Она уехала к бабушке в Кунцево... Ну, пусть он придет! Я ему устрою!

Валька всегда чувствовал себя скверно, если при нем

ругали кого-нибудь. Чтобы изменить разговор, он поспешно спросил:

— Кунцево — это где?

— Под Москвой. То есть уже в Москве, район такой. Не слыхал?

Валька покачал головой.

— Я там в школе училась, — успокаиваясь, объяснила Оксана Николаевна. — Мы все тогда считали, что Кунцево — знаменитое место. Из-за Багрицкого. Ты читал его «Смерть пионерки»?

— Нет.

— Да ну? Отличная поэма.

— Не люблю я стихи, — честно сказал Валька.

— Ну и напрасно... А что любишь? Про шпионов?

Можно было промолчать. Но тогда она подумала бы, что Валька в самом деле больше всего любит читать про шпионов.

Он тихо сказал:

— Про корабли. Про море...

— У Багрицкого очень много про море. Замечательные стихи. Он ведь одессит... Но «Смерть пионерки» мне больше всего нравится.

Чуть прищурившись и глядя мимо Вальки, она вдруг негромко сказала:

Над ботаническим садом,
Над водой озер
Двигутся отряды
На вечерний сбор.
Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

Та-та, та-та, та-та! Тра-та-та! — отдалось в Вальке. Было что-то очень знакомое в этом ударном ритме.

— А еще? — вырвалось у него.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Валька стоял и молчал. Будто слушал шаги уходящего отряда.

— Вот так, Валька,— сказала Оксана Николаевна.— Ну, а что будем делать?

— Не знаю...

— Ты уж извини. Так получилось... Звала в гости, а вышло вот что. Пойду к соседке. Буду сидеть и жаловаться на современных детей. Она это любит ужасно.

— Тогда и я пойду,— сказал Валька и протянул сумку.— До свиданья.

— До свиданья. Но ты потом заходи... А Сережке вместо катка будет сегодня мытье посуды.

«Почти как у Андрюшки»,— подумал Валька.

И остановился.

— Оксана Николаевна,— нерешительно сказал он,— вот вы на каток... и ваш брат... часто ходите?

— Ходим,— сказала она.— Ну, не очень часто, а когда время есть. По воскресеньям — обязательно.

Валька переминался с ноги на ногу.

— Хочешь с нами? — вдруг спросила она.— В самом деле, давай. С Сережкой познакомишься...

— Да нет,— сказал Валька.— Я на коньках не привык. Я на лыжах... Есть один мальчик. Один мой... знакомый.

— Твой товарищ?

— Ну... да, товарищ. Только он в первом классе. Ему коньки хотели купить, а потом забоялись одного на каток пускать...

Оксана Николаевна смотрела на него очень внимательно. Валька почувствовал себя так, будто ему велели: «Бегунов, дай дневник! Я напишу, чтобы родители пришли в школу».

Он сказал:

— Ему очень хочется на коньках кататься. Он даже ревел потихоньку.

Все так же глядя на Вальку, Оксана Николаевна ответила:

— Понятно. Знаешь, нельзя, чтобы человек ревел. Даже потихоньку. Ты меня с ним обязательно познакомь.

— Спасибо,— сказал Валька и почувствовал, что сегодня у него весь день будет хорошее настроение.— Я познакомлю. Спасибо. До свиданья!

Валька вернулся к «Бригантине». Надо было идти стричься, но он вернулся к витрине с нарисованным па-

русником, потому что тот берег в себе какую-то загадку.

«Надо смотреть внимательней», — сказал себе Валька. Но сосредоточиться не мог. Потому что думал сразу и о парусах, и о малыше Новоселове, который так и пропился в альбом, и об Оксане Николаевне. Здорово получилось: шел с учительницей, а говорил о таких вещах, о которых обычно говорят с мальчишками. Словно Валька и не ученик ее, а просто хороший знакомый. Или младший брат. Как ее Сережка...

Этому Сережке, конечно, совсем неважно, что его сестра учительница, и он зовет ее просто Оксана, и швыряет в нее снежки, когда они вместе идут на каток, и дурачится с ней. Так же, как Валька с Ларисой, когда она приезжает на каникулы.

Лариса поет Вальке хорошие песни о людях, идущих через тайгу, о кострах и звездах. Песни негромкие и чуть-чуть печальные, но смелые. А Сережке сестра, наверно, читает стихи. Хорошие стихи. Сразу запоминаются.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

— В синьке грозовой... — сказал Валька, пристально глядя на картину, и увидел вдруг, что за парусником, на горизонте, встает грозová синева. На море и на небо легла тревожная тень совсем недалекого шторма.

Соединение слов и краски сделало удивительную вещь. Вальке показалось, что картина качнулась ему навстречу.

Он увидел, что написана она вовсе даже не плохо.

Просто художник не знал, какие бывают бригантины, и выбрал парусную развалину, старое пиратское корыто. И он здорово изобразил неуклюжесть и скрипучесть этого корыта, шероховатость облупившихся бортов и тяжелую силу вздувшейся парусины.

Но еще лучше получились волны. Невысокие, пологие, они шли от горизонта прямо на Вальку. Это была зыбь, широкие водяные складки. Одной стороной они отражали еще светлое небо, а другой, обращенной к горизонту, — темноту шторма. Темнота была пробита неяркими бликами крутой и мелкой ряби, покрывавшей волны. В этом чередовании светлых и сумрачных полос заключалась главная загадка картины: казалось, что волны движутся, обгоняя и раскачивая неторопливую парусную громаду.

И Валька понял, что ему отчаянно хочется взяться за карандаш или кисть. Нарисовать корабль на оживших волнах. Свой корабль. Стремительный и легкий, настоящую бригантину. Это было желание радостное, как ожидание праздника. И Валька знал, что оно уже не исчезнет.

Оно не исчезло.

День был длинный, искристый, шумный. И весь этот день Вальку не покидала беспокойная, самая главная радость. Иногда он даже забывал, откуда эта радость, но где-нибудь на лыжном спуске вдруг снова, мгновенно и ярко, вспоминалось: «А волны! А бригантина!» И снег был ослепительно чистый, как громадный лист альбома, открытого для удивительных рисунков.

А потом пришел вечер с огнями, синевой и зеленоватым тонким месяцем среди черных антенн. Валька последний раз съехал с бугра и обессиленный бухнулся в снег.

Сашка Бестужев не сумел затормозить и налетел на него. Свалился, потерял очки и рукавицу.

— Не мог ты брякнуться в стороне? — спросил он, шаря в снегу. — Бесишься, как перед каникулами...

— Весело...

Сашка вытянул из снега очки, сунул их в карман, успокоился и произнес:

— Нечего радоваться. Завтра понедельник, а не воскресенье.

— Подумаешь, понедельник, — отмахнулся Валька и хотел промолчать, но не смог. — Вот если бы ты новую комету открыл, ты бы радовался?

— А-а... — сказал понимающий Сашка и больше не спрашивал. Наверно, стал думать о своей комете.

А Валька пошел домой, кое-как разделся и, будто подрубленный, грохнулся в кровать.

Но он уснул не сразу.

Сначала он просто закрыл глаза и вызвал свои корабли. Он устроил смотр всему флоту.

Ближе всех от берега шли маленькие парусники: одномачтовые шлюпы и тендеры; полуторамачтовые иолы и кечи. Чуть подальше скользили легкие шхуны. Потом — бригантины и бриги, большие трёхмачтовые шхуны и баркентины. А далеко-далеко, почти у самого горизонта,

громадные, как облака, двигались трех-, четырех- и пятимачтовые барки и фрегаты.

Обгоняя эскадру за эскадрой, проносились узкие клипера с невесомыми грудами удивительно белых парусов.

И вдруг из этого бесшумного хора вырвался и пошел прямо на Вальку двухмачтовый парусник с высоко вскинутым бушпритом. Круто накренившись, он почти чертил волны длинным гиком грот-мачты.

«Вот она, моя бригантина», — подумал Валька.

Но это была марсельная шхуна, потому что кроме прямых парусов она несла на фок-мачте косо́й гафельный парус.

Пологие волны шли к берегу, чередуя полосы света и тени. Сны уже наслаивались друг на друга, как прозрачные рисунки. Сквозь корабли Валька вдруг увидел маленького Игоря Новоселова, который держал целый букет эскимо и сосредоточенно думал, с какого начать.

«Не получил еще ангину?» — спросил Валька.

Новоселов заулыбался и протянул ему все порции. Но Валька не успел отказаться от щедрого подарка. Заснул.

ПАРУСА. ВАЛЬКИНЫ АЛЬБОМЫ

В среду после пятого урока Зинка Лагутина сказала:

— Бегунов, а я что-то знаю... — и хихикнула.

— Что ты знаешь? — поинтересовался Валька. Не терпел он Зинкину привычку загадочно хихикать и делать из пустяков тайны.

— Знаю, — сказала Зинка. — Ты сегодня опять сбежишь с репетиции.

— А Волга? — мстительно спросил Валька.

Она захлопала глазами.

— Что «Волга»?

— Впадает в Каспийское море? А дважды два — четыре? А колеса — круглые?

Зинка подумала и сказала:

— Не остроумно.

Валька сердито давил коленом и старался застегнуть набитый портфель.

— Анна Борисовна говорила, что если кто-нибудь на хор не будет ходить, она у того родителей вызовет, — сообщила Зинка.

— Она это каждый день говорит,— сквозь зубы ответил Валька и приналег на портфель.

Зинка опять хихикнула.

— Она говорит, что сама будет следить, чтобы никто не убежал с репетиции.

— Убегают из тюрьмы,— сказал Валька и шелкнул замком.

Зинка взглянула как-то сразу удивленно и хитро. И быстро проговорила:

— Ой, Бегунов, ой, какой ты...

— Какой?

Но Зинка уже шла к своей парте и, не обернувшись, покрутила над плечом растопыренной ладонью: такой, мол, странный...

Валька молча подхватил портфель. Зинка сказала:

— Я на хор, наверно, тоже не пойду. Лучше в кино «Выстрел в тумане». Смотрел?

— Смотрел,— соврал Валька.— Дрянь.

Он вышел в коридор и зорко глянул по сторонам: нет ли завуча? Оставаться на репетицию и разучивать песенки о зимних каникулах совершенно не хотелось. Дома Вальку ждала «Легенда океана».

Он решил назвать так свой парусник. Шхуну, которую хотел нарисовать среди бегущих волн и рваных облаков — предвестников шторма. Шхуну, а не бригантину. Марсельная шхуна лучше бригантины. Ее нижний парус на фок-мачте не заслоняет легкого и тугого переплетения снастей, и от этого все паруса кажутся приподнятыми и невесомыми. И судно выглядит стройнее.

Валька три дня думал о паруснике и не брался за карандаш. Боялся спугнуть свою «Легенду». Он знал, что так бывает: сядешь за рисунок раньше времени — и первая неудача прогонит радость.

Но сегодня Валька почувствовал: пора. Валька помчался в раздевалку.

И там он увидел Андрюшку.

Андрюшка, уже одетый, стоял у окна и скучал. Заметил Вальку и сдержанно заулыбался.

«Ждал,— понял Валька.— Целый лишний урок ждал».

Они вышли на улицу. Был теплый бессолнечный день, и на тротуары косо падал снег. Это с далекой Атлантики пришел на Урал влажный ветер, прогнал холод и принес мягкие снегопады.

— Мы уже сделали крепость,— сообщил Андрюшка.— Почти совсем.

— Угу...— сказал Валька.

— Только ты пять зубцов нарисовал на башне, а получилось четыре.

— Можно и четыре,— сказал Валька. Он думал о том, следует ли рисовать шхуну с поставленным фор-брамселем. Если близится шторм, брамсель должны убрать. Но без него парусник будет выглядеть гораздо хуже. Исчезнет его стремительность, его наполненность ветром.

«Оставляю»,— решил Валька.

В конце концов, если упущено время и шторм подошел вплотную, верхний парус не убрать даже при желании. Пока не сорвет его ветер...

— Валька...— сказал Андрюшка.— Знаешь что, Валька. Нарисуй мне костюм...

— Ага...

— Ну, Валька! Ты же не слышишь.

— Какой костюм? — Валька поморщился.

— На елку. Для утренника. Пиратский...

— Че-го?

— Пиратский костюм,— тихо повторил Андрюшка.— Как в «Острове сокровищ». Морской.

— Зачем?

— Ну для елки же,— с нажимом повторил Андрюшка.

— Да нет, зачем пиратский? Андрюшка...— И чуть-чуть Валька не брякнул: «Какой из тебя пират? Как ястреб из цыпленка». Но не сказал. Только губу прикусил, чтобы не поползла улыбка. Он представил щуплого Андрюшку в широких сапогах с раструбами, в камзоле с отворотами, в тяжелых ремнях с громадными пряжками. И пара пистолетов за поясом. И, пожалуй, черная повязка на левый глаз... Кар-рамба!

А что! Смешно, но здорово!

— Все одинаковые костюмы делают,— сказал Андрюшка.— Я сперва хотел космонавтом нарядиться, а космонавтов будет двадцать семь! А больше никак не знаю. Балериной, что ли?.. Мама сказала, что, если ты нарисуеть, она костюм сделает. А без картинки не может.

— Нарисую,— согласился Валька.— Только завтра.

— Завтра я приду. А сегодня ты занят?

— Сегодня я чертовски занят,— серьезно сказал Валька.

...Он с порога метнул в угол портфель и шагнул к столу, печатая каблуками мокрые следы. Как тугая струна, пело в Вальке радостное нетерпение. Хорошо, что на столе всегда стоят отточенные карандаши. Хорошо, что стол покрыт новым листом зеленой бумаги — еще без клякс, царапин и надписей. Первый набросок можно сделать прямо здесь.

Забыв снять пальто, Валька склонился над столом. Дотянулся до карандаша. Подумал секунду и острым грифелем вычертил гибкую линию форштевня. Мысленно он тут же продолжил рисунок до бушприта, легкого, словно вскинутое для атаки копьё. А над бушпритом — три узких парусных треугольника: бом-клинвер, кливер и стаксель...

Знания о парусах приходили к Вальке постепенно и незаметно. Отовсюду. Из книжек, где были краткие морские словари. Из журналов, где нет-нет да и мелькнет снимок учебного барка или экспедиционной шхуны. Из фильмов, где снятые на киноленту модели в точности похожи на большие фрегаты.

Все люди читают эти книги и журналы. И фильмы смотрят. Но тут же забывают сложные названия ветров, снастей и парусов. Ведь главное — приключения.

А Валька не забывал. Он никогда не видел ни моря, ни парусов, но он любил их, как другие любят музыку, стихи или цветы. И умение отличить барк от фрегата или бриг от бригадины приносило Вальке радость. Такая же радость, наверное, бывает у скрипача, если послушен и легок смычок...

Валька радовался и сейчас: знал, что рисунок даст ему много хороших минут.

Он не будет торопиться. Сначала легкими линиями наметит корпус шхуны, а потом займется волнами. Сейчас ему уже не хотелось изображать мерное движение зыби. Он вздыбит позади судна лохматый гребень, раскачает море гривастыми валами, с которых срываются хлесткие клочья пены. И по темным волнам раскидает блики от пробившегося луча.

И потом уже, над беспокойным этим морем, построит Валька легкие силуэты мачт с кружевом снастей и стремительной парусиной фор-марселя. С узкими, как клинки, треугольниками кливеров.

Валька зажмурился и увидел свою «Легенду» отчетливо, словно на фотографии. Рисуя, как с натуры.

Но Валька отложил карандаш.

Чего-то не хватало в увиденной картине. Была у этой шхуны какая-то одинокость. Слишком много волн — и слишком маленький кораблик. Летит под ветром куда-то...

Куда? Кто его ждет?

«Никто», — подумал Валька и понял, что нужен человек.

Человек, который ждет.

И берег, и волны, которые взлетают у прибрежных камней.

Но какого человека нарисовать на берегу? Взрослых рисовать он почти не умел, да и не интересуют взрослых парусные корабли. Валька нарисует мальчишку. Немного помладше, чем он сам. Мальчишку, который сидит на причальной тумбе и смотрит, как возникает из тумана и волн летящий силуэт парусника.

Возникает и проходит мимо. Как «Летучий голландец». Может быть, последний парусник на свете. Почти сказочный. Но настоящий...

Валька медленно стянул пальто. Он опять не спешил браться за карандаш — боялся спугнуть новую мысль.

«Только надо найти мальчишку», — сказал себе Валька.

Он открыл тумбочку письменного стола и оттуда, изпод старых учебников, вытащил свой альбом.

Это был не тот альбом, который Валька носил на уроки рисования. В том, в школьном, были изображены кособокие, старательно растушеванные кувшины, чучела уток, гипсовые завитки и уходящие вдаль рельсы (последний рисунок назывался «перспектива»). Под рисунками стояли отметки: четыре, четыре с минусом, очень редко пятерка, иногда тройка.

Рисовать кувшины и перспективы Вальке было лень. Кому они нужны? Учителя по рисованию (а они часто менялись) не говорили ему одобрительных слов. И никто, почти никто не знал, что Валька может на самом деле. Потому что почти никто не видел его второго альбома.

В нем Валька рисовал то, что любил: парусные корабли, фантастические города и своих друзей-малышей. Корабли и города он рисовал давно, а ребят начал позднее, но они занимали много страниц.

Валька сам не ожидал, что так получится.

В августе, когда зачастил к нему Андрюшка, Валька не думал, что это всерьез и надолго. Но проходили дни, и почти каждый из них начинался с Андрюшкиного появления. Иногда он приводил всю компанию. Шумная компания в Валькиной комнате вежливо притихала и смотрела на хозяина с почтением. «Валька, ты поможешь кирпичи притащить? Мы будем печку складывать», — говорил Андрюшка и смотрел уверенно и спокойно. Он никогда не сомневался, что Валька поможет. «Ты не знаешь, где взять во-от такой циркуль? Надо нам круг на земле начертить, мы будем цирк строить». «Валька, нарисуй нам ракету, мы ее из бочки будем делать».

Чаще всего они просили именно нарисовать. Потом по Валькиным рисункам они возводили свои сооружения: мосты через канаву, звездолеты, крепости и поезда. Не всегда это получалось, не хватало времени и материалов, и где-нибудь в середине дня Андрюшка появлялся снова. Исцарапанный, перемазанный, но спокойный и деловитый. «Валька, а если крылья сделать не из досок, а из картона?..».

Но однажды Андрюшка не появился. Прошел день, потом второй, и Валька почувствовал ревнивое беспокойство. Он прихватил альбом, будто идет порисовать на улице, и отправился с ним во двор. Вся компания дружно скакала по асфальту на одной ножке — играла в классы. Почему вдруг в августе они вспомнили эту весеннюю игру?

Вальку малыши встретили радостными криками, но прыгать не перестали.

И тут он отчетливо понял, что они, в конце концов, без него обойдутся, а он без них не может.

С тех пор Валька стал приходить к ним с альбомом. Это было очень удобно: они занимаются своим делом, а он рисует.

Иногда Валька бросал карандаш, чтобы помочь малышам в каком-нибудь трудном деле, но они не часто обращались за этим. Они очень уважали Валькину работу. И если он просил их постоять и не двигаться, они послушно замирали в самых неудобных позах.

...Валька листал альбом. Среди набросков и законченных рисунков он хотел найти что-нибудь подходящее для новой работы, для «Легенды океана». Какого-нибудь мальчишку, который сидит так, как сидят на берегу. Но очень скоро он понял, что это бесполезно. Каждый

рисунок мог быть хорош сам по себе, но не годился, чтобы его использовали для другого.

Вот «Гладиаторы»: Толька Сажин вскочил на перевернутую бочку и отбивается деревянным мечом от нападающих мальчишек. Черные брови сведены к переносице, а волосы над лбом встали торчком, как гребень у бойцовского петуха. Кажется, похоже получилось...

«Космонавты»... Все та же бочка, превращенная теперь в ракету. Четверо сидят в ней, а пятилетний Борька стоит в стороне и надулся: ему поручили руководить запуском с Земли.

«Первый снег»... Деревья и палисадники уже в пушистых оторочках, но на земле снега еще очень мало, и двое мальчишек скребут лыжами по замерзшим комкам. Это он Андрюшку и Павлика рисовал.

«Ирка и месяц»... Тонкая березка, узкий светлый месяц над ней и притихшая Иринка. Стоит запрокинув голову. В ботах, в капюшоне. Конец октября...

И еще рисунки. Летние, осенние, зимние...

Постепенно Валька перестал стесняться своей дружбы с Андрюшкиной компанией. А вот рисунки эти не показывал никому. Наверное, так же прячут свои первые стихи начинающие поэты и так же какая-нибудь девчонка никому не показывает записку с приглашением в кино, полученную от мальчишки из соседнего класса... У каждого бывает своя тайна, и каждый имеет на нее право.

Валька слишком много любви вкладывал в свои рисунки и боялся, что кто-то скользнет скучным или насмешливым взглядом и спросит: «Зачем ты возишься с этой мелкотой? Неужели охота?» А может быть, не спросит, но подумает.

Показать бы тому, кто обязательно поймет. Но кому? Учителя по рисованию менялись в школе буквально через каждые две недели, и ни один из них Вальке не нравился. Кроме последнего.

Недавно в классе появился Чертежник. Чертежником его прозвали старшеклассники, к которым он пришел немного раньше. Звали его Юрий Ефимович.

Он был высокий, русоволосый и очень молодой. Чуть сутулился, но иногда вдруг резко выпрямлялся, и тогда Вальке казалось, что на боку у него висит невидимая шпага. Говорил Юрий Ефимович, слегка запинаясь на звуке «р», и у него получалось временами вместо «риси-

вать» и «ребята» — «р-лисовать», «р-лебята». Но это даже нравилось Вальке — так же, как нравился его спокойный голос и какая-то особая точность и цепкость движений.

На первый урок Чертежник пришел с глобусом и сказал:

— Давайте попытаемся изобразить эту штуку... Только обратите внимание, что глобус — это не просто шар на подставке. Это модель Земли. Планеты. С морями, горами и пустынями... Не знаю, как вам, а мне глобус всегда напоминает о приключениях и о космосе... Короче говоря, я не буду возражать, если вы нарисуете его летящим среди комет, облаков, спутников или в окружении какой-нибудь... ну, скажем, тайны.

Класс загудел.

— Думайте, — сказал Чертежник.

Валька нарисовал тогда громадный земной шар, который восходит из-за морского горизонта. А по морю, навстречу ему, скользит высокая трехмачтовая каравелла.

Море не получилось у Вальки, да и весь рисунок был поспешным и неудачным. Но Чертежник взглянул и тихонько сказал:

— Интересно...

«Может, показать ему все?» — подумал тогда Валька. Но было страшновато. И он решил посоветоваться сначала с Сашкой.

В старших классах Сашку, наверно, будут звать Декабристом. Но пятиклассники о декабристах знали не очень много и звали Сашку просто Стужей. Фамилия у него — Бестужев.

Сашка — человек непростой. Иногда казалось, что у него до крайности веселый нрав, а иногда он становился задумчив или раздражителен. Кроме того, Сашка отличался рассудительностью в речах и небрежностью в одежде. Круглые очки у него всегда сидели «наперекосяк», руки пестрели чернильными веснушками, одна штанина казалась короче другой, а пуговицы на рубашке были перепутаны. Время от времени Сашкины родители спохватывались, отмывали его, обряжали в новый костюм какого-нибудь рижского фасона и приводили в порядок прическу. Сашка появлялся в школе — тонкий, изящный, похожий на юного скрипача. Но, верный своим

привычкам, через несколько дней он приводил себя в обычный вид, а родителей в уныние.

Валька не обращал внимания на Бестужева. А их близкое знакомство началось с короткой и сдержанной ссоры. Случилось это в начале октября, в парке, куда пятый класс ходил на экскурсию.

Бестужев был не виноват. Виноват был скорее сам Валька. Когда все разбрелись по усыпанным листьями лужайкам, Валька повесил портфель на ветку. Не хотелось таскать лишнюю тяжесть. В портфеле среди учебников лежал заветный альбом. Валька принес его, потому что надеялся порисовать в укромном уголке. Укрытых уголков не оказалось, и Валька отправился бродить по сухим шелестящим тропинкам.

А ветка в это время сгибалась и сгибалась.

Когда он вернулся к березе, портфель с отскочившим замком валялся в траве, а рядом стоял Сашка Бестужев и внимательно разглядывал Валькины рисунки.

И хотя пугаться было нечего, Валька в первую секунду испугался. От неожиданности. Потом разозлился и почувствовал жгучую обиду. Что же это такое в самом деле! На висячий замок, что ли, портфель запирать? Он шагнул к Бестужеву и очень невежливо рванул альбом. Сашка вздрогнул, и очки у него перекосились сильнее обычного. Опустившись на колено, Валька стал заталкивать альбом в портфель. Он ощущал противную дрожь, словно только что подвергся страшной опасности. Сашка неловко топтался у него за спиной. Наконец он сказал:

— Этот альбом валялся рядом с портфелем. Он все равно был открыт. Ветер перелистывал у него страницы.

— Какой любопытный ветер! — язвительно заметил Валька.

— В конце концов, тут не написано, что это твой альбом.

— Может быть, написано, что он твой? — спросил Валька и выпрямился.

Такой надписи не было, и Сашка нерешительно пожал плечами. Потом сказал:

— У тебя нервы слабые.

— Зато кулак крепкий, — с вызовом ответил Валька и понял, что брякнул глупость: во-первых, кулак не был крепким, во-вторых, драться сейчас было просто смешно и бесполезно.

Он поднял портфель и, не оглядываясь, пошел к парковым воротам.

Впрочем, на следующий день он уже почти не думал об этом случае. Вспомнил только тогда, когда поймал Сашкин взгляд. Взгляд был внимательный и немного виноватый. Валька отвернулся.

Когда Валька возвращался из школы, Бестужев догнал его. С минуту он молчал и шел, отставая на полшага. Потом сказал:

— Зря ты злишься.

— Я не злюсь,— сказал Валька. Он в самом деле не злился. Чего теперь злиться? Главное, чтобы этот очкастый, худой и почти незнакомый одноклассник не болтал всем про альбом. Но он, кажется, не болтун.— Я не злюсь,— повторил Валька.— Я только вчера разозлился. Думаешь, приятно, когда кто-то...— Он сбился. Хотел сказать «сует свой нос не в свое дело», но побоялся новой ссоры.

— ...когда кто-то любопытный лезет куда не надо,— добавил Сашка.— Я знаю. Понимаешь, я удержаться не мог. Если бы обыкновенный альбом, а то такие рисунки замечательные...

Он сказал «замечательные» так просто, что Валька сначала даже не почувствовал похвалы. И только через секунду понял, что услышал оценку. Причем отличную оценку. До сих пор почти никто не говорил Вальке, хорошо или плохо он рисует. Разве что Андрюшка и его друзья. Но им все казалось хорошо. Иногда, правда, родители видели его наброски парусников или рыцарских замков. Но, похвалив, они обычно спрашивали, выучил ли Валька уроки. Потому что карандашами сын забавляется еще с дошкольного возраста, к этому привыкли, а к тому, что он временами двойки хватает, привыкнуть трудно...

А Сашка взял и сказал «замечательные». И сразу видно, что искренне сказал.

Валька молчал. Ему и приятно было и неловко.

— Я не люблю показывать, что рисую,— наконец проговорил он.— Начинают сразу спрашивать: это как, это зачем, а это что? Ну, в общем, плохо это как-то. Не знаю...

— Я понимаю,— откликнулся Бестужев.— Ну ладно, ты не беспокойся, Бегунов. Я будто ничего и не видел. И не скажу никому никогда.

Это «никому никогда» он произнес так просто и твердо, что Валька понял: отрезано.

Валька покусал губу, покраснел и спросил:

— А тебе... вот тогда, в альбоме, что больше понравилось?

— Да все,— сказал Сашка.

На следующий день они пошли домой вместе, хотя и не договаривались заранее.

— Раньше я переулками ходил,— сказал Бестужев, но эта дорога, пожалуй, ближе.

Они жили в квартале друг от друга.

Кроме этих возвращений из школы, они редко бывали вместе. Даже на переменах разговаривали не часто. Но когда Валька остался на дополнительные занятия по немецкому, Бестужев целый час сидел в коридоре на подоконнике, ждал. А до дому идти было пятнадцать минут.

У Сашки было очень симпатичное лицо: серьезное, тонкобровое, остроглазое. Очки его не портили. Они словно отдельно от лица существовали. Когда Сашка начинал говорить о чем-нибудь серьезном, он очки снимал и, прищурившись, смотрел мимо собеседника. Словно разглядывал дальнюю мишень. Именно так он однажды сказал Вальке:

— Зайдем ко мне...

Они зашли, и Бестужев выложил перед Валькой какие-то блестящие стекла и картонные трубки.

— Вот. Завтра собирать начну,— сказал он, немного волнуясь.

— Что это?

— Да так... Вроде телескопа. Но ты никому об этом. Вдруг не получится.

Валька молча кивнул. Понял, что Сашка доверяет свою тайну в благодарность за альбом, который Валька уже показал ему.

Впрочем, он не очень верил, что Бестужев построят телескоп. Но Сашка построил.

Валька хорошо помнит, как впервые глянул в окуляр телескопа. В черном космосе среди бледных звездных точек висел светлый кружок планеты. С двух сторон от него, на линии экватора, горело по две колючих искры.

— Юпитер со спутниками,— сказал сзади Сашка.

Валька боялся вздохнуть. Юпитер медленно сползал к краю видимого кружка неба. Шумел далекий поезд, дребезжало стекло открытой форточки, и Вальке вдруг

показалось, что это сдержанно гудят громадные моторы, вращающие Вселенную.

— Ну и сила...— выдохнул он.

Но Сашка, сняв очки, сказал:

— Юпитер... Это всем известная планета.

— Ты хочешь открыть неизвестную? — спросил Валька.

Бестужев помахал очками.

— С такой трубкой планету не открыть... Но знаешь, было много случаев, когда неизвестные кометы впервые замечали любители. И даже сверхновые звезды открывали. Это точно.

Валька не знал, что такое сверхновые звезды. Он поинтересовался:

— А как ты узнаешь, открытая это комета или еще не открытая?

— Как-нибудь,— ответил Бестужев.— Когда ты берешь карандаш, ты ведь знаешь, как его держать. Ну вот. И я кое-что знаю.

— Понятно...— сказал Валька.

— Ну, и еще...— попросил Сашка.— Этот разговор о кометах... между нами.

— Никому, хоть огнем жги,— поспешно пообещал тогда Валька.

Бестужев вдруг усмехнулся.

— А тебя жгли огнем?

— Что?

— Ну, вот ты говоришь: хоть огнем жги...

— Подумаешь...— немного обиделся Валька. И чего Сашка прицепился к слову?

Сашка сказал:

— Может, слышал про Гая Муция Сцевола? Был такой в Древнем Риме, я читал. Только точно не помню. Кажется, его в плен захватили и начали пытками грозить. А он взял и положил руку в огонь. Печка там, что ли, топилась... Ну, враги сразу от него отступились.

— Ну и что? — сказал Валька.

— Я один раз попробовал палец над свечкой подержать. До десяти считал. Просто дым из ушей... А как он — всю руку?

— А Венеру видно в твой телескоп? — спросил Валька.

...Палец болит до сих пор. До скольких удалось сосчитать, Валька не помнит. Сейчас даже вспоминать не хочется: надо же было такой глупостью заниматься.

Один палец обжег, а казалось, что всей рукой держал огонь. Хорошо еще, что левая рука.

В правой — карандаш. Валька снова над листом.

ПАРУСА. АНДРЮШКА И ВЕТЕР

Сначала казалось, что рисовать будет легко. Все представлялось очень ярко: мальчик на круглой причальной тумбе, взлетевшая грива прибоя и шхуна, идущая вдоль берега... И ветер, который дует с моря. Он дует не прямо в лицо мальчишке, а немного сбоку. Лохматит волосы и треплет рубашку.

Но когда Валька взял карандаш, все оказалось в тысячу раз труднее. Он извел уже с десятков листов, но так и не смог сделать нужного наброска.

Шхуна получалась неплохо. И рваные языки прибоя над пирсом были такими, как он хотел. Но чувствовался в рисунке какой-то разнбой: парусник сам по себе, а мальчишка сам по себе. Не было между ними связи. Не было тайны и ожидания. Равнодушно как-то все выходило.

Наверно, потому, что не получался мальчишка.

Валька с ним замучился. Он привык рисовать ребят с натуры, а сейчас приходилось делать наброски «из головы». Фигурка мальчика на причальной тумбе получалась какой-то неестественной. То он выглядел слишком спокойным, то, наоборот, каким-то испуганным, то просто походил на кривобокого уродца.

А надо было, чтобы он волновался, ждал и радовался, чтобы все это чувствовалось в том, как он сидит, в его повороте головы. Ведь лица у него не видно: он спиной к зрителю.

Не получалось.

До сих пор все было легче. Втайне Валька даже гордился своим умением рисовать. Тонкими четкими штрихами он мог точно и выразительно передать на бумаге то, что видел, а иногда и то, что придумал. Но сейчас надо было показать в рисунке не просто корабль и мальчишку. Надо было показать чувство. И умения не хватило.

Измученный и злой, забывший об уроках, Валька вспомнил, однако, что вот-вот придет Андрюшка, которому обещан эскиз маскарадного костюма. В Валькиных

переживаниях Андрюшка не виноват, а костюм ему очень нужен.

Валька взял новый листок и за пять минут изобразил отчаянного пирата в испанской косынке, в сапогах с отворотами, в камзоле и с кортиком. Этот рисунок не требовал особого вдохновения.

Андрюшка словно только и ждал, когда Валька кончит. Он постучался и, сбросив у порога валенки, мохнатым шаром вкатился в комнату.

— Получай,— сказал Валька.

Андрюшка взял листок осторожно, как Почетную грамоту. Несколько секунд он смотрел серьезно и внимательно, потом заулыбался.

— Годится? — спросил Валька.

Андрюшка кивнул, не отрывая глаз от рисунка.

Он стоял без шапки, и голова его с тонкой шеей и взъерошенными волосами четко рисовалась на фоне яркого окна.

— Андрюшка...— осторожно сказал Валька.— Ты бы снял свою шубу, а?

Андрюшка послушно скинул шубенку и повесил на ручку двери. Потом вопросительно глянул на Вальку. Валька спросил:

— Ты когда-нибудь слышал о «Летучем голландце»?

— Корабль такой...— нерешительно сказал Андрюшка.

— Ага... Ну ладно. Ты вообще видел парусные корабли?

— В кино.

— Андрей...— Валька посмотрел на него почти жалобно.— Ты мне поможешь, ладно? Мне надо нарисовать одну вещь... Понимаешь, тебе ничего не надо делать, только сесть на табуретку и подумать, будто на берегу моря сидишь. На такой чугунной тумбе...

— Я знаю, они кнехтами называются,— оживился Андрюшка.

— Точно! Сможешь? Будто ты сидишь и видишь, как у берега корабль идет. Красивый, парусный...

— Ладно,— сказал Андрюшка,— я посижу. А на море шторм?

— Почти.

Валька принес из кухни круглую табуретку и усадил Андрюшку у стены, спиной к себе.

Неизвестно, представил ли Андрюшка море и корабль.

Может быть, он просто был благодарен Вальке за эскиз костюма. Но он старался. Он опустил одну ногу, а вторую поставил на сиденье и обнял колено. Потом чуть подался вперед, изобразил внимание.

В первый момент Вальке показалось, что все теперь как надо. Он схватился за карандаш и набросал уже на листе Андриюшкину голову, как вдруг заметил, что дальше рисовать не стоит. Андриюшка сидел в неудобной каменной позе, будто на шатком заборе.

— Ну что ты как деревянный...

Андриюшка шевельнулся и устроился поудобнее. Но теперь у него топорщилась куртка, а голова ушла в плечи. И вообще в своем лыжном костюме он казался сейчас толстым и неуклюжим.

— Какой-то мешок, только уши торчат,— не выдержал Валька.

Андриюшка виновато покрутил головой. Он, видимо, очень хотел помочь Вальке. Но как?

— Может, курточку снять? — спросил он.

— Точно... Хотя нет... Послушай, Андриюшка, у тебя ведь был летом моряцкий костюм. С воротником. Он и сейчас есть?

— Есть,— сказал Андриюшка не очень уверенно.— Только где? Надо в шкафу поискать... В нем будет хорошо, да?

— Еще бы! — сказал Валька. Он представил, как заплещет под ветром синий воротник. А ветер сделать нетрудно. Есть старый верный вентилятор, который служит семье Бегуновых много лет.

— Тогда я схожу,— предложил Андриюшка. Наверно, были у него свои дела, тоже важные и интересные, и в голосе его уже не слышалось прежней готовности. Но все-таки он оделся и снова сказал: — Я схожу. Я скоро.

Валька отыскал вентилятор. Разбуженный от зимней спячки, вентилятор загудел сонно и недовольно, а потом рассердился и раскрутил в комнате такой вихрь, что все Валькины листы взмыли со стола к потолку.

— Тебя бы на самолет вместо пропеллера,— сказал ему Валька.

Хлопнула дверь, и в коридоре послышалась возня. Это Андриюшка стягивал свои зимние доспехи.

Он шагнул в комнату будто прямо из июльского дня. Легонький, тонконогий и словно сразу же подросший. Видно, он и в самом деле подрос за осень: мат-

роска стала коротка и выбивалась из-за пояса, а руки смешно торчали из синих с белыми полосками обшлагов.

— Вот...— стесненно сказал Андрюшка и поежился.

Валька понял его: отвыкший от лета, Андрюшка чувствовал себя неловко и зябко при холодном свете замерзших окон и при этом вихре, который гулял по комнате.

Валька выключил вентилятор и бодро сказал:

— Ну, ты отлично выглядишь! Давай садись. Я тебя долго мучить не буду. А ветер я сделал нарочно, чтобы как на море.

— Хороший ветер,— заметил Андрюшка и повеселел.

Он опять устроился на «кнехте», а Валька послал на него шуршащий воздушный вихрь. Воротник рванулся и захлопал, как синий флаг.

Андрюшке не сиделось спокойно. Он ворочался, двигал локтями, крутил головой, не мог поставить как следует ноги. «Что ты крутишься, как флюгер!» — чуть не сказал Валька. Но не сказал, а схватил карандаш и легкими длинными штрихами начал набрасывать Андрюшкину фигурку. Одну, вторую, третью. Скорей, скорей!

Это самое лучшее, что можно сделать. Пусть Андрюшка вертится, а он будет рисовать. Потом он выберет, что нужно. Так же, как на киноленте выбирают лучший кадр для фотоснимка...

Первый набросок был совсем неудачный: голова вскинута, сам Андрюшка подался назад, локти растопырены и колено торчит из-под руки острым углом. Остальные были лучше, но и они казались не очень хорошими. И Валькин карандаш метался по бумаге еще и еще.

Для Вальки время летело. А для Андрюшки оно, видимо, тянулось до ужаса медленно. И он не выдержал наконец:

— Валь, сколько уже на часах?

Была половина пятого. День за окнами начал синеть.

— В пять по телевизору мультик будет,— нерешительно высказался Андрюшка.

Валька устало выпрямился:

— Ладно. Хватит. Беги смотреть телевизор.

— Получилось у тебя?

— Да. Спасибо, Андрюшка.

На самом деле он не был уверен, что получилось. Белый лист ватмана пестрел Андрюшкиными фигурками, но ни про одну из них Валька не мог сказать: «Это та»

Когда Андрюшка ушел, Валька взглянул на листок снова. Внимательней и спокойней.

И удивился.

Первый набросок вдруг показался ему удачнее всех. Именно здесь Андрюшка выглядел очень живым. Словно что-то увидел он над собой, вверху, и, чуть откинувшись, смотрит с удивлением.

«Шхуна!» — вдруг понял Валька. Шхуна подошла к самому берегу, и мачты ее кажутся Андрюшке высокими, как старые сосны.

Но парусники не подходят в берегу так близко при волне и ветре. Это же смертельно опасно!

И все-таки пусть подойдет. Пусть шхуна возникнет у самого берега, выйдет из влажного тумана и нависнет парусами над изумленным мальчишкой... А потом, накренившись влево, уйдет вдоль берега в штормовую мглу. На то она и легенда океана.

Пусть паруса и мачты займут почти весь рисунок и станут громадными. И не темными они будут, а светлыми, почти белыми на фоне рваных облаков и свинцовых волн.

Валька сгреб со стола все листы и вытащил альбом. Теперь можно было рисовать уже в альбоме.

А когда-нибудь позже Валька напишет акварелью большую картину.

ПАРУСА И ЖЕЛЕЗО. ВЕЧЕР

На альбомном листе рисунок получался просто здорово. Вернее, начал получаться. Все выходило так, как Вальке хотелось. И чтобы не спугнуть удачу, он решил не торопиться, закончить его потом. Завтра или послезавтра.

Валька взглянул на тонкие мачты, на мальчишку со вздыбленным воротником матроски, улыбнулся им, как живым. И прикрыл альбом.

Было уже около восьми часов. Мама и отец давно пришли с работы, но Вальке не мешали. В соседней комнате они вели долгий разговор о том, что, получив зарплату, необходимо купить Вальке новое пальто, недорогое, но хорошее, потому что старое уже совсем...

— Не надо пальто. Купите лучше транзистор, — подал голос Валька. Транзистор ему был абсолютно ни к чему, просто захотелось подурчиться.

— Еще не легче,— откликнулась мама, и после этого за дверью наступило молчание. Оно было негодующим и укоризненным.

— Хорошие такие транзисторы продаются,— жалобно сказал Валька.

— Совершенно не понимаю эту современную моду! — возмутился отец.— Таскать на животе громкоговорители и оглушать улицу разными твистами!

— Лучше бы вспомнил, на что похоже твое пальто,— вмешалась мама.— Ты в нем на беспризорника похож. У других дети как дети. Вот Саша приходит — посмотреть приятно...

Пришел Сашка, и Валька захотел, чтобы родители выглянули из своей комнаты и посмотрели. Пальто на Бестужеве сидело каким-то удивительно перекошенным образом, верхняя пуговица висела на ниточке, а шапка лихо съехала на левый бок. При этом Сашка сохранял невозмутимый вид.

Валька оглянулся на дверь. Родители понизили голоса и не показывались. Жаль. Но не звать же их, чтобы нарочно посмеяться над Сашкой.

Бестужев сел верхом на стул, поискал в кармане платок, не нашел и шапкой начал протирать запотевшие очки. Он был явно не в духе. Наверно, облачное небо помешало его астрономическим наблюдениям.

— Разденься,— сказал Валька.

— Не буду. Я сейчас пойду. Что по немецкому задано? Я не записал.

— Завтра нет немецкого. Завтра математика, русский, рисование...

— Да знаю я, он послезавтра. А когда готовить? Завтра опять металлолом собираем. Забыл?

— Какой еще металлолом? — недовольно сказал Валька.

— Обыкновенный. Такой же, какой в субботу собирали, когда ты не пришел.

— И не приду,— буркнул Валька.— Надоело уже до зелени в глазах. Одно и то же...

— Ну и дурак,— отрезал Бестужев.— Вот обскочет нас пятый «Б», кому лучше будет?

— А кому хуже?

— Нам хуже.

— Почему?

— Что ты из себя глупого балбеса изображаешь? Валька подумал, что умных балбесов не бывает, но вслух повторил:

— Ну, скажи почему?

— Потому что соревнование,— устало сказал Сашка.

— Очень полезное соревнование. Консервные банки ищем. А на пустыре за Андриюшкиным домом старый башенный кран валяется. Разобрали и бросили. Он уже полгода ржавеет. Уже в газете писали. А потом говорят: нужен металл.

— Нужен,— сказал Сашка.

Вот и поговори с ним. Валька даже разозлился.

— Ну и ройся в свалках, если нравится.

— Нравится. По крайней мере весело. Не то что одному дома торчать.

— Кому что...— сказал Валька.

— Конечно. Только могут подумать, что кое-кто плюет на весь отряд.

— Отряд...— сказал Валька. Даже без насмешки. С грустью.— При чем здесь отряд? Просто пятый «А». Даже барабана нет...

— Вот горе-то!

— «Кто не придет на сбор, пусть без родителей в школу не является»,— голосом Анны Борисовны произнес Валька.

Сашка промолчал. Что уж тут скажешь.

— А Равенков ходит как фельдмаршал. «Встать! Сесть! Смирно!» Думает, если в военное училище собрался, значит, уже полководец... Вот у нас в лагере был вожатый сводного отряда...

— И пятнадцать барабанов,— вставил Сашка.

— Девятнадцать,— сухо сказал Валька и в упор посмотрел на Бестужева.

Сашка опустил глаза.

— Вожатый у нас так себе,— согласился он.— Только я не про него, а про ребят говорю. Они-то чем плохие?

— А я разве сказал — плохие?

— Не сказал. Только они идут железо таскать, а ты дома рисуешь.

— Рисую,— с вызовом сказал Валька.— Когда каток заливали, я не рисовал, а работал, хоть у меня и коньков-то нет. А ерундой заниматься мне неохота. Жестянки собирать. А кран лежит и ржавеет. Сколько в нем тонн? Пусть сперва его переплавят, а потом банки.

— Переплавят и кран и наши банки. И между прочим, парусные корабли сейчас тоже строят из железа. И даже десяти кранов на один корабль не хватит.

— Между прочим, не строят. Из железа не строят. Раньше строили, уже давно. Были стальные барки. А сейчас баркентины с деревянными корпусами.

— Не верится что-то.

— То, что у кометы голова из ледяных глыб, тоже не верится. А я ведь не спорил, когда ты говорил.

Сашка молчал.

— Я тебе говорю не о кометах, а о тебе,— наконец возразил он.— А ты все виляешь.

— Не надо обо мне много говорить,— тихо сказал Валька и с тревогой почувствовал, что Сашка ему неприятен.

— Хорошо,— сказал Сашка тоже тихо и спокойно.

Валька выволок из угла портфель и вытряхнул на стол тетрадки и книги. Только так можно было достать из набитого портфеля дневник.

— Вот запиши, что задано...

— Спасибо, не надо.

Неужели Сашка обиделся? Впрочем, это его дело. Валька не виноват. Он сказал:

— Как хочешь.

— Поздно уже,— объяснил Сашка.— Не успею сделать. Потом спишу у кого-нибудь.

— Ну смотри...

— Смотрю.— Сашка снова зевнул.

И Валька почувствовал, что за этим пустым разговором прячется и растет у них обида друг на друга. Надо было сказать что-нибудь хорошее. Может быть, смешное. Поскорее разогнать обиду. Но что сказать, Валька не знал. Потому что подъемный кран действительно ржавеет на пустыре, у баркентин деревянные корпуса, а Равенков строит из себя фельдмаршала. И, кроме того, у Сашки было такое лицо, что говорить хорошие слова не хотелось. Казалось, они отскочат от Бестужева, как ягоды рябины от гипсовой статуи (осенью в школьном сквере мальчишки стреляют ими из трубочек).

Сашка встал.

— Пойду.

— Я запру за тобой дверь.

Он вышел за Бестужевым в сени в одной рубашке, и холод сразу ухватил его в крепкие ладони.

Сашка замешкался у порога.

— Не копайся,— ворчливо сказал Валька.— Вон какой холодюга.

— Придешь завтра? — вдруг спросил Сашка, словно не было долгого разговора.

— Железо собирать?

— Железо.

«Видно будет»,— хотел сказать Валька. Или можно было ответить: «Завтра и поговорим». Но Вальке показалось, что Сашка заранее готов услышать этот ответ и снисходительно улыбается в темноте. А тут еще этот холод.

— Я сказал: не приду.

Сашка и в самом деле, кажется, улыбался. Он спросил уже с крыльца:

— А якоря у деревянных баркентин тоже деревянные?

— Отвяжись ты...

— Отвязаться — это пожалуйста.

Снег закрипел под его ботинками. Валька хлопнул дверью.

В комнате он начал дрожать от запоздалого озноба. Так часто бывает: попадешь с мороза в тепло и начинаешь вибрировать, как стиральная машина.

— Бегаешь раздетый, а потом трясется,— сказала мама.— Попробуй только заикнуться завтра, что у тебя температура.

Валька сердито промолчал.

— Не трогай его,— сказал отец.— Он поссорился с Сашкой и теперь будет тихо рычать весь вечер. Вон как дверью ахнул. Я думал, потолок рухнет.

— Не рухнет. Мы не ссорились, а просто поспорили.

— Хорошо хоть, что так по-джентльменски. В наше время споры больше кулаками решались.

— Чему ты учишь ребенка! — сказала мама.

— В наше время...— буркнул Валька. Представить, что они с Сашкой раздерутся, он просто не мог. Даже при самой смертельной ссоре они разговаривали бы тихо и спокойно.

А сейчас была ссора? Валька не мог понять. Может, и была, но он не чувствовал особого беспокойства. Завтра все равно они забудут этот спор, потому что придет новый день с новыми делами. Можно, в конце концов, сходить на сбор металлолома, раз уж Сашка так уце-

пился за это. Найдут они какое-нибудь старое корыто и с победным грохотом поволокут по улицам... Все будет хорошо. Не может быть плохо, потому что наконец у Вальки начал получаться рисунок с марсельной шхуной. Когда у человека есть радость, она не оставляет места для глупых огорчений...

— А уроки ты сделал? — услышал Валька мамин ежевечерний вопрос.

— Почти, — уклончиво ответил он и сел писать упражнение по русскому.

АНТИЦИКЛОН. ДЕНЬ

Перед тем как уснуть, Валька услышал пронзительный голос ветра. Даже здесь, в тепле, чувствовалось, что ветер ледяной и резкий. Это примчался антициклон, который зимой вторгается на Урал из Арктики и свищет вдоль хребта.

Ветер не успокоился к утру. Жесткие струи воздуха хлестали вдоль улиц, гнали по асфальту змейки колючего снега. Заледенелые ветки мертво стучали друг о друга.

Валька бежал в школу, прикрывая лицо портфелем. Но когда он свернул к школе, портфель опустил. Ветер теперь дул в спину, а впереди в три ряда горели желтые квадраты школьных окон.

Валька любил эти окна. Любил за теплый свет в морозной синеве утра, за то, что они обещали шумный день, встречу с ребятами, с Сашкой. А если школьный день приносил огорчения, на завтра Валька забывал об этом, и окна школы снова казались ему приветливыми и радостными.

Сегодня Валька особенно спешил. Хотелось поскорей укрыться от злого ветра, окунуться в тепло и веселый шум школьных коридоров.

Он влетел с разбегу в вестибюль и наскочил на Петьку Лисовских. Большой, грузный Петро ухватил Вальку за воротник и голосом Анны Борисовны произнес:

— Бегунов! Бе-гунов! Мне надоело повторять, что по школе следует ходить спокойно. Кстати, почему ты опять не был на репетиции хора?

— Отчипысь, — сказал Валька.

Лисовских отпустил его и пригорюнился:

— Валь, ты мне подскажешь сегодня? Она меня обя-

зательно вызовет разбор предложения делать, и я опять заплюхаюсь. А мне надо «пару» исправлять.

— Подскажу, только слушай как следует, а то прошлый раз я — одно, а ты — другое.

— Туговат я на ухо-то,— сокрушенно сказал Петро

— Взял бы да и выучил этот несчастный разбор,— заметил Валька.

— Так я же лодырь,— печально произнес Петро.— Лодырь и неразвитый тип. Мне бы во второгодники... Валька засмеялся и пошел раздеваться.

Все время он искал глазами Сашку, но того не оказалось ни в коридоре, ни в классе. Бестужев пришел перед самым звонком. Мельком и равнодушно глянул на Вальку и заспешил к своей задней парте. Не будь вчерашнего спора, Валька не обратил бы на это внимания. Но сейчас он слегка встревожился.

Русский был первым уроком. Анна Борисовна медленно оглядела стоящих ребят и вздохнула:

— Садитесь.— Она всегда вздыхала в начале урока.— Кто дежурный? Подберите на полу бумагу. Неужели вам приятно начинать урок, когда столько мусора в классе?

Валька не был дежурным, но клочок бумаги валялся у его парты. Валька поднял бумажку и сунул в карман.

— Неужели нельзя было прибрать в классе до прихода учителя? — сказала Анна Борисовна.— Не класс, а мученье. Я, между прочим, с тобой разговариваю, Бегунов. Ты вообще последнее время разболтался что-то. Школьные мероприятия не для тебя: на хор ты не ходишь, правила поведения, видимо, тоже считаешь лишними. Убрать класс перед уроком для тебя тяжелый труд.

Валька встал. Объяснять, что не он сегодня дежурит, было как-то нехорошо: будто ябедничаешь на другого. К счастью, в дверь постучали, и в класс шагнул высокий молодежавший десятиклассник. Ребята встали.

— Интересно, почему Лисовских не считает нужным вставать, когда входит вожатый? — поинтересовалась Анна Борисовна.

— А я не пионер,— сообщил Петро.

— Но все равно — Валерий твой старший товарищ...

— Какой он мне товарищ,— сказал Петро.— Он нашей Галке товарищ, они каждый день вместе на каток бегают. А я ему не пара, двоечник и бездельник...

— Наконец-то ты это понял.

Вожатый Валерий Равенков молча ждал, когда кончится разговор. Потом повернулся к завучу:

— Извините, Анна Борисовна, я помешал. Только одно объявление. Вы, ребята, садитесь.

— Говори, говори, Валерий.— Голос Анны Борисовны заметно потеплел.

— На сегодня был назначен сбор металлолома. Из-за холодной погоды отменяется. Вместо этого члены редколлегии после уроков в пионерской комнате выпускают фотомонтаж. В семь часов вечера совет дружины: о подготовке встречи Нового года. У кого есть предложения и планы, приходите. Все,— отчеканил Равенков.

— А Галка с тобой на семь тридцать в кино собиралась,— ленивым голосом произнес Петро.

По классу пронеслись смешки.

Равенков медленно оглядел всех.

— Я хожу в кино и на каток с Галей Лисовских,— отчетливо сказал он.— Это знают все. Что здесь смешного?

Класс притих.

— Дикари,— усмехнулся Равенков.

Когда он скрылся за дверью, Анна Борисовна развернула журнал и объявила:

— А сейчас Лисовских пойдет к доске и напишет предложение...

К удивлению всех, Петро сделал разбор почти без ошибок. И без подсказок. Несколько раз, правда, он вопросительно смотрел на Вальку: «Так?» — «Так», — отвечал Валька глазами.

— Ну что же,— сказала Анна Борисовна.— Если бы всегда так, то жить еще можно. Тройку я тебе поставлю твердую... Пожалуй бы, четверку поставила, если бы ты раньше так не плавал.

Лисовских подумал и спросил:

— Вы мне за сегодня или за раньше отметку ставите?

Анна Борисовна глянула на него с подозрением.

— Может быть, ты недоволен? Может быть, поучишь меня, как ставить отметки? Или вообще хочешь сесть на мое место?

— Упаси господи,— серьезно сказал Петро.

Ребята засмеялись. Анна Борисовна подумала и тоже рассмеялась. Потом сказала:

— Распустились вы, голубчики. Ну ничего, скоро

придет новый классный руководитель, он вас возьмет в узду.

— А он кто? — спросил Сережа Кольчик.

— Когда спрашиваешь, надо поднимать руку, — сказала Анна Борисовна.

Руку поднимать Кольчик не захотел, и вопрос остался без ответа.

День бежал быстро. Синева за окном сменилась солнечным блеском холодного дня. Антициклон выскоблил небо, и казалось, что солнце он начистил проволоочной щеткой — так оно сияло.

Сашка на переменах не подходил. Было непонятно, дуется он или просто занят своими делами. Во время уроков несколько раз Валька оглянулся, но Бестужев смотрел в тетрадь и не ответил на его взгляд. «А, ерунда, — решил Валька. — Домой все равно пойдем вместе...»

После русского была история, потом математика. Валька не любил этот урок, но любил учителя Матвея Ивановича, пожилого и очень спокойного человека. Матвей Иванович всегда огорчался Валькиной неспособностью к математике, но ценил его за старание.

— Математик из тебя, Бегунов, как из меня поэт, — говорил он, разглядывая на доске Валькино решение примера. — Но четверку с минусом я тебе поставлю, учитывая твое прилежание. Этого качества недостает очень многим, например Полянскому, который второй урок подряд читает под партой роман Дюма «Асканио» и думает, что я этого не знаю.

Володя Полянский вздрагивал и ронял книжку, класс хохотал, а Валька возвращался на место с четверкой и был доволен.

Рисование стояло четвертым уроком. Юрий Ефимович пришел в класс не сразу после звонка — задержался на три минуты. Он не принес ни вазы, ни кувшина, ни птичьего чучела. Встал у доски и, дождавшись тишины, сказал:

— Вот что, народ. Дайте волю фантазии. Нарисуйте, кому что хочется. Желательно что-нибудь новогоднее. Договорились?

Класс вразнобой ответил, что договорились, и зашелестел бумагой.

Валька не знал, что рисовать. Ничего новогоднего, кроме заснеженных еловых веток с поздравительной открытки, в голову не приходило. Может быть, сказку какую-нибудь? Каких-нибудь пингвинов и медвежат? Неинтересно...

Вспомнился первоклассник Новоселов с эскимо. Вот бы нарисовать, как он лопает мороженое и разглядывает в витрине елочные игрушки. Но это не для урока.

Так и не придумав, Валька потянул из портфеля альбом. Большой, стиснутый учебниками, альбом выползал неохотно. Валька сердито выдернул его и только сейчас увидел, что это не тот, не школьный. Это был альбом, где жили Валькины друзья и корабли. Валька перепутал вчера, когда собирал портфель.

Он с досадой затолкал все имущество в парту и обратился к соседке Светлане Левашовой:

— Дай листик...

Та заворчала и начала вырывать лист.

— Что у вас случилось? — Юрий Ефимович подошел и остановился рядом со Светланой. — Зачем ты бумагу терзаешь?

— Я попросил листок, — объяснил Валька.

Юрий Ефимович перевел на него взгляд.

— Между прочим, — негромко сказал он, — когда разговариваешь, следует встать.

Валька медленно поднялся, с удивлением отмечая, что Чертежник сегодня немного не такой, как всегда. Он в новом гладко-сером пиджаке, а под пиджаком вместо обычной клетчатой рубашки белая сорочка с новым галстуком. И лицо у него подчеркнуто неулыбчивое и твердое.

Раньше на уроках рисования ребята с учителями переговаривались, не вставая и не поднимая рук. Так было удобнее работать. Замечание Чертежника слегка обидело Вальку, и, встав, он отчетливо повторил:

— Я попросил лист бумаги, потому что мне не на чем рисовать.

— А твой альбом?

— Я оставил его дома.

Юрий Ефимович приподнял брови.

— Кому ты рассказываешь! Я отлично видел, как ты держал его в руках и спрятал в парту.

— Да нет же... — начал Валька.

— Что за фокусы! — Чертежник откинул крышку парты и вынул альбом.

Валька опомниться не успел, а он уже шагал к столу, на ходу перевертывая обложку.

И вмиг забыл Валька, что сам хотел показать ему рисунки. Он видел только, что холодный и раздраженный человек вламывается в его тайну.

— Это другой альбом! — почти крикнул Валька.

— Ну и что же? — спросил Юрий Ефимович, поворачиваясь лицом к классу и открывая первый лист. На первой странице был неинтересный и совсем случайный рисунок — портрет соседского кота Яшки. Но дальше...

Дальше было то, что Валька очень берег. Особенно на последней странице, где он еще не совсем закончил рисунок мальчика и шхуны.

От обиды стало горячо в горле и глазах. И Валька заговорил торопливо и отчаянно:

— Я ведь ваши картины не разглядываю без спросу! Отдавайте... Не имеете права!

Он не знал, пишет ли Чертежник картины. Но Юрий Ефимович вдруг резко задержал руку, так и не перевернув лист. И видимо, почувствовал, что действительно не имеет права, чуть побледнел и положил альбом на край стола.

— Хорошо. Допустим... — сказал он («хор-лошо» — получилось у него). — Но ты тоже не имеешь права являться на урок без необходимых вещей. Работы на вырванных листках я не принимаю. Будь любезен, дай дневник, я напишу, чтобы родители проверяли твой портфель. А заодно поставлю двойку.

— Дневника нет, — с облегчением сказал Валька. Альбом был спасен, и все остальное казалось неважным.

— Тоже забыл? — поинтересовался Юрий Ефимович.

— Да.

На самом деле Валька не забыл, а оставил дневник дома специально, потому что не успел его заполнить.

— Поразительная рассеянность, — усмехнулся Юрий Ефимович.

— Можете проверить, — сказал Валька.

— Проверять я, очевидно, тоже не имею права. Но я могу написать твоим родителям записку... Впрочем, я боюсь, что из-за твоей забывчивости ты не вспомнишь о ней дома. Может быть, ее передаст кто-нибудь другой?

Он без особой уверенности обвел глазами класс. И тогда случилось непонятное. Просто дикое. Поднялся Сашка Бестужев и лениво сказал:

— Давайте, я передам. Мне по пути...

И удивительно, что ничего не грохнуло, не сломалось. Так же солнце блестело на партах, так же смотрел с портрета Максим Горький. Прогудел самосвал за окном... Почему кругом так спокойно, когда совершается измена?

И сам Валька остался спокоен. Не дрогнул, по крайней мере. Только холодно как-то стало и тоскливо.

— Предатель,— тихонько сказал Валька.

Кое-кто услышал это слово. Юрий Ефимович, во всяком случае, услышал. Он перевел взгляд с Бестужева на Вальку и предложил:

— Ты, Бегунов, отправляйся в коридор. В классе тебе все равно делать нечего,— и сел писать записку.

Валька вышел, сел на подоконник и прижался плечом к холодному стеклу. «Зачем Сашка это сделал? Неужели такой сильной была вчерашняя обида и Сашка захотел отомстить? Да разве так мстят! Это все равно что ножку из-за угла подставить, подлое такое дело!»

Или Сашка подумал, что Валька побойтся сам передать записку, и решил отучить его от трусости? Дурак он тогда, только и всего. Но нет, Сашка не дурак. И значит — предатель.

Если бы вчера Вальке сказали, что Бестужев предаст его, он бы засмеялся. Ни за что бы не поверил. Ну, а если бы поверил, то, наверно, места бы не нашел себе от такого горя. Почему же сейчас он так спокоен? Может быть, потому, что все равно ничего уже не поделаешь?

Звонок резанул по ушам, но Валька не двинулся. Надо было подождать, когда Чертежник уйдет из класса. Подскочили двое ребят из шестого, чтобы выяснить, в каком настроении Петька Лисовских и поможет ли он им решить задачки по физике. Пятиклассник Лисовских был членом физического общества во Дворце пионеров.

Юрий Ефимович, не взглянув на Вальку, прошел в учительскую. Сразу же выскочил в коридор Бестужев.

— Валька, слушай...

Было просто удивительно, как у него после такого дела хватало наглости лезть с разговорами. Валька пожал плечами и повел к Петьке шестиклассников.

— Валька...— сказал за спиной Бестужев.

Может быть, в другой момент Вальку остановил бы этот Сашкин возглас. Но сейчас Валька его даже не услышал. С порога он увидел, как Зинка Лагутина ли-

стает его альбом, который учитель оставил на столе.

И тут словно взорвалась в Вальке бесшумная бомба. Он прыгнул к столу и размахнулся, чтобы выбить альбом из Зинкиных рук. Но ей, Лагутиной Зинке, видимо, не было дела до Валькиных переживаний. Она, как коза, отскочила к доске, показала язык и начала вертеть альбом над головой.

Было смешно и, пожалуй, бесполезно гоняться за Зинкой Валька сдавленно сказал:

— Отдай.

Зинка продолжала улыбаться.

— Ну...— сказал Валька.

Класс, почуяв серьезное, затихал. Зинка вроде бы тоже поняла, что сейчас не до шуток. Но, наверно, какой-то вредный бес сидел в ней и мешал просто так расстаться со своей добычей. Зинка стрельнула глазами в сторону двери. Валька успел перехватить ее взгляд. Они бросились к выходу вместе, но Валька успел заслонить дверь, и Зинка прижалась к косяку.

— Врежь ты ей, Бегунов,— посоветовал Петька Лисовских.

Валька близко увидел Зинкины глаза — испуганные и злые. Он рванул альбом. Зинка выпустила и прижалась к косяку.

Наверно, ничего бы не случилось, если бы Анна Борисовна вошла в класс минутой позже. Зинка успела бы прийти в себя, Валька спрятал бы альбом и успокоился. Но именно сейчас, когда Зинка затравленно моргала и готовилась зареветь, Анна Борисовна возникла на пороге и пожелала узнать, что здесь происходит.

— Я тебя спрашиваю, Бегунов.

— Ничего не происходит,— сказал Валька, тяжело дыша.— Очень много любопытных для одного раза.

Он совсем не думал про Анну Борисовну, когда так говорил. Он думал о тех, кто интересовался его альбомом. Но ведь она этого не знала. И Валька увидел, как сжались ее губы.

Лагутина тихонько захныкала.

— Перестань,— сказала Анна Борисовна.— После уроков во всем разберемся.— И громко добавила:— После занятий никто не уходит домой. Кого не будет на классном собрании, тот завтра в школу без родителей пусть не является. Прошу это запомнить!

АНТИЦИКЛОН. ВАЛЬКА, ДЕРЖИ ОГОНЬ!

На географии Валька сидел ничего не слыша. Он был погружен в свои мысли. Впрочем, никаких особых мыслей не было. Просто свалившиеся разом несчастья придавили его какой-то сонливой усталостью. Валька разглядывал сучок на крышке парты и чувствовал, что все теперь очень плохо.

Свою фамилию он услышал, когда Светка толкнула его локтем.

— Бегунов,— повторила Оксана Николаевна,— ты что-то слишком уж задумался. Иди-ка отвечать.

Ужасно не хотелось вставать. Однако пришлось. Но идти к доске и рассказывать там про что-то было слишком уж тошно.

— Ты что, не выучил урок?

Валька пожал плечами. Он не помнил, выучил ли. Не все ли равно? По сравнению с Сашкиным предательством это было таким пустяком.

— Да что с тобой?— Оксана Николаевна смотрела обеспокоенно и удивленно.

— Со мной?— сказал Валька.

И тогда сзади раздался голос Сереги Кольчика:

— Пусть он сидит, Оксана Николаевна. Неприятности у него...

— Из-за одной дуры,— добавила Левашова и выразительно глянула на Зинку.

— Ну и ну,— медленно сказала Оксана Николаевна.— Ладно, Бегунов, сиди... А ты, Кольчик, отвечать пойдешь? У тебя нет неприятностей?

— Только одна: не учил я ничего...— мрачно ответил Сережка, но все-таки пошел к доске.

На собрание кроме Анны Борисовны пришел Равенков. Он сел на заднюю парту и шепотом спросил у Кольчика:

— Что опять натворили?

— Кажется, буфет взорвали,— звонким своим голосом сказал Серега.

Анна Борисовна посмотрела на него долгим взглядом и постучала карандашом о стол. Потом сообщила:

— Школа у нас новая. И коллектив тоже новый. Вы прекрасно чувствуете и понимаете, что это создает свои трудности...

Светка рядом с Бегуновым шумно вздохнула.

— Кто-то вздыхает,— заметила Анна Борисовна.— Видимо, этим он хочет сказать, что я говорю известные вещи. Да, известные. Но я вынуждена их напоминать, раз вы забываете. У нас свои трудности. Не хватает нескольких преподавателей, до сих пор нет старшей вожатой. Вы учились без классного руководителя. Но это ничуть не значит, что можно распускаться и позволять себе что угодно. Тем более что вам повезло: у вас отличный вожатый, один из лучших активистов школы. Я не боюсь сказать это при нем...

Все шумно заоборачивались, словно видели Равенкова первый раз.

— Ах-ах...— тихонько сказал Лисовских.

Равенков недовольно опустил глаза и забарабанил пальцами. Шум не утихал.

— Тихо... Тихо! — Анна Борисовна болезненно морщилась.

Валька слушал и не слушал. Все, что говорилось, было привычным. Привычные слова складывались в привычные предложения: «Вместо того чтобы больше заботиться об успеваемости... Без дисциплины не добиться... Думать о чести школы... Коллектив отвечает за каждого...» И вдруг он услышал про себя:

— А Бегунов позволяет себе такие дикие выходки. Я уж не говорю, что он полностью игнорирует распоряжения школьной администрации, абсолютно плюет на коллектив: на репетиции хора не является, на сборы тоже... Да еще заявить своему преподавателю, завучу школы: «Вы слишком любопытны!» Нет, Бегунов, это не любопытство. Это моя обязанность вмешиваться в подобные безобразия и добиваться, чтобы их не было! И будь уверен, что...

Мгновенно вся усталость, все равнодушие слетели с Вальки. Нужно было отстаивать справедливость! Он вскочил.

— Я не вам говорил, а ей! Она сама...

— Сядь! — Анна Борисовна хлопнула ладонью о стол.— Потрудись хоть сейчас вести себя прилично! Тебя еще спросят, как это она «сама».. Не хватает даже мужества признаться. Или ты думаешь, я ничего не видела и не слышала?

Валька медленно сел. Но класс уже гудел, и голоса в поддержку Бегунова ясно выделялись в общем шуме.

— Интересно вот что,— перекрывая шум, заговорила Анна Борисовна.— Бегунова защищают те, кто сам не в числе лучших: Лисовских, Кольчик, Воробьев... («Раньше она сказала бы еще: «Бестужев»,— подумал Валька. Но сейчас Сашка молчал.)

Маленький Витя Воробьев смешно сморщился: «С чего это я в худшие попал?»

— Да-да! И ты, Воробьев! Ты тоже последнее время распустился... И меня удивляет, почему молчат наши активисты?

— Можно, я скажу?— Эмма Викулова на передней парте вскинула руку.

— Очень хорошо. Скажи.

— Все мальчишки считают, что если они сильнее, значит...

Мальчишки подняли гвалт.

Встал Равенков и резко потребовал:

— Тихо! Пять секунд на установку тишины. Раз... Тишина повисла над партами, тяжелая, но непрочная.

— Непонятно, почему молчат пионеры,— сказал Равенков.— Почему молчит командир отряда Левашова. Она, кстати, соседка Бегунова по парте.

Светлана встала.

— Я в команды не просилась. И в соседки к Бегунову не просилась. Пусть Бегунов сам говорит.

— Хорошо, пусть,— согласилась Анна Борисовна.— Говори, Бегунов.

Что говорить? Опять доказывать одно и то же?

— Я уже говорил.

— Мы пока ничего не слышали, кроме грубостей. Может быть, ты объяснишь свое поведение?

— Я вырвал свой альбом. И я не грубил, я про нее сказал.

— А ты не мог не вырывать, а сказать спокойно, чтобы она отдала.

— Будто она понимает! — крикнул Воробьев.— Она как обезьяна!

— Она дразнилась!.. Сама виновата! — зашумели мальчишки.

— Ти-хо!

— Разрешите, я скажу,— попросил Володя Полянский. И, не дожидаясь ответа, вышел к столу.

Высокий, в отутюженном черном пиджачке, подтянутый и какой-то слишком взрослый. Вальке он не нра-

вился. Казалось, что Полянский считает себя умнее остальных и в класс ходит только по необходимости. Говорят, он занимался в драмкружке Дворца пионеров и даже по телевидению выступал. Может быть, Валька не знал...

— Бегунову трудно говорить. Не все умеют говорить, когда волнуются,— сказал Полянский, поглядывая исподлобья на класс.

— Ты зато умеешь,— хихикнула Эмка Викулова.

— Я умею... Я хочу сказать про Бегунова. Получается, будто он какой-то преступник. И в том виноват и в этом. А тут все просто. Лагутина схватила его альбом. Она знала, что Бегунов не хочет, чтобы альбом смотрели, но схватила... Вот Викулова говорит, что ребята силой пользуются. Это неправда. Бегунов не сильный. И он не дрался, он просто альбом вырывал, чтобы она не смотрела. Даже Юрий Ефимович не стал смотреть, когда Бегунов сказал, а она...

— Постой, постой! — Анна Борисовна встревоженно взглянула на него, а потом на класс.— При чем здесь Юрий Ефимович?

— Сегодня же рисование было.

— Ну и что?

Володя почувствовал, что, кажется, сказал больше, чем нужно.

— Ну и вот... Бегунов попросил не смотреть альбом, и Юрий Ефимович не стал.

— И двойку поставил,— язвительно сообщила Викулова.

— Ябеда,— сказал Кольчик.

— Кто ябеда? Все равно Юрий Ефимович записку написал!

— Викулова, постой. Какую записку? В чем дело?

— Ну, простую записку. Потому что Бегунов как заорет: «Не имеете права!»

Анна Борисовна ладонями потерла щеки.

— Так...— тихо сказала она.— Я просила Юрия Ефимовича быть вашим классным руководителем. Сегодня утром он почти согласился. Хорошо же вы его встретили...

Хотелось есть, но возиться с печкой или плиткой не хотелось. Валька поставил на клеенку сковородку и

стоя жевал холодную жареную картошку без хлеба. Все равно, лишь бы притупился голод.

Он не включал свет, хотя в кухне стало совсем темно. В окнах стояли сумерки. Ветер притих, но мороз остался.

В коридоре грохнула дверь, и через секунду с клубящимся холодом кто-то маленький ввалился в кухню.

— Валька! Ты дома, Валька?

Андрюшка.

— Ну что?— сказал Валька.

— Можно, я включу свет?

— Я сам.— Он дакнул кнопку выключателя.

Андрюшкина шуба засияла блестками инея и начала окутываться паром.

Андрюшка стянул косматую шапку и сообщил:

— Мы сегодня штурм начинаем. Придешь?

— Какой штурм?

— Крепость будем брать. Я же рассказывал.

Счастливый он человек, этот Андрюшка. Будет штурмовать сегодня снежную крепость, нет у него других забот. Глаза блещут, и щеки розовые от мороза.

— В такой-то холод,— сказал Валька.

— Когда бегаешь, никакого холода нет,— возразил Андрюшка и немного опечалился.— Ты не придешь, да?

— Я не могу.

— Не можешь...

«Не до крепости мне»,— хотел сказать Валька. Но сказал:

— Я правда не могу. Мне в школу еще надо. Я, может быть, завтра приду, Андрюшка.

— Ну хорошо. Завтра.— Он помолчал и добавил:— Часов на крепости нет. Плохо это.

— Ладно...

Он закрыл за Андрюшкой дверь. Дома было до тошноты тихо. Отец, как всегда, задержался в техникуме, у мамы — профсоюзное собрание.

Интересно, заходил ли с запиской Сашка? Если заходил, все равно никого не застал. После классного собрания Бестужев еще раз попробовал подойти к Вальке. Валька сказал:

— Пошел к черту.

На этот раз, кажется, Бестужев крепко разозлился...

Валька взглянул на часы. До семи еще почти час. Совет дружины в семь. Равенков сказал: «Здесь мы

ничего не решим. Не отряд, а базар какой-то. Сами хуже делаете. А ты, Бегунов, придешь сегодня на заседание совета. Ясно?» И он взглянул на Анну Борисовну.

«Правильное решение,— сказала она.— По крайней мере, там ребята, у которых есть чувство ответственности».

А у класса чувства ответственности нет. Собрание кончилось тем, что мальчишки переругались с девчонками, а про Вальку и про дисциплину говорить никто не хотел.

У Бегунова чувства ответственности тоже нет. Он оторвался от коллектива, нарушил школьную дисциплину, оскорбил нового классного руководителя, а потом завуча, вину свою не осознал и извиняться не захотел.

Часы на стене стучали сухо и отчетливо. Это были большие старинные ходики. Валька посмотрел на них, принес лист ватманской бумаги и достал тарелку, чтобы вычертить по ней циферблат крепостных часов. Тарелка выскользнула и грохнулась на пол.

Валька постоял, потом задвинул ногой под стол черепки, оделся и вышел из дому.

В чистом темно-синем небе светились россыпь звезд. Среди этой россыпи дрожала золотая капля. Валька знал — это Юпитер. Недавно он снова смотрел на него в Сашкин телескоп. Видел светлое зеркальце планеты и четыре точки спутников. Всего два вечера назад... Эх, Бестужев...

Школа работала в одну смену и по вечерам делалась непривычно пустой.

Лестница была полутемной и гулкой. Валька поднялся на второй этаж. Плафоны в длинном коридоре горели через один, и стоял полумрак. Только открытая дверь пионерской комнаты в конце коридора ярко светила. Валька пошел туда, и справа, в черных стеклах, двигалось его темное отражение.

Часы показывали без двадцати семь.

В пионерской был только один мальчишка. Маленький, но с двумя нашивками. Видимо, четвероклассник. Он стоял у тумбочки с барабаном и щелкал по нему пальцем. После каждого щелчка над барабаном поднималось облачко пыли.

Когда Валька вошел, четвероклассник вздрогнул и обернулся.

«Знакомое лицо,— подумал Валька.— На кого он похож?»

— Ты на совет?— спросил мальчишка.

— Да,— сказал Валька и усмехнулся.

— Хорошо. А то меня дежурить тут оставили, пока все не соберутся. Скучно,— пожаловался четвероклассник.

Валька промолчал и сел в углу. Привычная обстановка пионерской комнаты успокоила его. «В самом деле, не съедят же»,— подумал Валька.

Собирались ребята. Почти незнакомые. Пришел рослый семиклассник с ленивым лицом, толстая девчонка в очках, потом еще две девчонки — одна из шестого, другая из пятого «Б». Еще кто-то... Вальке было все равно. Знакомыми оказались только Олег Ракитин и Зинка. Олег раньше учился в Валькином классе, но потом перешел в параллельный, чтобы учить английский, а не немецкий язык: английским он с детства занимался.

Интересно, будет Лагутина жаловаться на Вальку или она пришла просто как член совета дружины?

Смотреть на нее не хотелось.

А Олегу Валька обрадовался. Олег ему всегда нравился. Ракитин сам подошел к Вальке и спросил:

— Зинка не просила помириться?

— Зинка Лагутина? С чего это она будет мириться?

— Ну ладно...— сказал Ракитин.

Валька помялся и спросил:

— Ты откуда про все знаешь?

— Володька Полянский сказал.

«Володька хороший,— подумал Валька.— Зря я на него косился».

Ровно в семь пришел Равенков. Мельком, без всякого выражения, взглянул на Вальку. Спросил у собравшихся:

— Почему так мало?

— Не всех предупредили...

— Анархия,— сказал он.

— По-моему, Равенков метит в старшие вожатые,— ни к кому не обращаясь, громко сказал Ракитин..

— Нет,— откликнулся Равенков.— У меня другие планы. Но если понадобится..

Ракитин обернулся к нему и что-то сказал по-английски.

— Очень остроумно,— сердито бросил Равенков.

Олег тихонько засвистел...

Наконец появилась Анна Борисовна.

Разом задвигались стулья, и оказалось, что все сидят у длинного блестящего стола. Лишь Валька остался в углу. Сидел нахохлившись и разглядывал стены с плакатами. Плакаты были знакомые и неинтересные.

— Мало народу,— сказала председатель совета дружины, высокая восьмиклассница с узким строгим лицом.— Будем все равно начинать?

— Что же делать,— откликнулась Анна Борисовна.— Начинайте. Вы на меня не смотрите, я у вас гостья.

Председательница стояла за столом и вертела в тонких пальцах авторучку.

— Значит, так... У нас два вопроса. Первый — это подготовка к Новому году, а второй — поведение... то есть разбор поведения... пятиклассника Бегунова... Он пришел?

— Пришел,— сказал Равенков.

Все заоглядывались на Вальку, а маленький четвероклассник посмотрел на него с удивлением, почти с испугом.

Валька уставился в пол и сжал зубы.

— Ну хорошо...— Председательница вопросительно глянула на Анну Борисовну.— Ты, Бегунов, пока побудь в коридоре, у нас сначала первый вопрос.

Анна Борисовна досадливо поморщилась.

— Подожди, Короткова,— вполголоса заговорила она.— Какой первый вопрос, когда от половины классов нет представителей. Потом об этом.

— Ну, тогда сразу второй... Значит, так. В общем, дело в том, что этот Бегунов... В общем, пусть он сам расскажет. Выйди к столу.

Валька медленно встал.

— Что рассказывать?

— Ты сначала выйди сюда.

Валька подошел ближе.

— Что рассказывать?— повторил он и почувствовал злость. Он сам не ожидал, что будет злиться, и вот разозлился.

— Совет дружины хочет знать, что ты натворил,— твердо сказала председательница, и ее красивое лицо стало еще строже.

— Я думал, вы все знаете, раз позвали,— ответил Валька, глядя поверх голов.

— Мы знаем,— вмешался Равенков.— Но мы хотим услышать, как ты сам объяснишь это дело.

— Как оцениваешь свой поступок,— подсказала Анна Борисовна и взглянула на Вальку почти доброжелательно.

Вот и все. Теперь осталось сказать, что он был неправ, погорячился и очень об этом жалеет. И просит простить. И больше не будет. На это уйдет минута. Еще минуты три его поругают для порядка и отпустят домой. И сегодня он еще успеет начертить часы для крепости.

Для той крепости, которую штурмует сейчас маленький капитан Андрюшка. Андрюшка, который нарисован в Валькином альбоме,— на берегу, перед возникшим из тумана летучим парусником...

— Никакого поступка не было,— сказал Валька.

Довольно долго все молчали.

— Вот как...— сказала наконец Анна Борисовна.— Ну, а что же тогда было? Видишь, ты молчишь. Не знаешь, что сказать. Наговорить массу непозволительных вещей учителям было легче.

Аккуратная девочка в белом переднике подняла руку и сообщила:

— В той школе, где я раньше училась, мальчишек исключали на две недели, если у них дисциплина плохая.

— Ну, это уж дело педсовета,— заметила Анна Борисовна.— А вы решайте по своей пионерской линии.

— Почему нет Юрия Ефимовича?— вдруг спросил Олег.

— Потому что он сразу после уроков ушел домой и не знает о совете... И что это такое?!— вдруг запоздало возмутилась она.— Обсуждать учителей — не твое дело.

— Да,— сказал Ракитин.— Я лучше Лагутину буду обсуждать. Почему она молчит? Она-то знает, про кого Бегунов говорил: «Много любопытных развелось...»

— Тебе, Ракитин, слова не давали...— начала председательница.

— А я взял. Потому что я ее знаю, Лагутину. Лучше вас. Мы с пяти лет в соседних квартирах живем.

Она из-за своей вредности многое может. И сейчас тоже. Ведь знает, а молчит! А тут все сидят и ушами хлопают!

— И я?— спросила Анна Борисовна.— Ты думаешь, что говоришь?

— Я говорю про совет дружины,— не смутился Олег.— Лагутина схватила чужой альбом, довела человека и в ус не дует. Я бы ей вообще башку оторвал

— Но-но,— сказал Равенков.

— Оторвал бы,— серьезно повторил Олег.— Чтобы не совалась. Потому что у любого человека бывают тайны. Один человек, например, стихи пишет, другой там... Ну, я не знаю. Не всегда ведь любят люди рассказывать. А она лапает своими руками! И нос сует. Если я вот сейчас начну рассказывать, как она дома в куклы играет целыми днями, ей ведь тоже не понравится!

— Что ты врешь! — вспыхнула Зинка.— Сам, наверно, играешь! Дурак!

— Я не вру. Это я для примера...

— Дурак!

— Не нравится?— спросил Ракитин.

— Тихо! — крикнула Короткова.— Ракитин, как ты смеешь!

— А что я сказал?

Зинка вдруг закрыла лицо ладонями и выскочила в коридор.

— Заело,— с мрачной радостью заметил Олег.

— Ракитину, по-моему, здесь не место,— сказала Анна Борисовна.

— Я член совета дружины.

— Боюсь, что ненадолго.

— Пожалуйста.— Ракитин спокойно отправился к двери. С порога сказал:— Слушай, Короткова. Маловато вас. Как голосовать будете?

— Ничего, справимся,— отрезала она. И поинтересовалась:— Все-таки не понимаю, зачем нужно прятать свой альбом от товарищей?

— От товарищей я не прячу,— сказал Валька.

Анна Борисовна резко повернулась.

— Ты хочешь сказать, что мы, что Лагутина и Юрий Ефимович — твои враги? Тогда ясно. Значит, ты и на учителя набросился бы, как на Лагутину, если бы он не закрыл твой альбом?

Вот сейчас Валька растерялся. Ничего такого он сказать не хотел и не знал теперь, что ответить. Но Анна Борисовна не ждала ответа.

— В конце концов, ни меня, ни Юрия Ефимовича не интересует твое отношение к нам как к людям. Но как учителей ты обязан нас уважать. Обязан!

— Учителя и люди разве не одно и то же?— тихо спросил Валька.

— Что?— Она растерянно поднесла руку к подбородку.— Что ты говоришь?

— Ничего,— произнес он, словно шагая в пропасть.— Я постараюсь... уважать. Раз я обязан.

— Ты думаешь, что ты говоришь?!

Валька думал. Но не ответил.

— Анна Борисовна,— со всей своей вежливостью начал Равенков.— Извините, но, по-моему, мы слишком долго говорим об этом... Бегунове.

Валька сам не понял, как это случилось. Будто толкнул его кто-то. Наверно, это прорвалась накопившаяся обида. Он коротко засмеялся и бросил Равенкову:

— С Галкой Лисовских на каток ты все равно не успеешь.

Несколько секунд все молчали. Даже Равенков, кажется, растерялся. Наконец Анна Борисовна произнесла:

— Ну, вот перед вами весь Бегунов. Во всей красе.— В голосе ее слышались довольные нотки. Она словно хотела сказать: «Видите, я не ошиблась».— Решайте,— сказала она.— Видимо, Бегунов не чувствует себя виноватым. Он считает себя героем.

Вот уж героем-то он себя никак не считал!

— Какие будут предложения?— спросила Короткова.

Предложений не было. Молчание затягивалось.

— Веди собрание, Короткова,— сказала Анна Борисовна.

Председательница пошевелила губами и вдруг объявила:

— Тогда я сама. У меня предложение. Мне кажется, все всегда очень долго возятся вот с такими... как Бегунов. Я никак не понимаю: если он такой, как он может быть пионером? Ведь пионер — это же... Ведь он же Торжественное обещание давал, а сам нарушает. А раз нарушает, то что делать? В общем, я предлагаю исключить, а потом уж с ним разговаривать, если надо. Вот и все.

— Что?— шепотом спросил Валька.

— Вот так,— четко сказала Анна Борисовна.

— Я согласен,— сказал Равенков.

Они что, с ума сошли? Или так просто, решили по-пугать?

— Будем голосовать?— спросил у Анны Борисовны Равенков.

Валька медленно шагнул от стола. Маленький четвероклассник смотрел на него с испуганной жалостью. Толстая девчонка шевельнула на столе локтем: словно проверяла, удобно ли будет держать поднятую руку.

— Вы же... не знаете,— тихо сказал Валька.— Ничего...

Анна Борисовна взглянула на часы.

— Я полагаю, мы знаем достаточно.

А что они знали?

Разве они знали, как ранним утром он стоял на берегу, счастливый, босой, в мятых, кое-как выжатых штанах и чьей-то сухой рубашке, а перед ним разворачивал строй сводный отряд барабанщиков!

Разве они это знали?

И как полыхало на берегу пламя костра, почти незаметное при солнце, но такое жаркое, что на Вальку несло теплом, как из Сахары. Толстая головешка выстрелила в огне, крошечный пунцовый уголек вылетел из костра и клюнул Вальку в колено. А Валька даже не дрогнул. Потому что барабанщики уже насторожили палочки, а Сандро потянул с себя галстук, чтобы завязать его на Вальке...

— Может быть, объявить выговор?— лениво сказал семиклассник.

— Что значит «может быть»?— недовольно откликнулась Анна Борисовна.— У тебя такое предложение?

— Ну, предложение.

— Есть еще предложение: выговор,— сказала она.— Но мне кажется, что Короткова высказалась правильнее. Едва ли выговор заставит его задуматься.

— Кто за то, чтобы исключить?— спросил Равенков.

... А они видели когда-нибудь, как принимают в пионеры под веселый грохот девятнадцати барабанов?

...Девочка в белом переднике подняла руку.

— Раз,— машинально произнес Равенков.— Что, всего один голос?

— У меня предложение,— начала девочка.

— С предложениями, по-моему, конечно,— полувопросительно сказал Равенков и посмотрел на Анну Борисовну.

— Пусть говорят,— разрешила она.— Говори, Валеева.

— У меня предложение,— сказала Валеева, глядя на плакат «Занимайтесь авиамоделизмом!».— В той школе, где я раньше училась, иногда на месяц исключали, а не насовсем. А потом, если дисциплина хорошая, снова принимали.

— Посмотрим,— сказала Анна Борисовна.— У тебя все?

Девочка облизнула губы и кивнула.

— Садись.

— Кто за первое предложение?— раздраженно повторил Равенков.— Голосуем... Короткова, считай. Ты же председатель.

— Раз,— начала Короткова,— два...

Толстая девчонка аккуратно укрепила свой локоть на краю стола. Девочка в белом переднике медленно подняла полусогнутую ладошку.

Равенков небрежно вскинул руку к плечу, словно останавливал на улице такси:

— Три...

Стойте! Ну что вы делаете!

— Мы всегда очень долго возимся...— повторила председательница и сама подняла руку.

Глядя на нее, проголосовала и все время молчавшая девочка из пятого «Б».

— Я воздерживаюсь,— сказал семиклассник и коротко зевнул.

— Что так...— с усмешкой спросил Равенков.

— Да так...

— Дело хозяйское,— сухо заметила Анна Борисовна.— Ну а ты, Сережа, почему не голосуешь?

Маленький четвероклассник сидел, напряженно приподняв плечи, и молчал.

— Тоже воздерживаешься?— спросил Равенков.

Сережа помотал головой.

— Значит, против?

Он кивнул, не глядя на вожатого.

— Странно,— произнес Равенков.

— Это его право,— сказала Анна Борисовна.— Хотя, честно говоря, от Сергея я этого не ожидала.

Четвероклассник сидел все так же, ни на кого не глядя. Маленький и упрямый. «Спасибо»,— мысленно сказал ему Валька. И в ту же секунду Равенков громко объявил:

— Все равно большинство.

Значит, все кончено?

— Встать! — резко скомандовал Равенков.

Все торопливо поднялись, загремев стульями, и Равенков повернулся к Вальке:

— Подойди сюда.

Валька сделал несколько шагов. Трудные были шаги. Ноги стали как неживые.

Равенков дернул подбородком, указывая на галстук:

— Сними.

— Не надо,— шепотом сказал Валька.

— Сними галстук,— отчеканил Равенков.

А на галстук, на уголке,— маленький огненный прокол. След летучей искры из большого костра.

Если снять — значит, надо забыть про этот костер?

И про другие костры, значит, надо забыть?

Их разжигали на вырубке, среди мшистых еловых пней. Из-за леса выкатывалась медная луна, повисала над головами и слушала, как трещат сучья. Они трещали так, что барабан, который Валька держал на коленях, откликался легким звоном. Если снять галстук, надо забыть про этот барабан?

Он достался Вальке не сразу. Сначала была лишь нашивка на рукаве — синий треугольник с перекрещенными палочками, а барабана не было. И поэтому не раз Валька слышал смех: «Запасной козы барабанщик». Но он не обижался, он доволен был и этим. Хоть и запасной, а все-таки... А в середине смены за Петькой Бревновым приехали родители, чтобы забрать его с собой в отпуск на Кавказ. Валька перестал быть запасным.

Ему нравилось подниматься, когда лагерь еще спал, и вместе с горнистами разбивать на осколки тишину «Вставайте. Начинается день!» И еще ему нравились

большие линейки, когда барабанщики выходили к флажштоку для торжественного марша. Они вставляли растянутой шеренгой, потому что не любили сомкнутый строй: в плотной шеренге трудно двигать руками.

Но сейчас они встали бы тесно-тесно. Если бы найти такой барабан, чтобы рокот его разнесся за горизонт, и дрожали бы стёкла, и тяжелые шапки снега в лесах срывались бы с сосен! Чтобы гремела тревога...

Они встали бы тогда локоть к локтю — барабанщики отрядов, барабанщики-сигналисты, барабанщики знаменосной группы. И, глядя в упор на Равенкова, они бы сказали ему...

Валька тихо сказал:

— Не сниму.

Он не снимет. Потому что были походы, когда Валька шел по пояс в сыром папоротнике и стрелка компаса неуверенно рыскала по траве, а надо было искать дорогу и делать вид, что ты не устал.

И появлялась дорога, и уходила усталость.

Были игры, когда Валька врывался на вершину каменного холма, опрокидывая чужое знамя с намалеванной хвостатой кометой.

И еще было раннее утро июля, когда на рассвете барабанщики вновь собрались встречать солнце. Просыпались и тихо вздрагивали березы. Валька неслышно вошел в октябрятскую палату, осторожно тряхнул за плечо и поднял на руки теплого от сна малыша.

И сказал обычные слова:

— Не хнычь. Сам просил вчера.

Тот доверчиво облапил Валькину шею и сонно прошептал ему в ухо:

— Мы не опоздали? Я проснусь сейчас...

Тогда, засмеявшись от неожиданной нежности к маленькому товарищу, Валька прошептал:

— Просыпайся. Будет хорошее солнце...

А кругом было тихо, только малыш, просыпаясь, громко дышал у Валькиной щеки...

Если отдать галстук, значит, сделать, будто ничего этого не было? И не будет?

— Не отдам,— сказал Валька так отчетливо, что пыльный барабан в углу откликнулся тихим гуденьем.

У Равенкова шевельнулся уголок рта. Это была его, равенковская, усмешка. Конечно, это звучало смешно: «Не отдам». Как он сможет, как он посмеет, этот чуть не плачущий пятиклассник!

Равенков протянул руку. Но еще быстрее метнулась к галстуку Валькина рука и стиснула его в кулаке. У самого узла.

Кулак сжался так отчаянно, что казалось, кожа лопнет на костяшках.

Наступило молчание, тяжелое и тоскливое.

Равенков слегка пожал плечом.

— Извините, Анна Борисовна. Видимо, придется применить некоторое усилие.

— Не нужно никаких усилий,— сказала она.— Здесь не спортзал. Что еще за новости?

Она встала рядом с Равенковым. Он слегка шагнул в сторону, словно уступая свое место и свою роль.

— Бегунов, сейчас же сними галстук,— произнесла она привычно требовательным голосом. Так же она говорила во время урока: «Лисовских, немедленно дай мне дневник... Сергеев, выйди из класса».— Я тебе говорю, Бегунов...

Валька тяжело поднял глаза. Ей навстречу. Она смотрела на него с досадливым нетерпением, но старалась скрыть это нетерпение и казаться спокойной и уверенной.

И вдруг Валька понял, что Анна Борисовна устала. И что ей, наверно, очень хочется скорей уйти домой, и, может быть, по дороге еще надо зайти в булочную, которую скоро закроют; а потом придется готовить ужин, возиться с посудой и думать о завтрашних уроках... И он, Валька Бегунов, только маленькая частичка многих забот. И возможно, она вовсе не была уверена, что его следует исключить из пионеров, но, раз уж к тому дело пошло, надо доводить до конца. Надо, потому что нельзя поддаваться слабости и усталости, когда на тебя смотрят ученики.

И на секунду Валька ощутил даже что-то вроде смутной жалости к ней, уставшей и раздраженной. Но чувство это почти мгновенно забылось.

Она хотела от Вальки слишком многого: чтобы он отдал галстук. Она все еще не понимала, что он не отдаст, и ждала.

Валька смотрел ей в глаза. Это очень тяжело — смотреть так в глаза человеку, который сильнее тебя. Смотреть и молчать. И мягкий шелковистый узел галстука сжимать в окаменевшем кулаке.

Это, наверно, не легче, чем держать в руке огонь. Или все-таки легче?

Или труднее?

Тишина сделалась такая, что стук часов начал нарастать, как грохот молотков.

Или барабанов?

Но когда же это кончится?

И когда стоять так и смотреть он уже не мог, сзади рванули дверь и Сашкин голос ввинтился в тишину:

— Валька, не отдавай!

Это было как толчок.

Валька рванулся назад, бросился в дверь. Он успел заметить столпившихся ребят: Володю Полянского, Кольчика, Воробьева, Петьку Лисовских. И Сашку, отскочившего к косяку. Он увидел их встревоженные лица. Но остановиться не мог. Он пошел, пошел вдоль запертых дверей, под слепыми, погасшими плафонами. Все скорей и скорей. И очень хотелось сорваться и побежать, но Валька чувствовал, что нельзя. Бегут те, кто виноват.

И только на лестнице, где никто уже не смотрел вслед, Валька кинулся через три ступеньки. Вниз. Вниз. Вниз...

Он так и не заплакал. Он толкнул низкую дверцу раздевалки, сорвал с крючка шапку, пальто. И только тут заметил, что свободна у него лишь правая рука. Левой рукой он все еще стискивал галстук.

Валька стал разжимать кулак. Пальцы словно окончели и разгибались медленно.

КРЕПОСТЬ. ВАЛЬКА, ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАНЬ!

Валька плечом отодвинул тяжелую дверь, и морозный воздух резанул ему лицо. Валька остановился на крыльце.

Что же делать дальше?

Та упрямая сила, с которой он держался в пионерской комнате, теперь покинула его.

Валька медленно спустился с крыльца, прошел вдоль школы, свернул в переулок и зашагал наугад, не думая о дороге и доме.

Что же будет дальше? Завтра?

Нет, он ни капельки не жалел, что не отдал галстук. Никаких сомнений тут не было, но и просвета не было тоже.

Чего он добился? Завтра, наверно, все повторится. Ну, опять галстук не отдаст. Ну и что? Носить его все равно запретят, если считается, что исключили.

Самое страшное, что никто не поможет. Кто может дать защиту?

А может быть, кто-нибудь защитит? Кто?

Где-то в этом городе живет Сандро, старый Валькин вожатый. Но где его найдешь? Забыл Валька летом взять адрес. Так глупо получилось...

Кто еще?

И вдруг Валька понял, кто поможет. Оксана Николаевна. Она всегда понимает. Надо пойти и все рассказать. Прямо сейчас надо пойти, еще не поздно.

Путь до большого зеленого дома на углу Пушкинской показался ему очень коротким и знакомым. И лестница в доме, и дверь, и даже коричневая кнопка звонка в белом колечке. И поэтому вдруг поверилось Вальке, что все сейчас решится, все будет хорошо. Он смело вдавил кнопку, и звонок за дверью словно взорвался с резким рассыпчатым треском. Валька вздрогнул и замер, испуганный своей решительностью и этим оглушительным звонком. Но за дверью уже дергали запор, и вот она открылась. Валька увидел Сережку.

Того Сережку, который отказался голосовать за Валькино исключение.

«Брат»,— подумал Валька даже без удивления, а просто с досадой: как он не догадался в школе. Они с сестрой так похожи...

Еще скользнула мысль, что он, Валька, видно, долго бродил по улицам, если Сережка успел прийти из школы и даже переодеться.

Наверно, брат Оксаны Николаевны удивился. Он несколько секунд смотрел на гостя и моргал. Потом смутился и шагнул в сторону, чтобы пропустить Вальку.

Ничего не сказал.

— Здравствуй,— поспешно и растерянно пробормотал Валька. И тут же понял — глупо здороваться, если только час назад виделся с человеком. И вообще все получилось так глупо и противно. Даже уши начали гореть под шапкой. Зачем он пришел? Какой помощи он хочет? Чтобы Оксана Николаевна пошла уговаривать завуча?

Ему показалось, что Сережке известны его мысли, страх его и слабость. И Валька понял, что не переступит порога.

— Оксана Николаевна дома?— спросил он, отчаянно желая, чтобы дома ее не оказалось.

— Она скоро придет,— как-то виновато сказал Сережка.— Ты подожди. Заходи...

— Нет, я пойду,— пряча глаза, ответил Валька. Было неловко скрывать за пустыми словами главную свою большую тревогу, и оба они понимали это. «Что там было после меня?»— хотелось спросить Вальке, но он знал, что скорей умрет, чем спросит. Вместо этого он сбивчиво и торопливо сказал совсем другое. И даже обрадовался, что нашел такие спасительные слова.— Я только спросить хотел... Мы договаривались с Оксаной Николаевной... Один мальчишка с вами на каток хотел ходить. Ему когда можно прийти?

— Да. Я знаю,— оживился Сережка.— В воскресенье можно. Утром.— И глянул на Вальку с простодушным удивлением: «Значит, из-за этого ты и пришел?»

— Я передам ему. Я пошел,— сказал Валька. На лестнице он пробовал даже засвистеть что-то веселое, но не получилось.

Теперь уже не виделось никакой надежды.

Валька побрел к дому. Но что делать дома? Не все ли равно теперь... Он очень устал. Увидел скамейку на пустыре и сел.

Это был пустырь за Андрюшкиным домом. Вернее, уже не пустырь, а молодой садик: из-под снега торчали тощие прутики осенних саженцев.

Валька привалился к спинке скамьи и взял пригоршню снега. Снег был сухой и сыпучий, как песок. Совсем не холодный.

«Никто не поможет»,— подумал Валька.

Даже мама и отец не помогут. Ну что они сделают?

До сих пор при любой беде можно было найти у них защиту. Даже если очень виноват или несчастен, можно было прижаться к отцу и спрятаться от всяких бед.

Один такой случай Валька помнит удивительно ярко.

Был солнечный летний день. Хороший день, потому что все ждали папу. Он должен был вернуться из командировки. Все радовались, и пятилетний Валька радовался. И наверно, эта самая радость заставляла его прыгать, хохотать и вертеться под ногами. И он довертелся: зацепил на краю стола фаянсовую пепельницу и грохнул на пол.

Стало тихо-тихо, и день потемнел.

Поникший Валька стоял над черепками и не понимал, как это случилось: было все хорошо и вдруг в одну секунду стало плохо.

Он чувствовал, что совершил ужасное дело. Это была любимая папина пепельница — смешная собака с розовой пастью. Она казалась такой же вечной и прочной, как дом, как деревья, как земля. И такой же нужной. Она была всегда, эта веселая собака.

И вот — черепки. Из-за Вальки.

Самое страшное было то, что никто не закричал на Вальку, не потащил в угол, не назвал разбойником и хулиганом. Только Лариса деревянным голосом сказала:

— Так, допрыгался. Приедет папа — он с тобой побеседует. Помнишь его ремень?

Валька помнил. Это был широченный ремень с желтой пряжкой и аккуратными круглыми дырками в два ряда. Папа никогда не носил его, он точил на нем бритву. Это был ремень для бритвы.

Неужели не только для бритвы?

Придавленный несчастьем, Валька вышел во двор и забрался на чердак. Здесь пахло землей и сухим деревом. Солнце пробивалось пыльными полосками. По железной крыше стучали клювами воробьи, а за старым сундуком скреблись мыши.

Валька просидел в тесном углу целый час. Или целый год. Он слышал разные голоса: и радостные, и тревожные. И молчал. А потом ему прямо на колено опустился мохноногий щекочущий паук, и Валька, вздрагивая, полез к выходу. Будь что будет. Лишь бы не остаться навсегда в этом сумраке с паутиной и мышинной возней.

Медленно двигая ногами, он пошел в дом. Остановился на пороге и стал смотреть в пол.

— А, явился, преступник, — сказали ему.

Валька глянул туда, где раньше лежали черепки. Черепков уже не было, а на их месте стоял рыжий мохнатый конь. Ростом с большую собаку Пальму. На блестящих зеленых колесах. Как настоящий.

Но зачем он здесь, этот конь? При чем здесь конь, если Валька грохнул пепельницу?

И что сейчас будет?

— Валька, — услышал он голос, от которого немного отвык.

И увидел отца.

— Валька, глупый.

Валька зажмурился и бросился к нему. За помощью, за прощением. И, прежде чем уткнулся в знакомый жесткий пиджак, он успел крикнуть:

— Я больше не буду разбивать твоих собак!

И, уже подхваченный большими руками, всхлипывающий и счастливый, он повторил, прижимаясь щекой к отцовскому плечу:

— Не буду разбивать...

— Эх ты, малыш,— тихонько сказал папа.— Ну, перестань.

Валька приоткрыл глаза, посмотрел вниз и сквозь мокрые ресницы увидел блеск золотистой конской гривы.

Но сейчас не заплачешь, не уткнешься в пиджак. Потому что дело не в фаянсовой собаке. Разве помогут слезы?..

Конечно, дома придется все рассказать. Это неприятно, но не страшно. Лишней беды от этого уже не будет, и помощи тоже. А что делать в школе?

За домом, за снежным валом сугробов, слышались ребячьи крики. Там Андрюшка вел с Толькой Сажиним бой за крепость. Один раз крики стали особенно громкими, потом хрипло затрубил горн, однако сигнал оборвался на половине.

Вальку не трогал шум сражения. Не удивила и наступившая тишина. Он сидел, не чувствуя холода, и не собирался вставать и идти.

И когда вдруг появился перед ним Андрюшка, Валька не понял сразу, что ему надо.

— Валька, встань...

Боже мой, что людям надо? Все только и знают: Валька, Валька, Валька! Оставьте Вальку в покое!

— Ну, Валька...— Голос Андрюшки звучал жалобно и требовательно.

Валька тихо сказал:

— Уйди.

— Ну, Валька. У Павлика идет крогь.

У кого-то идет крогь. А при чем здесь он?

— Валька...

Однажды тоже не хотелось вставать. В лагере. Он до двенадцати просидел у костра, а в три надо было подниматься на встречу солнца. А его как свинцом придавило. Но кто-то сказал: «Солнце всходит в три трид-



цать...» И Валька вскочил. Ведь в самом деле — солнце должно взойти через полчаса. Его не остановишь. Надо встать.

Валька шевельнулся. Потому что в Андрюшкиных словах прозвучало то же требование немедленного подъема. Ты сидишь, а у кого-то беда. Кровь идет. Пусть у тебя хоть тысяча несчастий, но у кого-то — еще одно.

— Ну, Валька. Ну, пожалуйста, встань.

Встань, Валька. Это так же обязательно, как восход солнца.

— Почему у него кровь?— сказал Валька и поднялся. Рывком.

Штурм был горячий, и Павлик, маленький горнист крепости, заиграл боевой сигнал. Он забыл, что у старого горна металлический, а не пластмассовый мундштук.

Была сорвана с губ кожа. Ребята сгрудились у столба под фонарем и бестолково топтались вокруг раненого горниста. Павлик не плакал. Он только наклонил голову, чтобы кровь не пачкала пальтишко, и испуганно смотрел, как черные капли дырявят снег.

— Надо же было догадаться...— сказал Валька. Торопливо схватил пригоршню снега и прижал к губам Павлика.

От ладони и от теплой крови снег таял, превращаясь в кашу.

— Он даже не заметил сперва, что губы примерзли,— сказал Толька Сажин.

— Домой надо,— сказал Валька.— Здесь ничего не сделать.

— Домой нельзя,— объяснила Ирка-скандалистка.— Дома ему попадет.

— За что попадет? Что ты чепуху городишь! У чело века беда, а ему попадет.

— Нет, правда,— тихонько сказал Андрюшка.— Его всегда за такое ругают.

— Порядочки...— процедил Валька.— А ну, дайте платок. У кого есть?

Платок нашелся у Ирки. Валька приложил его к губам горниста, но тонкая ткань быстро промокла. Валька снял шарф и прижал его к платку.

— Держи так. Пошли ко мне.

Мысли о сегодняшней беде слегка отодвинулись, дав место тревоге за малыша-горниста.

Они всей толпой ввалились в тесную кухню.

— Тихо вы...— прикрикнул Валька.

Дома еще никого не было. Он сдернул с Павлика пальто и валенки и уложил его в комнате на диван. Вверх лицом. Кровь шла уже не так сильно.

Потом он включил электрочайник.

Малыши сидели в кухне притихшие. Запотевший горн стоял на столе.

— Что теперь с ним будет?— шепотом спросил Толька Сажин и смешно приоткрыл рот.

— Наверно, жив останется,— сказал Валька.

С теплой водой он вернулся в комнату. Павлик лежал спокойно, только часто моргал.

— Больно?

Павлик помотал головой.

— Немного потерпи, если будет больно.

Он действовал осторожно и быстро. Убрал платок и куском бинта начал смывать кровь с подбородка и щек. От вида крови слегка мутило, но это были пустяки.

Главное то, что он, Валька, ожил. Если бы не этот раненый горнист, он до сих пор сидел бы на проклятой заледеневшей скамейке, не зная, что делать. Это просто здорово, что в такую минуту он оказался нужен. Хорошо, что пришел Андрюшка и потребовал: «Встань»!

И, как награда за то, что он все-таки встал, к Вальке пришло спокойствие.

Конечно, это было не настоящее спокойствие. Мысль о том, что же будет завтра, не уходила.

Но не было страха.

И не было беспомощности. Словно снежные стены крепости-малютки могли защитить Вальку от всех бед за то, что он спас ее раненого бойца.

— Все,— сказал Валька.— Полежи теперь немного. Больше ничего не сделать. Рот ведь не забинтуешь.

Павлик слегка улыбнулся.

Валька взял его пальто и валенки, вынес на кухню и мокрой щеткой начал стирать с них бурые кровавые капли.

Андрюшка следил за ним напряженно и молча.

— Что ты меня так разглядываешь?— поинтересовался Валька.

— Я не разглядываю... Валька... Нет, я так...

Что-то тревожило его. И, чтобы как-то отвлечь Анд-
рюшку от беспокойных мыслей, Валька сказал:

— Я договорился, с кем тебе на каток ходить...
С моими знакомыми. В общем, можно покупать коньки.

— Хорошо,— откликнулся Андрюшка, но как-то рас-
сеянно.

Тихонько вошел Павлик.

— Кровь уже не идет,— сообщил он.

— Ну и порядок. Только иди сразу домой, а то
губы на морозе обветреют. И горячего не ешь сегодня...

Он проводил ребят на крыльцо.

— До свидания, Валька! — крикнул уже от калитки
Андрюшка.

— До свидания! — громко ответил Валька и присло-
нился затылком к заиндеветшему косяку. Ему казалось,
что холод прояснит мысли и поможет во всем разоб-
раться.

Но большого холода не было. Вечер стал пасмурней
и мягче.

Это снова двигался на Урал атлантический ветер.
Еще не пришли облака, но воздух уже потерял проз-
рачность, и звезды расплывались в мутноватой влаге об-
мелевшего неба. И только на юго-востоке, пробивая ту-
манную пелену, чисто и гневно сиял Юпитер.

У калитки слышались шаги. Валька знал, что это
не Андрюшка и не его друзья. Им незачем было воз-
вращаться. И родители должны были вернуться позд-
нее. Кто же? Валька не хотел видеть никого. И, не
отрывая глаз от яркого Юпитера, он крикнул коротко
и зло:

— Кто идет?

СНЕГ ИДЕТ. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО ВОВКИ

Это был Сашка. Он не ответил. Он молча поднялся
на крыльцо, поколотил ботинок о ботинок, стряхивая
снег, и мимо Вальки прошел в дом. И уже из сеней
сказал:

— Ну, заходи,— будто к себе приглашал.

Валька зашел следом. Он не злился на Сашку. Он
хорошо помнил тот рывок двери и со звоном сказан-
ные слова: «Валька, не отдавай!» Но простить преда-

тельство он не мог. Все равно не мог. Сашка был сейчас не враг и не друг, а будто посторонний человек. Вроде электромонтера, который заходит раз в год, чтобы проверить, в порядке ли провода и пробки.

— Родителей дома нет,— спокойно сказал Валька.— Но ты не бойся. Бестужев, оставь записку. Я передам.

Сашка неторопливо снял пальто и бросил на спинку стула. Потом снял запотевшие очки и стал протирать их концом шарфа. Это был очень взрослый жест.

— Дурак ты,— произнес он негромко и как-то лениво.

— Почему?— так же тихо спросил Валька.

Сашка пожал плечами. Потом он надел очки и глянул на Вальку сердито и требовательно.

— Скажи, почему ты решил, что я поташу эту записку к вам домой?

— А куда?— спросил Валька и почувствовал, что глупеет.

— Куда... Ну не все ли равно куда? В печку, в мусорный ящик. Съел бы, в конце концов... Ну почему ты сразу решил, что я гад?

Валька помолчал.

— Сегодня все кувырком,— сказал он, морща лоб.— И ты... Не понимаю я...

— Я вижу,— усмехнулся Сашка.— Кроме тебя, наверно, никому в классе такая дурацкая мысль в голову не пришла... Ну, выкинул бы я записку — вот и все. Я лучше хотел сделать. Чтобы он ее ни с кем другим не послал.

— Но это же глупо,— искренне сказал Валька.

— Ну и пусть... Я хотел, чтобы тебе лучше было.

— Он бы все равно узнал. Проверил бы.

— Когда бы он еще проверил!..

— Да сразу бы... Знаешь, Сашка, ты записку все-таки отдай. Так лучше будет.

— А нет ее,— сказал Сашка.

— Порвал?

— Он ее забрал.

— Кто?

— Чертежник. Я вышел из школы, а он идет навстречу. Вот сейчас, вечером. И говорит: «Постой, Бестужев. Я догадываюсь, что ты еще не успел передать записку». А я злой был и говорю: «Совершенно правильно. Некогда было». А он говорит: «Дай мне ее, пожалуйста». Я говорю: «Я ее, наверно, потерял». — «А ты

поищи, говорит, постарайся. Если нужно будет, я ведь, говорит, могу и другую написать». Я отдал и ушел.

— Интересно, зачем он так?

— Я не знаю. Я только заметил, что к школе он не один подошел, а, по-моему, с Ракитиным. А потом Олежка назад повернул. Или мне показалось...

— Да нет, не показалось, наверно...— начал Валька, обрадованный внезапной догадкой. И вдруг замолчал. Разве об этом надо было говорить! Ведь Сашка — с ним. Это в тысячу раз важнее всяких историй с записками. «Я хотел, чтобы тебе лучше было»... А он-то, чурбан безмозглый...

А если Сашка не простит такую обиду?

— Я знаю,— глуховато сказал Валька.— Ты теперь думаешь, что я дурак и... вообще...

— Конечно,— подтвердил Сашка.— Я поэтому и пришел. Мне очень нравится беседовать с «дураками и вообще».

Валька облегченно передохнул.

Сашка зевнул и сообщил:

— Приказано мне завтра, конечно, в школу без родителей не являться. За срыв...

— И что теперь делать?

— Ничего не делать. Сказал отцу, вот и все.

— А он?

— А он... Расспросил сначала. Потом прогнал: «Что же ты к Вальке не идешь, дома торчишь?» Будто я сам не собирался... Да, еще я забыл рассказать. Лисовских с Равенковым поругались. Тот вышел из пионерской, а Петька говорит: «Ты больше у нас не показывайся, Галка с тобой больше никуда не пойдет, с таким крокодилом». Все захохотали и ушли...

Валька снова вспомнил полутемный коридор, высокую фигуру Равенкова, вспомнил все, что случилось, и тоска опять уколола его.

— Что же теперь будет? Сашка...

— Да, наверно, ничего,— спокойно сказал Сашка.— А что может быть? Галстук-то ты не отдал. Вот если бы отдал, тогда действительно...

— Ну, не отдал... Все равно они проголосовали. Значит, исключили.

— Ну да, исключили,— усмехнулся Сашка.— Кто же выгонит человека из пионеров, если ребята против? Ведь отряд-то против. Это все-таки наш отряд, а не

Анны Борисовны. И не она тебя в пионеры принимала.

— Меня принимал отряд барабанщиков,— хмуро и твердо сказал Валька.— На рассвете.

— Ну, я знаю...— Сашка вдруг внимательно и резко взглянул на друга.— Ты говорил. Ну и что? Знаешь, ты все-таки сам виноват. Ты все время где-то...— Он покрутил ладонью над головой.

— В мечтах? — понял Валька.

— Ты не обижайся. Но когда только барабанщики да паруса на уме, можно еще не так влипнуть. А ведь не барабанщики тебя сегодня выручали. И не паруса... Валька помолчал.

— Выручали и они,— наконец сказал он и все-таки немного обиделся.— Ты ведь тоже еще не знаешь...

Ведь в самом деле, не знал Сашка про крепость и про то, как Андрюшка сказал: «Валька, встань». А маленький Андрюшка и большие паруса — это так связано. И барабанщики...

— И все-таки...— тихо и упрямо сказал Сашка.

— Ну ладно...— сказал Валька.

Сашка натянул шапку:

— Ты меня проводи.

Они медленно шли к Сашкиному дому. Уже не было звезд, и сыпал снег. Западный циклон прогнал пронзительный холод, и, казалось, весь город вздохнул спокойно и дремлет теперь под медленным мягким ветром. Деревья вновь развешивали белые кружева. Ступени Сашкиного крыльца были сплошь под снегом.

— До завтра,— сказал Сашка. И вдруг неловко протянул ладонь.

Это было их первое рукопожатие. В последний миг между ладонями скользнула колючая снежинка, но тут же превратилась в теплую каплю.

Валька шагал по улице. Он не торопился домой, шел просто так. Иногда он поднимал лицо, и снежинки щекотали ему лоб и щеки. Скоро снег пошел мелкими хлопьями. В газонах, среди веток низкого кустарника, он застревал пушистыми клубками, и казалось, что там прячутся крошечные зайчата.

А под одной из берез Валька увидал на снегу портрет. Крона дерева защищала его от снегопада. Нарисован был тонконогий урод с мрачным лицом и руками-граблями. И стояла подпись: В о в к а.

Валька пожалел неизвестного Вовку, перегнулся через штaketник и пальцем нарисовал на его лице улыбку.

Потом тронулся дальше и, сам не зная как, вышел к школе.

Подошел к крыльцу. Маленький ветер крутил у ступеней снежинки и какие-то клочки бумаги.

Валька поднял клочок и разобрал обрывки слов: прид... рисовани... альб...

Он сразу понял, что держит в руках обрывок записки Чертежника. Видимо, прямо здесь, не отходя, Юрий Ефимович разорвал ее.

Валька поискал глазами и заметил еще два клочка. А больше не нашел. Видимо, ветер уже разнес их по всему кварталу, а снег припорошил и спрятал от глаз. И теперь, наверно, никто на свете не сумел бы отыскать все эти обрывки, сложить и прочитать записку.

— Вот и все,— сказал Валька. Повернулся и зашагал вдоль школы.

В коридоре нижнего этажа горел свет. Он падал из окон на заснеженный тротуар неяркими полосами. Чем дальше от школы, тем больше эти полосы расширялись. Они лежали на незатоптанном снегу, словно редкие желтые клавиши громадного пианино.

У последней полосы, на границе тени и света, маячила маленькая меховая фигурка.

— Андрюшка,— сказал Валька издали.— Ты чего?

— А ты чего? — откликнулся Андрюшка. Он старался сказать это независимо, но получилось нерешительно и даже немного жалобно.

Валька подошел.

Андрюшка смотрел на него выжидательно и тревожно.

— Я гуляю,— тихо сказал Валька.

Андрюшка вздохнул:

— И я...

«Эх, ты!» — подумал Валька сразу про себя и про Андрюшку.

— Давно? — спросил он.

— Давно. Как ты,— честно сказал Андрюшка.

— Ну, пошли.

— Куда?

— Гулять,— усмехнулся Валька и протянул руку. Рука была без варежки.

Андрюшка сдернул вязаную рукавичку и вложил в озябшую Валькину ладонь свою ладошку — маленькую и горячую.

Так они и пошли, держась за руки, словно два маленьких мальчика. Никто не мог над ними посмеяться: улица была пуста, и только для Андрюшки и для Вальки горели фонари, окруженные светлыми облачками летящего снега.

— Завтра будет совсем тепло,— сказал Андрюшка.— По радио говорили.

— Западный ветер,— откликнулся Валька.

— Значит, будет липкий снег. И мы будем строить корабль. Из снега хорошо получится. Можно вот такие борта сделать.— Андрюшка вскинул над шапкой свободную руку.

— Ледокол? — спросил Валька.

— Ну нет... Просто корабль. С мачтами. Как у тебя в альбоме.

— А паруса? — сказал Валька.— Из снега ведь не сделаешь паруса.

— Не сделаешь,— вздохнул Андрюшка.— Ну, мы без парусов. Будто кругом шторм. Когда шторм, паруса убирают. Да, Валька?

— Не всегда,— сказал Валька.— Кое-что оставляют в любой шторм. Хотя бы кливер... Но на кливер можно найти материю.

— Валька...— нерешительно начал Андрюшка.— Знаешь что...

— Знаю. Нарисовать корабль, чтобы легче делать было. Правильно?

— Нарисовать,— согласился Андрюшка.— Только еще знаешь что?

— Что?

— Мы очень хотим, чтобы ты был у нас шкипер...

«Шки-пер»,— без усмешки повторил про себя Валька.

— Будешь? — спросил Андрюшка.

— А кто хочет? — поинтересовался Валька.— Кто «мы»?

— Павлик, Ирка, я, Юра... Все.

— Даже Ирка! — усмехнулся Валька.— Ты, Андрей, врешь. Она сама метит в капитаны.

— Не вру.— Андрюшка вырвал руку.— Вот честное октябрьское. Хочешь, за звездочку возьмусь?

Звездочка была под шубой с тугими застежками.

— Ну все равно,— Андрюшка ухватился за шарф.— Видишь, за красное держусь. Значит, не вру.... Будешь?

Глядя в снежную глубину улицы, Валька сказал:

— Буду.

— Правда?

— Я же сказал...

Видно, не совсем верилось Андрюшке, потому что был сегодня Валька немного странный.

— Честное пионерское?

Валька сбил шаг. Ноющая, как зубная боль, тревога опять всколыхнулась в нем.

Тогда Валька прищурился и глянул вдаль. Когда так смотришь, можно увидеть все, что угодно.

Валька увидел барабанщиков.

Их было гораздо больше, чем там, в лагере. Они стояли теперь сомкнутым строем. Настороженно вскинув палочки. Готовые обрушить лавину боевого грохота. И за этой тревожной готовностью Валька был как за крепкой стеной.

Он переглотнул и обыкновенным своим голосом сказал:

— Честное пионерское... Знаешь, Андрюшка, пойдем потихоньку к дому. Согласен?

— Да, капитан.

И тогда Валька засмеялся.

Он засмеялся негромко. Не над Андрюшкиным ответом. Он вспомнил.

До сих пор он был просто спокоен. Но чтобы нормально жить, человеку мало спокойствия. Нужна еще какая-то радостная звездочка, чтобы она светила впереди. И Валька вдруг подумал, что, несмотря на все случившееся, его ждет альбом с незаконченным рисунком «Легенды океана». Мальчик на берегу и стремительный парусник в опасной близости от каменных плит. Они ждут, как и раньше, чтобы мучить и радовать Вальку...

Снег все сыпал и сыпал на тротуары и газоны. Однако портрет неизвестного Вовки рядом с большой березой был еще хорошо виден. Дерево охраняло его от снегопада.

Несмотря на улыбку, Вовка с волосами-рожками и загребущими руками был совсем несимпатичен.

Валька вытащил из кармана варежку и двумя широкими взмахами уничтожил кривые буквы.

— Зачем? — удивился Андрюшка.

— Так... — сказал Валька.

Какой-нибудь Вовка, наверное, и заслуживал такого портрета. Но на свете много тысяч Вовок, и они-то совсем не виноваты.

В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА





ДАЛЕКИЕ ГОРНИСТЫ

Это просто сон. Я расскажу его точно, как видел. Ни до этого раза, ни потом не снились мне такие подробные и яркие сны. Все помню так отчетливо. Помню, как трогал старые перила в лунном доме и рука ощущала теплое дерево: волнистые прожилки и крепкие затылочки сучков, отшлифованных многими ладонями. Помню, как пружинили доски деревянного тротуара, когда на них качался Братик. Помню, какой большой и выпуклой была тогда луна...

Я видел, что мне одиннадцать лет и я приехал на каникулы к дяде в Северо-Подольск. Не знаю, есть ли на свете такой город. Если и есть, то не тот и не такой. А дядя и вправду есть, но живет он в Тюмени. Впрочем, это неважно, в рассказе он все равно не участвует.

Сон мой начинался так: будто я проснулся в дядином доме, в пустой деревянной комнате, звонкой, как внутренность гитары. И понял, что пришло хорошее утро.

Утро и в самом деле было славное. Весело ссорились воробьи, и чириканье их громко отдавалось в комнате. Часто вскрикивали автомобили. В большом городе такого не услышишь.

Я и раньше знал, что дядин дом стоит у крепостного холма, но не думал, что так близко. Окно смотрело прямо в заросший откос. Он был щедро усыпан цветами

одуванчиков. Неба я не видел, но одуванчики горели так ярко, что было ясно: солнце светит вовсю.

Я машинально потянулся за одеждой. На спинке скрипучего стула оказались старенькие синие шорты и клетчатая рубашка. Я таких у себя не помнил, но было все равно. Оделся. Заметил, что рубашка чуть маловата и одна пуговица болтается на длинной нитке.

Потом я распахнул окно. Зеленый с желтой россыпью откос как бы качнулся мне навстречу. Я встал на подоконник и прыгнул в утро, полное травы и солнца.

Я стал подниматься по холму к развалинам белых башен. Солнце сразу взялось за меня. Даже сквозь рубашку я чувствовал его горячие ладони. Старенькие кеды скользили по траве, и я немного устал. Вытянул руки и лег лицом в желтые одуванчики. Они были мягкие и пушистые. Вы замечали, что у них даже запах какой-то пушистый? Запах летнего утра. Пахло еще травой и землей, но этот пушистый запах был сильнее.

Лежал я недолго. Солнце слишком припекало спину, я вскочил и одним броском добрался до остатков крепости. Только снизу они казались белыми. Здесь камень был светло-серый, с рыжими подпалинами какого-то лишайника.

Стены почти все были разрушены. Уцелевшими выглядели только две остроконечные шатровые башни. Совсем такие, как рисуют в книжках с русскими сказками. А еще на холме был высокий собор с заколоченным крест-накрест входом, полуразрушенная часовенка и низкий каменный дом. Тоже пустой.

И тихо-тихо. Ни кузнечиков, ни воробьев.

Я оглянулся на город. Увидел коричневое железо крыш, темную зелень тополей, электричку, бегущую по желтой насыпи, два подъемных крана... Там все было так, как нужно. А здесь было не так. Я оказался как бы на острове.

У разрушенной стены валялась чугунная пушка с выпуклым двуглавым орлом на черной спине. Чугун был теплый и шероховатый, весь в оспинках. Я поглядел на уснувшую пушку, перелез через камни и вошел в густую траву. Хорошо помню это ласковое ощущение детства: идешь по высокой траве, раздвигаешь ее коленками, и метелки травы мягко щекочут кожу.

Мне хотелось найти старинную монету или обломок меча, но кругом были трава и камни. Тогда я пошел к башне. Низко, за травой, темнел полукруглый вход.

Я сделал несколько шагов — пять или шесть — и ничего не случилось, но, как мягкий толчок, меня остановило предчувствие тайны. Тайны или приключения. Так бывает и во сне, и наяву: возникает ожидание чего-то необычного. Во сне это чувствуешь резче.

Я остановился и стал ждать. И тут появились эти двое.

Впрочем, не было в них ничего странного. Просто двое мальчишек. Пригнувшись, они вынырнули из похожего на туннель входа и пошли мне навстречу.

Одному было лет одиннадцать, как мне, другому поменьше — наверное, лет восемь.

Старшего я не сумею описать точно. Знаю только, что он был темноглазый, тонкоплечий, с темной, косо срезанной челкой. Черты лица почти забылись, но выражение, сосредоточенное и сдержанно-грустное, я помню очень хорошо. И запомнилась еще такая мелочь: пуговицы на темной его рубашке шли наискосок, словно через плечо была переброшена тонкая блестящая цепочка.

Потом, когда мы узнали друг друга, я называл его по имени. Имя было короткое и звучное. Я забыл его и не могу придумать теперь ничего похожего. Я буду называть его Валеркой: он похож на одного знакомого Валерку. Но это потом. А сначала он был для меня просто Мальчик, немного непонятный и печальный.

Младшего я помню лучше. Это странно, потому что он был все время как-то позади, за старшим братом. И не о нем в общем-то главная речь. Но я запомнил его до мелочей. Ясноглазый такой, с отросшим светлым чубиком, который на лбу распадался на отдельные прядки. Он был в сильно выцветших вельветовых штанишках с оттопыренными карманами и в светло-зеленой, в мелкую клетку, рубашке. Помятая рубашка смешно разъехалась на животе, и, как василек, голубел клочок майки.

У него были темные от въевшейся пыли коленки и стоптанные сандалии. На левой сандалие спереди разошелся шов. Получилась щель, похожая на полуоткрытый рыбий рот. Из этого «рта» забавно торчала сухая травинка.

На переносице у малыша сидели две или три крапинки-веснушки, а на подбородке темнела длинная царапина. Она была уже старая, распавшаяся на коричневые точки.

Верхняя губа у него была все время чуть приподнята. Казалось, что малыш хочет что-то спросить и не решается.

Конечно, разглядел я все это позже. А пока мы сходились в шелестящей высокой траве, молча и выжидательно посматривая друг на друга. Я опять ощутил оторванность от мира. Будто я не в середине города, а в незнакомом пустом поле, и навстречу идут люди неведомой страны. Почти сразу это прошло, но ожидание таинственных событий осталось.

Вдали протяжно затрубил тепловоз. Оба они обернулись. Младший быстро и порывисто, старший как-то нехотя.

— Ничего там нет,— громко сказал Мальчик.

Я подумал, что они говорят про башню, где недавно были. Видимо, это были «исследователи» вроде меня.

— Что вы ищете? — спросил я.

— Следы,— сказал Мальчик.

Малыш встал на цыпочки и что-то зашептал ему в ухо. Мальчик улыбнулся чуть-чуть и молча взъерошил малышу затылок. Тот смущенно вздохнул и смешно сморщил переносицу. «Братик»,— подумал я. И с той минуты всегда звал его про себя Братиком. Может быть, это звучит сентиментально, однако другого имени я ему не найду. Был у Мальчика не просто младший братишка, а именно братик — ласковый и преданный.

Но вернемся к разговору. Мальчик сказал про следы Чьи следы?

— Времени,— спокойно ответил он.

— Ничего нет,— понимающе сказал я.— Никаких монет, никакого ржавого обрывочка кольчуги не найдешь. Только пушка. Но ее не утащишь для коллекции.

— Пушка — это не то,— сказал он рассеянно. И спросил, как бы спохватившись: — А камней с буквами не видел?

— Нет.

— Значит, никто не знает, где мы,— сказал он почти шепотом и опустил голову.— Иначе они вырубили бы на камнях какой-нибудь знак. Такой, что не стерся бы.. Хотя бы одно слово.

— Твои знакомые? Туристы? — спросил я с разочарованием, потому что только туристы пишут на старинных камнях.

— Нет, — с короткой усмешкой ответил он. — Тогда туристов не было.

«Когда?» — хотел спросить я, но что-то помешало. Не страх и не смущение, а какая-то догадка. И потом, когда он все рассказал, я не удивился и поверил сразу.

Мы стояли по колено в траве, и на ее верхушках лежала между нами тень жестяного флага — флюгера башни. Я шагнул, разорвал тень коленями и встал рядом с Мальчиком.

— Пойдем, — не то сказал, не то спросил он, и мы пошли рядом, словно сговорившись, что у нас одна дорога.

Из травы мы выбрались на каменистый пятачок. Там сидел и шурился рыжий котенок. Он увидел нас и разинул маленький розовый рот: или зевнул, или сипло мяукнул.

— Ой!.. — радостно сказал Братик. Шагнул было к котенку, но раздумал и стал шевелить пальцами в разорванной сандали. Торчащая соломинка задергалась. Котенок припал к камню и задрожал от азарта.

Потом он прыгнул на сандалию.

— Пф, — сказал Братик и легонько топнул.

Ух, какой свечкой взвился рыжий охотник! А потом вздыбил спину и боком, боком, боком на прямых ногах ринулся прыжками в травяные джунгли.

— Ой! — уже встревоженно воскликнул Братик. И помчался следом. И мы тоже.

Котенка мы не нашли, но было так здорово бежать по траве под горячим солнцем! Мы промчались через весь холм и остановились у противоположного откоса. Глинистая крутая тропинка сбегала среди одуванчиков к городу. Братик раскинул руки и помчался, поднимая подошвами дымки рыжей пыли. Мальчик молниеносно и как-то встревоженно бросился за ним. И я помчался!

Цветы одуванчиков сливались в желтые полосы. Синий воздух шумно рвался у щек, свистел в ногах. Город летел ко мне, и я летел к нему навстречу.

Впрочем, внизу я полетел по-настоящему — запнулся за кирпич. Левое колено попало на щебень. Еще не открывая глаз, я знал, что кожа содрана до крови. Тоже ощущение детства, хотя и не очень ласковое. Конечно, хотелось зареветь, но пришлось сдержаться. Я открыл глаза.

Мальчик лежал рядом. Ничком. Над ним встревожено склонился Братик. Резкий страх поднял меня на ноги. Я тряхнул Мальчика за плечо.

— Что с тобой?

Он приподнял голову и посмотрел так, словно хотел увидеть не меня, не эту улицу, а что-то совсем другое.

— Ничего,— устало сказал он и встал.— Все то же. Я занялся своей раной. На колене багровел кровоподтек. Из длинных черных царапин щедро выкатывались алые горошинки крови.

— Приложи подорожник, и все пройдет,— негромко, со знанием дела посоветовал Братик. Я кивнул и, хромая, отправился искать подорожник. И не знаю, как оказался в незнакомом переулке. Темнели с двух сторон массивные старинные ворота, лежала тень, и сами по себе скрипели деревянные тротуары.

Стало грустно, что вдруг потерялись новые друзья. Чувствовал я, что встреча была не случайной.

Я стал искать. Менялись улицы, наклонялись навстречу дома. Пружинили под ногами тротуары, и качались травы. Солнце уходило за купол старинного крепостного собора.

Наконец я увидел Мальчика и Братика. Они стояли у массивных ворот бревенчатого дома. Дом был похож на деревянную крепость.

Мальчик стоял, прислонившись к столбу калитки, а Братик лениво качался на прогнувшейся доске тротуара.

— Куда вы исчезли? — обрадованно сказал я.— Бегаю, ищу...

— Никуда,— равнодушно сказал Мальчик.

— Пойдем наверх.

— Нет.

— Почему?

— Не знаю.

— Ну... разве здесь лучше?

— Не знаю...— опять сказал он.— Не пойму. Здесь все какое-то ненастоящее. Будто все только кажется.— Он пошатал доску забора, словно проверял: может быть, и она не настоящая.

Я не удивился, только стало обидно.

— А я? — спросил я с неожиданной горечью.— Значит, и я не настоящий? Ну, посмотри...— Я протянул ему ладонь.

Он подумал, взял меня за рукав. Потом его узкая ладонь охватила мою кисть.

— Ты? Ты настоящий! — сказал он как-то светло и радостно.

И я понял, что он мне нужен, что я хочу такого друга.

Помню, что с этого момента я стал звать его по имени.

А Братик смотрел на нас молча и покачивался на доске.

Над крышами зеленел край холма, и острые башни с флюгерами белели, как декорации к сказке.

Глядя на башни, Валерка сказал:

— Мы жили не здесь... Вернее, здесь, но... не так. Крепость была целая, и башни новые. И люди там жили... А кругом поля. И такая высокая трава. Она при луне как серебро.

— Когда это было? — спросил я, и стало немного страшно.

Он вздохнул и, как бы делая трудный шаг, тихо ответил:

— Ну... наверное, пятьсот лет.

— Да,— неожиданно подтвердил Братик.

Как будто холодная волна прошла между нами. Словно все эти пятьсот лет дохнули ветром, чтобы развеять нас в стороны. Я торопливо шагнул ближе к Валерке.

— Слушай... А может быть... это тебе только приснилось?

Он не обиделся и не ответил. Только головой покачал. Потом сказал:

— Это здесь, как во сне... если бы не ты.

И было так хорошо, что он сказал: «Если бы не ты». Значит, он тоже хотел, чтобы я был. С ним!

Но это время... Пятьсот лет!

— Как же ты... Ну, как вы попали сюда?

— Я расскажу. Потом, ладно?

Мы помолчали.

— А как вы живете, у кого?

Валерка небрежно оглянулся на дом.

— Не знаю. Мне все равно. Какие-то старики... Вот он знает, наверное... — И Валерка посмотрел на Братика. Тот молчал и понимающе слушал нас. Видимо, он знал. Кажется, он вообще знал больше брата.

— А... — начал я и замолчал, устыдившись пустых

слов. Отчетливо и на всю глубину вдруг почувствовал, какая же тоска должна быть у этого мальчишки. Как ему хочется домой, где башни и лунная трава у крепостных стен.

— И никак нельзя вернуться?

Он медленно поднял глаза на меня и пожал плечами.

И тогда опять на цыпочки встал Братик. Он что-то сказал ему. Валерка слушал недоверчиво, но внимательно. Потом произнес вполголоса:

— Да ну... сказка.

Братик зашептал опять. Валерка виновато взглянул на меня.

— Он говорит, что, если найти очень старый дом... со старинными часами...

— Ну?

— И перевести часы назад...

— На пятьсот лет? — спросил я у Братика.

— Да, — шепотом сказал он.

— И тогда что?

— Тогда, наверное, порвется цепь...

— Какая цепь?

— Не знаю...

— А откуда ты все это взял?

— Не знаю... — он чуть не плакал, оттого что не знает.

Валерка ласково взял его за плечо.

Я сказал:

— Рядом с нами есть очень старый дом. Он заколочен.

— А часы?

— Надо посмотреть.

Но я уже был уверен, что часы там есть.

...События нарастали, и время ускоряло бег.

Я помню пустой солнечный двор старого дома. Крыльцо с витыми столбиками, потрескавшиеся узоры на карнизах, галерею с перилами. Окна и дверь были забиты досками. Мы подошли к окну.

— Надо оторвать доски, — сказал я.

— А если увидят? — засомневался Валерка.

— Все равно, лучше сейчас оторвать. Если сейчас увидят, скажем: просто так, поиграть хотели. А если ночью заметят, решат, что воры...

— Давайте, — согласился он.

И тут пришел страх. Непонятный и тяжелый. Это бы-

вает лишь во сне: кругом пусто и солнечно, а страшно так, что хочется бежать без оглядки. Но если побежишь, ноги откажут и случится что-то жуткое.

Я не побежал. Тугим, почти физическим усилием я скрутил страх и взялся за край доски. Валерка за другой. С отвратительным кряканьем выползали ржавые гвозди.

Освободив окно, мы пошатали раму, и створки мягко разошлись. В доме стоял зеленый полумрак, пробитый пыльным солнечным лучом.

Часов мы не увидели, но из глубины доносилось тяжелое металлическое тиканье.

Страх медленно проходил.

— Лезем,— прошептал я.

Надо в полночь,— возразил Валерка.

— Конечно! — сказал я с неожиданной досадой.— Ну конечно! Все такие дела делаются в полночь... Чушь какая-то!

— Да не обязательно,— откликнулся он виновато.— Но стрелки можно вертеть, пока бьют часы. Вертеть надо очень долго, а в полночь часы бьют дольше всего.

На это нечего было возразить.

Мы закрыли окно.

Слышишь? — вдруг спросил Валерка.

Что?

Труба играет. Далеко-далеко.

Я не слышал. И сказал:

Наверно, электричка трубит.

Да? — неуверенно проговорил он. А Братик посмотрел на меня осуждающе.

И тут наступил вечер.

..Мы снова поднялись на холм, к развалинам стены, и сели на пушку. Она еще не остыла от дневного солнца. От стены тоже веяло дневным теплом, но воздух посвежел. Резко пахло холодными травами. Последние краски дня перемешались с вечерней синевой. И встала круглая луна. Очень большая и какая-то медная.

— Луна была такая же,— вдруг тихо сказал Братик

Я не видел его, потому что между нами сидел Валерка. Я наклонился и посмотрел на Братика. Мне показалось, что он плачет, но он просто сидел, упершись лбом в колени. И теребил траву. Потом он резко поднял голову.

— Опять,— напряженно сказал Валерка.— Слышишь?

Я прислушался и на этот раз действительно услышал, как играют горнисты. Далеко-далеко. Пять медленных и печальных нот перекатывались в тишине. Вернее, где-то позади этой тишины, за горизонтом уснувших звуков. «Тá-а-та-та, та-та-а».

— Ну и что? — неуверенно спросил я.— Кругом много лагерей. Отбой играют. Что такого?

— Наверное...— согласился Валерка.— Только... разве это отбой?

— Это зовущий сигнал,— спокойно и уверенно сказал Братик.— Ты не помнишь?

Валерка не ответил.

Сигнал, печальный и незнакомый, звучал во мне и все повторялся. Как-то сами собой подобрались к нему слова: «Спать не ложи-и-те-есь... Ждет вас доро-о-о-оога-а...»

Что им не спалось, горнистам?

— Я был трубачом,— вдруг сказал Валерка, не глядя на меня.— Ну... я обещал рассказать. Я был трубачом и дежурил на левой угловой башне... Всегда... И в тот вечер тоже. Они взяли крепость в кольцо, а у нас не хватало стрел. Они жгли костры, и всадники Данаты скакали у самого рва...

— Кто такой Даната? Князь? Или вождь?

— Начальник арила,— сказал Валерка. И я больше не стал спрашивать.

— И Даната послал Ассана, своего брата и друга, будто для переговоров. Ассан поднял шлем на копье, и мы, когда увидели его без шлема, опустили мост. Мы не знали... Он въехал на мост и перерубил канат; мост уже нельзя было поднять. Даната с конниками ворвался в ворота. А следом вошли тяжелые меченосцы. И полезли на стены, на галереи. На башни...

— Ты был без оружия?

— Вот у него,— Валерка посмотрел на Братика,— был маленький лук. Ну, игрушка. Даже кожаный щит пробить было нельзя. А меченосцы пришли в панцирях... Они, наверное, не тронули бы нас, но я заиграл, чтобы у дальних стен построились для рукопашного боя. Тогда меченосец замахнулся на меня. Я закрылся от меча трубой, отступил на карниз. А мы были вместе...— Он неожиданно притянул Братика за плечо, и тот послушно прижался к старшему брату.

— Я отступил,— сказал Валерка,— и толкнул его нечаянно. Он упал в ров. Тут уж я про все забыл, обернулся, чтобы посмотреть, испугался. А он даже не ушибся: было невысоко и трава густая. Стоит внизу и на меня смотрит. Я обрадовался, а меня вдруг как толкнет что-то. Я упал... и вот здесь... Если бы ты знал,— тихо сказал он.— Ходишь, ходишь по этой траве... Думаешь, может... может, хоть камушек знакомый попадется. А ничего нет... И как там кончился бой?

Я молчал.

— У меня даже трубы не осталось,— вздохнул Валерка.

Наяву я, конечно, бросился бы в темную пропасть догадок: кто он, откуда? Не было здесь никакого Данаты с тяжелыми меченосцами. С какой планеты эти двое мальчишек, из какой Атлантиды? Уж чего-чего, а фантастики я начитался и умел размышлять о таинственных ветрах пространства и времени.

Но там, на крепостном холме, я думал совсем о другом. Я с возрастающей грустью думал, что скоро он уйдет. Мне очень нужен был друг, но Валерка собирался уйти, и Братик тоже

Из жерла пушки не торопясь вылез котенок. Было еще не совсем темно, и я разглядел, что это наш знакомый Рыжик

Он опять сильно мяукнул, выгнул спину и начал мягко тереться о мою ногу

— Смотри, сказал я Братику. Он тихонько обрадовался, подхватил котенка на колени, и тот заурчал негромко, будто наш электросчетчик в коридоре.

— Пойдем искупаемся,— сказал Валерка.— До двенадцати далеко.

Я встал. Я тоже любил купаться в сумерках. Мы гуськом спустились к маленькому пруду.

Вечер темнел. Был он не синий, не сиреневый, а какой-то коричневатый. Бывают такие вечера. Желтый шар луны повис в теплом воздухе и отражался в воде расплывчатым блином. Высокие кусты окружили пруд, закрыв огоньки и темные силуэты крыш. Пахло чуть-чуть болотом и горьковатой корой деревьев.

Мы ступили на дощатый мостик.

— Раздевайся,— сказал Валерка Братику.

— Нет. Он тогда убежит...—Братик покачал у груди котенка. Потом он стряхнул сандалии и сел, опустив ноги в воду.

— Ух, какая теплая...

Мы с Валеркой разделись. Я сразу скользнул с мостика — осторожно, чтобы не испугать плеском тишину. Вода и в самом деле была словно кипяченая. Дно оказалось илистым, но не очень вязким. Я пяткой попал на бугорок из увядших водорослей. Оттуда, рванувшись, побежала вверх по ноге щекочущая цепочка воздушных пузырьков.

Я присел на корточки, распрямился у самого дна и поплыл под водой, раздвигая редкие камышинки. Потом открыл глаза и глянул вверх. Луна просвечивала, как большой желток. Я вылез на мостик, дождался Валерку. Мы молчали. Оделись и пошли к старому дому.

Вечер превратился в ночь. Небо стало темно-зеленым, а луна почти белой.

Я боялся только одного: вдруг появится опять непонятный тягучий страх. Но страха не было. Темный дом под луной казался таинственным, но не опасным.

Мы раскрыли окно. Я скользнул в него первым. Пол был ниже земли, и, когда я прыгнул внутрь, подоконник оказался выше моей головы. Я принял на руки Братика. Он сразу прижался ко мне.

— Боишься? — удивился я.

— Немножко,— шепотом сказал он.

Спустился Валерка. Половицы дружелюбно скрипнули.

Мы были в широком коридоре, вдоль которого посередине зачем-то тянулись точеные перила. На горбатом полу раскинулись зеленые лунные квадраты. От них было светло.

Скользя ладонью по перилам, я пошел к открытой двери, из которой доносился стук часов. Был он громкий, словно в металлический ковшик роняли железные шарики. Братик обогнал меня, он уже перестал бояться.

Мы вошли в квадратную комнату и сразу увидели часы. Они были старые и громадные, ростом выше взрослого мужчины. Стояли они на полу — такой узкий застекленный шкаф с резными деревянными рыцарями по бокам дверцы. Рыцари были ростом с Братика. Они стояли, положив руки в боевые перчатки на перекладины мечей. Я почему-то подумал о меченосцах Данаты.

Вверху, за стеклом дверцы, мерцал фарфоровый круг с черными трещинами и медными римскими цифрами. Узорные стрелки показывали без двух минут двенадцать. Внизу тяжело ходил маятник, похожий на медную сковородку.

— Ну, давай, берись за стрелки,— сказал я.— Пора Валерка с досадой пожал плечами.

— Да не могу я. Ну... нельзя нам. Ничего не выйдет! Это ты один можешь. Понимаешь?

Я кивнул и, покосившись на рыцарей, потянул дверцу. Она отошла, и стук часов стал еще громче. Я поднялся на цыпочки и прикоснулся к большой стрелке. Она была холодная, как сосулька. Внутри часов нарастало скрежетанье. Мы напряженно замерли. Скрежетанье исчезло, и мягко, негромко толкнулся первый удар

— Верти! — тонко крикнул Братик.

Я завертел стрелку так, что она расплылась в прозрачный круг, на котором вспыхнули лунные искры. Часы удивленно промолчали, потом ударили еще два раза. И тут я с отчетливой тоской понял, что мы расстаемся. Валерка и Братик исчезнут сейчас, и я останусь в этом пустом лунном одиночестве. Мы даже не успеем ничего сказать друг другу.

Я так не мог!

Рука слегка задержала стрелку.

— Ну, что ты? — не сердито, а как-то жалобно крикнул Валерка.— Крути! Боишься?

Я подумал, что теперь всю жизнь он будет считать меня предателем. И снова нажал на стрелку. Но тут пришла спасительная мысль.

— Бесполезно,— сказал я, устало обернувшись,— Потому что не успеть. Ну смотри: один круг — это один час. В сутках двадцать четыре часа. В году триста шестьдесят пять суток. А за пятьсот лет? Это больше четырех миллионов оборотов!

Наяву я ни за что бы не сосчитал так быстро: арифметику всегда еле тянул на тройку...

Часы ударили последний раз, и навалилась тишина.

Валерка и Братик были рядом, но я не радовался. Им было очень грустно, и я чувствовал себя виноватым. Надо было все же вертеть стрелки до конца. Всегда надо вертеть до конца.

— Тогда пусть возьмет меч,— вполголоса, но настойчиво сказал Братик.

— Какой меч? — спросил я.

— Он не тяжелый, — торопливо сказал Братик. — Только им надо убить Железного Змея. Это он держит нас в плену.

— Сможешь? — нерешительно и с надеждой спросил Валерка.

Начиналась совсем уже сказка. А у сказки свои правила. Я знал, что смогу. Убью Железного Змея, и все будет хорошо. Для Валерки и для Братика. А для меня?

— Только этот меч на старом кладбище, — виновато сказал Валерка.

— Подумаешь...

— Тогда пойдем?

— Пойдем.

Мне очень не хотелось идти. Я ни капельки не боялся ночного кладбища, но опять стало тоскливо. Сказка разворачивалась по своим законам, и я знал: скоро надо расставаться с Валеркой.

Можно было бы не ходить, придумать что-нибудь, отказать. Я чувствовал, что он даже не обидится. Но я шел, потому что ни во сне, ни наяву дружбу не завоеешь предательством.

Лунные улицы были совсем не похожи на дневные. Афишные тумбы напоминали маленькие терема. От них падали очень черные тени. На углу, где раньше стоял киоск, возвышалась трансформаторная будка, очень странная: на громадном разлапистом пне — бревенчатая кособокая избушка. От нее тянулись провода. С пня спрыгнул на асфальт крошечный гном с электрическим фонариком и юркнул в подворотню. Я не удивился.

Мы вышли на освещенное луной место. Кругом были травянистые холмики и серые продолговатые камни, похожие на обломки бетонных панелей. На камнях темнели буквы. Торчало несколько кривых крестов. Один крест — очень маленький, но на длинной ножке — ярко блестел.

И вдруг я понял: это воткнутый в холмик меч с крестообразной рукоятью.

Валерка с Братиком остановились. Я шагнул к мечу. Витая рукоятка с перекладиной была на уровне моих плеч. Я ухватил ее двумя руками и потянул. Клинок легко-легко вышел из земли. На лезвии не осталось ни

крошки чернозема. Лунный свет буквально стекал по сверкающему лезвию. Казалось, он начнет падать с острия тяжелыми каплями.

Меч был удобный — рукоятка увесистая, а клинок легкий. Крути над головой, как хочешь. Я взмахнул им и...

Земля ушла из-под ног, словно пол рванувшегося автобуса. Пространство сдвинулось, перекошилось... и мы опять оказались в старом доме.

Шкаф из-под часов стоял на прежнем месте, но циферблата и маятника не было. Вместо них блесстел за стеклом дверцы мой меч.

— Теперь бери смело, — сказал Валерка.

— Бери, — сказал Братик.

И я взял, хотя сердце бухало, как колокол.

— Ну, где ваш Змей?

— Пойдем, — как-то скованно отозвался Валерка.

Я его понимал: ему было неловко, что не он идет на поединок. Но ведь он был не виноват, что у этой сказки такие законы.

Снова мы пошли по ночному городу. По краям улицы стояли темные деревья. Идти было грустно.

— Знаешь, что... — сказал Валерка.

Я знал. Он хотел сказать, что остался бы, но не может. Обязательно ему надо туда, где не закончена битва, где он оставил свою трубу.

— Понимаю... — сказал я и посмотрел на Братика. Вот Братик, пожалуй, остался бы. Если с Валеркой. Потому что ему важно одно: чтобы рядом был старший брат.

Улица становилась все темнее, превращалась в глухую аллею. Стволы и ветки смыкались, заслоняя лунный свет. А мы шли и шли.

А потом за поворотом ударили по глазам лучи, и мы увидели, что уже утро, почти день.

Мы стояли на большом пустыре, поросшем чахлой полынью. В полыни валялся белый конский череп. Костлявый старик таскал за собой на веревке костлявую козу: искал, где трава получше. На нас он посмотрел со злобой и опаской.

На краю пустыря желтел глинистый бугор с черной норой, похожей на подземный ход.

— Смотрите,— звонко сказал Братик.

Из черной дыры выбиралось на свет смешное железное чудовище. Этаким громыхающий Змей Горыныч. Туловище было похоже на ржавую цистерну с наростами из помятых рыцарских панцирей и кирас. Сзади волочился членистый хвост из металлических бочек, дырчатых ведер и бидонов. Между ними я заметил несколько сломанных набедренников и налокотников от старинных лат. Скрежетали крылья из кровельных листов и автомобильных дверок. Голова щелкала челюстями, как медвежьим капканом. Вместо глаз у нее блестели треснувшие фары.

Я с любопытством следил за этой живой грудой металлолома. Она вдруг перестала грохотать, бесшумно поднялась в воздух и понеслась на меня с нарастающим реактивным свистом.

Без страха, даже без всякой тревоги я поднял навстречу сверкающий меч. Он прошел сквозь железную рухлядь, как сквозь бумагу. И тут же вокруг меня стали падать друг на друга гремящие обломки. Последним упало к моей ноге автомобильное колесо.

— Вот и все,— сказал я.

Сухо пахло пылью и полынью.

— Вот и все,— повторил Валерка.

Валерка и Братик стояли рядом. Они были рядом со мной, но уже как бы за стеклянной стенкой. Они думали не обо мне. Смотрели мимо, за горизонт.

«Может быть, останутся все-таки?» — подумал я, но вслух не спросил. Знал, что не останутся, и было горько.

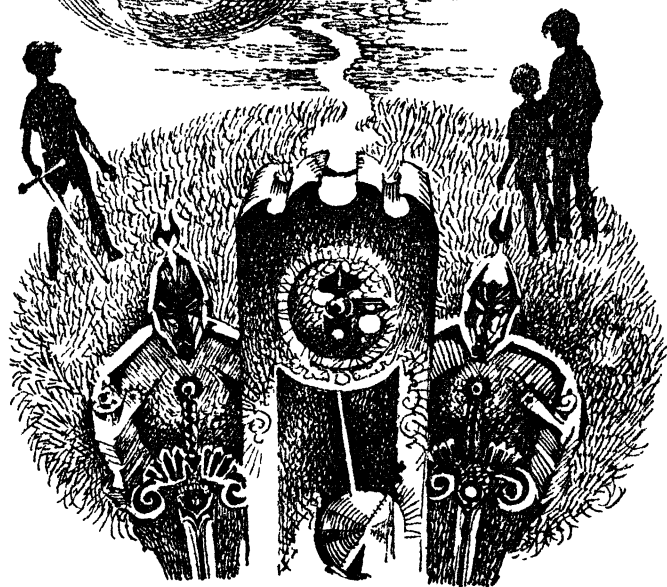
Что-то пушистое задело мою ногу. На автомобильном колесе сидел и зевал рыжий котенок. А я забыл о нем! Я взял котенка на руки, и он, конечно, опять заурчал. Валерка и Братик смотрели на меня молча.

— Как же вы попадете домой? — спросил я.

— А, теперь это все равно как. Пустяки,— с преувеличенной бодростью откликнулся Валерка. Он уложил поровнее на землю дверцу от самосвала, пристроил к ней железную стойку, а на нее прицепил автомобильный руль.

— Вот и машина,— сказал он.— Это ведь неважно... Пора.

Он и Братик встали на дверцу. Я понял, что сейчас они уйдут совсем. Было нечего сказать на прощанье. Вернее, незачем было говорить.



Валерка смотрел на меня виновато.

Братик вдруг встал на цыпочки и зашептал ему на ухо. Валерка неловко улыбнулся:

— Он спрашивает, можно ли взять с собой котенка.

— Конечно! — торопливо воскликнул я.

Невидимая стеклянная стенка на несколько секунд растаяла. Братик прыгнул с диванца, подошел и торопливо взял в ладошки нашего рыжего найденыша. Тот даже не перестал урчать.

— Спасибо, — одними губами сказал Братик.

Потом они опять встали рядом, и «машина», приподнявшись над землей, заскользила к горизонту. И сразу стала таять...

— Может быть, еще вернутся? — сказал я себе вполголоса.

— Зачем? — скрипуче спросил подошедший старик. Я промолчал.

— Хулиганство одно на уме, — проворчал он.

У меня скребло в горле: не то от слез, не то от пыли. И болела рука. На тыльной стороне ладони алел глубокий порез. Видно, царапнуло обломком железного змея.

«Приложи подорожник, и все пройдет...» — вспомнил я. И пошел искать подорожник. Но его не было. За пустырем началась густая трава. Я брел по ней, и пушистые метелки ласково трогали колени. Я слизывал с руки капельки крови. Сон угасал, как гаснет киноэкран, когда на кадрах бывает затемнение.

Я просыпался, будто проваливаясь в светлую щель. В окно било яркое утро. Однако сон еще держал меня в мягких ладонях. Я машинально поднес к губам руку, чтобы слизнуть кровь. Но пореза не было, боль быстро проходила...

Во дворе хлопала калитка и деловито орал соседский петух. Я вскочил, оделся и стал жужжать электробритвой.

И тут пришел Володька, с которым два дня назад мы сильно поссорились. Он был сам виноват тогда, но обиделся и ушел со слезинками на ресницах. Ушел, не сказав ничего, не ответив на оклик. Так уходят, чтобы совсем уж не возвращаться. И мне было очень горько, что он не придет, не будет, сидя в кресле, листать

мои книги, не будет «давить клопов» на моей пишущей машинке и рассказывать о своих приключениях. И я хотел даже найти Володьку, чтобы помириться, хотя и не был виноват. Но не помирился. Не потому, что я взрослый, а он маленький. Просто он уехал к своему деду на другой конец города.

И вот он пришел. Вернее, прибежал. Коричневый, в белой маечке, натянутой на мокрое тело, с влажными волосами. Легкий и тонконогий, как олененок.

— Здравствуй! — сказал он. — Ты дома? Пойдем купаться! Знаешь, какая теплая вода! Ну, пойдем... Да?

Он говорил, пританцовывая на пороге, и смотрел веселыми влажными глазами. И только в глубине этих глаз была виноватинка: «Ты не вспомнишь обиду?»

А обиды у меня не было. Была только радость, что он вернулся.

И мы, конечно, пошли купаться на пруд, к плотине, где уже собрались все мальчишки с нашей улицы. По краям тропинки цвела белая кашка, отчаянно звенели кузнечики, а в небе стояли желтые кучевые облака, похожие на дирижабли.

Володька прыгал впереди и порой оглядывался. Виноватинки в глазах еще не совсем исчезли.

Я улыбался ему и вспоминал сон. Хороший сон про возвращение в детство. Про то, как грустно бывает расставаться с другом, но тут уж ничего не поделаешь. Раз у него страна, где не доиграна битва и где он оставил свою трубу.

А может быть, он все-таки вернулся бы?

Я тоже порой ухожу в далекую страну, где живет мой друг Алька Головкин из четвертого «А», и пружинит под ногами тротуар, и сосновые кораблики с клетчатыми парусами плывут к дальним архипелагам. Там сколько хочешь можно ходить по колено в траве, запускать с крыши бумажного змея и воевать с пиратами. Там всегда выходишь победителем из поединка со злом, потому что нет оружия сильнее, чем деревянная шпага.

Но ведь я возвращаюсь. К Володьке. Ко всем.

Конечно, если бы сделать, чтобы никакие ветры, никакие годы не разделяли друзей! Если бы время не отнимало у человека детство... А может быть, это можно сделать? Если очень постараться?

— Если постараться, всего добьешься. Да, Володька? — спросил я.

— Нет,— сказал он, даже не обернувшись.— Не всего.

— Почему?

— Нипочему. Не всего, вот и все.

— Например? — начал я раздражаться.

— Например, попробуй загнать муху в мыльный пузырь, и чтобы он не лопнул.

Я обиделся, но он даже не заметил. Потом я перестал обижаться, и мы купались, пока не перемерзли до крупной дрожи. Тогда мы пошли домой.

Я насвистывал сигнал, который запомнился мне во сне: «Тá-а-та-та тá-та-а...»

— Это ты «Исполнение» свистишь? — вдруг спросил Володька.

— Что?

— Ну, сигнал. Я же знаю. Я два раза в лагере горнистом был. Это сигнал «Все исполняйте».

И он просвистел так же, как я, пять протяжных нот.

— Выдумываешь все,— проворчал я.

— Пойдем напрямик, через парк,— сказал Володька.

— А куда ты идешь? Вон где ворота!

Он вздохнул, удивляясь моей недогадливости. Отодвинул в заборе доску и показал: «Лезь».

По ту сторону забора, на опрокинутой мусорной урне, сидел рыжий котенок с удивительно знакомой мордой.

— Что-то знакомая личность,— сказал я.

— Это же Митька. Мы его в беседке нашли. Кормим по очереди. А он привык и за нами бегают, за всеми ребятами... Ну, опять сбежал из дома, разбойник!

Митька беззвучно мявкнул. Володька сгреб его и сунул под майку.

— Сиди тихо!

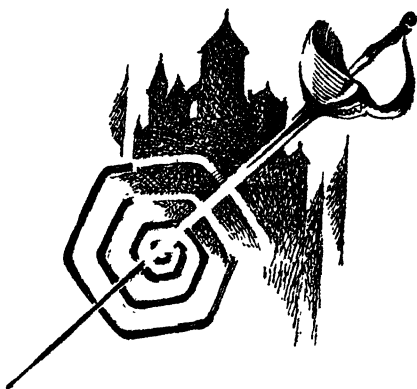
Я свернул на дорожку, но Володька сказал:

— Куда ты? Пойдем прямо.

Он дал мне ладошку и повел через высокую траву и кусты шиповника.

— И как ты ухитришься не исцарапаться? — спросил я.

— Пфе,— сказал он..И шлепнул по животу, чтобы рыжий разбойник Митька сидел спокойно.



В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА

1

Я не виноват, я не хотел этого. Я убеждал себя, что непростительно забивать голову сказками. Говорил себе: «Ты взрослый человек, у тебя серьезная работа. Думай о ней». И думал о работе. Целыми днями. Но по утрам, сам того не желая, пытался собрать в памяти обрывки сновидений.

Нет, Северо-Подольская крепость мне больше не снилась. Снился залив под желтым закатом и зализанный ветрами песчаный плоский берег. На берегу стояли каменные арки, а под ними висели сигнальные колокола — разных размеров. Заметно было, что колокола заброшены: у многих не было языков. Из песка торчали высокие травинки, и ветер пригибал их.

Еще я видел солнечные, но совершенно пустые улицы незнакомого города. А еще — внутренность круглых крепостных башен. По вогнутым стенам вились полуразбитые каменные лестницы. В узкие окна били пыльные полуденные лучи. Из поржавевших железных скоб срывались и падали погасшие факелы.

...Тех двоих я ни разу больше не видел. Но на берегу, на пустых улицах, на стертых ступенях лестниц я чувствовал: они только что были здесь. Я даже пытался найти, догнать их. И знал, что еще чуть-чуть — и догоню. Но не мог. И было очень горько. Я в этих снах был мальчишкой и не стеснялся плакать...

Нелепо тосковать по людям, которых никогда не было, которые однажды просто приснились. Но я тосковал по Валерке и Братику.

И ведь никому не расскажешь! Разве что Володьке... Но Володька — он разный. Иногда ласковый, тихий и все понимает. А иногда вдруг станет вредным таким и насмешливым. И не поймешь отчего...

И все же Володька был единственным человеком, который мог бы меня понять.

2

Мы с ним познакомились три года назад.

Я перепечатывал на машинке статью для журнала «Театральная жизнь». Печатаю тогда плохо, работа надоела, я лениво давил на клавиши. В это время постучали.

Я неласково сказал: «Войдите».

На пороге возникло лохматое, но симпатичное существо ростом чуть повыше спинки стула. С тонкой шеей, оттопыренными ушами и глазами цвета густого чая. Одето оно было в мальчишечью школьную форму, крайне для него большую.

— Это вы все время тюкаете? — строго спросил гость.

— Что значит «тюкаете»? — слегка обиделся я.

Не отводя внимательного взгляда, мальчишка объяснил:

— Я внизу живу. А наверху каждый день: «тюк» да «тюк», «тюк» да «тюк». Будто клюет кто-то...

— Это машинка стучит, — объяснил я. — Печатаю. Работа такая. А что, мешаю?

— Да нет, тюкайте, — великодушно разрешил гость и добавил: — Просто интересно. А вы кем работаете?

— Я зав. литературной частью. Проще говоря, литературный директор.

Что-то вроде уважения мелькнуло у мальчишки в глазах. Он попытался незаметно подтянуть штаны и спросил:

— В какой школе?

— Почему в школе...

— В нашей школе исторический директор, — объяснил гость. — Он пятиклассников истории учит. У Витки — ботаническая директорша. А вы в какой школе? Вы литературу преподаете?

Слово «преподаете» он произнес с солидностью человека, уже посвященного в премудрости школьной жизни.

Я сообщил, что работаю не в школе, а в Театре юного зрителя, отвечаю за то, как написаны пьесы.

— У-у...— сказал он.— А я думал, что в театре все люди артисты.

Я терпеливо объяснил, что в театрах много работников с разными профессиями.

— Но артисты все же самые главные? — спросил он.— Или вы главнее?

Набравшись нахальства, я сказал, что действительно главнее: артистов много, а я один.

Он кивнул, помолчал и задал новый вопрос:

— А вы были артистом? Или сразу стали директором?

— Был.

— А кто главнее: литературный директор или знаменитый народный артист?

«Вот зануда»,— подумал я и ответил, что народный, пожалуй, главнее.

— А вы почему не стали народным? — поинтересовался он, глядя ясными янтарными глазами.

«Иди ты знаешь куда...» — чуть не сказал я и мрачно признался:

— Не получилось.

— Бывает,— посочувствовал он.

— Просто мне расхотелось играть,— заступился я за себя.— Я решил сам писать пьесы.

— Получается? — серьезно спросил мальчишка.

— Получается,— соврал я.

Он вежливо сделал вид, что поверил. Опять кивнул и посмотрел на машинку.

— А как вы печатаете?

— Проходи,— сказал я.— Что за разговор у порога... Тебя как зовут?

Он сообщил, что зовут его Володькой, скинул у дверей полуботинки и, бултыхаясь в своей форме, как одинокая горошина в кульке, подошел к столу. Забрался с ногами в мое кресло. Оглянулся на меня:

— Можно, я потюкаю?

Я с тайной радостью (есть причина не работать) вытащил недопечатанный лист и вставил чистый.

— Смотри, я покажу, как надо...

— Знаешь, я все привык делать сам,— доверительно сообщил Володька.— Я разберусь.

И он в самом деле быстро разобрался (правда, потом пришлось менять клавишу с буквой «ы»).

На другой день Володьку заинтересовала моя спортивная шпага (он выволок ее из-за шкафа).

— Это настоящая? — спросил он, и глаза у него сделались светлыми, золотистыми.

— Вполне,— сказал я.

— И ты умеешь сражаться?

— Конечно,— гордо ответил я. И объяснил, что в театральном училище нам преподавали фехтование, а кроме того, я занимался в спортивной секции. Один раз даже занял третье место в областной олимпиаде.

— Врешь! — восторженно сказал он.

Конечно, он просто не сдержался. И все же я решил поставить юного гостя на место.

— Во-первых, не вру. У меня диплом есть! А во-вторых, с чего это вы, сударь, начали говорить мне «ты»? Я взрослый человек.

Этот тип уселся на диван, поставил клинок между колен, прижался щекой к рукояти и задумчиво уставился на меня.

— Какой же ты взрослый? Взрослые не такие.

— А какие?

— Ну... они важные. У них жены, дети.

— Подумаешь... У меня тоже скоро будет жена. У меня невеста есть.

— А где она? — подозрительно спросил Володька.

— В Москве, в аспирантуре,— сказал я и вздохнул, вспомнив Галку.

Володька подумал и сообщил, что невеста — это не считается.

— У меня было две невесты. Одна в детском саду в меня влюбилась, а одна недавно, в сентябре. Записки писала. Печатными буквами.

— Ну, ты даешь... — только и сказал я.

— Можно, я потренируюсь шпагой?

— Тренируйся, но не шуми. Я хотя, по-твоему, не взрослый, а должен работать.

Мы подружились. Володька подрастал, перешел во второй класс, в третий, в четвертый... И почти каждый

день приходил ко мне в гости. А если уезжал в лагерь или к дедушке, я скучал.

Иногда Володька печатал на моей машинке странные слова и говорил, что это названия планет, про которые он придумывает сказки. Иногда притыкался рядом и шепотом рассказывал, какую картину нарисует, когда совсем вырастет. Это будет грустная картина: кругом море, посередине маленький остров, а на острове одинокая, брошенная собака. Чтобы все поняли, что нельзя бросать собак. А еще будет картина «Девочка на дельтаплане». Это та девочка, которая в первом классе писала ему печатными буквами записки. («Только ты никому не говори, ладно?»)

А иногда в милого Володеньку словно бес залазил. Он начинал язвить. Чаще всего этот субъект потешался, что я считаю себя взрослым. Он заявлял, что взрослые не собирают картинки с парусными кораблями и не читают детских книжек. Взрослые не бегают с мальчишками на рыбалку и не строят игрушечные пароходы (сам подбивает меня на такие дела, а потом ехидничает!). Кроме того, взрослые умеют завязывать галстуки и не ужинают консервами из морской капусты.

Я злился и не знал, что возразить. Тем более что Галка не вернулась из Москвы, она вышла там замуж за солидного кандидата наук.

Но ссорились мы с Володькой редко. Зимой мы вместе катались на лыжах, а летом ходили купаться на большой пруд недалеко от дома.

Купались мы и в те дни, с которых я начал рассказ. Только мне было невесело и беспокойно. Володька смотрел на меня, и глаза его темнели.

— Ну, ты чего? — спрашивал он. — Чего ты такой?

— Устал, — говорил я.

— Ты же в отпуске.

— Пьесу переделываю. Не получается. Вот и устал.

— У тебя и раньше не получалось, а ты был веселый...

Я страдал из-за себя, а он из-за меня. Разве он виноват? «Расскажу», — решил я наконец. И, решив так, немного успокоился.

Но раз я повеселел, повеселел и Володька. В то утро мы опять пошли купаться, и он прыгал вокруг меня, как танцующий аистенок. И уже пару раз высказался в том смысле, что небритый подбородок — не доказатель-

ство взрослости, а всего только признак неаккуратности. Лишь когда повстречалась некая Женя Девяткина десяти с половиной лет, Володька слегка присмирел, покраснел и глянул на меня опасливо.

3

День начинался солнечный, но не жаркий. Купающихся было немного. Володька, однако, быстро скинул штаны и футболку и требовательно посмотрел на меня. Я, кряхтя, разделся. Но, поболтав ногой в воде, я твердо заявил, что купаться сейчас могут только явные психи. После этого пошел на приткнувшийся к берегу плотик и с удовольствием вытянулся на сухих теплых досках.

— Пусть вода нагреется...

— Ты прямо как пенсионер,— досадливо сказал Володька.

— А ты не забывай, что я уже почти старик. У меня поясница...

— Опять ты за свое,— хмыкнул Володька.

— Конечно. Ты забыл, сколько мне лет?

— Двенадцать,— уверенно сказал он.

— Иди ты...— отмахнулся я и закрыл глаза.

...Почти сразу утих плеск воды и смолкли крики мальчишек на недалеком острове. И шорох листьев. И откуда-то из темной дали донеслись пять ясных тактов трубы, пять ясных нот. Я узнал их сразу.

Это был сигнал Далеких Горнистов.

Я внутренне вздрогнул и стал ждать. Но сигнал не повторялся. Это был просто толчок памяти.

«Нет, хватит. Хватит пока думать об этом»,— сказал я себе. И разомкнул ресницы. Сразу вернулось летнее утро с его привычным шумом и редкими облаками над головой.

Растущий у самой воды тополь протянул над плотиком длинную могучую ветвь. Ухватившись за ветвь, надо мной висел Володька. И хитро поглядывал. Его пятки угрожающе шевелились в полуметре от моего живота.

— Без шуточек,— предупредил я.

Володька засмеялся и заболтал тощими ногами. Кожа на его груди сильно натянулась, и сквозь нее отчетливо проступили тоненькие ребра. Казалось, проводи по ним костяшками пальцев — и Володька зазвучит, как ксилофон.

— Не дитя, а шведская стенка,— сказал я.— Не кормят тебя дома, что ли?

— А-га...— неопределенно отозвался Володька. Пообезьянны перебирая руками, он добрался почти до конца ветви и разжал пальцы.

Все брызги, которые поднял этот пират, хлопнувшись о воду рядом с плотиком, посыпались на меня! Я заорал и ползком перебрался на другой край.

— Не будешь обзывать дитем,— сказал Володька.

— Хулиган,— заявил я.

«Хулиган» радостно захихикал, потом примирительно сказал:

— Ладно, грейся. Я пока на остров к ребятам плаваю.

— Валяй,— согласился я.

Глубина на пути до острова была Володьке не больше чем по плечи, и я за него не боялся.

Я опять вытянулся и закрыл глаза. Солнце стояло уже высоко и грело ощутимо. Я подумал, что буду долго-долго лежать так и не стану шевелиться. И, кажется, задремал.

...Кто-то ступил на плотик. Он качнулся, захлупала вода. Кто-то легко подошел ко мне и стал рядом. Я лениво повернул голову. Я был уверен, что увижу мокрые коричневые Володькины ноги с прилипшими нитками водорослей. Но на плотике был не Володька. Я увидел ноги, обтянутые не то черной кожей, не то клеенкой. К одной был пристегнут ремнями широкий нож — в плоском, тоже черном чехле и с костяной узорной рукоятью.

Кто это? Аквалангист? В нашем-то мелководном пруду?

Я поднял глаза.

Надо мной, одетый в странный кожаный костюм, с рыцарским налокотником на левой руке, стоял Валерка.

4

Я сразу понял, что это он. Не кто-то очень похожий на него, а именно он — Валерка, которого не было на свете. Которого я лишь однажды видел в странном сне про сказку в городе Северо-Подольске (которого тоже не было).

До сих пор я очень смутно помнил его лицо, но сейчас узнал моментально: его темную косую челку над

беспокойными бровями, его зеленовато-карие глаза — внимательные и почему-то слегка виноватые, и коричневую родинку на остром подбородке.

— Это ты... — шепотом сказал я.

Он склонил голову и ответил медленно, вполголоса:

— Мне больше не к кому было прийти. Не сердись, что я помешал.

«Помешал»! Боже мой... Радость и тревога поднялись во мне одной крутой волной.. Радость — что он здесь. Тревога — что этот сон может оказаться коротким, мимолетным. Я торопливо оглянулся. Все было, как прежде. Та же ветка над плотиком, то же клочковатое облако в вышине, тот же синий заколоченный киоск на берегу. Вон Володькина одежда на траве, а вон, на острове, среди мальчишек сам Володька — словно оранжевая бабочка мелькает в кустах его плавки.

Это, кажется, прочный сон, очень похожий на явь. Наверно, сказка будет долгой. Я потрогал подбородок и глянул на свои ноги: может быть, я опять стал мальчишкой, как в первом сне?

Нет, я по-прежнему длинный небритый дядька. А Валерка здесь!

Я посмотрел на Валерку. Я понимал, что он пришел не просто так.

Глядя все так же — внимательно и чуть виновато, — он проговорил:

— Только ты можешь помочь.

— Я готов, — быстро сказал я и вскочил. Плотик закачался, Валерка переступил, чтобы не упасть, улыбнулся и взглянул на меня снизу вверх.

Раньше мы были одного роста, а сейчас Валерка не доставал мне до плеча. Но я вовсе не чувствовал себя старшим. Наоборот, мне было неловко за свой рост и возраст. Но наплевать, не это главное. Главное, что он пришел!

Пять высоких нот сигнала опять прозвучали во мне.

— Как помочь тебе? Что случилось?

Он вздохнул, пошевелил ногой, поправил пристегнутый нож и снова вскинул на меня глаза.

Ты хорошо владеешь шпагой?

У меня холодок пробежал по спине.

— Ну... владею... Средне. Почему ты решил, что хорошо?

— Я же помню Железного Змея. Как ты его одним ударом...

Я улыбнулся:

— Но это же была сказка. Сон... Хотя сейчас тоже сон,— не без грусти добавил я.

Он сказал серьезно:

— Это не сон. Это переход... А у нас ты будешь мастером клинка. Я знаю, в этом искусстве вы опередили наших вояк.

Я не понял. Да не все ли равно? Главное, что мы опять встретились.

— Нужна шпага? — спросил я.

Валерка кивнул.

— Придется зайти домой,— озабоченно сказал я.

Он опять улыбнулся, и снова это была виноватая улыбка.

— Да нет, шпага найдется. Нужен ты.

Я прыгнул на берег и стал торопливо одеваться. Потом окликнул через пруд Володьку. Он помахал рукой. Я крикнул, что скоро вернусь. Спихватился и посмотрел на Валерку.

Он кивнул:

— Скоро... Если ничего не случится.

— А что может случиться? — спросил я без боязни, а просто с любопытством.

— Скорее всего, ничего не может. Ты же мастер. Но все-таки... Шпаги — не игрушки. Ты не боишься?

Я не боялся. Во мне выросло напряженное ожидание загадочных событий, в которых мы будем вместе с Валеркой — плечом к плечу. Жаль только, что плечи у нас теперь на разной высоте...

— Идем? — спросил я у Валерки.

— Идем.

Я еще раз помахал Володьке, и мы ушли с берега.

5

Улицы были пусты. Ни людей, ни машин. Стояла тишина. Только наши шаги нарушали ее, да один раз желтый лист — предвестник недалекой осени — упал с тополя и зашуршал по асфальту. Валерка проводил его внимательными глазами.

Солнце грело уже крепко. У Валерки на лбу выступили маленькие капельки. От его тугой куртки пахло горячей кожей.

— Для чего ты в таком костюме? — спросил я.

— Это под доспехи,— сказал Валерка.

— У вас война?

— Смута,— ответил он и вздохнул.

Потом он доверчиво глянул на меня и сказал:

— Я бы не позвал тебя, но я очень боюсь за Василька.

— За кого? — удивился я.

— За брата. Ты не помнишь?

«Не помнишь»? Надо же сказать такое!

— Помню, конечно. Просто... я не знал, что его так зовут.

— Это я его так зову,— тихонько сказал Валерка и смутился.

Мне очень хотелось спросить про Братика, но я не решался. Опасение, что все может исчезнуть, не оставляло меня. Исчезнуть от неосторожного шага, от лишнего слова...

Несколько минут мы шли молча. По солнцу и тишине. От центра на окраину, мимо деревянных домов, по улицам, на которых прошло мое детство. И вдруг я понял, куда ведет меня Валерка: к старой трехэтажной школе, где я когда-то учился.

Перед школой тоже было пусто. Блестели стекла, тень от кленов лежала на красных кирпичных стенах. Странно! Ведь говорили, что школу недавно оштукатурили... На квадратном кирпичном столбике, у самых ступеней, я заметил сделанную мелом надпись: «Машка — ведьма». Я сам это когда-то написал. Надо же, не стерлось до сих пор!

— Сколько сейчас тебе лет? — вдруг спросил Валерка.

Я остановился от неожиданности. Потом вспомнил Володьку. И, сам не зная почему, с мрачноватым юмором сказал:

— Двенадцать.

— Вот и хорошо,— серьезно откликнулся Валерка.

Мы вошли. По коридору гулко разнесся звук наших шагов — в пустых школах летом шаги всегда очень гулкие. Никого не встретив, мы подошли к спортивному залу. Валерка медленно отвел скрипучую дверь. В зале было пыльно и не прибрано. В беспорядке стояли и валялись, задрав «копыта», спортивные «кони» и «козлы». В затянутые сеткой высокие окна падали широкие лучи.

Мы пересекли зал и оказались у дверцы — она вела в комнатку, где хранились мячи, стойки для прыжков, кольца, спортивные маты. В эту же каморку наш физрук Василий Антонович отправлял иногда наиболее расходившихся на уроке мальчишек — «подумать и успокоить нервы». Нам нравилось сидеть в полумраке и развлекаться потихоньку случайно найденными интересными штуками: ракетками, гантелями, деревянными гранатами и плетеными мячиками для хоккея.

Однажды за старыми матами я отыскал заржавленную рапиру...

Сейчас за дверцей была не каморка, а длинный, освещенный пыльной лампочкой коридор. Маты сплошными штабелями лежали у кирпичных стен, их хватило бы на тысячу школ. Между ними оставался лишь узкий проход, да и то не совсем свободный: кое-где почти до пола свешивались с потолка толстые канаты и рваные волейбольные сетки. Конец коридора терялся в сумраке.

— Надо пробираться,— сказал Валерка.

— Давай.

Он скользнул вперед. Я прикрыл за собой дверь и двинулся следом...

Мы шли удивительно долго. В пыли и полутьме. Редкие лампочки лишь едва светились в паутине. Веревки и обрывки сеток цеплялись за руки и за ноги, а особенно — за Валеркин налокотник. Один раз оказалось, что тяжелые кожаные маты почти завалили проход, и пришлось пробираться под ними ползком.

Когда мне стало казаться, что мы провели в этом коридоре полжизни, он уперся в стену из очень крупных и неровных кирпичей. Здесь было попросторнее и горела лампочка поярче.

В стене был узкий неровный пролом.

— Пришли,— прошептал Валерка.— Пролезем — и все.

— Мне не пролезть,— уверенно сказал я.

Дыра выглядела слишком маленькой.

Валерка улыбнулся:

— Пролезешь.

И вдруг я понял, что он прав. Лаз в стене был в самую пору для моих мальчишеских плеч!

Я снова стал мальчишкой! Словно и не кончался тот странный сон про лучший дом в Северо-Подольске и про часы с деревянными рыцарями.

Снова были на мне легонькие разношенные кеды, выцветшие до белизны шортики, слегка распоротые у кармана, и рубашка в серо-зеленую клетку. Старенькая мальчишечья рубашка с висящей на нитке пуговкой у ворота и закатанными по локоть рукавами.

Я рассказываю об этом долго, а радостное сознание, что мне в самом деле двенадцать лет, пришло тогда в одну секунду. Я глубоко вздохнул и засмеялся. Во всем теле была упругая легкость.

Валерка нетерпеливо смотрел на меня — уже не снизу вверх: мы теперь опять были одного роста.

— Лезь за мной,— сказал он. Это был не приказ, а торопливая просьба.

Он легко нырнул в пролом, звякнув о кирпичи на-локотником. Я сразу сунулся за ним. В нос ударил едкий запах влажной извести, шербатый кирпичный край оцарапал ногу.

Я увидел, что Валерка прыгнул глубоко вниз: пол в комнате, куда он попал, был гораздо ниже, чем пол в коридоре.

Это была круглая комната без окон. На ржавом крюке висел большой железный фонарь с тремя свечами, довольно яркий. Его лучи высвечивали на полу шербатые каменные плиты. Валерка стоял внизу и протягивал ладони:

— Спускайся!

Он подхватил меня, не дал упасть на камни, когда я вывалился из лаза.

Я отряхнул с коленей и живота кирпичные крошки и осмотрелся.

— Где мы?

— В башне...

Потолок с могучими балками терялся в сумраке. Стены я разглядел лучше. Они были сложены из крупных старинных кирпичей вперемешку с каменными брусьями. У стен в беспорядке валялись медные и стальные нагрудники, наколенники, наплечники, глухие каски с широкими полями и прорезями для глаз. Старые, с пятнами ржавчины. А среди них лежали узкие мечи, сабли, шпаги.

— Выбирай,— сказал Валерка.

Я перебрал несколько клинков и взял четырехгранную рапиру с простой костяной рукоятью. Рукоять удобно легла в пальцы, а большой круглый щиток с ободком и мелкими ямками хорошо закрывал руку. Светлый

клинок был похож на громадную иглу. Однако на конце он был плоским, и оказалось, что края отточены. В случае чего можно не только нанести колющий удар, но и рубануть.

— Я готов,— сказал я и удивился звонкости своего голоса.

— А это? — Валерка кивнул на панцири и наколенники.— Ничего не возьмешь?

Таким легким, таким подвижным было мое мальчишечье тело! А это железо, наверно, тяжелое и холодное. Я передернул плечами.

— Обязательно?

Валерка улыбнулся.

— Да нет. Тебе, пожалуй, не обязательно... А вот это нужно.— Он вытащил из-под железной рухляди кожаную перевязь с большой пряжкой и медными клепками по краям. Надел мне через плечо, ловко подогнал пряжку. Потом в кольцо на ремне сунул рапиру. Ее рукоять закачалась у моего бедра.

— Вот и все,— сказал Валерка.

Я увидел себя как бы со стороны: обыкновенный пацан — и с мушкетерским оружием на боку.

— А ничего, что я такой? Не будут на меня обращать внимание?

— Ты такой, как надо,— откликнулся Валерка.— Слушай... Ты не передумал?

— Что?

— Идти со мной?

— Ну что ты говоришь! — упрекнул я.

Он взял меня за руку.

6

Я понимал, что могу оказаться в совсем незнакомом месте: может быть, удивительном и сказочном. И только про одно я знал точно: сейчас на улице день, светит солнце, и мы выйдем под это солнце из какого-нибудь подвала или погреба. Ведь спортзал и коридор были на первом этаже, а пол в башне — еще ниже.

Валерка уперся в тяжелую дверь ладонями. Навстречу нам хлынул теплый запах незнакомых трав и лунный свет.

Я замер на секунду и засмеялся. Мы оказались на железном балконе — он опоясывал башню высоко над землей. Вернее, над травой. Свет луны был удивительно

яркий, и в его лучах до самого горизонта колыбалась под мягким ветром, катила пологие волны серебристо-голубая трава. Я вцепился в ржавые перила. Вот она, Валеркина страна! Его мир, его планета.

А может быть, это и правда другая планета?

Ночь была похожа на день, если смотришь сквозь голубое стекло. Я взглянул на луну. Наша ли это луна с привычным, почти человеческим «лицом»? Но хотя чистым было небо, яркий диск оказался слегка размытым, словно окутанным светящимся туманом. Я не различил на нем знакомых пятен.

Тогда я стал смотреть на землю. У самого ее края стояла белая крепость. Она казалась крошечной, но видна была до последнего зубчика на стенах. Словно кто-то собрал в горсть игрушечные башни, крыши, бастионы и аккуратно положил их на краю большого круглого стола.

— Там наш Город, — тихо сказал Валерка.

— А здесь?

— Здесь? Просто башня, сторожевая. Теперь она не нужна.

Башня была одинокая, полуразбитая. Она стояла как бы в центре выпуклого круга, по которому неторопливо бежали мерцающие волны. И ее черная тень колыбалась на этих волнах.

А ветер был очень теплый.

Валерка тронул меня за плечо:

— Пошли?

По шаткой железной лестнице мы сбежали в траву и двинулись к Городу.

Трава была высокая, по пояс нам, а кое-где и по плечи. Ее листья походили на листья осоки, но были пошире и не режущие, а очень мягкие, покрытые шелковистыми волосками. Эти серебристые волоски и блестели под луной. Идти нам трава не мешала. Мы без труда подминали и раздвигали ее, и она с бесшумным колыбанием опять вставала за нами.

Шагать было легко. Может быть, я еще не привык, что стал мальчишкой, и тело мое весит совсем немного. А может быть, Валеркина планета была меньше, чем Земля, и сила тяжести здесь оказалась слабее. Возможно, что и так. По крайней мере, мне казалось, что иду я не по ровному полю, а по громадному шару, который поворачивается мне навстречу.

Шар поворачивался, и светлая крепость вырастала на глазах. Острые башни, черные флюгера, неровные зубчатые стены...

Крепость была совсем не похожа на ту, что в Северо-Подольске. Я сразу это заметил, но не удивился.

...Я пытаюсь поточнее вспомнить, что думал и чувствовал тогда. Ну, конечно, радость, что мой друг Валерка опять рядом. Еще интерес: какие события ждут впереди? И еще... трудно передать словами... Запах сказки, что ли? Но не обычной сказки, а моей. Той, которую я открыл и полюбил. Сказки, где самое главное — не приключения, а два человека: Валерка и Братик.

Но... Вот в этом «но» все дело. Не было в этих чувствах той остроты и беспокойства, как в первый раз. Там, в Северо-Подольске, сказка захватывала меня, и я жил в ней, как наяву, все переживал по-настоящему: и радость, и страх, и тоску, когда друзья уходили... А в этот раз я понимал, что вижу сон. Порой забывал об этом, но не до конца.

Я был уверен, что ничего плохого не случится. Вторая Сказка как положено раскручивает свои пружины, и всему придет свой черед. Когда нужно, я встречу опасность и сделаю, что полагается. И поэтому даже Валеркины слова, будто Братiku что-то грозит, не вызвали у меня тревоги. Я только обрадовался, что увижу его...

Но это я сейчас копаюсь в себе и все раскладываю по полочкам. А тогда... Что же, тогда я шел рядом с Валеркой, радостный и спокойный. И даже мысль, что придет время и мы расстанемся опять, не грызла меня. Встретились во второй раз — встретимся и в третий. К тому же Сказка только начиналась...

7

Мы подошли довольно близко к стенам. Я спросил:

— А почему не видно часовых? Разве Город не охраняют?

— От кого? — сказал Валерка. — Снаружи никто не ждет опасности. Она в самом Городе.

— А всадники Данаты? — нерешительно спросил я. — Они больше не нападают?

Валерка быстро взглянул на меня и грустно усмехнулся:

— Всадники Данаты... Под курганами давно и храбрый Даната, и все его воины. И кони...

Я удивленно молчал. Валерка смущенно сказал:

— Я забыл объяснить... Думаешь, когда мы улетели, мы вернулись к себе, в наше прежнее время? Если бы... Даната и все, что было тогда, сейчас уже легенда. Триста лет прошло или больше...

— Но... как же? — озадаченно заговорил я. — Вы вернулись... И как вас встретили? Вы сказали, кто вы такие? Вам поверили? Удивились?

— Удивились... Но поверили. Понимаешь, у нас другой мир... Вы придумали порох, машины, ракеты, а у нас не то. У нас ученые разгадывают тайны: как далекое сделать близким и дотянуться рукой до звезд; что такое мысль; в чем хитрость времени...

Я подумал, что и у нас люди бьются над такими загадками, но промолчал. Валерка продолжал:

— Не могу я объяснить... Но говорят, что время — это вроде струн, которые звучат то вместе, то вразнобой. А иногда — как бусы, которые могут рассыпаться. Или как запутанная петля — бежит то вперед, то обратно, только мы не замечаем. Петлю, говорят, можно рассечь и пробиться через сотни лет... У нас еще в старину случались разные загадки.

— Какие?

Валерка улыбнулся:

— Всякие... Была даже такая поговорка... На старом языке это всего пять слов, но ты не разберешь. А смысл такой: «Когда конь несет тебя все вперед, не думай, что не наткнешься на его следы; когда ложишься спать, не будь уверен, что проснешься завтра, а не вчера»...

Что ж, Валеркин мир и в самом деле был другим, я это видел. Пока мы говорили, крепость словно сама по себе приблизилась вплотную и нависла над нами.

К стене боком прижималась крутая лестница, сложенная из светлых кирпичей: просто ступенчатый выступ, который тянулся от земли до верха. Очень узкий. Валерка двинулся вперед, я, чиркая локтем стену, стал подниматься за ним. Конец моей рапиры цеплялся за камни, и клинок тонко звенел.

Мы поднялись на гребень и снова пошли рядом, мимо высоких зубцов.

— Значит, как же... — нерешительно сказал я. — Вы вернулись... и опять оказались одни, среди незнакомых людей?

Он кивнул:

Да... Но это наша земля. И встретили нас хорошо... Правда, скоро всем стало не до нас.

— И вы живете вдвоем?

Валерка улыбнулся, хорошо так,— видимо, подумал о маленьком брате.

— Да, живем... Только мы давно уже не виделись. Два дня...

— А где сейчас Братик? — нетерпеливо спросил я. Впервые назвал я так вслух Валеркиного братишку. Но Валерка ни капельки не удивился. Он сказал:

— У барабанщиков.

Скоро я увидел круглый люк. В полной темноте, по лесенке, выложенной в толще крепостной стены, мы осторожно пошли вниз. Заскрипели петли; это Валерка отодвинул тяжелую дверь. Опять хлынул навстречу лунный свет, и мы оказались на маленькой выпуклой площади.

Площадь окружали светлые дома с каменными узорами на карнизах дверей и окон, с крутыми чешуйчатыми крышами. Почти все здания были связаны между собой: внизу — галереями с полукруглыми арками, вверх, у крыш,— висячими мостиками. Я мельком подумал, что, наверно, весь город можно обойти, не ступая на землю. Даже между тонкими легкими башенками чернело кружево мостиков. Было удивительно тихо. В степи хоть трава шелестела, а здесь — ни звука. Я слышал только, как рядом дышит Валерка.

— Надо идти,— шепотом сказал он.

Мы двинулись через площадь, прошли мимо разрушенного фонтана с каменными рыбами, и в это время сзади послышался частый топот и смех. Нас догоняли трое ребят.

Мальчишки как мальчишки, чуть помладше нас. И одеты совсем обыкновенно — словно прибежали на эту лунную площадь с улицы, где живем мы с Володькой. Они тащили на веревке фигуру оленя, сделанную из коряги и палок. Вернее, тащил один, а двое других пуляли в оленя из игрушечных самострелов. Олень смешно подпрыгивал на тонких деревянных ногах.

— Что это? — спросил я у Валерки.

— Просто игра. В охотников... Сейчас редко играют по вечерам, а эти смелые...

«Охотники» промчались совсем рядом с нами, мы

даже посторонились. Я думал, они не обратят на нас внимания. Однако шагах в двадцати мальчишки остановились. До меня донесся неясный разговор:

— Светлый рыцарь... трубач... где стена...

Два мальчика вместе с оленем нырнули в глухую тень галереи, а третий — щупленький, немного похожий на Володьку — торопливо пошел назад к нам.

В трех шагах он остановился и выжидательно глянул на Валерку. Валерка торопливо подошел к нему. Мальчик вполголоса сказал несколько слов. И тут же бросился догонять товарищей.

— Идем,— шепотом сказал Валерка и, потянув за локоть, увел меня в похожий на щель переулочек.

— Что случилось? — тоже шепотом спросил я.

— Патруль близко.

— Чей патруль?

— Не все ли равно...

Это было совсем непонятно. И не укладывалось как-то: беззаботная игра мальчишек с оленем и в то же время опасность. Какая? Почему все равно, чей патруль? Если есть враги, есть, наверно, и друзья?

Но расспрашивать было некогда. Мы торопливо шагали вверх по черному от теней переулку. Лунное небо горело над нами зеленовато-голубой щелью.

— Куда мы идем? — вздохнул я.

— В заброшенный замок.

— Зачем?

— Ты же спрашивал, где Братик...

8

Барабанщики маршировали во внутреннем дворе замка. Их пестрые, но ровные шеренги проходили от стены до стены, разворачивались и шли обратно. Ребята не били в барабаны, они, видимо, просто учились ходить в строю. Их было около сотни, но мальчишечий шаг их был легкий, и только негромкий шелест разносился над каменными плитами.

Высокие плоские стены с трех сторон обступали обширную площадь двора, а с четвертой ее замыкало длинное здание с тремя рядами узорчатых окон и сводчатой галереей.

Мы постояли в воротах рядом с молчаливым паренком-часовым. Потом прошли вдоль стены в тень галереи.

Оранжевым огнем горели у стен факелы. Кое-где они были воткнуты в железные кольца, а чаще — просто в щели между камнями. Их пламя было ярким, но коптящим. По стенам вверх от факелов тянулись длинные языки сажи.

Огненный свет захлестывал края площади, но чем дальше от стен, тем слабее он делался, и отблески пламени перемешивались с лунными лучами. А в центре площади луна была полной хозяйкой, и плоскости гранита отбрасывали голубоватые блики. Пока барабанщики шли через площадь, по ним как бы прокатывались разноцветные волны. Вблизи от факелов строгие лица мальчишек, их остро согнутые локти и тонкие, упруго шагающие ноги словно покрывались знойным загаром. А на середине каменного плаца, под луной, барабанщики становились очень бледными, и только глаза их блестели по-прежнему решительно и резко.

Иногда шеренги проходили совсем рядом с нами, и я искал глазами Братика. Но много там было таких — русоголовых и маленьких. Они мелькали, и я не успевал разглядеть. Зато я разглядел узор на атласных рубашках барабанщиков. Рубашки их, широкие и довольно длинные, с короткими рукавами и большим квадратным воротом, были всяких цветов, но на груди и спине у всех виднелся одинаковый знак: черная угловатая спираль, пересеченная белой стрелой. Видимо, эта одежда служила барабанщикам формой. Я не сразу понял, что она мне напоминает. А потом вспомнил: так одеты были легкие воины-копьеносцы, которых я видел в книжке про Троянскую войну. Только у ребят не было круглых щитов и тонких копий.

Зато у них были барабаны.

Похожие на синие бочонки, эти барабаны казались чересчур большими для мальчишек. И были они, видимо, слишком тяжелы. Но барабанщики шагали легко и прямо.

И я вдруг почувствовал, что так же легко и прямо пойдут они, когда наступит срок, навстречу опасности.

От резкого толчка тревоги я коротко вздохнул и встал поближе к Валерке. В этот момент очень высокий голос прокричал непонятную команду. И почти сразу ахнули барабаны. Гулкие ритмичные удары заполнили всю площадь, задавили ее, как лавина. Барабаны били, неторопливо отмеряя шаги, а промежутки между ударами были пересыпаны сухой дробью.

При первом ударе я вздрогнул, уронил рапиру. Засмеялся и посмотрел на Валерку. Он что-то сказал, но я лишь увидел, как шевельнулись губы.

Барабаны смолкли. Гул в ушах быстро прошел, и опять стал слышен шелест шагов. Это квадратный строй барабанщиков продолжал свой молчаливый марш.

— Понял теперь, какие они? — серьезно обратился ко мне Валерка.

Я не совсем понял, но кивнул. И спросил:

— А где же Братик?

— Сейчас, — сказал Валерка.

Он вышел из-под арки, высоко вскинул руку, махнул несколько раз ладонью. Почти сразу откуда-то из середины шеренг выскочил светловолосый мальчик в блестящей зеленой рубашке. Строй пошел дальше, а мальчик, придерживая барабан, побежал через площадь прямо к нам.

В двух шагах он остановился — запыхавшийся и, видимо, встревоженный. И я увидел, что это Братик.

Блестящими глазами Братик посмотрел на Валерку, затем на меня. Моргнул. Потом улыбнулся — застенчиво и обрадованно: узнал. И ничего не сказал. А я забыл свой взрослый опыт, мне опять было двенадцать лет, и я тоже не знал, что говорят при таких встречах. Тоже смотрел и улыбался. Потом протянул ему ладонь. Он торопливо переложил в левую руку барабанные палочки и дал мне свою ладошку. Она была сухая и горячая.

— А что с котенком? Помнишь, тот рыжий?.. — спросил я (надо было все-таки что-то сказать).

Братик снова улыбнулся. Чуть-чуть. И, все еще смущаясь, стал смотреть на свой барабан. Ответил тихонько:

— Котенок по крышам бегают... Только он уже не котенок, он большой.

— А ты тоже подрос немножко, — сказал я, хотя, по правде говоря, не заметил этого.

Он вскинул на меня глаза и серьезно согласился:

— Немножко.

— Ты ушел из строя. Ничего? — сказал ему Валерка.

— Ничего, — отозвался Братик. — Сейчас все равно кончаем.

— И домой?

Братик опустил глаза.

— Нет. Я еще с ребятами...

Тень беспокойства прошла по Валеркиному лицу.

— Я недолго, — быстро сказал Братик.

Валерка промолчал. Братик озабоченно глянул на него, поставил на камни загудевший барабан, ловко скинул через голову и бросил на него свою форменную рубашку.

Теперь он был совсем такой, как в первый день знакомства: выгоревшие вельветовые штанишки, голубая майка с неумело заштопанной дыркой на боку, старенькие сандалии. И только одно мне было незнакомо: не то медальон, не то амулет на белом крученом шнурке. Он висел у Братика на шее, как висят обычно у мальчишек квартирные ключи. Это был коричневый приплюснутый шарик размером с небольшую сливу. Костяной или деревянный, гладкий.

— Сними знак, — сказал Валерка. — А то на улице любой узнает, что ты из барабанщиков.

Братик послушно снял медальон и сунул в кармашек. Торопливо затолкал шнурок, чтобы не болтался снаружи, а потом сказал слегка виновато:

— Все равно узнают...

— Как? — с беспокойством спросил Валерка.

— Ну как... видно же. По синяку догадаются. У каждого такой. — Он шевельнул ногой.

Валерка быстро пригляделся.

— Дай-ка факел...

Он легко подхватил Братика, тот встал ему на плечи, дотянулся до факела, горевшего на столбе между двумя арками. Вместе с ним прыгнул на камни. Стало совсем-совсем светло. У Братика ярко зазолотились волосы и на плечах запрыгали медные блики. Валерка взял факел и присел.

— Ух ты... — тихонько сказал он.

Я тоже присел.

На левой ноге пониже колена у Братика был не синяк, а большой кровоподтек. Из мелких ссадин кое-где выступили красные капельки.

— Елки зеленые... Откуда это? — спросил я.

— Барабаном настукало, — сказал Братик и облизнул губы. — Нижним ободом. Он железный, острый...

— Что же повязки не сделаете? — упрекнул Валерка.

— А... некогда все, — небрежно сказал Братик. — Да теперь уже все равно. Недолго осталось...

Я, не понимая, смотрел то на него, то на Валерку. Что недолго? О чем он говорит? Ясно было одно: долж-

ность барабанщика для Братика совсем не праздник.

— Забинтовать? — спросил Валерка у Братика.

— Да ну... — сказал тот.

Я вспомнил солнечный заросший склон у Северо-Подольской крепости: как я тогда скатился по нему и ободрался до крови.

— Приложи подорожник, и все пройдет, — сказал я Братiku. — Помнишь?

Он улыбнулся: он помнил.

Мне стало хорошо-хорошо от того, что он сейчас рядом. Он и Валерка. Ну и пусть опасность! Пускай я мальчишка, но я помню, как меня учили работать клинком еще тогда, когда я был большим.

Я поднял лежавшую на камнях рапиру и выпрямился.

Валерка протянул мне факел.

— Пристрой куда-нибудь.. Осторожно.

Это была гладкая палка с глубокой глиняной плоской, приклеенной комками смолы. Оранжевое с копотью пламя жарко металось над плоской. С ее краев падали маслянистые капли и тут же загорались на гранитных плитах яркими языками.

Аккуратно, чтобы не капнуть на руки, я воткнул факел в расщелину среди камней под аркой.

Валерка вполголоса сказал Братiku:

— Говоришь, что вас все равно узнают. И вы ходите так... без всего?

— С самострелами, — быстро сказал Братик.

Валерка сумрачно усмехнулся:

— Самострел — это на один раз.

Братик опустил голову и шевельнул плечом.

Валерка сказал:

— Возьми мой нож.

— Давай! — обрадованно откликнулся Братик.

Валерка отстегнул от ноги чехол с метательным ножом. Примерил Братiku. Кожаные кольца были велики. Концом рапиры я проколол новые отверстия, но и это не помогло: ремни болтались на ноге у Братика.

— Давай так, — сказал Братик. Выдернул нож из чехла и сунул за пояс.

— Не поранься, — встревоженно сказал Валерка.

— Не... Я буду осторожно. Я пойду?

Валерка молча кивнул. Братик ласково подержался за его локоть, попрощался со мной глазами и, не оглядываясь больше, быстро пошел через замковый двор.

Строй барабанщиков распался, и они теперь пестрой толпой стояли у дальней стены.

— Идем,— сказал Валерка.

Мы прошагали вдоль галереи и через сводчатые ворота вышли на улицу

9

Теперь я не был спокоен. Я все думал о Братике, и тревога не оставляла меня.

— Может быть, его подождать? Может быть, его надо охранять? И всех других...

Валерка покачал головой и медленно пошел от ворот. Я за ним

— У барабанщиков свои дела,— сказал Валерка.

И пока ребята вместе, их никто не тронет. А когда они расходятся. . . Каждого ведь невозможно проводить, их больше сотни.

— А кто их может обидеть?

Валерка пожал плечами:

— Понимаешь... вроде бы никто. Барабанщиков не трогают даже в бою. Они же маленькие и без оружия. И факельщиков не трогают... Это у цеха оружейников мальчишки-факельщики... Конечно, в свалке все бывает, но нарочно никто не ударит. Это вечный закон. Даже воины Данаты не трогали маленьких.

— Да, «не трогали»! — сказал я.— А сам рассказывал, как на вас замахнулись мечом.

— Это же была тяжелая пехота, меченосцы. Наемники. Разве это люди? Даната их потом разогнал, а начальника повесил на подъемном мосту.

Я нетерпеливо спросил:

— Если маленьких не трогают, чего же бояться?

Валерка сказал сумрачно:

— Однажды был бой на улицах, недалеко отсюда. Оружейники сошлись с отрядом Большого Зверя. Началась свалка. Ну, как всегда. А шестерых барабанщиков оттеснили в переулок. Когда разошлись, унесли раненых, этих барабанщиков нашли у стены. С тех пор так и говорят про это дело: «Была Стена»... Они лежали заколотые, все шестеро.

Я подумал о Братике, и стало жутковато.

— Кто их?

— Никто не знает. Предводители оружейников при-

несли клятву Огня, что их люди не делали этого. Такую клятву нельзя нарушить... Но тогда кто? — он взглянул на меня требовательно, словно я знал.

— И что дальше? — спросил я.

— Дальше... Барабанщики собрались в один отряд и стали вооружаться. И потребовали себе медальоны как у взрослых. Сказали: «Раз мы рискуем, как взрослые, давайте нам знаки».

— Это такой орех на шнуре? — вспомнил я.

— Да. Есть обычай: каждый взрослый носит такой медальон.

— Зачем?

— Не знаю. Раньше этого не было.

— А Стена... далеко?

— Здесь...

Мы свернули в укрытый тенью переулочек. С одной стороны стояли плоские дома с редкими темными окнами. С другой тянулась стена, сложенная из ноздреватого песчаника. Вверху она была разрушена, и гребень порос кустиками травы.

Невысоко от гранитного тротуара на железных кронштейнах горели граненые фонарики. Шесть фонариков. Небольшие, разной формы. Они висели вразброс. Желтые пятна света падали от них на песчаник.

Ни надписей, ни барельефа, только фонарики. Да еще пучки цветов, торчащие из расщелин в камне. Сухие цветы, похожие на бессмертники.

Было совсем безветренно, однако мне показалось, что фонарики тихо качаются. Может быть, от нашего дыхания?

Я шепотом спросил:

— Братик тоже был тогда барабанщиком?

— Нет. Он ушел к ним потом, когда узнал о Стене. Думаешь, он тихий и послушный? Он отчаянный.

— Он маленький, — сказал я.

Фонарики горели неярко и ровно.

— Надо идти, — напомнил Валерка.

Мы вышли из переулка и поднялись на горбатый мостик с каменными столбами по краям. На столбах блестящие разбитыми стеклами четырехгранные светильники Огня в них не было.

Глубоко под мостом черной водой журчала речка. Валерка вдруг сказал:

— Те шестеро тоже были маленькие.

— Да.. Но я не понимаю... Кто с кем сражается. За что? Кто за кого? — с досадой спросил я.

— Черт их знает! — в сердцах сказал Валерка. — Каждый за себя.

— А зачем малыши суются в эту свалку?

— Так уж повелось. Вместе с отцами сначала... А потом... Сейчас у барабанщиков и факельщиков свое дело.

— Какое?

— Я расскажу... Подожди!

Навстречу нам шеренгой шли трое. В тускло-малиновых мундирах и медных нагрудниках. Двое — в плоских касках, напоминавших тазик Дон-Кихота, третий — в широкополой шляпе, похожей на мушкетерскую. Наверно, офицер.

— Гвардейцы, — пробормотал Валерка. — Патруль. Ну, ничего, идем.

Когда между нами было шагов пять, гвардейцы остановились. Офицер коснулся шляпы зажатой в кулаке перчаткой. Я разглядел колючие усики и заплывшие глазки. А еще заметил, что к сапогу офицера прицеплен металлический нож — такой же, как недавно был у Валерки.

— Светлый Рыцарь — Юный Трубач, Спаситель Города... — почтительно произнес командир гвардейцев. — И его доблестный молодой друг, звания которого мы не знаем...

— Сколько слов... — настороженно откликнулся Валерка. — Что вы хотите?

Офицер слегка наклонился и вкрадчиво сказал:

— Мы слышали шум барабанов. Мы хотим знать, где ваш маленький храбрый брат и его друзья?

— Какое ваше дело? Каждый может ходить, где хочет.

— Конечно, Светлый Рыцарь, таков закон. Однако в это смутное время...

— Не мутите его еще больше, — резко перебил Валерка. — Дайте нам пройти!

— Разумеется, Светлый Рыцарь. Но мы хотели бы пройти с вами. В наши казармы.

— А мы не хотели бы! — громко сказал Валерка. Он сделал движение, словно думал наклониться и взять оружие. И видимо, вспомнил, что ножа нет. Быстро оглянувшись на меня.

— Вы храбрые рыцари, вы мужчины... — неопределенно отозвался офицер и положил руку на эфес тя-

желой армейской шпаги. Гвардейцы сделали то же.

Мужчиной надо быть и наяву, и во сне. Даже если тебе двенадцать лет.

— Руки...— сказал я и вынул рапиру.

— Что? — не понял командир гвардейцев.

— Руки с эфесов! — повторил я и почувствовал, как внутри все задрожало. Не от страха.— Уйдите с дороги!

— Юный Рыцарь, нас трое,— снисходительно сказал командир.— Отдайте оружие, сейчас не до игры. И три острия затронули мою рубашку.

...Валерка правду говорил, слабаки они были в этом деле. Не дошла еще их фехтовальная наука до нашего уровня. Всего-то два простых захвата — и две шпаги зазвенели по мостовой. Валерка юркнул у меня под руку и схватил оба клинка.

Два гвардейца обалдело смотрели на нас. Но командир их оказался покрепче. Отскочив, он ушел в глухую защиту, а потом сделал красивый выпад.

— Ну-ну, сеньор, вы не в театре,— сказал я.— Не надо эффектов.

Он стал тяжело скакать вокруг, демонстрируя приемы — устрашающие внешне, но довольно безобидные. Это было даже забавно. Я перестал волноваться. Чему их тут учили? Этот дядя в покоем на самовар панцире не знал даже, что такое нижний блок защит, и два раза пытался достать меня, падая на левое колено.

Мне стало весело. Отмахиваясь от грузного гвардейского начальника, я спросил у Валерки:

— Они все у вас такие бездари?

— Почти,— откликнулся Валерка. — Они привыкли нападать толпой, да и то после хорошей выпивки.

Он держал в каждой руке по шпаге и показывал безоружным гвардейцам, что лучше не соваться. Те и не совались.

— А ты говорил, что у вас не воюют с детьми,— сказал я Валерке.

— У него служба такая,— не без ехидства объяснил Валерка. И попросил: — Не убивай его, он дурак.

Командир патруля уже изрядно запыхался.

— Брось оружие... Именем предначертанного будущего...— просипел он.

— Чего-чего? — спросил я и слегка ткнул рапирой в его мягкий сапог. Мой противник басовито взвыл и

широко размахнулся — с явной целью снести мне своей шпагой башку. И очень удивился, почуяв у горла мой клинок.

Его рука остановилась в воздухе.

— Спокойно, — сказал я. — Вы утомились. Разожмите пальцы... Вот так. (Шпага звякнула о камни.) Можете опустить руку... Хороший замах полезен в любом деле, кроме фехтования. (Это я вспомнил слова нашего тренера в спортивном клубе «Буревестник».)

Валерка подобрал шпагу командира и потянул меня за рукав — к перилам. Мы отошли. Гвардейцы потерянно смотрели на нас.

— Отдайте шпаги, Рыцари, — сумрачно сказал один. — Нас выгонят из гвардии.

— И правильно сделают, — откликнулся Валерка. — Идите торговать вареной репой.

Всегда такой спокойный и сдержанный, он был сейчас возбужден и насмешлив. Подпрыгнув, сел на широкие перила, взял за конец одну шпагу, покачал ее, как маятник над водой, и выпустил.

Шпага булькнула далеко внизу.

— Хотите добыть оружие — купайтесь, — предложил Валерка. — Правда, там глубоко и холодно.

Я стоял рядом с ним, прислонившись затылком к каменному столбу. Валеркины глаза недобро блестели. Я чувствовал, что он не просто так издевается над гвардейцами. Он сводит счеты за что-то.

Валерка не торопясь отправил в реку вторую шпагу. Гвардейцы уныло следили за ним. Валерка взял за конец третью.

— Не надо, — сказал я. — Оставь себе. Ты без оружия.

— И верно, — спохватился он. — Пригодится... Только не привык я... — Он вдруг весело глянул на офицера. — Эй, предводитель! Хотите вашу шпагу? Меняю на нож! Видите, у меня пустой чехол... — Валерка качнул ногой.

Командир гвардейцев подумал секунду, хмуро кивнул и, медленно сгибаясь, потянулся к ножу.

...Валерка успел подставить локотник! Нож чиркнул по стали, свистнул у моего уха, оглушительно ударил в камень. Мелкие осколки впились мне в щеку. Я зажмурился на миг, а потом увидел, что Валерка бежит за гвардейцами. Он кричал что-то и мчался, держа шпагу, словно копье.

Но гвардейцы бежали быстрее. С одного сорвалась каска и, громко звеня, катилась поперек моста. Она долго дребезжала и вздрагивала, прежде чем улеглась на камнях.

Валерка, тяжело дыша, вернулся на мост.

— Они не люди,— сказал он тихо и зло.— Хуже наемников.

Я ладонью провел по щеке. На ладони остались полоски крови.

Я нашел на камне след от удара ножа. Это была ямка, похожая на воронку. Крупинки мрамора на свежем изломе искрились под луной. Я потрогал их — к пальцу прилипла белая пыль.

Отскочивший от столба нож валялся в трех шагах. Я подобрал его. Поднес к лицу. Нож был тяжелый, с медным шариком на костяной рукояти, с гравировкой из цветов и листьев на широком лезвии.

Подошел Валерка. Я протянул ему нож. Он торопливо сунул клинок в чехол, одним движением расстегнул куртку, рванул от белой рубашки лоскут. Прижал его к моей щеке.

— Да пустяки,— сказал я.

— Прости,— сказал он.— Это из-за меня.

— Ну что ты...— сказал я. И вернулся к столбу. Опять посмотрел на ямку в мраморе.

Ощущение реальной опасности выросло во мне неожиданно и стало очень ясным. Сон это, или сказка, или все по правде, я не понимал теперь, но чувствовал одно: не закрой меня Валерка стальным налокотником — и был бы конец.

И напрасно ждал бы на берегу пруда Володька своего взрослого нескладного друга.

Я оглянулся и как бы новыми глазами увидел непонятный город: квадратные и многогранные башни с флюгерами, темные арки галерей, блестящие бруски гранита на мостовой. До сих пор я смотрел на это почти как на декорацию. Сейчас это был настоящий город. Валерка подошел и опять негромко произнес:

— Прости... Но я же говорил: это всерьез.

Он был смущен и расстроен.

А во мне заиграла радость: значит, и Валерка настоящий!

— И хорошо, что всерьез! — сказал я и поддернул перевязь с папирой.

Мы торопились уйти от места схватки, чтобы гвардейцы не вернулись с подмогой.

Не могу точно вспомнить город — такая в нем была запутанность. Кажется, что башен было больше, чем домов, а мостиков, площадок и лестниц — больше, чем улиц.

Помню каменного льва, словно уснувшего на ступенях широкой лестницы. На спине у льва беззаботно сидел мальчишка лет восьми и грыз большой огурец. Льняные волосы мальчишки светились под луной. Ярко белела рубашка. На лестницу падала от мальчишка и льва очень резкая ломаная тень.

Мальчик весело проводил нас глазами.

— Факельщик, — на ходу сказал Валерка. — Чего-то он ждет...

— Факельщик? Значит, он против барабанщиков? Он не наведет на след?

Валерка улыбнулся:

— Никогда.

Мы оказались высоко над улицей, на мостике, соединявшем две башни. Валерка остановился, ухватившись за перила. И вдруг сказал тихо, но резко:

— Надоело.

Рванул с руки налокотник и швырнул с размаху. Железо, разбивая тишину, загремело по крышам и карнизам. Валерка стянул куртку и тоже бросил. Она темной птицей улетела в глубину улиц.

— Ты что? — сказал я.

Он повернул бледное от луны лицо.

— Смотри, какой город... Хороший, да? Мы так по нему тосковали тогда... А вернулись — и что? Кругом драки, ножи из-за угла. Все с ума посходили...

— Почему напали гвардейцы?

— Не знаю, это первый раз. Они раньше не вмешивались, но недавно я почуял: они почему-то невзлюбили барабанщиков.

— Значит, они за тех... за других?

Валерка сердито пожал плечами.

— Они — ни за кого. Доблестная гвардия служит только Великому Канцлеру и охраняет его особу.

— Кто такой Великий Канцлер?

Валерка усмехнулся:

— Га Ихигнор Тас-ута. Отец и Защитник Города и всех степей и гор до самого Океана.

— И этот... Отец и Защитник... он за кого?

Валерка опять усмехнулся.

— За кого... Он слишком велик. Он скорбит о раздорах и горюет о погибших. А предводители разных цехов и общин режутся, чтобы получить повыше звание в свите Великого. И все клянутся в любви к нему и к народу... А люди гибнут.

— Так какого же черта этот Канцлер, если он горюет и скорбит, не наведет порядок?

— А зачем? — с горечью произнес Валерка. — Все идет, как предписано. Сказано в Книгах Белого Кристалла, что будет время... как его... да, Эра Багровых Облаков. И будут бои, которые необходимы, чтобы победила Истина. А потом придет Время Синей Воды, и народ заживет счастливо и мирно при мудром правлении великого Га Ихигнора. А когда настанет Время Второго Рассвета, Га Ихигнор Тас-ута, сотворивший счастье, уйдет на покой, передав знаки власти юному Хозяину Света и Ветров, который еще не родился...

— Что за молитву ты прочитал? — спросил я. — Что за бред?

— Ты не знаешь еще... — откликнулся Валерка. — Это не бред. Этому верят все... Говорят, что лет двести назад Большой Звездный Мастер — самый главный ученый — сумел победить время и побывать в глубине будущего. Он записал все, что должно случиться на много веков вперед. Получились целые книги...

— Книги Белого Кристалла?

— Да... По ним можно узнать заранее, что случится в этом мире.

— Скучно так жить, — сказал я.

Валерка пожал плечами.

— Чушь какая-то, — сказал я.

— Может быть, — откликнулся Валерка. — Но понимаешь... Все, что известно заранее, в самом деле случается: битвы, пожары, открытия ученых. И хорошее, и плохое.

— Но если плохое известно заранее, можно постараться его победить! Можно предупредить несчастье! Ведь, наверно, для того и написаны книги!

Валерка вздохнул:

— Здесь говорят: «От написанного не спрячешься». И мудрый Канцлер учит жить, как велят Книги.

— Зачем?

— Ну, послушай,— как-то очень по-детски сказал Валерка.— Я же еще не взрослый, я сам не понимаю. Все это случилось без меня. Мне рассказал про это Звездный Мастер из Северной башни, мой друг... Он все знает...

Я вспомнил шесть фонариков у Стены...

— Если все известно наперед, то и про тех барабанщиков знали? Что их убьют...

Валерка вздрогнул. Глаза у него стали большие и очень темные.

— Не знаю... Я не думал,— тихо сказал он.— Ну.. ведь, наверно, не о каждом написано, а только о больших событиях.

— А Стена — маленькое событие?

Он медленно опустил голову.

Потом оттолкнулся от перил и пошел к башне. И, не оглядываясь, сказал:

— Все было ясно, когда я был трубачом...

Мне стало жаль Валерку. И чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я пошел следом и спросил:

— А чего это офицер так величал тебя: «Светлый Рыцарь... Спаситель»?

Валерка не обернулся, но я почувствовал его улыбку.

— Ну, помнишь, я рассказывал?.. Когда меченосцы ворвались в крепость, я затрубил... Я все же успел, наши построились в боевые треугольники. А когда наши воины так вставали, разбить их было нельзя. И в этот раз тоже: они сперва защищались, а потом пошли в атаку и выбили врага...

— Значит, ты спас Город...

— Так говорят...

— Выходит, ты знаменитость?

— А толку-то...— сказал Валерка.

11

Снова площадь. Очень ровная, покрытая шестиугольными плитами. И окружали ее не дома, а узловатые деревья, на которых, как фонарики, светились под луной желтые цветы.

Посреди площади, за круглым каменным барьерчиком, в окружении громадных медных колес и рычагов блестел большой стеклянный цилиндр с прозрачными шарами на концах. Он был подвешен на оси за се-

редину к двум узорчатым столбам. Вся эта машина казалась высотой с двухэтажный дом, а сам цилиндр напоминал громадные песочные часы, только внутри был не песок, а вода: она тонкой струйкой бежала из верхнего шара в нижний — совсем уже полный.

— Часы? — спросил я.

— Да.

— Очень уж большие.

— Время — вещь серьезная, — сказал Валерка. — Это главные полуночные часы. Им двести лет, и они никогда не ошибаются. Их строил Большой Звездный Мастер.

Отражения луны горели на стеклянных шарах нестерпимо яркими огоньками. Я мигнул и посмотрел в сторону, на темные деревья. В глазах плавали круглые зеленые пятнышки. Но сквозь них я все равно увидел гвардейцев. Они стояли всюду, замыкая проходы между стволами. Молчаливые и неподвижные. Тускло блестели их медные шлемы.

— Смотри-ка, — шепотом сказал я.

Валерка — молодец. Он не дрогнул. Только трофейную шпагу переложил из левой руки в правую.

А меня даже замутило от предчувствия беды: их была целая рота, никакое фехтование не поможет, сомнут и скрутят. Но говорить я старался беззаботно:

— Будет свалка?

— Здесь не будет, — сказал Валерка. — На этой площади никто не смеет драться. Говорят, что Канцлер очень редко спит, а вон его окно.

И Валерка указал куда-то вверх.

Я увидел темную башню, самую высокую из всех. Под карнизом ее острой крыши неярко горел оранжевый квадрат. словно странное четырехугольное светило поднялось над площадью.

— Он там живет, этот ваш Канцлер?

Валерка кивнул.

Я на минуту забыл о гвардейцах: простая до удивления мысль словно тряхнула меня.

— Послушай! Там крутые и длинные лестницы!

А если однажды Канцлер поскользнется и сломает шею? Вдруг?! Ведь всякое случается! Как тогда быть с Эрой Синей Воды и всякими другими? Все предсказания полетят к чертям!

Валерка глянул удивленно.

— Ну... значит, не поскользнется и не ломает...
А вот нам сейчас могут шеи сломать, если попытаемся выйти с площади.

— Чего нас сюда понесло? — с досадой спросил я.

— Мне хотелось показать тебе часы.

— Самое время для экскурсий...

Валерка подошел ко мне вплотную, грустный, но решительный.

— Не сердись,— сказал он.— Я втянул тебя в опасные дела. Но сейчас ты можешь уйти.

— Куда? — растерянно спросил я.

— Вернуться к себе.

— Как?

— Сейчас это просто. В несколько секунд. Я объясню.

— А ты? Ты можешь уйти со мной?

— Могу...

— Так давай!

— А Василек?

О черт же возьми! Как я не подумал!

— Тогда о чем ты говоришь,— тихо сказал я.— Как я без вас?

— Но будет кровь...

Я вдруг понял, что сейчас разревусь, как режут мальчишки от нестерпимой обиды. И чтобы этого не случилось, я заговорил шепотом:

— Зачем ты так? Разве я вас бросал? Разве я когда-нибудь трусил? Я всегда... с вами... а ты...

Он почувал мои слезы. Очень растерялся и смутился. Он сунул шпагу под мышку и взял меня за локти горячими пальцами.

— Извини. Ну, пожалуйста... Просто я должен был это сказать, на всякий случай.

— Братик никогда бы так не сказал. Он умнее тебя,— буркнул я.

— Конечно,— согласился Валерка искренне и торопливо.

Я улыбнулся.

Он тоже.

— Ладно,— сказал я.— Как-нибудь отмахаемся.

Гвардейцы неподвижно, как идолы, стояли среди деревьев. Но в этой неподвижности была нахальная уверенность.

— Послушай а как я могу уйти? — спросил я.— Ты не подумай... Просто интересно.

Валерка кивнул.

— Это самый легкий переход. В ночь большого полнолуния в океане очень сильный прилив. Океан всей тяжестью бросается на берега — и такой толчок... Ну, я не могу точно рассказать. Мне это объяснял наш Звездный Мастер, но я до конца еще не понял. В общем, планета чуть-чуть вздрагивает и еле заметно сбивается с орбиты. И в пустоте сбивается, и во времени. И наше пространство на миг словно сталкивается с другими пространствами... Видишь лунные лучи?

Я пригляделся и впервые различил в лунном воздухе серебристые, тонкие, как фольга, полосы. Некоторые из них чуть заметно дрожали.

— Надо встать в поток дрожащих лучей и ждать удара, — сказал Валерка.

Раздался перезвон. Негромкий, но очень настойчивый. Сразу стало ясно, что его слышно во всем Городе. Медные рычаги и зубчатые колеса пришли в движение, цилиндр перевернулся пустым шаром вниз. В этот шар ударила искрящаяся струйка. На миг пришло ко мне ясное ощущение, что я лежу на дощатом плотике и жду Володьку. Но тут же оно исчезло. Видимо, я не стоял в пучке дрожащих лучей.

— В такие ночи самый большой прилив, — сказал Валерка.

— У нас такие дела называются фантастикой, — сказал я.

Валерка улыбнулся, но тут же нахмурился и совсем другим голосом произнес:

— Фантастика будет, если пробьемся к дому. А пробиться надо. Василек ждет.

Мы пробились. Заранее договорившись, мы взяли на изготовку шпаги и пошли прямо на гвардейцев. Те, кто оказался позади, широкой дугой двинулись за нами. А мы прошли двадцать шагов и, развернувшись, бросились на преследователей. Ух как бросились! Встречный воздух ударил меня по лицу и по ногам, словно лохматым полотенцем! Башни, казалось, падают навстречу!

Круг, в который нас замыкали гвардейцы, был широким. Враги не могли броситься на нас все сразу. К тому же те, кто оказались перед нами, стояли теперь на площади. Обычай запрещал им здесь драться.

Валерка на бегу сбил бородатого вояку. Я вытянул клинком по чьей-то медной кирасе, и рапира долго звенела, как камертон. Мы прыгнули в тень деревьев, потом промчались сквозь хрупкие кусты, проскочили две галереи и разрушенную лестницу, перелезли через кирпичную изгородь. Остановились мы на заросшем пустыре, где валялся вверх лапами каменный зверь, сбитый с постамента. У него была добродушная морда и поломанные перепончатые крылья. Я сел на мраморное брюхо зверя и отдышался.

Рубашка на плече была порвана. Болел ушибленный локоть. К тому же на краю пустыря я влетел в крапиву, а она, подлая, в здешнем сказочном лунном мире жалилась в точности, как у нас дома.

Я сказал об этом Валерке. Он весело заметил, что если это самая большая неприятность, то жить можно. И добавил:

— Зато мы почти пришли.

12

Их дом прилепился к развалинам громадного здания, похожего на храм. В светлом небе чернели разрушенные арки и обломки колонн, а домик прятался в тени. Он был сложен из камней, взятых здесь же, на развалинах, и почти сливался со стеной храма. Только два полукруглых окошка светились, как два больших глаза.

«Небогато для Светлого Рыцаря и Спасителя Города», — подумал я.

Валерка особым образом постучал в сбитую из грубых досок дверь: раз, три раза, потом еще три...

Что-то лязгнуло, дверь, помедлив, со стоном отошла внутрь. Я увидел Братика. Он стоял у порога и держал в опущенной руке тяжелый взведенный самострел. С мягким упреком Братик взглянул на Валерку.

— Что вы так долго? Я жду, жду...

Валерка обнял его за плечи, и мы молча вошли в дом.

В глиняных плосках горело у стен яркое пламя.

Валерка взял у Братика его оружие, вынул из желоба железную стрелу с шариком вместо острия, нажал на спуск. Тетива сорвалась с тяжелым звоном, гул заполнил комнату.

Я попросил у Валерки самострел. Это был окованный медью приклад со стальным луком, зубчатым колесом и рычагом для взвода. Крученная из жил тетива толщиной была с мой мизинец.

— Как ты заряжаешь эту штуку? — спросил я у Братика.

Он в это время запирает дверь на звякающие засовы. Оглянувшись и, смутившись отчего-то, объяснил:

— Мы каждый самострел впятером натягиваем, а потом уже берем себе.

Затем он поманил Валерку, поднялся на цыпочки и что-то зашептал ему на ухо.

Валерка рассмеялся:

— Он стесняется. Говорит, что не знает, чем кормить гостей... Это не гость, Василек.

— У...— тихонько сказал Братик и слегка толкнул Валерку в бок. Потом с лукавинкой глянул на меня и убежал за серую дерюжную занавеску. Сначала он притащил и бухнул на стол чугунный горшок — по стенкам посуды стекали капли молока. После этого принес громадный поджаристый каравай. Прижимая хлеб к майке, Братик широким Валеркиным ножом стал отрезать большие ломти. Ух как я захотел есть!

Мы поужинали за круглым столом, неизвестно как попавшим в эту лачугу (богатый был стол — с инкрустацией и витыми ножками, — только очень старый и скрипучий).

Когда ужин подходил к концу, из окна в комнату бесшумно прыгнул рыжий усатый зверь. Сел у стола, зажмурился и замурлыкал с громкостью включенной стиральной машины.

— Это Рыжик? — спросил я. — Такой вымахал?

— Ага...— сказал Братик. — У, бродяга. Опоздал, а теперь попрошайничаешь.

Он стал кормить нагулявшегося Рыжика, а мы с Валеркой легли на широкий топчан, застеленный белым войлоком. Таким же войлоком укрылись. Он был очень легкий и шелковистый.

Братик задул плошки и полез между нами.

— Ну-ка, раздвиньтесь. Все заняли, какие хитрые...— Он уже не стеснялся меня.

— Ты лягаешься во сне, — сказал Валерка. — Ложись у стенки. Тогда хоть я один буду страдать.

— Ага, у стенки... Там пауки-косиножки ходят...

— Наш храбрый барабанщик...

— Подумаешь... А ты боишься с большого моста нырять.

— Ябеда,— ласково сказал Валерка.

На лежак прыгнул Рыжик, долго возился у нас в ногах, наконец устроился и заурчал.

Я зажмурился, и на миг показалось, что я в деревне у бабушки и ночую на сеновале с Алькой Головкиным и Мишкой Масловым — одноклассниками и друзьями детства. А в ногах — беспризорный, но любимый кот Жорка.

Я опять открыл глаза. И только сейчас в яркой полосе лунного света заметил на стене два рисунка. Их сделали углем на штукатурке. Слева был портрет уса- того Рыжика — смешной и очень похожий. Справа и повыше — парусное судно. Хорошо нарисованный корабль, вроде испанского галеона, только с более низким корпусом. Паруса были надуты пузырями, а из-под форштевня крыльями разлетались волны.

— Кто это рисовал? — спросил я.

— Василек,— сказал Валерка.— Хорошо, да?

— Ладно тебе...— шепотом сказал Братик.

— Здорово нарисовано,— сказал я.— А я и не думал, что у вас есть такие корабли.

— Были,— со вздохом сказал Валерка.— А сейчас порт опустел, корабли гниют у причалов.

— Почему?

— Все боятся, что волны разобьют дамбы и весь берег будет затоплен...

Братик вдруг зашевелился и сказал мне тихонько:

— Знаешь, мы когда вернулись, хотели пойти в моряки. А кораблей нет.

— Но почему? Почему не чинят дамбы, зачем все бросили?

Валерка ответил с сердитой усмешкой:

— Некогда. Эра Багровых Облаков Все воюют

Я не помню, долго ли шел ночной разговор. Но утром я уже многое понимал. Знал, что население Города раз- билось на две враждующие группы и каждая обвиняет противника в неумеренной жажде власти и нежелании работать. Вожаки хотят получить важные посты, а прос- тые горожане бьются кто за что: за право торговать

без налогов, за право строить дома на месте развалин, за какие-то почетные звания и еще — для того, чтобы отомстить за полузабытые старинные обиды. А многие — видимо, просто по привычке и чтобы не осудили сограждане. Что поделаешь, сражения предсказаны Книгами, и даже Великий Канцлер не в силах их предотвратить.

Разбились на две партии и мальчишки. Пошли в барабанщики к старому герцогу по прозвищу Большой Зверь и в факельщики к вожакам цеха оружейников. Для них это было вроде игры — опасной и увлекательной. Сначала... Но пришлось хоронить отцов, а потом факельщики и барабанщики встречались в одной школе. Когда горе, то не до игры. А для серьезной вражды не было уже сил. Случались, конечно, бои и даже кровь, но никто не знал толком, за что дерется. А Утренняя площадь, где когда-то стояли кукольные театры и карусели, зарастала сорняками. А факелы и барабаны были слишком тяжелы... Потом случилась Стена, и кто-то из факельщиков вдруг спросил: «А наша очередь — когда?»

Их учили в школе слушаться Книг, но не все мальчишки прилежные ученики. И кто-то в первый раз начертил на доске угловатую спираль, рассеченную прямым ударом: старинный знак «преодоленного времени». Теперь этот знак приобрел другой смысл: «Разбить предсказание Белого Кристалла». Взрослые — те, кто о чем-то догадывался, — грустно смеялись: разве можно изменить законы Книг?

Но дети часто не верят взрослым...

Я узнал, что есть заговор. Вернее, план. Армии всегда идут за барабанщиками и факельщиками, и ребята решили свести оба войска на старинной улице, у крепостных ворот. Эта улица в давние времена перегораживалась железными решетками для защиты от врагов. Мальчишки задумали пробраться в Цепную башню, где механизмы, и опустить решетки, рассечь армии на мелкие группы.

— А потом? — спросил я.

— Они не смогут драться, — сказал Братик. — И мы потребуем от всех Клятву Огня, что больше не будет боев.

— А если не дадут они клятву?

— Пусть попробуют... — сумрачно сказал Братик. И я услышал, как тревожно вздохнул Валерка.

...Утром Братик убежал к барабанщикам, а мы с Валеркой прошлись по Городу. Было солнечно и мирно. Торговали лавки с овощами и рыбой. Женщины в длинных платьях тащили к речке корзины с бельем. Усатые мужчины в разноцветных рубашках и клеенчатых шляпах чинили каменную изгородь. Две крошечные девочки в клетчатых сарафанах везли на тележке бочонок с водой. Мы помогли им...

Нигде не было гвардейцев.

— Все-таки что нужно было патрулю от барабанщиков? — вспомнил я. — Может быть, узнали про заговор?

— Может быть, — хмуро сказал Валерка. — Хотя какое их дело? Они не должны вмешиваться... А в эту затею с решетками я не верю. Об одном думаю: лишь бы ничего не случилось... с ребятами, с Васильком Ты знаешь что? Поучи меня сегодня на шпагах...

Мы вернулись домой. Почти весь день, с небольшими перерывами, среди развалин храма я учил Валерку приемам спортивного фехтования — скупым и стремительным движениям. Он здорово устал, но зато многое усвоил.

Два раза прибежал Братик. Последний раз он ушел от нас под вечер, и мы проводили его с молчаливой тревогой. Мы знали, что бой будет сегодня.

— А почему нам не пойти с барабанщиками? — спросил я.

— Мы подождем их у башни. Так будет лучше.

13

К Цепной башне мы пробрались через пустыри и болотистые проходы под мостами. Башня была квадратная, двухъярусная, с темно-серыми стенами. К верхнему ярусу вела наклонная галерея со ступенями. Мы взбежали по ней, встали за гранитными столбами навеса

Под нами лежала пустая неширокая улица. Ее плоские трехэтажные дома через каждые двадцать шагов соединялись поперек мостовой воротами. Вернее, это были не ворота а высокие стены, прорезанные внизу широкими арками. Я знал теперь, что в толще этих стен притаились тяжелые ржавые решетки.

Солнце садилось. Оно светило вдоль улицы длинными лучами. Стены и мостовая казались красноватыми. И тихо было так, словно все в городе уже погибло.

Потом вдали ухнули барабаны.

...Вначале все шло, как было задумано. Правда, походило это не на завязку битвы, а, скорей, напоминало начало какого-то праздника.

Пестрые ряды барабанщиков появились справа от нас. За ними колыхались разноцветные знамена, красными бликами горели наконечники копий и медные шлемы.

Слева вышли шеренги мальчишек в одинаковых алых рубашках. Факельщики. Было светло, и факелы не горели. Ребята несли их на плечах, как солдаты несут карабины.

За факельщиками тоже мерцали каски и щетинилось оружие.

Барабаны смолкли. Армии сходились в молчании. Оба войска выглядели пестро, но люди шли слаженно. Ритмичные удары шагов заполнили каменный коридор улицы.

Мне стало страшно. Показалось, что сейчас шеренги столкнутся и начнется неудержимый бой. Мельком я взглянул на Валерку. Он стоял, стиснув себе пальцами плечи, прямой, со сжатыми губами. Неотрывно смотрели вниз, на улицу. Видимо, он тоже боялся.

Но боялись мы зря. Четко, как на параде, шеренги факельщиков и барабанщиков прошли друг сквозь друга. Затем факельщики сделали поворот направо, барабанщики — налево, и все разом кинулись к башне. Лишь несколько ребят остались между армиями и отчаянно вскинули руки, словно хотели удержать взрослых воинов. Оба войска действительно остановились.

Мальчишки действовали слаженно. Большинство из них ухватились за руки и встали перед башней живыми цепями, в несколько рядов. А человек двадцать кинулись вверх по галерее. На ступенях загудели брошенные барабаны.

На улице нарастал шум взрослых и ребячьих голосов. Один мальчишечий голос — тонкий и отчаянно-яростный — все время повторял:

— Стойте! Не смейте! Не смейте!

Те, кто ворвался на галерею, поравнялись с нами. Все происходило так быстро! Мы с Валеркой увидели Братика, рванулись к нему и вместе вбежали в сводчатый коридор.

Сначала была полная мгла, но очень скоро зажглись факелы. Двое мальчиков в алых рубашках проскочили вперед и освещали дорогу.



Коридор вывел на квадратную площадку, а от нее кругами уходила вверх широкая лестница. Наш бег был молчалив и стремителен. Только гулкий топот разносился среди стен. Один из факельщиков поскользнулся и упал. Толпа могла налететь сзади, но Валерка успел подхватить и поставить мальчишку. Тот благодарно улыбнулся и, сильно хромя, побежал дальше. Он не выпустил горящий факел.

Лестница кончилась, и мы высыпали в просторную сводчатую комнату, где было очень светло.

Горели развешанные по стенам фонари (кто их зажег?). Я увидел зубчатые барабаны и громадные деревянные катушки с намотанными цепями.

И тут же я увидел гвардейцев.

Они стояли всюду, у каждого барабана, в глубоких оконных нишах, на каменных выступях и бревенчатых балках. Поверх малиновых мундиров на гвардейцах красовались золоченые наплечники и желтые панцири из тисненой кожи. А на головах — клеенчатые шапочки с черными перьями. Каждый держал легкую трехгранную рапиру...

Стало тихо-тихо. Я вдруг почувствовал, что здесь очень холодно и пахнет гнилым деревом. И услышал частое дыхание ребят. Никто не ждал, что здесь будет охрана: мы натолкнулись на засаду, как волна на стенку. Никто, наверно, не испугался, просто растерялись.

Просто никто не знал, что теперь делать.

Темноволосый курчавый мальчик, которому только что помог Валерка, вдруг подскочил к барабану с цепями и рукоятью факела ударил деревянный клин, торчавший между зубьями шестерни. Клин не шевельнулся. Стоявший рядом гвардеец как-то механически поднял кулак в желтой очень короткой перчатке и опустил на голову мальчишки. Факельщик беззвучно упал, скорчился на кирпичном полу, подтянув к подбородку ободранные коленки.

Я прыгнул и как бы со стороны услышал свист своей рапиры. Удар пришелся по запястью гвардейца. Тот молча открыл рот и, сгибаясь, прижал к животу раненую кисть.

В это время по другому ходу ворвался отряд: ребята лет шестнадцати с тонкими, словно удочки, копьями. Впереди был паренек — смуглый, с длинными желтыми волосами, в медной кирасе на кожаной куртке.

Он крикнул очень звонко:

— Прочь от машин, солдаты!

Бородатый гвардеец с лиловым шарфом поверх нагрудника неторопливо взял с кирпичного уступа взведенный самострел и нажал спуск. Стальной стержень гулко ударил по кирасе и остался торчать в ней. Паренек стал падать — очень медленно, — и все в тишине смотрели, как он падает. Потом рванулся яростный крик, копья полетели в гвардейцев. Люди смешались, и тонкие рапиры замелькали в свете фонарей, как большие вязальные спицы.

Нечего было и думать о решетках. Гвардейцы вмиг оттеснили нас к выходу. Мы с Валеркой встали рядом и отчаянно крестили воздух клинками, пока ребята уходили на лестницу и в коридор. Братик держался за нами. Рубашку у него сорвали в схватке, и теперь он, щуплый, тонкорукий, в своей выцветшей маечке, казался особенно маленьким и беззащитным.

— Уходи! — крикнул Валерка.

Братик прикусил губу и помотал головой. Он сжимал Валеркин нож, совершенно бесполезный в таком бою.

Два барабанщика подхватили и унесли мальчика-факельщика, которого сбил гвардеец.

Я думал, что охрана отгонит нас от механизмов и не будет преследовать. Однако гвардейцы наседали и пытались схватить ребят. У двоих я вышиб клинки, троим основательно поцарапал рожи. Валерка держался рядом, не отходил ни на полшага. Он был молодец. Я видел, как он заставил отступить рослого пузатого гвардейца. Тот откинулся и сбил еще одного.

Тогда вперед протолкался бородатый с шарфом. Он криво улыбался черным открытым ртом и крутил рапирой хитрые финты. Из-за него тупо лез другой — белобрысый и прыщеватый.

Валерка ткнул прыщеватого в плечо, но клинок скользнул по металлу.

— Отходите! — крикнул я и махнул левой рукой: «Туда, назад!» Неосторожно повернулся — и клинок бородатого чиркнул меня по ребрам.

Боли почти не было, но я сразу ощутил, как намокла рубашка. Прижал к ране левый локоть. Бородатый замахнулся. Ударом снизу я рассек ему на локте рукав. Гвардеец качнулся и отступил.

В этот миг я услышал, что Братик негромко вскрикнул.

Я оглянулся. Братик жалобно улыбался. Под ключицей у него, рядом с перекрученной лямочкой майки, было треугольное черное отверстие. Сначала — черное. Но тут же оно налилось словно ярко-красным соком. Тяжелый шарик крови выкатился из него и побежал под майку, потянув за собой алую полоску. Братик растерянно посмотрел на Валерку и прислонился к нему. Валерка заплакал и подхватил его на руки, уронив шпагу.

— Сволочи,— сказал он.

Видимо, прошло всего две-три секунды. Когда я повернулся к гвардейцам, они стояли на тех же местах и бородатый держался за локоть. Я схватил Валеркину шпагу и с двумя клинками рванулся по ступеням. Я что-то кричал от ярости и отчаянья.

Не знаю, может ли быть страшным вострепанный двенадцатилетний мальчишка, даже со шпагами в руках. Но гвардейцы отступили, откатились вниз по лестнице. Я, пятась, вернулся к Валерке и Братiku. Сердце колотилось сильно, беспорядочно и словно не в груди, а где-то в горле. Я переглатывал и кашлял.

— Уходим, быстро...

Мы оказались в темном коридоре. Нас не преследовали. Мы не стали спускаться по галерее. Валерка с Братиком на руках свернул в незаметную боковую дверь, и мы вышли на висячий мостик.

Теплый воздух сразу охватил нас. Были синие сумерки, солнце уже село. Из-за крыши торчала половинка розовой чудовищно большой луны. С улицы не доносилось ни звука. Но все это я отметил мельком, между прочим. Одна мысль, одна тревога была сейчас: что с Братиком?

Он висел на руках у Валерки, расслабив руки и ноги. Только голову старался не ронять, прислонил ее к плечу брата. Он по-прежнему слабо улыбался, но глаза его были закрыты.

— Очень больно, Василек? — спросил Валерка и коротко всхлипнул.

Не открывая глаз, Братик сказал:

— Не очень... Только жжет.

Мне показалось, что губы у него сухие, и он их с трудом расклеивает.

Кровь, кажется, больше не текла. Ее подсохший след на плече казался очень черным.

— Надо... перевязать...— сказал я.

Говорил я отрывисто, в промежутках между прыгающими ударами сердца.

— Здесь негде. Спустимся,— ответил Валерка.

Мы сошли по железным ступеням и оказались у знакомого фонтана с каменными рыбами, рядом с крепостной стеной. Положили Братика на край бассейна. Бассейн был сух, нечем промыть рану.

— Все равно...— сказал я.— Это временная перевязка... Все равно надо врача... В этом идиотском городе есть врачи или только дураки и убийцы?

— Надо к Мастеру,— откликнулся Валерка.— Звездный Мастер вылечит, он знает все.

Валерка уже справился с собой. Говорил решительно. Оторвал от своей рубашки рукав, разорвал на полосы, осторожно положил бинт на черный запекшийся след рапиры.

— Больно, Василек?

Братик разлепил губы:

— Не-а... Только пить...

— Сейчас, сейчас...

Обдирая локти о камень, он подсунул Братiku руки под шею и под коленки, поднял его снова. И пошел. А я за ним, с двумя шпагами на изготовку. Я охранял Валерку и Братика. Но не знаю, как бы я стал драться, если бы встретил врагов. Меня шатало.

14

Шли мы недолго. Но за это время луна посветлела, выкатилась на середину неба, и все, как прошлой ночью, стало ярко-голубым.

Башня Звездного Мастера стояла в глубине заросшего двора. Высоко-высоко светилось окошко, и так же высоко была дверь. К ней вели каменные ступени.

Валерка совсем вымотался и у подножья лестницы молча прислонился к стене.

— Давай,— сказал я и бросил в траву клинки.

Валерка не мог даже спорить. Молча передал мне Братика, поднял шпаги.

Братик спал или был без сознания. Он оказался вдруг очень тяжелым. Я ступал осторожно. Лестница

была совсем старой: на ступенях были вытерты ногами глубокие круглые впадины.

...Потом как бы качнулась навстречу освещенная комната. Высокий человек в каком-то нелепом свитере до колен подхватил у меня Братика. Это был старый человек, с редкими седыми прядями, дряблыми щеками и жалостливым взглядом.

— Маленький мой...— сказал он.

Сзади зазвенело: Валерка бросил на пол наши шпаги.

Мы положили Братика на широкую постель, в беспорядке заваленную пестрыми одеялами. Мастер, сокрушенно бормоча, разматал повязку. Потом он кривыми ножицами перестриг лямки у майки, стянул ее вниз.

Не открывая глаз, Братик негромко застонал.

— Полминутки потерпи, малыш,— прошептал Мастер.

Я увидел у него в ладонях мясистый лист какого-то растения. Мастер ногтями содрал с листа кожицу, и заискрилась жидкая изумрудная мякоть. Этой мякотью Мастер положил лист на запекшуюся ранку.. Затем, не бинтуя Братика, укрыл его по самый подбородок одеялом. Но прежде чем он сделал это, я заметил на другом, нераненом плече Братика натертую полоску. И понял: от перевязи барабана... Барабаны были слишком тяжелы, а ребята-барабанщики все же носили их. Тянули свою лямку маленьких солдат. Солдат, которые дрались против войны.

Я услышал укоризненный голос Мастера:

— Разве мальчики могут изменить предначертанное будущее?..

Ну, конечно! Мальчики ничего не могут! Они тянут свою лямку, пока взрослые делают глупости! Лишь падать и умирать они могут, как большие... И не только в сказке...

Я увидел умоляющие Валеркины глаза.

— Он поправится? — прошептал Валерка.

— К утру,— ласково сказал Мастер.— Если не будет воспаления. Но отчего ему быть? Воспаление бывает у старых и нездоровых людей...

— Он просил пить,— вспомнил я.

— Теперь ему и так хорошо,— успокоил Мастер. Братик дышал легко, лицо его порозовело.

Валерка сидел на краю постели, положив на колени кулаки. Глядя в стенку, он сказал:

— Все равно я найду того прыщавого...

— Разве это он ранил? — спросил я.

— Конечно. Ты не видел?

Я не видел. Я тогда... Что я тогда? Ага, я зажимал локтем раненый бок... Черт, я и забыл о ране! Саднящая боль была все время, но я привык и не думал о ней. А, вот в чем дело: ткань присохла и остановила кровь...

— Посмотрите у меня,— сказал я Мастеру.

...Ух, как больно отдирается рубашка. Ничего. Братику было больнее. А вот и лист... Мокрый, прохладный. Влажный холод словно втягивает в себя боль, растворяет ее. Вот уже совсем хорошо. Даже усталость поубавилась.

Значит, и Братику так же хорошо? Тогда все в порядке...

Я сел на низкий треугольный табурет, привалился спиной к холодной стене. Осмотрелся наконец.

Высокая комната, яркие свечи в настенных светильниках. Стены голые, из песчаника (как та стена с фонариками!), под потолком — скелет крылатого ящера. Неструганый стол, на нем приборы, похожие на старинные штурманские инструменты в Музее флота в Ленинграде.

Мастер сдвинул инструменты на край, принес на стол горшок и глиняные кружки.

— Поешьте, рыцари,— сказал он. Слово «рыцари» прозвучало с грустной насмешкой.

В кружках был сладкий молочный кисель, он пах степной травой.

Мастер смотрел на нас голубыми слезящимися глазами. Только сейчас я понял, что он очень-очень старый. У него были тонкие коричневые пальцы с узловатыми суставами, сухая кожа на руках. Пальцы слегка дрожали, когда Мастер брал свою кружку.

— Когда кончатся эти багровые времена? — горько сказал он.— Когда Великий Канцлер перестанет печалиться о страдающих детях?

Я не смог сдержать раздражения:

— Если он такой добрый, этот ваш Канцлер, зачем он позволяет литься крови?

— Он не добрый и не злой,— сказал Мастер.— Он неизбежный. Как и все в этом мире.

— Ну, неужели все-все у вас расписано наперед? Легенда о Большом Мастере — это правда?

Мастер кивнул.

— Все правда. Он проник сквозь Время и составил Книги... Не знаю, может быть, это была ошибка. Зачем каждому человеку заранее знать свою судьбу?

— Каждому? — не поверил я. — Но разве можно описать судьбу всех людей за несколько веков? С этим не справится и тысяча ученых.

— Ему помогал Белый Кристалл, — грустно сказал Мастер. — Большой Белый Кристалл, который все знал и все помнил. Он таял, пока писались книги. А когда был закончен великий труд, Кристалл рассыпался в пыль.

Пока мы говорили, Валерка смотрел то на меня, то на Мастера тревожными глазами. Наконец он спросил:

— Но разве каждый человек знает свое будущее?

— Если хочет. И если он взрослый. Взрослые получают у Канцлера знак совершеннолетия. В нем записано все. Не всякий только может прочитать, но Мастер, если попросят, может. В каждом знаке — пыль Белого Кристалла.

Я увидел, как Валерка побледнел. Он медленно встал и, оглядываясь на Мастера, пошел к Братiku. «Не надо», — хотел сказать я, но почему-то не смог. Валерка откинул на Братике одеяло, осторожно сунул пальцы в карман его сбившихся штанишек. Еще раз оглянувшись и вытянул на свет медальон.

Коричневый орех закачался на белом шнурке.

— Этот? — шепотом спросил Валерка.

Старик потянул к медальону дрожащие пальцы.

«Не надо», — снова хотел сказать я. Но неизвестность была бы слишком мучительна. Вдруг тайные знаки говорят о чем-то страшном?

Да нет, чепуха! Братик — маленький. Он будет жить долго-долго. Сейчас Мастер прочитает и скажет, что все хорошо...

Мастер надавил орех ногтем, и тот раскрылся, как старинные часы. Я мельком увидел внутри что-то черное и в этом черном блестящие красные точки — словно вмазанные в смолу рубинчики от часов. Странно: ведь Кристалл-то белый. Мастер, морща лоб, долго смотрел на них, а мы не дышали. Потом он, пряча глаза, положил на раскрытый медальон пальцы — как слепой, читающий на ощупь. Еще посидел и негромко сказал...

Что он сказал?!

Он прошептал, глядя в сторону:

— Бедный ты мой...

— Что?! — крикнул я.

Мастер мелко затряс головой, а орех упал на пол, захлопнулся и укатился под стол.

— Там сказано, что убит сегодня,— однотонным голосом сообщил старик.

— Какая чушь! — со смехом сказал я. И оборвал смех под Валеркиным взглядом.

Валерка попятился к постели, словно хотел загордить Братика от беды.

— Он же не убит,— сказал Валерка.— Он просто спит. Видите?! Он спит!..

— «Сегодня» еще не кончилось,— горько возразил Мастер. Он, сутулясь, подошел к Братiku, приподнял на его плече влажный лист. Даже издавleка, от стола, я увидел, что вокруг ранки растеклась большая розовая опухоль.

Мастер осторожно положил лист.

— Черное воспаление,— пробормотал он.— Через час начнется горячка.

Он сел, нагнув голову, обхватив затылок.

Я чувствовал отвратительную слабость и не мог даже встать с табурета. Я только спросил:

— Неужели ничего нельзя сделать?

Мастер молча покачал головой.

Валерка как-то страшно сник и потемнел лицом. Он поверил. А я? Я тоже поверил. Здесь были свои законы.

Здесь...

— Переход! — вспомнил я.— Валерка, переход! Уйдем к нам! У нас такие врачи!

— Переход бывает в полночь,— тихо сказал Валерка.— А до полуночи он...

А до полуночи Братик умрет! Сегодня! Скоро...

Мне показалось, что он уже умер. Я рванулся к постели. Нет, он дышал, и довольно спокойно, только опять побледнел, и на губах появилась белая корочка.

— Сделайте же что-нибудь...— шепотом сказал Валерка.

— Сделайте же что-нибудь! — заорал я на Мастера.— Нельзя же так! Из-за какого-то ореха!!!

У Мастера опять затряслась голова.

— Не из-за ореха... Из-за предначертания...

— Из-за предр... прен... Тыфу! Какого дьявола? Слушайте. Не может этого быть!

Мастер, не мигая, смотрел слезящимися глазами.

— Может... Есть...

— Что есть?! Про себя вы тоже знаете, когда помрете?

Он продолжал трясти головой.

— Через четыре года и три дня... Скорее всего, в День большого наводнения. Океан прорвет дамбы.

— А вы знаете, что прорвет, и ждете, как кролики! Надо чинить дамбы, а не резню устраивать!

— Резня... Такое время. Даже Канцлер бессилен...

— Гад ваш Канцлер,— сказал я.— А вы...

Я начал его ненавидеть. За дурацкую упрямую покорность, за беспомощность, за то, что не может помочь Братику... За то, что стены в его комнате из такого же камня, как Стена!

— Вы врете! — сказал я.— Вы не понимаете! А если до наводнения вы свалитесь с лестницы? Или подавитесь косточкой от сливы? Или этот дурацкий скелет грохнется вниз и пробьет вам голову? Тогда к чертям полетят все предсказания! Тогда все посыплется, как домик из спичек!

Он покорно кивнул:

— Посыпалось бы... Но не посыплется. Потому что никто не может разбить предначертание. То, что должно случиться, уже случилось в будущем, и никто не в силах это изменить.

Братик сзади чуть слышно забормотал. Я оглянулся. Валерка лежал головой на ногах у Братика, а в руке держал его ладошку.

Я не мог смотреть на это, опустил глаза. На полу, у постели, валялась моя рапира.

Я медленно повернулся к Мастеру.

— Никто не может изменить пред... начертанье,— хриловато повторил я.— Да? А если...

Он понял. Он выпрямился. На щетинистом подбородке у него блестела капля молочного киселя. И все-таки он был не противный, а даже красивый, только совсем древний.

— Сделай это, Светлый Рыцарь,— негромко сказал он.— Я пробовал сам, я не сумел... Убей, если можешь.

Я не мог. Но теперь я отчетливо знал, как поступить.

— Валерка! — громко позвал я.

Он поднял мокрое лицо.

— Ничего,— сказал я.— Ты не думай, что все... Ты же звал меня не зря. До полуночи есть время.— И поднял рапиру.

Он смотрел на меня с надеждой. Ни до этого, ни после я не видел глаз, в которых была бы такая отчаянная надежда.

15

Я шел по пустым голубым улицам и неотрывно смотрел на самую большую башню. Там, высоко над крышами, светилось оранжевое квадратное окно — недремлющее око Отца и Защитника Города и всех степей и гор до самого Океана.

«Защитник»... А кто защитил Братика? И того мальчишку-факельщика, сбитого кулаком бородатого солдафона! И того паренька, убитого железной стрелой?

Где ты был, Га Ихигнор Тас-ута, Великий Канцлер, когда шесть барабанщиков легли у Стены? За что они погибли? Кто этого хотел?

Я ничем не могу помочь тем шестерым. Не могу их вернуть, тут бессильна любая сказка. Только фонарики горят... То слабее, то ярче... Фонарики...

Не знал я этих ребят, но мне кажется почему-то, что все они были похожи на Володьку. На моего Володьку, который сейчас далеко-далеко от меня — за сотни лет и неизвестно за сколько километров. Может быть, и не были похожи, но мне кажется... как он сползает по стене и валится вниз лицом... Или это Братик?.. Фонарики...

Не хочу, чтобы горел еще один!

Н е х о ч у!!

...Думаете, я стискивал кулаки или плакал? Нет, я спокойно шел через площади и мосты. По крайней мере, внешне был спокойным. Все отчаянье и тоска, весь страх за Братика свернулись во мне в тугую пружину и превратились в решимость.

У входа в башню Канцлера чадили факелы и толпились гвардейцы. Видимо, я держался вполне уверенно — они посмотрели вслед и даже не окликнули, когда я вошел внутрь.

Я оказался в мраморном вестибюле. Здесь тоже были

гвардейцы, а у лестницы стоял офицер с лиловой перевязью.

— Великий Канцлер ожидает меня,— решительно сказал я.

Офицер удивленно поднял брови и посторонился.

Может быть, эти гвардейцы ничего не знали про меня, а может быть, знали, но думали, что я не опасен для Канцлера. В самом деле: что такое забияка-мальчишка для могучего правителя, которому суждено жить до Эры Второго Рассвета?

Я стал подниматься по лестнице, звеня рапирой о ступени.

«Светлый Рыцарь... Мастер клинка»,— запоздало заговорили сзади. Но никто не пошел следом.

Лестница была очень длинной. Наконец она привела меня к высокой двери из простых темных досок. Я потянул медную скобу. Дверь отошла бесшумно, я шагнул через порог и прикрыл ее за собой.

В просторной комнате горела, как звездочка, лишь одна свеча, но было светло: в окна падали яркие голубые лучи. Окна были узкие и высокие. Видимо, квадратное окно находилось выше и светилось просто так.

В глубине комнаты качнулась тяжелая портьера, и вышел на свет высокий костлявый человек. Он был в черном костюме (как у Валерки в первый день, только без налокотника). Я разглядел его лицо: очень узкое, с плотными губами и хрящеватым носом. Гладкие короткие волосы плотно прижимались к голове. Они были седые или выглядели такими из-за луны. Бровей почти не было, а круглые глаза напоминали глаза птицы.

Я вздрогнул, но обрадовался. Ведь враг мог бы оказаться вполне симпатичным и добродушным на вид. Все тогда было бы труднее.

Но этот был таким, как я ожидал.

— Вы — Канцлер? — сказал я.

Он не возмущился и не удивился. Улыбнулся. Странно выглядит лицо, которое старается казаться добрым, хотя не приспособлено к этому.

— Да, я Канцлер.— Голос у него был сипловатый, но громкий.— А вы — Светлый Рыцарь, друг нашего славного Трубача...

Знает! Тем лучше.

Я переглотнул и спросил:

— У вас есть шпага?

Глупый был вопрос. На стенах в лунном свете блесло множество разных клинков.

Канцлер, все улыбаясь, спросил:

— Мастеру клинка понадобилось новое оружие? После того, как он потрепал в схватках стольких доблестных гвардейцев...

— Оно понадобилось вам,— перебил я.— Возьмите шпагу, Канцлер.

— Зачем? — весело удивился он.

— Чтобы защищаться... Я вас убью.

Что-то дрогнуло у него в лице. Но улыбка не сошла. Он качнулся вперед, словно стараясь разглядеть меня получше. И, увидев, что я не шучу, снисходительно объяснил:

— Меня нельзя убить. В Книгах сказано, что...

— Плевал я на ваши книги! Они меня не касаются, я не ваш!

Он опять качнулся вперед. Перестал улыбаться и скрестил руки.

— Да...— произнес он.— Книги говорят и об этом... К сожалению, старый язык тяжел и не всегда ясен. Мы не поняли, нам казалось, что ты объявишься среди барабанщиков...

— Вот как...— тихо сказал я.— И потому была Стена?

Он отшатнулся.

— Опомнись, Рыцарь...— Это прозвучало вроде бы искренне. Но в глазах его скользнула боязнь, и теперь я знал точно: лжет Канцлер.

— Возьмите шпагу,— почти шепотом произнес я.— Возьмите шпагу или... как там у вас?.. клянусь Огнем, я вас убью безоружного.

— Убить того, кто не защищается,— невелика честь.

— Те шестеро...— сбивчиво сказал я,— у Стены... Они защищались?

— Опомнись...— опять начал он, но вдруг замолчал, нехотя шагнул к простенку и снял блестящий тонкий палаш. Сбросил на пол куртку.

— Я — лучший фехтовальщик в Городе,— сказал он без хвастовства и даже как-то грустно.

— И прекрасно.

Он чиркнул по воздуху и срубил несколько кистей у портьеры. Кисти мягко стукнули об пол.

— Прямо кино,— сказал я.

— Не понимаю...

— Естественно.

— Сколько вам лет, Рыцарь?

— Двенадцать.

— Это неправда.

— Правда. Мне всегда было и будет двенадцать

— Было... Но не будет, если ты сейчас не уйдешь,— возразил он с неожиданной злобой.

— Я не уйду. Может, начнем? Мне некогда. У меня из-за вас... умирает братик.

Я впервые так сказал — «братик». Не с большой буквы, а как о собственном братишке. Мгновенная режущая тоска ударила по сердцу. Чего я жду?

И я напал на Канцлера.

Он дрался здорово! Куда там его увальням-гвардейцам! К тому же он был просто здоровее, сильнее меня в десять раз. А у меня сразу отклеился от раны целебный лист и по боку опять потекло. Ну, черт с ним! Лишь бы не помешали.

Да, Канцлер здорово дрался. Сперва я даже подумал, что все, крышка. Но он давил меня лишь за счет быстроты и силы. Техника его была бедновата, и, наконец, в контратаке я здорово поранил ему правую руку

— Что насчет этого говорят Книги? — спросил я, стараясь отдышаться.

Он быстро переложил клинок в левую руку. Я тоже — мне было все равно.

— Меня можно только ранить, — свистящим голосом сказал Канцлер. — Только ранить. Понял?

Он как-то сразу и сильно устал. Я тоже, но он больше. Я прижал его к стене напротив окон. Он стоял на свету — сутулый, с полуопущенным палашом и шумно дышал открытым ртом. Я не мог убить его, он был беспомощен. В схватке, сгоряча — другое дело. А сейчас...

А Братик? Я вспомнил его спекшиеся губы. И отчаянный взгляд Валерки... И опять — фонарики у Стены. Такие спокойные, будто просто так горят...

— Зачем тебе убивать меня? — спросил Канцлер.

— Чтобы разрушить ваше подлое «предначертанное будущее». Чтобы братик мой жил!

— Разве я виноват? Не я писал Книги!

— Ты не писал! Ты только учишь жить по ним! Пускай люди режут друг друга! Пускай мальчишек убивают, как кроликов! Жестяной фонарик — не велик расход для казны! Да, Канцлер?

Он, не отрывая от меня взгляда, медленно скользил вдоль стены — к двери. К спасительной двери!

Я прыгнул и загородил выход. Он спиной оттолкнулся от стены.

— Ты глупец, — медленно сказал он. — Один мальчишка не может изменить мир.

— Это ты дурак, — сказал я. — Разве я один? Я один из многих. Знаешь, сколько дралось сегодня в Цепной башне? Тебя скоро все равно прихлопнули бы, Канцлер. Просто мне надо успеть до полуночи.

— Твой брат все равно умрет.

— Врешь!!

— Не вру!!

Зря он это. Себе сделал хуже. Я сжал рукоять.

Канцлер впился в меня круглыми глазами.

На миг я словно поменялся с ним местами. Я ощутил то, что чувствовал он. В нем выросстал отчаянный страх. Потому что творилось непостижимое: из чужого мира пришел неведомый враг и грозил разрушить все, что казалось таким ясным, известным заранее. Вопреки всем законам враг грозил ему, Канцлеру, смертью!

Стереть, уничтожить этого врага! Чтобы все опять стало прочным, покорным предсказаниям Белого Кристалла! Убить, не медля ни мгновенья!

Я понял, что сейчас Канцлер кинется на меня. И в тот же миг он с нацеленным палашом в отчаянном броске пересек комнату.

Я не успел защититься. Лишь откинул тело в сторону и назад. Плоское лезвие прошло у моей груди и вдоль отброшенной правой руки. Левую кисть с рукоятью рапиры я держал на уровне пояса. Острие было поднято. Канцлер так и наделся на него — рапира вошла ему под ребра и выскочила между лопаток.

Я отпустил рукоять и отпрыгнул. Канцлер выпрямился, слегка выгнулся назад и посмотрел мимо меня удивительно спокойными глазами. Он не выпустил оружия. Он прочно сжимал эфес, а отточенный конец палаша смотрел вперед и шевелился, словно отыскивая цель.

Страх, что я безоружен перед Канцлером, сбил у меня все мысли и чувства. Я ухватился за рапиру двумя руками и отчаянно рванул на себя. Отлетел с ней к дверям. Канцлер постоял секунду и, не согнув коленей, с деревянным стуком упал вниз лицом.

Видимо, он умер сразу. Скорее всего, раньше, чем упал. Но тогда я этого не понял. Я стоял и смотрел на Канцлера и видел его худую спину, покрытую широкой лунной полосой,— эта полоса протянулась от окна. На белой рубашке Канцлера было маленькое рваное отверстие с загнутыми вверх клочками ткани по краям. Вокруг набухало на полотне темное пятно, однако отверстие выделялось четко...

Мне было жутко до тошноты. Какая-то каша отчаянных мыслей и страхов. Но самый главный страх — такой: вдруг Канцлер зашевелится? Что же тогда делать? Для последнего удара не поднялась бы рука. А уйти, не убедившись, что противник убит, я не мог. И взять за руку или повернуть вверх лицом тоже не мог, не решился.

Не знаю, сколько времени я так стоял. Потом пришло ясное ощущение, что лежащая на полу фигура не имеет ничего общего с жизнью.

Я с облегчением вздохнул и отодвинулся к окну. Морщась, вытер портьерой клинок. Затем, далеко обойдя Канцлера, подошел к двери.

Я готов был с боем пробиваться на свободу, но лестница оказалась пуста. Только у входа стояли два часовых и незнакомый офицер. Он молча коснулся перчаткой шляпы!

Мне показалось, что на улице стоит ласковое тепло: словно луна грела, как солнце. И я опять ощутил запах шелковистой степной травы. Кружилась голова, сильно болел бок, и ноги были слабые. Но я испытывал огромное облегчение.

Теперь все. Все!

Может быть, случатся еще битвы и кровь, наводнения и пожары, но братик мой будет жить. Я порвал проклятую цепь...

Я брел и улыбался. Недалеко от фонтана с каменными рыбами до меня донесся перезвон Главных часов. Полночь.

— Все... — снова сказал я.

И тут же страшная и простая мысль словно пригвоздила меня к месту: «А если он все-таки умер?»

Как я бежал! Шарахались редкие прохожие, обалдело посмотрел вслед гвардейский патруль.

«А если он все-таки умер! Ведь он мог умереть не из-за предсказания, а просто от раны!»

Всхлипывая и задыхаясь, я ворвался в комнату. И сразу увидел изумленно-счастливые Валеркины глаза.

...Потом уже я увидел все остальное: что Братик дышит ровно и нет на его губах белой плесени; что Мастер безмерно удивлен и суетлив (он возился с компрессом); что медальон раздавлен на полу — видимо, на него случайно наступили.

Но сначала — Валеркины глаза. И этого было достаточно.

Чтобы удержать слезы, я прикусил губу, а потом грубовато сказал:

— Залепите мне рану, Мастер.

Он закивал и, продолжая счастливо суетиться, встал на табурет, потянулся к полке. Табурет качнулся.

— Не упадите, Мастер,— сказал я.— Будьте осторожны. Всегда будьте осторожны...— Я понимал, что говорю не то, но не мог остановиться, иначе бы заплакал.— Не думайте, Мастер, что с вами ничего не может случиться до большого наводнения. Не очень верьте Книгам Белого Кристалла. А то Канцлер верил, и вот...

Сильно закружилась голова, и я уронил рапиру. Острие легло к моим ногам, а рукоять с выпуклым шитком покатилась по дуге, словно рапира хотела замкнуть меня в окружность, где радиус — клинок. Я торопливо переступил эту черту...

Постель у Мастера была одна, и меня положили рядом с Братиком. Я слышал, как он дышит. Валерка сидел у нас в ногах и молчал.

Мастер погасил свечи и лег на узкой скамье у двери.

Еще помню, что в окно заглянула луна, и я наконец увидел, что это обычная земная Луна со знакомыми пятнами равнин и гор.

16

Я проспал почти до полудня. Когда проснулся, солнце горело на стеклах и медных дугах развешанных по стенам инструментов. Братик, скрестив ноги, сидел на столе и большой иглой чинил свою майку, пострадавшую от ножниц Мастера. Он сразу встретился со мной глаза-

ми и улыбнулся. На его плече белел наклеенный кусочек ткани.

— Болит плечо, Василек? — спросил я.

Братик опять улыбнулся:

— Не-а... Только палец болит истыканный.

Он неумело откусил нитку и объяснил:

— Я давно шью. Я тебе рубашку зашил.

Рубашка, отмытая от крови и заштопанная крупными стежками, лежала на табурете.

Я скосил глаза на свой голый бок. Там был заросший розовый рубец, похожий на вытянутую букву S. Ай да Мастер!

Братик стал натягивать майку и поморщился: видимо, плечо все-таки побаливало. Потом он прыгнул со стола, подошел, сел на краешек постели. Осторожно тронул мой шрам. Глянул тревожно, шепотом спросил:

— Страшно было?

Недавняя ночь как бы придвинулась вплотную.

— Страшно, — сказал я. — Но теперь уже все.

— Уже все, — серьезно согласился он.

Я потрянул головой, прогоняя воспоминанье. Потянулся и сел. Ни усталости, ни боли! Мышцы — как тугие струны!

— Где Валерка? Где Мастер?

— Валерка в Городе, — беззаботно откликнулся Братик. — Мастер внизу, у очага, варит овсянку. — Он вдруг смешно сморщил нос и признался: — Я ее не люблю.

— Валерка в Городе? — с беспокойством переспросил я.

— Да ничего, — успокоил Братик. — Он теперь тоже Мастер клинка.

Но я уже был на ногах и глазами искал рапиру.

В это время Валерка ворвался в дверь. Он был злой и очень веселый. Зазвенела в углу брошенная им шпага.

— Гвардейцы заперлись в башне и голоса по Канцлеру, как древние плакальщицы, — сообщил он. — Но того прыщавого я нашел! — Он встретил мой взгляд и торопливо объяснил. — Да нет, я просто заставил его прыгнуть со стены в старое болото, а там — как знает. Хотя стена высокая, а внизу трясина...

Я не улыбнулся. «Гвардейцы голоса...» Я как наяву увидел распластанное на полу тело, продранную на спине рубашку. Ни о чем я не жалел, и совесть меня не мучила. Просто стало не по себе.

У Валерки сошла улыбка и потемнели глаза. Он вдруг подошел вплотную, положил мне на плечи ладони. Лбом коснулся моего лба.

— Прости,— сказал он тихонько.— Я обалдел от радости. Сколько миллиардов раз я должен сказать тебе спасибо...

— Да ладно...— совершенно растерявшись, пробормотал я.— Ну ты чего... Лучше расскажи, что в Городе.

Он отодвинулся, помолчал, потом сразу повеселел и ответил с облегчением:

— В Городе кавардак. Большой Зверь объявил себя верховным правителем. Предводители оружейников обозвали его самозванцем. Поднялся крик, начальники хотели устроить сражение. Но многие люди сказали: «Канцлера нет, значит, Книги лгут. Деритесь сами». Больше сотни человек побросали у Главных часов копья и самострелы...

Через час мы попрощались с Мастером и вышли на лестницу. Недавно прошел крупный дождик, а сейчас опять было солнечно. В выемках истертых ступеней блестели лужицы. Мы побежали по ним вниз, и теплые капли забрызгали нам ноги.

Мы пересекли площадь с фонтаном. В сухом бассейне валялись длинные пики и несколько зазубренных палашей.

— Бросаем? — сказал Валерка.

— А не рано?

— Бросайте,— сказал Братик. Сказал так уверенно, что мы сразу послушались. Наши клинки зазвенели о камень.

Мы в знакомом месте перебрались через стену. Сразу обняло нас море голубоватой травы. Над ней струился солнечный воздух. Трещали кузнечики.

— Мы уйдем к рыбакам,— сказал неожиданно Братик.— Будем там жить. Теперь можно.

— А Мастер? — спросил Валерка.

— Мы будем его навещать.

Валерка кивнул.

— Люди почиют дамбы, отстроят пристани и корабли. Вы станете моряками,— сказал я.

— Да,— согласился ясноглазый мой братик.

Некоторое время мы шли просто так, ни о чем не говорили. Мы держались за руки.

У Василька на раненом плече сидел крупный голубой кузнечик. Он совсем по-человечьи поглядывал на нас крошечными черными глазками.

— Кто такой Володька? — вдруг спросил Братик. Я вздрогнул.

— Ты ночью звал его, — объяснил Братик. — Он кто?

— Просто мальчик, — сказал я. — Вроде тебя.

И тут я увидел, что мы идем прямо к одинокой старой башне. Я оглянулся. Город белел у горизонта. А башня была рядом.

— Что? Уже? — с печалью спросил я у Валерки.

Он слегка улыбнулся:

— Нет еще, нет...

Мы поднялись на балкон, но не стали входить в дверь, а по ржавым скобам забрались на самый верх башни. Это была круглая площадка. За много лет ветер нанес сюда землю, и теперь здесь росла трава. Не такая, как в степи, а невысокая, с мелкими желтыми цветами.

— Полежим, — сказал Валерка.

Мы легли на животы и стали смотреть в проем между зубцами.

— Там океан, — сказал мне Братик. — Видишь?

Я разглядел у горизонта темную полоску. В это время пришел ветер и принес запах моря.

Я перевернулся на спину. Валерка и Братик тоже. Я лежал между ними и держал их за руки.

Небо над нами было очень синим, резким, и я закрыл глаза. И почувствовал вдруг, что в руках моих ничего нет, а под лопатками доски.

17

Я лежал на плотике. Ко мне шумно плыл от острова Володька. Он явно был намерен опять окатить меня брызгами.

Я пружинисто вскочил. Я все сразу понял, но не чувствовал ни горечи, ни печали. Валерка и Братик словно по-прежнему были со мной. Я снова стал большим, но мальчишечья легкость и упругость звенели во мне.

— Без диверсий, — весело сказал я Володьке.

Он, фыркая, выбрался на плотик, а я показал ему язык и вскинул руки, чтобы прыгнуть и скользнуть вдоль воды.

— Ой...— сказал Володька.

— Что?

Он мокрым пальцем коснулся моих ребер.

— Это у тебя откуда?

На коже у меня был заросший рубец в виде вытянутой буквы S.

...Я закрыл глаза и постоял несколько секунд, заново переживая все, что было... Или не было?.. Потом посмотрел опять. Шрам оказался на месте. Он даже болел чуть-чуть, хотя выглядел старым.

— Это давно, Володька,— тихо произнес я.— Это когда мне было двенадцать лет.

— Что ты морочишь голову? — жалобно сказал он.— Мы позавчера купались, и у тебя ничего не было.

— Это случилось, когда мне было двенадцать лет,— повторил я. И от мгновенного толчка радости рассмеялся совсем как мальчишка. Я прыгнул, уплыл на середину и долго плавал в зеленоватой толще воды. Потом вернулся к Володьке.

Он сидел обхватив колени и вопросительно смотрел на меня янтарными своими глазами. О шраме он больше не спрашивал. Заговорил про другое:

— Куда ты уходил?

Я сел рядом на теплые доски.

— Уходил? Когда?

— Ну, недавно, пока я был на острове? Целых два часа гулял где-то и ничего не сказал.

Я молча смотрел на Володьку.

Он обиженно заморгал. Это было уже всерьез.

— Ну что ты...— сказал я.— Ну, уходил. Было одно срочное дело. Я расскажу.

Он кивнул, дотянулся до валявшейся обгорелой спички, начал тонким угольком царапать доски. Затем, поглядывая исподлобья, спросил:

— А меня возьмешь?

— Куда?

— Туда... Если опять будет срочное дело?

Я слегка вздрогнул. Володька рисовал на доске угловатую спираль. Потом он вздохнул, улыбнулся и разрубил ее решительной чертой.



ВЕЧНЫЙ ЖЕМЧУГ

I

Три дня мы с Варей жили у ее родителей в Старокаменке. Потом Варя осталась, а я на такси вернулся в город.

Колеса машины шумно шипели на сыром асфальте и с размаху вспарывали мелкие лужи. К ветровому стеклу прилип кленовый лист. Когда машина проносилась мимо фонарей, лист просвечивал, как тонкая ребячья ладошка.

Было поздно. Я безнадежно опаздывал в театр на совещание. Вопрос обсуждался важный: об открытии нового сезона, и я заранее представил, каким взглядом встретит меня наша грозная директриса Августа Кузьминична. Поэтому решил не заезжать домой и сразу ехать в ТЮЗ.

Машина проскочила мимо нашего переулка с одинокой лампочкой на углу. Очень быстро. И я не понял в первый миг, отчего появилась тревога. Сначала это было смутное ощущение какого-то неблагополучия. Потом оно перешло в острое беспокойство...

Еще несколько секунд я убеждал себя, что мне просто от усталости привиделась за искрящейся сеткой дождя тощая мальчишечья фигурка с поникшими плечами. Потом сказал водителю:

— Простите, я забыл. Надо вернуться, заехать...

Шофер притормозил и заворчал, что на узкой улице не развернешься и надо было думать раньше...

Я чертыхнулся про себя, торопливо расплатился и зашагал назад.

Дождь был не очень холодный, зато нудный какой-то. Сеял и сеял. С кленов падали в лужи большие капли. Я придумывал самые искренние извинения, которые скажу Августе Кузьминичне, и ругал себя за разболтанные нервы.

Но, оказывается, ругал зря.

Он в самом деле стоял на углу, у столба с лампочкой. Прижимал к животу большого рыжего кота Митьку и пытался прикрыть его от дождя промокшим подолом рубашки-распашонки. Митька не ценил такой заботы. Время от времени он принимался дергать задними лапами и нервно колотил хозяина облипшим хвостом по мокрым ногам.

— Ты сумасшедший,— сказал я, накрывая их обоих плащом.— Ты что здесь делаешь?

Он заулыбался, весь потянулся ко мне и вдруг смутился:

— Митьку искал... На улице дождь, а он все бегае...

— У Митьки-то шкура, а у тебя... Совсем раздетый! Вот угодишь в больницу перед самым началом учебы!

— Да не холодно,— пробормотал он и вздрогнул под плащом. Потом тихонько сказал: — Хорошо, что ты приехал.

— Еще бы! Иначе тебя пришлось бы над печкой сушить... Митьку искал! Нашел ведь, так зачем еще торчишь под дождем?

Он опустил голову.

— Я ждал.

— Кого ждал?

— Ну... может, мама приедет.

— Разве она уехала?

— Ага, утром. В Лесногорск к тете Тане.

— Тогда какой же смысл ждать? Разве она успеет за день?

Он коротко глянул на меня и опять опустил голову.

— Ну... может, успеет...

Снова шевельнулось колючее беспокойство. Я наклонился.

— Послушай, а почему ты не ждешь дома? Володька, что случилось?

Он поднял лицо, усыпанное блестящим дождевым

бисером. Если речь шла о серьезных вещах, Володька не лукавил. Он вздохнул и сказал, не отводя глаз:

— Я там почему-то боюсь.

Каждый человек чего-нибудь боится. Так уж устроены люди. Володька боялся всякой мелкой живности: тараканов, мохнатых ночных бабочек, гусениц, оводов и даже ящериц. Боялся одно время хулигана Ваську Лупникова по кличке Пузырь. Боялся, что станут смеяться над его дружбой с Женей Девяткиной (хотя никто не смеялся). Но никогда в жизни ему не было страшно дома. Он с пяти лет был самостоятельным человеком и даже ночевал один, когда мама его уходила на дежурства в больницу.

— Ты не заболел? — осторожно спросил я.

Он энергично помотал головой. Лоб у него был холодный.

— Так что же случилось, Володька?

Он виновато пожал плечами.

— Пошли,— решительно сказал я.

Дома я сразу же погнал Володьку под горячий душ. Пока он плескался в ванной, я устроил мокрого Митьку у электрокамина и осмотрелся. Все было привычно и знакомо. Что могло напугать Володьку в этой комнате?

Раньше здесь жил я. Целых четыре года. Потом мы с Володькой и его мамой поменялись квартирами. Это Володькина мама предложила, когда узнала, что мы с Варей хотим пожениться.

— Вам, Сергей Витальевич, внизу удобнее будет,— сказала она.— Комната попросторнее.

— Нам-то удобнее,— возразил я.— А вам? Вас тоже двое.

— А вас, глядишь, скоро трое будет,— улыбнулась она.— Коляску-то по лестнице неловко таскать.

Володька, который был при этом разговоре, пристально посмотрел на меня. Я пробормотал, что, «конечно, спасибо, я посоветуюсь с Варей», и, видимо, покраснел. И поспешил исчезнуть. Володька догнал меня на лестнице. Несколько секунд он стоял понурившись. Наконец шепотом спросил:

— А вы... пускать меня будете к себе... иногда?

Я неловко прижал его к свитеру и сказал, что он дурень.

Под Новый год была свадьба. Не долгая и не шумная. Володька сидел среди гостей, солидный и серьезный. Пил газировку, ел салаты и, кажется, чувствовал себя неплохо. Но потом, когда за столом царило уже шумное и слегка усталое веселье, я увидел, что он непонятно смотрит на нас с Варей мокрыми глазами. Я заерзал и, пробормотав Варе «извини, я сейчас», хотел пробраться к Володьке. Но она строго прошептала: «Сиди!» Встала и сама подошла к нему. Что-то шепнула ему, обняла за плечи и увела в коридор. В дверях оглянулась и сказала мне глазами: «Не бойся». Я вдруг подумал, что она сама слегка похожа на Володьку, хотя совсем светловолосая и с веснушками. Недаром у нас в театре она играла озорных и храбрых мальчишек.

Они вернулись минут через десять. Глаза у Володьки были сухие и веселые. Он ввинтился между гостями, вынырнул рядом со мной и зловеще прошептал:

— Теперь мы будем вдвоем тебя воспитывать, вот. Будешь бриться каждый день и приучишься не разбрасывать вещи.

— Инквизиторы... — сказал я с облегчением...

Жить на втором этаже Володьке нравилось. Он придумал такую штуку: привязывал к нитке граненую пробку от графина, спускал ее из своего окна и звякал о наше стекло. Это означало: «Вы про меня не забыли? Можно вас навестить?» Если мы были заняты, он не обижался. Но чаще всего Варя или я стучали в потолок ручкой от швабры. И тогда Володька спускался сам.

Спускался хитрым способом. Напротив наших окон рос могучий тополь, и от него над крышей протянулась крепкая ветвь. К этой ветви Володька прицепил несколько блоков, пропустил через них капроновый шнур и к одному концу привязал большую ребристую шину от грузовика. Он выбирался из окна, усаживался на шину и, перехватывая свободный конец веревки, плавно приземлялся в траву за нашим подоконником. Эту систему он называл «парашют».

При взгляде на «парашют» меня оторопь брала. Само Володька щуплый и легонький — его хоть на суровой нитке спускай. Но как тонкий шнурок выдерживал тяжеленную шину от самосвала?

— Вот грохнешься однажды...

— Ой уж...

— Сломаешь шею, тогда будет «ой уж»!

Володька насмешливо фыркал. Но я не отступал. Очень уж ненадежно выглядела веревочка. Наконец Володька слегка рассердился, глянул в упор потемневшими глазами и решительно сказал:

— Ну что ты трепыхаешься? Эту веревочку мне Женька подарила. У друзей веревочки никогда не рвутся.

Чтобы доказать это, он спустился на «парашюте» вместе с Женей, да еще рыжего Митьку прихватил. И все кончилось благополучно, только шиной придавило к земле Митькин хвост, и бедный кот заверещал, забыв про солидность и достоинство...

А в начале августа Володька пришел без предупреждения. Остановился в дверях. Вережку, скрученную в моток, он держал на согнутом локте и поглаживал, как живого котенка. Печально глянул на нас исподлобья.

— Ты чего, Володенька? — встревожилась Варя.

— Да ничего, — со вздохом сказал он. — Так... Женька вот уехала...

— В лагерь? — глупо спросил я.

— В Африку, — сумрачно сказал Володька.

Я косо глянул на него: «С тобой по-хорошему, а ты дразнишься».

— Да правда в Африку. На целый год, с родителями. Они геологи, их послали африканцам помогать...

— Год — это долго, — сочувственно сказала Варя. — Чаю хочешь с вареньем?.. Ну ничего, придет ведь.

— Хочу, — сказал Володька. — Придет... Когда еще...

Варя вышла на кухню, а Володька подошел осторожно, коснулся щекой моего рукава. Поднял печальные глаза.

— Ты смотри, никуда не уезжай надолго. А то совсем...

2

Оставляя мокрые следы на половицах, Володька выбрался из ванной. Он яростно тер полотенцем всклоченную голову и на меня не смотрел. Я понимал, что он хочет скрыть неловкость за недавний страх.

— Одевайся в сухое, а то опять продрогнешь...

Он раздраженно шевельнул худущими лопатками (без тебя, мол, знаю) и с головой и ногами скрылся в недрах платяного шкафа. Послышались возня и хмурое ворчанье:

— Никогда ничего не найдешь...

Наконец он вылез. Вытащил модную майку, украшенную иностранными газетными заголовками, и новенькие шорты защитного цвета. Майка была ему в пору, а шорты велики. Мама купила их Володьке весной, она надеялась, что сын за лето подрастет. Однако Володька вытянулся немного, но в ширину ничуть не увеличился, и штаны болтались на нем, как юбочка. Сползали.

— Ну и жизнь,— капризно сказал он.

— Надень ремень, вот и все...

Володька ехидно заметил, что эта умная мысль ему тоже пришла в голову. Но старый ремешок он потерял на пляже, а широкий командирский пояс подарил.. одному человеку.

— Кому это?

— Ну... Женьке. Когда уезжала.

Он вдруг вспомнил что-то, сердито поддернул шорты почти до подмышек и схватил со стола белую веревочку. Ловко опоясался ее концом, а весь моток, не обрезая, сунул в карман.

Капроновый тонкий шнур даже на вид был скользким. А узелок с легкомысленной петелькой выглядел совершенно ненадежно.

— Развяжется,— усмехнулся я.— И потеряешь штаны.

— Не развяжется,— рассеянно откликнулся Володька.

У него дурацкая привычка: вот так, между делом, отрицать очевидные вещи!

— Ведь развяжется,— сдерживая раздражение, сказал я.— Через несколько шагов.

Этот тип равнодушно сообщил:

— Мой узелок никто не развяжет. Кроме меня.

— На что спорим? — сухо спросил я.

Он сунул руки в карманы, выпятил живот и предложил:

— Развяжи без спора.

Ну ладно... Я поставил перед ним стул, неторопливо сел, двумя пальцами взял капроновый кончик и слегка потянул.

Узелок был прочнее, чем казалось. Я потянул сильнее. Гм... Ч-черт... Я разозлился и дернул изо всех сил! И... с чем это сравнить? Представьте, будто вас попросили порвать нитку, а оказалось, что это замаскированная стальная струна.

Узел не поддавался, а Володька от рывка подлетел ко мне вплотную. Я встретился с его сердитыми глазами, и... мы поняли, что обманываем друг друга. Спорим о всякой ерунде, о веревочке, и стесняемся заговорить о главном.

Я взял Володьку за колючие холодные локти.

— Ну, что ты... Ну, давай разберемся. Чего ты испугался?

Он отвел глаза, подумал, глядя в пол. Вдруг сел ко мне на колено и полушепотом попросил:

— Помолчим немного.

— Ну... хорошо. И что будет?

— И будет... пусто.

Он это спокойно сказал, но я ощутил, как у него под майкой струнами натянулись мышцы. Тогда я плотно прижал его к себе.

Стало тихо. Перестали потрескивать спирали в электрокаmine. Рыжий Митька кончил вылизывать подсыхающую шкуру и непонятно смотрел на нас.

Сначала ничего не было. Потом... потом тоже ничего не было, но... как бы это объяснить? Словно исчезли стены. Они, конечно, были на месте, и все было на месте. Но стало все ненастоящим, непрочным, как воздух. А настоящим было ощущение громадного пространства. Словно мы в ночной степи или на плоском пустом берегу под темным небом. И шум... То ли чей-то шепот, то ли осторожные волны лижут шершавый песок...

Я прикрыл глаза и прислушался. Каждым кончиком нервов, каждой клеточкой тела прислушался: что это? откуда?

Нет, было не страшно. Не грозило это ни бедой, ни опасностью. Просто незнакомое загадочное пространство подошло вплотную и словно мягким темным крылом коснулось лица.

Но если за окном поздний вечер, и ты один в комнате, и тебе одиннадцать лет... Конечно, станет жутковато.

— Наверно, это ветер,— сказал я.— Ну что ты, Володька. Это ветер и дождь. Такой неуютный вечер...

Он покачал головой и прыгнул с моего колена.

— Это не вечер. Это было еще днем... Может быть, это... она?

Оглядываясь на меня, он подошел к столу и отодвинул пачку новых учебников для пятого класса. За книгами лежала морская раковина.

...Большая была раковина и не очень красивая снаружи: серая, бугристая, с длинными шипами. Свернутая в спираль со множеством витков. А внутри она была темно-розовая и казалась очень глубокой. В самой глубине ее притаилась синеватая темнота.

— Откуда это?

— Я маму проводил, пришел домой и увидел... Она лежала на подоконнике. Я думал сперва, что это мама мне ее оставила. Ну, в подарок, чтобы не скучал...

— Может быть, так и есть?

Володька с беспокойством посмотрел на меня и сказал:

— Ты ее послушай. Приложи к уху.

Я поднял раковину — тяжелую, колючую — и поднес к щеке. И сразу накатил ритмичный гул. Океанские валы ровно шли на пологий песчаный берег. Еще немного — и брызги, прилетевшие с гребней волн, осядут у меня на лице. Я прикрыл глаза. Ощущение близкого моря стало полным... И вдруг мне показалось, что Володька сказал какие-то слова. Я взглянул на него, не опуская раковину. Нет, Володька молчал, только смотрел на меня неотрывно и тревожно. А слова прозвучали опять. Они проступали сквозь шум океанского наката. И еще, еще... Сначала я просто почувствовал, что это человеческие слова. Потом понял, о чем они. И сразу же узнал голос. Он звучал, как магнитофонная лента, склеенная в кольцо.

«Приходи, как раньше... Приходи, как раньше... Приходи, как раньше...» — звал из чужого мира мой далекий друг — трубач, командир и рыцарь Валерка...

...Видимо, я очень долго слушал, и в тревожных Володькиных глазах появилось нетерпение. Тогда я опустил раковину.

— Володька, ты слышал в ней слова?

Он растерянно мигнул.

— Я думал, что показалось... Разве так бывает?

— Бывает, — сказал я.

У меня появилось странное ощущение. Была уверенность, что скоро случится что-то необычное, но не чувствовалось волнения. Наоборот, пришло спокойствие и даже какая-то сонливость. Я сел на стул перед Володькой, улыбнулся ему и сказал:

— Это не для тебя раковина... Просто они не знали, что мы поменялись комнатами.

— Кто? — спросил Володька и придвинулся вплотную.

— Помнишь, я рассказывал? Про Город, про барабанщиков, про Канцлера? Про Валерку и Братика... Ты, Володька, решил, что это совсем сказка?

Он взял раковину, прижал к уху. Потом прошептал:

— Зовет...

Я кивнул.

Володька требовательно смотрел на меня.

— А как туда попасть?

Я пожал плечами.

— Понимаешь, Володька, раньше он сам приходил за мной...

— Разве ты не знаешь дорогу?

«Дорогу...— подумал я.— Это не дорога. Это способ перехода в непонятный мир: то ли в сказку, то ли в другую галактику. Наверно, есть какие-то хитрые законы, только я их не изучал. До того ли мне там было?

— Не знаю,— сказал я.— Сейчас не знаю...

— Но ты должен знать!

— Каждый раз — новый способ. Наверно, должно быть какое-то место. Особое...

— Место? — переспросил Володька.

— Да. Откуда можно уйти к ним...

— Место...— повторил Володька. Сел опять ко мне на колени, глянул снизу вверх.— Только ты не смейся и не спорь... У меня уже было, как сегодня с этой раковиной. Ну, не так, а похоже. У дедушки на даче...

Я слегка удивился. Дача Володькиного деда находилась далеко за городом. К тому же она стояла загороженная, а дед отдыхал в Сочи.

— Было,— повторил Володька.— Когда мы там в июне жили... Знаешь, там такая улица есть, и мне иногда казалось, что в конце ее море... На самом деле ничего нет. Ну, кусты да трава. А идешь, и все кажется, что вот-вот море будет. Даже запах как от водорослей. А если глаза закроешь, то совсем будто на берегу. И шум...

— А ты доходил до конца улицы?

Володька сердито мотнул головой:

— Не доходил.

— А почему? Боялся, да?

— Да нет... Ну да, боялся. Что обманусь...

— Ну что ж... Может быть, это то, что нужно, Володька.

Он вскочил:

— Так едем?

— Прямо сейчас?

Володька очень удивился:

— А разве можно ждать?

Я встряхнулся. В самом деле, что со мной? Что за сонная одурь? Или правда старею и глупею понемногу? Может быть, там дорогá каждая секунда, а мы рассуждаем!

— Одевайся,— велел я Володьке, а сам спустился к себе. Надел сапоги, взял брезентовый плащ. Положил в карман тяжелый охотничий нож — подарок приятелей, с которыми был в походе по Кавказу. Может быть, и не пригодится, а может быть... При этой мысли у меня слегка заболел шрам на левом боку и кольнула тревога за Володьку. Но было ясно, что уговаривать его остаться бесполезно. К тому же я не знал дороги...

Володька ждал меня. Вместо раскисших на дожде сандалий он натянул старенькие, но надежные кеды, а на майку надел оранжевую курточку-штормовку с капюшоном. Он стал в ней похож на яркого тонконогого гномика, который из таинственной пещеры несет кому-то в подарок волшебную раковину.

Штормовочка была так себе, из легкой материи. «Продрогнешь, глупый»,— хотел сказать я. Но Володька глянул с такой суровой нетерпеливостью, что я промолчал.

3

Как добрались до вокзала, я совершенно не помню. Мы словно сразу оказались в вагоне электрички. Он был пуст. Ярко горели лампы. У Володьки на щеках блестели дождевики, а штормовка была усыпана темными звездочками — следами капель.

Мы сели друг против друга на желтые лаковые скамейки. Поезд будто нас одних и ждал: мягко толкнулся и набрал скорость. Сразу прижалась к стеклам густая, как смола, чернота.

Володька сидел прямой и даже строгий какой-то. Положил раковину на блестящие от дождя коленки, смотрел перед собой и шевелил губами — словно повторял тихонько важный урок.

— Володька,— окликнул я.— Долго ехать?

Он вздрогнул.

— Что?.. Нет, не очень.— Приложил раковину к уху и улыбнулся: — Говорит. Будто даже громче.

Я тоже послушал. Может быть, не громче, но неуто-
мимо и настойчиво звучал Валеркин голос...

Мы и правда ехали недолго. Даже темные звездочки на Володькиной куртке не успели исчезнуть. Не знаю, что Володька сумел различить в темноте за окнами, но вдруг вскочил и потянул меня за рукав. Едва мы вышли в тамбур, как зашипели тормоза и разошлись двери. Мы прыгнули на мокрые доски платформы. В них отсвечивал станционный фонарь. Поезд опять зашипел и умчался,— а мы по скользким ступенькам спустились на размокшую траву.

— Здесь тропинка,— шепотом сказал Володька и повел меня мимо темных плетней и сараев. По-прежнему сеял дождик.

— Вот здесь дедушкина дача. Видишь?

Ничего я не видел. Кругом ни огонька, даже станционный фонарик затерялся во мгле. Я уже хотел сообщить своему спутнику, что глаза у меня не кошачьи, но он вдруг виновато попросил:

— Слушай, возьми меня на руки, пожалуйста. Тут шиповник.

Я сразу подхватил его, но для порядка проворчал:

— Нежности какие. Давно ты стал бояться колючек?

— Но ведь это железный шиповник... Ты осторожнее, он и сапоги может изорвать.

Я никогда о железном шиповнике не слышал, поэтому только хмыкнул. Потом спросил:

— Если он такой вредный, почему вы с дедом его не выкорчевали?

— Как его выкорчуешь? — удивленно сказал Володька.— Я же говорю: железный шиповник. У него корни до центра Земли.

— Вечно ты выдумываешь...

— Ничего не выдумываю,— рассеянно откликнулся Володька.— Иди теперь прямо, здесь короткая дорога.

Я продрался сквозь кусты и вынес Володьку на широкую улицу дачного поселка.

Тишина стояла невероятная. Даже дождик закончился и не шуршал в траве. Ни одно окошко не светилось. Однако полной темноты уже не было: в небе стали видны облака, словно отразившие далекий рассеянный свет.

Володька нетерпеливо шевельнулся, и я опустил его на дорогу. Он ойкнул. Оказалось, уронил на ногу рако-

вину. Я поднял ее и больше не отдал Володьке: разобьет еще или сам поранится.

— Куда же теперь пойдем? — спросил я.

Володька уверенно махнул рукой вдоль домов. Я взял его за плечо, и мы зашагали посередине дороги.

Стало еще светлее: облака проступили ярче, и в воздухе как бы повисла серебристая пыль. Мы молчали и думали, наверно, об одном и том же: чем кончится наше путешествие? Говорить об этом я не решался, и Володька, видимо, тоже. Мы оба, наверно, боялись спугнуть сказку. А молчать стало трудно. И я просто так, лишь бы сказать что-нибудь, полушепотом произнес:

— Какие-то странные облака. Светятся...

Володька подумал и тихонько ответил:

— Наверно, в них распыляется звездный свет.

— Такой сильный?

— А что? За облаками звезды светят очень ярко.

Просто мы не видим... — Он помолчал и вдруг спросил: — А почему они горят?

— Звезды?

— Ну да. Огонь горит, если воздух кругом, а там ведь безвоздушное пространство...

— Ученые говорят, что в них атомные процессы идут. А в общем, до конца это еще не изучено...

— И главное, вечно горят...

— Не совсем вечно. У звезд тоже бывает рождение и конец.

— Ну, все равно. Миллиарды лет...

— С чего это ты о звездах задумался, Володька?

Он серьезно сказал:

— А что? Я о них часто думаю... Вот смотри: если бы не было звезд, не было бы планет. Значит, не было бы людей. Вообще ничего хорошего не было бы... И мы с тобой никогда бы не подружились...

«А ведь в самом деле...» — подумал я и покрепче взялся за Володькино плечо...

Шли мы уже минут пятнадцать, а улица все тянулась. «Удивительно, — думал я. — Это же поселок, а не город...»

Сделалось теплее. Володька откинул капюшон.

Улица стала узкой, дома вплотную подступили к дороге. В мерцающем полусвете облаков я разглядел, что это необычные дома. Точнее, это были всего два очень длинных дома — справа и слева. Они и составляли ули-

цу. С правой стороны тускло поблескивал бесконечный ряд полукруглых окон, с левой тянулась перед домом длинная терраса или галерея — столбы с навесами.

Мы подошли совсем близко, и я увидел, что столбы покрыты резьбой: их оплетали деревянные листья и цветы. А вверху, на карнизе, я смутно различал какие-то смеющиеся маски.

— Что это за дома, Володька?

— Не знаю,— шепотом сказал он.— Я их раньше не видел.

Даже в полумраке я различил, какие опять встревоженные сделались у него глаза.

Ощутимой волной прошел вдоль домов теплый воздух, и я уловил в нем запах травы. Той серебристой травы, что росла у стен Валеркиного Города.

— Что? — поспешно прошептал Володька.— Это у ж е? Это правда?

Я сжал ему руку и повел мимо резных столбов. Я не знал еще точно, где мы, но от волнения перехватило горло.

Так шли мы полминуты. Улица оборвалась наконец, и в тот же миг из-за просветлевшей кромки облака выглянул краешек луны. Я остановился и радостно прижал к себе Володьку. Луна могла светить только т а м. У Валерки. У нас было новолуние.

Яркий круг выкатился из-за облака целиком, и словно включили голубой прожектор.

— Ой! Ура... — с тихим восторгом сказал Володька.— Смотри.

Я смотрел. Но глаза не сразу привыкли к странному серебристо-голубому миру.

Слева на холме, в километре от нас, я разглядел белые домики. А справа и впереди, занимая половину пространства, стояла туманная мерцающая стена. И неясно было: вблизи она или очень-очень далеко. Только то, что находилось совсем рядом, я видел отчетливо: кусты и нагромождение камней.

Не знаю, что меня толкнуло, но я моментально решил забраться на камни и осмотреться. Держа в руках раковину, я по гранитным уступам взбежал наверх и тут услышал Володькин крик:

— А я?! Подожди, я с тобой!

Чтобы успокоить его, я обернулся. Из-под ноги выскользнул камень. Я шагнул в сторону, однако нога не

нашла опоры. Качнувшись, я замахал руками... и ухнул в пустоту.

4

У меня есть приятели-альпинисты, кое-чему я у них научился. Извернувшись, я ухватился за каменный карниз. Раковина, конечно, улетела, но мне было не до нее. Острый толчок опасности как бы встряхнул меня, и я сразу все понял. Понял, что туманная стена с лунными искрами — это океан и что я повис на краю обрывистого берега — видимо, очень высокого. И если разожму пальцы, грохнусь об утесы или окажусь под водой (а какой из меня пловец в сапогах и плаще?).

— Володька! — сдавленно крикнул я. Но, услышав, как из-под ног у него посыпались камешки, испугался: — Не подходи, сорвешься!

Это было глупо. Кто, кроме него, мог помочь?

Ну а он? Разве он вытащит? Я висел на закаменевших пальцах и чувствовал, какое нескладное и тяжелое у меня тело.

Что внизу, я не видел. Видел только перед носом темный камень. Ноги болтались и не находили, за что уцепиться.

— Сейчас! — крикнул Володька. — Не бойся!

Я отчаянно попытался подтянуться, но пальцы едва не сорвались. Я поднял лицо, но увидел над собой лишь каменный козырек.

— Тихо ты, — почти со слезами сказал Володька. — На, держи.

По пальцам левой руки, по кисти скользнула и закачалась у щеки знакомая веревочка. С узелками и петель на конце. Умница Володька!

Я знал, что капроновый шнурок выдержит меня. Ухвачусь, раскачаюсь, заброшу на карниз локоть и ногу. Володька вцепится в плащ, поможет выбраться... Только удержу ли я в ладонях тонкую скользкую веревочку?

Из последних сил я вцепился в камень правой рукой, а левую освободил на миг, сунул в страховочную петлю и сжал узелки. Но правая рука подвела: пальцы сорвались. От рывка узелки выскочили из ладони, тонкая петля затянула кисть, и я повис, вращаясь на шнуре.

Режущая боль была такой дикой, что я ничего не увидел, хотя сделал на веревке полный оборот.

Я застонал и схватился правой рукой за шнур, выше петли. Он был совсем тоненький и гладкий, не удержать. А до узелков теперь не дотянуться. Боль от кисти уже подкатила к плечу, и я побоялся, что потеряю сознание.

«Не смей», — сказал я и широко открыл глаза. Я опять висел лицом к обрыву, но ниже, чем раньше: веревка опустилась приблизительно на метр. Зато недалеко был выступ: если раскачаться, можно встать на него и ухватиться за гранитный гребешок. Лишь бы выдержать!

— Володька! — со стоном крикнул я. — Ты хорошо привязал?

И услышал глухой, хриплый какой-то ответ:

— Я не успел... Я держу.

На миг я забыл даже про боль. Ужас бывает сильнее боли.

— Отпусти! — приказал я.

Мне вовсе не хотелось в герои, и я не мечтал о подвиге. Я даже успел всей душой понадеяться, что, может быть, падая, зацеплюсь за какой-нибудь выступ. Или свалюсь в воду и все-таки выберусь. А Володьке не выбраться. Он-то уж точно грохнется насмерть, если сорвется.

— Отпусти сейчас же!

— Не отпущу... Выбирайся...

— Брось, ты не удержишь!

— Удержу. Я ногами зацепился. — Он говорил глухо и с трудом.

Какие же отчаянные силы появились у него, если своими тощими ручонками он удерживал меня — взрослого тяжелого дядьку!

Я представил, как тугие капроновые пряди врезаются в Володькины ладошки, и закричал изо всей мочи:

— Брось веревку!!

— Не брошу, — сказал он и, кажется, заплакал.

Тогда я от страха за него и за себя, от боли и отчаянья начал орать на Володьку. Орал и висел неподвижно, потому что чувствовал: если чуть качнусь — Володька сорвется с каменной площадки. Потом оборвал крик. Вспомнил про нож.

Опять я повис на левой руке (она уже онемела в петле), сунул правую ладонь в карман, ухватил рукоятку. Все напряглось во мне от предчувствия жуткого падения. Но я же не погибну, нет! Рывком я сбросил

с клинка ножны и тяжелым отточенным лезвием рубанул натянутый шнур... Я им гвозди рубил когда-то, этим ножом. Но от Володькиной веревочки клинок отлетел, как от стального троса. Упругая отдача вырвала нож из ладони.

Несмотря на все отчаянье и страх, я так изумился, что повис, как мешок. Нож тихо звякнул где-то далеко внизу. Это привело меня в чувство. Я опять хотел заорать на Володьку, но почувствовал, что меня поднимают. Перед глазами появился край обрыва, потом чьи-то пальцы яростно ухватили мой плащ и потянули вверх. Я уцепился за карниз локтем, лег грудью, забросил колено. Перевалялся через левое плечо на спину и от последнего толчка боли закрыл глаза.

Видимо, с полминуты я все же был без сознания. По крайней мере, не помню, как снимали у меня с запястья петлю. Я ощутил прикосновение прохладной мякоти к содранной коже. Это прохлада всосала в себя и растворила боль. Только щекочущие мурашки бегали по левой руке, словно я ее отлежал.

Я открыл глаза и увидел Володек. Двух Володек. Они стояли надо мной рядышком. Один Володька был в своей штормовке, а другой — в светлой шелковистой рубашонке, подпоясанной тонким блестящим ремешком.

— Ну, ты чего? — жалобно сказал Володька в штормовке. — Ты живой?

А Володька в рубашке сел на корточки и поправил на моей руке накладку из влажных листьев. Под луной вспыхнули его светлые волосы. И хотя лицо осталось в тени, я все равно узнал. Сразу же. Он засмутился и спросил:

— Ну, как ваша рука? Не сильно болит?

— Василек! — сказал я почти с испугом. — Ты что? Ты почему говоришь мне «вы»?

Он улыбнулся знакомой своей улыбкой: нерешительной, но очень славной.

— Ну... ты такой большой теперь.

В самом деле! Он же никогда раньше не видел меня большим. Валерка видел, а Братик — ни разу. Я всегда приходил к нему мальчишкой. Двенадцатилетним пацаном с выгоревшими волосами и засохшими ссадинами на острых локтях...

— Ну и что же, что большой! Какая разница, Василек!

— Все равно глупый,— негромко добавил Володька.

Я не рассердился. Мне стало вдруг очень стыдно, что я, такой здоровенный, раскис и валяюсь перед ребятами. Я вскочил. Боль опять прошла руку, но я сдержался.

— Не скажи, снова загремишь,— хмуро предупредил Володька.— Лучше погляди, куда ты собирался лететь.

Далеко внизу штурмовали берег длинные водяные валы, и между утесами вырастали белые деревья: это вставляли громадные столбы брызг. Только сейчас я понял, что в воздухе висит шум прибоя. Он был такой ровный, что казался частью тишины.

От края обрыва до прибоя было не меньше сотни метров.

— Ну, что? — сумрачно сказал Володька.

— Как ты меня удержал? — тихо спросил я.

Володька шевельнул плечом. Потом объяснил:

— Вон видишь камень? Я на нем лежал на спине. А ноги согнул и цеплялся за край...

Значит, он лежал навзничь на этой квадратной глыбе. Острая каменная грань врезалась ему под колени, а веревка, намотанная на руки, срывала с ладоней кожу...

— Хорошо, что он подоспел,— шепотом сказал Володька и кивнул на Братика.— Сразу как вцепился тебе в воротник...

Два таких малька — и вытянули меня.

— Покажи руки, Володька.

Он ворчливо объяснил:

— Видишь, я штаны держу. Если отпущу, свалятся. Он и правда еще не успел подпоясаться веревочкой.

— Никуда штаны не денутся. Покажи ладони.

Володька вздохнул, надул живот, чтобы штаны и вправду не съехали, и протянул руки. На ладонях были темные полосы. Но не такие страшные, как я ожидал.

Подошел Братик и застенчиво объяснил:

— Мы сразу листья приложили. Это черепашья трава, ее здесь много. Она тут же залечивает.

Это я и сам чувствовал: боль в руке опять утихла.

Володька подобрал с камней свою веревочку.

— Хорошая ты моя. Надеженькая... А этот вредный дядька тебя ножом. Тоже мне, Смок Беллью...

— Откуда ты знаешь про нож? Ты же не видел.

— «Откуда»... Догадался. Мало ли чего я не видел? Зато слышал много... Как ты там висишь и ругаешься.

— Прости, малыш,— сказал я.

— Ладно уж,— снисходительно буркнул Володька и запоздало огрызнулся: — Сам малыш!

Братик засмеялся. Тогда засмеялся и Володька, и они посмотрели друг на друга.

А я обрадовался и рассердился. Рассердился на себя — за то, что до сих пор как бы в плену у жуткого случая. Все кончилось хорошо, сколько же еще вздрагивать? А обрадовался потому, что наконец понял: вот же он, Братик! Самый настоящий!

Теперь самое время начаться главным событиям. Не зря же Валерка послал нам раковину! Не для того же мы с Володькой пришли сюда, чтобы я поболтался на веревочке!

Было уже две Сказки: одна печальная и ласковая, другая — жестокая, но с хорошим концом. Должна быть и третья. Неизвестно какая, но должна.

...А Володька и Василек все смотрели друг на друга, словно шел между ними молчаливый разговор.

— Вы хоть познакомьтесь,— сказал я.

Володька небрежно глянул на меня.

— А чего нам знакомиться? Мы и так знаем...

Он взял Братика за руку, и мы стали спускаться с камней.

На ходу Володька негромко сказал Братiku:

— Он про тебя много рассказывал... Тебя Васильком зовут? А можно Васькон?

Я поморщился. Но Братик сказал весело и просто:

— Можно, конечно.

Мы пошли по тропе среди травы. Я шагал сзади и видел только ребячьи затылки, освещенные луной. Оба лохматые и порядком заросшие. Темно-русый Володькин и совсем светлый Василька. Но я представлял, какие у Володьки и Братика сейчас лица. Володька пытается скрыть стеснительность за беззаботной улыбкой, а Василек поглядывает на него сбоку — смущенно и слегка нерешительно: кажется, хочет что-то сказать.

Наконец он проговорил вполголоса:

— Я про тебя тоже слышал...

— Он рассказывал? — торопливо спросил Володька.

— Он тебя во сне звал... В тот раз, после боя..

Володька перестал, кажется, улыбаться. Братик сказал:

— Я тогда и понял..

— Что?

— Ну... какой ты

Володька помолчал и скованно спросил:

— Какой?

— Ну, такой... — Братик опять засмушался и не сразу нашел ответ. Потом серьезно сказал: — Как твоя веревочка...

Володька сбил шаг, и у них с Васильком дрогнули сомкнутые руки. Но не разорвались, а сцепились покрепче — ладонь в ладони.

Мне стало даже капельку обидно, что они идут рядом, а я один остался. Но Братик и Володька обернулись.

— Догоняй, — сказал Братик. — Ты не устал?

А Володька сурово заметил:

— Надо вместе ходить, а то опять куда-нибудь свалишься... Беда с этими взрослыми: ноги длинные, а толку никакого.

Я обрадованно догнал их, и они ухватили меня за руки с двух сторон. И пошли, крепко прижавшись ко мне. Может быть, потому, что тропа была неширокая, а по краям стояли высокие стебли с жесткими звбчатыми листьями.

— Василек, а что случилось? — спросил я. — Вы позвали...

— Ничего не случилось, — беззаботно сказал он. — Ну, ничего такого... Скоро дальнейшее плавание, на целый год. Брат хотел повидаться перед уходом.

— А как вы послали раковину? — вмешался Володька.

Все так же беззаботно Братик объяснил:

— Их посылают по солнечным лучам, когда полуденный ветер... Брат знает, он эти хитрости изучал, а я пока не разбираюсь.

— Мы к нему идем? — спросил я

— К нему

5

Скоро мы вошли в поселок. Белые домики с полукруглыми окнами и множеством деревянных лестниц в беспорядке толпились на склоне холма. Склон опу-

скался к морю. По берегу шла высокая набережная. Она была выложена бугристыми плитами. Вдоль набережной стояли шесты, и между ними тянулись развешанные сети. На сетях, как выловленные в море серебряные монетки, сверкали крупные рыбы чешуйки.

В лицо нам дул теплый ветерок, сети медленно качались. Пахло бочками из-под рыбы, сладковатой травой и морской солью.

Володька вертел головой, и глаза у него блестели.

Изредка попадались навстречу мужчины в кожаных шляпах и полосатых фуфайках. Без удивления провожали нас взглядами.

Море шумело, и брызги иногда перелетали через парпет набережной.

У самого моря, за парпетом, поднимался еще один дом, не похожий на другие. Он был темный, с тремя рядами узких решетчатых окон, с тяжелыми звериными фигурами и узорчатыми фонарями на выпуклом фасаде. И я вдруг сообразил, что это высокая корма парусного корабля.

Мы подошли ближе. Округлый борт с балюстрадой навис над нами. На плиты набережной был спущен гибкий трап.

По трапу сбежал к нам Валерка.

Он без улыбки взял мои ладони и сказал:

— Здравствуй.

И Володьке сказал «здравствуй». Как давно знакомому. Володька смущенно засопел.

Валерка выглядел старше, чем в прошлый раз. Было ему на вид лет пятнадцать. Над губой темнели волоски, лицо стало худым и казалось очень смуглым. Он был в узкой черной форме. На плечах и рукавах его короткой куртки неярко блестело серебряное шитье. На боку висел тонкий палаш в черных ножнах.

— Он капитан? — шепотом спросил Володька у Братика.

Валерка услышал и улыбнулся:

— Штурман....

Мы поднялись по трапу, и несколько личностей пиратского вида почтительно расступились перед нами. Валерка привел нас в просторную каюту. Мягким, но сильным светом горела круглая лампа, подвешенная к выгнутой балке потолка. На широком столе были раскинуты карты. На картах спал большущий рыжий кот.

— У, какой! Больше Митьки,— с завистью сказал Володька.

— Это Рыжик наш,— сказал Братик.

Он потянул Володьку на обтянутую кожей койку, а мы с Валеркой сели у стола.

Была в нас какая-то скованность.

— Ты не сердись,— проговорил Валерка.— Я не встретил... Третий день погрузка, а сегодня еще подвязывали паруса.

Братик встрепнулся:

— Уже сделали? Мы пойдем, я покажу Володе корабль!

Они вмиг исчезли из каюты. Я с тревогой посмотрел вслед.

— Да, ничего,— успокоил Валерка.— Там кругом матросы...

— Значит, отстроили все же корабли,— сказал я.

— Да. Это сумели...

— И теперь в плаванье? Далеко?

— Далеко... Почти наугад. Говорят, на юге есть большой материк. А что там, никто не знает. Может быть, на нем целые страны, и люди лучше нас живут. И умнее... Ты ведь знаешь, как мы жили: все на свете провоевали. Что помнили — забыли, что умели — разучились. Теперь открываем планету заново.

— Но главное, что плывете. Ты штурман теперь... А Братик?

Валерка вздохнул и прикусил нижнюю губу. Посмотрел на меня жалобно, как маленький.

— Ему нельзя плыть.

— Опасно?

— Не то что опасно. Смертельно.

Я, не понимая, молчал.

— Мы пойдем через полуденную черту,— сказал Валерка.— Там бешеное солнце, стальные лучи. Взрослые могут вытерпеть, а такие, как Василек... Понимаешь, у них не выдерживает кровь. Становится желтой, как лимонный сок, жидкой делается. Из любой царапинки бежит без остановки. Даже старые шрамы будто тают и начинают кровоточить. А ты ведь помнишь, у него на плече...

Еще бы не помнить! Этот жуткий треугольный глазок от рапиры гвардейца...

— Как же Братик будет без тебя? — спросил я.

— Вот так и будет,— печально сказал Валерка.— Поживет с Рыжиком у рыбаков.

Легко сказать «поживет у рыбаков». Это Василек-то, у которого старший брат — единственный свет в окошке!

Но тут я вспомнил, какой Братик сегодня. Он вовсе не казался печальным. Смеялся, прыгал. Я удивленно посмотрел на Валерку, и он понял. Он сказал:

— Все уже было. Сколько слез пролилось... Но мы собираемся давно, и он привык к мысли, что мне придется уплыть. И он твердый все-таки... А сегодня еще вы пришли, вот он и радуется.

— Мы будем его навещать. Ведь это можно, да?

У Валерки нервно дрогнули брови. Он собрался что-то ответить. Но в это время завизжала дверь, и в проеме показалась могучая фигура — в кожаных штанах, сапогах, в клетчатой рубаше и драной шляпе, из-под которой торчали концы пестрой косынки. Этакая глыба с лицом, заросшим рыжей шерстью.

Глыба стащила шляпу и сквозь косынку поскребла скрюченным пальцем затылок. И заговорила почтительно приглушенным басом.

— Прошу прощения у Светлого штурмана Иту Лариу Дэна, только матросы в полном недоумении. Капитан велел грузить сначала волокно, а сверху бочки с соляной.

— Ну и делайте, как велел капитан,— нетерпеливо откликнулся Валерка.— Ему лучше знать.

— Оно вроде бы справедливо,— прогудел рыжий великан.— Только осмелюсь заметить Светлому штурману, что бочки тяжелые. Их если погрузить высоко, на волне появится лишняя раскачка. Вам трудно будет инструментами звезды ловить.

Валерка улыбнулся:

— Ладно, поймаю...

— Опять же при такой погрузке запасные цепи придется укладывать под палубой у бизани. А там рядом компас...

— О черт,— сказал Валерка и встал.— Извини, я сейчас.

Он выскочил из каюты, зацепив рукояткой палаша косяк. А я подумал, что мне трудно будет называть его Валеркой. Теперь это Светлый штурман Иту Лариу Дэна, знающий тайны звезд и моря. И видимо, имеющий власть на корабле не меньше власти капитана.

Вернулся он через две минуты. Виновато проговорил: — Капитан очень хороший человек, но в компасах и картах — во... — Он постучал ногтем по большому глобусу с очертаниями незнакомых земель. Спящий Рыжик недовольно дернул хвостом.

Я опять хотел спросить, можно ли будет навещать Братика. И снова появилась в двери голова в косынке на рыжих космах.

— Осмелюсь еще раз побеспокоить Светлого штурмана и его гостя. Ваш юный брат и его друг носятся по вантам и между мачтами, как летучие обезьяны. Смотреть, конечно, полная радость, только один раз они уже скатились в рыбный трюм.

Тут уж вскочили мы оба. Но «летучие обезьяны» сами влетели в каюту. Они бухнулись на кожаную лежанку, задрав ноги, облепленные рыбьей чешуей. Я заметил, что Володька подпоясан блестящим ремешком, а рубашка Василька заправлена в коротенькие штаны, и из кармана торчит белая веревочка.

Светлый штурман Иту Лариу Дэн принял решительный вид. Он заговорил с Братиком суровым тоном, в котором я уловил, однако, беспомощную нотку:

— Сколько раз я втолковывал: не смей носиться по мачтам!

— Мы больше не будем, — кротко сказал Братик. Покопался на Володьку, и оба фыркнули.

— Достукаешься, что выставлю с судна, — пригрозил штурман.

Братик лукаво заметил:

— Ты же над парусами не начальник. Ты над приборами начальник, а над парусами боцман Вига Астик. Он разрешает.

— Выставлю с боцманом, — пообещал Валерка. Сжал губы, чтобы не засмеяться, и отвернулся, изобразив спинной возмущение. Негромко, но чтобы слышал строптивый брат, сказал мне:

— До того вредный стал. Никакого сладу...

Я выразительно посмотрел на своего Володьку и сообщил, что у этих двух пиратов начинается, видимо, знаменитый переходный возраст.

— Слушай, штурман, ваши ученые что-нибудь пишут про переходный возраст в своих мудрых книгах? Что при этом надо делать?

— Пишут, конечно, — охотно откликнулся Валерка. —

За уши драть надо, чего же еще.

— И здесь не без дураков,— заметил Володька.

Они с Братиком поднялись и на цыпочках двинулись к двери.

— Куда?! — рявкнул я.

Володька обернулся.

— Мы не будем скакать. Мы посмотрим, как протягивают штуртрос.

Штурман Дэн махнул рукой. Братик и Володька дурашливо изобразили пай-мальчиков и удалились.

— Спелись голубчики,— сказал я с улыбкой. И увидел Валеркино лицо. Мне даже страшновато стало — такая безнадежность была в этом лице.

— Плохо, наверное, что спелись.

— Что случилось, Валерка?

— Видишь, они полюбили друг друга. А сегодня расстанутся. Василек еще не знает...

— Но ведь...

Он покачал головой.

— Думаешь, я из-за плаванья позвал тебя? Плаванье — что... Уплыл и вернулся... Дело не в этом. Планеты расходятся. Нам больше не увидеться, Сережа...

6

Планеты расходятся...

Мы стояли на высокой кормовой палубе, у планшира, и над нами качались громадные деревянные блоки. Над близким волноломом гавани вставали под луной белые языки пены, а в бухточке, где стоял корабль, было тихо. У борта слегка плескалась рябь, да шипел в тросах ровный ветерок.

Внизу, на средней палубе, Братик и Володька натянули между мачтами веревочку и учили ходить по ней Рыжика. Любопытно, что Рыжик слушался. Матросы толпились вокруг и сдержанно посмеивались в волосатые кулаки.

Но все это я замечал машинально, а думал о другом, о печальном. Планеты расходятся. Какая-то космическая сила разрывает наши пространства.

А меня и Володьку уносит от Валерки и Братика. Навсегда...

А может быть, не навсегда?

Штурман Дэн покачал головой. Он знал о неизбеж-

ности движения перепутанных галактических миров и не мог ошибиться.

Он сказал:

— Ты и сам, наверно, заметил: переход сделался труднее.

— Не заметил я. Шли и шли. Сперва дождик, потом луна...

Валерка грустно улыбнулся:

— Шли и шли... Это в протяженности. А во времени? Ты же не стал, как в тот раз, мальчиком.

Да, он прав. А я как-то не подумал об этом. Наверно, потому, что рядом со своим Володькой привык быть большим. А может быть, случай на обрыве выбил меня из колеи...

Я спросил:

— Нельзя было уже сделать, чтобы я стал... ну, как вы?

— Можно, только очень тяжело. Надо строить лабиринт. Я этого никогда не делал.

Мы помолчали.

— Когда уплываете?

— На рассвете... А вам надо уйти раньше, пока луна...

Я подумал, каким тягостным будет прощанье. И Валерка меня понял. Он проговорил:

— Даже не знаю, как сказать Васильку.

— Может быть, пока не говорить?

— Нельзя обманывать, — хмуро откликнулся Валерка.

Я услышал позади мягкий толчок и оглянулся. Это упал на четыре лапы Рыжик, которого выпустил из рук не то Братик, не то Володька.

Они стояли рядом и одинаково смотрели на нас отчаянными глазами. Они так сцепились руками, словно уже сию секунду их могли оторвать друг от друга. Я понял, что говорить ничего не надо. Но Валерка не выдержал. Глянул на Володьку, на меня и умоляюще сказал:

— А может, останетесь?

Я на миг забыл про все на свете и снова почувствовал себя мальчишкой. Я качнулся Валерке навстречу. Ведь это же так просто: остаться.

И тут же услышал удивленный Володькин голос:

— А как же мама?

Да. Как быть с теми, кого любишь? И Володькина

мама, и Варя, и тот малыш, который должен у нас родиться. Это обязательно будет сын, и мы назовем его Валеркой. Как быть со сказкой, которую я написал для театра и которую ребята не увидят, если я не вернусь? Как бросить все, к чему привязан с детства? Всю планету с ее горечью и радостью, жестокостью и лаской? С нашей травой и нашим солнцем?

Валерка опустил глаза.

— Простите, ребята,— сказал он.

Молчаливым и печальным оказался наш обратный путь. Если люди расстаются на время, они дают друг другу наставления, мечтают о будущей встрече, а о чем было нам говорить? О том, что никогда не забудем друг друга? Это ясно и так.

Валерка и Братик проводили нас очень далеко. Уже кончились длинные дома и затерялся в тучах лунный свет. И опять начал сеять дождик. Братик зябко передрнул плечами, и Валерка торопливо накинул на него свою расшитую куртку.

Наконец мы остановились у зарослей железного шиповника, недалеко от заколоченной дачи. Встали тесным кружком. Было совсем темно.

— Пора нам...— сказал Валерка.

Я молча сжал в темноте его узкую ладонь.

— Не потеряй... ремешок,— тихо и сбивчиво сказал Братик Володьке.

— Не потеряю. А ты веревочку... не потеряй.

— Ни за что,— прошептал Братик. Он прижимался ко мне плечом, и я почувствовал, как плечо задрожало.

Я ни разу не видел, как плачет Братик. И сейчас не видел из-за темноты. Но я понял.

Жалость, тоска и злость смешались и подкатили к горлу. Потому что все было дико и несправедливо!

— Валерка...— сказал я.— Ребята... Подождите. Ну, нельзя же так! Должно же случиться что-то хорошее, раз мы встретились!

Володька и Братик замерли с напряженностью взведенных курков. А Валерка тихо сказал:

— Придумай.

Мне даже насмешка почудилась. Но это не Валерка смеялся, а сама Третья Сказка. В ней был нарушен

какой-то закон: в ней ничего не случалось, и она принесла только горечь расставания.

Что я мог придумать? Дважды я выручал друзей из беды, но тогда у меня было оружие и я знал, с кем драться.

А может быть, дело не в этом? Тогда я был мальчишкой, а сейчас взрослый и, наверно, поэтому не могу отстоять наше мальчишечье счастье.

— Валерка! Ты же говорил, что можно. Трудно, а все-таки можно... Лабиринт.

Пусть ничего не случится. Пусть ничего я не придумаю. Но хоть на полчаса я опять стану таким же, как они. Еще раз вместе пробежимся по щекочущей высокой траве. Лишь бы не это прощанье под моросющим дождем.

Валерка выдернул из моей руки ладонь.

— Ты верно говоришь,— сказал он.— Что-то не так. Неправильно... Ладно, я попробую.

Он отошел, и в трех шагах от нас размытым пятном забелела его рубашка. По резкому шелесту я понял, что он выхватил из ножен палаш.

Через несколько секунд на острие поднятого клинка зажегся зелёный огонек. При этом свете мы хорошо разглядели Валерку. Он стоял, вытянувшись, с направленным вперед палашом. Рука и клинок были одной прямой линией. Голову Валерка опустил и словно прислушивался.

Он был неподвижен сначала. Потом откинул назад левую руку и несколько раз стиснул и разжал пальцы. Будто искал, за что ухватиться. Я понял и подскочил. Валерка не глядя вцепился мне в левое запястье (боль опять прошла по руке). Пальцы Валерки леденели. Мало того, я тоже начал весь холодеть. Казалось, тепло уходит из нас, как энергия из электрических батарей. Мне стало даже не по себе.

И вдруг все это кончилось. Погас зеленый огонек. Валерка разжал пальцы, расслабленно опустил палаш и долго не мог попасть клинком в ножны.

— Ну вот и все,— сказал он наконец, и я почувствовал в темноте его улыбку.

Перед нами в сумраке неясно обрисовывались скалы, и в них абсолютной чернотой проступала узкая щель.

— Что ж, пойдем,— сказал Валерка.— Не отставайте, а то можно заблудиться. Это же лабиринт...

— Слушай, штурман, а Володька наш не станет совсем младенцем, если я...

Валерка перебил с усмешкой:

— Не станет, если не захочет.

— А ты не опоздаешь на корабль?

— Нет,— со сдержанным торжеством в голосе откликнулся штурман Иту Лариу Дэн.— Теперь время нас подождет.

7

Даже не знаю, с чем это сравнить. Мы шли то по траве, то по камням, но не могли разглядеть их, а только слышали шорох и шелест стеблей. Я чувствовал, что рядом твердые высокие стены, но их тоже не видел, а видел зыбкий темный туман, в котором передвигались, мерцая, россыпи неярких звезд и даже целые спиральные галактики. Одна — косматая и плоская, размером с тарелку — медленно прошла у моего плеча назад. Я оглянулся и при убегающем свете разглядел Володьку и Братика. Они держались за руки. Лица у них были бледные и серьезные.

Валерка шел впереди. Он поглядывал вверх, где на извилистой полосе обычного земного неба святило несколько неизменных звезд. Мы часто сворачивали, и при каждом резком повороте из тумана выплывали разноцветные планеты, похожие на елочные шарики. Они проходили сквозь меня и Валерку, словно мы были из воздуха. Это похоже было на сон, когда ничто не удивляет и не страшит.

Потом снова стало темнее. Стены сделались непрозрачными. Валерка вдруг замедлил шаги, и я опять почувствовал его улыбку. Он спросил:

— Так сколько же тебе лет?

Я тоже улыбнулся и нетерпеливо сказал:

— Ты же знаешь: всегда двенадцать.

— Ну, смотри,— серьезно откликнулся Валерка, и голос его вдруг разнесся по галактикам.— Здесь такое место. Каким хочешь, таким и выйдешь. Хоть ребенком, хоть стариком... Хоть ангелом с крылышками, хоть рыцарем в латах. Задумай...

Не надо мне крыльев. И лат не надо! Пусть я стану снова обычным пацаном с заросшей тополями улицы Чехова, где когда-то жил с мамой и друзьями. Пусть,

как в прошлый раз, будут на мне разношенные мягкие кеды тридцать шестого размера (на левом лопнул шнурок, и я заменил его проводком в красной изоляции). И мятые синие шорты с потертыми и побелевшими от стирки швами. И рубашка, которую неумело и заботливо зашил мне Братик после боя с Канцлером...

Или... не рубашка?

Все детство, лет с пяти и чуть ли не до пятнадцати я мечтал о матроске. Такие форменки — маленькие, но настоящие — носили ребята из кружка судомоделистов в городском Доме пионеров. Но в кружок принимали тех, у кого не было троек...

Я мечтал о матроске отчаянно, до тоски. Больше, чем о велосипеде. По крайней мере, так мне вспоминалось сейчас. Потому что велосипед в конце концов купили, а морская форменка так и осталась несбывшейся сказкой.

Один раз мне чуть не повезло. На рынке-толкучке, где мы с мамой искали шланг для стиральной машины, хмурый тощий дядька продавал мою мечту. Мама посмотрела мне в глаза и пожалела меня. Но денег не хватило. Не хватило столько, что не было смысла и торговаться. Наверно, я заревел бы. Но рядом крутилась веснушчатая девчонка со спокойно-насмешливыми желтыми глазами. Я ее немного знал, она недавно стала жить на нашей улице...

...Зеленоватая планета размером с яблоко неслышно прошла через толщу стен и повисла невдалеке от нас. У нее было кольцо, как у Сатурна. Планета быстро вертелась внутри кольца и разбрасывала отблески, похожие на светлых бабочек.

— Ух ты... — тихонько сказал сзади Володька.

Одна светлая бабочка теплым крылом задела мою ладонь. Я поднял к лицу руки — они стали тонкими и легкими. Я увидел синие обшлага с тремя полосками, белые рукава. На правом рукаве у локтя виднелась аккуратная штопка.

Значит, это было? Или не было...

Я же знал, что мы не купили матроску. И, несмотря на это, вспомнил сейчас, что все-таки купили. Да, упростили дядьку подождать и сходили за деньгами. Потом мама несла домой плоский газетный сверток, а я, радостный и благодарный, тащил скрипучую корзину с картошкой (мы зашли за ней в овощные ряды). Корзи-

на безжалостно оттягивала руки и больно скребла по ногам лопнувшими прутьями. Но это была такая ерунда по сравнению с моим счастьем. И тени от веток весело танцевали на потрескавшемся асфальтовом тротуаре... Только это случилось, кажется, не в нашем городе, а в Северо-Подольске, где мы гостили у дяди. Но не все ли равно?

Я теперь вспомнил!

Матроска оказалась великовата, и мама до вечера перекраивала ее и перешивала, а я пританцовывал от нетерпения. Наконец я нырнул головой в прохладные полотняные складки, и мне показалось, что матроска пахнет, как паруса на старых фрегатах.

Я перед зеркалом расправил складки под ремешком, глубоко вздохнул, повис у мамы на шее и чуть не уронил ее.

— Пират,— сказала мама.— Не носись долго по улицам, уже поздно.

Вечер висел над городом прозрачно-синий, с желтой полосой за низкими крышами. Кое-где на огородах горели маленькие оранжевые костры. Стояло такое тепло, что воздух казался пушистым. И все кругом было молчаливым, но живым. Облетала черемуха, и густо цвели над заборами яблони. И еще казалось, что в воздухе неслышно лопаются невидимые почки каких-то громадных цветов. Вот-вот эти цветы выступят из полумрака, коснутся теплых заборов, сухих телеграфных столбов, железных крыш, и тогда все оживет и задрожит от непонятной радости.

Едва я отошел от крыльца, как мне в плечо и в грудь с размаху ударились два майских жука. Я вздрогнул, хотя жуков ничуть не боялся. Просто нервы были натянуты. Сердце колотилось от радостного страха и смущения. Так колотилось, что бумажный голубь, спрятанный под матроской, вздрагивал и шевелил крыльями. Еще бы не колотиться! Я ведь не просто так вышел на улицу. Я шел к дому, где жила девчонка с желтыми глазами.

Замирая и оглядываясь, я перелез через забор и прыгнул в траву. Лето еще не начиналось, а трава уже стояла большая, особенно разрослись лопухи. Они были прохладные и мягкие, как губы доброго большого зверя. Я посидел в лопухах, скользнул к большой яблоне и по корявому стволу забрался в чащу веток. Цветы белые —

и матроска белая. Цветы щекотали мне щеки, и я чувствовал, что пушистые тычинки оставляют на коже пыльцу.

В просветах между листьями я видел открытое окно. И девочку. Она сидела у настольной лампы и читала учебник географии за пятый класс, такой же, как у меня. Она рассеяннo теребила двумя пальцами нижнюю губу и слегка хмурилась. Так славно она хмурилась...

Я сидел и смотрел, пока она не перелистнула страницу. Тогда я испугался: вдруг закроет книгу и уйдет! Перестал дышать и достал из-под матроски бумажного голубя. Это было мое первое письмо к девочке. Ничего я на нем не писал, только нарисовал на крыльях красные звездочки, как у самолета. Но все равно...

Я сосчитал до пяти, рывком высунулся из веток, прицелился и послал голубка. Он хорошо пошел сначала, а у самого подоконника нырнул к земле. И сердце у меня нырнуло. Но голубок взмыл, влетел в комнату и клюнул матовый белый абажур. И упал на стол.

Она вздрогнула. Взяла его, обернулась к окну. Она смотрела прямо на яблоню. Прямо на меня!

Я шумно упал в траву. Неуклюже, но быстро перевалился через забор и припустил вдоль переулкa. Дышал отчаянно, со всхлипом. Непонятное чувство — какая-то смесь стыда и радости — обжигало лицо. Она меня заметила! В белой матроске на темном заборе, конечно, заметила! И узнала... Ну и пусть! Пусть узнала!..

Лишь у крыльца я увидел, что на рукаве вырван клочок...

— Надо же так набегаться,— сказала мама.— Бурлишь, как самовар...

— Ма... ты не сердись. Я порвал нечаянно...

Мама вздохнула и пошла за нитками.

...Было это или не было?

Когда я вернусь, я спрошу у Вари, не залетала ли в ее детство бумажная птичка с красными звездочками на крыльях.

Долго ли шли, не знаю. Не чувствовалось время. Его, может быть, вообще не было в этом лабиринте. Но вот запрыгали у меня по белым рукавам матроски солнечные пятна.

Мы, жмурясь, вышли из расщелины в яркий летний день. Перед нами лежал пологий берег со светлыми пляжами. Кое-где из ровной земли торчали обрывки желтых скал — в одиночку и группами. Впечатление было такое, словно скалистую местность занесло до каменных верхушек песком и он образовал ровные площади. Местами они заросли сплошной высокой травой, но были и прогалины, где сквозь песок торчали только отдельные тонкие стебельки. Трава тоже была желтоватого цвета. Она гнулась под ровным ветром и звенела, как звенит в полях спелый овес.

На желтую сушу ровными синими грядами с белыми гребешками двигался океан. Волны далеко-далеко разбегались по пескам, а уходя, оставляли шипящие языки пены.

Было столько солнца, тепла и спокойного праздника в этом летнем мире, что тревога и горечь растаяли. Мысль о неизбежности расставания не забылась, но отступила и стала пока не главной. А главным был яркий день, который ждал нас. И мало ли что еще могло случиться!

Я увидел веселые Володькины глаза.

— Так вот ты какой на самом деле, — сказал Володька.

Я чувствовал знакомую легкость и струнную упругость в своих ребячьих мускулах. И все ощущения были ребячьими. От чрезмерного недавнего загораения — на плотях в Северо-Подольске — слегка болела на плечах кожа (это была несильная, даже приятная боль, а касание матроски было прохладным и ласковым). Немного ныла коленка с подсохшей ссадиной — ободрал недавно на откосе у Северо-Подольской крепости... А рука совсем не болела!

Володька еще раз оглядел меня от кедров до матросского воротника и заметил:

— Ничего. Сейчас хоть на человека похож.

— Будешь дразниться — получишь, — пообещал я. — Теперь имею право.

Володька отскочил и показал язык. Братик скинул на песок штурманскую куртку и торопливо встал рядом с другом.

— Кто на наших?

Это он шутя сказал, даже ласково. С веселым прищуром и улыбкой. Но я подумал: «Не дай бог кому-

нибудь всерьез обидеть Володьку на глазах у Василька»

Они стояли плечом к плечу, и опять я заметил их удивительное сходство. Не в лицах, а в чем-то неуловимом: в улыбке, может быть, или в движениях... Оба с растрепанными волосами, с одинаково озорными взглядами. У Братика выбилась из штанишек и полоскала по ветру шелковистая рубашонка, у Володьки задралась пестрая майка, открыв поцарапанный загорелый живот.

— А где твоя штормовка?

— Там осталась,— беспечно откликнулся Володька.—
Застряла в шиповнике, я ее бросил.

— Растяпа,— по привычке сказал я.

Они, переглянувшись, двинулись ко мне, и я отскочил. Конечно, они потоньше и пониже ростом, но зато двое. Уж если взрослого вытянули из-под обрыва, мальчишку отваляют в песке за милую душу.

А Валерка на нас поглядывал с молчаливой усмешкой. Он был теперь самый старший.

Но и он не был взрослым. Вдруг подхватил с земли куртку, вытянул ею меня по спине и закричал:

— Купаться!

Мы радостно заорали и бросились к морю.

Теплые волны были упругими и добрыми. Мы так наплавались и напрыгались в них, что обессиленно бухнулись ничком, едва выбравшись на берег.

Это было такое счастье: лежать под солнцем, слизывать с кожи соленые капельки и подгребать под себя горячий песок.

За травой, за камнями, в сотне метров от нас, на плоском бугре стоял серый маяк. Он был совсем рядом с выходом из лабиринта, но мы, когда появились здесь, не заметили башню: она стояла у нас за спиной, а мы смотрели на море.

Зато теперь мы разглядывали маяк внимательно. Это была квадратная башня с узкими окнами и чем-то вроде круглой застекленной беседки, похожей на громадный фонарь. Я вспомнил, что стеклянная надстройка у маяков так и называется — «фонарь». Там должны стоять яркие лампы. Но на этом маяке ламп, наверно, не было. В решетчатых стеклах «фонаря» чернело множество пустых клеток, а на верхнем карнизе я различил кустики.

— Он не действует? — спросил я у Валерки.

— Давно уже. Лет сто... Знаешь, куда нас занесло? Это Желтый остров Западного Каменного барьера. Очень опасное место для кораблей. Штурманы обходят его по такой дуге, что тратится лишняя неделя. Вот пока горел маяк, другое дело...

— Почему же сейчас не горит?

Валерка досадливо двинул острыми плечами.

— А кто починит? Я же говорил, мы все начинаем заново. До многого руки не дошли. Здесь давным-давно и не бывал никто. Я это место сам раньше только на карте видел.

— Далеко отсюда до вашей гавани?

Валерка смущенно сказал:

— Миль триста. Промаяхнулся я немного с лабиринтом... А может быть, это и хорошо.

— На маяк слазим? — спросил Володька.

— Обязательно, — пообещал Валерка.

Но подниматься с песка не хотелось, и мы лениво валялись на солнце.

Наконец Братик подполз к Володьке и зашептал на ухо. Они поднялись, пошли вдоль пляжа по шипучей пене и скоро исчезли за грядой камней — она тянулась с берега в море, как остаток древней крепостной стены.

Я с некоторым беспокойством посмотрел им вслед, однако вставать было лень. «Ничего не случится», — сказал я себе.

Но через несколько минут что-то случилось. Братик и Володька выскочили из-за камней и пустились к нам. О чем-то кричали.

Мы вскочили.

Они подлетели возбужденные, но без испуга, а с радостью:

— Пошли скорее! Мы лодку нашли!

8

Скалистая гряда врезалась в море метров на семьдесят, а потом круто поворачивала и шла вдоль берега, постепенно рассыпаясь на отдельные камни, как сплошная линия, которая вдруг рвется на тире и точки. Этот невысокий каменный барьер образовывал бухточку. Волны лишь кое-где перехлестывали в нее, и вода была

почти спокойной. В самом тихом месте, там, где грядда делает поворот, стояла, приткнувшись к скале, парусная лодка.

Мы добрались до нее по каменистому гребню.

У лодки была высокая узкая корма с затейливой резьбой, широкий корпус, обведенный узорчатым поясом по округлым бортам, крепкая мачта и длинный косой реёк со свернутым на нем парусом.

Братик первым прыгнул в лодку. За ним, конечно, Володька. Лодка закачалась, словно проснулась.

— Как для вас приготовлена! — весело сказал Володька. А Братик ухватился за руль, и тот бесшумно заходил в медных петлях.

Мы с Валеркой тоже прыгнули.

— А ничего, что мы без спросу? — сказал я Валерке. — У нее, наверное, есть хозяин? Кто-то приплыл сюда.

— Приплыл с полвека назад, — отозвался штурман Дэн. — Смотри, какая старая.

И в самом деле, в мелких щелях обшивки и у шпангоутов блестел песок, принесенный ветром. Дрёвесина планшира выветрилась, а к железным втулкам уключин прикипела морская ржавчина.

— Но тогда лодка гнилая, наверное...

— Это дерево не гниет. Вот разве парус...

Парус был треугольный, вроде тех, какие у нас называют латинскими. Он закачался, когда мы его развернули, хлопнул под ветерком.

— Хорошая ткань, — сказал Валерка. — Каменистое волокно. Тоже не гниет.

— Вроде капрона? — спросил Братик и потрогал обмотанную вокруг живота веревочку.

— Вроде... — согласился Валерка.

А Володька нетерпеливо сказал:

— Раз лодка есть, надо плыть. Не зря же она...

Валерка встал к рулю, а мне дал шкот — мягкий трос, идущий от нижнего угла паруса.

— Держи, чтобы не полоскал.

Братик и Володька сбросили с каменного выступа канатную петлю, которая удерживала лодку. Оттолкнули нос.

И мы пошли!

Сначала не очень быстро пошли, но когда грядда кончилась, ветер навалился на парус, растянул складки и мы понеслись.



— Поворот! — сказал Валерка.

Лодка покатила носом в открытое море, парус перекинуло, а меня нижним углом огрело по уху и чуть не выкинуло за борт.

— Держи! — завопил Валерка.— Я же сказал — поворот!

Я очень хотел выглядеть морским волком и натянул шкот изо всей силы. Братик и Володька бросились мне помогать.

Лодка весело мчалась в распахнутый синий океан, разливованный шипучими белыми гребнями.

Может быть, если смотреть с берега, скорость была небольшой. Но мы шли круто к ветру, волны бежали навстречу нам, и казалось, что мы взлетаем на них со скоростью глиссера.

Лодка легко взбегала на гребни, но иногда теплые брызги окатывали нас. Мы хохотали и не боялись. Все равно вся одежда осталась на берегу, на нас были только плавки да веревочка на поясе у Братика.

Лодку стало сильно класть на правый борт. Чтобы откренить ее, Братик и Володька с левой стороны ухватились за планшир, зацепились ногами и откинулись назад. Гребни перехлестывали через них, и они радостно орали.

Мне стало завидно, и я, не выпуская шкота, перебрался к Володьке и Братiku. Тоже откинулся за борт.

— Перевернете лодку, черти,— сказал Валерка.

Но мы не слушали Светлого штурмана, хотя он и обещал выкинуть нас из лодки. Тогда штурман вскользя заметил, что в этих водах на таком удалении от берега уже плавают всякие кальмары и другие морские гады — скользкие и кусачие. Володька торопливо перебрался к мачте и сообщил, что ему надоело окунаться. Деловито спросил:

— А куда плывем?

— Все равно. Давайте вон на тот островок,— сказал наш командир.

Впереди, в полукилометре от нас, подымались каменные зубы.

...Минут через пять мы подошли к скалам. С подветренной стороны, где как раз не было сильной волны, виднелся неширокий проход.

Парус заполоскал. Хватаясь за камни, мы завели лодку в крошечную круглую бухту. Скалы вокруг бы-

ли такими высокими, что бухточка напоминала грот.

— Наверно, это жерло старого вулкана,— сказал Володька шепотом, но этот шепот на шелестящих крыльях разнесся по каменным уступам.

— Скорее, это остатки морского храма,— сказал Валерка.— Смотрите.

Вверху, на желтоватой плоскости скалы, было выбито громадное лицо с длинным подбородком и продольным разрезом глаз.

— Суровый портрет,— заметил я.— Какой-нибудь бог моря?

Валерка кивнул:

— Кажется, это Хранитель морских глубин.

— Не Хранитель глубин, а Хака Баркарис — Раскаленный Клык и Звезда Океана. Адмирал пиратской флотилии,— серьезно сказал Братик.

— Откуда ты знаешь?— удивился Валерка.

Братик хитровато глянул на него.

— Читал. Думаешь, ты один изучал науки?

— Зазнайка,— сказал Валерка, но без насмешки, а скорее, с удовольствием. И растрепал Васильку волосы на загривке.

Братик притворно надул губы.

— У, какой...— буркнул он, легонько двинул Валерку локтем, но тут же потерял ухом о его плечо. Потом застеснялся незаметной этой ласки и весело предложил:

— Окунем штурмана? Он один сухой.

Мы дружно поддержали эту мысль. А Светлый штурман Иту Лариу Дэн убежал на нос и оттуда сказал, что пиратский адмирал Хака Баркарис был бы в восторге от такого бандитского экипажа, как мы.

Преследовать штурмана мы не стали. В этой похожей на храм бухте не хотелось дурачиться.

В узкие проходы среди камней вливалась вода, когда накатывал гребень. Плеск и журчанье наполняли бухту. Но всякий другой звук все равно вызывал гулкое эхо.

Свет падал сверху золотистыми столбами. Столбы эти уходили в толщу воды и постепенно растворялись в зеленом сумраке. Дна не было видно. Только смутные тени водорослей колыхались в глубине.

Володька и Братик легли животами на планшир и стали смотреть в воду.

— Если здесь бывали пираты, значит, на дне могут лежать сокровища,— заявил Володька.

Братик тут же его поддержал.

— А глубина-то,— сказал Валерка.— Разве донырнешь?

— Давайте смерим,— предложил Володька.

Они с Братиком отыскиали на дне лодки уключину, покрытую окалиной морской ржавчины, и привязали к концу веревочки.

— В ней ровно двадцать метров,— сообщил Володька.— Достанет или нет?

Они стали опускать свой самодельный лот. Но достал ли он дна, было непонятно. Веревочка, размотавшись почти до конца, ослабла, потом снова натянулась — и так несколько раз. Братик переглянулся с Володькой и потянул ее назад.

— Мамошка! — не скрывая ужаса, вдруг завопил Володька. Торопливо стуча локтями и коленками по шпангоутам, он уполз на корму.

На конце веревочки не было уклучины. Вместо нее, прицепившись клешней, висел громадный краб.

— Да не бойся,— со смехом сказал Братик.

— Ага, не бойся! Чудовище такое.

Краб в самом деле выглядел страшновато. Его туловище было размером с чайное блюдце, а клешни — каждая с Володькину ладошку. Панцирь оброс ноздреватыми ракушками, среди которых запутались обрывки водорослей. От этого краб казался замшелым каким-то, старым и сердитым.

Но Братик бесстрашно, словно котенка, посадил его на колени. Ласково поскреб твердую крабью спину.

— Совсем не чудовище. Он добрый.

Краб далеко выставил на стебельках глаза-шарики и повернул их к Братiku. Мне показалось, что с любопытством.

— Хороший...— снова сказал ему Братик и отколупнул несколько ракушек. Из-под них блеснула чистая эмаль панциря — голубоватая, с мраморными прожилками.

Крабы, конечно, не умеют улыбаться, но мне, честное слово, показалось, что этот смотрит на Братика с улыбкой.

Братик ему тоже улыбнулся. Потом сказал, не поднимая головы:

— Володька, иди сюда.

— Я что, псих?

Братик опять засмеялся:

— Иди, иди.

Володька вздохнул и, как был на четвереньках, двинулся навстречу страху.

Краб ждал, приподняв клешни.

— Смотри, он все понимает,— сказал Братик. И сунул мизинец в крабью клешню. Володька охнул и зажмурился. Краб чуть-чуть сдавил палец Братика и тут же отпустил. Это было похоже на ласковое рукопожатие.

Володька приоткрыл один глаз.

— Теперь ты,— сказал Братик.— Не бойся.

Володька жалобно оглянулся на меня.

— Давай, давай,— сказал я.

И Володька совершил подвиг: дал крабу свой мизинец.

Потом, когда ничего страшного не случилось, он шумно подышал, сел, привалившись к борту, и вытер капли со лба.

— Молодец,— прошептал Братик. То ли Володьке, то ли крабу.

— Это очень умные звери,— объяснил мне Валерка.— Некоторые ученые пишут, что у больших крабов есть свой язык.

— Крабы все понимают, как люди,— сказал Братик.— Давайте мы его попросим что-нибудь найти.

— Давайте! — совсем по-ребячьи обрадовался штурман Валерка.

— А как это — попросим? — слабым голосом поинтересовался Володька.

— А вот сейчас...

Братик взял моток веревочки, наклонился над крабом и, немного смущаясь, проговорил полушепотом: .

Житель моря, добрый краб,
Ты наш друг, а не раб.
Будь так добр, достань со дна
То, что спрятала волна.

После этого он сунул крабу в клешню веревочку и отпустил его за борт. Мы увидели, как наш морской гость погружается в зеленую глубину. Белый шнурок потянулся за ним.

Скоро краб исчез в тени среди водорослей.

— Подождем,— сказал Братик и намотал веревочку на палец.

— А долго ждать? — спросил я.

— Не-а...

Прошло минуты две, и Братик стал выбирать шнур. Мы с Валеркой легли животами на планшир, но Братик сказал:

— Пожалуйста, не надо. А то он подумает, что мы жадные.

Мы были не жадные, но любопытные. И с нетерпением ждали, когда краб снова окажется в лодке. Даже Володька ждал.

Братик ухватил краба за твердую спину и посадил на планшир. Наш восьминогий друг встал на четыре задние лапы, а остальные конечности поднял, словно приветствуя нас. Глаза его весело блестели. В левой клешне у краба зажат был приплюснутый серый шарик размером с небольшое яблоко. Братик подставил руку, и краб уронил свой подарок ему в ладонь.

Потом он сам опрокинулся в воду. Но прежде чем покинуть нас, этот странный морской житель (я сам видел, честное слово) прощально помахал клешней.

— Ну вот, даже спасибо не сказали зверю,— заметил Валерка.

— Я сказал, только тихонько,— возразил Братик.

— А что он принес?— заинтересовался Володька. Он сразу приободрился, когда краб исчез.

На ладонке у Василька лежал панцирь морского ежа. Он был старый, иголки с него осыпались, и остались только мелкие бугорки. Панцирь был похож на круглую коробочку с отверстием в доньшке.

Братик потряс коробочкой, и в ней что-то застучало, как в погремушке. Потом бок у панциря проломился, и на дно лодки упала светлая горошина.

Валерка схватил ее. Я увидел, что он даже слегка побледнел.

— Не может быть...— пробормотал он.

— Жемчужина?— спросил я, наклоняясь рядом.

— Жемчужины бывают в плоских раковинах,— недоверчиво проговорил Володька.— А эта в какой-то черепушке.

— Это не простой жемчуг,— тихо сказал Валерка.— Он не растет в раковинах. Это вечный жемчуг.

Я заметил, как вздрогнул и широко открыл глаза Братик.

Жемчужина лежала на ладони у Валерки. Светлая полупрозрачная бусина с затаенной голубой искрой внутри

— А почему она вечная?— спросил я.— Не тускнеет?

— Это капли, звездного дождя, они падают с неба,— объяснил Братик.— И застывают в море.

— Как метеориты?— спросил Володька.

— Почти,— задумчиво откликнулся Валерка и покачал жемчужину на ладони.— Только метеориты из камня или железа, а это... в общем, это звездное вещество... Между прочим, один такой шарик может сделать человека императором или перессорить целые государства...

— Ничего себе добыча,— опасливо заметил Володька.

А я сказал:

— Давай выкинем к аллаху...

Валерка улыбнулся:

— Зачем выкидывать? Мы с Васильком его вам подарим — тебе и Володьке. Вы же не собираетесь в императоры... Будете вспоминать нас.

Последние слова кольнули меня мыслью о близкой разлуке. Но я прогнал эту мысль. До конца Третьей Сказки еще далеко, и нечего грустить раньше времени.

Валерка взял мою ладонь и переложил в нее жемчужину. Весила она как добрая свинцовая пуля, а размером была с крупную ягоду смородины.

Я понимал, что отказываться нельзя.

— Спасибо, Валерка. Спасибо, Василек.

Братик сказал:

— Она в темноте светится. Как будто маленькая луна...

— А почему все-таки этот жемчуг вечный?— снова спросил я.

Валерка сказал с непонятной строгостью:

— Он горит вечно. Если зажечь, начинает сиять, как солнце, и уже никогда не гаснет. В Старом Городе на Западных островах одна жемчужная крупинка, в десять раз меньше этой, освещает целую площадь уже много веков. И ничто не страшно такому огню. Даже под водой не гаснет.

— Без воздуха горит?

— Звезды тоже горят без воздуха,— сказал Валерка.

Володька тронул пальцем жемчужину.

— Значит, она маленькая звезда?.. Какой хороший этот краб. Не буду я больше бояться крабов.

Мы засмеялись. Я положил тяжелую горошину в кармашек на плавках. Братик стал сматывать веревочку. А пиратский адмирал Хака Баркарис непонятно смотрел на нас со скалы.

9

С попутным ветром мы долетели до берега в несколько минут. Валерка ловко ввел в бухту лодку, мы ее привязали и по камням выбрались на пляж.

Близился вечер, и в воздухе прибавилось желтизны. Тише стал ветер, и звонче шелестела трава. Мы уже не шумели и не дурачились. Утомились немного.

Начинался отлив. Океан отступал, открывая мокрое песчаное дно с темными плетями водорослей и круглыми блестящими лужами.

Братик и Володька немного побегали по этим лужам, брызгая друг на друга, но без особой охоты. Потом Володька наткнулся на выпуклую блестящую спину зарывшейся в песок черепахи. Он захотел показать Братiku, что не боится морской живности, и стал откапывать черепаху. Она была неподвижная и какая-то слишком уж круглая. А потом оказалось, что это глиняный горшок, покрытый странным клетчатым орнаментом.

— Это знаете что?— оживленно сказал Валерка.— Это посудина древних мореплавателей, которые здесь жили тысячу лет назад.

— Может, в ней клад?— заинтересовался Володька.

Но в древней посудине ничего не было. Кроме мокрого песка.

— В них варили раньше похлебку из синих водорослей,— сказал Валерка.

— Хочу похлебку из синих водорослей,— с шутливой жалобностью сообщил Братик.— Есть хочется.

— Бр,— сказал Володька.

— И ничего не «бр». Она вкусная. Только этих водорослей здесь нет.

— Давайте наловим и сварим крабов,— предложил Валерка и украдкой покосился на Братика.

— Еще чего! — вскинулся тот.

Мы засмеялись.

Маленькие серые крабы, словно услышав о коварных Валеркиных замыслах, разбежались по песку и

прятались под камнями. На многих камнях темнела щетина плоских ракушек — вроде черноморских мидий.

— Сварим моллюсков,— сказал Валерка.— Вполне съедобно.

— А где огонь?— спросил Володька.

Я сразу вспомнил. Побежал, разыскал на берегу свою одежду, вытряхнул карманы. Выпали два синих билета — с ними я и мой приятель Алька Головкин лет пятнадцать назад ходили в кинотеатр «Темп» на фильм «Смелые люди». Потом скользнуло мне в ладонь увеличительное стеклышко — Алькин подарок.

Солнце стояло невысоко, но грело хорошо. Я навел огненную точку от стекла на билеты, и скоро на них запыгал бесцветный огонек.

Мы набрали сухой травы и веток, сварили ракушки в старинном горшке, в морской воде, которая булькала совсем по-домашнему — как суп на газовой плите. Некоторые раковины открылись сами, другие Валерка вскрывал острием своего палаша. Мясо было солоноватым и пахло морем. Ну и прекрасно! Володька сказал, что всю жизнь будет помнить этот обед.

Всю жизнь... Будет помнить! И мы снова подумали все об одном: скоро наступит время, когда останется только одно — помнить друг друга.

Мы легли рядом на сухой песок, прижались плечами и стали молчать. Справа от меня был Валерка, слева мой Володька.

Валерка сказал наконец:

— Что-то все равно не так. Будто не сделали самого главного.

— Мы на маяке не были,— напомнил Володька.

— Разве это самое главное?— с мягким упреком сказал Братик.

— А кто знает,— упрямо сказал Володька.

Я посмотрел на него, потом на Валерку. Видно, у меня и у Валерки мелькнула одна мысль.

— Надо зажечь маяк,— торопливо сказал я.— Не зря же мы попали на этот остров.

Братик и Володька разом приподнялись, уткнув острые локти в песок.

Валерка подумал и покачал головой.

— Я тоже хотел... Нет, невозможно. Там должны гореть масляные лампы. А где масло? Кто будет следить? Их надо заряжать, они не могут гореть вечно.

Володька слева от меня резко шевельнулся, и я почувствовал его требовательный взгляд. Я сказал:

— А жемчуг? Он горит вечно.

Валерка быстро вскинул и опустил глаза.

— Это же подарок. Он же ваш — Володькин и твой.

— Он и будет наш. И ваш тоже,— заговорил я как можно убедительнее.— Только он будет гореть! Как...— У меня в голове заскакали всякие мысли про негасимый огонь дружбы и тому подобное. Но здесь не нужны были красивые слова. И я заговорил сбивчиво:— Ну, как будто мы вместе... Зажгли для всех...

— И ты вернешься раньше, Дэни,— вдруг тихо сказал Братик.— Не надо будет огибать Барьер.

Верно, Василек! Тут штурману Дэну совсем нечего возразить.

Я вынул из кармашка тяжелый шарик с голубой искоркой внутри. Валерка взял его на ладонь.

— А как зажечь? От простого огня он не загорится. Он вспыхивает лишь от очень сильного пламени. От молнии или от горящего железа...

— Эх ты, штурман! — воскликнул я.— Ты забыл? На всех маяках есть громадные линзы! Мы соберем солнечные лучи!.. Бежим, пока солнце не ушло!

Запахавшись, мы выбрались на каменную площадку у подножья маяка. Дверь была сорвана. Угрюмо чернел сводчатый вход. Нас не испугала эта угрюмость, мы торопились не упустить солнце: оно было близко от горизонта и стало желтоватым. И все-таки мы задержались у башни.

Недалеко от фундамента, среди обкатанных камней, лежал огромный якорь. Изъеденный солью, весь красный от морской ржавчины. Его веретено плотно прижмалось к плоской базальтовой площадке, один рог с треугольной лапой торчал вверх, а второй целиком ушел в камень. словно давным-давно камень расплавился, охватил якорную лапу жидкой массой и застыл снова.

Валерка погладил ржавое туловище якоря.

— Знаете, сколько времени он лежит? Здесь было когда-то морское дно, а потом вода отступила. Наверно, он оторвался от корабля больше тысячи лет назад. Так и остался... Смотрите, он намертво врос в планету.

Мы с Братиком тоже погладили покрытую ржавчиной спину якоря-великана. А Володька хотел пошевелить большое кольцо, куда ввязывают канат, но оно приросло к проушине.

— Солнце уходит,— сказал я.

Тени от якоря, от камней, от невысоких скал, где был выход из лабиринта, стали длинными и протянулись по склону.

Мы вошли в башню.

Башня была квадратная снаружи и круглая внутри. Будто в четырехугольном столбе просверлили широкий ствол. Там, где снаружи приходились углы, каменная кладка получилась особенно толстой. В ней давние строители выбили полукруглые углубления. Ломаной линией от ниши к нише уходила вверх железная тонкая лестница.

Когда мы стали подниматься, она гулко задрожала и с перил посыпалась ржавая чешуя.

Идти было страшно. Круглая пустота гудела вверх и вниз. Но в узкие окна проникало солнце и рассекало эту пустоту лучами; лучи стали уже розовыми, и надо было спешить.

Я шел последним и смотрел, чтобы Володька и Братик по своей беспечности не загремели со ступеней. Поэтому лишь мельком поглядывал по сторонам. Но все же заметил в нишах мотки полусгнивших канатов, круглые фонари и какие-то черные сундуки, от которых тянулись вверх странные кожаные веревки.

После полутьмы круглого колодца застекленный фонарный ярус почти ослепил нас. Отсюда, с высоты, солнце еще не казалось слишком низким — это первое, что я заметил.

А второе... Второе — то, что линз не было.

Вернее, они были, но совсем не годились для нашей цели. Это оказались не выпуклые стекла, как мы ожидали. Маячные линзы состояли из множества хрустальных колец — одно внутри другого. Издалека они, наверно, были похожи на ребристые стекла автомобильных фар. К тому же эти кольца наглухо были вделаны в неподвижные металлические рамы — ни повернуть, ни снять.

Мы с недоумением и досадой переглянулись. Братик сказал Валерке, без упрека, но очень огорченно:

— Разве ты не знал?

Валерка хмуро ответил:

— Я же не маячный мастер. Я на маяки до сих пор только с воды смотрел...

Мне стало до жути обидно. Неужели все зря?

Володька вдруг предложил:

— А если оставить здесь жемчуг и провести к нему громоотвод? Будет гроза, ударит молния...

— Здесь не бывает гроз,— печально сказал Валерка.

Братик зачем-то полез на площадку среди линз, где раньше находилась лампа. Сейчас там торчали два железных рычага. Радужные пятна от хрустальных колец заскользили по рубашке Братика, потом яркий зайчик прыгнул ему на глаза. Братик сощурился, поднял к лицу ладонь и локтем зацепил гибкий рычаг. Раздался треск, и среди железа проскочила синяя искра.

10

В седьмом классе меня один раз крепко трахнуло разрядом от электрической машины (знаете, такой прозрачный круг с ручкой, щеткой и блестящими шариками). С той поры я нервно отношусь к электричеству.

Я судорожно ухватил Братика за рубашку и рывком выволок его из-за линз. Он удивленно моргал. Володька тоже моргал. А Валерка заметно испугался за братишку.

— Это что же,— сказал я ему,— у вас есть электричество?

Он досадливо покосился на рычаги и хмуро ответил:

— Было... Многое у нас было, да забылось. Теперь снова ищем.

Он опять посмотрел на контакты, на Братика и спросил:

— А это... опасно было?

— Смотря какое напряжение,— сказал я и вспомнил кожаные шнуры и черные сундуки в нишах. Это, наверно, кабели и аккумуляторы, с давних пор сохранившие энергию.

На косых железных рычагах были острые клювы, а чуть пониже — деревянные накладки. Видимо, для рук. Я на дрожащих ногах пробрался за линзы и, взявшись за дерево, опять сдвинул контакты. И снова с треском проскочила синяя ломаная искра. Длиной в два сантиметра.

— Это же молния! — воскликнул Володька. — Она зажжет!

Вот как все просто решилось. Мы обрадовались и стали думать, как укрепить жемчужный шарик между клювами контактов.

От пола поднимался медный винт с круглой площадкой — вроде табуретки для пианистов. Видимо, на этой штуке раньше крепился патрон для лампы. Я до отказа поднял площадку. Однако высоты винта не хватило.

Володька и Братик переглянулись. Володька торопливо сказал:

— Надо камень подложить, и чтобы в нем была ямка. Внизу есть такие.

Не успел я ответить, как под Володькиными ногами загудела лестница.

— Осторожнее ты, летучая обезьяна! — заорал я вслед.

В маячном колодце еще не успокоилось эхо, а Володька уже вылетел из башни на солнечный свет. Мы увидели его с балкончика, который опоясывал «фонарь» маяка.

Недалеко от якоря Володька нашел круглый камень и с натугой поднял его.

— Спускайте веревочку! — крикнул он.

Братик торопливо разматал капроновый шнурок.

— Не хватит, — с сомнением сказал я.

— Хватит, — сказал Братик тоном, очень похожим на Володькин.

И правда, веревочки хватило. В самый раз. Володька крест-накрест обвязал камень и крикнул, чтобы мы тащили.

— Тащим! А ты поднимайся!

— Я подожду! Вдруг еще камень понадобится!

Больше камни не понадобились. Булыжник с ямкой словно специально для нас кто-то приготовил. Когда я положил в ямку жемчужину, клювы рычагов уткнулись прямо в нее.

Я нетерпеливо сдвинул их поближе.

Синяя змейка молнии проскочила раз, другой, опоясав белую горошину. Потом искры заплясали непрерывно. Жемчужина отбросила голубые зайчики, но не зажглась.

— Слабое напряжение, — сказал я.

— Значит, ничего не выйдет? — огорченно спросил Валерка.

— Не знаю. Вот если бы получилась вольтова дуга... Она даже металл плавит.

— А как сделать?

— Если бы графит был... Хотя бы карандашик!

— Может, у Володи есть? — сказал Братик.

Мы вспомнили, что Володька все еще ждет вни-зу и бросились на балкон. Володька стоял задрав го-лову.

— У тебя есть простой карандашик? — крикнул я.

— Зачем?

— Для контактов!

— Это очень надо?

— До резезу!

— У меня есть, только он в штормовке остался!

От досады я чуть не плюнул.

— Если надо, я сбегаяю! — крикнул Володька.

«Сбегаяю!» Будто за газетой в соседний киоск.

— Не валяй дурака! — громко сказал я и обернулся за поддержкой к Валерке. Но штурман Дэн непонятно молчал. А Братик сказал умоляюще:

— Пусть сходит. Это же очень важно...

И сбросил вниз моток веревочки.

— Пошли тогда все вместе, — сказал я.

Валерка хмуро объяснил:

— Вчетвером — это в четыре раза дольше. А время лабиринта на исходе.

Я не понял насчет лабиринта. Понял только, что должен идти кто-то один. Значит, Володька, потому что другие не отыщут в темных кустах штормовку.

— Но он же заблудится!

— Не так уж это сложно, — сказал Валерка и крикнул Володьке:

— Когда пойдешь вперед, держи за лунным зайчиком. А обратно...

— А обратно я по веревочке! Как Том Сойер в пещере! — откликнулся Володька.

Я увидел, как он привязал конец веревочки к якорному кольцу.

— Не хватит же! — крикнул я.

— Ой уж!.. — ответил снизу Володька и, разматывая шнурок, исчез среди скал.

...Я приготовился ждать и тревожиться. Видимо, Третьей сказке необходимы и такие минуты... Я стал смотреть, как опускается к морю солнце.

Ждать и тревожиться почти не пришлось. Володька вернулся стремительно. Я не видел, как он появился из-за скал, а сразу услышал гулкий топот на лестнице.

Володька шумно дышал. На нем была штормовка с темными звездочками дождя. От нее пахло сырыми листьями.

В первый миг я от радости чуть не облапил Володьку. Но сдержался и спросил, чтобы скрыть слишком явный восторг:

— Ну, все в порядке?

— Угу...— сказал Володька.— Васек, возьми карандаши.

Братик взял карандашный огрызок и зубами расколол его на продольные половинки. Вынул грифель.

Я вытянул из кеда проводок, служивший шнурком. Валерка палашом соскоблил с проводка изоляцию. Очищенной проволочкой мы примотали к железным клювам графитовые стерженьки.

— Готово? — прошептал Валерка.

— Да. Только отойдите. Надо осторожно.

Я знал, что жемчуг вспыхнет. Он не мог не вспыхнуть. Сама Сказка привела к этому: и старый маяк, и подарок доброго краба, и мысль, что должны мы оставить память о дружбе...

И не зря же Володька шел в одиночку по звездному лабиринту!

Я медленно, почти торжественно сдвинул рычаги, ожидая разряда. Вспыхнул белый огонь! И в этот миг что-то черное хлестко ударило меня по лицу. Я отлетел и грохнулся спиной о железную раму маячной линзы.

Из-под купола крыши с темных перепутанных балок на нас падали с шелестящим шумом громадные летучие мыши!

Или это были не мыши! Странные и страшные существа — безголовые или, может быть, наоборот, состоящие из одной головы. Они походили на мягкие мешки из мокрой кожи — размером с боксерскую грушу. И на каждом мешке было лицо! Отвратительное, но человеческое! С осмысленной ненавистью в тусклых глазах. А из щек росли перепончатые крылья!

Откуда они взялись, эти чудовища? Наверно, ждали своего часа, притаившись на балках, а мы не заметили их. Мы же не смотрели вверх, когда пришли сюда, не до того было.

Злобная стая атаковала нас, и было жутко от хлопанья крыльев и мельканья страшных темных лиц. Что-то знакомое уловил я в этих лицах: то ли жестокость маски Хака Баркариса, то ли злое отчаянье Канцлера, с которым я дрался в поединке...

Братик и Володька вскрикнули, покатались к стеклянной стенке «фонаря». Потом вскочили. Володька сорвал с себя пластинчатый поясок и стал яростно отмахиваться от летучих гадов, придерживая левой рукой штаны. Братик сдернул рубашку и отбивался ею. Мне под руку попался стальной прут, и я с гневной радостью и отвращением почувствовал, как от моих ударов хрустят и ломаются перепончатые крылья.

Но выручил нас, конечно, Валерка. Его тонкий палаш начал рассекать воздух, и несколько «летающих мешков» с отвратительным шмяканьем ударились о каменный пол. Остальные взмыли на балки.

Бой продолжался с полминуты, не больше. Однако мы все дышали тяжело и прерывисто. Очень неожиданным было нападение, и слишком отвратительным показался враг.

Три разрубленных «мешка» на полу вздрагивали мокрой кожей и шевелили крыльями. Я не мог смотреть на их перекошенные умирающие лица.

— Ну и твари,— сказал я, передергивая плечами.

— Крылатые нежити,— сквозь зубы ответил Валерка.— В старину считали, что это души убитых злодеев. Я думал, они давно вымерли. Откуда они...

Отчаянный крик Василька перебил его:

— Жемчуг!!

По слегка наклонному полу прямо к двери катился светлый шарик. Видимо, налетевшие враги сбили его крыльями.

Почему мы не бросились за жемчужиной? Почему оцепенело смотрели, как она убегает от нас? Бывает так: видишь, как что-то падает, а подхватить не можешь, замираешь...

Лишь когда жемчужина исчезла в дверном проеме и мы услышали несколько звякающих ударов по ступенькам, оцепенение прошло. Мы бросились на лестницу...

Искали мы долго и отчаянно. На ступеньках, в нишах, на полу первого этажа. Прощупали каждую щель. Когда солнце ушло за горизонт и лучи его, пробивавшиеся в башню, погасли, мы раздули на берегу остатки

костра и сделали из веток факелы. Но и огонь не помог.

По правде говоря, мы с Валеркой понимали с самого начала, что не найдем жемчужину. Такой крошечный шарик в громадном каменном колодце с закоулками и щелями... Но Володька и Братик, странно переглядываясь, упрямо обшаривали щели между каменными плитами. Наконец все ветки сгорели.

Мы вышли на воздух.

Над морем горел желтый закат. Мы стояли у якоря и смотрели на это ясное свечение. У Василька и Володьки лица стали смугло-золотистыми и совсем одинаковыми. Одинаково строгими и хмурыми.

— Ну, ничего,— заговорил Валерка.— Не плакать же теперь. Ладно, ребята, все равно что-то было...

«Что-то было,— подумал я.— Но, наверно, ничего уже не будет. Грустная Сказка идет к концу»

И, словно отвечая мне, Валерка сказал:

— Нам пора.

— Искупаемся напоследок,— попросил я и увидел благодарные глаза Володьки и Братика.

— Но у нас мало времени. Скоро лабиринт исчезнет,— откликнулся Валерка.

— Откуда ты знаешь? — как-то капризно спросил Володька.

— Чувствую. Я же сам его строил.

— Мы только окунемся,— жалобно попросил Братик.

— Давайте,— коротко сказал Валерка.

Он бросил у якоря куртку, Володька швырнул на нее штормовку, и мы побежали к морю.

У самой воды я оглянулся. Закат отражался в стеклах маячного фонаря, и они горели, словно маяк все-таки зажегся.

II

Волны были теперь янтарными и стали еще теплее и ласковее. Они будто смыли с меня горечь неудачи. По крайней мере, когда я выбрался на песок, то прежней досады не чувствовал.

Но наступали минуты, о которых я боялся думать.

Я машинально натягивал матроску и думал о странной природе человеческих привязанностей. Ну, кто мне эти двое ребят? Ведь не братья. И даже давними друзьями не назовешь. Что же так связало меня с ними?

То, что они из другого мира? Чушь какая! Да если бы они оказались мальчишками с соседней улицы, я был бы самым счастливым на свете! Может быть, дело в том, что мы рисковали друг для друга? Но это бывало со мной и раньше. В кавказском походе мы с приятелем выволокли из ледяного потока двух парней. Ну и что? Теперь только под Новый год открытками обмениваемся. А Валерка и Братик... Почему же сердце останавливается, как подумаю, что сейчас разойдемся?

Если вспомнить, мы и знакомы-то в общей сложности не больше трех дней. А Володька с Васильком — те лишь сегодня увиделись. И вот прикипели друг к другу.

Я посмотрел на них. Братик помогал Володьке застегнуть хитрую пряжку блестящего пояса, и они о чем-то шептались. Быстро и деловито. Они словно не собирались прощаться. Они вели себя как два одноклассника, которые договариваются завтра пойти в кино.

Может быть, не почувствовали еще до конца, что сейчас расстанутся навсегда? Или не подавали вида?

Они же крепкие ребята...

Валерка тоже смотрел на Василька и Володьку. Я вдруг вспомнил, что сегодня впервые узнал его настоящее имя.

— Дэни...— тихо сказал я.

Валерка обернулся. У него были ласковые глаза, и он хотел сказать что-то хорошее.

И вдруг он вздрогнул. Поднял голову, будто услышал далекий сигнал.

— Время убегает.

Мы начали торопливо зашнуровывать кеды.

— Скорее,— нетерпеливо попросил Валерка.

Мы бросили шнуровать и торопливо зашагали к маяку.

— Еще скорее надо,— уже с открытой тревогой сказал Валерка.

Володька и Братик переглянулись.

— Тогда побежим! — предложил Володька, и мы рванули вверх по склону.

Но Володька вдруг ойкнул и ткнулся в траву.

Я подскочил.

— За камень зацепился,— сказал Володька, глядя на свой локоть.— Вот...

Кожа была содрана, по руке текли темные струйки. Я скинул матроску, зубами рванул нижний шов, с

треском отодрал от подола узкую ленту, смутно вспоминая, что однажды так уже было. Начал заматывать Володькину ссадину. Валерка стоял рядом. Я чувствовал, что все жилки звенят у него от страшного нетерпеливого беспокойства. Но что я мог сделать, если у Володьки кровь?

Я затянул узел.

— Бежим!

Володька вскочил и снова сел.

— Нога,— хмуро сказал он.— Кажется, подвернулась. Я подхватил его на руки. Бежать мы теперь не могли, но я торопился изо всех сил.

Был уже виден вход в лабиринт. Скорее! Скорее же!..

У входа словно размыло края. Скалы как бы растеклись, и щель заплыва, исчезла. Упругий толчок воздуха остановил нас. Качнулась земля, контуры камней и маяка стали размытыми, пространство сдвинулось, и... вместо скал и якоря я увидел каменную насыпь, поросшую редкими кустами, а башня исчезла.

— Что это? — растерянno спросил я.

— Эхо времени. Волна,— как-то устало сказал Валерка и сел на валун, поставив палаш между колен. У него был вид человека, который опоздал на последний пароход и знает, что сейчас торопиться бесполезно.

Я опустил Володьку, и он довольно прочно встал на больную ногу.

А Василек... Он глянул на Володьку, потом подошел к брату, сел на корточки, положил подбородок на Валеркино колено.

— Ну, ты чего, Дэни,— сказал он ласково и немного виновато.— Ты не горюй, у нас же есть лодка. Корабль без тебя не уйдет. При хорошем ветре мы доберемся до Гавани за трое суток. А там переход...

В первый момент я обрадовался: значит, ничего страшного не случилось! Но тут же чуть не взвыл от отчаянья:

— В Гавани же нет лабиринта! Значит, я в таком виде явлюсь домой?

Братик тихонько засмеялся:

— Да нет, это обратный переход. Там все просто. Я облегченно вздохнул. А Володька заметил:

— Я бы на твоём месте только радовался, если бы таким вернулся. По крайней мере сам на себя похож.

— Ага,— сказал я.— И Августа Кузьминична тоже

бы радовалась. Подумать только: зав. литературной частью в матроске и шортиках...

— А чем плохо? У вас же детский театр. По-моему, директорша была бы довольна.

— А Варя? — спросил я. — Тоже была бы довольна?

Володька подумал и не без ехидства заметил, что с Варей, конечно, сложнее.

Мы уже шутили. А что? Выход был найден, расставание отодвинулось на несколько дней, и эти дни обещали новые приключения. Конечно, будет очень трудно в открытом море на маленькой лодке, но зато мы вместе!

— Дэни, ну ты чего молчишь? — опять обратился к брату Василек. — Мы напечем ракушек для провизии. Для пресной воды есть горшок. Если понемножку пить, то хватит. Да мы с тобой можем и морскую...

— Я тоже могу... — вставил Володька.

Штурман Дэн шевельнулся и отложил палаш.

— Вы разве не понимаете? — спросил он угрюмо. — Откуда здесь лодка? Вы не знаете, что такое эхо времени?

Мы с Володькой не знали. Братик, видимо, тоже. И ответом Валерке было наше испуганное молчание.

— Нас волна от лабиринта закинула неизвестно куда, — сказал Валерка. — На тысячи лет назад или вперед. Смотрите, нет ни якоря, ни маяка. Даже скалы другие...

Володька торопливо шагнул ко мне и прижался забинтованным локтем к моему голому боку...

Потом сошлись мы все четверо в молчаливый кружок и сели на камни среди травы. Отчаянье часто бывает молчаливым.

Закат светил долго, но вдруг как-то сразу догорел, и наступила темно-синяя ночь. Без луны. Зато высыпали звезды, видимо-невидимо. И очень яркие, и не очень. Одни казались совсем близкими, а другие горели в непостижимой дали. Через все небо протянулся изумительно светлый Млечный Путь. Сгустки звездной пыли словно клубились в космической глубине. Но это был чужой Млечный Путь и незнакомые созвездия.

Боже мой, как мне захотелось под хмурое ночное небо, на улицу дачного поселка, где шелестит в листьях дождик, пахнет сырой травой, а за деревьями, вдали, глухо вскрикивают электрички... Но не было туда пути.

А если и был, мы его не знали. Валерка сказал, что нельзя построить второй лабиринт.

При свете звезд мы различали друг друга. Никто не шевелился. Братик положил голову на колени Валерке и, казалось, задремал. Володька сидел, обняв себя за плечи, и смотрел в землю.

Вдруг он ударил кулаками по коленям и с тоской сказал:

— Ну, дурак я, дурак. Все из-за меня.

— Ты же не виноват, что споткнулся,— сказал я.

— Да виноват же! — со слезами в голосе крикнул Володька.— Я нарочно упал! Я время тянул.

Не поднимая головы, Братик прошептал:

— Мы оба виноваты. Мы хотели, чтобы на лодке. Чтобы еще вместе...

— Я догадался,— сказал Валерка.

— Теперь вы нас никогда не простите,— бесцветным от отчаянья голосом произнес Володька.

— Простим,— сказал Валерка.

Мы еще помолчали, потом Братик поднял голову и спросил:

— Что же теперь делать?

— Думать о ночлеге,— спокойно и очень по-взрослому ответил штурман Дэн.— Ночью будет свежо. Соберите побольше сухой травы и веток, мы устроим гнездо.

Братик и Володька вскочили.

— Далеко не отходите,— предупредил я.

Володька спросил:

— Можно, я возьму саблю? Ветки рубить.

Валерка вынул из ножен и отдал ему палаш.

— Только осторожнее,— сказал я.

Они отошли за камни, но мы слышали их приглушенные голоса и удары клинка по твердым сучьям.

Валерка спросил сбивчиво и нерешительно:

— Послушай... вот если бы я... ну, если бы со мной что-то случилось... совсем... Вы бы взяли к себе Василька?

— Что за чушь тебе в голову лезет! — сердито сказал я.

— Все-таки скажи. Ну, если бы...

— О чем ты говоришь! — возмутился я.— Неужели бы оставили?.. Только... Он сам захотел бы? Наша Земля ему чужая.

Валерка покачал головой:

— Не чужая, раз вы там. Кроме вас, у него никого нет.

— А ты?

Валерка сел ко мне вплотную и вполголоса произнес:

— Я неправду говорил. Лабиринт построить можно... Только никто не строил его трижды.

— А зачем трижды? У тебя он будет второй...

При рассеянном звездном свете я заметил Валеркину улыбку, невеселую и короткую.

— Это вроде поговорки,— объяснил он.— Трижды никто не строил, потому что второй лабиринт отнимает жизнь у строителя.

— Почему, Валерка?

— Ну, это трудно объяснить. Ты видел огонек на клинке? В нем сгорают все силы... Да мне даже не страшно, только обидно.

Я вспомнил, как леденела Валеркина рука.

— А если взяться всем?

— Не поможет. Первый все равно умрет... Это же лабиринт.

— Ну и к чертям его тогда!

— А как быть?

— Не знаю. Что-нибудь придумаем.

Он поднялся, встал у меня за спиной, положил мне на плечи ладони.

— Сережа, что мы придумаем? Нас закинуло неизвестно в какие времена. Только лабиринт еще может спасти вас.

Он так и сказал — «вас».

Я сбросил с плеч его руки.

— Дудки, Светлый штурман! Этот номер не пройдет!

— Да перестань,— досадливо сказал он.— Ты же знаешь, что иногда это необходимо. Ты же сам хотел разрубить веревку.

Оказывается, он знал!

— Ну, хотел... Я надеялся, что, может быть, спасусь. Да и выхода не было.

— А сейчас есть выход?

Я промолчал.

— Подумай о тех, кто остался там, у вас.

Это был нечестный прием. Я подумал за себя и за Володьку и... Конечно, я не собирался соглашаться с Валеркой, но в моей твердости появилась трещинка.

— Братик умрет без тебя,— сказал я.

— Не умрет, если будет с вами. —

Сзади раздался громкий шелест. Мы оглянулись. Это незаметно подошел Володька и бросил охапку травы.

— Беседуете... — непонятно сказал Володька.

— Где Василек? — с тревогой спросил Валерка.

— Сейчас придет... А сабля у тебя острая. Ж-жик — и нет куста.

— Хороший клинок, — со скрытым беспокойством откликнулся Валерка. — Он где? Не потеряли?

— Вот он. — Володька поднял с земли палаш. — А без него ты мог бы построить лабиринт?

— Без него не мог бы. Давай сюда...

— Сейчас... — Володька сделал шаг назад. — Тут где-то была щель в камне... Ага!

Клинок звякнул о валун. Володька замер на миг, потом рванулся назад и навзничь упал в траву. Раздался короткий звук лопнувшей стали.

Мы подскочили к Володьке, а с другой стороны, роня ветки, подлетел испуганный Братик.

Володька лежал на спине, прижимая к груди обломок палаша.

— Ты с ума сошел! — заорал Валерка.

Володька неторопливо встал и отбросил обломок.

— Это ты сошел с ума, — сердито сказал он. — Я же слышал... Ишь чего задумал!

Валерка сразу притих и опустил руки.

— Ну и дурак, — сказал он совсем по-мальчишечьи. — Ну и будем сидеть здесь всю жизнь.

— Не будем сидеть, — негромко, но твердо возразил мой Володька. — Мы пойдем. Что-то все равно должно случиться. А чтобы случилось, надо идти.

12

Мы шли.

Сначала под ногами были мелкие камни, а у колен качались пушистые метелки на тонких стеблях. Потом вышли мы на твердую плоскость. Свет Млечного Пути стал еще ярче, и видно было на сотню шагов. Я разглядел шестиугольные каменные плиты, ими оказалась покрыта широкая полоса земли. Она прямой лентой уходила к звездному горизонту.

— Смотри, Дэни, дорога, — сказал Братик и взял Валерку за руку. Другую руку он протянул Володьке,

а Володька крепко сцепил свои пальцы с моими. Мы тесной шеренгой зашагали по гранитным плитам. В непонятном тихом мире, в неизвестном времени, не зная куда...

Справа мерцал океан, слева и впереди терялась в ночи каменистая равнина. Отдаленно шумели волны. Ветра не было. От нагретого за день гранита поднимался теплый воздух. Идти было легко, прямой ровный путь слегка убаюкивал, успокаивал.

— Хорошая дорога,— сказал я.— Здорово строили ваши древние мастера.

— Это не древние,— отозвался Валерка.— Это, наверно, наоборот... Я смотрю на звезды, они сдвинулись так, как должны стоять в далеком будущем...

Володька слегка сбил шаг.

Я спросил:

— Но если сейчас... другое время, то почему все по-прежнему? Пустой остров.

— Он же далекий. Заброшенный...

— Но на планете, наверно, все не так. Ты не хочешь... в это будущее?

— Не хочу,— тихо ответил Валерка.— Я для него ничего не сделал еще...

— Дэни,— вдруг сказал Володька хмуро и незнакомо.— Если вернетесь, вы там постарайтесь, чтобы не было у вас такого будущего.

— Какого? — тихо, но с тревогой спросил вместо Валерки Братик.

— Вот такого...— Володька мотнул головой.— Зачем вам будущее с военными самолетами? Это же взлетная полоса...

Мы шли молча, уже иначе глядя на гранитные шестиугольники. Из щелей росли кустики и трава.

— Все уже заброшено,— сказал я.

Володька все так же хмуро ответил:

— А пока не забросили, сколько было крови...

Туп-туп, туп-туп — мягко стучали наши шаги, и казалось, что вся планета пуста. Может быть, в самом деле пуста?

Неужели все оказалось напрасным? Зря погибли барабанщики, зря дрался я с Канцлером?

— Но почему военные? — нерешительно спросил Валерка.— Может быть, просто самолеты? Обыкновенные самолеты...

Володька глотнул и сказал:

— У меня папа был военный летчик... Он меня брал один раз на аэродром, семь лет назад. Я маленький был, но помню: кругом степь и ничего нет, только бетонная полоса, почти такая же...

А я-то думал, что все знаю про Володьку. Они с матерью про отца никогда не говорили, и я считал, что Володька всю жизнь рос без него.

— Ты никогда не рассказывал... Он в самолете погиб?

— В машине,— тихо сказал Володька.— Они с братом ехали вдоль полосы, а на взлете взорвался истребитель. Ну и осколком в бензобак... Машина тоже взорвалась, их обоих и убило сразу.

— Брат тоже был летчик? — спросил я.

— С моим братом, с Васькой. Мы же были близнецы... Меня тогда в наказание за что-то дома оставили, а он с папой поехал...

Туп-туп, туп-туп — глухо ударяли наши кеды по взлетной полосе. И беспощадно ярким светом горели звезды. Между ними то и дело вспыхивали серебряные стрелки метеоритов.

— Так вы постарайтесь... — опять сказал Володька.

— Если вернемся,— сказал штурман Дэн.

— Для этого надо вернуться, Дэни,— сказал Братик.

— Надо. А как? Между прочим, не я сломал клинок...

— Надо всем вернуться,— тихо и упрямо отозвался Володька.— Ты же не знаешь... Может быть, все делалось не так оттого, что ты не ушел в плавание. Надо вернуться и пойти.

— Ну, придумай, как... — со сдержанной досадой откликнулся штурман Дэн.

— Я думаю,— с непонятной усмешкой сказал мой Володька.

Мы прошли уже несколько километров, а полоса не кончалась: видимо, для здешних самолетов был нужен очень длинный разбег. Что нас ждет, когда оборвется эта дорога? Самолеты в конце полосы взмывают в небо. А что будет с нами?

Я надеялся на какое-то чудо: вдруг неведомые силы пространства и времени унесут нас на дождливую улицу дачного поселка! Это было бы самое хорошее. Но за этим хорошим пришло бы и самое горькое: прощанье с Валеркой и Братиком.

— Валерка... — позвал я.

— Что?

А я просто так окликнул. Чтобы голос его услышать.

— Неужели ты знаешь, как должны стоять звезды через тысячи лет? — спросил я.

— Конечно,— немного удивленно сказал Валерка.— Любой штурман знает... Вон смотрите, впереди двенадцать звезд, прямо перед нами. Это созвездие Краба. Раньше оно было сплюснуто, будто краб присел, а сейчас он поднялся.

В самом деле, контур созвездия напоминал громадного краба. Володька тоже это увидел:

— Смотрите, он поднял клешни!

Братик с улыбкой сказал:

— Не бойся, этот краб не кусается.

— А я и того не боялся. Только сначала... А как вы думаете, тот краб обиделся на меня?

— Ну, что ты! — сказал Братик.

— Хорошо, что не обиделся! — обрадовался Володька.

Он оторвался от нас и стал уходить вперед. Скоро он обогнал нас шагов на десять. Как белая бабочка, мелькала на его локте повязка.

— Ты почему ушел? — окликнул я.

— Не мешайте, я стихи сочиняю,— знакомым полусутоливым тоном отозвался Володька.

— Самое время,— заметил Валерка.

Братик негромко рассмеялся.

А я не поверил Володьке. Догнал его.

— Володька... Ты почему никогда не говорил про отца и брата?

Он помолчал и скованно сказал:

— Ты не обижайся.

— Да что ты, я не обижаюсь. Но... почему?

— Я боялся.

— Чего?

— Ну... ты мог подумать, что я с тобой подружился, потому что мне отца не хватает. Мама так один раз сказала. А я не потому... Мне просто хорошо было, что ты такой...

— И мне тоже...— вдруг сказал сзади Братик.

У меня даже в горле заскребло.

Володька быстро глянул на меня сбоку и прошептал:

— В прошлом году, помнишь, ты мне сказал одну вещь? Что если чего-нибудь сильно захотеть, обязательно добьешься... Мы тогда еще купаться шли, помнишь?

Я кивнул, я помнил.

— Ну вот... А я чепуху ответил. Про то, что муху в мыльный пузырь не загонишь... Я глупый был, не сердись...

— Да я и тогда не сердился! Почему ты это вспомнил? Володька со вздохом сказал непонятно:

— Потому что полоса кончилась.

Полоса неожиданно оборвалась, и ничего нового не было впереди. Все те же кусты, камни да трава. Но на последней плите, на самом ее краю, — то ли как награда за наш долгий путь, то ли как насмешка — светился голубым огоньком шарик вечного жемчуга.

Столько всего случилось перед этим, что мы сейчас даже не удивились. Мы сели на корточки, и я взял шарик в ладонь. Он был теплый, почти горячий, словно совсем недавно упал с неба.

— Это наша? Или это другая жемчужина? — спросил Братик.

— Неважно, — задумчиво сказал Володька. — Раз она есть, мы должны сделать что хотели.

— У нас нет огня, — возразил Валерка.

— Столько звезд, и нет огня? — усмехнулся Володька.

— При чем здесь звезды? — спросил я.

— Потому что жемчужина — тоже звезда... Только нужен лук и стрела. Звезды надо зажигать на высоте.

Братик молча побежал к темным кустам. Мы услышали треск и шелест. Через минуту Братик вернулся, принес тонкий длинный сук и прямую, как тростинка, ветку.

— То, что надо, — заметил Володька.

Мы с Валеркой не расспрашивали и не мешали. Володька твердо знал, что делает. Может быть, сейчас была у власти его собственная Сказка.

Он зубами расщепил ветку-стрелу, вложил в развилку жемчужину. Зубами же сделал на другом конце зарубку.

Деловито сплюнул и сказал:

— Тетива нужна.

— А веревочка? — вспомнил я. — Она где?

Володька ответил не сразу, будто удивился моим словам. Потом досадливо хмыкнул:

— Вереvочка... Там же, где штормовка и куртка.

И якорь, и маяк. Где они?.. Веревочку вспомнили. За нее никто не заругает, а за штормовку от мамы влетит.

«От мамы влетит»! Как будто до мамы всего полчаса на электричке.

Все еще ворча, Володька разматал на локте бинт, скрутил жгутом. Они с Братиком согнули сук и привязали жгут к его концам. Володька наложил на тетиву стрелу с жемчугом.

— Ну, загадай, чтобы выдержала,— шепотом сказал он Братiku. Тот кивнул.

— Выдержит,— успокоил я. — Вон какой жгут.

Братик и Володька неожиданно фыркнули. Володька заметил с сожалением:

— Это у него от взрослых времен. Взрослые чудовищно бестолковы.

Я, честное слово, чуть его не треснул! Ну, что это такое? Дома насмешничает — это пускай, но тут... Или совсем не понимает, где мы и что с нами?

Но Володька уже стал серьезным.

— Только не смейтесь,— попросил он.

Как будто нам было до смеха!

Володька медленно поднял и плавно растянул свой лук.

— Что, Васек? Стреляем?

— Давай! — звонко сказал Братик.

Хлопнула тетива. Мы взглянули вверх, но, конечно, не увидели стрелу. А Володька в это время проговорил торопливо, но отчетливо:

Житель моря, старый краб,
У тебя есть звездный брат.
Попроси его помочь
Разорвать чужую ночь!

Он поспешно передохнул, словно собираясь говорить дальше, и в эту секунду по глазам ударила вспышка.

Золотой шар загорелся над нами, озарив землю ярким, почти солнечным светом. Я зажмурился и услышал, как рядом смеются Братик и Володька. Смеются, будто не грозят нам больше никакие беды.

Я открыл глаза и увидел, что шар уменьшается. Но он не угасал, он уходил в высоту. Быстро улетал к звездам и скоро сам стал как яркая звезда. А еще через несколько мгновений затерялся среди звездных

россыпей, которые стали бледнеть на странно посветлевшем небе.

Володька тихо сказал:

— Улетела наша звездочка, не разглядеть.

— В свои приборы я бы разглядел,— откликнулся Валерка.

— Ну, значит, разглядишь,— неожиданно весело пообещал Володька.

И только тогда я сообразил, что нет ни острова, ни взлетной полосы. Мы стояли среди камней над обрывом, недалеко от места, где я сорвался. Небо светлым было от луны. Она по-прежнему освещала белые домики Гавани, а у набережной я различил Валеркин корабль.

13

Братик сказал Валерке:

— Видишь, Дэни, мы дома. А ты не верил.

— И сейчас почти не верю,— ответил Валерка. И не обрадованно даже ответил, а скорее, утомленно.— Как это случилось, не пойму.

— Просто сказали вовремя нужные слова,— то ли шутя, то ли серьезно объяснил мой Володька.

— Ну, может быть,— рассеянно проговорил Валерка. Это он Володьке сказал, а смотрел на меня. Внимательно и неотрывно.

— Ты что, Валерка?

— Подожди, не двигайся,— попросил он.

— Почему?

— Ну, пожалуйста... Я хочу запомнить тебя таким. Вот оно что. Уходит Сказка.

— Значит, конец? — спросил я одними губами.

— Да,— беззвучно сказал он. И спросил погромче:— Хочешь взять что-нибудь на память?

— А можно? Не исчезнет при переходе?

Он чуть-чуть улыбнулся:

— Если будешь держать в руках. Держи крепче — пронесешь.

Я торопливо скинул через голову матроску и свернул в тугой узелок.

Валерка кивнул. Посмотрел на луну, на море. Виновато сказал:

— Теперь надо идти.

И он шагнул к тропинке.

— Дэни,— окликнул я.— Постой... Мы все сделали как надо? Не будем ни о чем жалеть?

Валерка обернулся.

— Все,— сказал он.— Все, что могли за один день. Звезда горит над островом, она лучше маяка. Штурманы не будут больше огибать Каменный барьер... А остальное... Что ж, будем делать каждый у себя. Ты же знаешь, дел хватит на всю жизнь.

— Тогда идем,— сказал я и шагнул за Валеркой.

Несколько секунд я чувствовал, как мне гладит голые плечи ласковый ветер Валеркиной планеты. А потом ощутил на себе плащ, сапоги и всю прежнюю амуницию. И осталась у меня от детства только свернутая в узелок матроска. Я вздохнул и сунул ее в просторный карман плаща.

Мы подошли к началу улицы, где стояли глухие длинные дома. Остановились.

— Все,— сказал Валерка.

Значит, в самом деле уже все? Насовсем?

Василек растерянно как-то посмотрел на старшего брата, на меня. Подошел ко мне и неловко прижался к моему рукаву. Потом быстро взял за обе руки Володьку и отвел в сторону.

Я взглянул на Валерку.

— Что ж, прощай,— тихо сказал Валерка. Прикусил нижнюю губу, посмотрел мне в лицо. Тоска была у него в глазах.

— Прощай,— с трудом сказал я.

Он шагнул вплотную и лбом прислонился к моему плечу. Я неловко обнял его.

Прощай, Валерка. Теперь в самом деле прощай. Видимо, законы Сказки нерушимы. Три раза встречаются люди, и третья встреча — последняя. Остается сжать зубы, чтобы не заплакать, и разойтись.

Я глянул поверх Валеркиного плеча и увидел Братика и Володьку. Они держали друг друга за локти и молчали. Потом разом опустили руки и стали медленно отступать друг от друга. Валерка словно почувствовал это. Оторвался от меня и тоже стал отходить. Спинай вперед. И как-то само собой получилось, что Братик оказался рядом с ним, а Володька рядом со мной.

И мы расходились, расходились, не отрывая глаз друг от друга...

Потом, как при первом расставании в Северо-Подольске, почувствовал я, что Валерку и Братика отделила от меня прозрачная, но глухая стена.

Я смотрел на уходящих друзей не отрываясь. За ними сияло лунное пространство. Валерка теперь казался черным тонким силуэтом. А Братик вдруг попал в поток лучей и словно вспыхнул серебристым светом: в его растрепанных волосах, в каждой шелковинке его рубашки, на незаметных волосках рук и ног загорелись голубоватые искры. словно кто-то кинул в него горстями светящуюся пыль...

Чтобы так и запомнилось все, я закрыл на секунду глаза. А когда открыл, Валерки и Братика не было. Круглая луна катилась за дождевые облака, и голубой мир Валеркиной планеты угасал. Я отвернулся.

— Пойдем,— прошептал Володька.

Он дал мне теплую свою ладонь, и мы пошли не оглядываясь. Сначала по улицам. Потом мимо плетня с железным шиповником, мимо темных дач и мокрых берез. К станции.

Дождь перестал, но воздух был зябкий. Я накинул на Володьку край плаща.

На платформе все так же одиноко горел фонарь. Я посмотрел на Володьку. У него было непонятное лицо: хмурое, но не очень печальное. Он словно тревожился о чем-то и чего-то ждал. А может быть, просто крепился, чтобы не показать печаль. Он глянул на меня снизу вверх, и брови у него разошлись.

— Ну, ты чего? Ты держись, ладно?

Я заставил себя улыбнуться и кивнул.

...Потом был вагон электрички с его яркими лампами и лаково-черной ночью за окном. Тоска не отпускала меня. И под железное грохотанье колес я думал, что все это несправедливо. Нельзя, чтобы люди так намертво расставались. Если это было по правде, если есть она, Валеркина планета, то должен же быть способ не терять друг друга! А если это сказка, на кой черт она нужна, такая жестокая!

И тут я понял, что вру сам себе. Это сказка была нужна. Разве лучше, если бы я не встретил Валерку и Братика совсем? Нет! Несмотря на всю горечь и тоску, я счастлив. Потому что Валерка и Братик есть. Все равно есть.

Тоска пройдет, сказал я себе, а память останется. Может быть, с грустью, но уже без боли мы будем вспоминать все, что случилось. С печалью и с радостью одновременно. Я и Володька...

Володька приткнулся у меня под боком. Вдоль вагона дуло. Володька свернулся на сиденье калачиком, натянул на ноги полу моего плаща и тихо дышал. Мне показалось, что он дремлет, и я хотел укрыть его лучше. Но когда я посмотрел на него, увидел тревожно распахнутые глаза.

...Домой мы добрались на случайном такси. Была глубокая ночь.

— У меня переночуешь? — спросил я.

Володька покачал головой:

— Дома.

Я понял его. Ему нужно было остаться одному со своей печалью и тревогой. Чтобы успокоилась душа. Может быть, ему захочется плакать, а это лучше делать, когда один...

Но меня по-прежнему беспокоило его лицо. В глазах у Володьки была не только грусть, а еще какое-то странное ожидание.

— Володька... Ты боишься чего-то?

— Ну что ты... — сказал он серьезно. Сжал мой локоть и ушел к себе.

Я постоял перед закрывшейся дверью. Потом подумал: мало ли какие глаза могут быть у человека, который проник в неведомый мир, нашел и потерял друга...

эпилог

До утра мне снился Океан: его ровный накат на плоские пески Желтого острова. Сначала были синие волны под ярким солнцем, затем они стали янтарно-прозрачными под ясным закатом, а дальше — темными, с россыпью бликов от яркой луны. У раскиданных по берегу камней волны разбивались и разбрасывали брызги.

Вдруг эти брызги стали стекленеть на лету и со звоном ударяться в распахнутые створки моего окна.

Я открыл глаза и успел заметить, как вверх ускользнула сверкающая стеклянная пробка. А может быть, мне показалось...

Было ясное утро. Голубело небо, ярко желтел под солнцем угол соседнего дома. Качал листьями куст ря-

бины, и на его верхушке крахтели кисти ягод (внизу их уже оборвали).

Сразу стало понятно, что последние дни августа решили подарить нам тепло: за окном была не осень, как вчера, а яркое позднее лето. Утро в окне было как солнечный пейзаж в раме.

И вдруг сверху, из-за оконного карниза, медленно опустились и закачались на фоне этого пейзажа четыре ноги.

Это были абсолютно одинаковые ноги. По крайней мере, попарно одинаковые. В одинаково потрепанных кедах, зашнурованных одним и тем же лентяйским способом — лишь до половины. С одинаковым загаром и царапинами...

Будь одна пара ног, я сразу бы понял, что спускается Володька. Я даже помигал: не двоится ли в глазах? Нет. Но в чем же дело?

Володька всегда ревниво охранял свое право на «парашют» (не потому, что жадный, а потому, что «парашют» приземлялся прямо под наше с Варей окно). Пользоваться не позволял никому, а катал иногда только Женьку.

Значит, Женька неожиданно вернулась?

Но она, хотя и бегала порой в мальчишечьих кедах, шнуровала их аккуратно, и размер у нее был поменьше.

Тогда...

Вот еще в чем одинаковость! На всех четырех кедах серебристо блестели редкие рыбки чешуйки.

Вздрогнул я и хотел вскочить, но тут же понял: сон это. И, печально улыбнувшись такому сну, стал смотреть спокойнее.

Мой взгляд, направленный в окно, скользил над чем-то белым и синим.

Я на миг опустил глаза и увидел на спинке стула маленькую матроску. Я же сам вчера вынул ее из кармана плаща!

Сердце ухнуло куда-то, и я рванул к окну.

Четыре ноги плавно опустились, в окне появилась шина от самосвала. В ней, как в раме круглого портрета, сидели, прижавшись плечами, Володька и Братик.

Володька улыбался широко и жизнерадостно, а Братик робко, как гость, явившийся без приглашения.

В этот миг я словно бы разделился на двух человек. Внутри меня ожил двенадцатилетний Сережка, который

завопил от восторга и потянулся навстречу друзьям. А взрослый Сергей Витальевич (который был снаружи) повел себя по-идиотски. Видимо, от полного ошеломления он сказал голосом строгого завуча:

— Как это понимать?

Василек нерешительно посмотрел на Володьку и прошептал:

— Я же говорил: попадет.

Володька пренебрежительно двинул плечом. Это короткое шевеление заменило длинную фразу: «Не видишь разве, что он просто так, для порядка, потому что считает себя очень большим и серьезным?»

А мне Володька деловито объяснил:

— Понимаешь, мы решили: пускай Васек поживет у нас, пока штурман плавает...

Мальчишка внутри у меня заплясал, но я опять подумал: «Сон это...» И спросил подозрительно:

— А Валерка знает? Он согласен?

Братик тихо сказал:

— Он ведь уже уплыл...

А Володька добавил:

— Мы ему не говорили, потому что не знали, получится ли у нас... Мы пошлем ему говорящую раковину.

Кажется, вид у меня оставался недоуменным и озабоченным, и Володька продолжил разговор:

— А чего? С мамой я договарюсь. Учебники будут одни на двоих. Школьные формы у меня две — новая и старая. Я возьму старые штаны и новую куртку, а Васек — наоборот. Или я наоборот...

— Вы умные люди... или наоборот? — растерянно сказал я. — Кто запишет в школу человека без документов?

Володька глянул на меня как на занудного спорщика.

— У тебя же в гороно все начальство знакомое.

Он был прав. И маленький Сережка, танцевавший внутри меня, хотел уже пройтись колесом. Но вдруг и его и меня словно обдало холодом! Потому что не могло быть того, что сейчас было! Ведь вчера мы распрощались навсегда!

— Слушайте, а это... планеты? Они же расходятся!

Наверно, у меня было очень испуганное лицо. Василек опять улыбнулся виновато, а Володька снисходительно сообщил:

— Да никуда они не разойдутся. Я же не отвязал веревочку.

— Что? — по инерции спросил я и посмотрел вверх. Шина висела на толстом размочаленном канате.

Володька вздохнул и объяснил:

— Так уж получилось. Я, когда вышел из лабиринта на нашей стороне, привязал ее. Ну, чтобы на обратном пути не сматывать. Мотать-то долго, а по натянутой я обратно, как трамвай по проводу, — ж-ж-ж...

— А к чему привязал? — глупо спросил я.

Он сказал с невинной улыбкой милого мальчика:

— К шиповнику...

Все стало ясно.

Якорь, намертво вросший в планету, и железный шиповник с корнями до центра Земли. И между ними — белый шнурок с хитрыми Володькиными узелками. Двадцатиметровая веревочка — бесконечная, как Вселенная, и вечная, как пламя нашего жемчуга. Она прошла завихрения загадочных миров, тонкая, слабенькая на вид. Как насмешка над всеми законами пространства и времени... Выдержит? Не поддастся чудовищной силе разбегающихся звезд?

«Выдержит, — понял я. — Ведь у нас теперь есть общая звезда. Мы сами зажгли ее над пустынным островом. И поэтому веревочка связала наши планеты».

Веревочка. Ни порвать, ни развязать. Что может быть проще и прочнее?

Мой маленький Сережка с радостным воем встал на голову. А дурак Сергей Витальевич поморгал и все же произнес нерешительно:

— Заговорщики... Вам не кажется, что это космическое хулиганство?

— Ой уж... — сказал Братик негромко, но с явно Володькиной интонацией.

А Володька насмешливо спросил:

— Что космическое хулиганство? Веревочка? Скажи кому — засмеются.

Тогда засмеялся я. Засмеялся, отбросив сомнения и страхи и поверив наконец, что это не сон. Засмеялся, до конца отдавшись радости. Я протянул к ним руки.

— Лезьте сюда, обормоты.

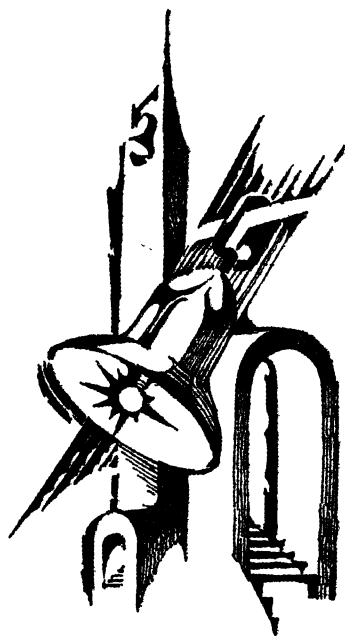
Они радостно качнули шину, забросили на подоконник исцарапанные шиповником ноги, а я ухватил их за рубашки...

В это время со двора донесся оглушительный вой. Какая-то смесь аварийной сирены и коллективного рева в детских яслях. Мы подскочили, как от взрыва.

Под нашим окном, у стены, гневно распушив хвосты и вздыбив шерсть на выгнутых спинах, мерили друг друга негодующими взглядами два апельсиновых кота. Митька и Рыжик. Они устрашающе орали, готовясь сцепиться в смертельном поединке.

...Впрочем, к середине дня коты подружились и вдвоем отлупили соседского самонадеянного дога по имени Помпей.

ОРАНЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ С КРАПИНКАМИ





ПОТОМОК МОРЕПЛАВАТЕЛЯ

Ох как ругала она себя за эту фантазию — за то, что решила сойти с поезда в Каменке и добраться до Верхоталья катером. Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться!

Берега в самом деле были красивые — заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и березы. Иногда из воды подымались отвесные ребристые скалы... Но катер оказался калошей, он еле полз против течения. Двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу.

Командовал катером парень чуть постарше Юли. Сперва он Юле даже понравился — за свою тельняшку и за фуражку с «крабом», почти такую же, как у Юрки. Но парень оказался нахальный. Сердито выкатывал белесые глаза и орал на пассажиров, чтобы не толпились на сходнях. У чахлой деревенской пристани с фанерной вывеской «Петухи» этот капитан заявил, что «Верхотальская станция забрала воду и дальше судно не пойдет, потому что у него осадка». На катере к тому времени из пассажиров остались кроме Юли две бодрые бабки да подвыпивший небритый дядя с кошелкой и завернутыми в рогожу граблями. Дядя послушно выкатился на берег, а бабки заругались и проницательно высказали мнение, что не в станции и не в осадке дело, а в самом капитане, который хочет вернуться в Каменку к началу телефильма про Штирлица. А им теперь на

старости лет восемь километров топать на своих двоих.

Юля тоже сказала, что это свинство.

Парень, однако, не смутился. Бабкам он сообщил, что спешить им некуда, потому что крематорий в Верхоталье еще не построен, а Юле сказал, что пускай лучше возвращается в Каменку и они вдвоем пойдут на танцы. Только пусть она во время танца нагибается получше, а то потолки в клубе низковатые. В ответ он услышал насчет сопливых паромщиков, которые воображают себя магелланами. Но делать было нечего, пришлось высаживаться.

Бодрые бабки убежали вперед и проголосовали автофургону, который пылил на проселочной дороге. Дядька с граблями куда-то исчез. Юля без попутчиков зашагала по укатанной, но не пыльной колее. Ну и ладно!

Дорога то ныряла в лес, то выбегала к самому берегу, места оказались интересные, чемоданчик был легкий, сумка на плече висела удобно, и шагалось хорошо. По сторонам краснели кисти рябины. День стоял нежаркий, хотя и солнечный. И одно было плохо — день этот клонился к вечеру, и Юля боялась, что не успеет до закрытия библиотеки.

Так и вышло. Когда она дотопала до города, расспросила, где библиотека, и выбралась к одноэтажному кирпичному дому, на старинной резной двери висел ржавый замок (наверно, тоже старинный, от купеческого лабаза). Юля потопталась на высоком гранитном крыльце, обозрела с него заречные окрестности с деревянными кварталами и лесом у горизонта, а потом через сад вышла на центральную улицу.

— Люди, где тут у вас гостиница? — спросила она двух пацанят с удочками. Мальчишки глянули снизу вверх, пощупали глазами нашивки на ее стройотрядовской курточке, и старший толково разъяснил, что гостиница на другом конце Верхоталья.

Все выходило одно к одному, и Юля начала злиться. На судьбу и на себя. А мальчишки смотрели ей вслед, и она услышала за спиной:

— Во, жердина...

В ребячьих словах было больше восхищения, чем насмешки, однако настроение испортилось еще больше.

В двухэтажной гостинице на подоконниках цвела густая герань. Дежурная администраторша — рыхлая тетка в шлепанцах — жарила на плитке грибы. Она пока-

залась Юле добродушной. Но в ответ на Юлины слова о жилье тетка непреклонно сказала:

— Ты что, голубушка! Тут строители нефтенасосной станции поселились, не продохнуть. По двое на одной кровати... Это сейчас тихо, а чуть позже знаешь как оно будет!

Юля устало брякнула на пол чемодан. Села на табурет. Тетка смягчилась:

— Ты, видать, на работу сюда?

— Почти,— вздохнула Юля. И, надеясь разжалобить администраторшу, подробно объяснила, что закончила второй курс культпросветучилища, в июле была со стройотрядом в Артемовском овощесовхозе, а сейчас приехала на двухмесячную практику в детскую библиотеку. Приехать-то приехала, а куда деваться?

— Ну дак заведующая ихняя, Нина Федосьевна, пушай тебя и устраивает,— рассудила администраторша.— Она женщина строгая, образованная, но справедливая. При библиотеке али у себя в квартире и поселит, дом у нее большой. На улице Пионерской, бывшей Гимназической, напротив магазина «Фрукты — овощи». Там спросишь... Грибочков хочешь?

— Хочу,— опять вздохнула Юля.

— Вот и умница. Ты давай прямо со сковороды...

После неожиданного ужина стало веселее. Юля отправилась искать дом Нины Федосьевны. Снова через весь город. Впрочем, «город» это было одно название. Кое-где встречались двухэтажные кирпичные дома явно девятнадцатого столетия — с полукруглыми окнами на верхних этажах и чугунным узором парадных крылец. Попадались древние купеческие лавки с современными вывесками «Промтовары» и «Керосин». На закрытых дверях ржавели могучие кованые петли. А в основном дома были деревянные, с палисадниками и лавочками у калиток.

Над крышами с затейливыми дымоходами печных труб, над воротами с разошедшей резьбой, над косыми заборами и тополями возвышался, будто горный массив, полуразрушенный серовато-желтый собор. Провалы его окон темнели, как пещеры, а купола и башни были похожи на облизанные ветрами вершины.

Юля догадалась, что это храм знаменитой в прежние времена Верхотальской обители. Когда-то сюда стекались паломники из многих городов. А сейчас в мона-

стырских кельях и трапезных работал механический завод — самое крупное здешнее предприятие. Про завод Юля тоже знала: у них в канцелярии училища стоял сейф с большим клеймом «Верхотальский МЗ».

Дом заведующей Нины Федосьевны Юля отыскала легко. У калитки копошились куры: в дорожных сумках и жесткой траве «пастушья сумка» вылавливали букашек. Юля побрякала железным кольцом щеколды. Вышла девица лет пятнадцати, вполне столичного вида, в новеньких джинсах и майке с ковбоем и надписью «Rodeo». Естественно, сперва воззрилась на Юлю, потом сообщила, что «тетя Нина уехала в Каменку и вернется завтра прямо на работу».

«Вот и все,— подумала Юля даже с некоторым удовольствием.— Дальше ехать некуда...»

Оставалось топтать на станцию и коротать ночь в зале ожидания. Вообще-то было не привыкать: в турпоходах и в стройотряде случалось всякое. Но, во-первых, там она была не одна. Во-вторых, здесь неудачи сыпались одна за другой. И главное сама виновата!

Где Верхотальский вокзал, Юля понятия не имела и побрела наугад. А вернее — так, чтобы солнце светило не в глаза, а в спину. Через квартал она увидела зеленый домик с вывеской «Почта». Как ни странно, почта еще работала.

«Не заходи,— сердито сказала себе Юля.— Окажется, что письма нет, и тогда будет совсем скверно». И конечно, пошла. И дала пожилой симпатичной женщине за стеклянной загородкой студенческий билет. Женщина полистала тощую пачку писем и сказала слегка виновато:

— Ничего пока нет. Заходите еще...— И улыбнулась.

Эта улыбка Юлю не утешила. Теперь и в самом деле все было так, что хуже некуда. К тому же снова захотелось есть. С самыми досадливыми мыслями Юля снова побрела по улице Пионерской, бывшей Гимназической. Но к досаде и унынию чуть-чуть, крадучись, уже примешивалось любопытство. По некоторому опыту жизни Юля знала, что жизнь эта изменчива. И если все абсолютно плохо, измениться может только к лучшему.

Через тополиный сквер Юля снова вышла на речной обрыв — недалеко от знакомой библиотеки и обшарпанной, но все равно красивой церкви. Легкая шатровая колокольня была похожа на ракету. Она возносилась

над куполами, над деревьями, и под кружевным покосившимся крестом, на круглой, как мячик, маковке, горел в остатках позолоты солнечный огонек.

Щурясь на этот огонек, Юля пошла вдоль остатков кирпичной стены с бойницами. Стена упиралась в полуразрушенную башню с островерхой крышей и флюгером. На флюгере светились сквозные цифры: 1711. Фундамент башни был сложен из неотесанных гранитных глыб. Из щелей росли березки.

Юля по тропинке обошла башню и увидела, что из фундамента в метре от земли торчит короткая деревянная балка.

Верхом на балке сидел растрепанный мальчишка.

Он смотрел куда-то через реку, посвистывал и качал ногами в незашнурованных кедах и пыльных сбившихся гольфах морковного цвета. На нем была майка с короткими рукавами — тоже неопределенно-морковная — и шорты кирпичного оттенка с оттопыренными карманами и в темных пятнах какой-то смазки. И весь мальчишка, облитый вечерними лучами, казался нарисованным оранжевыми и красными мазками. Даже загар был розоватый. Впрочем, слабенький был загар, это и понятно: к рыжим солнце прилипает неохотно. А мальчишка, безусловно, относился к племени рыжих. Но он был не просто рыж — в его нестриженных космах смешались оттенки апельсина, томатного сока, терракоты и угасающих закатных облаков... Мальчишка услышал шаги и обернулся.

И Юля заулыбалась.

Было невозможно не заулыбаться, увидев мальчишкино лицо. Он смотрел, как смотрит с детских книжек сказочное солнышко. Весело сощурился и растянул до ушей потрескавшиеся губы. Маленький нос и щеки словно маковым зерном усыпали мелкие, почти черные веснушки. Причем одну щеку гуще, чем другую. На подбородке тоже сидело несколько веснушек, покрупнее.

— Привет,— сказала Юля.

Он мельком, без особого любопытства, оглядел ее и сказал:

— Ага... здрасте.— И заулыбался еще шире. У него были крупные желтоватые зубы, и один рос криво, но это ничуть не портило улыбку.



Секунды три они выжидательно смотрели друг на друга. Мальчик пригасил улыбку, перекинул ногу и соскочил в лопухи. Деловито спросил:

— Ну что, пойдём?

Следовало, конечно, узнать, куда «пойдём». Но мальчик вел себя так, будто они про все договорились. Юле стало интересно. Кроме того, «все к лучшему». И она кивнула.

Он зашагал впереди, по тропке среди репейников. Лопухи сердито чиркали по его ногам, а репы хватали за майку, и он отрывал их на ходу. Несколько раз оглянулся: не отстаёт ли спутница?

В стене открылся круглый пролом.

— Сюда,— сказал мальчик.— Давайте чемодан.

— Ничего, я сама...— Юля пролезла вслед за проводником. С внутренней стороны стену украшали глубокие полукруглые ниши. Как в больших крепостях.

— Что здесь было?— спросила Юля.— Монастырь или кремль?

— Воеводство,— охотно откликнулся мальчик.— При Петре Первом. Вон в тех длинных домах солдаты жили, а там, где библиотека,— офицеры... Такие, в треугольных шляпах, со шпагами...— Он опять весело оглянулся.— Интересно, да?

— Еще бы,— сказала Юля.

— А воеводский дом не сохранился, сгорел. Он недалеко от церкви стоял, вон там...— Юлин проводник мотнул красными вихрами в сторону колокольни, потом остановился, задрал голову.— Красивая, да?

Они стояли уже рядом с церковью, и она нависала над головами. Настоящая русская сказка раскинулась в вечернем небе с позолоченным облаком: узорчатые кирпичные башни с куполами в виде громадных лукович, маковки, узкие проемы окон, карнизы и витые столбики, как в древних теремах. И над всем этим — ракетное тело колокольни, строго нацеленной в зенит...

— Ее все время художники рисуют, из разных городов приезжают,— сказал мальчик.— Она называется Покровская. Знаете, почему? Бабки говорят, что праздник Покров раньше был, когда первый снег выпадал. А вы не художница?

— Нет,— откликнулась Юля.— Правда, немножко пробовала рисовать, для себя...

— Это хорошо,— негромко заметил мальчик и быстро спросил: — Ну, полезем?

— Куда?

Он слегка удивился и кивнул на колокольню.

У Юли чуть заглодело под сердцем.

— А... нам не влетит?

Рыжий проводник снисходительно сказал:

— Туда все лезят, кто хочет. От кого влетит-то?

Над крутым церковным крыльцом блестела черным стеклом вывеска, на которой значилось, что здесь находится Верхотальский городской архив. Замок на двери (такой же большущий, как на библиотеке) убедительно доказывал, что в архиве никого нет. И кругом никого не было, только воробы шуршали в темных кленах.

Мальчик решительно взял Юлин чемоданчик и сунул под гранитные ступени крыльца.

— Там никто не найдет, не бойтесь... Ну, пошли.

— Ох... пошли,— сказала Юля. И подумала, что ночевать не на вокзале, а в милиции — это еще хуже. Но признаться в таких страхах постеснялась. Да и любопытно было забраться на колокольню. И обижать мальчишку не хотелось, новый знакомый ей нравился. К тому же остаться опять одной — чего хорошего?

Они обошли церковь, и за березовыми кустиками, в кирпичной кладке алтарного закругления, Юля увидела узкий вход без двери — просто щель с полукруглым верхом. На миг Юле стало жутковато. Даже шевельнулось глупое подозрение: нет ли здесь какой-нибудь ловушки? Но мальчишка смотрел ясно и доверчиво. Раздвинул ветки:

— Вы идите вперед, только осторожно. Там винтовая лестница, ступеньки крутые. Если что, я вас сзади подхвачу.

Она глянула на него — маленького, тонкоплечего.

— Если случится «что», я тебя, пожалуй, раздавлю...

— Не, я жилистый.

Юля оказалась как бы в круглом колодце. Каменные стертые ступени уходили вверх туго закрученной спиралью. С высоты сочился неясный свет. Юля стала подниматься, то и дело хватаясь за верхние ступени, — почти на четвереньках. Мальчик неотрывно лез за ней. Дышал он с шумным сопеньем. «Наверно, простужен», — подумала Юля.

Висевшая через плечо сумка цеплялась за камни. Юля пожалела, что не оставила ее внизу. И тут же мальчик сказал:

— Вам сумка мешает. Давайте ее мне, здесь углубление, вроде полочки. Оставим, а обратно пойдем и заберем.

Юля с облегчением сбросила с плеча ремень.

Ох и высоченная была лестница! Гудели ноги, от бесконечного спирального верчения кружилась голова. Наконец в полукруглый проем ударили оранжевые лучи, и Юля выкарабкалась в круглую каморку. Мальчик — за ней. Он сопел и улыбался.

— Устали? Это почти полпути...

— Ничего я не устала, — с фальшивой бодростью сказала Юля. Мальчик понимающе кивнул и полез в окно.

— Выбирайтесь сюда. Только потихоньку, тут карниз узкий. Вниз лучше не смотрите...

Юля все-таки глянула вниз, когда из окна ступила на покрытую железом кромку. И тут же отвернулась (она и в походах, на скалах и обрывах, побаивалась высоты). Старые клены шелестели внизу. Видимо, здесь был край церковной крыши. Юля вцепилась в кирпичи. А мальчишка стоял в двух шагах, у темной кирпичной арки, протягивал руку и улыбался. И Юля вдруг заметила, что глаза у него разные: правый — просто серый, а левый — серовато-карий, с золотыми прожилками. В этом золотистом глазу на краю большого зрачка стреляла крошечными лучами искорка.

«Чертенок», — усмехнулась Юля. Сжала губы, шагнула по кромке и тоже оказалась в арке.

Теперь они поднимались уже внутри колокольни.

С этажа на этаж вели шаткие лестничные марши. Пересохшие доски ступеней пощелкивали под ногами, от них взлетала тонкая пыль. Запах этой пыли смешивался с запахом старых кирпичей. Колокольня была восьмигранная. На трех ярусах в каждой из восьми стен зиял громадный оконный проем с полукруглым верхом и перекладиной (на этих перекладинах, видимо, висели когда-то колокола). За пустыми проемами вырастал и словно прдымался следом за Юлей темный лесной горизонт. Было жутковато и легко, как во сне: И только одно мешало впечатлению хорошего приключенческого сна: там и тут на кирпичах виднелись надписи. Всякие «Толи»,

«Васи», «Степы», и «Мы здесь были...», и названия городов. Юля заметила даже Читу и Владивосток.

— Ничего себе...— выдохнула она.— В какую даль едут, чтобы расписаться на здешних камнях.

— Идиоты,— отозвался мальчик (он по-прежнему карабкался следом за Юлей).— Думают, что, если распишутся на знаменитом месте, сами сделаются знаменитые...

— Значит, эта церковь очень знаменитая? — осторожно поинтересовалась Юля.

— Вы разве не знали? Она даже под охраной ЮНЕСКО.

Юля мельком удивилась, что этот пацан знает про ЮНЕСКО, и неуверенно сказала:

— Кажется, я слышала... А если она такая известная, то чего же такая... обшарпанная?

— Ее хотели реставрировать,— посапывая, ответил мальчик и хихикнул.— Каких-то дядек наняли кресты и маковки золотить, золото им выдали. А они его — себе. А маковки бронзовой краской помазали. Ну, их посадили, конечно, а здесь все так и осталось... Вот, все. Пришли.

Они оказались на верхней площадке. Над головами уходил в сумрачную высоту конус шатровой крыши. В нем темнели переплетения балок и железных брусьев. Юля только мельком глянула вверх и сразу шагнула к окну.

За высокими арками окон распахнулся золотисто-зеленый вечерний мир. Облака лежали над землей, как плавучие острова в прозрачной воде над морским дном. Невысокое, но яркое еще солнце висело над кромкой леса. Городок раскинулся внизу кучками затерянных среди деревьев крыш. Даже монастырский храм казался отсюда не очень большим. За домами одиноко дымила черная труба — наверно, это была электростанция, которая «забрала воду». Но воды еще хватало. Талья в своих верховьях была довольно широка. От края до края земли она легла, как розовато-серебристая просторная дорога. Лишь кое-где чернели на воде коварные пятнышки: там торчали со дна валуны, выдавая мелководье.

Земля была удивительно большая, но уютная и ласковая. Над городком, над рекой, над лесами лежало спокойное молчание. И Юля, переходя от арки к арке,

забыла про усталость и огорчения. Она будто растворилась в этом покое.

— Любуетесь? — сказал позади нее мальчишка. — Хорошо, да?

— Угу... — медленно ответила Юля и оглянулась.

Мальчик стоял к ней спиной в светлом проеме, прямо против солнца. Расставил ноги и ладонями уперся в боковые края арки. Он казался вырезанным из черной бумаги, только в волосах вспыхивали огоньки да круглые оттопыренные уши просвечивали, как лепестки шиповника. Юля усмехнулась этим ушам, но тут же опасно сказала:

— Смотри не слети вниз.

— Не, я здесь привык... — Он крутнулся на пятке и прыгнул к Юле. — Я сюда сто раз лазил. А вам здесь нравится?

— Еще бы!.. И не говори мне, пожалуйста, «вы». Я еще не такая уж... пожилая.

Он по-птичьи наклонил к плечу голову и глянул снизу вверх.

— А вам... тебе сколько?

— Девятнадцать.

— У-у... — сказал он вроде бы с уважением, а в золотистом глазу опять метнулась искорка. — А мне одиннадцать. Через месяц будет, в сентябре.

— Ясно. Меня зовут Юля...

— А меня... — Мальчик перекинул голову на другое плечо. — У меня имя старинное. Даже не угадаете... не угадаешь какое.

— И не буду, — улыбнулась Юля. — Говори уж сам.

Он выпрямил голову, подтянул съехавшие шорты и веско произнес:

— Меня зовут Фаддей.

— Ух ты! — сказала Юля.

— Это не просто так. Это в честь одного знаменитого предка. Угадай какого?

Юля наморщила лоб и поморгала. Никто, кроме Фаддея Булгарина, жандармского агента и недруга Пушкина, в голову не приходил.

Маленький Фаддей опять брызнул искоркой левого глаза:

— Антарктиду кто открыл?

— Антарктиду? Сейчас... ага! Беллинсгаузен и Лазарев!

— Вот! А Беллинсгаузена как звали?

— М-м...

— Фаддей Фаддеевич,— со скромным торжеством сказал мальчишка.— У меня про него книга есть и там портрет. Он даже похож на меня немножко, и волосы такие же.. Ну, там не цветной портрет, но я же все равно знаю.

— И что же, он правда твой родственник? — со смесью недоверия и уважения поинтересовалась Юля.

Ну да,— небрежно откликнулся Фаддей.— Он мамин какой-то пра-пра-пра- . двоюродный дедушка.

Разве Беллинсгаузен из этих мест?

— Так и я не из этих! Я сюда просто каждое лето приезжаю, к тете Кире!

Юля удивилась. Она была уверена, что мальчишка — местный житель. Он так подходил к здешним улицам и заросшим берегам.

— А откуда ты?

— Из Среднекамска,— сказал он и почему-то вздохнул.

Юля понимала, что и Среднекамск — едва ли родина знаменитого мореплавателя. Но все равно обрадовалась:

— Мы почти земляки! У меня там дядя живет, мамин брат. Он мастер цеха на авторемонтном заводе.

— Я даже не знаю, где там такой завод,— опять вздохнул Фаддей.— Город-то большущий, заводишек всяких полным полно... И школ почти двести... А здесь всего три...— Он вдруг поднял веснушчатое лицо и сказал совсем о другом: — Ты вон до той балки дотянешься?

Невысоко над головой проходил ржавый брус. Толщиной с хорошее полено. Юля встала на цыпочки и кончиками пальцев тронула холодное железо.

— А я ни разу допрыгнуть не смог,— печально признался Фаддей.— Подсади меня, пожалуйста.

Юля усмехнулась и подхватила мальчишку за бока, ощутив сквозь майку птичьих ребрышки. Потомок адмирала был легонький, и она шутя вскинула его над головой. Фаддей вцепился в брус и повис, покачивая ногами. Морковные гольфы сбились в гармошку, а один кед шлепнулся на пол.

— Здесь висел главный колокол,— сообщил из-под балки Фаддей.— Думаешь, зачем висел? Чтобы в праздники звонить? Вовсе даже нет, это тревожный колокол

был. Здесь часовые дежурили. Если враги подкрадутся, они сразу — бамм! — Он качнулся сильнее и повторил громким голосом: — Бамм, бамм!

На нем горели рыжие солнечные пятна.

Юля снова оглядела горизонт. Солнце уже почти касалось леса.

— Надо спускаться, — нехотя проговорила Юля.

— Подожди, — отозвался Фаддей. — Я колокол.. Бамм!

Юля засмеялась и дернула его за ногу.

— Ну, колокол-бубенчик, пора...

Он прыгнул на пол и заскакал на одной ноге, натягивая кед.

— Фаддей... — сказала Юля. — Тебя так и звать «Фаддей» или можно поуменьшительнее?

— Можно Фаддейка... — Он стрельнул исподлобья золотой искоркой. — Я же еще не Беллинсгаузен.

«Фаддейка» — это хорошо! — подумала Юля. — Это в самый раз. Фаддейка он и больше никто».

— А ты можешь ответить на один вопрос, Фаддейка?

Он весело распрямился.

— Хоть на тыщу.

— На один... Это здорово, что ты меня сюда привел. Но почему? Ни с того ни с сего, незнакомого человека...

— А... разве... — Он как-то старательно заморгал. — Ой-ей-ей... Разве вас не тетя Кира послала?

Юля молчала.

— Ой-ей-ей... — Фаддейка запустил пятерню в свои космы. — Она сказала: посиди на берегу у башни, придет одна тетенька.. то есть молодая женщина, приезжая.. Я, говорит, обещала, что ты ее на колокольню сводишь. Она, говорит, стариной интересуется...

Юлю кольнула ревнивая досада: не ее, значит, ждал Фаддейка. Но сразу она встревожилась:

— А где же та женщина? А тебе не влетит теперь?

— Ой, влетит, — охотно откликнулся Фаддейка. И решительно взял Юлю за рукав: — Пошли!

— Куда?

— К тете Кире. Ну, к нам домой. Скажешь, что я не виноват. А то мне знаешь как... Пошли!

— Но я же... Я не знаю... А это куда? Далеко?

— Не далеко. Средне. Вон там за рекой видишь

красную крышу с двумя антеннами? Вот за тем домом еще квартал. Идем. Ну... Юля...

Не пойти — было бы все равно, что оставить Фаддейку в беде. Да и... не все ли равно, куда идти, если идти некуда?

— А это по пути на вокзал?

Фаддейка сразу как-то потускнел.

— Зачем тебе на вокзал? Ты разве уезжаешь?

— Наоборот, приехала. А на вокзале буду ночевать, больше нигде.

— Ночевать — это ночью. А пока еще не ночь, — рассудил Фаддейка. — Пошли!

Внизу солнца уже не было видно, а закат светился ровный и широкий. И река от него светилась. Юля и Фаддейка прошли над плавной водой по зыбкому мосту. Он был подвесной, на тросах, и дощатый настил качался между быками-ледорезами.

Фаддейка шагал сбоку от Юли и поглядывал чуть виновато. Посапывал. Потом спросил:

— Не боишься? На этом мосту многие боятся с привычки.

— У меня, между прочим, первый разряд по туризму... А ты сам-то не боишься?

— Вот еще!

— Ну да! Правнуку знаменитого моряка не полагается...

Он, кажется, слегка надулся. Заподозрил насмешку, что ли?

Юля примирительно сказала:

— А у меня один знакомый моряк есть. Курсант. Он сейчас на парусном корабле плавает, почти как Беллинсгаузен. У них практика.

— Ух ты! А он на чем? На «Товарище» или на «Седове»?

— На «Крузенштерне»... Не скажи, свалишься.

— Не свалюсь. Хочешь, понесу твой чемодан?

— Да уж сама дотащу...

— А ты мне потом про него расскажешь?

— Про чемодан?

— Про моряка!

— Когда «потом»? ~ грустно спросила Юля и подумала про вокзал.

— Ну... после разговора с тетей Кирой.

— Ох, Фаддейка, я ее боюсь. И тебе попадет, и мне...

— Что ты! Она посторонних не воспитывает... Ты ей сперва ничего не говори, может, той женщины и не было. Тогда все обойдется.

— А что я скажу? Зачем пришла?

— Поглядим,— деловито успокоил он.— По обстоятельствам.

Дом тети Киры был старый. Старинный даже. С жестяными флюгерами на башенках покосившихся ворот, с черным от древности страховым знаком и с разошедшимся кружевом наличников.

Фаддейка бодро толкнул тяжелую калитку. В заросшем дворе красновато темнели громадные гроздья рябины и светились несколько березовых стволов. Было пусто. Фаддейка кивнул на скамейку у крыльца:

— Ты посиди минутку, я сейчас.— Поддернул гольфы, заправил майку и нырнул в дом.

Юля поставила на лавку чемодан. С высокой березы упал на него желтый листок. Август...

Прошла минута. Оглядываясь, возник на крыльце Фаддейка. За ним — тетя Кира. Она оказалась очень пожилая, сухоощаая, с седым валиком волос.

— Здравсте,— совсем по-школьному, поспешно сказала Юля. Тетя Кира показалась ей похожей на старую учительницу.

— Добрый вечер,— улыбнулась тетя Кира и легко шугнула Фаддейку со ступенек.— Это вас он, значит, привел? Я, говорит, квартирантку тебе отыскал... Я уж и не знаю. В пристройке у меня жили в июле двое отдыхающих, молодожены, но тогда тепло было, а сейчас то осень на носу. Продрогнете там ночью...

— Она закаленная,— подал голос Фаддейка.— У нее первый разряд по туризму.

— Брысь ты, нечистая сила,— засмеялась тетя Кира. И Юля засмеялась: так все хорошо складывалось.

— Я правда закаленная. В одеяло завернусь — и хоть в открытом поле...

— Ну, смотрите, если понравится... Вы, наверно, на практику в школу приехали?

— В библиотеку. В детскую...

— К Нине Федосьевне, значит! Вот она обрадуется! А то все одна да одна... А если холодно будет в при-

стройке, там печурка есть на крайний случай. Завтра дрова привезут...

И Юля почувствовала, что она любит затерянный в северных лесах городок Верхоталье.

Вот только пришло бы сюда письмо.

НОЧНЫЕ СТРАХИ

Как это чудесно — вытянуться среди прохладных простыней, чтобы усталость сладко разбежалась по жилкам, и лежать с ощущением полного уюта и с мыслями о счастливом окончании неудачного дня.

Стоячая лампа с белым фаянсовым абажуром неярко и ровно светила на желтоватые доски стен и потолка, на большой табель-календарь за прошлый год, на ошкуренные чурбаки (они были вместо табуреток) и застеленный зеленой полинялой клеенкой стол. На столе празднично сияла алая с белыми горошинами кружка. Будто сказочный мухомор на лужайке. Юля безотчетно радовалась этому яркому пятнышку — оно украшало комнату и придавало ей обжитой вид. Юля вздрогнула от неласковой мысли, что сейчас могла бы ютиться на вокзальной лавке.

...Тетя Кира (то есть Кира Сергеевна) принесла матрац, положила его на широкий топчан и сама постелила для Юли простыни.

— На сегодня так. А если покажется жестко, завтра достанем из кладовки кровать, у нее сетка панцирная.

— Не будет жестко, — заверила Юля, оглядываясь. Пристройка была небольшая, вроде верандочки — с окном во всю стену. По стеклам скребла тяжелыми кистями рябина. В углу белела кирпичная печка.

Кира Сергеевна рассказала, что пристройку ставил ее муж, хотел оборудовать здесь мастерскую, да вот... Говорят, от первого инфаркта не умирают, а он сразу. Три года уж прошло. Директором восьмилетки был. А она до пенсии работала смотрителем здешнего музея. Сын в армии после института, на Дальнем Востоке, младшая дочь в Челябинске учится, а старшая недавно замуж вышла, живет неподалеку, в Ново-Северке, да все же не рядом, не под одной крышей.

— Вот и осталась одна в «родовом поместье». Дом-то еще дед строил... Так и живу. То сама по себе, то вдво-

ем с племянником. Он второй год уже подряд на каждые каникулы приезжает. Заботы с ним, конечно, всякие, да все равно веселее.

— Он славный у вас. Добрый такой,— сказала Юля.

— Добрый-то добрый, а всякое бывает. Когда парень без отца растет, воспитанье какое-то случайное получается. Дерганое...

Юля вежливо помолчала. Потом неловко спросила насчет платы за квартиру.

Кира Сергеевна отмахнулась:

— Да сколько не жалко. Какая здесь квартира-то...

— Но все-таки...

— В гостинице пятьдесят копеек в день за место берут, давайте и вы так.

— Ой... Даже слишком как-то дешево.

Кира Сергеевна засмеялась:

— А у нас ведь не Сочи и не Крым. Да и вы не на отдыхе. А стипендия-то, наверно, так себе...

— Я в стройотряде работала.

— Давайте так, Юля. Если будете с нами завтракать и ужинать, тогда — рубль. А обедать вам лучше в столовой «Радуга», она рядом с библиотекой.

На том и договорились.

— Только еда у нас не ресторанная,— предупредила Кира Сергеевна.— Не обидитесь?

— Да что вы!

— Я себе по-простому готовлю. А Фаддейка, душа окаянная, вообще ничего не ест, мученье одно. Кожа да кости, избегался. Мать приедет, опять недовольна будет — невымытый да тощий. А что я сделаю? Вот объявится — пускай сама чистит, причесывает и откармливает.

— А что, он один у матери? — деликатно поинтересовалась Юля.

— Один, слава богу. Куда еще-то при ее жизни? Только и мотается то по стране, то по заграницам. Как это фирма-то у них называется? «Станкоэкспорт» или что-то похожее...

Юля распаковывала чемодан, вешала одежду на спинку единственного стула, а Кира Сергеевна негромко и ненавязчиво рассказывала:

— Я ей говорю: «Сколько можно так жить, не девочка уже, четвертый десяток идет». А она: «Это ритм времени, Кирочка, мы с тобой в разные эпохи живем»... Может, и правда? Я ее на двадцать семь лет старше,

нас шестеро было в семье, она младшая. Вот и попала под эти ритмы... Мы с мужем почти три десятка без всяких современных ритмов прожили, а она вот... Ох и заболтала я вас, Юля. Смотрите, вон вешалка у двери. А утюг Фаддейка принесет. Вы только не церемоньтесь с ним, с племянничком моим, он такой прилипчивый. Если будет надоедать, шуганите его...

Фаддейка не стал надоедать. Притащил утюг, шепнул, что «все обошлось», и умчался. Не было его и за ужином.

— Свищет где-то,— вздохнула Кира Сергеевна.— Небось, опять с мальчишками костер жгут в овраге, картошку пекут...

...Юля нажала кнопку лампы. Упала темнота, и в ней синевато засветилось окно: полная ночь на дворе еще не наступила. В сумерках прорезались черные листья рябины, смутно забелел березовый ствол. В широком просвете стала видна верхушка ели — острая, будто шатер колокольни.

Вспомнив про колокольню, Юля подумала и о Фаддейке: где его носит нелегкая на ночь глядя? Видать, вольная птичка...

И словно в ответ она услышала негромкий выдох:
— Ю-ля-а...

Это было чуть погромче шелеста рябины. И там же, за окном. Юля опять включила свет. В неярких лучах за стеклом, как на глянцевой фотобумаге, проявился знакомый веснушчатый портрет с расплюснутым носом.

— Ты что, Фаддейка? — громко сказала Юля.

Он отодвинул оконную створку. Спросил шумным шепотом:

— Можно к тебе?

— Можно. А почему не через дверь?

— С той стороны тети Кирино окно... — Он ловко сел верхом на подоконник — одна нога снаружи, другая в комнате. — Ты не испугалась?

— Чего?

— Ну... женщины часто пугаются, если под окном мужчины...

Юля развеселилась:

— Иди сюда, мужчина. Ты зачем пришел? Просто так поболтать или по делу?

— По делу...— Он скакнул с подоконника, сел на чурбак посреди комнаты, положил на колени ладони. Повертел головой, будто первый раз видел эти стены. Посопел.

— Ну, а что за дело-то? — напомнила Юля. И опять улыбнулась из-за кромки одеяла.— Может, еще на какую-нибудь башню поведешь?

— Нет...— Он старательно вздохнул, потерся оттопыренным ухом о плечо и сообщил, глядя в потолок: — Я признаться пришел. Что наврал.

— Да?.. А что ты наврал?

— Про ту женщину. Про тети Кирину знакомую. Я ее придумал...

— Да? — опять сказала Юля. И замолчала, размышляя, как отнестись к такому признанию. Интересно, что она почти не удивилась.— Ну, придумал так придумал. А зачем все это?. А, Фаддейка?

— Непонятно разве? — Он взглянул на Юлю прямо и чуть насупленно.— Захотел познакомиться с тобой, вот и все.

— Это я понимаю. А з а ч е м?

— Ну вот...— Фаддейка забавно развел руками.— Зачем! Потому что я такой уродился. Потому что мне всегда интересно про нового человека: что в нем хорошего?

— И ты решил, что во мне что-то хорошее?

— Решил. Ты же полезла на колокольню!

— Ну... да, это доказательство. А откуда ты узнал, что я здесь новенькая?

— Сразу же видно! Идешь, на все смотришь, как первый раз. И чемодан. И сумок таких, как у тебя, здесь ни у кого нет... Ой...

— Ой,— сказала и Юля.

— А где сумка?— шепотом сказал Фаддейка и замигал желтыми коротенькими ресницами.

— Вот именно, где?

— Там осталась?

— Конечно! Ты же не достал из ниши.

— А ты не вспомнила.

А Юля не вспомнила. Ей хватало и чемодана. Ослепительно желтую сумку с черным старинным самолетом на боку и надписью «AIRLINE» она купила перед самым отъездом в Верхоталье и не успела к ней привыкнуть.

— У тебя в ней что было?— подавленно спросил Фаддейка.

— Практикантский дневник и направление. И всякое...

Было еще старое Юркино письмо с фотографией. И тетрадка с отрывочными дневниковыми записями, которые она делала в стройотряде...

— Пошел я,— вздохнул Фаддейка и встал.

— Куда?

— Как куда? За сумкой.

— Подожди! — испугалась Юля. Она представила, как Фаддейка лезет там по лестнице в крошечной темноте, в глухоте.

— Утром сбегаешь и заберешь,— нерешительно сказала она.

— Ага, «утром»! А если на рассвете туристы туда потащатся? У них теперь такая мода появилась: рассвет на верхошуре встречать.

— Думаешь, сопрут?

— А думаешь, оставят? Я пошел.

— Там же темнотища сейчас и страх...

— Фонарик возьму.

— Я с тобой,— тоскливо и решительно сказала Юля, ощущая, как замечательно в постели и как жутко не хочется туда. Ох, рано она порадовалась, что кончились неудачи...

А Фаддейка... хоть бы сказал: не надо, не ходи! Нет, он сказал другое:

— Выбирайся через окно. Я подожду у калитки.

Быстро темнело. Река еще отражала остатки заката, а крутой дальний берег чернел непроницаемо. За кромкой обрыва не видно было огоньков, смутной тучей клубился старый прибрежный сад. Колокольня была еле различима.

Юля мысленно простонала, когда представила, сколько опять шагать: через мост, потом по высоченной лестнице, затем по темному саду... Фаддейка бодро топал рядом и мигал фонариком. Юля печально сказала:

— Вот узнает Кира Сергеевна про наши похождения, будет нам...

— А как она узнает? Тебя она не караулит, а про меня привыкла, что поздно бегаю.

— С тобой не соскучишься,— вздохнула Юля.

— Ага.

Перешли мост (он был бесконечный, и под ним журчала и хлюпала вода). Совсем стемнело. Ступеней лестницы было не разглядеть. А они — кривые и старые, ноги поломаешь.

— Посвети,— попросила Юля.

Фаддейка опять мигнул фонариком и сказал:

— Я батарейку берегу, она старая.

— А на мосту включал да включал, когда не надо...

— Я проверял... Держись за меня.

Кончилась и лестница с бесконечным поскрипыванием ступенек и хлябаньем брусчатых перил. Черный густой сад надвинулся на Юлю и Фаддейку, окружил мохнатой темнотой, запахом увядающих листьев.

— Держись за меня,— опять сказал Фаддейка и сам взял Юлю за руку. Рыжий свет фонарика метнулся по высоким сорнякам и беспомощно в них запутался. Фаддейка бесстрашно устремился в чащу, и Юля тянулась, как на буксире. Жесткие стебли скребли по джинсовым штанинам. Было жутковато, но как-то не понастоящему. Будто во сне.

За рукав зацепилось какое-то острое, вроде наконечника пики. Юля повела рукой и нащупала частую решетку.

— Постой. Здесь что-то непонятное...

— Все понятное,— шепотом сказал Фаддейка.— Могилки старые, тут раньше кладбище было...

— Ты нарочно меня здесь потащил?— слабым голосом спросила Юля. Ей хотелось тихонько завывать с перепугу.

— Конечно. Здесь короткая дорога... Ты не боишься?

Тогда она рассердилась. На себя и на этого оборота:

— Я за тебя боюсь, дурень. Обдерешься или глаз выколешь...

— Не-е... Пришли уже.

Они уперлись в решетчатую загородку церковного двора. Многих прутьев не было, везде лазейки. Когда пробрались, Юля, опасливо озираясь, прошептала:

— А ночного сторожа здесь нет?

Фаддейка хихикнул:

— Только привидения. Бывший воевода и его солдаты

— Да ну тебя...

Подшли к черному входу на колокольню, и Фаддейка строго сказал:

— Стой здесь. Я сейчас...

Юля не успела заспорить, он ускользнул в черноту, там желтой бабочкой пометался и пропал свет фонарика. «Полезу следом»,— отчаянно решила Юля. Но не успела. Фаддейка выкатился назад, невредимый и веселый.

— Вот твоя сумка.

— Ой... вот хорошо. Спасибо, Фаддейка.

— За что? — хмыкнул он. И спросил: — Пошли обратно?

— Только не через могилки, ладно?

— Сейчас можно по берегу.

От церкви на обрыв их привела невидимая в траве, но осязаемая своей твердостью дорожка (видимо, мощенная кирпичом). Ночь совсем почернела, даже на западе исчез белесоватый полусвет. Река была почти неразличима. На том берегу уютно горели окошки. Но рче этих огоньков сияли белые большие звезды, а между ними светилась звездная пыль. Кроме белых звезд были переливчато-голубые и желтые.

Фаддейка показал на одну, голубоватую:

— Вот это Юпитер. В хороший бинокль у него спутники видно. Мне наш сосед, студент Вася, бинокль давал... А Марса сейчас не видать...— Он помолчал и добавил другим голосом, снисходительным:— А ты ничего, не боязливая.

— Ты тоже ничего...

Фаддейка посопел и вдруг признался:

— Нет, я часто боюсь. Только я себя... ну... перегибаю. Я первый раз на колокольню знаешь как боялся лезть! Прямо все внутри дрожало. А я потом еще раз, еще...

— Когда страх пересиливаешь, это и есть смелость,— сказала Юля.

— Наверно...— шепотом ответил Фаддейка.

Они вышли на верхнюю площадку лестницы, и Юля остановилась. «Какой длинный день получился»,— подумала она.

Хорошо было под звездами. Только слишком прохладно. Юле показалось, что Фаддейка вздрогнул.

— Зябнешь,— обеспокоилась она.— Куртку дать?

— Нет, нисколько не холодно... А знаешь, почему я стараюсь страх перегибать? Потому что от него всякие предательства бывают

— Это верно,— вздохнула Юля.

— А когда человек изменником делается, это хуже всего в жизни,— тихо сказал Фаддейка.— Я этого больше всего на свете боюсь.

В печальном его полупшепоте ощутилась вдруг такая тревога, что Юля поежилась и ладонями сжала Фаддейкины плечи — тонкие и теплые.

— Да ты что! Чего ты боишься? Никогда с тобой такого не случится...

— А если вдруг нечаянно...— еще тише сказал он.

— Разве это бывает нечаянно?

Фаддейка шевельнул плечами под Юлиными ладонями. Сумрачно шмыгнул носом и прошептал:

— Иногда такой дурацкий сон снится, будто я кого-то предал случайно и тут уж ничего нельзя сделать, хоть убейся. Если даже убьешься, это ведь все равно не исправишь...

— Какие-то у тебя сны неуютные...— опять поежилась Юля.

— Ну нет, мне и хорошие снятся. Но такой — тоже...— Фаддейка ускользнул из-под Юлиных рук и спросил уже другим голосом, побойчее:— А если у тебя два друга и так получается: если спасти одного — значит, изменить другому? Как тут быть?

— Ну... по-моему, так не бывает.

— Это вообще-то не бывает, но вдруг один раз случится?

— Тогда... я даже не знаю.

Фаддейка молчал с полминуты. Потом решительно сказал:

— А чего тут не знать? Надо помогать тому, у кого беда сильнее.

— Да... наверно. А с чего у тебя, Фаддейка, такие мысли? Грустные какие-то.

— У меня всякие мысли. Потому что думаются. А с чего — трудно сказать.— Он по-взрослому усмехнулся.— Люди про все на свете спрашивают: с чего да почему. И хотят, чтобы одна простая причина была. А причин всегда целая куча, и они перепутываются.

— Это верно... Пойдем домой, Фаддейка.

Он вдруг взял ее за руку — быстро и привычно, как братишка.

— Пойдем, Юля.

КИНО ВНИЗ ГОЛОВОЙ

Утром Фаддейка стукнул в окно и позвал Юлю завтракать.

В кухне стояла на столе вареная свежая картошка с тонкими кожурками, лук, помидоры и молоко. Кира Сергеевна сказала, чтобы Юля садилась, не церемонилась, а Фаддейку спросила:

— Руки-то вымыл?

— И лицо! Честное слово! Даже чуть веснушки не соскоблил.

— Чучело, — вздохнула Кира Сергеевна. — Юля, он вам вечером не надоел? Это такой болтун и липучка...

Фаддейка незаметно мигнул Юле: не проболтайся о ночных похождениях. Юля тоже подмигнула и сказала, что нисколько не надоел, поговорили про то, про се, самую чуточку.

Фаддейка, кусая картофелину, вдруг высказался:

— Когда пойдешь на практику, надень какое-нибудь платье. А то Нина Федосьевна скажет: «Ах-ах, работница библиотеки в штанах!» У здешних женщин не современные взгляды.

— Фаддей! — сказала Кира Сергеевна и со стуком положила вилку.

Но Юля понимала, что Фаддейка прав.

Самой ей казалось, что стройотрядовское обмундирование для ее внешности в самый раз, а в «девичьем наряде» она похожа на украшенную бантиками оглоблю. Но библиотека — не строительство коровника и не турбаза. Юля надела босоножки и серое платье — мамин подарок: в этом платье все-таки похожа на человека. Настолько, насколько может походить на человека девица баскетбольного роста, с длинноносым лицом, вечными прыщиками на подбородке и жиденьким хвостом пегих волос.

Юля припудрила подбородок перед карманным зеркальцем, подхватила сумку и шагнула на крыльцо.

Там ее караулил Фаддейка.

— Я тебя до библиотеки провожу. Можно?

— Конечно! — обрадовалась она.

И Фаддейка стрельнул золотой искоркой из глаза. Когда шли Береговой улицей к мосту, Юля спросила:

— А что, эта Нина Федосьевна очень строгая?

— Еще бы! А с теми, кто книжки портят, вообще ужас...

— Кажется, ее все здесь знают...

Фаддейка с удовольствием сказал:

— Здесь вообще каждый каждого знает. Это ведь не Москва. И не Среднекамск.

— Я смотрю, тебе здесь больше нравится, чем в Среднекамске...

— Как когда... Здесь интересно, старины много всякой. И ребята не дерущие и не дразнящие.

Юля очень осторожно и ласково спросила:

— А что, Фаддейка, разве в школе тебя дразнят?

Он шевельнул плечами:

— Да вот еще! Откуда ты взяла?

— А я думала, что... ну, из-за волос.

Он удивился:

— Потому что рыжий? Да нисколько! За это в старые времена дразнили, а сейчас наоборот! Рыжий — даже модно! У нас в классе трое таких, как я... Не в этом дело.

— А в чем?

— Ну... да ты не думай, что у нас плохие ребята! Только у них всегда нет времени. Кто на музыку бежит, кто в олимпийскую секцию, кто еще куда... Получается, что людям просто некогда дружить.

— А здесь?

Фаддейка рассудительно сказал:

— Одноклассников-то не выбирают, а здесь играй, с кем нравится.

Юля хотела деликатно возразить: мол, и в Среднекамске не обязательно друзей только в классе искать. Но Фаддейка заговорил опять. Уже по-другому, весело:

— Тут знаешь какие придумывальщики есть! Мы на той неделе воздушный шар из бумаги сделали, с дымом. И он по правде полетел! Красный, как марсианский глобус.

— А разве бывают марсианские глобусы?

— Конечно... Юль, а хочешь, я короткую дорогу покажу, не через мост? Я брод знаю, глубина не больше, чем тебе до колена. Хочешь?

Юля зябко поежилась.

— Я... наверно, хочу, но не сейчас. Мне за прошлые сутки хватило приключений.

Нина Федосьевна оказалась вовсе не строгой. Наоборот, была она очень милая и приветливая. Чем-то походила на Киру Сергеевну. Так похожи друг на друга бывают пожилые женщины, всю жизнь проработавшие в библиотеках, театрах или музеях.

Юле Нина Федосьевна очень обрадовалась. Во-первых, по доброте душевной, во-вторых, потому что «видите ли, как получилось, Юленька, одна наша сотрудница вышла на пенсию и уехала к сыну, а вторая в декретном отпуске. И я кручусь, кручусь и ежедневно прихожу в отчаяние...»

Она мелко засмеялась, прижимая кончики пальцев к седым вискам. Юля тоже улыбнулась и подумала, что здесь ее то и дело называют Юленькой. Версту коломенскую...

— Только работа, Юленька, будет для вас, наверно, скучноватая: читателей сейчас мало, а дело такое: надо перебрать и сверить каталоги, переписать некоторые карточки абонементов. В них полный хаос...

Юля сказала, что работу она видела всякую, скучать не станет, а веселиться, если придет такое настроение, будет после рабочего дня. При этом почему-то вспомнила Фаддейку. И не откладывая взялась за дело.

Сначала она принялась разбирать по алфавиту читательские карточки, которые молодая работница абонементов (ныне пребывающая в декрете) действительно держала в «порядочном беспорядке». Неожиданно дело оказалось совсем не скучным. За каждым именем Юле представлялись живые мальчишки и девчонки: аккуратные отличницы, берущие книжки по программе; растрепанные троечники, которые читают в основном про шпионов и про космос; юные изобретатели — те, что глотают, как «Трех мушкетеров», «Занимательную физику», «Теорию относительности для всех» и свежие номера «Техники — молодежи», шумливых октябрят, спорящих из-за очереди на «Буратино» и «Волшебника Изумрудного города», озабоченных десятиклассников, которые перед экзаменами выпрашивают на лишний денек Белинского и Добролюбова...

Некоторые карточки были просто готовые портреты и характеры. Трудно разве представить, например, второклассника Николая Вертишеева, дважды бравшего «Приключения Незнайки», или Эллу Лебедушкину, читающую биографию Рахманинова из серии ЖЗЛ?

Могли, конечно, быть ошибки. Вертишеев мог оказаться тихим мальчонкой, который никогда не вертится на уроках, а Лебедушкина — неуклюжей девицей, не умеющей сыграть гаммы... Но вот попался портрет знакомый и точный! «Фаддей Сеткин»...

— Ой, Нина Федосьевна! Это же Фаддейка, да? Племянник Киры Сергеевны?

Нина Федосьевна охотно оторвалась от ящика с каталогом.

— Ну разумеется! Вы уже познакомились? Ах да, вполне понятно...

— Ох, познакомились,— сказала Юля.— Весьма даже...

Нина Федосьевна покивала и поулыбалась:

— А знаете ли, Юленька, он славный мальчик. Правда, слишком замурзанный и немного шумный...

(Юля уже поняла, что больше всего Нина Федосьевна боится шума, и это казалось непонятным у заведующей детской библиотекой; но зато других недостатков у Нины Федосьевны, кажется, вообще не было).

Юля охотно согласилась с краткой Фаддейкиной характеристикой и заглянула в карточку.

Читательские интересы Фаддея Сеткина были крайне разнообразны. Если не сказать — беспорядочны. «Приключения Электроника» и «Оливер Твист», «Словарь юного астронома» и «Воспоминания о сынах полков», «Сказки народов Севера» и «В плену у японцев» капитана Головнина. А еще — «Казачьи» Толстого, «Малыш и Карлсон» и «Мифы Востока»...

— Ну и ну,— сказала Юля.

Нина Федосьевна опять покивала:

— Бессистемное чтение, но что поделаешь... И ходит нерегулярно. То глотает семь книжек за неделю, а то не показывается полмесяца. Но с книжками очень аккуратен! Новые даже обертывает... Правда, один раз мы с ним поссорились.

Юля вопросительно подняла глаза.

— Нет-нет, не из-за неряшества. Мы крупно поспорили из-за «Аэлиты». Вы же знаете, Юленька, детям

эта книга всегда нравится, а наш милый товарищ Сеткин прочел и заявил категорически: «Чушь!..» Я даже очки уронила. «Как,— говорю,— ты можешь так об Алексее Николаевиче?..» А он знаете что? «Если Алексей Николаевич, значит, врать можно?» «Что значит,— возмущилась я,— врать. Это же фантастика! Писательское воображение! Ты же сам столько фантастики перечитал и всегда хвалил!» И что же отвечает мне этот юный ниспровергатель классиков? «Фантазировать надо тоже с умом! На Марсе все не так. «Марсианские хроники» Брэдбери и то лучше»... Я, конечно, и сама равнодушна к Брэдбери, это, безусловно, талант, но... В общем, я не выдержала и сказала, что таких критиков следует ставить носом в угол. И расстались мы сухо.

— А потом?— смеясь, спросила Юля.

— Он не появлялся неделю. А затем откуда-то узнал про мой день рождения и притащил целый сноп васильков. При этом был в новой рубашке и сиял, как начищенный колокольчик.

— Он и сегодня хотел прискакать,— вспомнила Юля.— Обещал в обед меня навестить.

Но Фаддейка пришел только в конце дня. Встрепан и помят он был больше обычного, к оранжевой майке прилипли золотистые чешуйки сосновой коры. Он сообщил, что тете Кире привезли дрова и пришлось их укладывать на дворе в поленницу.

— Таскал, таскал, чуть пуп не сорвал,— он стрельнул искристым глазом в сторону Нины Федосьевны.

— Фаддей...— страдальчески сказала она.

— Ой, простите, Нина Федосьевна! Я нелитературно выразился, да?

— Юля, может быть, хотя бы вы займетесь воспитанием этого гамена?— простонала Нина Федосьевна.— Кира Сергеевна, видимо, уже отчаялась.

— Займусь,— пообещала Юля и показала Фаддейке кулак. Он потупил глазки, но тут же дурашливо сказал:

— Гамен — это парижский беспризорник? Вроде Гавроша? Значит, здесь у нас Париж, ура! Да здравствует баррикада на улице Шанврэри!

— Не Шанврэри, а Шанврерй,— подцепила его Юля. А Нина Федосьевна скептически произнесла:

— Можно подумать, ты читал «Отверженных»...
— Можно подумать, нет! — возмутился Фаддейка.
— Он читал детское издание про Гавроша, — снисходительно разъяснила Юля.
— Фиг тебе! Я все читал!
— Фаддей... — опять простила Нина Федосьевна
— А чего она... У нас дома десять томов Гюго, подписное издание
Юля хмыкнула
— И ты осилил?
— «Отверженных» осилил. И «Собор Парижской богородицы». Только маленько пропускал, всякие длинные описания. Нина Федосьевна, Юле уже можно домой? Она будет меня воспитывать по дороге

Когда шли к дому, Юля сказала:

— И чего это утром ты напел, что Нина Федосьевна строгая? Она добрейшая душа... На тетю Киру похожа.

— Ну и что же, что похожа? Тетя Кира тоже всякая бывает. Когда добрейшая, а когда ой-ей-ей.

— Ну, ты, наверно, и ангела небесного можешь до «ой-ей-ей» довести...

Фаддейка хихикнул:

— Не, я хороший... — И сказал серьезно: — В этом году у нас с тетей Кирикой контакт. А в прошлом году мы еще по-всякому... Притирались друг к другу.

— Притиралась терка к луковичке. Сплошные слезы..

— Ага... Мне от нее один раз тогда знаешь как влетело... — Фаддейка сказал это со странной мечтательной ноткой.

— За что?

— В том-то и дело, что ни за что... Я сижу, молоко пью, а она вдруг говорит: «А ну-ка дыхни». А потом «Покажи-ка, голубчик, карманы». А там окурки и крошки табачные... Ой, что было!

— Выпала, небось? — пряча за усмешкой сочувствие, спросила Юля.

— Да не-е... На губу посадила.

— Куда?

— На гауптвахту. Говорит, выбирай: немедленно едешь домой или будешь сидеть до ночи под арестом В сарае.

— И выбрал сарай?

— А что я, ненормальный — домой ехать? Здесь вон как здорово, а там в лагерь отправят.

— Да еще и досталось бы от мамы за курение, — с пониманием заметила Юля.

Он вскинул возмущенные глаза:

— Да ты что? Думаешь, я по правде курил, что ли? Мы с ребятами мыльные пузыри с дымом пускали! Дым в рот наберем, пузырь надуем, он и летит вверх. А потом лопается, как бомба...

— Все равно дым во рту — это гадость.

— Ну, пускай гадость. Но не курил же!

— А тете Кире ты это объяснил?

— Думаешь, она слушала? Как разошлась... Ну, я решил: пусть ее потом совесть мучает. Целых три часа сидел, почти дотемна.

— Потом выпустила?

— Уже собиралась, да я раньше забарабанил.

— А чего? В темноте неуютно стало?

— Да причем «неуютно»? Гауптвахта-то была ведь... без этого. Без удобств. Сколько вытерпишь?

Юля засмеялась. Фаддейка весело посопел и сказал:

— Тут я ей все и объяснил. Она сперва, как ты, говорит: «Все равно это гадость!» А я ей доказал, что это научный эксперимент был, а люди из-за науки еще не такие гадости терпели. Она засмеялась: «Вот и пострадал за науку, как Галилей». А потом говорит: «Ладно, помиримся, не сердись на старую тетку...» А я и не сердился.

— А не обидно было невиноватому сидеть?

— Обидно немного. Зато интересно. Я до тех пор ни разу арестантом не был! А тут почти как по правде... Всякие мысли думаются, когда сидишь. Воспоминания всякие...

— Какие?

— Ну, разные! Про Буратино, как его Мальвина тоже ни за что в чулан посадила. Про Железную Маску... А то вдруг показалось, что я к врагам в плен попал и меня завтра расстрелять должны. Даже хотел подземный ход рыть, да тут кино началось...

— Что?! Ты с телевизором сидел?

Он засмеялся и замотал головой так, что рыжие космы разлетелись пламенными языками.

— Там свое кино получилось! Тайное... Вот придем, покажу.

Во дворе Фаддейка повел Юлю в угловой сарайчик. Там стоял верстак с тисками, лежали обрезки досок.

— Смотри,— прошептал Фаддейка и плотно прикрыл дверь.

Над верстаком, на стене, обитой довольно чистой фанерой, выступило яркое пятно. На нем ясно обозначились качающиеся ветки рябины с оранжево-красными гроздьями, край крыльца, забор, желтые облака над забором. Точнее — под забором, потому что все было перевернуто... Вниз головой сошла с крыльца маленькая тетя Кира в ярко-синей кофточке. Она, кажется, созывала кур.

— Как интересно! — восхитилась Юля. Но не удивилась. Такой фокус ей был известен еще с уроков физики: маленькое отверстие может служить объективом, как увеличительное стекло, и давать четкое изображение. Темный сарайчик превратился как бы во внутренность громадной кинокамеры, а объективом была дырка от сучка — она светилась в двери.

— И правда кино,— сказала Юля.

— Сейчас еще не очень интересно. А позже, когда закат, тут знаешь какие сказки получают! Можно что хочешь увидеть, особенно когда облака горят... Все такое красное и золотистое, и будто... Ну, как на другой планете.

— Фаддейка, но ты же не любишь выдумки,— осторожно поддразнила Юля.

Он настороженно огрызнулся:

— Кто тебе сказал?

— Нина Федосьевна. Как ты разругал «Аэлиту».

— «Аэлита» — другое дело. Потому что всё там не так. А тут наоборот, так.

Юля почуяла его ошетиненность и примирительно сказала:

— Хорошее кино. Только жаль, что вниз головой.

— Ничего не жаль, даже интереснее!.. А если надо, я могу и так! — Фаддейка вскочил на чурбак, подпрыгнул и повис на турнике — это была тонкая труба, вделанная между стенкой и столбом, подпирающим крышу.

Фаддейка покачался, роняя незашнурованные кеды, крутнулся, закинул ноги на трубу и повис вниз головой. Столб качнулся. Толчок передался всему сарайчи-

ку, дверь с тонким пением отошла, и в открывшемся свете перевернутый Фаддейка возник во всей красе. Красно-апельсиновые клочья волос разметались, как борода Барбароссы. Широкие губы расплзлись улыбкой-полумесяцем. Майка съехала до подмышек. На уровне Юлиных глаз горели на тощем Фаддейкином животе свежие царапины — следы недавней возни с поленьями, и темнел аккуратный, как электрическая кнопка, пуп. Юля засмеялась, хлопнула Фаддейку по пузу и сказала, что он свихнет шею.

— Не-а! Я могу так хоть сколько висеть. Хоть две серии настоящего кино...

Он закачался, устраиваясь поудобнее, — как летучая мышь, которая отдыхает вниз головой. Из карманов посыпались пятаки, карандашники, мелкие гайки и стеклышки. Следом за ними на дощатом полу звякнула плоская медяшка. Фаддейка разогнул колени, мягко упал на руки и быстро накрыл ее ладонью.

Но Юля уже спросила:

— Ой, что это?

Фаддейка подумал немного, не подымаясь с корточек. Потом встал и протянул непонятную штучку Юле.

Это была бляшка из красноватой меди или бронзы. С неровно обрубленными краями, с коротким обрывком цепочки. Размером с очень крупную монету. Красиво и точно был отчеканен на металле вздыбившийся жеребец — каждый волосок можно разглядеть. Крошечный выпуклый глаз жеребца горел живой красной искоркой. Над конем разбрасывало колючие лучи маленькое солнце. По краю этой медали (или талисмана, или еще чего-то) шли непонятные значки. А может, буквы, только совсем незнакомые.

Обратная сторона медяшки была гладкая.

Юля подержала странную медаль на ладони — тяжелую и удивительно холодную, словно с зимней улицы принесли.

— Что это, Фаддейка?

Он сказал не очень охотно, однако без промедления:

— Это тарга.

— Что?

— Ну... такое старинное украшение одного племени.

— А откуда оно?

— Ну... тут ведь много всяких старых редкостей находят. Потому что исторические места.

Юля покачала таргу на цепочке.

— Интересная вещь... Только не похожа на старинную.

— Почему?— спросил Фаддейка почти испуганно.

— Смотри, она совсем не потемневшая. Даже обычная, не старинная медь быстро темнеет, а эта будто только что из-под штампа...

Фаддейка взял таргу, тоже подержал на цепочке и сказал непонятно:

— Это особая бронза. Когда воздух очень редкий и холодный, она в нем будто заколдованная делается... И потом уже никогда не темнеет.

* * *

...В редком холодном воздухе медный сплав не темнел. Ветер и время изголодали, изрыли камни сигнальных арок и башен, которые там и тут поднимались над красными дюнами в лиловом небе, а колокола блестели на них, как новые. Маленькое, почти не греющее солнце отражалось в полированных боках колоколов колючими звездами.

Эти слепящие вспышки сердили коня. Он мотал головой, фыркал, рывками выдира из песка увязающие копыта и выгибал длинную шею, оглядываясь на всадника. Но закутанный в плащ всадник был неподвижен. Он знал, что конь помнит дорогу и сам отыщет ее в песках.

Второй конь, без седока, был спокоен и шел позади, не натягивая повод. Это был длинногривый смирный конек из породы низкорослых песчаных лошадей.

Скоро подковы стукнули по разломанным полузасыпанным плитам — лошади ступили на остатки древнего тракта, когда-то тянувшегося по границе пустыни и леса. Лес давно отступил к северу, кругом лежали только вылизанные ветром плоские красные холмы. Ветер, постоянный и бесконечный, прижимал к холмам черные стебли стрелоцвета и нес тонкую песчаную пыль. Этот невидимый песок еле слышно звенел вокруг колоколов, начищая их и без того сверкающие бока...

Безлюдье оказалось обманчивым. Из-за ближнего холма метнулись к дороге три всадника. Встали на пути. Тот, что был впереди, поднял над кожаным шлемом руку в боевой перчатке. Громко сказал:

— Кто ты? Остановись и ответь!

Но одинокий всадник не задержал коня. Он подъехал к начальнику патруля вплотную и лишь тогда поднял медный козырек глухого шлема.

— Простите меня, Фа-Тамир,— вполголоса проговорил начальник.— Я не узнал. Как я мог думать, что вы здесь...

— Это ты, Дах? Здравствуй, старый дружище... Сколько же мы не виделись?

Дах наклонил украшенный командирской цепочкой шлем.

— Одному Владыке времени ведомо сколько... Помоему, с похода через Черные Лыды... С тех пор вы стали знамениты...

— Ты по-прежнему начальник сторожевой сотни, Дах?

— По-прежнему, Фа-Тамир.

— Зря ты не поехал тогда со мной в королевский стан.

— Я не жалею, Фа-Тамир. У каждого свой путь по Кругу времени. И моя судьба легче вашей...

— Наверно, ты прав, Дах. Но разве мы искали легкой судьбы!

— Не искали, Фа-Тамир. Судьба решает сама.

— Ты думаешь?— Фа-Тамир внимательно глянул в лицо давнего товарища по боям и походам. Это было лицо старого бойца — коричневое, с похожими на шрамы морщинами и черными точками вьевшихся песчинок. Ветер шевелил седую бороду. Широкие глаза с пожелтевшей, не боящейся песка роговицей смотрели устало и спокойно.

«Мы все такие,— подумал Фа-Тамир.— Мы все устали...»

— Как служба? Спокойно ли вокруг?

— Пустынный край, Фа-Тамир. За сорок дней вы первый на этой дороге... Можно ли спросить, куда ваш путь?

— Наклонись.

Дах нагнулся в седле и снял шлем. Фа-Тамир сказал ему тихо несколько фраз.

— Вот как...— Дах удивленно шевельнул рыжими бровями.— Но разве не могли послать гонцом простого воина?

— Рядового гонца к сету? Что ты, Дах! Король не

нарушит обычая... Да и откуда простому воину знать этот путь?

— Вы правы... Король мудр, и мудрость его велика так же, как загадки Круга времени...— Дах не договорил, и в наступившем молчании Фа-Тамир уловил вопрос. Он оглянулся. Двое всадников почтительно держались поодаль.

— Говори, Дах, что думаешь. Мы давно знаем друг друга.

— Простите, Фа-Тамир, не мне судить о решениях повелителя иттов... Но почему он дал титул сета безродному найденышу? Ведь сеты равны воинам с королевской кровью.

— В нас одна кровь, Дах... А мальчик оказался храбр, ему сразу покорился самый огненный конь... К тому же мальчик знал то, чего не знали итты. Он сказал, что ветер — вечный враг наш — может стать помощником. Научил натянуть над колесницами похожие на крылья шкуры и ткани, и колесницы сами побежали по пескам...

— Разве у иттов нет лошадей?

— Лошадям нужен корм, а его все меньше среди песков, ты знаешь это сам. Ветер же неумолим и не требует ничего... А еще мальчик рассказал, как разжигать огонь с помощью льда.

— Не может быть!.. О, простите, Фа-Тамир.

— Он научил нас рубить из ледяных глыб ровные круги с выпуклыми, как щиты тауринов, поверхностями. Эти поверхности женщины заглаживали мягкой кожей и теплыми ладонями до блеска. И поверь мне, Дах, я видел это сам — такой прозрачный круг собирает лучи солнца в жгучую точку, и она зажигает сухую траву...

— Это невозможно, Фа-Тамир...

— Но это так. Теперь наши мастера научились делать такие круги из ясных горных кристаллов и отливать из расплавленного песка. У этих нетающих льдинок есть еще одно непостижимое свойство. Когда смотришь сквозь них на мелкий предмет, он видится во много раз крупнее. Благодаря этому чуду наши собиратели знаний открыли множество тайн, которые раньше были скрыты от человеческого взгляда.

— Откуда такая мудрость в ребенке?

— Здесь много непонятного, Дах... Когда мальчик

ушел, король долго печалился. А теперь...— Фа-Тамир снова склонился к начальнику патруля. Услышав тихие слова, Дах долго молчал.

— Печальная весть,— наконец сказал он.

— Да. И потому я спешу. Спокойной стражи, Дах.

— Прощайте, маршал. Счастливого пути по Кругу...

* * *

...Фаддейка опустил таргу в карман. Он пятерней причесал вихры, заправил майку, натянул кеды. На Юлю не смотрел. Было заметно, что ему больше не хочется говорить о тарге. А Юле хотелось расспросить подробнее. Но она взглянула на часы и спохватилась: уже начало седьмого, а почта закрывается в семь.

Письма для нее на почте (конечно же!) не было. Просто свинство какое-то! По всем срокам ему полагалось прийти. Юрка должен был вернуться из плавания в середине июля и обещал написать немедленно. Ну ладно, знаем мы эти «немедленно»! Три дня на раскачку. Пускай еще задержка какая-то. Но все равно пора...

Вернулась Юля в унынии, за ужином была хмурая. Фаддейка куда-то умчался, и Юля была даже рада: не хотелось разговаривать.

Но когда она пришла к себе, легла не раздеваясь и начала грустно размышлять, что же с Юркой и с письмом, а Фаддейка возник в окошке, она обрадовалась. Потому что письмо, наверно, завтра придет, и сидеть одной весь вечер в тоске и печали — это уж чересчур.

Фаддейка высунул из-за подоконника голову и вопросительно кукарекнул.

Юля улыбнулась ему.

Фаддейка обрадованно взгромоздился в оконный проем и вдруг встал на подоконнике на голову, а прямыми, как трости, ногами в «языкастых» кедах лихо уперся в верхний карниз. Майка опять съехала на грудь.

— Откуда вы, сударь? — поинтересовалась Юля.

— «Сударь» опять смотрел кино вниз головой, — сообщил он, пребывая в перевернутом состоянии.

— Падай сюда, — пригласила Юля.

И Фаддейка со стуком рухнувшей поленницы свалился на пол.

ЮРКА

Деловито поплевав на ладонь, Фаддейка потер ушибленный локоть, уселся на подоконнике, свесил ноги, покачал ими. Проницательно глянул на Юлю.

— Почему ты кисло-вареная?

Юля не стала хитрить и отпираться.

— Письмо жду, а его нет.

— От кого письмо-то?

— Все тебе надо знать... От одного знакомого.

— От того моряка, да?

— Фаддей...— вздохнула Юля.— У тебя ногти не стрижены и пальцы в цыпках. Не лезь ими в мою страдающую душу.

Но Фаддейка полез:

— Он твой жених, что ли?

Юля скорбно сказала:

— Нахал. Иди, я тебе уши надеру.

— Пожалуйста...— Фаддейка хихикнул.— Если твоей страдающей душе будет легче от этого...

Он подошел, сел на край топчана, подставил тонкое розовое ухо с чешуйками облезавшей кожи.

Юля засмеялась:

— Сперва пыль с них отряхни... Ох и дурень ты, Фаддейка.

— Я же еще и дурень!

— А кто? Я?

— А может, я?... У всех девушек бывают женихи, и все почему-то делают из этого секрет. Смех, да и только.

Юля вдруг сказала с перепадом в голосе и настроении:

— Ох, Фаддейка, я секрета не делаю, просто это для меня самой секрет. Мы про такое с ним никогда не говорили.

Но она сказала неправду. Про такое говорили. Юрка говорил. Еще в девятом классе, весной. Он пришел к ней после футбольной свалки, которую сам деловито организовал с пятиклассниками на покрытом грязью и талым снегом пустыре. Штаны его были мятые и перемазанные, а старый школьный пиджак лопнул под мышкой.

— Зашей,— сказал Юрка.

Юля зашивала и пилила его за то, что такая верзила, а все как маленький. Он и в самом деле вел себя иногда, как первоклассник: прорезалась в нем такая октябрятская дурашливость. Но чаще было наоборот — рассуждал Юрка обстоятельно и умудренно. Тоже сверх меры.

Сейчас, из коридора, где Юрка чистил штаны, донеслось:

— Не скрипи, не жена еще.

— Че-го?— изумилась Юля.— Что значит «еще»?

— То и значит. Вот выйдешь замуж, тогда и ворчи.

— Это за кого я выйду? За тебя, что ли?

— А за кого же?— отозвался он хладнокровно.

Юля так и не поняла: настоящая это серьезность или скрытое издевательство. Он умел, Юрочка, под наивной невозмутимостью спрятать жало.

В любом случае Юркины слова были достойны всяческого негодования, и это негодование Юля бурно излила на нечесаную голову самозваного жениха и даже бросила в него через дверь тапочкой. Юрка снисходительно увернулся и проговорил, отряхивая брюки:

— Дак я не понимаю: чего ты бесишься-то? Я думал, это дело решенное.

— Что решенное, идиот?!

— Что мы в конце концов распишемся.— Он нагнул голову под второй свистнувшей тапочкой и пожал плечами: — Ты же сама никогда не спорила, если говорили «жених и невеста».

— Кто нам говорил такое?! Когда?!

— В седьмом классе еще...

— Не было такого ни разу!

— Было. За что я, по-твоему, Андрюхе Пылину шею мылил?

— Ты? Мылил? О, господи...

— Ну, значит, ты не помнишь,— миролюбиво разъяснил Юрка.— Было такое один раз... А может, ты и не знала.

— Дурень. Это же еще детство было. Мы тогда только познакомились.

...«Познакомились» — это неточное слово. Учились вместе они с четвертого класса. Но были друг для друга — что есть, что нет. Чем он мог быть интересен девочке, этот неразговорчивый тощий мальчишка — не-

стриженный, в потертых на коленях штанах, с исцарапанными и перемазанными краской запястьями, которые торчали из слишком коротких рукавов?

Впрочем, и Юля большой популярностью в классе не пользовалась. Тем более что в замшевых курточках в школу не ходила, в музыкальных записях не разбиралась, хотя отец и подарил ей на день рождения японскую «коробочку» знаменитой фирмы «Сони». Прозвище Спица в глаза Юле никто не говорил (за это можно было и плюху схлопотать), но за спиной кличка порой шелестела и не отлипала от Юли все годы.

Однажды в октябре, в седьмом классе это было, Юля дежурила в кабинете литературы. Она вытирала пыль на книжных полках и услышала разговор, который вела с тремя девчонками первая красавица класса Настенька Прокушина. Речь шла о ее, Настином, дне рождения, обсуждался список гостей.

— Надо и Спицу позвать,— предложила Настенькина адъютантша Светка Терещенко. Юлю девчонки не видели, ее закрывал стеллаж.

Анастасия Прокушина томно сказала:

— Девочки, мне не жалко, но она танцует, как отравленный страус. Что она будет у нас делать?

— На кухне поможет,— ехидно предложил кто-то.— А не позвать все-таки неудобно.

Светка добавила:

— У нее папа сама знаешь кто. Небось раскошется на такой подарочек, что ахнешь...

Юля, помахивая тряпкой, вышла из-за стеллажа.

— Можно просчитаться — сообщила она обалдевшим девчонкам — У папы служебные неприятности, его могут понизить в должности, тут уж будет не до подарочка. Так что я лучше в кино завтра схожу. Расходов всего полтинник на две серии, а смотреть на Клаудию Кардинале все-таки приятнее, чем на вас.

Анастасия обрела самообладание быстро. Ласково пропела:

— Юлечке хорошо На любое кино «детям до шестнадцати» можно без паспорта

— На «Мушкетеров» всех пускают,— хладнокровно отозвалась Юля.— Не всем, правда, это понятно: ни машин, ни красавцев в джинсах...

— И с кем это ты пойдешь? — ехидно поинтересовалась Светка.

— Да уж не с твоим Коленькой Каплуновым из восьмого «В».

— Он с тобой и сам не пойдет. У него каблучков таких не найдется, чтобы тебе хоть до плеча достать...

— Вот именно,— отрезала Юля и неожиданно сказала: — Шумов, пошли завтра на «Мушкетеров».

Юрка вытирал доску. Он был настолько «из других сфер», что девчонки при нем обсуждали свои дела не стесняясь.

Интересно, что Юрка не удивился. Согласился неторопливо и спокойно:

— Завтра? Ну, давай...

— Два сапога — пара,— хмыкнула Светка.

— Две оглобли — упряжка,— со вздохом уточнила Анастасия. А юркая и ехидная Танька Бортник довела характеристику до точки:

— Два столба — виселица.

— Пять куриц — суп с потрохами,— сообщила в ответ Юля и секунду размышляла, не пустить ли в Таньку тряпкой, но решила быть выше мелочей и гордо ушла из класса.

О разговоре с Юркой Юля забыла, тем более, что завтра ей полагалось идти на занятия в турсекцию Дворца пионеров. И она удивилась, когда Юрка подошел на следующей перемене и деловито спросил:

— Дак насчет кино-то как?

Ей сказать бы сразу: ерунда, мол, это я пошутила. А она с чего-то растерялась и хмуρο брякнула:

— Договорились же. Давай на четыре часа.

— Давай. Только ты билеты возьми сама, заранее. А то я смогу лишь к самому началу прийти, не раньше.

Тогда Юля рассердилась. То есть не очень даже рассердилась, а удивилась такому нахальству. И оскорбленно сказала:

— Балда! Его девочка в кино приглашает, а он: купи билеты!

С Юрки ее оскорбленность — как с гуся вода. Он объяснил вразумительно:

— Девочка должна понимать, что у меня завтра дел дома вот столько,— он чиркнул ладонью по тощему длинному горлу. И Юля вместо того, чтобы оскорбиться снова, вдруг согласилась:

— Ладно уж, раз ты такой занятой...

...Если бы она знала! Он появился у кино «Якорь»,

где шли старые «Мушкетеры», за две минуты до начала. И не один, а с двухлетней закутанной девчонкой, которая цеплялась за его штанину и смотрела снизу вверх преданными глазами-пуговками.

— Это что?— изумленно выдохнула Юля.

— Не что, а кто,— уточнил Юрка.— Маргарита.

— Зачем?

— А с кем я ее оставляю? Ясли на карантине, Ксенька вторую неделю в больнице с воспалением, мать мотается между больницей и работой...

Дребезжал уже второй звонок.

— Идем,— ледяным тоном произнесла Юля.

Маргариту пустили, конечно, без билета. Места были недалеко от края, Юрка сказал:

— Давай я ближе к проходу сяду. Две серии без перерыва, она все равно запросится...

Юля мысленно застонала и уставилась на экран, где еще ничего не было.

Маргарита оказалась покладистой девчонкой, не возилась и не хныкала, добросовестно таращилась на машущих шпагами мушкетеров и гвардейцев. Но в начале второй серии она в самом деле беспокоило забормotala Юрке в ухо. Что-то шепотом объясняя соседям-зрителям, Юрка выбрался из ряда, а через пять минут так же вернулся. Грузной тете, которая сердито шипела и не хотела подобрать ноги, Юрка внушительно сказал:

— У самой, видать, маленьких не было. Ребенок разве виноват?

Тетя задышала, как перегретая кастрюля-скороварка. Она была жутко противная, и Юркино поведение Юле понравилось. И слова его показались справедливыми. В самом деле, ребенок разве виноват? Досада на Юрку еще сидела в Юле, но к досаде примешалась непонятная виноватость. Юля оторвалась от кино и покосилась вбок. Освещенное экраном Юркино лицо — худое, с торчащими скулами — казалось бледным и даже чуточку красивым. Почти как у Атоса. А смирная Маргарита ласково посапывала, прижавшись щекой к Юркиной куртке.

И Юля прошептала:

— Давай, я ее подержу. У тебя, наверно, уже колени онемели.

И Юрка согласился:

— Подержи.— А обеспокоенной Маргарите сказал: — Не бойся, это Юля. А я тут, рядышком...

После кино, несмотря на Юлины возражения, Юрка с Маргаритой на плечах проводил Юлю до подъезда. Тогда она завела их к себе (тем более что Маргарита опять шептала Юрке на ухо), напоила чаем и сама проводила их до дома. Тогда Юрка оставил Маргариту с вернувшейся матерью и опять довел Юлю до ее подъезда..

Через месяц они как-то просто, ни у кого не вызвав удивления, стали для всех в классе «Ю в квадрате». Чаще всего это говорилось по-хорошему, без ехидства. Не все ведь были такие, как Анастасия Прокушина или глупый Андрюха Пылин..

...Но при чем тут женитьба?

Отношения с самого начала их были... ну, такие, которые старшеклассники с усмешкой называют «пионерскими». Так, по крайней мере, казалось Юле.

— Пень ты, Юрка, и чучело,— сказала Юля и швырнула ему зашитую куртку.— За будущими невестами ухаживают, их на руках носят и вообще...

— Тебя поносишь,— хмыкнул он.— А что «вообще»?

— Я же сказала... ухаживают...

— А я разве не ухаживал?

— Ты-то? Вот балда! Ухаживальщик! Мы даже

— Что?

Ее будто за язык дернули:

— Даже не целовались ни разу.

Она тут же перепугалась, а он сохранил спокойствие:

— За этим все дело стало? Вообще-то, по-моему, это предрассудок, но если тебе очень хочется...

— Больно надо... Юрка, ты чего? Уйди, балбес! Я кому говорю! Юрка, я стукну!.. Ну, ты с ума сошел?! Ма-ма-а!!

— Мамы же нет дома,— хладнокровно напомнил Юрка.

— Уйди, говорю! Ай!! Вон папа приехал!

За окном правда прошуршала отцовская «Волга»

— Пап всегда приносит не вовремя,— заметил Юрка, вытирая губы.

— Пошел вон, дубина! Видеть тебя не хочу!

— Ты же хотела мне еще штаны погладить,— напомнил он.

— Нахал!.. Поглажу, и убирайся. . .

...В восьмом классе все думали, что Юрка после экзаменов пойдет в ПТУ. Но он весной заявил, что останется в девятом. Это, конечно, всполошило и классную, и завуча — не подарок, мол. Но Юрка деловито сдал экзамены без троек и забирать из школы документы отказался. Попробовали вручить их почти насильно — тогда Юрка сказал, что не имеют права, и пообещал сходить к собору «Комсомолки». Газет завуч и директор боялись как чумы: недавно в «Молодом ленинце» была напечатана про школу статья: как «оптом» принимали здесь в комсомол сразу два седьмых класса и не приняли — по указанию завуча — лишь одного мальчишку. Речь шла о младшем брате Анастасии Прокужиной. В отличие от сестрицы, он был парнишка что надо и заступился за перепуганного первоклассника, которому громогласная тетушка-завхоз грозила за что-то немедленным изгнанием из школы, колонией и отрыванием головы. Это «вмешательство в воспитательный процесс» и разгневало завуча...

Услышав о соборе, от Юрки отступились. Но классная, которая считала откровенность своим большим достоинством, Юрке сказала при всех:

— Ты что, после школы в университет собрался? Из тебя студент, как из снежной бабы кочегар.

Юрка поблагодарил за остроумное сравнение и ответил, что куда он собрался, это его собственное, сугубо личное и никого других вот ни на столечко не касающееся дело.

Классная тогда выдала, уже не сдерживаясь:

— О матери бы подумал! В училище же стипендия, потом зарплата, стал бы помогать.

— Ничего, мы пока не голодаем, — хладнокровно сказал Юрка.

...Конечно, они не голодали. Но сказать, что у Юрки дома все благополучно, тоже было нельзя. Еще в седьмом классе, перед Новым годом, он зашел за Юлей, чтобы пойти в парк на лыжах, и вдруг вынул из оттопыренного кармана пачку трешек и пятерок.

— Спрячь куда-нибудь пока, а то потеряю.

Юля вытаращила глаза:

— У тебя откуда столько?

— У папаши получку забрал. — Юрка сказал это, как всегда, спокойно, только острые скулы его слегка затвердели. На секунду. Потом Юрка объяснил: — Он при-

шел и сразу — брык отсыпаться. Я и вынул. У него если деньги не забрать, может закеросинить с друзьями. А так проспится — и всё в норме... Ты не думай, он не так уж часто этим балуется, только с получки. Его приятели подбивают. Понимаешь, он хороший мужик, но бесхарактерный.

Юля слушала, мигая от удивления и неловкости. До сих пор она с такими жизненными драмами не стала кивалась. Немыслимо было, чтобы ее папа вернулся до мой пьяным.

Отец командовал большим строительным управлением, пропадал на своих «объектах», «мотал нервы» на работе и совершенно «не умел жить». Жить умела мама. Благодаря маме, у них был «дом, как у приличных людей». Именно она вовремя давала умные советы отцу: с кем знакомиться, где что говорить, что когда покупать и какие куда брать путевки. Отец отмахивался, но потом как-то незаметно соглашался. Это было проще, чем тратить время на споры. Несмотря на все различия с Юркиным отцом, папа тоже был «хороший, но бесхарактерный». На нем, по словам мамы, «ездили, как хотели».

Но однажды Юля услышала, как отец взорвался. Во время телефонного разговора. Он кричал сбивчиво, хрипло, безудержно швыряя слова. Словно все вокруг рубил шашкой:

— ...Но, черт возьми, почему я в мирное время должен постоянно «бороться»?! Не выполнять план, а «бороться» за него! Бороться с бетонщиками из-за их бракованных плит, которые пускать в дело не имею права, а вы заставляете! Бороться с Петряковым, который забрал у меня два крана, а требует сдачи корпуса к декабрю! Бороться с этим жуликом Сочневым, которого вы навязали мне в замы, а он крадет плитку для дач!.. Вы прекрасно знаете чьих!.. Нет, именно крадет!.. И с вашим собственным идиотизмом бороться надоело, потому что план планом, но в домах-то этих люди жить должны!

Он швырнул трубку, прошел мимо бледной мамы и очень спокойно сел смотреть телевизор.

— Всё,— в тихой панике сказала мама.— Это конец. Завтра он пойдет в дворники.

Но отец не пошел в дворники ни завтра, ни в следующие дни, хотя все знали, что говорил он так с че-

ловеком, чье имя в городе произносили с почтительным придыханием. Ничего плохого не случилось, даже «зама» Сочнева куда-то перевели...

Но через месяц отца увезли на «скорой» со вторым инфарктом. И не спасли...

Это случилось в сентябре, когда Юля и Юрка начинали учиться в десятом.

Все переменялось. Постарела и сникла мама. Пустой и чужой какой-то сделалась квартира с холодными, как льдинки, люстрами и громоздким югославским гарнитуром. Пропали куда-то знакомые...

Одно только изменилось к лучшему, если можно говорить так после всего, что случилось: мама, которая раньше Юрку едва терпела, сейчас встречала его доброй и немного виноватой улыбкой.

Юрка в те дни все время был рядом — молчаливый, мягко-деловитый и ненавязчиво ласковый...

Той осенью Юля навсегда перестала писать стихи. Здесь не было прямой связи со смертью отца. Просто она стала гораздо взрослее и серьезнее, однажды перечитала все свои сонеты и баллады о дальних островах и влюбленных флибустьерах и поняла, какая это чушь. На свете и так полным-полно скверных стихов (даже напечатанных), зачем же еще увеличивать и без того несметное их количество? Зачем маяться над глупо-напыщенными своими строчками, когда другие люди написали столько замечательных стихотворений и поэм?!

И романов!

И рассказов!

И вообще всяких удивительных книжек!

Книги Юля полюбила в те дни еще больше. И теперь в споре с самой собою все сильнее склонялась к решению, что быть ей не географом, не бродягой-геологом, а тихим и усидчивым работником библиотеки (а потом, может, и ученым-библиографом). Потому что в походах любила она не открытия, не находки всякие, не выкапывания минералов, а просто пути-дороги. И красоту этих дорог, лесов, озер и скал. Костры на привалах. Чуткие переборы ночных гитар среди дремлющих палаток. Утреннее солнце над росами и хитроватую желтую луну, что сквозь черные ветки поглядывает на притихших у огонька ребят... Но ведь такое любованье и бродяжничанье не сделаешь своей работой. А книги — это была целая жизнь. Надолго, навсегда.

До самой старости. Потому что, когда ты с книгами, — ты сразу с тысячами разных людей. А Юле были интересны все человеческие жизни, во все времена, хотя со стороны она казалась сдержанной и даже замкнутой. Не только с посторонними, а даже и с друзьями. В туристской секции Юлю Молчанову звали Молчулия, ловко соединив имя, фамилию и характер. А иногда и Гран-Молчулия — имея в виду ее рост и отличие от Пти-Молчулии — тоже очень сдержанной, но маленькой Юльки Карпенко...

Впрочем, сдержанность Юлины не была сумрачной. Иногда Гран-Молчулия на привалах дурачилась не хуже мальчишек-пятиклассников. И песни у костра пела вместе со всеми...

Библиотечную работу Юля не считала ни однообразной, ни «малопрестижной». На чужие суждения о «книжных червях» и «библиотечных крысах» плевать она хотела. А что зарплата будет так себе, то и здесь причин для тревоги она не видела. Проживет! Во-первых, при ее внешности лишние наряды все равно ни к чему. Во-вторых... несмотря на внешность, не будет же она до конца дней жить только с мамой...

А как она будет жить? Где?

Скорее всего, в каком-нибудь приморском городе. Лучше всего — на Дальнем Востоке. Светлая библиотека с застекленным фасадом будет стоять на склоне сопки — оттуда, с высоты, открывается вид на синюю бухту с белыми теплоходами, деловитыми буксирами и портовыми кранами... Конечно, среди множества судов Юля будет легко узнавать его корабль, когда он станет возвращаться из дальних рейсов... А пока он в рейсе, она будет ждать, грустить по вечерам, а днем выдавать неугомонным ребятишкам из соседних школ самые лучшие книги, проводить читательские конференции и... по выходным и во время отпуска опять же отправляться в походы по тамошним заповедным местам...

Помечтав так минут пять, Юля беспощадно обменяла себя за бестолково-детскую наивность, по-взрослому напоминала себе, что жизнь, скорее всего, окажется совершенно не такая: никаких библиотек над морем нет, мальчишки будут терять и рвать книги и курить потихоньку в библиотечном коридоре, времени на туристские развлечения не останется, а о н...

Он между тем, как и хотел, поступил в Калининградское высшее морское училище рыболовного флота. И приезжал на каникулы, сверкая шевронами и якорями (от блеска которых растопыривали глаза и распускали губы все знакомые и незнакомые девицы). Приезжал он нечасто и ненадолго — осенью и зимой отпуска короткие, летом — практика. Переписывались они аккуратно, однако письма получались суховатые и всё как-то о делах, а вовсе не о каких-то там чувствах. У нее — про училище и про то, где теперь бывшие одноклассники. У него — про занятия штурманскими науками и плавания. Но если в Юлиных письмах была скрытая неловкость и скомканность, то в Юркиных — спокойствие и краткая деловитость.

Ни о каких семейных планах Юрка не писал и не говорил. Даже в шутку. То ли считал прежние разговоры дурашливой болтовней (и думал, что Юля так же считает), то ли, наоборот, полагал, что все решено и нечего зря тратить слова. А может быть (Юля догадывалась об этом, все-таки она его характер-то изучила), он отчаянно стеснялся писать о главном. Несмотря на всю свою решительность, в каких-то вопросах он был до безобразия деликатен. Целоваться тогда полез, дубина такая, потому что вроде бы игра была, а потом, когда принес букет на день рождения, краснел, как эти самые розы...

В общем, поди разберись! Да и в чем разбираться? Откуда она взяла, что у Юрки есть к ней что-то, кроме обычного приятельского отношения? Если есть, мог бы сказать, в конце концов, а то чурка какая-то... И Юля прошлой осенью назло ему (а также потому, что любопытно и приятно) поддавалась ухаживаниям длинного изящного «политехника» Бори Шуйского, знакомого по туристскому клубу «Азимут». Значит, не такая уж она уродина, если Боря что-то в ней нашел!

Они ходили в кино, на выставку местной живописи и в кафе-дискотеку. И завистливые бывшие одноклассницы шепотом удивлялись им вслед.

А Юрка, прилетев на Октябрьский праздник, два дня спокойно и снисходительно смотрел на это безобразие. На третий день он встретил Юлю и Бориса в скверике у городского театра, и в руке у него был прямой железный стержень.

Юля обомлела от страха — и за Бориса, и, главное,

за Юрку: попадет балда в милицию и прощай училище. Но все кончилось очень деликатно. Юрка улыбнулся, взял под козырек, потом под носом у слегка побелевшего Бори крепкими пальцами завязал на восьмимиллиметровой проволоке изящный узел, который на флоте называется «беседочный», а у туристов и альпинистов — «булинь». Затем он подарил стержень с железным узлом Боре на память, а Юлю взял под локоть и сказал:

— Извините, у нас дела.

Обмякшая от переживаний Юля покорилась молча и только через сотню шагов жалобно сказала:

— Ох и нахал...

— Я понимаю,— сочувственно отозвался Юрка.— Нахал и хлыщ. Конечно, ты стеснялась ему это сказать, вот я и решил помочь.

— Ты нахал!— уже решительно уточнила Юля.

Юрка остался невозмутимым:

— Да? А я думал, что нахальство — когда человек приезжает на несколько дней, а у него под носом такой спектакль.

— Тебе не кажется, что это мое личное дело?

— Кажется. Вот я и не вмешивался в него целых два дня.

— А зачем вмешался?

— Ну...— Он еле заметно усмехнулся.— Я же понимал, что тебе это будет приятно.

— Нахал,— сказала Юля третий раз, потому что ей на самом деле было приятно (хотя и жаль чуточку Борю Шуйского).

Юрка снисходительно разъяснил:

— Я же понимаю: бывает скучно одной, поразвлекаться хочется. Я ничего, не против. Только знай меру..

Это было уж совсем чересчур! И Юля собралась выпалить Юрке все свои мысли о его бессовестной наглости. Но одумалась и только ехидно спросила:

— А ты там тоже «развлекаешься»?

— Там — некогда,— вздохнул он.

— Ах, только поэтому..

Он не обратил внимания на издевательскую нотку. Серьезно спросил:

— Как ты думаешь, куда распределение просить? Можно остаться в «Запрыбхолоде» на Балтике, можно на Тихий океан.

— А я почему знаю?

— На Восток лучше. Но больше хлопот, конечно. Стариков придется перевозить и девчонок... А твоя мама согласится?

— А... моя-то мама при чем?

— А ты что, одну ее тут оставишь?

— Нет, ты в самом деле чудовищный и безграничный нахал. Ты меня-то спросил?

Он посмотрел на нее, пожал плечами:

— Все-таки женская психика — загадка... Ладно, получи диплом, тогда уточним.

...Летом он приехать не смог — курсанты сразу после сессии уходили в дальнее плавание — аж до самой Канады. Готовилась международная гонка больших учебных парусников. Так она и называлась — операция «Парус». Юрка вызвал Юлю к телефону, слышимость была неважная, минут на разговор отводилось немного, и весь разговор этот свелся к тому, что Юля уедет в Верхоталье на практику, а он ей обязательно туда напишет. Потому что она ему писать не сможет: куда пошлешь письмо? «Атлантика, до востребования»?

— Ну и вот... — вздохнула Юля. — Было это в мае, а уже август к концу пошел. А писем нет ни одного... Я-то думала, их здесь целая пачка лежит... Может, случилось что в плавании? Ураган какой-нибудь...

— Если бы что случилось с «Крузенштерном», про это бы в газетах написали, — утешил Фаддейка. — Это же такой знаменитый корабль. Просто почта барахлит. Бывает... Юль, а у тебя его карточка есть?

Юля кивнула. Дотянулась до сумки, достала конверт, а из него — снимок.

Фаддейка разглядывал его недолго, но внимательно. Одобрительно сказал:

— Ничего он у тебя. Красивый.

Юрка не был красивый: скулы торчащие, нос сапогом, светлая клочкастая прическа. Но это был Юрка, и Юля не возразила. Кроме того, Фаддейка имел в виду, наверно, красоту курсантской формы.

— А это сестры его? — спросил он.

— Да... — Юрка был снят с обеими девчонками. — Они в нем души не чают. До десятого класса так и таскались за ним, как хвостики.

— Старшую как зовут?— деловито поинтересовался Фаддейка.

— Ксения... Славная такая. Маргарита вредная стала, как подросла, а эта спокойная, умница. Твоя ровесница.

— Вижу,— коротко ответил Фаддейка. Повертел в пальцах конверт.— Говоришь, писем нет, а это что?

— Это же старое еще, весеннее. И даже не мне, а сестрам, посмотри внимательно! Я конверт у девочек взяла, потому что индекс училища забыла...

— «Юль, он напишет, ты про это не бойся,— сказал Фаддейка.— Ты на него посмотри: это человек надежный.

СТАРАЯ МОНЕТА

Утром Фаддейки дома не оказалось. Кира Сергеевна объяснила, что раным-рано за ним пришли двое мальчишек с соседней улицы. Там они строят не то плот, не то фрегат с громким названием «Беллинсгаузен», и Фаддейка у них главный советник.

— А правда, что Беллинсгаузен ваш предок? — поинтересовалась Юля.

Кира Сергеевна только рукой махнула. Она была не в духе. Юля знала почему: у старшей дочери начались нелады с мужем, а сын написал, что после армии хочет остаться во Владивостоке: влюбился и думает жениться...

Когда Юля шла Песчаным переулком к берегу, ей показалось, что за деревьями мелькнула морковная майка. Но далеко было, не разглядела. А на углу Песчаного и Береговой она услышала скандальный крик:

— Ну чего ты! Чего надо! Пусти, балда лысая, все равно ничего у меня нет!.. Пусти лучше, я укушу!

У забора, за пыльными кустами желтой акации опять мелькала знакомая майка, да и голос был Фаддейкин. Юля ринулась через кусты.

Длинный, стриженный наголо парень держал Фаддейку за штаны, обшаривал его карманы и равномерно отпускал ему аккуратные щелчки. Фаддейка извивался и подпрыгивал. Один кед его слетел и застрял среди веток.

Юля скачком преодолела три метра и ладонью длинно, с оттяжкой, вытянула хулигана по упругой шее. Тот икнул, завалился в кусты и завопил:

— Ты что, идиотка! С перепоя, что ли?! Глиста бешеная!

Юля шагнула к нему. Парень сделал кувырок назад, проломился сквозь ветки и скачками бросился вдоль берега. Оглядывался и орал:

— Психопатка! Оба вы! Фадька, я тебе припомню!

Юля мчалась за ним, и оба бежали очень быстро, но Фаддейка догнал ее и повис на локте.

— Да подожди ты! Ну, стой! Не надо, он же понарошке!

Юля остановилась, запальчиво дыша.

— Что понарошке?

Фаддейка хмыкнул:

— Успокойся...

И пошел обратно, к злополучной лужайке в кустах. Встрепанный, измятый, без одного башмака. Майка скобочилась, гольфы сползли, один съехал с ноги наполовину и волочился по доскам тротуара.

Юля мигала и шла следом.

Фаддейка отыскал в ветках кед и покосился на Юлю. Стрельнул искоркой.

— Похоже получилось, да? Я его нарочно подговорил, а вообще-то он никогда не дерется. Это Санькин брат...

Юля еще шумно подышала, почистила платье и сухо спросила:

— Зачем такой спектакль?

Фаддейка вытряс из кеда сухие стручки, крепко дунул в него, старательно натянул кед на ногу, потоптался и глянул на Юлю с виноватинкой, но и опять же с искоркой.

— Я посмотреть хотел, что ты будешь делать.

Юля представила, как она выглядела в этой дурацкой погоне, и застонала про себя. А отвратительному Фаддею сказала:

— Хотел узнать, что я буду делать? Иди сюда...

Он засопел и подошел с послушным лицом. Юля крепко взяла его двумя пальцами за круглое холодное ухо. Фаддейка покорно зажмурился, но из-под ресниц левого глаза опять скользнула искорка.

— Ладно...— выдохнул Фаддейка.

— Что «ладно»?

— Дергай...

— Авантюрист рыжий,— сказала Юля. Отпустила ухо, заправила на Фаддейке майку, отряхнула от мусора

и сухих листьев пятнистые шорты и заодно хлопнула.— Нет, ты меня в гроб загонишь...

Он хихикнул, но тут же серьезно объяснил:

— Я хотел проверить, очень ли ты надежная...

Юля опять потянулась к облупленному уху. Фаддейка отскочил.

— Зачем тебе моя надежность? — сердитым голосом спросила Юля.

— На одно дело пойдем. Понимаешь, там риск.

— А ты меня спросил, пойду ли я «на дело»?

— Пойдешь, конечно.

— Фигушки. Опять на ночное кладбище или еще куда-нибудь. Или в плавание на вашем «Беллинсгаузене». Вместо мачты меня поставите... Нет уж, у меня морских предков не было.

— Это сухопутное дело,— успокоил Фаддейка.— Вечером узнаешь.

В конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече.

— Здравствуйте, Нина Федосьевна. Юля уже кончила работу?

— Забирай свою прекрасную даму,— улыбулась Нина Федосьевна.— Юля, а говорят, что рыцари на свете повывелись.

— Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? — Она увидела укоризненный Фаддейкин взгляд.— Ладно уж, молчу...

На улице Фаддейка зашагал впереди. Не к лестнице, а в другую сторону.

— Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут? — хмуро спросила Юля.

Не оглядываясь, Фаддейка объяснил:

— Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались... Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать! Щель узенькая, но я пролезу... Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится...

— Еще чего! Никуда я не пойду! И тебя не пушу одного!

— Вместе мы все равно не сможем, ты не пролезешь.

— Не выдумывай! — с непритворным страхом сказала Юля.— А если там обвалится?

Фаддейка оглянулся и поддернул шорты — они сползали под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана.

— Я мог бы ребят позвать, да не хочу раньше срока всем разбалтывать. Вдруг там открытие какое-нибудь...

Юля решительно заявила:

— Я сейчас утащу тебя к Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит.

На ходу Фаддейка небрежно разъяснил:

— Я посижу и скажу, что она вылетела. А как выйду — сразу сюда, один-одинешенек. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает.

— Ну что ты за бессовестное создание, — жалобно проговорила Юля...

Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернела щель — около метра в длину, а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее — надо или спуститься метра на три от основания башни на веревке, или снизу, от воды, забраться метров на пятнадцать по отвесу.

Фаддейка деловито и неумело начал обвязывать себя под мышками.

— Дай-ка, — обреченно сказала Юля и сделала ему альпинистскую страховку. — Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь...

— Да не бойся! Если там узко, я далеко не полезу.

Юля с нехорошим чувством и со вздохами забралась на обломки башни. Земляная площадка среди камней поросла пыльной травой.

— Хотя бы дал сходить переодеться... — уныло проговорила Юля и легла в эту траву в своем сером платье.

— Ага. И дома ты проговорила бы тете Кире, — проницательно заметил Фаддейка. — Держи веревку, я пошел...

Держать было нетрудно: весу в Фаддейке, как в котенке. Царапая о камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, Фаддейка начал спускаться по кладке

фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре. Над пятнадцатиметровой пустотой. Не пикнул.

«Ох, что я, дура, делаю», — подумала Юля. Но спустила Фаддейку до щели. Потому что была уверена: иначе он полезет один, без страховки.

Фаддейка воткнулся в щель плечом, поелозил, влез в нее наполовину. Потом выбрался опять, глянул снизу на Юлю и пообещал:

— Я далеко не пойду!

— Если что — дерни три раза, я поташу! А если я сама три раза дерну — значит, вылезай!

— Ага! Я пошел!

И он исчез. Двадцатиметровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях: видимо, проход был свободный, и Фаддейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины веревки.

Потом она перестала скользить.

— Эй, Фаддейка! Как ты там?! — крикнула Юля со страхом и без особой надежды, что он услышит. Кажется, из земных недр донеслось что-то вроде «уор-мр-м...» «Нормально»? Или слышалось?

Юля сосчитала до десяти, натянула шнур и решительно дернула три раза. В ответ она ощутила слабые рывки. Но сколько? Три? Или просто беспорядочная возня? Она перепуганно дернула снова! И веревка заскользила назад без сопротивления.

Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула, тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру.

Батюшки, что случилось? Веревка отвязалась, и Юля оставила Фаддейку без спасательного конца? Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлен осевшим камнем? Или задыхается под обвалом?

— Фаддейка-а! — отчаянно заголосила Юля.

И в ответ слышала удивительную тишину. Спокойную летнюю тишину, равнодушную такую... Только в бойницах развалившейся стены чирикали и копошились воробьи. Да на том берегу мычала корова.

И пусто кругом. Никогошеньки...

А если кто и будет? Чем поможет, как раскопает, эту каменную толщу? Как пролезет в щель?

— Фаддейка!! Где ты?!!

Ох как тихо! До звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния...

Зачем отпустила? Где он там? Живой еще? Или.. Ой, мамочка! А что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарников, горных спасателей? Где их взять?

Хоть бы он выбрался обратно! Ничего ей больше не надо! Ни письма от Юрки, ни диплома в училище, никакой счастливой жизни! Лишь бы Фаддейка оказался невредимый! Почему его нет? Сколько времени прошло? Пять минут? Час?

— Фаддейка-а!!

— Ну, чего ты так вопишь? — сказал он откуда-то сверху.

Юля дернулась и села в траве. Фаддейка стоял среди тонких березок на осыпавшемся гребне стены и смотрел оттуда, будто так и было задумано.

Миленький мой! Целехонек! Счастье-то какое! Скотина бессовестная! Чтобы я еще куда-нибудь с ним

Юля быстро шла через сорняки прибрежного сада. Фаддейка — шагах в трех позади — еле поспевал за ней И говорил:

— Ну чего ты... Ну, не хватило веревки, я и отвязал, а то ты сразу бы назад потянула. А там совсем свободно... Ну чего ты... Там сперва прямо, а потом вверх и вверх, а потом смотрю — светло... Ну, Юль...

Из-под глыбы гранита выбивался и бежал по бетонному желобку очень чистый ручеек. Юля перешагнула Фаддейка проскочил вперед, остановился на пути и сказал решительно:

— Умойся хотя бы. Большая такая, а вся зареванная

— Из-за тебя из-за дурака...

— Ну, из-за меня. Что теперь, так и будешь неумытая ходить?

— Дурак...

— Ну, пусть дурак. Все равно умойся.

— Не хочу с тобой разговаривать...

Юля вернулась к ручейку, присела, плеснула в лицо несколько пригоршней. Вода пахла вялыми тополиными листьями. Юля вздохнула и стала умываться как следует. Сквозь мокрые пальцы взглянула на Фаддейку. Он

стоял в трех шагах и хлестал мотком веревки по кри-
вой садовой скамейке. И смотрел куда-то в сторону.
И был весь такой сердито-обиженный, шея тонкая, майка
в пыли и глине, а в рыжих космах — земляные крошки
и, кажется, сухие пауки. Щеки и руки-ноги тоже пере-
мазаны землей.

Юля платком вытерла лицо и сказала мимо Фаддей-
ки:

— Еще и дуется...

Он обрадованно стрельнул в нее глазами.

— Сама дуешься.

— Знаешь, что мне хочется с тобой сделать?

— Ага! — с готовностью отозвался он. — Опять за
ухо!

— Нужны мне твои уши... Выстирать бы тебя, вы-
жать и высушить на веревке. Чтобы и мозги заодно
прополоскались и проветрились... Иди сюда.

Фаддейка подошел с дурашливо-покаянным лицом.
Юля отряхнула его вихры и майку. Мокрым платком
стала вытирать нос и конопатые щеки. Фаддейка фыр-
кал и жмурился, но не спорил. Потом пробубнил в пла-
ток:

— Сама не знаешь, чего перепугалась.

— Тебя бы на мое место! Я такого натерпелась...

— Когда ты успела? Я там три минуты был!

— Балда, это для тебя три минуты. А для меня три
часа... Брысь!

Она повернула его, хлопнула платком по шее, зарос-
шей желтым пухом. Фаддейка потер шею и насуплен-
но сказал, не обернувшись:

— Даже не спросила, что там такое в этой дыре.

— Дыра — она и есть дыра. Насквозь. Чтоб такие
шалопаи лазили.

— А вот и нет! — Он обернулся и прищурил правый
глаз. — Там подземелье! Комнатка такая с кирпичным
потолком. Там, наверно, раньше казна хранилась.

— Обормотов таких туда сажали... Пошли домой.

— Я хотел там все внимательно осмотреть, да по-
думал, что ты волнуешься...

— И на том спасибо...

— Хватит уж рычать-то, — сказал Фаддейка серьез-
но. — Смотри, что я там нашел.

Он запустил руку в отвисший карман и протянул
Юле на растопыренных пальцах темный кружок. Неров-

ный, шириной во всю его ладошку. Пряча любопытство и все еще с недовольным видом, Юля взяла находку. Это была монета. Тяжелая и такая большущая! К ней крепко присохли чешуйки сухой земли и кирпичной пыли, зеленели пятнышки медной окиси, но Юля сразу разглядела вензель Екатерины Великой: букву Е, перечеркнутую римской цифрой II, корону и всякие завитки по краям.

— Ух ты... — прошептала Юля и перевернула монету. Потерла платком. На другой стороне какие-то два зверя — не то лисы, не то куницы — стояли на задних лапах и держали свиток с мелкой надписью:

Де
сять
копе
екъ.

А по кругу шли четкие большие буквы:

МОНЕТА СИБИРСКАЯ

Внизу были выбиты цифры: 1772.

— Вот это старина... — Юля с уважением покачала на ладони медную тяжесть. — И громадная. Ничего себе гривенничек, да, Фаддейка?

Он довольно хмыкнул.

— А что за звери здесь? — спросила Юля. Она радовалась и находке, и тому, что можно уже не сердиться.

Фаддейка снисходительно объяснил:

— Соболя. Потому что такие деньги специально для Сибири и для Урала делались... Это не такая уж редкость, здесь их часто находят...

— Все равно интересно...

— Ага!.. Я ее знаешь как нашел? Локтем зацепился, посветил, а она торчит между кирпичами. Если кирпичи разобрать, там, наверно, еще есть. Может, целый клад.

— Ты что, еще раз туда собираешься? — снова перепугалась Юля.

Он засмеялся:

— И не раз даже. Там от стены-то совсем свободный проход, только никто про него не знал... Да ты не бойся, это я потом, с ребятами... Ну, чего ты такая прямо вся осторожная? А еще первый разряд по туризму!

— Это же у меня разряд, а не у тебя...

Юля еще раз опасливо вздохнула и протянула Фаддейке монету. Он сказал:

— Возьми ее себе.

— Да что ты! Это же твоя находка... Такая интересная.

— Вот и возьми, раз интересная... Ну, чего ты? Если не возьмешь, я ее с берега кину. Честное пионерское! — Он решительно свел реденькие рыжие брови.

— Ну... тогда ладно, — смущенно сказала Юля. И усмехнулась: — «На память»... Как посмотрю на нее, так и вспомню про весь сегодняшний страх.

— Хватит уж об этом, — ворчливо отозвался Фаддейка. — Пошли домой.

— Сперва на почту зайдем.

— Не работает почта. Все в колхоз уехали морковку дергать.

— Откуда ты знаешь?

— Объявление висит. Я сегодня ходил туда, видел.

Юля про себя засомневалась: не сочиняет ли? Может, просто не хочет идти лишние три квартала? Или боится, что она опять не получит письма и расстроится.

— Что ты там делал, на почте-то?

— Письмо хотел отправить... Пошли! — Он зашагал впереди Юли, помахивая веревкой.

Юля недоверчиво сказала ему в спину:

— Кому это ты письма пишешь?

— Ну, кому... Маме. А что такого?

— Да нет, ничего, — смутилась Юля. — Просто я подумала, что на нашей улице тоже почтовый ящик есть.

— А я заказное решил послать, чтоб надежнее. А то она не пишет и не едет. Давно уже обещала приехать...

— Скучаешь? — осторожно спросила Юля.

Фаддейка сказал с усталой ноткой:

— А ты как думала...

Кира Сергеевна по-прежнему была не в духе. Увидев перемазанного Фаддейку, она обратила глаза к небесам и спросила, за что ей на старости лет такое наказание. Небеса остались безмолвны. Тогда тетя Кира заявила:

— Бери таз, снимай всё и стирай. Хватит с меня. И есть не проси, пока не выстираешь.

Это было не очень-то логично: есть он никогда не просил, приходилось загонять за стол силой.

— Подумаешь...— хмыкнул Фаддейка.

Через несколько минут он в одних плавках танцевал во дворе у табурета с большущим тазом. Разлеталась пена и снежными хлопьями садилась на листья рябин. А мыльные пузыри уплывали под ветви разлапистой ели — будто ель заранее примеряла новогодние украшения из прозрачных шариков. От вечернего солнца в них играли рыжие искры, словно там сидели крошечные Фаддейки.

Юля подошла:

— Давай помогу.

Фаддейка презрительно дернул худыми лопатками:

— Чего помогать? Первый раз, что ли...

Кира Сергеевна, проходя рядом, заметила:

— Никакой другой одежды не признаёт, всё ему рыжее надо. Вредина...

Юля села на перевернутый ящик и полушутя заступилась за Фаддейку:

— Нет, он добрый. Он мне сегодня подарок сделал. Вот...— Она показала Кире Сергеевне монету. И сразу испугалась: чуть-чуть не проговорила о сегодняшнем приключении.

Кира Сергеевна, однако, расспрашивать не стала. Покосилась на монету и заметила:

— И впрямь... Целый год с этим сокровищем носился, а тут взял да подарил.

Юля поглядела на замершую Фаддейкину спину, потом на Киру Сергеевну. Потом на монету. Затем снова на Фаддейку, который согнулся над тазом. По спине его шел большой муравей, но он не шевелился.

Надо было, конечно, деликатно промолчать, но Юля не сдержала удивления и досады:

— А говорил, что... говорил, что сегодня нашел на берегу.

Фаддейка деловито выкрутил майку, развесил на веревке и ушел в дом. Ни на кого не взглянул.

— Вы его слушайте больше,— сказала Кира Сергеевна.— Сочинитель... Эту деньгу ему в прошлом году Василий подарил, когда был на каникулах. Соседский сын, студент. Фаддейка тогда за ним по пятам таскался...— И она ушла.

Юля молча погладила монету мизинцем. Было и не-

ловко, и Фаддейку жаль, и... приятно тоже: отдал свое сокровище ей, не пожалел... Но сейчас он, кажется, крепко обиделся.

Фаддейка вышел в накинутаой на плечи старой школьной курточке: видно, зябко ему стало. Опять подошел к тазу. Юля тихо сказала:

— Ты нё сердись. Я же не знала, что ты нарочно...

— Что нарочно? — спросил он, бултыхая в тазу штаны

— Ну, вся эта история. С подземельем... Только непонятно, зачем ты мне голову морочил.

— Обиделась...

— Нисколько. Наоборот... Так даже интереснее. Только зачем было такой страх устраивать?

— Я же не знал, что не хватит веревки!

Юля с сомнением спросила:

— Ты что? Хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?

Он обернулся:

— Конечно! Там до меня никто не был! Не веришь?

— Наверно, не очень верю, — честно призналась Юля.

Фаддейка пожал плечами. Выжал шорты, аккуратно развесил рядом с майкой и гольфами. Сверху ему на волосы аккуратно опустился маленький мыльный пузырь. Посидел и лопнул. Фаддейка вытер о курточку ладони и проговорил с укоризной:

— Все-таки ты ужасно большая. Ну, то есть взрослая. Ничему не веришь... И что я на почту ходил сегодня, не поверила.

— Про почту поверила, — смутилась Юля.

— Не сразу... Все изводишься из-за письма от своего Юрочки...

— Фаддей!

— Что «Фаддей»? Я же сказал, что будет письмо, только потерпи, а ты опять не веришь.

Юля печально сказала:

— Если бы знать, когда тебе верить...

— Всегда, — решительно ответил Фаддейка.

— Ага! И насчет монеты? — не удержалась Юля «Ой, что меня за язык дергает? Ведь он же подарил, не пожалел, а я...»

Фаддейка неторопливо подошел к Юле. Еще раз вытер о курточку руки. Взял Юлины ладони, раскрыл их. На левой лежала монета, его подарок. Фаддейка запустил

пальцы в нагрудный карман, вытащил другую монету, положил на правую ладонь. И молчал.

Монеты были очень похожи. Только вторая, Фаддейкина,—гораздо чище. Фаддейка колупнул ногтем грязную.

— Сравни. Не видишь разве: эта только что из земли.

Юля посидела, глядя на могучие медные гривенники. Прижала их ладонями к щекам — тяжелые и холодные. Жалобно попросила:

— Фаддейка, ты меня прости.

Он засопел, отобрал у нее монету — свою, чистую — и приставил к правому глазу, как монокль. А левый глаз прищурил, стрельнул искоркой и показал Юле язык. Потом вдруг спросил, подбросив монету:

— А похожа она на таргу, верно?

КТО Я ТАКОЙ?

Все-таки Фаддейка уговорил Юлю переправиться через Талью вброд. Вечером, когда шли из библиотеки. И они переправились — где прямо по твердому песчаному дну, где по камням, где по плоским островкам, вылизанным волнами. Лишь раз Юля соскользнула с валуна и макнула в реку подол. А Фаддейка ускакал вперед, оглядывался, постреливал золотой искоркой и подавал советы.

— Сам не бултыхнись,— отозвалась Юля.

— Со мной ничего не будет,— хвастливо заявил он. И судьба наказала его. На берегу, на деревянном тротуаре, он зацепился ногой за щепку, и острый конец воткнулся ему в большой палец.

Фаддейка зашипел и сел на корточки. Зажал ногу

— Ну-ка, покажи. Допрыгался,— морщась, проговорила Юля.— Покажи, говорю... убери лапы! — Она выдернула занозу, выдавила побольше крови. Фаддейка страдальчески сопел.— Нечего пыхтеть, сам виноват... Перевязать надо.

— У меня платок есть...— Он выдернул из кармана мятую пятнистую тряпицу.

— Убери эту заразу...— Юля раскрыла сумку. По давней походной привычке она всегда носила с собой моток стерильного бинта.— Ну-ка, дай... Не дергайся...

Через минуту на месте пальца красовалась ярко-

белая култышка. Фаддейка с удовольствием пошевелил ею и сказал:

— Годится...— И пошел впереди Юли, ступая на пятку. Снятыми морковными гольфами стегал по верхушкам сорняков.

— Прививку бы сделать,— нерешительно сказала Юля.— Щепка грязнушая.

Фаддейка пренебрежительно шевельнул спиной.

— В меня знаешь сколько уже всяких укулов навтыкано? И от столбняка, и от заражения. А в прошлом году даже от бешенства. Меня какая-то незнакомая псина тяпнула на рынке... Почему-то меня собаки не любят...

— Собаки, они знают, кого любить, а кого нет,— сумрачно объяснила Юля.— Иди осторожней, а то опять напорешься.

— Собаки не такие уж умные. Если хочешь знать, лошади в сто раз умнее. Вот смотри...

У кривых ворот стояла гнедая брюхатая кобылка — она привезла телегу с сеном. Фаддейка бросил в траву обувь, нашарил в кармане серый от пыли кусок сахара, подошел к лошади и протянул ей угощение. Та нагнула голову, взяла губами сахар с ладони, захрумкала. Фаддейка бесстрашно обнял ее за шею, прижался веснушчатой щекой к лошадиной морде. Кобылка ласково косила глазом. Фаддейка сказал Юле:

— Видишь? Меня здесь каждая лошадь знает.— И погладил на кобылкиной морде белое пятнышко...

Когда пришли домой, Фаддейка без приглашения просочился в пристройку, сел на чурбак и глянул на Юлю внимательно.

— А ты чего надутая? Из-за пальца моего? Или потому, что опять письма нет?

— Потому что письма,— призналась Юля.— Каждый день хожу на почту, как дура. Даже стыдно.— Она с ногами села на постель и обняла колени.

— Будет письмо, вот увидишь...

— Откуда ты знаешь? — грустно усмехнулась Юля.— Ничего уже не будет.

— А ты откуда знаешь, что не будет?

Юля шмыгнула носом и сказала Фаддейке просто и честно то, что думала:

— Я далеко, а там красивых девушек много. А я некрасивая.

Фаддейка прошелся по ней деловитым взглядом, будто с кем-то сравнивал.

— Нет, ты это зря. Кто тебе сказал, что ты некрасивая?

— Эх ты, Фаддейка...— вздохнула Юля.

— Нет, в самом деле...— Он опять глянул деловито и оценивающе.— Конечно, ты не такая красавица, как в кино. Но у тебя глаза красивые. И рот...

— Я жердина...

— Не жердина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети.

— Чего-чего? — Юля спустила с постели ноги и заморгала.— Слушай, Фаддей, я тебя сейчас выдеру.

— Вот тебе и на!..— Он блеснул золотистым глазом.— Я-то причем? Это мама говорила. Не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню...

— Тете Соне и рассказывай такие вещи!

— А она и так знает... Она сама знаешь какая? Великанша кривоногая, а дочка у нее красавица. В музыкальной школе учится и на концертах выступает... Только ну ее...

— Почему?

— А она такая...— Фаддейка взял пальчиками края выпущенной майки, как подол платица, и повертел талией.— Вся из себя модная. Я таких не люблю.

Юля загнала внутрь усмешку.

— А каких любишь?

Фаддейка опять глянул на нее, будто с кем-то сравнивал, но тут же отвел глаза и сказал серьезно:

— Ну... таких, как мама. Она у меня по правде красавица...— Он снова пустил глазом насмешливую искорку и сморщил нос.— А я вот уродился такое чучело.

Юля засмеялась:

— Ты не чучело, ты хороший...

— Конечно, хороший,— согласился он без лишней скромности.— Хорошее чучело.

— Просто ты Фаддейка,— сказала Юля уже без смеха.— Такой как есть. Единственный и неповторимый.

— Да...— Он кивнул, сел рядом с Юлей, покачал ногой с забинтованным пальцем. Повернул к Юле лицо, и оба глаза были теперь темные и беспокойные.— А почему я Фаддейка?

Юля удивилась его неожиданной тревоге.

— А что здесь плохого? Ты же сам говорил, что это имя тебе нравится.

— Да я не про имя... Почему я — это я?

Юля непонимающе вздохнула.

— Ты про такое никогда не думала? — требовательно спросил Фаддейка. — Я про это первый раз на коленно подумал. Не тогда, когда с тобой, а раньше...

— Объясни-ка получше... — Юля сморщила лоб.

— Про это трудно объяснить... Я многих спрашивал, а они не понимают.

— Я попробую понять.

— Ну вот, слушай. Я — это я. Внутри себя. На свете очень много людей, разных. Но они вокруг, а не во мне. А тот, который во мне... тот, который все видит и понимает... и все чувствует, почему он — Фаддейка, а не кто-то другой? Почему так случилось, что я — это именно я? Понимаешь?

— Кажется, да... — тихо сказала Юля. — Но так про себя, наверно, каждый думает. И я думала. Но уже давно... И немножко не так, по-своему...

— Но все-таки ты меня понимаешь? — спросил он с нажимом.

— Угу... — осторожно отозвалась Юля.

Фаддейка облегченно откинулся к дощатой стене и растянул в улыбке рот.

— Вот и хорошо. А то кроме тебя только один человек понимал. Художник...

— Какой еще художник? — сказала она ревниво.

— А приезжал сюда в прошлом месяце. Старинные места рисовал. Молодой и бородатый. Хороший такой, из Новосибирска, Володя... Я ему помогал этюдник таскать, вот мы и разговаривали.

— Про что же вы разговаривали? — спросила Юля, думая о бородатом Володе со странной досадой.

— Ну, про такое же... как с тобой. Он мне знает как объяснил про людей? Что это нервы вселенной.

— Что-что?

— Ну, вот так... Наша Земля и все планеты, и все звезды, и галактики — это все будто живое. Только оно само это сперва не знало. Потому что, чтобы знать, надо ведь видеть и слышать, а для этого глаза и уши нужны. И мозги, чтобы понимать. И нервы, чтобы чувствовать. Вот и появились у вселенной такие нервы. Люди.

— Надо же...— сказала Юля непонятым для себя самой тоном. Но Фаддейке, видно, послышалось одобрение.

— Ага... И я тогда подумал, что, если человек умирает, это не так уж страшно. Для других, конечно, печально, а самому бояться не надо. Ну, подумаешь, один маленький нервик отомрет! Все равно вселенная останется живая...

Юля быстро придвинулась к Фаддейке и, будто защищая его, сказала:

— Нечего тебе про умирание думать. Рано еще.

— Да это я так. Ну, попутно... А главное, я всё про то же думал. Пускай я нерв. Но почему именно э т о т? Тот, которого зовут Фаддейка? Как-то непонятно... Юль! А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком... Вселенная ведь бесконечная, у нее времени сколько хочешь, я успею. И может, каждый человек так? А?

— Ой,— сказала Юля искренне.— Я не знаю... А что хорошего быть каждым подряд?

— Интересно же.

— А сколько всяких злодеев на свете было и сейчас есть. Например, Гитлером разве интересно быть?

Фаддейка снова покачал ногами. Потерся ухом о поднятое плечо.

— Я про это тоже думал... А Володя говорит, что люди, как нервы, бывают всякие. И больные бывают. Всякие плохие люди — это больные нервы вселенной. А я ведь... не больной же...

— Нет, конечно,— успокоила Юля.— Фаддейка... А с кем ты еще про такие вещи рассуждал? Или только со мной и с этим Володей?

— С мамой еще...

— А она что?

— А она все объяснила...— Левый глаз Фаддейки опять заискрился.— Она говорит: «Сперва тебе не кем-то другим надо делаться, а самим собой. А то сейчас ты — даже и не ты, а растрепанная. Причешись, отмой уши и колени и пойдем твое дупло в зубе лечить...» Ой-ей-ей.

Юля засмеялась:

— Видишь, как все просто. Не то что у твоего бородатого философа.

— Он не философ, а художник... Он мой портрет нарисовал. Почти одними рыжими красками...— Золотистый глаз Фаддейки засиял.

— А где этот портрет?

— Он с собой увез. Говорит, на выставку.

Юля разочарованно вздохнула.

— А мне он тоже оставил,— утешил Фаддейка.— Только другой, поменьше. Карандашиком нарисован. Хочешь, покажу?

— Покажи...— Юля была уверена, что портрет непохожий. Как можно изобразить на листе живое Фаддейкино лицо? Если бы еще знаменитый художник, а то какой-то неизвестный Володя...

Фаддейка, прихрамывая, убежал.

Юля встала и подошла к зеркалу. Опять толкнулось в сердце прежнее беспокойство.

«Почему я — это я?» — спросила Юля у себя в зеркале. Правда, почему она — это она? Была бы она не Юля, а курсант Юрий Шумов! Тогда она (то есть он) взяла бы и не мешкая написала письмо с адресом: «Верхоталье, до востребования, Молчановой Юлии». И все в этом письме объяснила бы честно. Если уж конец всему, то конец. Это лучше, чем так вот маяться...

«Да не очень-то я и маюсь,— сказала она себе.— Что я ему не нужна, это и так понятно, чего уж тут... Просто окончательной ясности нет, оттого и настроение кислое...»

Весело прихромал Фаддейка с альбомным листком.

Юля снисходительно взяла бумагу. И не удержалась — расплылась в улыбке.

Это был хороший портрет. Чего зря придирааться, замечательный был портрет. Фаддейка, нарисованный густыми карандашными штрихами, смеялся как живой. И даже искорка в глазу блестела.

— А ты не верила,— усмехнулся Фаддейка.

— Да, хороший он художник,— со вздохом сдалась Юля.

— Это мне на память о нем,— сообщил Фаддейка и потянул листок. Кажется, он догадался, что Юля готова попросить портрет в подарок.

Она смутилась, почуяв его догадку. И недовольно сказала:

— Смотри, повязка на пальце съехала. Правильно мама говорит: растрепа...

Утром, выйдя на крыльцо, Юля услышала небывалое: Фаддейка ревел. Из открытого кухонного окошка доносились всхлипы и канючащий, противный (но, безусловно, Фаддейкин) голос:

— Ну, чего ты сочиняешь, что нету?! Сама говорила вчера, что пенсию получила, а теперь — нету!

Кира Сергеевна отвечала что-то негромко и наставительно. Фаддейка плаксиво взвизгнул:

— И ничего не дурь! Не понимаешь, а говоришь! Раз я говорю, значит, мне ее надо!

Кира Сергеевна опять сказала что-то ровно и непреклонно. Фаддейка, перебивая себя всхлипами, заголосил:

— Ну, какая еще рубашка! У меня их куча, я их все равно не ношу-у... Ну, чего ты вы-ду-мы-ваешь!..

Юле стало неловко за Фаддейку, и жаль его, и встретившись она. И подумала, что лучше бы не соваться в чужие семейные дела. Но не выдержала, шагнула в кухню. Увидала мельком зареванное веснушчатое лицо и стесненно сказала:

— Здравсте, Кира Сергеевна... Фаддей, ты это что?

Он дернулся, отвернулся к окну и, растопырив острые локти, начал мазать ладонями по щекам.

Кира Сергеевна, не повышая голоса, объяснила:

— Новая блажь засела в голове. Увидел вчера в «Детском мире» губную гармошку, гэдээровскую. И вот: тетя Кира, купи! А зачем?

Фаддейка дернул спиной.

— «Зачем, зачем»! Сама, что ли, не знаешь, для чего гармошки делаются?

— Ты погуби мне еще...

Фаддейка опять шумно всхлипнул. Юля посмотрела на его спину с невольным сочувствием. Кира Сергеевна это сочувствие тут же заметила.

— Юленька, да вы не подумайте, что мне жаль, если для дела. Но он же подует в нее полчаса и забросит или отдаст кому-нибудь... У него же ни капли музыкальных данных.

— Ох уж, «ни капли»! — вредным голосом сказал Фаддейка и длинно засопел.

— Ни единой капельки, — решительно повторила Кира Сергеевна. — Юля, вы не слышали еще, как он песни поет? В соседних дворах куры дохнут!

— Тебе чужие куры дороже, чем родной племянник! — с отчаяньем произнес Фаддейка и тихонько завыл. Видимо, его самого потрясла такая мысль.

Но Кира Сергеевна не дрогнула.

— Не куры и не племянник, а семь рублей. Они на дороге не валяются.

— Ну чего ты, «семь рублей» да «семь рублей»! Мама придет и отдаст!

— Мне отдаст, а тебе задаст. Чтобы не выдумывал. Она сама от твоих песен мигренью страдала.

— Это потому, что у меня голоса нет. А играть я научусь...

— При чем тут голос, у тебя слуха нет!.. Юля, ну как ему объяснить?

— Ох, не знаю,— жалобно сказала Юля.— Фаддейка...

Он обернулся, зыркнул на нее мокрыми глазами и выскочил из кухни.

— Ничего. Развеет дурь и придет,— пообещала Кира Сергеевна. Без особой, впрочем, уверенности.

Позавтракали в неловком молчании. Юля чувствовала себя невольной изменницей перед Фаддейкой, хотя вроде бы причины не было. Наконец она с облегчением ушла из-за стола и отыскала Фаддейку во дворе за поленицей. Он сидел на бревнышке, все еще тихонько всхлипывал и сердито отдирал от колена корочки старых ссадин. Юлины шаги он слышал, но не обернулся, только настороженно шевельнул оттопыренным ухом.

Юля сказала его кудлатому затылку:

— Чего уж так расстраиваться... Ну, хочешь, подарю я тебе эту гармошку?

Фаддейка подскочил, повернул злое измазанное лицо.

— Еще чего! Не вмешивайся в это дело!

Он опять сел спиной. Юля постояла рядом и сказала:

— Ну и пожалуйста...

В библиотеку Юля пришла с нехорошим осадком на душе и работала вяло. Перед обедом дала себе слово не ходить сегодня на почту, а в перерыв, конечно, пошла. Привычно упала духом, узнав, что письма нет, лениво пообедала в «Радуге» и снова села разбирать бесконечный каталог.

В четыре часа с улицы донеслись протяжные звуки, будто на разные голоса сигналил десяток автомобилей. Нина Федосьевна, которая больше всего ценила тишину и порядок, судорожно дернулась к окну. Потом взялась за виски и скорбно сообщила, что «на нас движется Фаддей Сеткин с духовым инструментом».

Фаддейка возник на пороге, и гармошка в его пальцах сияла хромированными боками. Сам он тоже сдержанно сиял, только в глубине глаз угадывалось смущение.

— Выпросил все-таки,— укоризненно сказала Юля.

— Ага,— Фаддейка улыбнулся еще лучезарнее.— Только при одном твердом условии: во дворе и дома не играть. Тетя Кира сказала: «Иди на берег и там репетируй сколько хочешь».— Он задумчиво потянул гармошку к губам.

— Я вполне разделяю точку зрения тети Киры,— поспешно сообщила Нина Федосьевна.— Юленька, вы сегодня провернули такую гору всего! Забирайте музыканта и идите отдыхать.

— И это будет отдых? — Юля выразительно посмотрела на Фаддейку.

Он аккуратно вытер гармошку подолом майки и сунул ее за ремешок. Дурашливо вытянул руки по швам.

— Пошли, Святослав Рихтер,— сказала Юля.— До свидания, Нина Федосьевна. Я уведу его подальше...

Они зашагали по берегу к лестнице, и Фаддейка ворчливо проговорил:

— Между прочим, Рихтер играет на рояле, а не на гармошке.

— Между прочим, я это знаю... Ну, научился чему-нибудь?

Фаддейка уклончиво сказал:

— Не всё сразу. Думаешь, это легко?

— По-моему, это ты думал, что легко,— поддела Юля.

— Не... Просто мне очень надо.

— А по-моему, это дурь...

— Не знаешь, так не говори,— огрызнулся он.

Юля примирительно сказала:

— Ну ладно, тебе виднее... Только знаешь что?

— Что? — буркнул он.

— Не обидишься, если скажу?

— Откуда я знаю заранее? Говори уж...

— Все-таки это было ужасно,— со вздохом призна-

лась Юля.— Сегодня утром, когда ты ревел. Даже стыдно смотреть...

— Не смотрела бы,— огрызнулся Фаддейка. Но, кажется, без обиды, а так, для порядка.

И Юля попросила:

— Пожалуйста, не делай так больше, ладно? А то ты на себя становишься непохожий. Будто не Фаддейка, а... не знаю кто.

Он ответил очень неожиданным тоном. На ходу взял Юлю за руку, заглянул в лицо, сказал печально:

— А если нет никакого выхода... Если очень надо, а ничем больше не добьешься, только слезами?

Юля хотела ответить насмешливо, но смутилась. Потемневшие были у Фаддейки глаза, без искорки.

— Неужели уж так тебе «очень надо» было эту гармошку? — неловко сказала она.

— Ты же не знаешь... Мне ведь не просто играть на ней надо, а одну песню выучить. Чтобы запомнить.

— Что за песня?

Он глубоко вздохнул, и при этом вздохе гармошка вывалилась из-за пояса. Фаддейка опять сердито вытер ее о майку.

— Ты вот спрашиваешь... А как я объясню? Названия я не знаю, петь не умею. Вот и хочу научиться мотив играть.

— А слова знаешь? Про что песня-то? Откуда?

— Из телевизора. Я ее два раза слышал. Про рыжего коня...

Два дня Фаддейка не провожал Юлю утром и не заходил за ней вечером. А в открытые окна библиотеки иногда залетали с берега звуки, напоминающие скандальную переключку катерных сирен. На третий день, собираясь домой, услышала Юля отчетливую и довольно правильную мелодию «Чижика-пыжика». Она обрадовалась: наконец-то Фаддейка достиг осязуемых успехов! И пошла на звуки гармошки через гушу берегового сада.

Фаддейка сидел на лавочке под старым кленом. А рядом с ним — темноволосый пацаненок лет восьми. Аккуратненький такой, красиво подстриженный, в рубашке с рисунком из разноцветных бабочек. Он-то и наигрывал на Фаддейкиной гармошке.

— Здравствуйте, музыканты,— сказала Юля. Темно-

волосый музыкантик испуганно встал и протянул гармошку Фаддейке. Тот нахмурился, сунул ее в нагрудный карман на мальчишкиной рубашке с бабочками. Сказал мальчику:

— Договорились же.— И деловито кивнул Юле: — Пошли.

На лестнице Юля не выдержала, усмехнулась:

— Подарил?

— И не подарил вовсе, мы поменялись. Вот на значок...— Он ткнул пальцем в грудь. К оранжевой майке был прицеплен значок с парусным корабликом.

— Ну-ну...— сказала Юля.

— А чего... У него способности, а у меня все равно не получается.

— Тетя Кира задаст тебе за гармошку.

— Да она только рада будет!.. А значок-то смотри какой: шлюп «Восток».

Назавтра, в середине дня, Фаддейка ворвался в библиотеку:

— Юля, включи телевизор!.. Здрасте, Нина Федосьева, можно включить?

Он кинулся к старенькому «Рекорду» в углу тесного читального зала и напугал двух первоклассниц, которые листали «Мурзилку». Прошелся вихрь. Юля грудью легла на разобранные карточки каталога, Нина Федосьева подняла пальцы к вискам:

— Фаддей Сеткин...

Фаддейка лихо крутил регуляторы.

— Сейчас эта песня будет! Юля! Я дома смотрел, и как раз этот хор начался... Я скорей сюда! Мы успеем! Вот...

На старчески мигающем экране появилась шеренга ребят в белых рубашках и одинаковых жилетках. Они пели знакомое:

От улыбки хмурый день светлей...

Фаддейка поморщился:

— Это пока не то. Другая песня будет...

Девочка с капроновыми бантами улыбнулась во весь телевизор и голосом отличницы объявила:

— Песня из школьного спектакля «Наш эскадрон». Музыка Володи Хлопьева, слова Игоря Конецкого. Солисты Слава Охотин и Юра Кленов.

Два мальчика Фаддейкиного возраста, переглядываясь и немного смущаясь, подошли к микрофону. Юля сразу решила, что беленький и глазастый — Слава, а растрепанный и большеротый — Юра. Она пожалела, что телевизор не цветной: Юра наверняка был рыжий, вроде Фаддейки.

Ударили аккорды пианино. Фаддейка напружинился, вцепился в спинку стула. Мальчишки разом вздохнули, и голоса их — громкие и чистые — начали песню, которую Юля никогда не слыхала:

Вновь тревожный сигнал
Бьет, как выстрел, по нервам,
В клочья рвут тишину на плацу трубачи.

Хор вступил незаметно, не заглушая солистов:

И над дымным закатом
Планета Венера
Парашютной ракетой повисает в ночи.

Беленький Слава посмотрел с экрана прямо Юле в глаза и запел очень высоко и звонко:

Рыжий конь у меня —
Даже в сумерках рыжий,
Опаленный боями недавнего дня..

Фаддейка коротко вздохнул. Юра Кленов тряхнул волосами и поддержал Славу:

Как ударит копытом —
Искры гроздьями брызжут,
И в суровую сказку он уносит меня..

Хор запел:

Эта сказка пришла
Вслед за пыльными маршами —
Колыбельная песня в ритме конных атак.
Детям сказка нужна,
Чтобы стали бесстрашными,
Взрослым тоже нужна —
просто так,
просто так.

Совсем незнакомая и немножко странная была песня. И наверно, хорошая, раз у Юли пошел по спине холодок. Мальчишки-солисты переглянулись и запели одни: снова про рыжего коня... А потом опять хор:

И, как знамя, летят
Крылья алого солнца,
Кони в яростном беге рвут орбиты планет
И по звездным степям

Мчится звездная конница.
Почему же меня с вами нет,
с вами нет..

Фаддейка опять коротко вздохнул и двинул стулом
Незнакомые Слава Охотин и Юра Кленов пели:

Рыжий конь у меня —
Даже в сумерках рыжий...

Когда песня кончилась, Фаддейка решительно
щелкнул тумблером. Не хотел он других песен. Лицо
его побледнело так, что веснушки казались черными.

— Ну? — требовательно сказал он Юле. — Что?

Он взял ее за руку и утянул к окну.

— Замечательная песня, — сказала Юля. — Что тут
говорить ..

— Вот видишь. А ты мотив запомнила?

— М-м... Немножко.

— Ты мне споешь потом?

— Ну... какая я певица? И слова я все не вспомню.

— Я их помню, я тебе напишу! Споешь? Мне эта
песня знаешь как нужна!

Юля поняла, что не время спорить. Бывает в жизни,
что человеку отчаянно нужна любимая песня.

— Я постараюсь, — сказала она.

Фаддейка облегченно вздохнул, как-то обмяк и стал
прежним Фаддейкой. Брызнул искоркой из левого глаза
и предупредил:

— Имей в виду, я слова тебе сегодня же напишу.

— Ладно... Там очень интересные строчки есть:

И над дымным закатом
Планета Венера
Парашютной ракетой повисает в ночи.

— Ага... А на Марсе нашу Землю видно, как у нас
Венеру. Тоже в лучах солнца. Только Земля — голубая..

* * *

Солнце скатилось за плоские гребни дюн, и голубая
звезда переливалась и разбрасывала игольчатые лучи.
В сторону заката и звезды рысью шел табун рыжих
коней. Вожак точно выбирал дорогу, и лошади, не за-
медляя бега, огибали песчаные заносы. Их копыта глухо
гремели о закаменевшую потрескавшуюся землю. Не-
смотря на сумерки, гривы отливали оранжевым светом.

Три всадника смотрели вслед табуну.

И где они берут пищу в этих мертвых местах? — тоскливо спросил молодой воин. Он был из Лесной стороны и не мог привыкнуть к пескам и камню.

— Находят, — отозвался старый Дах. — Есть трава среди песков. Можно прокормиться, если все время быть на ходу, искать..

— Они дикие, у них чутье, — сказал второй воин.

— Не дикие, а одичавшие, — хмуро поправил Дах. — Когда-то у них были хозяева.

— Может быть, скоро во всех краях останутся только одичавшие кони да песчаные кроты, — тихо проговорил тот, что из Лесной стороны.

— Может быть. Если этого захотят Владыки Звездного Круга, — проговорил старый Дах и поплотнее закутался в плащ.

— Владыкам Звездного Круга не до нас, — возразил второй воин. Он не должен был возражать командиру, но здесь, в глуши, не всегда помнили о дисциплине.

Дах не ответил. Опять приближался ровный гул. Это, обходя пески, шел по каменному плато еще один табун...

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

Небо утром оказалось очень синим, но в нем густо бежали маленькие пегие облака с серыми животами. Солнце то и дело выскакивало из облаков и тогда на сморщенной ветром воде вспыхивали охапки искр. Но все равно было зябко. Ветер дул с севера. Он сгибал проросшие сквозь песок длинные травинки. Юля шла вдоль узкого пустого пляжа и поеживалась.

Песчаная полоса тянулась по плоскому берегу. Заречья. Вдоль нее был проложен к мосту деревянный тротуар. На песке рядом с тротуаром сиротливо торчала телефонная будка. Юля каждое утро ходила мимо этой будки и всякий раз думала: «Кажется, это единственный в Верхоталье телефон-автомат, да и тот не работает».

С металлических переплетов будки чешуей облезала желтая краска. Когда-то сверху донизу будка была застеклена или забрана листами пластика. Но теперь стекло и пластика почти не осталось, и стенки были заделаны кусками фанеры и жести. А внизу на дверце темнел пустой квадрат. Иногда в этом квадрате Юля

видела бродячего белого кота со светящимися глазами. Но сегодня кота не было. Зато в темном квадрате переступали и терлись друг о друга ноги в незашнурованных кедах и съехавших морковных гольфах (видимо, эти ноги неласково обдувал залетавший в будку ветер).

Юля удивилась и даже встревожилась: «Что он там делает?» Она чуть не остановилась, но потом быстро прошла мимо и только шагов через десять оглянулась. В боковой стенке был выбит верхний квадрат. В нем Юля увидела Фаддейкин разлохмаченный затылок и плечи. Фаддейка делал то, что и полагается делать в телефонных будках: прижимал к уху трубку и что-то говорил в прикрытый ладошкой микрофон. Долго говорил... Юля недоуменно пошарила глазами по воздуху. Нет, проводов у будки не было. Подземный кабель? Здесь о них, наверно, и не слыхали. Она отошла еще шагов на двадцать и за стволом векового тополя пять минут ждала, когда Фаддейка выйдет из будки.

Он зашагал к мосту, поддавая ногами большущую хозяйственную сумку. Юля подождала еще и заспешила к будке.

Конечно, телефон былдохлый. Снятая трубка ответила каменным молчанием, диск на ободранном кожухе поржавел и еле вращался. Юля пожала плечами, покачала головой. И пошла следом за Фаддейкой, который далеко впереди подпрыгивал, как тонкий оранжевый поплавок на речной ряби.

Она догнала его на мосту. Он не удивился, заулыбался, не сбавляя шага. Ветер трепал красно-апельсиновые вихры.

— Ты куда так рано? — спросила Юля.

Он опять пнул сумку в клеенчатый бок.

— На рынок за капустой. Скоро мама приедет, тетя Кира хочет пирожки с капустой нажарить. Мама их с детства любит. А ты любишь?

— Ага. С молоком... Я тебя в телефонной будке видела. Ты, наверно, на вокзал звонил? Насчет поезда?

Фаддейка перестал улыбаться. Стал смотреть перед собой и словно отгородился дверцей. Наконец сказал:

— Не... Не на вокзал.

— А куда? — рассеянным тоном спросила Юля. Но в душе уже выругала себя за это фальшивое равнодушие и дурацкое любопытство.

Фаддейка шел чуть впереди и будто не расслышал вопроса. Лишь через минуту он сказал сумрачно:

— Телефон же не работает...

Тут уж ничего не оставалось, как удивиться:

— А что же ты там делал?

Он быстро глянул на Юлю через плечо. И вдруг улыбнулся, но не как обычно, а легонько, уголком рта

— Я так просто говорил. Ну, «как будто»... Играл.

— А! — обрадовалась Юля. Такому простому объяснению обрадовалась и Фаддейкиной доверчивости. — Тогда ясно. А я так удивилась...

Он посопел и сказал, будто оправдываясь:

— По-всякому ведь можно играть... Что такого...

— Конечно... А с кем ты разговариваешь, когда играешь? Или секрет?

— Иногда секрет. Иногда нет...

Юля выжидательно молчала.

Фаддейка пнул сумку усерднее, чем раньше, и тихо сказал:

— Несколько раз с мамой разговаривал... если долго писем нет...

— Это уже не игра, — вздохнула Юля и осторожно взяла его за плечо. — Если нет писем...

— А бывает, что поговоришь, а завтра письмо.

— Правда?

— Ага! — откликнулся он. И добавил тише: — А еще с Володей иногда разговаривал. Ну, с тем художником. Потому что мы про многое не успели поговорить... И еще с разными людьми...

— Фаддейка... — сказала Юля.

— Что?

— А со мной... когда я уеду, будешь разговаривать?

Он замедлил шаги и опустил голову. Пнул попавшую под кеды арбузную корку. («И кто это ел арбуз прямо на мосту?» — подумала Юля.) Мост пружинил. Ветер летел вдоль реки и покачивал его. И хватал за ноги зябкими мохнатыми лапами.

Фаддейка сказал виновато:

— Я же раньше тебя уеду...

— Ой, правда, — опечалилась Юля.

Они перешли мост и по ветхим дощатым ступенькам стали подниматься к воеводскому саду. Из гуши деревьев торчали каменные шатры башен, и вставала над берегом острая Покровская колокольня. Облака

летели, и остатки позолоты на маковке загорались короткими вспышками. Фаддейка обогнал Юлю, оглянулся, покачался на шаткой дощечке и сказал:

— Вообще-то мне не хочется уезжать. Тетя Кира могла бы записать меня в здешнюю школу...

— Так оставайся!

— Мама не даст. Боятся, что здесь хуже учат, чем в больших городах.

— Наверно, она просто соскучилась по тебе,— заметила Юля.

— В сентябре она все равно на семинар в Москву уедет... А я ведь не все время здесь хотел учиться, а только первую четверть. Здесь осень знаешь какая красивая! Все сады рыжие и красные...

«Как ты»,— мысленно улыбнулась Юля.

— Как я,— весело сказал Фаддейка. И добавил уже другим голосом, серьезным: — И как леса на Марсе.

— Какие леса? — удивилась Юля.— На каком Марсе?

— Обыкновенные леса на обыкновенной планете Марс,— проговорил Фаддейка слегка отчужденно.

— Откуда они там взялись? Ученые доказали, что там одна пустыня. Красные пески и камни.

— Да,— сказал он.— А леса где-то тоже есть. К северу от пустынь. Также красные. Вот такие,— он дернул себя за майку.

— Ох и фантазер ты...

Он снисходительно усмехнулся и не ответил.

На верхней площадке лестницы они остановились передохнуть. Шумели старые березы и клены. Острая колокольня возносилась прямо над головами. По ее шатру пролетали тени быстрых облаков. И по Фаддейкиному лицу, когда он глянул вверх, тоже летели тени и солнечные зайчики.

Глянула на колокольню и Юля.

— А хорошо мы туда слазили, да, Фаддейка?

Он серьезно кивнул. И вдруг сказал:

— Я там ночевал один раз. Год назад.

— Да? А... зачем, Фаддейка?

Он досадливо пошевелил плечами.

— Не знаю я. Чего спрашивать...

— Ну, не сердись. Ты же сам сказал.

— Я не сержусь. Просто я не знаю... Легко объяснять, если одна причина, а если они все вместе, если много их... Ну, во-первых, человек знакомый уехал...—

Фаддейка с опущенной головой медленно пошел по садовой тропинке. Юля пошла следом, ни о чем не спрашивая. Оранжевые завитки волос вздрагивали над облупленными Фаддейкиными ушами и на тоненькой шее, покрытой желтым пухом.

— Жил тут мальчишка на каникулах,— сказал Фаддейка, не обернувшись.— То есть не мальчишка, большой уже, из техникума... Мы подружались тогда. Вместе в подземный ход лазили под стеной. Не тот, в который я недавно, а в другой... Потом он уехал, а я... Ну, я же не уехал, остался... У тебя так бывает: когда печально, хочется забраться куда-нибудь?

— Сколько угодно,— торопливо отозвалась Юля. Она обрадовалась, что Фаддейка так ее спрашивает, хотя незнакомый мальчишка из техникума вызвал у нее ревнивую досаду — как художник Володя.

— Вот я и полез... Но это лишь одна причина. А еще много всего было. Хотелось узнать: как это — ночь и высота?

— Поближе к звездам побыть,— понимающе сказала Юля.

— Да нет... До звезд — это разве ближе? Каких-то сорок метров. Просто интересно: что думается, когда весь город спит, а ты выше всех над землей?

— Совсем один, да?

Он опять не согласился:

— Наоборот. Будто вместе со всеми. Внизу-то всех не видеть, а тут сразу целый город перед глазами. И огоньки... И поезда бегут... Везде люди. И будто я их всех охраняю, как старинный часовой на башне... А потом еще месяц в небо вылез. Будто мы с ним вдвоем всю землю сторожим...

— А не страшно там одному ночью? Я бы померла от ужаса.

Он помотал рыжими космами:

— Не-а... Я сперва тоже думал, что страшно будет. Вот поэтому еще и полез. Когда страшно, это ведь тоже интересно... Но я забрался, когда еще светло было. Темнеет-то не сразу, и я помаленьку привык.

— Я бы ни за что не привыкла,— искренне сказала Юля.

— Может, привыкла бы... А среди ночи почти все огоньки погасли и месяц куда-то пропал. Я думал: ну, вот теперь будет страшно. А все равно ничего. Потому

что звезды сделались яркие-яркие... Вот тогда они в самом деле будто ближе... И тут всякие мысли полезли. Но тоже не страшные...

— А какие?

— Всякие. И тогда та самая мысль первый раз появилась: почему я — это я? Помнишь?

— Помню... Тут уж, конечно, бояться некогда...

Он быстро оглянулся на нее:

— Ага... А потом я Марс отыскал. Сперва думал, что это сигнальный огонек на трубе, на электростанции. А потом смотрю — он плывет. Красная такая звезда. Вот жалко было, что бинокль не взял с собой.

— Разве в бинокль планету можно разглядеть?

— Все-таки лучше, чем просто так. Видно, что кружок. На копейку похожий...

Юля вспомнила:

— Когда я маленькая была, у нас дома был альбом про космос. И там цветные снимки планет, и Марс тоже есть. Размером с яблоко. И на нем разные пятна видны, полярные шапки и каналы. Только сейчас ученые доказали, что это обман зрения: на самом деле никаких каналов нет.

Фаддейка сказал спокойно:

— Конечно, нет. Это остатки стен.

— Каких стен? Фаддейка, что ты опять сочиняешь?

— Не сочиняю. Это защитные стены, чтобы удерживать песок, не пускать его на леса и поля. Про Великую Китайскую стену слышала? Вот на Марсе такие же, только еще больше... Но они уже разрушены, потому что люди там тыщу лет воюют и воюют, строить им некогда... Не хочешь — не верь...

Юля чуть не ответила, что она, может, и поверит, если Фаддейка объяснит, откуда он все это взял. Но поняла, что объяснять он не станет. Фаддейке уже хотелось рассказать о другом. Его лицо засветилось.

— А утром такая заря была! И солнце такое... Громадное! И свет по земле, по деревьям — как волны. И петухи во всем городе заорали. Целая петушинная симфония... — Фаддейкины глаза сияли, и золотая искра озорно дрожала рядом с янтарным зрачком. — Я тогда знаешь что сделал? Высунулся и тоже как заору по-петушину! Над всей землей!

Юля засмеялась, представив, как Фаддейка разносит с колокольни бесстрашное «ку-ка-ре-ку!» и волосы пламенеют, будто петушиный гребень.

Он тоже засмеялся:

— Мне даже спать расхотелось...

— А ты что, всю ночь не спал?

Фаддейка поежился:

— Успишь там.. Среди ночи такой кусачий холод сделался..

— А ты не взял ни одеяла, ничего теплого?

— Я телогрейку взял тети Кирину. Да сразу-то не подумал, что она короткая. Закутаешься — ноги торчат, ноги завернешь — спине холодно. Знаешь, как зубами стучал под утро... — Он опять зябко дернул спиной.

— Ты и сейчас зубами стучаешь, — строго сказала Юля. — Почему ты раздетый? У тебя что, кроме этой майки и штанов надеть нечего?

— Просто мне такой цвет нравится.

— Зачем тебе обязательно этот цвет?

— Надо, — строго сказал Фаддейка.

— Надо — не надо, а мерзнуть не годится.

— Да я и не мерзну. Я это... как его... холодоустойчивая порода.

— Ох уж! А сам то и дело сопишь... Вот что, возьми-ка мою ветровку. Это ничего, что длинновата, рукава подогнем.

Юля была уверена, что Фаддейка возмутится. ходить в таком балахоне! Но он только спросил:

— А как же ты?

— У меня в библиотеке куртка есть! — обрадовалась Юля. — Стройотрядовская. Ты за меня не волнуйся.

Просторная коричневая ветровка оказалась Фаддейке до колен. Он послушно ждал, пока Юля подворачивала рукава. Ветер дергал подол ветровки. Фаддейка запахнул ее на груди, покрутил головой и плечами и сказал со странным удовольствием:

— Как боевой бушлат песчаных пехотинцев Лала.

— Каких пехотинцев?

— Да так. Ты не знаешь, — чуть насупился он. Но тут же улыбнулся. То ли Юле, то ли себе.

Вместе они подошли к библиотеке. С высокого крыльца было видно все Заречье. На плоском берегу, почти у самой воды, Юля разглядела телефонную будку. Отсюда она казалась крошечной.

— Я пошел,— вздохнул Фаддейка.— Тетя Кира ка-
пусту ждет... Хочешь, я вечером зайду за тобой?

— Хочу, конечно... Фаддейка, послушай...

— Что?

Не надо было спрашивать, но у Юли как-то вырва-
лось:

— А с кем ты сегодня разговаривал там, в будке?
Если, конечно, не секрет...

Она тут же испугалась, что Фаддейка рассердится
на такую назойливость. И решит, чего доброго, что Юля
требует откровенности в обмен на куртку.

Но Фаддейка не рассердился. Он только опять пнул
сумку и сказал очень серьезно:

— Вот это как раз секрет.

* * *

...Узловатый высохший ствол был добела выскоблен
летучим песком. Кора с него давно облезла, ветки осы-
пались, и лишь пара крепких сучьев торчала, напоми-
ная скрюченные руки. На высоте плеча темнело дупло —
будто разинутый рот древнего идола, каких находят иног-
да в песках Бурого Залесья.

Старый маршал подержал у щеки витую раковину
песчаного моллюска и опустил ее в дупло. Сел на коня.
Заправил под кожаный нагрудник бороду, чтобы не тре-
пало ветром. Дах молча наблюдал за ним. Он и маршал
понимали друг друга без слов. С того дня, как Фа-Та-
мир взял начальника патрульной сотни в помощники,
они не сказали друг другу и сотни фраз. Но сейчас
Дах не выдержал. В его широких, не боящихся песка
глазах светилось мальчишечье любопытство.

— Вы и правда говорили с ним, Фа-Тамир?

— Да. И не первый раз...

— Сколько чудес в нашем старом мире...

— Он, оказывается, не так уж стар...

Дах молчал, но смотрел вопросительно.

Маршал сказал:

— Сет недоволен, что мы упустили бывшего команди-
ра песчаных волков. Это грозит бедами, потому что
волк Уна-Тур растоптал обычаи.

— Он не уйдет далеко.

— Может уйти. Он разведчик и знает дороги.

— Мои всадники тоже знают дороги... Сет не вер-
нется?

Маршал не ответил.

Маленькое колючее солнце уже коснулось песков. Дрожали в лиловом небе редкие звезды. В поредевшем лагере и на башнях крепости зажигались огни.

СЕТ

— Ты все-таки ужасно примитивно мыслишь,— заявил Фаддейка. Выдав такую неожиданно солидную фразу, он съехался на подоконнике, подтянув колени к самым ушам, и стал смотреть в окутанный сумерками двор.

Юля фыркнула — насмешливо и с обидой. Фаддейка опять повернулся к ней.

— Ну, посуди сама... Я же не утверждаю, что я настоящий марсианин. Просто я говорю, что у меня, наверно, что-то есть... ну, такое, марсианское, в крови. Может, кто-то из предков был марсианин. Прилетел, а вернуться к себе не смог. Еще в прошлые века. Ну, женился тут на ком-нибудь, вот и пошло...

— То Беллинсгаузен, то марсианин,— язвительно сказала Юля. От того, что за окном хмурый вечер, и от того, что нет письма, было ей грустно, и в грусти этой проклевывалась какая-то ядовитая нотка. И Юля, сама того не желая, подедала Фаддейку.

У него-то, у Фаддейки, было нормальное настроение, доверчивое. Он пришел, завел задумчивый разговор о том, о сем и наконец признался Юле, что он марсианин. Ей бы, дуре, обрадоваться, что он доверил такую тайну, а она хмыкать начала. Будто это даже не она, а кто-то другой в ней сидит. Ну, Фаддейка наконец тоже выпустил колючки. Однако разговор не прекратил, сказал сердито:

— Не хочешь — не верь. Только я тебе по правде, а ты...

— Но как ты докажешь, что это правда?

— Потому что я много раз там все видел!

— Ты что, летал туда? Или там родился?

Вот тогда он и выдал ей про примитивное мышление.

Потом, когда еще поспорили и скучная ядовитость у Юли незаметно растаяла, Фаддейка проговорил миролюбиво:

— Может, это по-научному все можно объяснить.

Может, это у меня память такая... по наследству... Или как она еще называется, если от предков?

— Генетическая?

— Ага! Как у Аэлиты! Помнишь, она на Марсе сны видела про голубое небо и про земные облака? Потому что ее предки были с Земли. А я, может, наоборот. Конечно, про Аэлиту — это придумано, а со мной по-настоящему. Наверно, с моими предками это все было, а мне вспоминается... Разве так не бывает?

— Ох, Фаддейка... — вздохнула Юля, но уже не насмешливо, а удивленно. И даже чуточку испуганно: за него почему-то испугалась.

А он быстро повернулся, свесил с подоконника ноги, уперся ладонями в косяки и посмотрел Юле в лицо. Темновато так посмотрел, без искорки. И спросил медленно:

— А если это не с предками было, а со мной? А?

— Да ну тебя, — сказала Юля, по спине ее прошел холодок, как тогда, от песни...

А Фаддейка вдруг улыбнулся, постучал пятками по гулкой стене и проговорил уже слегка дурашливо:

— Спорим, что я по правде был на Марсе.

— Не буду я спорить. Если был — расскажи...

— «Расскажи»... Это трудно.

Юля прогнала непонятную зябкую боязливость и, подыгрывая Фаддейке, попросила:

— А ты начни по порядку. Как ты попал туда первый раз?

— Первый раз? Это странно получилось... В общем, я попал туда с марса.

— С Марса на Марс?!

— Ну да... Не с планеты же! Марс — это марсовая площадка на корабле. На мачте. Не знаешь, что ли? А еще жених — моряк на паруснике...

— Фаддей! Я правда за ухо..

— Сама просила — расскажи!

— Не про жениха ведь!.. Ты сам-то на корабле как оказался?

— Это когда я был юнгой у Беллинсгаузена на шлюпе «Восток».

— Тьфу... — в сердцах сказала Юля.

Фаддейка глянул удивленно. Потом сказал покладисто:

— Ну ладно, не верь. Мы ведь сейчас не про это..

Считай, что я так играл... В общем, это было в Атлантическом океане, ночью, когда еще шли в тропиках... Тепло там и темно, и звезды большущие. Я забрался на марсовую площадку, чтобы... ну, короче говоря, так захотелось...

— Как на колокольню,— тихо и уже совсем серьезно подсказала Юля.

— Да! А там... ну, на высоте всегда как-то по-особенному, не то что внизу. И я стал глядеть на звезды, и Марс тоже увидел. Я долго смотрел... А он... Понимаешь, он начал приближаться, только не сразу, сперва незаметно. А потом все быстрее. И превратился в шар, будто красная луна... Знаешь, почему так вышло?

— Почему, Фаддейка?

Он опять поколотил пятками по стенке. Вдохнул:

— Я думаю, потому, что он — Марс, и площадка — тоже марс. Вот они и притягивают друг друга, ведь все родное друг к другу тянется.

— По-моему, это ты к нему тянулся.

— Ну, наверно... раз я марсианин... Потом от него по волнам дорожка побежала, светлая такая, как от луны, только оранжевая. Даже не по волнам, а будто по воздуху, прямо к марсовой площадке. И я уже сам не знаю, как на этой дорожке оказался и бегу по ней... Она твердая такая и звонкая, будто медными листиками посыпана... Сперва мне было хорошо, весело, ничуть не страшно. А потом как-то сразу — холод, небо такое... как паста в фиолетовом фломастере. И красные пески. И камни...

— А дальше?

— Потом много всего случилось... Там и хорошее было, но много печального. Вот ты, наверно, опять скажешь, что я придумываю. А если бы я придумывал, я бы уж что-нибудь повеселее сочинил, побольше интересных приключений и поменьше грустного...

— А что там грустного?

— Много. Потому что планета в то время уже совсем гибла от предательства.

— А кто ее предал?

— Сами люди, ее жители... Потому что воевали, воевали... Если война, это ведь всегда предательство для планеты.

— А почему они воевали?

— Ну, ты задаешь вопросы! Почему люди воюют?

Ты у них спроси... Для этого и на Марс не надо летать... Хорошо еще, что там нет урановой руды и они до бомбы не додумались. Да и вообще до всякой взрывчатки не додумались, только луки и всякие метательные машины. Как у нас в древности... Но все равно знаешь сколько народу погибло! Почти вся планета опустела. И стены разрушились. И песок стал засыпать леса и озера... Юль...

— Что?

— А ты могла бы нажать кнопку?

— Какую кнопку?

— Будто не понимаешь.

— А при чем тут кнопка?.. Ты же сам сказал: там нет урановой руды.

— Юль, я ведь не про «там». Я про колокольню Юля смотрела встревоженно и вопросительно.

— Я тебе тогда не про все рассказал, как я на колокольне... Там ведь всякие мысли были. Даже дурацкие..

— Ну... какие? — осторожно спросила Юля.

Фаддейка неровно, толчками, сделал глубокий вдох, опять забросил ноги на подоконник и обнял колени. Сказал, уткнувшись в них носом:

— Вот ты представь хорошенько. Город весь спит, огоньков почти нету... И будто вся Земля спит. А я один не сплю, будто у ракетного пульта. И у меня приказ через пять минут нажать кнопку. И вот уже совсем другая сделается Земля. Половины Земли вообще не будет, только огонь... Ты могла бы нажать?

— Фаддейка, ну ты чего это сегодня? — жалобно сказала Юля. — Зачем про такое?

Он тихо попросил:

— Ты не вилай, а скажи: смогла бы?

— Нет, конечно...

— А если бы тебе расстрел грозил за то, что приказ не выполнишь?

— Ну и... Нет, Фаддейка, все равно не смогла бы.

— По-моему, никто нормальный не смог бы... А ведь есть люди, которые могут. Даже без расстрела, а просто так.

— Это не люди, а психи.

— Я и говорю... Значит, все мы висим на ниточке из-за психов?

— Ну... не такая уж тонкая ниточка, — со старательной бодростью проговорила Юля.

— Юль, а ты согласилась бы умереть, если бы ска-

зали: вот ты сейчас умрешь, а за это на Земле больше никогда не будет войны?

— Конечно,— искренне сказала Юля, хотя по спине опять прошел холодок.

— Я бы тоже. Даже и не испугался бы... Ну нет, испугался бы, но все равно... Юль...

— Фаддейка! Ты все-таки давай дорасскажи про Марс!

— Да что рассказывать. Ты все равно не веришь.

— Почему? Я верю... немножко. Интересно же.

Фаддейка повозился, устраиваясь в окне, как в раме картины. Хмуро усмехнулся:

— Там все-таки проще, потому что без бомб. Но все равно обидно...

— Что обидно?

— Они там все такие... храбрые и гордые. Больше всего ненавидят предательство. А сами столько веков предавали всю планету...

— А сейчас? — осторожно спросила Юля. Она уже понимала, что эта сочиненная Фаддейкой сказка стала для него как самая настоящая правда.

Он сказал устало:

— Сейчас, наверно, нет. Они кончили воевать. Может, еще спасут Марс.

— А давно кончили?

— Откуда я знаю? Там другое время... Может, сто лет назад, а может, прошлой осенью...

* * *

Осень тянулась, как серая резина. Солнце не показывалось, и каждое утро было похоже на пасмурный вечер. Не случалось ничего плохого, но хорошего тоже не случалось, и все дни были одинаковы.

Одинаковые уроки, одинаковые разговоры, одинаковые телепередачи, одинаковые замечания в дневнике. И одинаковые мамины упреки — крикливые, полные суровых обещаний, но торопливые и потому не страшные.

Во дворе было сумрачно и пусто, лишь одни и те же малыши деловито давили трехколесными велосипедами палые кленовые листья. Эти листья — желтые, как подсолнухи,— были единственными светлыми пятнами. Но их быстро затаптывали...

Самое унылое крылось в том, что все было известно заранее: что будет завтра, послезавтра, потом...

В праздники, а иногда и просто в выходные — если был «повод» — приходили одни и те же гости. Впрочем, иногда появлялся и новый — «интересный» — человек. Но и при новом человеке все шло по старому расписанию.

Нет, мама не требовала, чтобы сын шел спать или смотреть телевизор. Его сажали со всеми за стол, а телевизор выключали, чтобы это «современное бедствие» не мешало «общению».

Общение начиналось с тоста за хозяйку дома, скромного звяканья крошечными рюмками с коньяком («а юным товарищам нальем газировочку...»). После глотка гости с минуту молча брякали вилками о тарелки с закуской, а мама глазами показывала ему, что нельзя взваливать на стол локти и ронять на скатерть салат.

Затем лысоватый и очкастый Виктор Вениаминович, мамин сотрудник по отделу «Станкоэкспорта», хитровато спрашивал:

— А что, леди и джентльмены, пока вы ищете нить светской беседы, не подбросить ли анекдотик?

— Только приличный! — не переставая жевать, вставляла Лариса Германовна — пожилая дама с белой как вата (но не седой) прической, лучшая мамина знакомая.

Виктор Вениаминович воздевал пухлые ладони (мол, разве я способен на неприличие!) и предупреждал:

— Но если вы это уже слышали, останавливайте без церемоний.

Его не останавливали, хотя анекдоты повторялись по три раза. Все вежливо смеялись.

Разговор делался живее, однако новым не становился. Повторялись всё те же имена и случаи, решались бесконечно всё те же вопросы. И опять сорокалетняя красавица в парике Роза Анатольевна рассказывала историю, как она в Марселе «отстала от своих», не могла отыскать гостиницу, и ее проводил до отеля вежливый офицер с «американского парохода». «Представьте себе, весь в белом, а сам чернехонький! Негр! А говорят, что негров в Америке угнетают!»

Мама возражала, что негров действительно угнетают и что она, когда была в Нью-Йорке... и так далее. Разговор переходил на международные темы, и скоро все сходились на мысли, что «живем на ящике с дина-

митом, все походили с ума, и неизвестно, чем все это кончится, но добром-то уж не кончится, это точно...».

Было в общем-то ясно, что насчет «ящика с динамитом» — это серьезно. И казалось глупым (и в то же время уныло привычным), когда Лариса Германовна разрушала светский разговор визгливым криком:

— Эх, да что там, все едино! Не такие мы, что ли, бабы, как все?! Давайте-ка споем лучше! — И затягивала, как в фильме, где показывают деревенскую свадьбу:

Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя!..

Она кричала песню старательно, жмурилась от усердия, и смотреть на ее блестящее красное лицо было мучительно неловко, но люди за столом делали вид, будто так и надо, и добросовестно подтягивали.

...И все это было знакомо и привычно, даже стыд за глупую Ларису Германовну.

И тогда он, чтобы спастись от тоски, начинал вспоминать, как прошлым летом у мамы случился неожиданный недельный отпуск и они ездили на дачу к знакомым, и несколько дней подряд одни, без надоедливых знакомых, бродили по лесу и берегам очень синего озера и катались на лодке. И даже открыли крошечный необитаемый остров с осокой и камышами... И мама наконец-то никуда не спешила... Но кончилось это быстро и как-то скомканно. Однажды утром мама сказала, что на соседнюю дачу приехал человек, который хочет познакомиться с ее сыном.

— Кто? — удивился он.

— Видишь ли... это твой отец.

Почему-то он не почувствовал ничего особенного. Наверно, от слишком большой неожиданности. Только спросил:

— Значит, это неправда, что он погиб?

— Да. Я говорила тебе так, пока ты был маленький.

— А где он был?

— Жил. В Москве... С другой семьей.

— А почему он от нас ушел?.. Или ты ушла? — сумрачно спросил он.

— Он... Когда тебе было полгода.

— Ладно. Я подумаю...

Он думал полдня, и мама не торопила. Наконец он спросил:

А раньше он почему не хотел познакомиться? Или ты этого не хотела?

Мама сказала очень серьезно:

— По-моему, он не хотел. Я тебя не прятала. Но он ни разу про тебя не спросил, не написал. Хотя конечно, он знал о тебе кое-что. От общих знакомых.

— А когда мне было пять лет и я лежал в больнице с воспалением, он тоже знал?

— Да. Тогда было очень тяжело, и я написала ему.

— Я подумаю еще часик, ладно?

— Как хочешь..

Через час он сказал:

— Нет, я не пойду. По-моему он предатель.

— Как хочешь,— опять сказала мама.

— А мы поедем опять на тот островок?

— Обязательно...

Но на завтра маму срочно вызвали на работу.

Впрочем, потом тоже было неплохо, было. Верхоталье... Но лето промелькнуло, а осень потянулась, потянулась. Одинаковые дни...

Так было и в тот осенний вечер. Все то же самое. Только, пожалуй, слишком уж то же самое, чересчур! Потому что посреди надоевшей до одурения песни вдруг толкнулась и застучала отчаянная мысль. «Хоть бы что-нибудь случилось! Пусть хоть что! Лишь бы не эта одинаковость.. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть случится.»

И грянул в прихожей звонок.

Он показался неожиданно громким. Наверно, потому что прозвучал в секундной тишине между куплетами песни. И песня подавилась этим звонком. И встревоженная мама при общем молчании вышла из комнаты и — уже не очень встревоженная, но удивленная — вернулась через минуту. Сказала сыну:

— Там тебя спрашивают. Какой то пожилой мужчина. А зайти не хочет. Может, ты что-то натворил во дворе?

— Нет,— сказал он спокойно. Очень спокойно. Что-бы отвести подозрения. Потому что сердце бухнуло от тревожной догадки.— Это, наверно, дед Светки Ковалевой. Она болеет, а он ходит по ребятам, домашние задания выпрашивает. Я сейчас.

— Не Светки, а Светы,— сказала вслед мама.

В прихожей гостя не было, он стоял на лестнице у кабины лифта. Прямой, седой, знакомый. Слегка разошелся на груди плащ и приоткрыл панцирь — на нетускнеющей меди горела от лампочки искра.

— Фа-Тамир...

— Мой привет и привет всех иттов вам, сет .

— Привет, Фа-Тамир.

— Кони ждут, сет Помните, вы обещали вернуться по первому зову?

— Я все помню, Фа-Т... — он вскинул голову и сказал суше: — Да, маршал.

— Значит, вы готовы ехать, сет?

— Я оденусь, ладно? Вечер холодный

— Я дам вам плащ и шлем.

— Тогда... — Он прислушался. За дверью опять пели. — Идем, Фа-Тамир.

В старенькой школьной форме (в ней он уже не ходил на занятия, а носил ее просто так, дома), в легоньких кедах он с Фа-Тамиром, спустившись на лифте, вышел на холодный и очень темный двор. На детской площадке у спортивного бума, как у коновязи, стояли две лошади. Пофыркивали в сумраке.

Фа-Тамир снял с бревна поводья. Положил руку на седло того коня, что пониже.

— Садитесь, Фа-Дейк. Вам помочь?

Маленький сет народа иттов молча помотал головой.

Все отчетливее, все быстрее вспоминал он то, что было раньше: и густое фиолетово-чернильное небо, и топот конницы, и летящий навстречу красный песок. В теле, в ногах появилась привычная пружинистая сила Сет Фа-Дейк легко прыгнул в седло.

Плащ и шлем сами собой оказались на нем Прогудел под копытами асфальтовый двор, метнулись, размазались в желтые полосы огни в окнах, спутались, смешались в клубок и тут же развернулись в темную и широкую ленту-дорогу вечерние улицы Понеслась совсем близко, у самых щек, звездная метель, зазвенела от ударов подков невидимая медь

Плащ вытянулся за плечами, затрепетал

Фа-Дейк выпрямился в седле, ослабил повод. Конек был резвый, послушный Но незнакомый

— А где мой Тир?

— Тир ушел в табун к диким лошадям, сет, — сухо-вато отозвался Фа-Тамир.



— Не уследили?

— Его и не держали, сет. Он тосковал по вам и никого не подпускал к себе.

— Жаль. Теперь его не найти...

— Боюсь, что да, сет.

— Фа-Тамир,— на лету сказал Фа-Дейк с упреком и даже с тревогой.— Зачем ты так? Все «сет» да «сет». Раньше ты называл меня Огонек.

— Да, с... да, мой мальчик. Но сейчас другое дело. Сейчас я посланец короля и должен держать себя, как велит это звание.

— Фа-Тамир! А зачем король зовет меня? Что-то случилось? — наконец не выдержал Фа-Дейк.

— Да... Да, сет. Он хочет попрощаться.

— Но... как попрощаться? Мы же попрощались в тот раз.

— Он хочет попрощаться совсем. Король умирает, Огонек,— сказал маршал.

КРАСНЫЕ ПЕСКИ

Темная дорога кончилась, и вместо звездной пыли понеслась навстречу песчаная пыль. В крошечных летящих крупинках кварца холодное солнце зажигало мгновенные колющие искры.

Копыта застучали по расколотым плитам древней дороги. Фа-Тамир придержал коня. Конь Фа-Дейка сам замедлил шаг. Всадники подъезжали к военному поселку иттов.

Беспорядочный, почти не укрытый от песчаных ветров городок вырос вокруг многобашенной гранитной крепости тауринов за долгие годы осады. Это было скопление потрепанных шатров, конных фургонов и кибиток, хижин, сложенных из обветренных сланцевых плиток, и шалашей, сплетенных из стрелолиста. Многие шалаши и хижины были крыты трофейными щитами тауринов.

Навстречу Фа-Дейку и Фа-Тамиру, кренясь и поскрипывая, пробежали две песчаные лодки на широких, как бочки, колесах. Пятнистые кожаные паруса лодок округло надувались и гнули тонкие составные мачты...

Воины внешнего оцепления окликнули приехавших и тут же склонили шишковатые шлемы — узнали. Внутренняя охрана уже не окликала: весть о прибытии по-

бежала впереди всадников, как шелестящая песчаная поземка: «Юный сет, избранник короля... Сет Фа-Дейк... Слава Звездному Кругу, он успел...»

Кони пошли неторопливым шагом среди фургонов и кибиток. Женщины устало, но ласково улыбались и кивали всадникам. Воины трогали огрубелыми пятернями медные края шлемов или приподнимали копья:

— Спасибо Кругу, вы вернулись, Фа-Тамир. С прибытием, сет, побед и теплого солнца вам... Привет вам, маршал. Здравствуйте, сет...

Голоса были негромкие и сдержанные. Фа-Дейк молча поднял руку к медному ободку шлема. Потом рука устала, он снял шлем и взял под мышку...

Королевский шатер стоял у подножья сланцевой скалы. Скала обглоданным гребнем торчала среди плоских дюн. Она была похожа на плавник засыпанного песком древнего рыбащера. Плавник этот защищал шатер от юго-восточных, наиболее пронзительных ветров.

— Мне идти прямо к королю? — нерешительно спросил Фа-Дейк.

— Конечно, сет,— полушепотом, но строго отозвался маршал.

Четыре воина в блестящих бронзовых панцирях одинаково вскинули копья — салют сету и маршалу. Один взял повод у коня Фа-Дейка. Другому Фа-Дейк отдал шлем.

Перед занавесью шатра он оробело задержал шаг. Нет, он не боялся короля. Здесь Фа-Дейк вообще ничего не боялся. Но он никогда раньше не видел умирающих и не знал, как себя держать.

Занавесь колыхнулась, вышли два бородача в чешуйчатых нагрудниках: сет Ха-Вир — командир королевской оборонной сотни, а с ним мудрый хранитель древностей, летописец и знаток обычаев Лал — старый воин, полковник песчаной пехоты.

Ха-Вир чуть улыбнулся, тронул огрубелой, как подошва, ладонью оранжевые космы Фа-Дейка.

— Приехал... Здравствуй, наш Огонек.

Лал без улыбки, но ласково сказал:

— Войдите, сет, король давно спрашивает о вас.

Рах — Крылатый Зверь Пустыни и Северного Леса, старый король иттов, готовился умереть. Фа-Дейк увидел, что это правда, как только вошел. Лицо короля,

обычно бронзово-коричневое, теперь было бледно-желтым. Оно резко, тревожно как-то выделялось на потертой кожаной подушке.

По самую бороду король был укрыт ворсистым плащом с вытертым узором. У правого бока, под локтем, лежал длинный меч без ножен — знаменитый королевский «Носитель молний». Пламя дрожало и потрескивало в плосках с земляным маслом, отблески его горели на прямом отточенном лезвии. Желтый блик светился на неживом выпуклом лбу короля.

Фа-Дейк остановился у входа.

Король умирал, но глаза его были ясные. И глазами он приказал всем выйти, а Фа-Дейку приблизиться. Четыре телохранителя и незнакомый старик в сером балахоне, видимо врач, бесшумно ушли из шатра. Фа-Дейк сделал несколько шагов и встал на колено у королевского изголовья.

Король смотрел в потолок и молчал. Грудь под плащом поднималась, но дыхание было неслышным. Зато слышно было, как снаружи скребут по кожаным стенкам шатра летящие песчинки: ветер был западный, и скала от него не защищала.

Острая каменная крошка попала Фа-Дейку под колено и больно колола сквозь штанину. Однако Фа-Дейк не двигался. Он смотрел на крючковатые худые кисти рук, лежавшие поверх плаща. Маленькому сету было неловко и жутковато. Впервые в жизни он так близко видел умирающего человека, да к тому же оказался с ним один на один.

Долго ли продлится молчание? Или заговорить самому?

Сеты имеют право первыми начинать разговор с королем. Но Фа-Дейк не смел. Да и не знал, что сказать. И горькая тишина давила, давила...

Нет, особого горя Фа-Дейк не чувствовал. Короля он не любил. Уважал его — да. За храбрость и справедливость. Благодарен ему был — за то, что обогрел и приютил в своем стане заблудившегося в красных песках мальчишку. За то, что велел иттам беречь найденыша, учить его здешней жизни и самим учиться у него нездешним премудростям (столь неожиданным у слабого ребенка из неизвестного племени, который был похож на детей иттов лишь песчаным цветом волос). Но любить короля Фа-Дейк не научился. Слишком неприступным и

суровым казался великий Рах, слишком озабочен был делами своего народа и бесконечной войной, которую итты вели с тауринами. Фа-Тамир был ближе и проще, хотя и он не отличался щедростью на ласки...

Но король-то любил маленького сета, это знали все.

Король перевел глаза на Фа-Дейка, под усами шевельнулась улыбка. Слабым, но чистым голосом Рах сказал:

— Приехал, мальчик. Хорошо... А я боялся...

— Я торопился,— пробормотал Фа-Дейк,— Фа-Тамир сказал, и я сразу...

— Хорошо,— повторил король.— Надо успеть поговорить. А то вот-вот умру... Время уже...

Фа-Дейк заставил себя посмотреть королю прямо в лицо. И сказал как можно тверже:

— Нет, время еще не пришло. Вы поправитесь.

— Не говори глупостей. Ты, хотя и найденый, но жил среди нас, значит — итт. Итты не любят пустых слов...

Фа-Дейк виновато опустил глаза.

— Слушай меня, маленький сет...

— Да, великий Рах,— прошептал Фа-Дейк.

— Я помню, как тебя привели в мой шатер. Ты был замерзший, полуголый, иссеченный песком... Ты плакал...

— Да, король...

— Подожди... Ты плакал, и твое лицо было в пятнышках от песчинок. Они и сейчас... остались... Но... ты плакал, а стоять старался прямо. И отвечал на вопросы без страха. И я поверил тебе, хотя ты говорил много странного... Еще раз скажи, Фа-Дейк: в твоих рассказах ты ни в чем не обманывал меня?

Фа-Дейк опять посмотрел в глаза старого Раха.

— Никогда, король.

— Я так и думал... Ты знаешь многое, чего не знают здесь. Теперь это самое главное... Я решил...

Он надолго замолчал. Опять нависла тяжелая тишина, и Фа-Дейк наконец осмелился задать вопрос:

— Что вы решили, король?

— А?.. — старый Рах неловко шевельнулся.— Да... — Он слабым движением сдвинул на груди край плаща. На рубашке, тканной из шелковистого каменного волокна, лежала бронзовая бляшка с обрывком цепочки.

Король шевельнул губами:

— Возьми это.

Фа-Дейк взял. Бляшка напоминала тяжелую медаль с грубо обрубленными краями. Фа-Дейк увидел незнакомые письма, вставшего на дыбы коня и маленькое лучистое солнце. Он вопросительно глянул на короля:

— Что это, государь?

Негромко, но твердо старый Рах произнес:

— Тарга. Знак верховной власти. Я отдаю эту власть тебе.

— Мне? — изумленно переспросил четвероклассник Фаддейка. — Зачем?

— Потому что я так решил. Не сейчас. Давно.

— Но я... как я буду? Я же... маленький, — шепотом сказал Фаддейка.

Король опять шевельнул под усами улыбку:

— Маленькие бывают порой разумнее взрослых. Я помню себя в десять лет. Я часто удивлялся, как безразсудны большие люди. Потом привык.

— Но меня никто не будет слушать, — чуть не плача сказал Фаддейка.

Король ответил сумрачно и жестко:

— Человека, у которого тарга, будут слушать все. Итты и таурины, и люди Лесного края, и дикие жители пещер. Таков общий закон нашего мира.

Тогда юный сет Фа-Дейк осмелился не поверить королю:

— Но если это так... тогда почему вы не стали королем всех-всех? Даже не приказали тауринам сдать крепость?

— Потому что я не знал, что делать потом, — сказал король иттов.

Фа-Дейк удивленно и потерянно молчал. Он только шевельнул наконец ногой и почувствовал короткое, но сладкое облегчение от того, что ядовитая крошка больше не жалит колено.

Король тоже шевельнулся и проговорил теперь с трудом, хрипловато:

— Я мог приказать... А мог десять раз взять крепость приступом, без всякой тарги. А что дальше? Мы все привыкли жить этой войной. Ничего другого не знает никто. Сеты не знают, маршалы не знают. Мудрый Лал не знает...

— А я вообще ничего не знаю, — беспомощно сказал Фаддейка. — Я могу такого наворотить, что еще хуже...

С горькой и какой-то домашней улыбкой король ответил:

— Куда уж хуже-то, мальчик... Итты потеряли дорогу. У нас почти нет детей. Те, кто рождаются,— или не живут, или с пеленок думают о войне. Матери разучились кормить грудью... И не только у нас. Во всех землях...

— В крепости тауринов много детей,— возразил Фа-Дейк.— Помните, их князь Урата-Хал просил пропустить в крепость обоз с едой? Он поклялся, что эта еда только для маленьких.

— Да, я пропустил... Там много детей. Потому что люди живут в крепких домах и тепле. Это пока... Мы возьмем крепость, и воины перебьют всех.

— Воины не тронут мирных жителей! — опять возразил Фа-Дейк.— Итты знают законы войны.

— В крепости нет мирных жителей,— сказал король. Голос его осел и охрип еще больше.— Крепость всегда защищают все ее люди... А у войны нет законов, не надо обманывать себя. В бою кровь ударяет в голову, и мечи рубят всех...

«Я не хочу быть королем, я не могу»,— снова хотел заспорить Фаддейка. Но что-то сдвинулось у него в душе, и сет Фа-Дейк тихо спросил:

— Что я должен делать, король?

— Все, что хочешь, мальчик,— выдохнул старый Рах.— Все... Я говорю: хуже не будет...

«А что я хочу?.. Я домой хочу...»

Но тут он вспомнил серые осенние дни, унылое вечернее застолье и собственный крик души: «Хоть бы что-нибудь случилось! Пусть хоть что!..» Круг замкнулся.

Тарга тяжело лежала у Фа-Дейка в ладони. Он опустил ее в нагрудный карман школьной курточки. Шевельнулся, собираясь встать.

— Подожди,— одними губами попросил король.

Фа-Дейк опять замер у королевского изголовья.

— Уже недолго,— прошептал старый Рах.— Побудь, пока я...

Фа-Дейк вздрогнул. За разговором он почти забыл, что время короля уже отмерено. Теперь же предчувствие, что с минуты на минуту сюда придет смерть, прокололо маленького сета тоскливым страхом.

— Не бойся...— через силу сказал король.— Я знаю,

ты не видел вблизи, как умирают. Но это не так уж страшно, поверь мне последний раз...

Фа-Дейк мотнул головой и сердито сказал:

— Я не боюсь.— И заплакал.

Он заплакал сразу, взхлеб. Не от страха, а от жалости, которая неожиданно и резко воткнулась в сердце. И от мысли, что через несколько минут они уже ничего не смогут сказать друг другу. Заплакал от несправедливости смерти, которая делает большого, сильного и храброго человека самым беспомощным на свете. Делает его ни к е м. Он не мог остановить слезы и боялся, что король узнает его горькие мысли.

Но Рах улыбнулся и сказал отчетливо:

— Спасибо, малыш... Это добрая примета. Мы разучились плакать, а если кто-то от души плачет над иттом, значит, путь его в другой мир будет легким... хотя какой там другой мир...

Он замолчал, и слышались только Фаддейкины всхлипы.

Король сказал непонятно:

— Не так уж я и виноват...

Потом сделался очень строгим, уперся взглядом в кожаный потолок шатра. Ветер стих, и песок уже не скреб стены. Король сомкнул губы, положил на глаза ладонь, отодвинул локоть. Фа-Дейк перестал всхлипывать и замер в тоскливом предчувствии. Прошла минута, локоть дрогнул и ослаб. Фа-Дейк всхлипнул опять, но тут же отчаянно сжал зубы, встал, краем плаща вытер лицо.

Снаружи раздались беспокойные голоса. Фа-Дейк еще раз посмотрел на короля и вышел.

— Король умер,— прошептал он.

Опять упала глухая тишина. Безмолвие легло на кибиточный город осаждавших, мертвой казалась и крепость, громоздившая в фиолетовом небе башни с неровными зубцами.

Кто-то сказал тихо и значительно:

— К нам идет великий вождь тауринов князь Урата-Хал.

Сдержанный шепот прошелестел в толпе.

Высокий, костлявый и безбородый Урата-Хал шел один, без оружия и доспехов. Крылатый шлем он держал под мышкой, седые пряди шевелились над костистым лбом. Узкое лицо было сумрачным и спокойным. Воины и начальники иттов молча расступились. Таурин

остановился перед Фа-Тамиром. Отчетливо, но без надменности он проговорил:

— Здравствуй, маршал. Здравствуйте, итты. Я узнал, что король Рах умирает, и пришел проститься.

— Король иттов умер,— сказал Фа-Тамир.— Сет Фа-Дейк был последний, кто говорил с ним.

Урата-Хал нагнул голову.

— Привет тебе, сет. Примите мою печаль, итты... Я могу побыть с королем?

Итты переглянулись.

— Войди в шатер, князь,— негромко произнес Фа-Тамир.

Урата-Хал скрылся за кожаным пологом. Никто не пошел вслед.

...О чем будет думать вождь тауринов, оставшись наедине с мертвым королем иттов? С тем, кого долгие годы считал врагом и без кого не мыслил своей жизни? Не мыслил, потому что жизнь была постоянной войной, а в войне главным противником был король Рах. Их судьбы переплелись, вражда их давала смысл существованию... И может быть, старый князь будет печалиться об умершем враге, как печалится о давнем товарище?

А может быть, подумает князь, что и он, Урата-Хал, не вечен в этом мире красных песков и не так уж много осталось дней? Не придет ли мысль: зачем они, эти дни,— те, что прошли, и те, что еще будут? Зачем эта война?

А может быть, он и не станет думать об этом, а будет просто отдыхать в тишине от вечных опасностей и забот. Здесь он в такой безопасности, какой никогда не ведал в крепости. Там в него может попасть пущенная из стана врагов стрела или камень метательной машины, может отыскаться изменник-убийца (хотя и редки такие люди среди тауринов и среди иттов), может рухнуть на голову разрушенный зубец башни... А здесь ничто не грозит старому вождю, появившемуся в стане врагов без меча и панциря. Ни один итт, пусть даже с самой коварной душой, не посмеет нарушить древнего обычая и тронуть безоружного противника, который пришел, чтобы разделить печаль о короле...

Никто из хмурых и опечаленных иттов, столпившихся у королевского шатра, не смотрел на Фа-Дейка. И друг

на друга не смотрели. Сейчас каждый остался как бы сам с собой, чтобы в одиночестве пережить печальную весть. Итты переносят горе молча. Фа-Дейк взял у стражника свой шлем и медленно пошел среди кибиток и шалашей. Он не знал, что делать теперь и что будет дальше. Тоскливо было...

Изредка попадались навстречу молчаливые воины. Некоторые несли ветки стрелолиста и сучья высохших песчаных деревьев. Фа-Дейк понял, что это для погребального костра.

Несли сучья и женщины, но они встречались реже. Их вообще было мало в поселке иттов. А ребятишек не было видно совсем.

Кибиточный городок притих, но все-таки жизнь не замерла окончательно. На краю поселка, у кособокого кожаного фургона, дымили кухонные костры. Две костлявые старухи колдовали над котлом. Одна беззубо улыбулась Фа-Дейку, спросила:

— Хочешь нашей похлебки, Огонек?

Он покачал головой. Спихнулся и ответил, как подбавляет сету:

— Благодарю, добрая женщина. Мир твоей крыше...

Потом усмехнулся: «Мир...» — и подумал: «А куда это я иду?» Хотел повернуть назад, но услышал за палатками и хижинами слабый вскрик. Станный, вроде бы детский.

Сет Фа-Дейк постоял, нахмурился, надел шлем. Пошел на голос, перешагивая вытянутые по земле оглобли фургонов.

У крайнего шатра стояли воины из сотни конной разведки — песчаные волки. Беседовали, усмехались. Увидели юного сета, любимца короля, подтянулись:

— Привет вам, сет...

— Ходят слухи, что вы последний говорили с королем...

— Что сказал король на прощанье?

Фа-Дейк медленно обвел песчаных волков глазами. Взгляд этот напомнил им, что сету могут задавать вопросы только другие сеты, маршалы или король. Воины притихли. Один, в кожаном шлеме с золоченой стрелкой, — видимо, командир — неторопливо сказал:

— Примите нашу печаль, сет.

Но никакой печали не было на его широком, неприятно открытом лице с голым подбородком и выпуклыми

глазами. И Фа-Дейк не ответил командиру волков. Он помолчал и спросил:

— Здесь кто-то кричал. Что случилось?

Выпуклые глаза сотника стали внимательными, но ответил он небрежно:

— Мальчишку поймали, разведчика из крепости.

Фа-Дейк не выдал интереса и неожиданной болезненной тревоги. Спросил так же небрежно:

— Разве сейчас не перемирие? Урата-Хал в нашем лагере...

Сотник сказал с коротким зевком:

— Еще до перемирия поймали. Да это и неважно.

— Почему неважно?

— Он шел не из крепости, а из песков. Видимо, оставлял там знаки для каравана...

Сотник держался чересчур независимо и не прибавлял в конце фразы слова «сет». Это была явная наглость, волки всегда позволяли себе лишнее. Фа-Дейк не стал делать замечаний, сет не должен опускаться до пререканий с каким-то предводителем дикой сотни. Он только сказал в отместку:

— Я думал, храбрые волки давно перекрыли все караванные пути тауринов...

Он знал, что это не так. Сколько бы ни рыскали в песках и скалах конные патрули иттов, перехватить все караваны они не могли. В непроницаемой тьме песчаные лодки под черными парусами бесшумно бежали по дюнам к крепости. Это посылал осажденным еду и оружие лесной народ, который был давним союзником тауринов. Люди леса научились пользоваться парусами не хуже иттов.

Лодки останавливались в неведомых иттам местах, а оттуда таурины несли груз в крепость тайными подземными ходами. Кое-какие ходы разведчики иттов отыскивали и засыпали, но многие еще найти не могли. И крепость держалась долгие годы. И будет держаться бесконечно...

Сотник уязвленно сказал:

— Мы перекрыли почти все пути. Сегодня мальчишка скажет, где была стоянка недавнего каравана. Там у них последняя лазейка, засыплем и ее.

Фа-Дейка опять уколола тревога. Тоскливая, смешанная с неясным страхом. Но отозвался он с рассеянным видом:

— Думаете, он скажет?

Воины гоготнули. Командир тоже не сдержал усмешку:

— Волки умеют развязывать языки даже заржавелым от шрамов тауринским начальникам, которые не боятся ни ядовитых игл, ни раскаленного железа. А этот — сопливый мальчишка, даже меньше вас... О, простите, сет!

Сотник испуганно наклонил голову, но насмешливый огонек в похожих на коричневые лампочки глазах не погас. Фа-Дейк глянул в эти глаза и смотрел в них, пока не заставил сотника потупить. Теперь Фа-Дейк был просто сет иттов, в нем не осталось ничего от четвероклассника Фаддейки.

Сет сказал:

— Может быть, волки и умеют развязывать чужие языки, но хорошо бы им научиться держать на привязи свои. Не правда ли, сотник?.. Я жду ответа.

— Да, сет,— сквозь зубы выдавил командир волков.

Фа-Дейк медленно пошел от сотника и его воинов, и длинный плащ тянулся за ним, шуршал по камням.

Недалеко от королевского шатра Фа-Дейк встретил Фа-Тамира.

— Отдохните в моей палатке, сет,— сказал маршал.

— Потом... А когда погребение, Фа-Тамир?

— Завтра после восхода...

— Фа-Тамир... Как зовут сотника песчаных волков?

Он такой... глаза, как у жабы.

— У кого, сет?..

— А, вы не знаете... Ну, такие нахальные глаза. И круглое лицо.

— Наверно, это Уна-Тур... А что случилось?

— Ничего. Он мне не нравится, ведет себя нагло.

— Да. Но он храбр...

— Подумаешь, заслуга,— усмехнулся Фа-Дейк.— Кто из иттов не храбр? Надо еще быть... человеком. Даже если называешься «волк».

— Сейчас жестокое время, Огонек,— вздохнул Фа-Тамир.

Фа-Дейк вздрогнул от неожиданной ласки, поднял глаза.

— Фа-Тамир, они поймали разведчика...

— Да, я слышал уже...

— Я подумал вот что. Когда печаль и погребение, обычай велит делать добрые дела... Может, отпустим его к своим?

— Доброе дело для врага — разве доброе дело? — хмуро сказал маршал.

— Он же еще не взрослый, — виновато проговорил Фа-Дейк. — Разве итты воюют с ребятами?

— Он разведчик. Значит, воин. Законы войны одинаковы для всех.

«У войны нет законов», — вспомнил Фа-Дейк. И тихо спросил:

— Правда, что его будут пытаться?

Фа-Тамир отвел глаза. Пожал плечами:

— Если он сразу не скажет то, что знает. Но он ведь не скажет... пока не заставят.

— А что он знает-то? Ну, покажет стоянку и ход, который ему известен. А этих ходов десятки. Что толку?

— И все-таки... Еще одну ниточку перережем.

Фа-Дейк угрюмо молчал. Потом спросил, глядя в землю:

— А если бы я попался тауринам, меня тоже пытали бы?

— Едва ли! За сета запросили бы выкуп. Обошлись бы с почетом.

— А если бы я знал тайну, которая важнее выкупа?

Маршал подумал и сказал неохотно:

— Итты не позволят, чтобы вы стали пленником тауринов. Не бойтесь, сет.

— Разве я боюсь? Я не об этом...

Фа-Тамир положил руку на шлем Фа-Дейка.

— Огонек... Волки все равно не отпустят его. Это их добыча, а добычу по закону не может отнять никто. Даже король.

Фа-Дейк вскинул глаза:

— Даже король?

— Да... Кстати, сет, что говорил вам король в последние минуты? Итты ждут, что вы передадите его слова всем.

— Что?.. Я передам, да. Чуть позже, Фа-Тамир.

Он мягко убрал голову из-под ладони маршала и пошел не оглядываясь. Через пять минут он опять был у крайнего шатра. Воины-волки все еще стояли там. Снова подтянулись, глянули на сета выжидательно и вроде бы почтительно.

Фа-Дейк лениво сказал:

— Я хочу посмотреть на пленника, Уна-Тур...

Сотник осклабился: любимец короля удостоил его обращения по имени.

— Как будет угодно сету. Идемте, сет...

Разведчика держали в хижине, сложенной из каменных плит. Уна-Тур отодвинул на щелястой двери бронзовый засов. Пропустил Фа-Дейка вперед.

В хижине было светло, колющее солнце било в широкие щели. Тоший темноволосый мальчишка, ровесник Фа-Дейка, сидел скорчившись в углу на камне. Он был босой, в узких кожаных штанах, стянутых на щиколотках ремешками, в мохнатой безрукавке. Тонкие голые руки в локтях и у кистей были перемотаны за спиной сыромятным ремнем.

Когда вошли, мальчик быстро повернул острое лицо с высохшими подтеками слез. В темных глазах мелькнули по очереди надежда на чудо, испуг, отчаяние. Он опять отвернулся, прижался плечом к стене. Но Фа-Дейк успел разглядеть его лицо. Мальчишка был, кажется, похож... Или показалось?

Или правда он похож на Вовку Зайцева из Фаддейкиного класса? На щуплого Вовку Зайцева, который боялся уколов, и над ним за это смеялись (и было время, Фаддейка смеялся. Сначала. А потом не стал... А потом Вовка уехал). Этот Зайцев боялся уколов и плакал от обид, но обидчиков никогда не называл, если его спрашивали взрослые...

Фа-Дейк оглянулся на Уна-Тура. Сказал, пряча свои мысли под насмешкой:

— Волки стали так осторожны, что одного мальчишку держат связанным...

— Просто забыли развязать,— буркнул сотник. Шагнул к мальчику, чиркнул кривым кинжалом по ремню у локтей. Ремень ослаб, опал. Мальчик пошевелил локтями, освободил кисти. Но на Фа-Дейка и Уна-Тура не смотрел. Коротко, со всхлипом, вздохнул.

— Оставьте нас,— приказал Фа-Дейк сотнику.— Может, я договорюсь с ним быстрее, чем вы... И закройте дверь.

Уна-Тур вышел. Дверь за ним бухнула излишне сердито.

Мальчик не двигался.

Фа-Дейк встал в двух шагах от него. Помолчал, томясь от неловкости, негромко спросил:

— Как тебя зовут?

Мальчик опять не шевельнулся, но ответил сразу:

— Кóта...

Или «Хота»? У тауринов такой же язык, как у ит-тов, но говорят они мягче, с придыханием. Ладно, пусть Хота...

— Хота, ты проводник караванов?

Он медленно поднял лицо. Ну, в самом деле, так похож на Зайцева... Он сказал сипловато:

— Не проводник я... Просто ходил в песках, смотрел, где силки поставить на кротов. Мяса в крепости нет...

— Неправда, ты проводник и разведчик,— тихо сказал Фа-Дейк.— Ты ставил знаки для каравана. И ты знаешь, где подземный ход...

Хота опять опустил голову. Грязными худыми пальцами тер кисти со следами ремня. Зябко шевелил плечами.

«Тебя будут мучить»,— хотел сказать Фа-Дейк, но не посмел. К тому же мальчишка это знал сам. Он вдруг проговорил еле слышно:

— Я знаю только один ход. А будут пытать про многие...

— Не будут. Всем известно, что каждый разведчик знает лишь один ход, свой... Если покажешь, тебя не будут... я попрошу, чтобы тебя отпустили.

Хота посмотрел прямо в лицо Фа-Дейку мокрыми блестящими глазами.

— Вы же понимаете, сет, что я не могу сказать...

— Ты меня знаешь?

— Да... Я видел вас со стены. Вы ехали на конях вместе с вашим королем...— Он со всхлипом переглотнул и сказал почти умоляюще:

— Вы же понимаете, что я не могу сказать, где ход...

Фа-Дейк это понимал. Но понимал и другое: заставят.

Кажется, он не просто подумал, а сказал это. Хота помотал головой, как Вовка Зайцев, когда у него требовали назвать обидчиков. Ощетинился и отчаянно проговорил:

— Я умру, а не выдам. Все равно...

Фа-Дейк вспомнил сотника Уна-Тура и его ухмыляющихся волков. «Не дадут умереть, пока не выдашь»,— подумал он. И маленький проводник уловил эту мысль. И съежился, стиснув себя за исцарапанные локти.

Фа-Дейк сам не знал, как не удержался, спросил шепотом:

— Боишься?

Хота сжался еще сильнее и ответил не как врагу и не как сету, а просто как мальчишке:

— А ты бы не боялся?

«Я и сейчас боюсь,— подумал Фа-Дейк.— А чего?»

Пленный проводник опять судорожно глотнул и сказал глухо:

— Мне за маму страшно. Я не выдержу, а она будет мать предателя... Ее будут гонять босиком по острым камням и уморят голодом...

— Разве так бывает? — испуганно спросил Фа-Дейк.

— А как же еще бывает? Только так...

Фа-Дейк сел на камень в трех шагах от пленника.

— Хота...

— Что? — вздрогнул мальчик.

— Не знаю, что... Мне тебя жалко.

Мальчик вскинул мокрые глаза:

— Да?

— Да... Только я не знаю, что делать.— Но он уже знал.

— Дай мне кинжал,— быстро прошептал Хота.— Я завою и тогда ничего не скажу.

Фа-Дейк опять почему-то вспомнил Вовку.

— Ты думаешь, это легко? — сказал он.— Ты не сможешь...

— Я попробую.

— Не сможешь. Сил не хватит.

— Ну... тогда заколи меня ты. Я глаза закрою... А ты потом скажешь, что я на тебя напал, а ты защищался.

— Ты что, спятил? — сказал Фа-Дейк.— Да и нет у меня кинжала. Я... подожди.

Он встал, подошел к двери, притаился на миг и рванул ее. Но волков близко не было, никто не подслушивал. Фа-Дейк встал посреди хижины, скинул плащ, бросил на него шлем.

— Надевай. В этом тебя никто не остановит.

Хота кинулся к плащу. Но не взял его, медленно выпрямился. Покачал головой.

— Нельзя. Тебя убьют.

— Меня? — сказал Фа-Дейк.— Сета? — Он усмехнулся, хотя сердце у него холодело.— Надевай.

Они были одного роста. Шлем закрыл у Хоты волосы и лоб, медный козырек бросил тень на глаза. Плащ окутал мальчишку до пят.

«А ноги все же будут видны, когда пойдет»,— подумал Фа-Дейк.

— Постой...— он торопливо расшнуровал и сбросил кеды. Хотя суетливо и неумело завожился со шнуровкой незнакомой обуви. Фа-Дейк помог ему и шепотом предупредил:

— Не вздумай идти сразу в пески. Иди сначала через табор, мимо главных шатров. Если окликнут, опусти голову и не отвечай, тогда подумают, что ты... то есть я... очень печальный, и не подойдут. В пески уходи с западного края, там нет сейчас сторожевых волков. А в дюнах, там уж смотри сам.

— В песках меня не поймают,— жарко прошептал Хота.— Я попался тогда по глупости. А теперь — ни за что...

— Всѣ, иди... Прощай...

— Прощай... А тебе ничего не будет?

— Иди. Хота, иди.

— Фа-Дейк, прощай,— с придыханием проговорил Хота.— Мама скажет теперь, что у нее два сына...

Одними губами Фа-Дейк повторил:

— Иди, Хота, иди...

КРАСНЫЕ ПЕСКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Со связанными за спиной руками, растрепанного и босого, будто пленного врага, его повели через онемевший от изумления стан. На площадку перед королевским шатром. По пути Уна-Тур несколько раз толкнул его тупым концом копья.

— Плешивый шакал,— сказал Фа-Дейк.— Ты поднял руку на сета.

— Ты не сет, а предатель,— злорадно отозвался из седла Уна-Тур.

— А ты не сотник, а покойник. Через час тебя будут жрать ящерицы-камнееды...

Уна-Тур толкнул его снова, и Фа-Дейк, чтобы не упасть, почти бегом выскочил на площадку — прямо перед Фа-Тамиром, Лалом, сетом Ха-Виром и другими командирами. И сразу вознесся гневный голос Фа-Тамира:

— Что творишь, сотник! Воины, взять изменника! Развяжите сета! Плащ сету!

Три королевских стражника метнулись к Уна-Туру. Тот вздыбил жеребца и яростно завопил:

— Я не изменник! Послушайте же меня, мой маршал!

Кто-то рассек отточенным концом меча ремень на запястьях Фа-Дейка. Фа-Дейк освободил руки, как не-

давно это делал Хота. Потом швырнул скомканный ремень в лицо Уна-Туру и сказал по-русски:

— Я покажу тебе предателя, паршивая волчья шкура.— Он был так зол, что уже ни капельки не боялся

Воины окружили сотника, но теперь стояли в нерешительности, потому что он крикнул:

— Клянусь Звездным Кругом, я невиновен, мой маршал! А он — не сет, он предатель.

— Сет — всегда сет,— сказал мудрый Лал и кинул на плечи Фа-Дейка грубый военный плащ.— Лишить сета этого звания может только король. А короля... да будет ровен его путь в дальний мир... теперь у нас больше нет. Выслушаем всех в терпении. Сет Фа-Дейк, скажите нам, в чем обвиняет вас этот человек? Что произошло между вами?

— Да ничего особенного! Просто я отпустил пленного мальчишку!

— Разведчика? — быстро и насупленно спросил Фа-Тамир.

Все молчали. Только Уна-Тур дернулся в седле, хотел что-то крикнуть, но десятник королевской стражи с размаху положил на его плечо руку в боевой чешуйчатой рукавице.

Наконец старый сет Ха-Вир медленно спросил:

— Зачем вы это сделали, Фа-Дейк?

«Потому что мне его жалко!» — чуть не вырвалось у Фа-Дейка. Но он сказал иначе:

— Я не хотел, чтобы в дни печали в стане иттов была жестокость. Волки замучили бы мальчика.

— Это никого не касается! — вскинулся опять Уна-Тур.— Это была наша добыча! Добычу волков не может отобрать даже король!

— Короля нет,— снова напомнил Лал.— Помолчи, сотник.

«Короля нет...» — подумал Фа-Дейк и ощутил в нагрудном кармане тяжесть тарги. До сих пор он о ней почти не помнил, о другом были мысли. Но сейчас наконец пришло ясное понимание: что же случилось на самом деле. Если старый Рах сказал, если он отдал таргу... Значит, правда?

«Но не хочу я! — крикнул себе Фаддейка.— Я не знаю, что делать!»

«Делай что хочешь, хуже не будет...»

Сет Фа-Дейк медленно оглядел всех, кто обступил

его. Голова кружилась от усталости и от голода. Честно говоря, хотелось даже заплакать. Но Фа-Дейк скривил губы и отчетливо сказал сотнику:

— Добычу король отобрать не может. Но может сделать голову твою добычей шакалов...

— Но короля нет! — дерзко хохотнул Уна-Тур. Десяток его всадников приближались к шатру.

— Король будет, — сказал мудрый Лал, летописец и полковник песчаной пехоты. — Сеты выберут короля сегодня же, раз великий Рах не оставил преемника.

Фа-Дейк вскинул голову, чтобы возразить, но медленно и тяжело заговорил Фа-Тамир:

— Сеты выберут короля. Но сету Фа-Дейку лучше не участвовать в этом. Пусть Фа-Дейк уходит, пока он сет и никто из иттов не может тронуть его. Выбранный король лишит его звания и защиты.

— Почему? — Фа-Дейк хотел спросить это гневно и громко, но получилось почти со слезами. Как в учительской, когда обвиняют напрасно.

Старый справедливый маршал Фа-Тамир заговорил опять, и слова его падали, как камни:

— Наверно, вы думали, что поступаете справедливо, сет. Но все равно: то, что вы сделали, — измена.

В ответ полагалось швырнуть в лицо обвинителю боевую рукавицу. Но не было рукавицы, да Фа-Дейк сейчас и не поднял бы ее — пудовую, из бронзовых пластин. И какой мог быть поединок у мальчишки с прошедшим через тысячу боев маршалом?

Фа-Дейк сипло от слез спросил:

— Кому я изменил?

— Вы предали народ и армию иттов.

— Но итты... все люди, все войско, это же такое.. громадное. А он был беззащитный. Если бы я не отпустил... я предал бы его...

— Но он враг! — воскликнул кто-то из воинов.

— Он мне не враг. Он... такой же, как я. Дети не воюют с детьми.

— Как же не воюют, — мягко, осторожно как-то возразил Лал. — У тауринов полно разведчиков. У нас.. мальчишки тоже помогают воинам. Вы и сами, сет, в прошлом году были в конной стычке.

— Да... дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете — они еще не походили с ума!

— Вас никто и не просил воевать с этим сопляком,— нагло подал голос Уна-Тур.— Ваше дело было не вмешиваться.

Тарга оттягивала карман. Фа-Дейк незаметно, под плащом, вынул ее и зажал в кулаке. И сказал:

— Что-то совсем непонятное происходит у иттов. Сеты стоят, а сотник говорит с ними, не сходя с коня. Уж не стал ли он королем?

— Сойди с коня, сотник! — грозно крикнул сет Ха-Вир.

— Слушаю, сет... — отозвался Уна-Тур. Кажется, с насмешкой. Сделал движение, будто хочет спешиться, но остался в седле. И никто не заметил этого, потому что маршал Фа-Тамир заговорил опять — печально и тяжело:

— Ваши слова, сет Фа-Дейк, говорят о вашем уме. Про ум ваш и доброту знают все итты. Но сейчас вы нанесли нам вред. Ход, о котором знает проводник, остался для нас тайной...

— Подумаешь, один ход! Их полным-полно!

— И все-таки он поможет тауринам продержаться лишние дни.

— Им не придется держаться... Фа-Тамир, я устал стоять босиком на холодном песке, коня мне... — Возникло торопливое движение; Фа-Дейк оставался сетом, и коня подвели немедленно. Того послушного конька, на котором он прискакал сюда. Фа-Дейк прыгнул в седло, и плащ свесился по бокам, закрыв стремена и босые ступни..

— Почему тауринам не придется держаться в крепости, сет? — вкрадчиво спросил мудрый Лал.— Вам известно что-то тайное?

— Ничего тайного. Мы сегодня снимем осаду.

— Великий Звездный Круг! Кто это решил? — воскликнул сет Ха-Вир, храбрый и простодушный воин.

— Я,— сказал Фа-Дейк.

Смеялись все. Сеты смеялись, и простые воины, и сотник Уна-Тур, который так и остался в седле. Один Фа-Тамир не смеялся, он смотрел на мальчишку с печалью. Он любил Фа-Дейка и теперь горько сожалел, что болезнь помutilа разум юного сета.. Впрочем, болезнь лучше, чем измена...

Тогда Фа-Дейк протянул Фа-Тамиру таргу. И проговорил совсем не по-королевски, а как смущенный



четвероклассник, потому что решительность опять оставила его:

— Вот... Это дал король. Он сказал, что теперь я... Он сам сказал, честное слово...

Фа-Тамир стряхнул в песок боевую рукавицу и протянул руку. Но рука эта вдруг замерла, окаменела, не коснувшись бронзовой бляшки.

— Великие силы...— хрипло сказал маршал.— Смотрите, Лал... Точно ли это она?

Мудрый Лал встал рядом с маршалом, глянул. Побледнел — загар его стал бледно-желтым. Лал сказал, как и Фа-Тамир:

— Великие силы...— потом спросил, забыв об этикете: — Откуда она, мальчик?

— Король дал,— пробормотал Фаддейка.

Маршал сурово проговорил:

— Итты! Наш великий король Рах владел таргой. Он передал таргу сету Фа-Дейку вместе с властью.

Сеты, командиры и простые воины сдвинулись молчаливым кругом.

— Тарга ли это? — спросил сет Ха-Вир.— Ведь она исчезла больше ста лет назад, когда правил великий Ду-Ул, разрушитель стен.

— Потому и исчезла,— прошептал Лал.

— Не подделка ли это? — осторожно проговорил молодой, незнакомый Фа-Дейку сет.

— Клянусь всем миром, нет,— тихо ответил Лал.— Эту работу древних чеканщиков подделать нельзя, утерян секрет...

Ха-Вир пробормотал:

— Но если она была у короля, то почему великий Рах...

Маршал Фа-Тамир сурово перебил его:

— Кто смеет задавать вопросы королю? Особенно, когда он мертв!.. Сеты, смотрите и отвечайте: есть ли у вас сомнение, что это тарга, знак верховной власти над всеми обитаемыми землями?

Сеты молчали. Наверно, не потому, что было сомнение. Просто никто не решался признать таргу первым.

— Подождите! — вдруг воскликнул Лал.— Вот идет вождь тауринов Урата-Хал... Князь, окажите честь, подойдите к нам для беседы.

Урата-Хал, прямой и печальный, неспешно подошел,

На острых красно-коричневых скулах горели блики от низкого вечернего солнца.

Тихо, но очень внушительно Лал произнес:

— Великий вождь, сет и князь тауринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите и, если можете, скажите нам: что в руке у юного сета Фа-Дейка?

Князь подошел к Фа-Дейку, тяжело загребая песок бронзовой чешуей оторочки плаща. Смотрел и молчал с полминуты. Лицо его не изменилось. Он сказал, кажется, без удивления и устало:

— Клянусь словом и честью, это тарга. Судьба ваша счастлива, итты.... Кто же владетель знака верховной власти?

— Тот, кто держит. Иначе не может быть, князь,— отозвался Фа-Тамир.

Урата-Хал посмотрел Фа-Дейку в лицо. Вождь тауринов был так высок, что глаза его оказались вровень с глазами сидящего на коне юного сета. Твердые, но измученные были у князя глаза. И Фа-Дейк опустил свои, не выдержав прямого и печального взгляда.

Урата-Хал проговорил, опустив плечи:

— Ну что же... Ни итты, ни таурины, ни другие люди еще не стали бессмысленными кротами и шакалами, чтобы забыть великие законы предков. Какое будет твое слово, повелитель? Покорившись владетелю тарги, таурины не уронят чести...— Он горько улыбнулся.— Что я должен сделать? Впустить иттов в крепость? Отдать свой меч?.. Хотя сейчас у меня нет меча...

— Нам его и не надо,— давась от непонятного смущения, пробормотал Фа-Дейк. Таргу сжал в потном кулаке, а кулак спрятал под плащ. И сказал решительней: — Итты не войдут в ваш город... То есть, может, войдут, но без оружия. Мы заключим равный и вечный мир. Больше никогда не будет войны.

Долго молчали изумленные итты, молчал и вождь тауринов. Потом он произнес негромко:

— Все матери тауринов назовут тебя своим сыном; мальчик... О, прости, владыка земель.

А мудрый Лал, летописец иттов и полковник песчаной пехоты, спросил:

— Но что же будут делать люди, если война кончится, повелитель?

— Что?! — яростно вскинулся Фа-Дейк. И вскрик его разнесся в вечернем воздухе, который быстро остывал и охлаждал щеки. — Стены разрушены! Пески везде! Вы... вы же забыли вкус хлеба, едите только мясо кротов и конину, потому что негде сеять зерно! Вы что, сами не видите? Надо строить стены и дороги! Надо, чтобы снова росли леса! Везде, а не только на севере! Надо, чтобы никто не боялся! И чтобы с лесным народом тоже мир!.. Да вы что, сами не понимаете?..

— И что же? — раздался голос наглого сотника Уна-Тура, о котором все забыли. — Значит, воины-волки должны будут ковырять землю и таскать камни, как пленники или трусы, которые не умеют сражаться?

— Ир-Рух, — с облегчением сказал Фа-Дейк десятнику королевской стражи. — Лишите сотника коня и меча. Отправьте его под стражу. После погребения короля и заключения мира напомните мне о нем, я решу, что делать с этим человеком.

Уна-Тур вздыбил заржавшего жеребца и крикнул, оскалившись:

— Твоя тарга — жалкая медяшка! Ты сопливый самозванец! Волки, за мной! Пески не выдадут нас!

Сотник бросил коня прямо на пеших воинов, они отскочили. Всадники-волки поскакали вслед за своим командиром. Опомнившись, бросилась в погоню конная стража...

Ночь пришла звездная и холодная. Темная была ночь, хотя две маленькие луны быстро катились по черно-искристому своду. Фа-Дейк постоял у откинутой занавеси, посмотрел на эти светлые бегучие шарики, отыскал потом глазами знакомое созвездие Ориона, вздохнул и вернулся в теплоту шатра — в запахи земляного масла от светильников и старой меди от панцирей охраны. Лег на расшитые войлоки.

Шатер был Фа-Тамира. Маршал уступил его владельцу тарги, пока в королевском шатре лежит, дожидаясь погребения, великий Рах.

Десять ратников королевской стражи, не шевелясь и, кажется, не дыша, застыли вокруг широкого ложа. Фа-Дейк стеснялся их, но не решился приказать им выйти.

Он лег навзничь, вдавившись затылком в кожаный

мешок, набитый шерстью. Тарга лежала в нагрудном кармане и плоской своей тяжестью напоминала о себе.

Фа-Дейк ужасно устал и ни о чем не думал связно...

Вошел Фа-Тамир, снял шлем, спросил:

— Я отошлю воинов, повелитель?

— Ага...— облегченно выдохнул Фа-Дейк.

Ратники неслышно вышли один за другим.

— Осмелюсь ли я просить владельца тарги..— начал маршал. Фа-Дейк устало сказал:

— Не надо, Фа-Тамир. Говори по-человечески.

— Хорошо...— Старый маршал сел в ноги у Фа-Дейка.— Ну что, Огонек? Как тебе сейчас?..

— Я не знаю, Фа-Тамир... Я не знаю: что делать дальше?

— А дальше ничего не надо, мальчик. Ты сделал самое главное: остановил войну.

— Но потом я тоже что-то должен делать!

Фа-Тамир покачал седой головой:

— Ничего. Завтра, после погребения Раха, мы объявим иттам и тауринам, что владелец тарги вернулся к себе, в свой далекий край.

Фа-Дейк помолчал. Затем спросил с облегчением, но и с обидой:

— Почему?

Фа-Тамир чуть улыбнулся:

— Ты хочешь найти одну причину? А их много...

— Ну, хоть одну... Скажи!

— Хорошо. Не обижайся, Фа-Дейк, но тебе иногда кажется, что нас нет и ты нас просто придумал...

— Ну и... Ну и какая разница? Вы же все равно есть!

— Конечно... Но вот еще причина: когда вы, сет... прости, Огонек... когда ты думаешь о наших заботах, ты думаешь о своей Земле. Я давно это понял.

— Ну и что? — неловко сказал Фа-Дейк.

— Нет, ничего. Иначе и быть не могло... Но ты еще многого не понял. Не знаешь даже, кто виноват в этих войнах: итты, таурины, лесные люди, жители южных скал? Вожди или простые люди?

— Это я как раз понял,— хмуро сказал Фа-Дейк.— Все хороши.

Раньше, когда жил он в королевском стане и в столице иттов, ему казалось, что итты — самые храбрые, самые честные, самые умные, а таурины виноваты во

всем. Это они много лет назад начали войну и до сих пор не хотят признать справедливость иттов. И он радовался, когда случился пожар в крепости врага. И ликовал, когда, оказавшись в случайной схватке среди песков, увидел (правда, издалека), как воины иттов арканами свалили двух тауринских всадников...

А если бы в самом начале попал он не к иттам, а к тауринам?..

А маленький, похожий на Вовку Зайцева Хота разве в чем-то виноват?

Он учился у иттов скакать на коне, метать дротики и читать нацарапанные на тонких кожах старые карты пустынных земель. Но земли принадлежали не только иттам. И карты эти рисовали не итты, а древние художники — общие предки нынешних племен.

Среди песчаных равнин, среди холмов и дюн стояли высокие башни с колоколами, которые оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы — люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера... Ни итты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. На Марсе, несмотря ни на что, еще сохранялись давние обычаи: нельзя трогать колокола, нельзя убивать крылатых ящериц, нельзя не повиноваться тарге...

Был суров, сумрачен и дик этот пустынный фиолетово-красный мир, и все же он привязал к себе маленького Фа-Дейка.

Но через несколько месяцев Фаддейка затосковал по дому...

Сейчас Фа-Тамир словно угадал его мысли.

— Вы скоро затоскуете снова,— сказал он.— Вы все равно не сможете остаться.

— Когда затоскую, тогда и уйду,— неуверенно огрызнулся Фа-Дейк.

— Воля владельца тарги бесспорна... Но лучше бы вам уйти сразу. Для всех людей лучше, Фа-Дейк...

Фа-Дейк опять почувствовал себя виноватым четвероклассником Сеткиным.

— Ну, хорошо, Фа-Тамир. Таргу я оставляю вам...

— Таргу вы возьмете с собой.

— Почему?!

— Фа-Дейк, мальчик мой, люди есть люди, они сильнее обычаев. Очень скоро те, кто поумнее, поймут, что

войну остановила не тарга, а общая усталость... А те, кто злее и хитрее, подумают: как много власти может дать маленький кусочек меди! Появится множество подделок. Появятся и те, кто поклянутся, что подделка — настоящая тарга, а вас объявят самозванцем. Это будут люди вроде Уна-Тура и его волков, которые сегодня почти все ушли в пески. Их закон — сила и жестокость...

«Ты и сам не захотел спасти Хоту», — вдруг вспомнил Фа-Дейк.

И опять старый Фа-Тамир словно услышал его мысли.

— Думаете, маршал может всё? — спросил он. — И маршалы, и сеты, и короли тоже бывают беспомощны. И вы быстро сделаетесь беспомощным, если останетесь здесь... А если уйдете, мы объявим, что вы унесли таргу и последний ваш закон был: покончить с враждой. Тогда не будет подделок тарги и никто не сможет заставить вас отменить свои слова.

— И получится, что я стал... каким-то священным духом, — невесело усмехнулся Фа-Дейк.

— Вы станете легендой и законом... Хотя бы на некоторое время. И люди отдохнут от вражды и, может быть... может быть, еще что-то смогут спасти...

— «Что-то» или планету? — тихо спросил Фа-Дейк. И представил опять: пески, пески и кое-где на скалистых буграх башни и арки с начищенными летучим песком колоколами.

Старый маршал молчал.

— Фа-Тамир, кто поставил в песках колокола?

Маршал не удивился вопросу. Но и ответа не дал.

— Ты же слышал, Огонек, что про это никому не известно. Даже мудрый Лал не знает...

— Старые женщины, что готовят для воинов пищу, рассказывали, будто иногда колокола звонят сами собой...

— Это сказка. Про загадки песков много было сказок... Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в сто лет, в самую холодную и черную ночь... Не знаю, мне слышать не приводилось.

— А как они звонят?

— Я же не слышал... Говорят, медленно, печально. Будто в память о ком-то.

— Похоже...

— Что похоже, Фа-Дейк?

— Видимо, на разных планетах одинаковый обычай: ставить башни с колоколами в память о ком-то... А может быть, это мы поставили их здесь?

— Мы? Итты?

— Да нет, Фа-Тамир, я не о том... Вы правы, маршал, надо ехать. Может быть, еще успею.

— Путь, конечно, тяжел, но не так уж далек. Вы успеете домой к рассвету.

— А вы проводите меня? Я один не найду дорогу.

— Тир знает дорогу...

Фа-Дейк быстро сел.

— Тир вернулся?

— Да, сет. Видимо, почуял, что вы здесь, и пришел в стан. Воины привязали его, он рядом...

Фа-Дейк прыгнул с постели и выскочил из шатра. Высокий конь мягко переступал на песке подковами. Он казался черным, но Фа-Дейк знал, что днем конь — огненно-оранжевый. Даже и сейчас от света крошечных бегущих лун по гриве проскакивали рыжие искорки.

Фа-Дейк протянул ладони, конь радостно фыркнул, потянулся к ним теплыми губами. Фа-Дейк обнял лошадиную морду, прижался к ней щекой.

— Пришел, мой хороший...

Тир постоял, замерев, потом осторожно освободил голову и тихонько заржал, радуясь встрече. Он не знал, что свидание будет коротким...

ВСЕ НЕ ТАК...

Фаддейкина мать приехала рано утром. Юля проснулась в полседьмого и услышала на дворе незнакомый громкий голос. Голоса Фаддейки и Киры Сергеевны она тоже слышала. Они перебивали друг друга. Разговор был шумный, суетливый и, видимо, веселый...

Юля почему-то вздохнула и стала торопливо одеваться.

Познакомились они во время завтрака. Когда Юля вошла в кухню, все уже были за столом, покрытым новой цветастой скатертью (подарок, что ли?). Фаддейкина мать сидела там, где обычно садилась Юля, а Фаддейка устроился рядом. Был он непривычно причесанный, в чистой белой маечке, сдержанный, но его веснушки так и сияли тихой радостью.

Все трое заулыбались навстречу Юле, а Фаддейкина мать сказала:

— Простите, кажется, я устроилась на вашем месте...

— Вот пустяки какие...— сбивчиво ответила Юля и потянула из-под стола четвертый табурет. Фаддейка коротко засопел, и мать быстро и ласково посмотрела на него.

Она понравилась Юле. Она действительно была красива — той сдержанной красотой, которая не режет глаза, но такая законченная, «стопроцентная», что не к чему придраться. Каштановые волосы, мягкий взгляд, замечательно очерченный рот с крошечной родинкой над верхней губой (словно туда перескочила одна из Фаддейкиных веснушек). Юля всегда любовалась такими женщинами спокойно и без малейшей зависти. Зависть была бессмысленна.

Фаддейкина мать, ласково лучась глазами, сообщила Юле, что ее зовут Виктория Федоровна и что наконец-то она вырвалась из «суеты цивилизации» и несколько дней будет здесь, в тишине, спастись от своей сумасшедшей работы.

Это известие почему-то слегка раздосадовало Юлю, и она старательно улыбнулась в ответ. Завтрак прошел с ощущением легкой неловкости, хотя улыбки продолжали цвести, а Виктория Федоровна шутливо ругала Фаддейку за сопенье и чавканье.

Из кухни Юля поспешно ушла к себе. Идти в библиотеку надо было только к десяти. Юля написала письмо домой, пришила пуговицы к ветровке, починила босоножку, у которой оторвался ремешок, минут пятнадцать почитала без интереса купленный накануне номер «Огонька» и отправилась на работу.

У калитки она увидела Фаддейку с матерью.

Фаддейка был еще больше непривычный и незнакомый.

Если бы Юля повстречала на улице такого мальчугана — с аккуратно расчесанными (и вроде бы даже подстриженными) оранжевыми локонами, старательно умытого, в отглаженных светлых брюках и голубой рубашке с погончиками, — она обязательно подумала бы: «Ишь какой славный...» Но прежний Фаддейка куда-то исчез. Лишь искорка в левом глазу напомнила о нем, когда ухоженный мальчик улыбнулся Юле.

Виктория Федоровна тоже улыбнулась. И сообщила.

— Мы отправились гулять. Это чудо-юдо обещает таскать меня целый день по каким-то «своим» местам... Имей в виду, дорогой мой, что на колокольню я все равно не полезу...

Фаддейка еще раз пустил привычную искорку и радостно сказал Юле:

— Пошли с нами!

Юля покачала головой и показала часы.

— Ну, тогда завтра! Юль! За грибами! В лесу знаешь сколько груздей!

Глядя на его причесанную макушку, мать плавно сказала:

— Ты, наверно, хочешь, чтобы Юле поставили двойку за практику. Не забывай, что у нее на первом месте должна быть учеба.

— В самом деле,— сдержанно согласилась Юля. Неловко подмигнула Фаддейке и пошла в библиотеку.

В этот день было неожиданно много читателей. То ли соскучились по книжкам за каникулы, то ли просто школьники разом съехались в родной городок из лагерей и гостей перед началом занятий. Кроме того, Юля ходила по двум адресам — искала «должников». Один был в отъезде еще, а второй — восьмилетний большеглазый пацаненок — с перепугу забрался в старый курятник: решил, что за утерянные на рыбалке «Приключения Травки» его сейчас поведут в милицию. Пришлось вместе с бабушкой извлекать ревущего читателя на свет и успокаивать...

В таких делах время летело незаметно. В середине дня Юля сумрачно поклялась себе, что на почту не пойдет. И не пошла. И даже не очень думала о письме, потому что царапала ее другая тревога: из-за Фаддейки. Хотя, казалось бы, что случилось? Мать приехала, отмыла, приласкала, радоваться надо.

«Увезет она его скоро»,— печально сказала себе Юля. И сразу же сердито возразила:

«Ну и увезет! Что это, новость для тебя?»

«Не новость, но все равно грустно».

«Грустно не грустно, а все на свете когда-то кончается».

«Как-то не так кончается. Не по-хорошему...»

«Перестань!» — одернула она себя.

Но беспокойство не прошло. И Юля не удивилась, а только еще больше запечалилась, когда пришла домой

и увидела на своем крылечке Фаддейкину мать. Не было сомнения, что она поджидала Юлю.

Виктория Федоровна ласково сказала:

— Вот вы и вернулись... Как дела, Юленька?

Юля аккуратно улыбнулась:

— Дела обычные — библиотека. Никакой романтики... Особенно, если смотреть со стороны.

— Вы, наверно, скучаете в здешнем захолустье?

— Некогда скучать-то. Работы неупорот.

— А по вечерам? Тут и сходить некуда...

— Вы знаете, я домоседка.

— Так и сидите в этой конуре?.. Кстати, как вы там устроились? Можно взглянуть?

— Вполне уютно устроилась, — опять улыбнулась Юля. — Заходите...

В комнате она подвинула Виктории Федоровне единственный стул, сама присела на топчан. Фаддейкина мать со старательным любопытством оглядывала пустые углы и дощатые стены. Молчание затягивалось. Чтобы разбить его, Юля спросила:

— Как погуляли?

— Ох, он умучил меня! Таскал по каким-то развалинам, по зарослям... Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась... Представляю, как надоел он вам!

— Почему?

— Он мне только про вас и говорил. Наверно, целые дни от вас не отстают...

— Да что вы, Виктория Федоровна. Днем я на работе.

— Ну, утром и вечером... Вам и отдохнуть-то некогда.

— Он мне ни капельки не мешает.

— Юля... — мягко сказала Виктория Федоровна. — Дело не только в вас... Дело в нем.

— А... что случилось? — с неприятным ожиданием спросила Юля.

— Не случилось, но... поймите меня правильно. Эта его привязанность к вам... Он непростой ребенок. Излишне впечатлительный, фантазер. И я, честно говоря, опасаюсь...

— Боюсь, что я все-таки не понимаю вас, — насупленно сказала Юля. На нее навалилась тяжелая неловкость.

— Сейчас я объясню... Думаете, он только с вами

так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит головы своими выдумками, мучает вопросами. А потом мучается сам: вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела, они забывают мальчишку через неделю после отъезда...

Юля могла бы сказать, что она Фаддейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют. Она только сказала:

— Что поделаешь, раз такой характер...

— Дурацкий характер! — с неожиданной плаксивой злостью отозвалась Фаддейкина мать. И сразу перестала быть красивой. — Я замучилась... Выдумал себе предка-адмирала, переделал нормальное имя Федор (в честь деда!) в какого-то Фаддея. И ведь заставил всех признать себя Фаддеем!.. А эти непонятные слезы по ночам! Спрашиваю: что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями! А он ревет: «Теперь уже никогда и не будем...»

— Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет, — вставила реплику Юля.

Виктория Федоровна утомленно замолчала. Юля добавила:

— Бывает, что он целый день с мальчишками носится. Мяч гоняют, плот строят. Шар недавно запустили...

— Ну да, шар! Он писал мне. Марсианский глобус... Вы, наверно, не видели его «Марсианский дневник», он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула....

Юля пожала плечами:

— Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов.

— Да, но какая фантастика! Знаете, как начинается его тетрадка? «Это самая настоящая правда! Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что, если я даже умру, Планета останется. И лишь бы они больше не воевали...» Это в его-то годы! Умирать собрался.

— Это же просто сказка...

— Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности.

Юля спросила тихо и с неожиданной злостью:

— От какой действительности? От вашей?

Виктория Федоровна медленно посмотрела на нее и покивала:

— Вот-вот. И вы туда же... А действительность, Юленька, одна. И довольно суровая.

— Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности,— уже без оглядки сказала Юля.— Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим. И вечного страха за это свое благополучие...

Виктория Федоровна не вспыхнула, не встала и не хлопнула дверь. Посмотрела с ироническим и грустным интересом.

— Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности? Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по границам...

А я изматываюсь на работе, мне поперек горла эти поездки... Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила.

— Это не спасло бы его от «ненужных» друзей,— поддела Юля.— Они везде найдутся.

— Вы правы, они везде есть... Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье. Которые не от мира сего...

— Ну, спасибо,— хмыкнула Юля.

— Ох, только не обижайтесь! Мы же говорим откровенно.

— Да уж куда откровеннее...

— Я мать. И я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то... репейник. С ним даже в гости пойти страшно: или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратится...

Глядя в потолок, Юля отчетливо проговорила:

— А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый...

«Вот и все,— подумала она.— Придется переезжать в библиотеку. Из этого дома меня сегодня попрут».

Но Виктория Федоровна не рассердилась и сейчас.

— Юленька... Самое простое дело — быть жестокой,— печально сказала она.

Юля сникла. И огрызнулась:

— Вот и не будьте жестокой к Фаддейке, не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы...

— Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить.

Юля опять разозлилась. А Виктория Федоровна продолжала:

— Его я еще могу понять. Его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын... Но вам-то зачем это? Что вам сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет...

У Юли от новой, холодной злости будто колючими снежинками зацарапало лицо. Она взяла себя за щеки и с резким смехом сказала:

— Ну, вы договорились! Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себе собираюсь?

— Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли... Я не умею объяснить, а вы не понимаете. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети...

Юля встала.

— Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно...— И, старательно подбирая официальные слова, она выговорила фразу: — Я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума.

Виктория Федоровна тоже встала.

— Я только хотела, чтобы...— Она замолчала, махнула рукой и вышла.

Юля легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке.

«Юрка... Ну что ты за свинья такая! Юрка, где ты наконец?»

Ночью шумел ветер, было холодно. Дзенькало в раме треснувшее стекло. Юля куталась в одеяло. По крыше стучали ягоды рябины.

ПОРТРЕТ

Утро пришло безоблачное. Оно обещало теплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в «Радуге». И еще чтобы не встретить Фаддейку.

Зачем теперь его встречать? Только душу бередить...

Но он сам догнал ее возле будки со сломанным

телефоном. Пошел рядом. Такой же, как раньше (только майка выстирана да колючие локти отмыты докрасна). Глянул сбоку беспокойно и требовательно:

— Ты почему завтракать не пришла?

— Не хочется...

— Ты почему завтракать не пришла? — повторил он с той же интонацией, будто первый раз спросил.

Тогда Юля сказала прямо:

— Твоя мама на меня сердится.

Фаддейка фыркнул, будто в нос ему попало семя одуванчика:

— Подумаешь...

— Ничего не «подумаешь»... раз ей не нравится, что ты со мной подружился.

— Я с кем ни подружусь, ей никогда не нравится. Что ж тут делать?

Юля пожала плечами:

— Наверно, слушаться...

— Ага! А я ведь ей не указываю, где какого друга выбирать!

— Фаддейка, — со старательным укором сказала Юля. — Ты так скучал по маме, а теперь так про нее говоришь.

Он слегка сник, но ответил упрямо:

— Ну и буду скучать. А слушаться насчет этого не буду. Она не разбирается... А ты со мной не спорь!

— С тобой спорить, что носом гвозди вколачивать, — оттаивая, проговорила Юля. — Обормот рыжий...

Фаддейка запританцовывал рядом, растянул во всю ширь кривозубую улыбку, засверкал искоркой. Радостно сказал:

— А ты — колокольня!

Они вышли на мост.

— А все-таки тебе влетит от мамы, — с беспокойством проговорила Юля.

— Не-а! Она же добрая!

— Она-то добрая. А ты? Ты любого доброго в рычащего тигра превратишь. Ну посмотри, опять майка скособочилась и шнурки не завязаны!

Фаддейка прищурил правый глаз и по-птичьи наклонил голову: что, мол, еще скажешь новенького? Юля засмеялась. Прежние ниточки опять соединялись между ней и Фаддейкой — как в порванном телефонном кабеле сращиваются десятки жилок, одна к одной.

Фаддейка топал по самому краю моста. Настил покачивался.

— Ох, допрыгаешься,— привычно сказала Юля.

— Не-а... А помнишь, как вброд с тобой переправлялись? Можно еще.

— Вода уже холодная.

— Нисколечко. Я еще купаться сегодня буду.

— Ненормальный, да? И так сопишь без передышки.

— Ну ладно, не буду... Или буду знаешь где? В Березовом лягушатнике, такое озеро в лесу есть. Маленькое, там вода прогревая... В воскресенье пойдем за грибами, и я тебе его покажу.

— За какими еще грибами? — опять засомневалась и загрустила Юля. Но Фаддейка весело сказал:

— Пойдем, пойдем!

Он проводил Юлю до «Радуги» и ускакал, хлюпая незашнурованными кедами. А у Юли до вечера было настроение, похожее на Фаддейкину улыбку. И чтобы не испортить его, она запретила себе идти на почту. Целый день возилась со стенгазетой «Здравствуй, День знаний!». Привлекла для этой работы двух послушных девочек-читательниц и «трудного пятиклассника» Валерку Лапина, который оказался прекрасным художником.

А вечером, когда Юля вернулась домой, стало известно, что Фаддейка уехал. С матерью.

— Ни с того ни с сего заторопилась,— сумрачно и как-то виновато объяснила Кира Сергеевна.— Фаддей, конечно, сперва ни в какую, да с Викторией много не поспоришь, она тоже упрямая. И билеты, оказывается, еще с утра купила. Куда тут денешься?

Юля потерянно стояла на крыльце. Было холодно. Она поежилась и тихо спросила:

— А он ничего не просил мне передать?

У нее вдруг появилась смешная надежда, что Фаддейка оставил ей на память портрет, нарисованный художником Володи́ей.

— Ничего,— вздохнула Кира Сергеевна.— Он и со мной-то еле попрощался, уехал набыченный...

Юля пошла в свою пристройку.

«Ну, уехал и уехал,— думала она.— Что поделаешь. Может, и лучше так, без всякого прощания...» И было

не очень даже грустно. Просто скучно как-то, пусто...
Нет, грустно все-таки. Плохо...

Следующий день Юля работала хмуро и ожесточенно — чтобы не думать ни о чем печальном. Снова поклялась себе не ходить на почту и не пошла. Не будет она больше изводиться. Увезла мать Фаддейку — ну и пусть! Не пишет бездельник Юрка — ну и наплевать, в конце концов! Скоро практике конец, а там новый семестр на носу. А в Октябрьские праздники — поход на Дедов Камень, там такие места...

Юля закончила с ребятами стенгазету, оформила стенд с рисунками, расставила книги на тематических витринах «Наши школьные ступеньки», перебрала картотеку младшего возраста, выдала книги десятку читателей и села заполнять дневник практики... И тут ее сердитая энергия угасла, навалилась печальная усталость. И нельзя уже было ничем занять себя, не было сил приказывать себе ни о чем плохом не думать.

Нина Федосьева приглядывалась, приглядывалась и наконец сказала:

— Юленька, я бессовестная старая карга, я вас замучила...

— Да что вы, Нина Федосьевна!

— Вы за две недели сделали здесь больше, чем все мы за полгода... Вот что, Юля: к Первому сентября почти все готово, и давайте договоримся — завтра у вас выходной.

— Да что я буду делать-то в этот выходной? — с искренним испугом спросила Юля.

— Читать, смотреть телевизор... Бродить по окрестностям с вашим верным оруженосцем.

«Уехал оруженосец», — хотела сказать Юля и перепуганно сжала губы: вдруг поняла, что сейчас разревется. Она торопливо залистала попавшийся под руку номер «Юного техника», и Нина Федосьева, кажется, что-то поняла. Заговорила тоже торопливо и чуть виновато:

— Ну, а если не хотите выходного, отдохните хотя бы сегодня. В клубе завода очень смешное кино идет, старое. «В гостях у Макса Линдера»... Или сходите на выставку! Во Дворце культуры изумительная выставка. Традиционная, осенняя... Кстати, чуть не забыла!

Есть там и портрет нашего милого товарища Сеткина.

— Фаддейкин? — изумилась Юля. — Откуда? — И тут же поняла, что это художник Володя послал или привез портрет, написанный в прошлом году. — Ой, а какой он, Нина Федосьевна?

Та улыбнулась:

— Идите, идите, сами увидите...

Уже у входа в городской Дворец культуры — современную коробку с застекленным фасадом — Юля увидела, что никакого Фаддейкиного портрета здесь быть не может. Потому что ежегодная осенняя выставка была выставкой цветов.

Пожав плечами и досадуя на странный розыгрыш (столь несвойственный Нине Федосьевне), Юля вошла все-таки в вестибюль.

Цветов было великое множество.

Наклонные, уже по-вечернему золотистые лучи вливались сквозь стеклянную стену, и сотни причудливых букетов — маленьких и громадных — светились и переливались оттенками всех красок, которые сотворила на Земле матушка-природа. Цветы были всюду — на полу, на длинных скамьях и столах, на полках вдоль стен. Это было Великое Собрание Цветов. Георгины и астры, нарциссы и гладиолусы, настурции и анютины глазки, розы и садовые ромашки и еще сотни разных представителей цветочного народа собрались, чтобы показать друг другу и всему свету: вот какими мы выросли за лето, вот что сумели!

Юлино настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Не то чтобы Юля стала совсем веселой, но успокоилась и грустные мысли загнала в дальние уголки памяти. Тихонько вздыхая и улыбаясь, пошла она вдоль рядов с букетами. И удивлялась искусству и хитроумности цветоводов. Хитроумности — потому, что надо было не только вырастить замечательные цветы, но и составить букеты — изобретательно и со смыслом. И придумать подходящие названия...

Сочетания букетов и названий в самом деле часто были неожиданными и точными. «Полет в стратосферу» — золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов; «Кармен» — темно-пунцовая

роза в окружении узких, похожих на перья листьев; «Салют» — ярко-желтые и красные звездочки в гуще темно-лиловых анютиных глазок... Были забавные названия. Например, «Сорванцы» — несколько растрепанных нарциссов, очень похожих на задиристых мальчишек. Или «Я больше не буду» — тонкий голубой цветок (вроде василька), как провинившийся пацаненок, склонил голову перед большими бело-лиловыми астрами, похожими на рассерженных тетушек.

Встречались букеты и с ласковыми именами: «Подарок маме», «Аленка»...

Посетителей было немного. Шорох подошв и негромкие разговоры не разбивали солнечной тишины. В этой тишине Юля не спешила и подолгу стояла перед каким-нибудь понравившимся букетом: например, перед «Мушкетерами» — четверкой гордых георгинов (у каждого свой характер), перед «Бабушкиным романсом» — большими бледновато-желтыми цветами, похожими на рупоры старинных граммофонов...

Несколько раз у Юли шевельнулась мысль, что если есть «Сорванцы» и «Аленка», то почему бы не оказаться здесь и «Фаддейке». Но странно — догадка эта скользнула по краешку сознания и тут же исчезла.

И Юля вздрогнула, когда с ватманской таблички на нее в упор глянули черные крупные буквы: «Фаддейка Сеткин».

Букет стоял на конце длинной низкой скамьи. Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая охапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпь темно-коричневых крапинок.

Юля не любила эти цветы. Они казались ей нарочитыми, искусственными какими-то. Это была цветочная порода, выведенная не для красоты, а для причуды.

И здесь тоже — что за причуда? При чем тут Фаддейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь... Кто это придумал?

Морщась, Юля прочитала мелкие буковки под названием: «Женя Зайцева, 5-й класс, школа № 2». «Глупая Женя Зайцева», — подумала Юля сердито и с неожиданной потаенной ревностью. И снова глянула на разломаченные рыжие лепестки. И... ничего не случилось (разве что неувловимый поворот головы или новое ка-

сание лучей), но в тот же миг Юля поняла, что это именно Фаддейка. И никто иной. И ничто другое.

Не было лица, но Фаддейка озорно, с золотой своей искоркой, глядел на Юлю из путаницы растрепанных вихров и россыпи веснушек.

Это случилось так неожиданно, что она не успела даже удивиться. Она просто засмеялась — тихонько, про себя — от ласковой радости. От такой, будто опять встретила Фаддейку наяву. От ясного сознания, что ничего не потеряно. Ну, пускай увезли Фаддейку, но все равно он есть на свете и все равно они друзья, и никто не отнимет у них этого недавнего августа с его приключениями, печальми и радостями. И встретятся они еще. Обязательно!

А кто эта девочка, эта умница, которая придумала такой замечательный портрет? Женя Зайцева, пятый класс... Наверно, хорошо знает Фаддейку, раз у нее получилось так весело и точно! Надо будет ее разыскать. Это совсем не трудно, в библиотечном абонементе наверняка есть карточка Жени Зайцевой, там все школьники записаны.

Можно будет встретиться и поговорить обо всем, что связано с Фаддейкой, о ребячьих играх, о плаваньях на плоту, о воздушном шаре, похожем на марсианский глобус... А может, Женя знает и о Фаддейкином Марсе?

Этот Марс представился Юле не холодным и покрытым красными песками, а добрым и теплым. Сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красно-апельсиновым полем под лилово-синим густым небом расстился в беге огненный конь. И стоял у него на спине Фаддейка — с разметавшимися волосами, в сбившейся рыжей майке, веселый и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками...

Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дернула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из Дворца. И видение мчащегося на коне Фаддейки, чувство его полета несла в себе, как налитый до самых краешков стакан.

Потом это чувство стало, конечно, поменьше и спокойнее, радость послабее. Но совсем радость не ушла и грела Юлю по дороге к дому...

Со сжатыми губами и независимым видом (хотя и с екнувшим сердцем) прошагала Юля без остановки мимо почты. Спустилась к реке, прошла через мост. Вдоль реки тянул холодный, осенний уже, ветерок, низкое солнце не грело, только рассыпало по воде медную чешую (и Юля вспомнила старые монеты и таргу). А потом, уже на берегу, вспомнила Фаддейкину игру с телефоном... Или не игру? Как он, зябко поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон... Что он говорил? Кому звонил по лишенному проводов телефону?

А... если и ей попробовать? Поговорить с Фаддейкой? «Фаддейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас?... А я твой портрет только что видела...»

Юля засмущалась сама перед собой, но удержать себя от странной и печальной этой игры не смогла. Да и не хотела. Боязливо оглянулась. Пусто было кругом. Она потянула ржаво запищавшую дверцу, шагнула в будку. Сняла тяжелую и холодную трубку...

РЫЖИЙ ВЕЧЕР

Она была уверена, что телефон, как и в прошлый раз, ответит каменным молчанием. Понимала, что придется самой представить Фаддейкин голос и все его слова — и тогда станет грустно и все-таки хорошо, придет ощущение ласковой сказки...

Но в наушнике послышался легкий гул, создавший впечатление далекого и громадного пространства. Это пространство было пересыпано легким потрескиванием помех. Юля судорожно вздохнула и придавила трубку к уху. В трубке неожиданно близкий и ясный мужской голос проговорил:

— Ну, кто там еще? Вам кого?

— Мне... Фаддейку,— перепуганно сказала Юля, поражаясь тому что происходит.

— Деева? Он же уехал! Может быть, Кротова позвать?

— Нет... Сеткина,— пробормотала Юля, изумившись собственной глупости и понимая, что надо немедленно повесить трубку.

— Это кто? — Голос зазвенел раздражением.— Костя, кто там цепляется к линии? Работать не дают!

Голос неизвестного Кости откликнулся из глухой глубины:

— Это, наверно, заречная точка... Эй, отключитесь там, автомат на проверке...

И Юля опустила трубку на рычаг. И заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод.

Она постояла еще, сама не понимая: огорчается ли, что разговор с Фаддейкой не получился, или все-таки довольна, что в трубке не оказалось мертвой тишины? Потом вдруг вспомнила давнюю детскую книжку о телефонных гномах, усмехнулась и сказала довольно громко:

— Эх ты, Фаддейка-Фаддейка...

— Чего?

Он стоял в шаге от будки.

Это было настолько непостижимо, что Юля, как и там, на выставке, не сумела удивиться. И даже не обрадовалась. Только обмякла как-то и шепотом сказала:

— Батюшки, это ты?

И тут же поняла, что не он. Какой-то мальчишка. И вид-то даже непривычный для Фаддейки: новенькая школьная форма, вязаный красно-синий колпачок...

Но огненные-то клочья, рвущиеся из-под шапки,— чьи?

Взгляд-то с насмешливой искрой — чей? И улыбка-полумесьца! Ой, ма-ма-а...

— Это ты?!

Он сказал с ехидцей:

— Это мой прадедушка Беллинсгаузен. Ты что, за сутки разучилась узнавать?

Юля ухватила его за плечи.

— Господи, откуда ты свалился?

— С Марса,— хихикнул он, но тут же заулыбался радостно и хорошо: — С вокзала, конечно! Час назад!

— Да как ты успел-то?

— Очень просто. Приехал в Среднекамск, а через три часа на обратный поезд...

— Один?

— Первый раз, что ли!

— Фаддейка... Ты сбежал?

— Вот еще! Мама сама на поезд проводила... Ви-

дишь, и форма на мне, и учебники я привез. Первую четверть здесь проучусь...

«Хорошо-то до чего!» — подумала Юля, чувствуя, что все это — как бы продолжение сказки с цветочным портретом. Но тут же кольнула тревога:

— Фаддейка... А как же мама отпустила тебя? Она ведь... ну...

Он вскинул потемневшие глаза и сказал с сумрачной решительностью:

— Хочешь знать, как? Очень просто. Полсуток ревел без передыха.— И замолчал, говоря глазами: «Теперь презирай, если хочешь».

— Какой же ты молодчина! — сказала Юля.

Тогда Фаддейка заулыбался опять:

— Ага!

— Нет, ну ты просто... ты волшебник какой-то.

И опять он сказал:

— Ага, конечно.— И добавил деловито: — Пошли домой, чего стоять. Есть хочется.

— Ой, и мне хочется, я сегодня не обедала... Фаддейка...

— Что? — сразу насторожился он.

«Не надо спрашивать»,— подумала Юля и, конечно, не удержалась:

— А ты... все-таки почему ты так очень хотел вернуться?

Ой, хорошо, что он не набычился и не ошетинился насмешливыми шипами. Усмехнулся добродушно:

— Тебе опять одна причина нужна, да? А их много.

— Ну... а какие? — сказала Юля уже посмелее.

— Во-первых, из-за тебя... Помнишь, ты обещала мне мотив той песни про коня напеть? Так и не успела. Вот теперь никуда не денешься.— Он стрельнул золотистым глазом.

— Не денусь,— кивнула Юля.

— Во-вторых... ну, тут еще с ребятами дела всякие. В-третьих, тете Кире одной скучно. Она ведь не по правде ворчит, что намучилась со мной...

Они шли к дому, Фаддейка глянул на Юлю сбоку быстро и нерешительно. Словно было еще какое-то «в-четвертых», но он стеснялся. Юля терпеливо молчала.

— Боялся, что конь уйдет,— тихо сказал Фаддейка.

— Конь?

— Ага... — Он смотрел теперь на Юлю без всякой усмешки, смущенно даже, но глаза уже не отводил. — Юль... Понимаешь, мне показалось, что я тебя бросил, когда уехал. А если бросил — это все равно что предал...

— Но ты же не виноват был, — с прихлынувшей благодарностью отозвалась Юля. — Ты же не сам!

— Не виноват — это если совсем ничего не можешь сделать. А я все-таки ведь мог... Вот видишь, приехал.

«Умница ты моя», — чуть не сказала Юля, но не решилась и только спросила:

— Фаддейка, а конь-то при чем?

Он поддел новым ботинком валявшийся на досках яблочный огрызок и проговорил с запинкой:

— Ну... это на Марсе обычай такой. То есть примета... Если человек кого-то предал, от него уходит любимый конь... Не веришь?

— Верю, — поспешно сказала Юля и вдруг спросила, подавшись новому толчку радости: — Фаддейка, а мы слазим еще на колокольню?

— Само собой! — сказал он, будто ждал такого вопроса. — Когда деревья золотые, знаешь какая красота с высоты видится! Я и для этого приехал тоже...

— Да, в самом деле много причин...

— Конечно... Письмо вот одно ждал, а его все не было. А сейчас прибежал с вокзала, заглянул в ящик, а оно есть!

— Важное письмо?

— Еще бы.

Юля вздохнула. Никогда в жизни не бывает, чтобы все хорошо. И несмотря на радость от встречи с Фаддейкой, где-то позади этой радости все равно сидела в Юлиной душе колючая тревога из-за Юрки, из-за непришедших писем. Теперь тревога ожила и, словно проснувшийся игольчатый еж, выбралась из норы на свет. И Юля не сумела загнать ее назад. Грустно (и все же с капелькой наивной надежды, что сказка продолжается) Юля проговорила:

— Фаддейка.. Если ты сделал одно чудо, может, делаешь и другое?

Он не спросил какое. Сразу согласился:

— Давай, попробую..

— Сделай, чтобы от Юрки было письмо, а?

— Не-е... — тут же отозвался он. Насмешливо и даже как-то обидно. — Это я не могу.

— Эх ты...

Он объяснил с непонятной веселостью:

— Если человек — растяпа, тут никакое чудо не поможет.

— Это кто растяпа? — взвинтилась Юля. С удивлением, с обидой и опять с какой-то капелькой надежды

— Да уж не я. — хмыкнул Фаддейка.

— А кто?

— А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхне-Тальской библиотеке? А точного адреса не дал..

— Какой еще адрес, если до востребования? Область известна, индекса я сама не знала, он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли?

— Индекс какого города? — сухо осведомился Фаддейка.

— Как какого? Если Верхотальская библиотека, то ой

— Верхотальская или Верхне-Тальская? — тем же сухим тоном переспросил Фаддейка

— Ой..

— Может, объяснить тебе, где Верхне-Тальск? На двести км-мэ выше по течению. Не слыхала?

— Ой... а... Да это он сам перепутал, дурак такой! Я говорила «Верхотальская»! Ой, Фаддейка, а откуда ты это...

— Кто перепутал, разберетесь сами, — уже с прежней ехидцей хмыкнул Фаддейка. — Он тебе пять писем на этот Верхне-Тальск отослал. Два — из-за границы... И теперь будет отрывать тебе голову.

— Ой, Фаддейка. Ой, миленький, откуда ты это знаешь?

Он пожал плечами:

— Очень просто. От Ксени.

— От... от кого?

— До чего ты бестолковая. От его сестры.

— Ты что... Ты с ней знаком?

— Вот еще! Просто взял и написал письмо. Адрес-то ты мне показывала. Помнишь, на конверте?

— Ох... И что? Что ты написал? — У Юли от ра-

дости и от какого-то детского стыда горячим воздухом обдувало лицо.

— Ну, что... Очень просто.— Фаддейка опять пожал плечами и на ходу будто прочитал по листу: — «Здравствуй, Ксения. Тебе пишет один мальчик, Фаддей Сеткин из Верхоталья. У нас в библиотеке работает на практике студентка Юля Молчанова. Она ждет писем от твоего брата Юры, а их все нет. Она очень волнуется. Напиши, пожалуйста, что известно о Юре. Если он больше ей не хочет писать, лучше уж сразу ей сказать, чем она так мучается...» Вот и все...

— Ух ты, Фаддееще... И она ответила?

— Ох, ну до чего же ты тупая в голове. Я же говорю: сегодня пришло письмо!

— И что в нем?

— То, что Юрочка твой уже два раза звонил из Калининграда и спрашивал: куда ты провалилась? Ни ответа, ни привета...

Чтобы унять булькающую, пузырчатую, как кипящее молоко, радость, Юля поспешно рассердилась:

— Балда он путаная... А ты тоже! Вот натреплю твои уши!

— За что?! — от души возмутился Фаддейка.

— За письмо!.. Нет, ты молодец, но зачем последние слова? Что я мучаюсь...

— Чтобы все было ясно... — и тут, как всегда, хихикнул и подставил оттопыренное ухо: — Дерни и успокой душу. В любовных делах всегда невиноватые страдают.

Юля засмеялась и щелкнула по уху ногтем:

— Пыль отряхни... Ох, какой ты все-таки молодчина, Фаддейка.

— Я-то молодчина. А ты? Почему ты сама не додумалась им домой написать? Или позвонила бы с почты! У них же телефон...

— Я... не знаю, — вздохнула Юля. — Это как-то... ну, не знаю я.

— Сказать тебе, кто ты? — сурово спросил Фаддейка. — Или сама понимаешь?

— Понимаю. Дура, — с радостной покорностью призналась Юля.

Он сказал снисходительно:

— Ладно уж. Во всех книжках написано, что влюбленные всегда глупеют.

Юлина радость быстро успокаивалась. Не то чтобы тускнела, но уже не пузырилась, не фыркала ликующими брызгами, как в первые минуты. В ней появились уже капельки печали. Наверное, оттого что вспомнились все тревоги и тоскливые мысли... Но без них, без тревог-то, разве проживешь?

— Да не влюбленная я...— грустновато сказала Юля.— Влюбленность — это так... ну, легонькое что-то. А у нас как-то все по-другому. Мы даже на свидания толком не ходили.

— Ладно, сами разберетесь, что там у вас,— откликнулся Фаддейка.— Ты завтра позвони. Юрий уже, наверно, дома, на каникулах.

— Ой, конечно... Фаддейка, а ты покажешь Ксенино письмо?

— Ну... то, что про Юрочку твоего, покажу. Там ведь не только про него.

— На-адо же! — не удержалась она.— Про что же еще?

— Некоторые такие любопытные...

— Ах, простите, пожалуйста, сударь... И когда это у вас с ней успели тайны завестись?

— Да ладно, ладно,— усмехнулся он.— Все покажу, ничего там такого нет. Ты уж испугалась...

— Ох и нахал ты, Фаддей!

Он не стал насмешничать и огрызаться, а объяснил серьезно:

— Там еще про разные морские дела. Ксения-то в парусной секции занимается... Юль, а Юрий «Крузенштерн» в операции «Парус» первое место занял. У Юры теперь золотая медаль есть победительская. Им всем дали, английская королева вручала.

— Ой, правда? До чего интересно...

— Ага... Только там и плохое было...

— Что? — сразу встревожилась она.

— Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна «Маркиза». Ее шквалом перевернуло. Семь человек спаслись, а двадцать погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын...

Юля шла молча. В своей радости она не могла полностью ощутить горе из-за утонувшей «Маркизы». Умом понимала, что это ужасно и горько, но настоящей боли не было. Что поделаешь, так уж устроен человек. В мире каждый день гибнет множество людей, и страдать за

каждого не хватит никаких душевных сил. И все же Юле было неловко — перед Фаддейкой. Он-то, кажется, печалился из-за погибшей шхуны всерьез. Может быть, потому, что был он потомком отважного моряка?

Или потому, что однажды с высоты взглянул на спящую землю и на миг ощутил тревогу за каждого человека? И сказал себе: может быть, я капелька каждого из них?

А может быть, его беспокоила и печалила не только горькая судьба незнакомой английской шхуны? Что-то еще?

Фаддейка — погрустневший, неулыбчивый — шел и будто прислушивался к дальним голосам и звукам — тем, которые он один различал в тишине окраинной улицы.

Так разведчик в пустом поле чутким ухом ловит шелест пролетевшей птицы или дальний-дальний топот коня...

* * *

...Стан, лежавший в песках вокруг крепости тауринов, поредел. Каменные хижины и шалаши остались, но кибиток и фургонов теперь почти не было. Многие воины вернулись в свои поселки и в столицу иттов, что стояла на границе Песков и Леса. Многие работали на починке Западной стены. Кое-кто ушел в крепость и поселился там. Таурины не спорили, у них в городе осталось мало мужчин.

...Маршал иттов Фа-Тамир, князь тауринов Урата-Хал и полковник легкой конницы Дах ехали по расчищенной от песка дороге, что широким кольцом опоясывала крепость. Подковы отчетливо стучали по плитам. Эхо разбивалось о серые стены и замирало над красными дюнами. Позванивала сбруя, фыркали кони. Потом в эти звуки вмешались другие — непривычные, незнакомые хмурому пустынному миру под фиолетовым небом: сверху, из-за гранитных оборонительных зубцов, долетели звонкие перекликающиеся голоса и смех. Над краем стены всплыли три воздушных шара — ярко-желтый, розовый и пестро-полосатый. Каждый в поперечнике не меньше воинской сажени, что равна древку тяжелого копья. Судя по блеску, шары были из шелковой бумаги, которой таурины оклеивают стены в богатых домах. Снизу качались на шнурах площадки с горящим маслом.

— Что это? — с удивлением и улыбкой спросил Фа-Тамир.

Улыбнулся и князь:

— Дети забавляются, маршал... Они привыкли к миру быстрее взрослых и радуются каждый день. Все улицы теперь в их власти... Дети вспомнили старые игры, устроили на площади театр из старых шатров, а к весеннему цветению каменного кактуса готовят праздник с масками и факелами...

Опять раздались веселые крики и еще один шар — алый, с разноцветными звездами — пошел вверх, прямо к маленькому лучистому солнцу.

— Пусть играют, — сказал Урата-Хал. — Может, и мы, глядя на них, скорее привыкнем к тому, что жизнь теперь безопасна.

— Не совсем безопасна, князь, — вздохнул и нахмурился маршал. — Вы и сами знаете, что недавно дикие всадники опять напали на парусный караван...

— Да, знаю... Ваши песчаные волки никак не успокоятся.

— Они не наши, они вне закона, это вам известно, Урата-Хал, — резко ответил Фа-Тамир. И, почувствовав неловкость от этой резкости, перенес недовольство на полковника: — Я удивляюсь, Дах, что твои всадники до сих пор гоняются за Уна-Туром, как слепой шакал за юркими ящерицами. А ты говорил, что вы знаете в песках все дороги.

— Уна-Тур схвачен, маршал, — неохотно отозвался Дах.

— Да?! Когда же?

— Сегодня утром, маршал. Часть людей его ушла, но Уна-Тура и трех волков поймали.

— Где он? Я хочу поговорить с ним, прежде чем его вздернут на копья.

— Простите, маршал. Я готов к вашей немилости, но... мои люди изрубили пленников.

Фа-Тамир осадил коня и в упор посмотрел на старого полковника. Дах сидел в седле согнувшись и опутив голову.

Фа-Тамир медленно спросил:

— Я правильно понял? Сперва схватили, а потом.. изрубили? Безоружных?

— Да, маршал. Я не смог удержать их...

Фа-Тамир сказал без гнева, скорее пренебрежительно:

— Зачем эта дикость? Особенно теперь, когда нет войны... Или твои всадники, Дах, превратились в таких же зверей, как волки Уна-Тура?

— Я...— начал Дах, но Фа-Тамир повысил голос

— Или в сотнях легкой конницы уже нет повиновения и порядка?

— Есть повиновение и порядок, маршал. но на этот раз я не успел... Воины кинулись на волков сразу, когда увидели, что они сделали с мальчиком...

— С мальчиком?

— Да.. Волки поймали мальчика-таурина, который на рассвете пошел в пески ставить силки на кротов

Князь Урата-Хал встревоженно поднял голову Дах говорил, не решаясь взглянуть на него:

— Уна-Туру было известно, что мальчик знает подземный ход из песков в крепость. Они хотели, чтобы он показал.. Думали во время праздника ворваться в город и устроить резню Им ведь не откажешь в дикой дерзости, особенно сейчас.

— Мальчик не выдал?— тихо спросил Урата-Хал

— Мальчик не выдал, князь.

С полминуты всадники ехали молча

— Почему же в городе никто не знает об этом, даже я?— сумрачно спросил Урата-Хал.

— Утром мой гонец не нашел вас в крепости, князь. А без вашего позволения он не решился никому сообщить печальную весть. Хотел сказать только матери мальчика, но узнал, что две недели назад она умерла... Может быть, и к лучшему, князь. Ее горе было бы страшнее смерти.

— Значит, вам известно имя мальчика?

— На его маленьком кинжале было выбито тауринской клинописью: «Хота-Змейка»

— Ххотаа. — с акцентом повторил Урата-Хал — Мальчика мы похороним в храме Звездного Круга, где лежат великие предки тауринов Его именем матери будут называть своих первенцев.

— Простите, князь,— сумрачно проговорил Дах.— Мы не знали, что мать мальчика умерла, и боялись, что она увидит как волки обошлись с ее сыном Мы похоронили его в песках, у приметного камня, по тауринскому обычаю — в воинском плаще и с кинжалом.

— Ну что же...— Урата-Хал помолчал и снял шлем

То же сделали оба итта. Князь тауринов сказал им:— Наш обычай не велит беспокоить тех, кого уже приняли пески. Пусть мальчик лежит там. Каждый из тауринов принесет на его могилу большой камень, и вырастет курган выше самой высокой колокольной башни...

— Итты принесут тоже,— отозвался Фа-Тамир.— Прими нашу печаль, князь...

Урата-Хал медленно кивнул и вдруг сказал непонятно:

— Может быть, есть в этом знак судьбы.

— Какой знак, князь? В чем?

— В том, что прекратил эту войну ребенок и последней кровью этой войны была тоже кровь ребенка... Может быть, судьбе достаточно этой жертвы, и она будет милостива к людям?

— Люди сами делают свою судьбу,— возразил Фа-Тамир.— И люди есть всякие. Остатки сотни песчаных волков будут еще долго рыскать в дюнах, и кровь, наверно,— не последняя... Это я не в упрек тебе, Дах. Просто хочу сказать, что рано закапывать все мечи... И послушайте мой совет, великий Урата-Хал...

— Слушаю, маршал.

— Не разрешайте детям выходить из города без охраны. Да и взрослые пусть не ходят в одиночку.

— Я уже понял это... Но меня беспокоит вот что, Фа-Тамир. Почему вы позволили юному Фа-Дейку уехать так спешно и совсем одному?

— Как я мог что-то позволить или не позволить владельцу тарги?— улыбнулся Фа-Тамир.— Это была его воля.

— Да. Простите, я не так сказал... Но, говорят, путь его на дальнюю родину долог и труден, а с мальчиком не было даже самой малой охраны...

— Его конь знает короткий путь. На том пути нет врагов...

— А верно ли говорят, что юный Фа-Дейк больше не вернется к нам?

— Почему же... Он, может быть, вернется, но не скоро.

— А правдивы ли слухи, Фа-Тамир, что родом он с той голубой звезды, которая так ярко светит нам на заре?

— Это правда, Урата-Хал, хотя похоже на сказку.

— Жаль,— сказал великий вождь тауринов.

— Почему же, князь?

— Хотелось, чтобы он был кровным братом наших детей...

— Он и так брат,— непривычно мягко сказал старый маршал.— Все мы дети одного солнца.

— Это верно. И все-таки жаль.

Фа-Тамир медленно проговорил:

— Странную вещь сказал мне сёт Фа-Дейк, когда мы прощались на краю Стана... Я был опечален разлукой и не задумался тогда над его словами...

— Что же он сказал, маршал?

— Я не точно запомнил, да и сам он говорил сбивчиво... По-моему, вот что: «Может быть, и нет разных планет, а есть только одна на разных оборотах Звездного Круга... Мне трудно это объяснить, Фа-Тамир, я ведь еще мальчик... Но, может быть, мы жители одной земли, только в разное время...»

— Что-то подобное слышал я от наших старцев, которые хранят в тайных подвалах древние книги. Но отчего такие мысли пришли в голову ребенку?

— Он говорил и дальше... «Я очень боюсь, Фа-Тамир, что это в недалеком от меня время люди превратили планету в пески. А потом поставили в память о всем, что было, колокола. Те, что стоят сейчас в песках. Их и при мне было на Земле уже немало... Я должен вернуться, должен успеть, Фа-Тамир».

— Что же хотел он успеть сделать?

— Я спросил его. Он сказал: «Хоть что-то»... Но в большом жестоком мире что может сделать мальчик?

Они с минуту молчали, и было тихо, лишь стукали о камень копыта да в отдалении звучали над стенами ребячьи голоса.

Вождь тауринов Урата-Хал произнес наконец:

— Мальчики могут многое... Фа-Дейк сказал слово о мире, и стал мир.

— Фа-Дейку дала силу и власть тарга,— уклончиво заметил маршал.— Дело не в мальчике, а в законах и обычаях нашей планеты.

— Тарга до этого была у многих, а слово сказал мальчик...

— Это так...

— А иногда не надо и слова. Хота-Змейка лишь молчал, и потому жив целый город.

— Вы правы, князь. Но я говорил о другом. Что мог сделать Фа-Дейк там, у себя, если он действительно умчался на своем Тире в древние времена? Кого мог спасти? Кому помочь? Что изменить?

— Кто знает. Когда колеблются весы, один смелый шаг, одно хорошее дело может стать последней крупинкой на чаше добра...

— Боюсь, что он не сумел бросить эту крупинку...

— Почему же?

— А потому, князь, что если бы он успел, все было бы иначе. Не было бы этих песков. Не было бы мертвых лесов... И нас с вами не было бы тоже, вместо нас родились бы другие люди.

— Кто знает...— опять сказал Урата-Хал.— Может быть, мы есть как раз потому, что он успел. Иначе могло не остаться никого...

Фа-Тамир устало проговорил:

— Все осталось... И мы, и пески. И колокола...

* * *

Фаддейка тряхнул головой, глянул на Юлю и улыбнулся. Глаза его опять золотисто просветлели, но в глубине их еще пряталась печаль.

Чтобы прогнать эту печаль, Юля весело сказала:

— Ой, Фаддейка, а я только что твой портрет видела!

— Где?

— На выставке цветов.

Он непонимающе замигал.

Юля засмеялась:

— Оранжевый букет с крапинками, а называется «Фаддейка Сеткин». Очень похоже.

Он хмыкнул и спросил недовольно:

— Кто это придумал?

— Женя Зайцева. Ты ее знаешь?

Фаддейка сперва чуть вздрогнул, потом досадливо сказал:

— Понятия не имею. Какая Зайцева?

— Ну, тебе лучше знать.

— Не знаю... Ой, это, наверно, Жека-Артистка! Она у нас на плоту штурманом была!.. Я и не знал, что у нее такая хорошая фамилия.

— Хорошая?— удивилась Юля.

— Ну... знакомая. У нас в классе один Зайцев был Уехал потом...

— Друг?— осторожно спросила Юля.

Фаддейка тихо помотал головой:

— Нет, просто...— Он улыбнулся: — Я один раз пошел за него, чтоб укол поставили, потому что он ну, не хотел он. Сделал, а потом говорю: «Не ходи, я уже, вместо тебя». А он говорит: «А сам-то как пойдешь за себя? Тебя же сразу узнают, когда второй раз увидят!» И пошел тоже, с моей фамилией. Смешно так... А через два дня уехал, насовсем.

— Может быть, еще встретитесь,— сказала Юля.

— Может быть... Юль, ты про песню о рыжем коне смотри не забудь.

— Не забуду... А в этой истории с уколом ты неправ.

— Почему?— слегка ошетинился он.

— Подумай своей головой. Ты его спасал от пустяшной боли, а укол этот спасает человека от самых больших болезней. Что важнее? И если бы он без прививки остался, а потом заболел, тогда что? Из-за тебя...

— Ну...— Фаддейка посопел и вскинул веселые глаза.— Ничего же не случилось. Он оказался смелый в конце концов... А в уколы я не верю, глупости это.

— Почему же глупости?

— Конечно... Как получается! Чтобы спасти человека от большой болезни, надо загнать в него маленькую заразу. Разве так может быть?

— Может.

— Значит, чтобы человек не стал настоящим предателем, он должен сделать, что ли, маленькое предательство?

— Вот это рассуждение...— озадаченно сказала Юля.— Ты... что-то не так. Одно дело жизнь, а другое медицина. Ты не запутывай себя, Фаддейка. И других не запутывай.

Он молчал довольно долго. Потом, глядя под ноги, сказал:

— Себя я все-таки запутал...

И конечно, тревога за него опять ухватила Юлю неласковой лапой. И конечно, Юля сразу спросила:

— Фаддейка, что случилось?

— Я скажу... Я и приехал, чтобы сказать...— Он

остановился. Быстро взглянул Юле в лицо и опять уставился на ботинки. Десятки разных догадок проскочили в голове у Юли, в том числе и довольно страшные.

Но все оказалось проще.

Проще ли?

— Юля, когда человек самое честное слово дал, а потом нарушил, он предатель?

— Опять ты про свое...— осторожно сказала Юля.

— Нет, ты ответь.

— Ну... вообще-то это нехорошо. Но как я могу сказать точно? Я ж не знаю, в чем дело...

— Хоть в чем,— отрезал он.— Ты сама понимаешь, что это предательство.

— Фаддейка,— шепотом спросила она,— а как это с тобой получилось? Ты уж расскажи...

Она думала: ему надо рассказать, чтобы меньше мучиться. Но Фаддейка возмущенно фыркнул:

— Со мной? Со мной это не получилось.— И сказал тише: — Но я не знаю, как быть.

Юля молча ждала.

— Я слово дал, а теперь понимаю, что зря. А что делать? От него может кто-нибудь освободить?

— От слова? Тот, кому ты его дал.

— Да... а если сам себе? Разве сам себя могу?

«Нет, самому нельзя,— подумала Юля.— Это было бы слишком просто». И вздохнула.

— Но ведь кто-то может,— шепотом сказал Фаддейка.— Лучший друг может?

— Лучший друг... наверно, да.

Он взял ее за руку, как тогда на ночном берегу, в первый вечер знакомства. Как братишка. И сказал со спокойным вздохом:

— Тогда хорошо.

Теплея от благодарности к Фаддейке, и боясь за него, и радуясь, что есть он вот такой на свете, Юля проговорила:

— Но ведь я... но ведь друг, чтобы освободить от слова, должен знать, про что оно.

Он ковырнул ботинком нашлепку грязи на доске тротуара.

— Я дал слово, что не буду встречаться с одним человеком. Никогда в жизни. Потому что он меня бросил... когда я маленький был...

Обо всем догадавшись, Юля сказала негромко:

— Это бывает. Сперва решил что-нибудь, а потом понимаешь, что поспешил...

— Я не спешил. Я долго думал... Но сейчас опять думаю. Я ведь ничего про него не знаю. Может, он не виноват... Он теперь меня ищет. Вдруг ему плохо, а я... ну, я не знаю...

— Я понимаю,— сказала Юля.

Он глянул с сомнением: понимает ли? И проговорил насусленно:

— На свете столько людей, которым плохо. А если еще одному... Сперва кажется, что пустяк. А потом — колокола...

«Какие колокола?» — хотела спросить Юля. Но смолчала. Ей вдруг показалось, что Фаддейка может заплакать. Она быстро сказала:

— Конечно, я освобождаю тебя от твоего честного слова.

Фаддейка глянул на нее хмуро и требовательно:

— Так быстро нельзя. Это надо серьезно. Ты должна подумать и все решить.

— Хорошо, я подумаю.

— Я тебе все расскажу, и ты решишь. Ладно? Можно ведь и не сегодня. У нас ведь еще будет время...

* * *

...Фа-Тамир устало проговорил:

— Все осталось... И мы, и пески. И колокола... Вы слышали, князь, старую сказку, что иногда они звонят сами собой? То ли в предвестии новых бед, то ли в память о ком-то...

Урата-Хал промолчал. Или не расслышал, или обдумывал ответ. Но полковник легкой конницы Дах, безмолвно слушавший беседу начальников, вдруг сказал:

— Простите меня, маршал, простите, князь, но я должен сообщить то, о чем не решался говорить раньше... Колоколов нет.

— Как нет?— Князь тауринов недоуменно вскинул голову.— Их сняли? Где и сколько? Кто?

— Неужели кто-то решился нарушить обычай?— сумрачно спросил Фа-Тамир.— Тогда и другие запреты будут развеяны, как песок...

— Их не сняли. Их нет вместе с башнями и арками...

— Говори яснее, Дах,—нахмурился Фа-Тамир. И ощутил, как сбилось с ритма сердце. Будто конь оступился.

— Мы хотели похоронить Хоту-Змейку у подножья двойной башни, прозванной «Брат и сестра». Ее колокол на рассвете всегда блестел, как звезда... Мы не увидели башни. Место, где она стояла раньше, нашли по трем высохшим деревьям, но от башни не было и следа. Ни фундамента, ни даже камня. Только песок.

— Вы ошиблись местом, полковник,— сказал Фа-Тамир.

— Когда возвращались к Стану, я приказал держать на холм с каменными столбами, где висели три колокола. Их тоже нет... Я бросил в песок полсотни всадников, они к середине дня вернулись в смущении. На всем пространстве, что успели они обскать, не жалея коней, нет ни одного колокола. И словно не было никогда... То же говорят кормчие двух лодок. Не видя привычных знаков, они заплутали в песках...

Урата-Хал покачал головой, бросил повод и скрестил на груди руки.

Фа-Тамир сказал:

— Еще одна загадка нашего мира. Это смутит многие умы...

Вождь тауринов усмехнулся:

— Только не их...— Он показал на гребень стены, где четверо мальчишек весело спорили и смеялись, готовясь отпустить еще один шар.

Они отпустили его.

Шар — большой, ярко-оранжевый — проплыл над всадниками. На нем было нарисовано смеющееся лицо с прищуренным глазом и крупными темными веснушками.

Кони стали. Всадники, запрокинув коричневые лица, смотрели, как шар уходит в непривычно посветлевшее небо...

* * *

...— У нас ведь еще будет время,— сказал Фаддейка.

«А правда, у нас еще будет время!» — радостно подумала Юля. Фаддейка держал ее за левую руку, правой она сдернула с него вязаный колпачок и растре-

пала его апельсиново-морковные кудри. Тогда он заулыбался и сказал:

— А про песню не забудь. Сегодня же споешь.

— Ох, ну какая я певица?.. Да ладно, ладно, попробую.

Они зашагали к калитке, и почти сразу Юля услышала, что кто-то идет по пустой улице следом — большой и осторожный. Оглянулась.

Золотисто-оранжевый конь шел за ними в пяти шагах. Мягко ставил копыта на гибкие доски тротуара.

А ШПАГИ НУЖНЫ!

Эта книга не совсем обычная. Она юбилейная. В этом году Владиславу Петровичу Крапивину исполняется пятьдесят лет.

Но такое событие ничуть не меняет дела. Писатель по-прежнему верен своим героям-ребятам, своим убеждениям и принципам, а значит, остается самим собою. А что стоит человеку быть самим собою — каждый может испытать на себе...

Человек молод, пока он не забыл своей далекой давней мечты, пока он сердцем слышит тревожные позывные в разноголосье жизни и с готовностью откликается, спешит на помощь. Таков Владислав Крапивин.

Человек, сохранивший в душе мир детства, навсегда предан законам дружбы, знает цену данному слову и не ведает скуки и уныния. Он не отвык, проснувшись, радоваться каждому новому дню, в котором непременно должно произойти что-то хорошее и интересное, какое-нибудь пусть маленькое, но — открытие.

Писатель справедливо и светло утверждает, что каждый, любой день — чудесная возможность совершить хотя бы один стоящий поступок, полезное дело, испытать себя. А вдруг именно сегодня случится то, что ре-

шит всю твою дальнейшую жизнь? Так или иначе, все малое и великое приходит «в один прекрасный день». Недаром этой фразой начинаются многие сказки и многие реальные события.

Так случилось и с героем повести «Тень Каравеллы», написанной давно. В ней писатель и рассказывает как раз о том, как в один весенний день определилась его человеческая и писательская судьба.

Читатель сам убедился, что началось все с... бумажного паруса и кораблика из сосновой коры.

И теперь, когда Крапивин готовится с мальчишками в очередной парусный поход, кое-кто из хронически серьезных и безнадежно взрослых людей укоряет его, что все еще возится, как маленький, с ребятами и играет в кораблики. Крапивин не обижается, а жалеет таких людей. Он ведь и предупредил в начале книги: «Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса, размером в половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки».

Да, это название оказалось символичным: Тень Каравеллы осенила всю жизнь писателя, позволила ему остаться в прекрасном мире Мечты. Ветер и паруса, море и корабли, всадники и клинки живут почти во всех его произведениях. И это не случайно, все эти вещи, как и положено, сопутствуют бесстрашию, доблести, добрым делам.

И, пожалуй, нет школы, класса, двора, где бы не знали книг Владислава Крапивина, не слыхали об отряде «Каравелла». Но об отряде чуть позже.

Первые герои Владислава Крапивина пришли к читателю в самом начале шестидесятых годов. Небольшая книжечка рассказов называлась «Рейс «Ориона» и вышла у нас в издательстве в 1962 году.

Рассказы были написаны талантливо, свежо. Они сразу запоминались.

Тут ради справедливости надо сказать, что на первых шагах литературной судьбы Крапивину повезло с редактором. Ирина Алексеевна Круглик чутьем угадала в юном скромном «дебютанте» большого писателя и сделала все возможное, чтобы «Рейс «Ориона»» быстрее состоялся. Книжка была оформлена по тем временам красиво, любовно. Работал с ней художник Герман Перебатов.

С тех пор изданы десятки его книг в нашей стране и за рубежом — в Польше, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии, ФРГ, Японии.

Что же привлекает читателя в книгах Владислава Крапивина?

Многое.

Прежде всего искренность и открытость. Отсутствие дистанции между взрослым и ребенком. Он сам не приемлет этой дистанции нарочито проявленного превосходства, снисходительного поучительства. Только на равных, только на взаимном уважении возможно строить любые человеческие отношения, тем более — старшего и младшего.

Пронзительно острой и неисчерпаемой, как бы пожизненной, остается эта проблема, существуя во всем творчестве писателя в бесконечно новых вариантах обстоятельств и судеб. Потому что и в жизни нашей она остается болевой точкой, особенно для ребят. Встретились старший и младший... От таких коротких, как молния, контактов сбывается радость и случается беда. Все зависит от старшего, от осознания его роли в судьбе младшего. В детстве все серьезно, навсегда, до конца.

Такова дружба взрослой Юльки с маленьким Фаддейкой в повести «Оранжевый портрет с крапинками», Ярослава Родина с мальчишками из «Голубятни на желтой поляне» оруженосца Кашки с Володией, такова необычайная короткая встреча Славки с человеком, понявшим его «дикую» мечту в рассказе «Звезды под дождем». Да в любом из произведений наряду с угрюмыми, подозритель-

ными людьми, явными недоброжелателями, обязательно встречается хороший человек. Это совершенно реально. Так в жизни и бывает. Должно быть. Потому что настоящую радость можно испытать только от встречи с хорошим человеком. А какая же жизнь без радости?

В судьбе Журки («Журавленок и молнии») особенно видно, как много горя и переживаний приносим детям мы, взрослые. Отец спокойно похищает у сына самую любимую, заветную книгу и продает ее, потому что ему нужны деньги. Он совершенно уверен, что волен так поступить. Однако берет книгу тайком!

Все еще не может изжить себя постыдная формула: взрослый прав уже тем, что он взрослый. Вот что всегда и прежде всего возмущает писателя. Вот против чего он восстает вместе с ребятами.

И как часто вооружаются этим принципом — взрослый всегда прав — родители и особенно учителя.

Вспомните повести «Мушкетер и Фея», «Колыбельная для брата» и вот эту, только что прочитанную — «Валькины друзья и паруса»... Слепо веря в свою непогрешимость, приняв эту веру по дурной эстафете чужого опыта, такие учителя стремятся «творить» из ребенка человека, не понимая, что он и есть человек, спокойно попирают его человеческое достоинство. Именно о таких «педагогах» говорит Крапивин с гневом и горечью. Разве это не правда? В школах есть немало прекрасных учителей. Они сами страдают от таких «порядков» и как могут оберегают ребят от муштры и формализма. Они не могут обижаться на писателя — это ведь не о них.

У Владислава Крапивина, кстати, есть образы настоящих учителей, подвижников и союзников ребят. Например, Лидия Сергеевна — первая Журкина учительница, которую он, конечно же, запомнит на всю жизнь («Журавленок и молнии»). Это и прекрасный великодушный человек, директор школы Борис Ива-

нович из повести «Мушкетер и Фея».

Да если бы все учителя были такими! Если бы не было в школьной жизни рутины, показного благополучия и равнодушных людей — не пришлось бы в корне и в срочном порядке пересматривать школьную систему. Тревога за школу вот уже много лет набатом звучит со страниц крапивинских книг. Но в ответ писатель столько раз слышал: «Это дискредитация советской школы!»

Ребята не хуже взрослых разбираются, кто есть кто. И во все времена были и будут педагоги, за которыми табунами ходят ребята. Они никогда не забудут своего единственного учителя-друга, учителя-советчика. Надо бы таких учителей побольше, а равнодушных и злых не надо бы совсем. Но до такого пока еще далеко. Зорко увиденные писателем «типажи» еще очень уверенно пребывают в школьных стенах. И утверждают свои страшные порядки. И искать долго не надо, тут же они, в нашем городе. Приходят мать со своим сыном-первоклассником, приносят, как все, букет. Купили накануне, потому что с утра не купишь, цветы не безупречно хороши. Не повезло им с цветами. «Мне еще никогда не дарили такого букета!.. Такого несвежего, жалкого!» — так приветствовала учительница одного из своих новеньких учеников. Мелочь? Вряд ли. И с первых же дней эта учительница установила порядок: поочередно назначала «наблюдателя», ставила его лицом к классу и велела «докладывать» (а попросту — доносить!), кто плохо сидит, крутится и разговаривает, пока учительница пишет на доске строчку букв... Вот так. Как будут развиваться отношения учительницы с классом, представить не трудно. Вот мимо чего Крапивин не пройдет.

Он не пройдет мимо обиженного, обманутого, попавшего в беду. Этому равнодушию учит он своих друзей-ребят и в книгах, и в жизни.

С равнодушия началась история и жизнь

отряда «Каравелла», который существует и действует вот уже более четверти века.

Первые пришли просто с улицы, еще и отряда не было. Малыши и побольше, с хлюпающими носами, с деловитой заботой: чем бы интересным заняться? И Владислав Петрович — для ребят и тогда, и до сих пор просто Слава — нашел, чем их занять.

Кто из ребят не мечтает о море, о путешествиях и приключениях? Кто не представлял себя то Робинсом Гудом, то мушкетером, то буденовцем?

Но всю эту мушкетерскую и морскую романтику нужно еще было ввести в строгие рамки законов пионерской жизни. И на это уходили годы.

Первейшим правилом отряда, даже заповедью, является равенство всех его членов, независимо от возраста. «Каравелла» — это братство, где каждый стремится стоять за справедливость.

Суть такой позиции отражена во всех крапивинских героях. Чудеса волшебных его сказок только для того и существуют, чтобы в самый страшный, самый неразрешимый момент приходила помощь. А иначе зачем они — эти чудеса? Никому и в голову не приходит единолично завладеть чудесными возможностями и повелевать, приказывать, что взбредет в мысли.

Ребятам и некогда «баловаться» чудесами — времени всегда в обрез, как в реальной повседневности. Да и события в волшебном мире так достоверны и логичны, что сказочная условность растворяется в подлинности читательских переживаний. Об этом говорят отзывы и письма ребят.

Самая большая беда для юного человека (да и не только для юного!) — потерять хорошего друга. И уж совсем немислимое дело — разувериться в нем. Как терзался сомнениями маленький оруженосец Кашка, то теряя, то вновь обретая надежду на дружбу со своим старшим другом Володей! Он в сво-

ей безграничной преданности и открытости не представлял, что друг его покинет, что его можно покинуть, забыть... И, главное, Володя понял, что не может без Кашки, что тот ему нужен ничуть не меньше. Светлая незащищенность свойственна им обоим.

Незащищенность — очень ценное свойство человеческой личности. Оно позволяет полно воспринимать окружающий мир, безоглядно действовать, бесхитростно мыслить.

А от чего, собственно, надо защищаться, если предполагается ответная справедливость и понимание?

К сожалению, в ответ на свое доверие и открытость ребята не всегда видят понимание и доброе отношение. Рано или поздно они приходят к мысли, что Доброта и Справедливость нуждаются в защите. Защищать надо друзей, себя, свои убеждения, защищать надо все хорошее, что есть на свете. Поэтому часто в руках у крапивинских героев оказывается шпага. Пусть она не всегда им по росту и пусть клинок тяжел для маленькой мальчишечьей руки, держат ребята ее крепко.

Никто из нас не может сказать заранее, как он поступит в непредвиденных обстоятельствах. Нельзя жить, постоянно готовясь к плохому. Но нужно научиться дорожить хорошим так, чтобы безоглядно встать на его защиту. Как Сережа Каховский — Мальчик со шпагой. Один из самых светлых героев Крапивина. В нем с особой силой показана бескомпромиссность, духовная чистота и цельность человеческой личности. Да, именно цельность. Хотя он еще совсем ребенок.

Писатель убедительно доказывает, что сделка с собственной совестью оборачивается всегда бедой и для себя и для других. Тут нужна полная непримиримость. Как к любому нарушению законности. Потому что несправедливых законов не бывает. Несправедливыми бывают только конкретные люди. И Владислав Петрович в таких случаях непримирим. Он до боли негодует, до мальчишеской

ярости, когда приходится входить в конфликт, отстаивая то, что само собой разумеется, доказывать очевидное.

За долгие годы нашей совместной творческой работы и дружбы я не упомяну случая, чтобы Крапивин что-то требовал для себя, просил лишнее, неположенное, каких-то привилегий. Никогда. Он требует справедливости, чаще всего кого-то защищая. Он пишет и живет по одному закону: бороться за правду, чего бы это ни стоило.

Вот за что его любят ребята и взрослые, вот за что некоторые его не любят. А книги ждут все. Одни с опаской, другие с радостью.

И вот теперь, когда настала пора светлых перемен и воспрянувших надежд, когда все наконец-то обретает свой законный и умный порядок, особенно ценно заметить, что этой же обжигающей непримиримостью к злу и косности, этой же безоглядной верой в победу Добра и Справедливости веет от крапивинских страниц. С самых первых его книг.

Светлана Марченко

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

Часть первая. Тень Каравеллы	6
Синее и белое	6
Визит Билли Бонса	16
Отблески на парусах	23
Каравелла	28
Два капитана и Боббин Гапп	35
Дюймовочка	42
Один	55
Цунами	60
Вечер	67
Часть вторая. По колено в траве	72
Черные лошади	72
Американский товар	82
Враг	91
Где синий ветер встает...	101
Летние дни	114
Вас король приглашает на бал	120
Бери моих лошадей...	131
Гладиаторы	141
Смотрите, я пришел!	150

ВАЛЬКИНЫ ДРУЗЬЯ И ПАРУСА

Начало. Барабанщики	160
Рассвет. Андрюшка	170
Август. Песчаный город	175
Утро. Паруса	188
Паруса. Валькины альбомы	201
Паруса. Андрюшка и ветер	213
Паруса и железо. Вечер	217
Антициклон. День	222
Антициклон. Валька, держи огонь! . . .	230
Крепость. Валька, пожалуйста, встань!	246
Снег идет. Портрет неизвестного Вовки	254

В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА. Трилогия

Далекie горнисты	262
В ночь большого прилива	282
Вечный жемчуг	343

ОРАНЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ С КРАПИНКАМИ

Потомок мореплавателя	416
Ночные страхи	431
Кино вниз головой	439
Юрка	452
Старая монета	465
Кто я такой?	476
Рыжие кони	482
Испорченный телефон	489
Сет	497
Красные пески	506
Красные пески. Продолжение	522
Всё не так...	533
Портрет	539
Рыжий вечер	546
А шпаги нужны! Послесловие С. Марченко	564

Крапивин В. П.

К78 **Тень Каравеллы: Повести.— Свердловск: Сред.-**
Урал. кн. изд-во, 1988.— 576 с., ил.

В пер : 1 р. 60 к. 100 000 экз.

В книгу вошли избранные повести известного писателя и
одна новая повесть «Оранжевый портрет с крапинками».

4803010102-004 60-88
М158(03)-88

ББК 84Р7

Владислав Петрович
КРАПИВИН

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

Редактор С. В. Марченко
Художник Е. И. Стерлигова
Художественный редактор М. М. Кошелева
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры М. Ф. Худякова
М. А. Казанцева

ИБ № 1675

Сдано в набор 30.06.87. Подписано в печать 10.12.87
НС 12802. Формат 84×108^{1/32} Бумага типографская № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая Усл. печ. л.
30,2. Усл. кр.-отт 30,6. Уч.-изд л 31,2 Тираж 100 000.

Заказ 321 Цена 1 р 60 к

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24 Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр Ленина, 49

Дорогие друзья!

Нам очень интересно было бы узнать, какие произведения Владислава Крапивина вам особенно близки и дороги и кто из героев его книг стал вашим другом? Вернее, кого бы из крапивинских мальчишек вы хотели встретить в своей жизни?

И вообще, если вам захочется поделиться о прочитанном, поговорить о своих сложностях и проблемах, мы будем рады вашим письмам, вашему доверию.

Пишите по адресу: 620219, Свердловск, ГСП-351, улица Малышева, 24, Средне-Уральское книжное издательство, редакция художественной и детской литературы.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



Владислав
Крапивин

Тень Каравеллы

Владислав
Крапивин

Тень
Каравеллы

